
ЯН ЛАРРИ
СТРАНА
СЧАСТЛИВЫХ





РЕТРО БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

РЕТРО БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Коллекция



Собрание сочинений Яна Ларри

Ян Ларри

СТРАНА СЧАСТЛИВЫХ

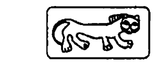
ЗАПИСКИ КОННОАРМЕЙЦА

УКРАДЕННАЯ СТРАНА

ЗАГАДКА ПРОСТОЙ ВОДЫ

роман, повести, рассказ

Том первый



Издательство Престиж Бук
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Л25

Художественный орнамент, использованный в оформлении переплета, является зарегистрированной торговой маркой и используется с разрешения правообладателя — ООО «Миллиорк».

Ларри Я. Л.

Л25 Страна счастливых: Роман; Записки конноармейца; Украденная страна: Повести; Загадка простой воды: Рассказ. — М.: Издательство Престиж Бук, 2019. — 672 с.: ил. — (Ретро библиотека приключений и научной фантастики. Серия «Коллекция. Собрание сочинений Яна Ларри»).

ISBN 978-5-4459-0025-2 (общий)
ISBN 978-5-4459-0026-9 (том 1)

Советский писатель Ян Леопольдович Ларри (1900–1977) известен читателю почти исключительно как автор знаменитой фантастической повести «Необыкновенные приключения Карика и Вали», посвященной путешествиям в микромире. Повесть издана десятки раз, на ней воспитаны многие поколения советских детей. Однако перу Ларри принадлежат еще многие произведения для детей и подростков, менее известные и никогда не переиздававшиеся. Современному читателю практически неизвестен его единственный оконченный «взрослый» роман «Страна счастливых (1931); многие его повести и рассказы даже книгами не выходили, остались на страницах газет.

В первый том впервые издаваемого собрания сочинений Яна Ларри вошли произведения 1931–1939 годов.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4459-0025-2 (общий)
ISBN 978-5-4459-0026-9 (том 1)

Страна счастливых

Научно-фантастический роман



Книга первая

Предисловие

I

«Страна счастливых» — интересная книга. Это перспектива СССР, которую автор видит, слышит и в которой уверен. Без твердой веры в развитие нашей страны, роста ее социалистического строительства и культуры такую книгу написать нельзя.

Она написана в период, когда каждая черточка социализма и каждый шаг отнимаются упорным боем у традиций, у людей, насыщенных повадками старого, у косности и невежества, у того буржуазного окружения, которое со всех сторон сжимает наше великое, невиданное строительство дурманным кольцом.

Автор рисует жизнь будущего и дает типы новых людей, с новой умственной подготовкой, с новой психологией, живущих в новой гамме общественных отношений, созданных на базе величайшего роста орудий производства и, в частности, почти конечного торжества электрификации как главного рычага производственной культуры в «Стране счастливых». Колоритно и ярко, местами даже с протокольной точностью, автор описывает только одну нашу «Республику», которой удалось, наконец, вырасти из капиталистической крапивы, обжигающей человека, и подняться на высоту настоящего социалистического общества. Он не берет весь мир. Он обходит его. Он предоставляет «капиталистическое окружение» своему естественному историческому развитию, которое с железной

необходимостью все равно, поздно или рано, через мировую революцию приведет его к одному знаменателю с СССР. Но он знает и видит, что в ожидании того лучшего, что пойдет вместе с мировой революцией, рабочие и крестьяне нашей страны, под умелым и действенным руководством коммунистической партии, уже вошли в период социализма, углубляют его и, в конечном счете, построят его в одной стране. Вот путь, который почвенно предопределил структуру книги «Страна счастливых», на которой и остановился ее автор Я. Ларри.

Является ли эта книга утопией? Возможно. Но будет правильнее, если мы скажем, что в весьма незначительной степени. Это не утопия в привычном смысле, так как автор показывает в «Стране счастливых» ту жизнь и деятельность, которые уже теперь в зародышевом, зачаточном состоянии мы можем наблюдать в СССР. Но в то же время это очень похоже на утопию, ибо автор все-таки заглядывает в отдаленное будущее, многое из которого может казаться невероятным. Автор фантазирует... хотя его фантазия сплошь и рядом переходит в догадку.

Большинство известных «фантазий» и утопий построено по типу и плану противоположения существующему буржуазному укладу в разных областях жизни. В «Стране счастливых» этого нет. Здесь не противопостановление, а... доразвитие сущего. Здесь дальнейший расцвет и завершение того, что наблюдается в той среде, в которой пребывает автор. И чем больше вчитываешься в «Страну счастливых», тем больше убеждаешься в полной действительности описываемого, в живой жизни нашего времени, которая смотрит со страниц книги.

Автор — участник нашей эпохи. Он верен тому строительству, верен рационализации производственных процессов и глубокой реконструкции быта, которые идут к нам и наступают на нас вместе с завоеваниями и успехами социализма. Он чувствует расцвет техники и аппаратуры и, создавая «Страну счастливых», наполняет жизнь теми удобствами, которые делают жизнь в социализме и приятной и радостно-приемлемой. Но вместе с тем он все-таки не избежал небольшой дозы схематизма, каковой присущ утопиям вообще, и того невольного подражания в форме изложения и зарисовки жизни будущего, которая проходит через утопическую

литературу. Не зря эта литература отличалась свойством подчинять себе читателя, увлекать его, вести за собой и в революционном подполье прежнего, дооктябрьского периода называлась «экзальтирующей».

Однако можно установить, что в «утопии» Я. Ларри не много утопического. Это одна из подлинно советских фантазий. Но она значительно реальнее и ближе к нашей жизни, чем «Аэлита» А. Толстого, «Трест Д. Е.» И. Эренбурга или фантазия «Мы» Евг. Замятина. В подобной литературе наш читатель, конечно, нуждается. Он строит социализм, служит социализму, и такая литература для него вдвойне полезна: читая ее, он найдет подкрепление своей деятельности и через нее заглянет в то будущее, которое идет ему навстречу.

Чтобы вернее определить место, какое должна занять предлагаемая «утопия» Я. Ларри, и чтобы оттенить ее идейную значимость, мы дадим краткий обзор и характеристику некоторых основных положений тех утопий, которые давно пользуются широкой известностью и являются общепризнанными. Это увяжет «Страну счастливых» с литературой подобного рода и попутно вообще напомнит читателю об интереснейшей работе человеческой мысли разных народов и стран, упорно направляемой в будущее, пытающейся разгадать будущее или художественно изобразить его в том плане и в таких красках, которые так или иначе заставляли бы человека о нем мечтать.

II

Платон в «Государстве» (будущего) аристократически мечтал об особой «чистой и непорочной» касте людей-управителей. Он мечтал о том, чтобы государство из «института насилия» перешло в институт водворения и гарантии всяческого и всеобщего благополучия. Для осуществления этого благополучия необходим штат «воинов-стражей». И вот их-то следует рационально приготовить.

«Воины, или стражи, должны, во-первых, отличаться наибольшим совершенством в военном искусстве (уменьем сражаться, силой, храбростью), а также справедливостью и общественностью и, во-вторых, должны быть поставлены в такие условия, чтобы у них не было повода для ссор между собой и враждебного отношения к согражданам. Первой цели

служит особое воспитание, второй цели — организация их жизни.

Необходимый человеческий материал для класса воинов («стражей хорошей жизни») подготовляется половым подбором. Кроме того, новорожденные подвергаются осмотру правителей; последние оставляют в живых тех из них, которые обещают быть наилучшими гражданами; не удовлетворяющих этому требованию "относят в отдаленное место", где они, будучи оставлены без пищи, погибают»*.

Здесь налицо именно утопия. Абстрактная попытка заглянуть в будущее. Попытка представить это будущее в субъективно-желательном направлении и свете, без какой бы то ни было научно проверяемой цепи исторического развития, без необходимых доказательств и данных от действительной жизни, от того построения и социального уклада, которыми окружен и в которых живет автор. Здесь — утопия. Автор не открывает занавеса, чтобы из настоящего взглянуть в будущее, а наоборот: закрывает глаза и отдается во власть туманным, ни к чему его не обязывающим, оторванным от классового анализа размышлениям и представлениям.

* * *

Томас Мор в «Утопии» — или, как она называется полностью: «Золотая книжечка о наилучшем устройстве и о новом острове Утопия» — хотя и критикует действительность, как критикует ее по-своему и Платон, но опять-таки без всякого, хотя бы самого слабого намека на необходимость уничтожения классов, через классовую борьбу и, даже в самой «Утопии», развивающей идею равенства и справедливости, допускает каким-то образом категорию рабства. Вот внешний вид одной из составных частей его идеального города:

«За чертой города находятся бойни, где закалывают предназначенных к убою животных. Бойни содержатся в образцовой чистоте, так как небольшие каналы уносят кровь и отбросы. Мясо чистят и делят рабы, после чего оно поступает на рынок. Участие в этом рабов объясняется тем, что закон запре-

---

* Все приводимые в нашем обзоре общие положения и цитаты заимствуются нами из сборника «Жизнь и техника будущего», ч. I, очерки Арк. А-на «Социальные утопии».

щает гражданам заниматься убоем из опасения, что привычка убивать уничтожит в людях мало-помалу сострадание, — это благороднейшее движение человеческого сердца»*. Рабы у Мора комплектуются из военнопленных и преступников и определяются для тяжелых и грязных работ.

Мы видим, что тот 7-часовой рабочий день, который в СССР мы уже ввели, и 6-часовой, который мы сейчас кое-где вводим, в «Утопии» Томаса Мора был только мечтой и мечтой весьма и весьма дерзкой для своего времени. Многое из основных положений былых утопий на наших глазах становится простой действительностью. Той действительностью, которая многих и не восхищает, а подчас многими даже и не оценивается в той мере, в какой следовало бы ее оценивать.

Ни у Платона, ни у Мора мы, конечно, не вправе требовать классового анализа общества их эпохи. Это сделано гораздо позднее К. Марксом, Ф. Энгельсом и их последователями. Только они установили окончательно научную теорию классового построения общества с вытекающей отсюда железной неизбежностью классовой борьбы, которую последовательно, от начала и до конца, ведет пролетариат. Но тем не менее нельзя не отметить того умственного плена, в котором они, как мыслители, находились у их эпохи. Томас Мор даже в собственной «Утопии» остался законсервированным истым католиком и не был в силах спрятать лицемерие и ханжество, которыми бывает преисполнен каждый «порядочный католик». На первой же ступеньке порога «Утопии», затрагивая вопрос взаимоотношения мужчины и женщины, он спотыкается и неуклюже обнаруживает этот «умственный плен».

«Развод допускается редко, — пишет Т. Мор, — "утопийцы" знают, что при надежде вновь жениться брак не может быть достаточно прочен... Впрочем, "утопийцы" и не женятся очертя голову; чтобы лучше выбрать себе жену, они держатся такого обычая: почтенная и уважаемая женщина показывает жениху его невесту, будь она девица или вдова, в совершенно голом виде; обратно — и мужчина испытанной честности показывает невесте ее жениха раздетым».

* «Утопийцы» работают 6 часов: три часа до полудня; затем обед, два часа отдых, три часа вечерней работы и, наконец, ужин...

Защищая данный обычай, «утопийцы» говорят: «Когда у вас покупают даже старую клячу, стоящую несколько червонцев, то проявляют необычную осторожность. Животное и так уже совершенно голое, а с него еще снимают седло и сбрую, из боязни, что эти ничтожные вещи прикрывают какую-нибудь язву...»

Томас Кампанелла в утопии «Государство солнца» во многом схож с предыдущими утопистами, только, пожалуй, у него еще больше мистицизма и схематизма. Видимо, это непосредственный след пребывания автора сначала в монастыре, а затем в неаполитанской тюрьме, где он был заточен (в течение 27 лет) за заговор против Испании и где, совершенно оторванный от жизни, написал свое «Государство солнца».

«Дома, спальни, постели и другие необходимые вещи составляют общее достояние. Каждые шесть месяцев начальство определяет, кому где спать, что записывается на поперечных балках выше дверей.

Никто не считает у них унизительным служить за столом или готовить в кухне, ухаживать за больными; напротив того, каждое такое занятие они считают общественной службой и полагают, что ходить на ногах или испражняться так же почтенно, как глядеть глазами, говорить языком. Ведь из глаз тоже текут слезы, а с языка слюна, раз это бывает нужно. В общем, всякое отправление тела считается у них безусловно почтенным.

У них нет рабов, которые развращают нравы, так как солярии сами себя обслуживают, и часто у них работы оказывается даже меньше, чем нужно.

У них (жителей «Государства солнца») существует общность жен. Солярия потому отвергают брак индивидуальный, что идея собственности возникла и поддерживается тем, что мы имеем собственные жилища и собственных жен и детей».

* * *

Сен-Симон. Его «Промышленную систему» следует определить, как архибуржуазную утопию, концы увлечения которой находят своеобразный отклик у наших дней. То, что он предполагал и предлагал: «Содействие ученых, техников и художников лучшей постановки производства и воспитания», — осуществляется (конечно, в самых ограниченных

размерах) и монархическими буржуазными правительствами нашего времени. По этой линии даже появилась модная буржуазная теория «организованного капитализма» (тоже... «своего рода утопия!»), к которой причастны кое-кто и из наших правых оппортунистов (!!)... Но мы знаем, что подобное гармоничное содействие и сотрудничество ученых, техников и художников возможно окончательно лишь при социалистическом строительстве и при социалистическим строе, когда все способности и знания указанных общественных элементов будут использованы не в целях эксплуатации, а в целях общей и равной для всех пользы. Так что теория «организованного капитализма» в известной мере и в некотором роде может считать своим духовным отцом не только нынешних «социалистов австрийской школы» и не только подпевающих им наших «правых», но и самого автора «Промышленной системы» Сен-Симона.

* * *

Шарль Фурье, когда читаешь его утопию «Фаланстер», — по словам Августа Бебеля, — доставляет при чтении громадное удовольствие. И действительно, в той части, где он критикует буржуазное построение жизни, к нему почти что нечего добавить. Он ближе к нам, чем другие. И его отрицание буржуазного мира, его критику можно лишь углублять, продолжать дальше и развивать основные положения, которые даны в критике самим Фурье, прошедшим в личной жизни поучительную «школу буржуазного обмана» и всю «мастерскую лжи».

О труде как о таковом Фурье говорит в утопии, что труд должен отвечать шести условиям:

1) Чтобы всякий работник был ассоциирован и получал часть дохода, а не заработную плату; 2) чтобы трудовые сеансы чередовались около восьми раз в день, так как энтузиазм к одному и тому же промышленному или земледельческому занятию не может длиться более 1½ – 2 часов; 3) чтобы работы, происходящие в обществе свободно выбранных друзей, стимулировались очень активными интригами и соперничеством; 4) чтобы мастерские и сельскохозяйственные культуры привлекали работников изяществом и чистотой; 5) чтобы разделение труда было доведено до высшей степени, дабы привлечь каждый пол и каждый возраст к занятиям, наиболее для

них подходящим; 6) чтобы при этом разделении труда каждый член общества — мужчина, женщина или дитя — пользовался в полной мере правом на труд или правом вступить в любой момент в ту отрасль труда, которую ему заблагорассудится избрать.

Наконец, чтобы каждый работник, — добавляет автор «Фаланстера», — наслаждался в этом новом строе гарантией беззаботности, обеспеченным минимумом, достаточным для его существования в настоящем и будущем и освобождающим его от всякого беспокойства, за себя и за близких ему людей».

Автор «Фаланстера» не знал точно и в нашем плане, что все это вкупе, немного измененное и дополненное, носит название социализма. Но мы знаем, что даже и хорошей критики все-таки недостаточно для того, чтобы разрушить капитализм и заменить его социалистической системой производства и распределения. Эту новую систему можно только завоевать в решительной борьбе с капитализмом, через огромное организационное напряжение пролетариата, через его диктатуру.

* * *

Роберт Оуэн в утопии «Община» спрашивает: «Что мешает людям перейти к строю всеобщего счастья?..» И отвечает: «Человеческое невежество и вековые заблуждения». И тут, конечно, он прав. Но, как и Фурье, он прав лишь в части критики, бичующей капитализм, отчего, однако, его «Община» («Новая гармония») отнюдь не перестает быть утопией. «Мир недостаточно критиковать, надо его переделывать»... переделывать революционно, через диктатуру пролетариата, через борьбу классов.

1. В промышленных городах:

Бедные и трудящиеся классы ныне обыкновенно живут на чердаках и в подвалах, в узких переулках и на маленьких двориках, со всех сторон закрытых для доступа солнца.

2. В проектируемых поселках:

Бедные и трудящиеся классы будут жить в помещениях, образующих обширный прямоугольник, обставленных всевозможными удобствами и снабженных полезными украшениями.

Это прежде всего утопия потому, что здесь за словами не прощупаны классы. Оуэн слишком верил представлениям, заменяя желаемым сущее. Он не учитывал до необходимой

глубины классовых интересов буржуазии и не выдвигал на первый план класс эксплуатируемых, который нужно мобилизовать на штурм капитализма.

Этьен Кабэ в книге «Путешествие в Икарию», написанной под влиянием Т. Мора и Р. Оуэна, уже, в отличие от предыдущих писателей-утопистов, обращался непосредственно к рабочим. Но это обращение все-таки не выходило за рамки типичной буржуазной утопии. Он не звал на революцию, на борьбу. Он был против революции. «Мы хотим не революции, — писал он в своей газете «Populaire», — а реформы... Мы будем стремиться к коммунизму, но будем требовать его установления при помощи общественного мнения». Как и Фурье и Оуэн, он надеялся осуществить коммунизм не путем борьбы, а путем одной пропаганды. Здесь чистая фантазия человека без базы под ногами, без почвы и без логики производственных отношений, строит свой особый город «Икарию». Вот что пишет об этом городе художник Евгений в письме к брату:

«На каждой улице фонтаны освежают и очищают воздух, Все, как ты видишь, устроено так, чтобы на улицах естественным путем сохранялась чистота, чтобы их легко и не утомляясь можно было убрать.

Езда на верховых лошадях запрещена в городе, а что касается омнибусов, они никогда не могут выйти из своих колей, но все-таки вожатые, при приближении пешеходов, обязаны замедлить ход. Тротуары представляют собой ряд стеклянных галерей. Некоторые улицы сплошь крытые, в особенности — где помещаются большие склады.

Ты видишь теперь, — по Икарии можно прогуляться в экипаже, когда торопишься; пройтись садами, когда хорошая погода, а в дождь — по стеклянным галереям. Никогда нет надобности брать с собой зонтик».

* * *

Эдуард Беллами, с его захватывающей утопией «Через 100 лет», пользовался исключительной популярностью среди рабочих революционных кружков. Его роман можно отнести именно к той утопической литературе, которая трактует близкие нам темы о современном научном социализме и где центральным моментом является разбор организации производства и распределения. Конечно, этот разбор целиком

основан на фантазии. Но, к сожалению, в данном случае мы не можем входить в оценку романа Беллами, так как имеем в виду вкратце остановить внимание читателя на соответствующих произведениях таких, уже близких нашему времени авторов, как А. Бебель и А. Богданов.

Мы совершенно не останавливаемся также на утопиях: «Вести ниоткуда» — Вильяма Мориса и «Спящий пробуждается» Г. Дж. Уэллса.

* * *

Август Бебель в своем «Будущем обществе», касаясь вопросов производства, говорит:

«Все данные с очевидностью показывают, что среди тех двигательных сил, которые найдут себе применение в будущем обществе, решающую роль будет играть электричество... Однако лишь в социалистическом обществе электричество найдет для себя наиболее обширное применение, и лишь там эта сила будет полнее всего использована».

Автор «Будущего общества» приводит мнение французского министра просвещения проф. Вертело:

«Будущее принесет с собой решение несомненно более важных проблем. В 2000 г. не будет существовать более ни сельского хозяйства, ни крестьян, так как химия сделает ненужной нынешнюю обработку земли. Не будет более угольных шахт... Будут думать над тем, как использовать солнечную теплоту и тот запас тепловой энергии, который скрыт в раскаленном ядре земного шара. Есть надежда на то, что оба эти источника возможно будет эксплуатировать в безграничных размерах. Пробуравить шахту от 3000 до 4000 метров глубины — это даже под силу и современным инженерам, а о будущем и говорить нечего. С помощью земной теплоты удалось бы разрешить многочисленные химические проблемы и в том числе высшую задачу химии — приготовление питательных веществ химическим путем... Придет время, когда каждый будет носить в кармане дозу химических веществ, которыми он будет удовлетворять свою пищевую потребность в белке, жире и углеводах, независимо от времени дня и года, дождей и засухи, мороза, града и вредных насекомых. Тогда наступит переворот, который в настоящее время невозможно себе представить. Хлебные поля, виноградники и пастбища исчезнут...

отпадет различие между плодородными и неплодородными местностями, и, быть может, пустыни сделаются любимым местопребыванием людей, так как там будет житься здоровее, чем на зараженной наносной почве и на болотистых гнилостных равнинах, где теперь занимаются хлебопашеством. Земля превратится в сад, в котором можно, по желанию, предоставить расти траве и цветам, кустарнику и лесу и в котором человеческий род будет жить в избытке в золотом веке».

* * *

Александр Богданов — автор книги «О эмпириомонизме», которую решительно осудил т. Ленин и которая, в конце концов, привела самого А. Богданова — старого большевика — к отходу от марксизма и большевизма. Он написал два романа утопического характера: «Красная звезда» и «Инженер Мэнни». Последний из них по сюжету, в основу которого положено межпланетное сообщение, отчасти напоминает книгу Я. Ларри «Страна счастливых». Вот как один из героев этой книги, Леонид, описывает завод, который он сам видел на Марсе:

«Ни дыма, ни копоти, ни запаха, ни мелкой пыли. Среди чистого, свежего воздуха машины, залитые светом, не ярким, но проникающим всюду, работали стройно и размеренно. Они резали, пилили, строгали, сверлили громадные куски железа, алюминия, никеля, меди. Рычаги, похожие на исполинские стальные руки, двигались ровно и плавно; большие платформы ходили вперед и назад со стихийной точностью; колеса и передаточные ремни казались неподвижными. Не грубая сила огня и пара, а тонкая, но еще более могучая сила электричества была душой этого громадного механизма.

В кабинете самого инженера Мэнни было много книг и различных приборов. Тут были и телефоны, и соответствующие им оптические аппараты, передающие на каком угодно расстоянии изображения того, что перед ними происходит. Одни из приборов соединяли жилище Мэнни со станцией сообщения, а через нее со всеми домами города и со всеми городами планеты. Другие служили связью с подземной лабораторией, которою управлял Мэнни. Эти последние действовали непрерывно: на нескольких тонко-решетчатых пластинках видны были уменьшенные изображения освещенных зал, где

находились большие (металлические машины и стеклянные аппараты, а перед ними десятки и сотни работающих людей...

В коридоре нижнего этажа у потолка была привешена воздушная гондола, на которую во всякое время можно было сесть и отправиться куда угодно...»

III

Этот короткий обзор утопической литературы достаточно показывает, как страстно и мучительно бьется человеческая мысль на протяжении нескольких веков над тем, чтобы отгадать будущее, чтобы на основании того, что человека окружает сегодня, нарисовать его завтра. Это интересная литература. Это та литература, которую всегда читаешь с волнением.

И для книги «Страна счастливых» хорошо уже то, что она входит в линию этой литературы.

Мечтать и фантазировать автору о «Стране счастливых» теперь, с платформы строящегося социализма в СССР легче, гораздо легче, чем из туманной глубины более отдаленного времени. Великий Союз Советских Республик — весь в лесах стройки. Повсюду воздвигаются громады новых заводов, прокладываются дороги, растут новые здания, крепнет авиация, строятся дирижабли, возникают совхозы и колхозы, тракторы поднимают целину миллионов гектаров. И все это дальше и дальше толкается вперед революционным порывом трудящихся масс, цементируется энтузиазмом масс, сообщая невиданный боевой темп.

Через призму настоящего уже легче доразвить многое из того, что свойственно и что присуще вполне законченному социалистическому обществу. Фантазия автора проходит здесь знакомыми путями, и читатель книги будет наблюдать ход писателя шаг за шагом. Всякие неточности в пути, блуждания и зигзаги писателя будут видны читателю. Со многим читатель будет не соглашаться, многое будет дополнять собственными соображениями, и с этой точки зрения такой книге-фантазии трудно заслужить общее одобрение.

Но — лиха беда начало. Такая книга, как «Страна счастливых», нужна. Не грех забежать и вперед. Помечтать! Для того у человечества и имеется искусство и литература, чтобы в необходимые моменты предвосхищать жизнь будущего

и отображать восходящую над нашими головами зарю нового. «Искусство, — определял Плеханов, — имеет своей задачей отражать действительность, но не только, как она есть, но и так, как должна быть, иными словами — действительность в ее наступательном движении и развитии».

В этом направлении, в свое время, мечтал и тов. Ленин. Он мечтал о социал-демократических Желябовых и о таких русских рабочих, каковым в немецком революционном движении был токарь Август Бебель. Но в то же время Ленин стремился мечту превратить в действительность. Он дрался за мечту в первых рядах нашего общественного движения, и теперь кто не знает, что Ленин мечтал не бесплодно. Его мечты стали жизнью. Он победил. И отсюда следует, что когда есть соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно.

Предлагаемая книга Я. Ларри вытекает из действительности. Она рассказывает о социализме, до которого осталось идти немного. В ней есть еще моменты, недоразвитые автором до конца... Но это не имеет решающего значения, могущего поколебать отношение к книге. Это только наводит на необходимость работать еще по этой линии как автору книги, так и другим пролетарским писателям. Но уже и в том виде, как она есть, книгу можно, не мудрствуя лукаво, рекомендовать читателю. Ее следует прочесть тем, кто строит социализм. Значит: ее должен прочесть каждый гражданин СССР, чтобы, прочтя еще раз, самостоятельно продумать все вопросы, которые в ней поставлены.

*Глеб-Путиловский**.

---

* Глеб-Путиловский Николай Николаевич (1883–1948), профессиональный революционер, член РСДРП с 1901 г.; партийная кличка — Степан Голубь. Девять раз избирался членом Совета рабочих депутатов от Путиловского завода; работник Коминтерна. В 1919–1921 гг. был заведующим окружным фотокинокомитетом. Был человеком широко образованным, одаренным в различных областях: «талантливый беллетрист, публицист, пропагандист и администратор» — по отзыву одного из современников.

В 1938 г. был арестован и сослан на восемь лет в Уральский исправительно-трудовой лагерь. После продления срока ссылки умер от дистрофии. В 1958 г. посмертно реабилитирован.

Глава первая

Он услышал неясные шорохи.

Из темных глубин они поднимались глухим прибоем и шелестя катились спокойным, нарастающим гулом. Где-то далеко, как бы за плотной, каменной стеной, приглушенно работал чудовищный вентилятор. Чей-то близкий и взволнованный голос проговорил:

— Опыт удался!

Павел открыл глаза.

Сверху падал ровный, голубой свет неоновых ламп, и в этом спокойном, умиротворяющем свете он увидел ослепительные халаты врачей. Чьи-то сосредоточенные молодые глаза внимательно следили за каждым его движением.

Павел не мог понять, где находится он, но было уже ясно, что случилось что-то непоправимое. Он слегка повернул голову, и тотчас же в памяти его всплыли подробности катастрофы. Он вспомнил перекошенное ужасом лицо Феликса, и жуткий оранжевый свет, и тяжесть, раздавившую грудь, и мрак, в котором утонуло сознание.

Он приподнял голову и хрипло, не узнавая своего голоса, спросил:

— Ф-феликс... Что С1?

— Молчи, — сказал человек с неподвижным лицом, склоняясь над Павлом, — завтра ты узнаешь все. Завтра ты получишь ответы на твои вопросы. А сейчас ты должен лежать спокойно. Майя, дай ему укрепляющее...

Белые халаты качнулись. Они поплыли от кровати, растворяясь в неестественном голубом тумане.

Под высокой аркой вспыхнул золотистый свет, осветив изнутри матовое, молочное стекло пневматического лифта. Резко щелкнула дверь. Призрачная паутина подъемных конструкций качнулась, и темные силуэты людей провалились вниз.

— Выпей это, — сказала девушка, протягивая хрустальный стакан с бесцветной жидкостью.

Павел с трудом приподнялся, сел и дрожащей рукой взял стакан.

— Скажи мне...

— Молчи, пожалуйста! Тебе нельзя говорить! Пей!

Павел нахмурился. Запрещение говорить начинало его раздражать. Но он ничего не сказал. Он поднес стакан к губам и торопливыми глотками выпил лекарство. Поставив стакан на стеклянную поверхность столика, он почувствовал, как по телу прошли теплые волны и сердце застучало ровно, спокойно.

— Я чувствую себя прекрасно, — сказал сердито Павел, — но если мне нельзя говорить, я подчиняюсь. Я буду слушать. Говори!

Девушка улыбнулась. Павел только сейчас заметил ее лицо, такое знакомое, но вместе с тем далекое и забытое, точно старый сон из детских сновидений. Да, конечно, он где-то уже видел эти неправильные черты лица, и эту родинку на щеке, и умные, такие внимательные глаза.

— Я могу сказать тебе несколько слов! — сказала девушка. — Ты будешь жить и работать... Феликса больше нет... Тебя сейчас знают даже дети Республики. Тобою восторгаются. Твоего выздоровления ждут с нетерпением. В тот день, когда случилась катастрофа, твое имя гремело в эфире. Телекино передавало на экране только то, что было связано с С1. Телефото рассылали по всей Республике твои портреты. Через каждые пять минут появлялись бюллетени о твоем здоровье...

Павел сделал рукою нетерпеливый жест.

— Как? Тебя это не радует? — удивилась девушка. — Но разве есть в мире что-либо лучшее, чем всеобщее одобрение? Я, кажется, была бы способна на все, чтобы быть такой популярной, как ты! Ну разве не приятно ходить в этом мире, чувствуя себя полезным человеком?

— Но Феликс... — нахмурился Павел.

— Ну, что же? — спросила девушка. — Разве кто-нибудь после его смерти может сказать, что он прожил нелепо и что жизнь его была ненужной для Республики?

— Так говорит рассудок... У меня говорит сердце...

С этими словами Павел повернулся к стене и умолк. Закрыв глаза, он лежал неподвижно, пытаясь восстановить в памяти подробности катастрофы, но вскоре крепкий сон спутал его мысли. Он не слышал, как девушка прикрыла его одеялом.

Ровно дыша, Павел погрузился в крепкий сон выздоравливающего.

Через пять минут телеэкраны Москвы, Ленинграда, Мурманска, Киева, Одессы и других городов советских республик зажглись огромными телеграммами:

ПАВЕЛ СТЕЛЬМАХ БУДЕТ ЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ ПРОДЕЛАНА БЛЕСТЯЩЕ.
БОЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ГОРОД ОТДЫХА.
ПОДРОБНОСТИ В ВЕЧЕРНЕМ РАДИОВЫПУСКЕ

В тот же вечер в Магнитогорск вылетели тысячи аэропланов, аэроциклеток, геликоптеров и дирижаблей.

* * *

— Отойдите от кровати! Со мной останется Майя... — прозвучал в ушах Павла строгий голос.

Павел открыл глаза.

Перед ним, нагнувшись, стоял человек с энергичным лицом. Он смотрел на Стельмаха насмешливыми глазами, но лицо его оставалось застывшим как мрамор, и было странно видеть эти живые, насмешливые глаза на окаменевшем, неподвижном лице. Павел приподнял с подушек голову.

— Как ты себя чувствуешь?

— Прекрасно!

— Еще бы! Ты спал двадцать восемь часов!.. Ты можешь встать?

— Как будто могу! — ответил Павел.

Спустив ноги с кровати, он встал на теплый пол, но, не рассчитав своих сил, зашатался и, чтобы удержаться, схватился за халат врача. Человек с каменным лицом внимательно посмотрел на Стельмаха, потом сказал, обращаясь к девушке:

— На крышу солярия! Полтора часа!



Он уже хотел уйти, но Павел остановил его:

— Ты Бойко?

— Да!

— Я тебя узнал, — слабо улыбнулся Павел. — В Ленинграде мы изучали с тобой медицину... Правда, это было очень давно!

— Я не помню тебя!

— А я прекрасно запомнил твое... лицо!.. Послушай, Бойко, я хотел бы отправиться к себе. Ты, как врач, знаешь, очевидно, что человек перестает болеть, если он этого не хочет. Я должен работать... Когда я могу отправиться к себе?

— Глупости, — сказал Бойко. — Есть болезни, которые требуют оперативного вмешательства и вакцины. Воля к здоровью действует благотворно лишь в отдельных случаях. Тебе надо отдыхать не менее месяца.

— Но...

— Замолчи! Ты дорог Республике, запомни это, и мы знаем, что и когда тебе нужно будет делать! Мне сказали: Стельмах должен жить. Я делаю все для того, чтобы ты жил. Я не отпущу тебя до тех пор, пока не увижу, как ты начнешь играть гантелями по 50 килограммов.

— Позволь...

— Здесь ты пробудешь два дня. Потом отправишься в Город Отдыха. Там мы продержим тебя месяц. Потом ты можешь снова бросать Республику в лихорадку.

— Ты не сочувствуешь моей работе?!

— Я сочувствую. Я искренно хотел бы видеть твой опыт осуществленным, однако все это, я сказал бы, слишком утопично.

— Твой дед, — улыбнулся Павел, — очевидно, говорил то же самое о социализме.

— Ты шутишь? Ну, значит, завтра будешь ходить. Шути и смейся. Это полезно всем. Выздоравливай.

Бойко пожал крепко руку Стельмаху и вышел.

— Однако сам он не слишком, кажется, верит в целительное свойство смеха! — проговорил Стельмах, обращаясь к девушке. — Ты видела его смеющимся?

Майя отрицательно покачала головой:

— Нет... Впрочем, один раз, когда он открыл причины Бантиевой болезни, мне показалось...

— Он засмеялся?

— Нет. Он... хотел улыбнуться. Но...

— Ничего не вышло?

— Да, — засмеялась Майя, — он остановился на полдороге.

— Ну, вот видишь! А ему около 80 лет, не правда ли?

— Не знаю. Может быть, и 80.

— А я знаю прекрасно! В тридцать лет он был композитором. В пятьдесят работал, как инженер, на стройке солнечных станций в Туркестане. А когда я посещал медицинский, ему было в то время лет шестьдесят.

— Кажется, — сказала Майя, — он нашел себя именно здесь.

— Еще бы! Но, видишь ли, мне пришла мысль, что он выглядит так хорошо лишь потому, что никогда не смеется.

— Да, он выглядит прекрасно! — согласилась Майя. — Однако тебе необходимо, по его предписанию, подняться наверх.

— С удовольствием, если ты поможешь мне!

Опираясь на плечо Майи, он вошел в лифт.

— Я забыл спросить: какой это город?

— Магнитогорск!

— Значит, катастрофа произошла здесь, на Урале?

— Да!

— Позволь. Насколько мне известно, Бойко — профессор Ленинградского института. Как же...

— Он прибыл сюда по поручению Республики.

— Значит, я был очень слаб, если меня не решились отправить в Ленинград?

— В тот день над Республикой пронеслась магнитная буря, и мы... просто не хотели рисковать; тем более что первый осмотр подавал надежду на твое выздоровление.

— В таком случае... — произнес Павел.

Но в это время лифт уже остановился. Опираясь на плечо девушки, Павел сделал несколько шагов. Свежий, прохладный воздух ударил ему в лицо. Он остановился, почувствовав

легкое головокружение, и с любопытством посмотрел по сторонам.

Был вечер.

От голубого света неоновых ламп розовый мрамор балюстрады казался синим. Тихо качались широкие листья каких-то незнакомых растений.

Павел прошел к шезлонгу, стоящему около огромной вазы с орхидеями, опустившими белые пышные звезды в фиолетовый разлив вечера.

Снизу доносился шум огромного города. Кругом сияли огни, ярко сверкавшие в темноте ночи; трепетно дрожали гигантские световые полотна телеаппаратов, и пыльные глаза летящих авто и такси плыли в буре света, который бушевал внизу, убегая в освещенный голубыми огнями горизонт.

— Как он шумит, однако, — покачал головою Павел, прислушиваясь к ровному гулу Магнитогорска.

Опираясь на балюстраду, он восторженно смотрел на кипящий огнями Магнитогорск, гудящий полифоническими прибоями. Звон пневматических таксометров, глухая вибрация авто, пенье сигнальных сирен, щелканье телевоксов, музыкальное шипение городских пылесосов и чудовищных вентиляторов приглушенным тремоло катались над улицами и площадями. Нарастая гаммами легато, стаккато, портаменто, в терциях, в октавах и в секстах, качалась над городом многопудоная оратория. Она расплескивалась вверху, расчлененная на миллионы звучаний, и внезапно, как бы освободив скованные голоса, с ревом плыла в орущее небо.

— Ты видишь? — волнуясь, спросил Павел, простирая руку над городом. — Видишь этот полный живого биения город? Чувствуешь энергичную пульсацию жизни? Как кричит жизнь?! Разве мы не дети своего времени? Зачем нам города отдыха, когда живой и радостный рев наполняет мои вены кипучей кровью и мускулы начинают дрожать от бешеной энергии?.. Бойко!? Ну, что же, он мертвый человек? Лечиться надо вот этим... Да, да! Больные должны включать свои расслабленные интеллекты в животворную пульсацию, а не в тихое течение Города Отдыха.

Я убежден, что города отдыха и больницы располагают к тому, чтобы болеть. Разве я не прав?

— У тебя истерика, — сказала Майя. — Если тебя опустить в этот котел, — она кивнула вниз головой, — ты сваришься через пять минут. Бойко велик. Нет равного ему в медицине. Бойко для нас, молодых врачей, это желанная гавань, куда мы хотели бы прибыть как можно скорее. Быть таким, как Бойко, — это мечта каждого из нас... Не беспокойся, если бы тебя можно было выпустить из больницы, Бойко это сделал бы... Твои мысли горячи, ты не можешь быть благоразумным... Ты должен понять, какую огромную пользу принесет тебе отдых. Иначе нельзя лечиться. Это не старая медицина, когда больному давали порошки и он их принимал пополам с водой и скептицизмом.

Павел не стал спорить. Это было бесполезно. Он знал, что ему придется подчиниться требованию Бойко. Обращаясь к девушке, Павел сказал шутливо:

— Ты меня убедила! Сдаюсь!

— Ну, вот видишь, — засмеялась Майя, — значит, у тебя мозги способны воспринимать разумные истины с полуслова!

— Но я уже сдался, — сказал Павел, — а лежачего бить не полагается... Ведь, кажется, так говорили в Древности?!

Смеясь и перекидываясь шутливыми словами, они стояли у балюстрады.

Над бурей огня и света пронеслись зеленые и красные световые сигналы. Прожекторы погасли. С неба упала вниз световая сеть. Густой мрак налил темнотою небосклон, и только отсветы притихшего и потускневшего внезапно города тускло светились над пролетами проспектов.

— Световая симфония, — сказала Майя. — Ты увлекаешься этим?

— Как и все! — ответил Павел. — А разве ты исключение?

— Нет, конечно! — пожала плечами Майя. Городской шум почти затих. Тишина повисла над городом. Небо вспыхнуло зеленым огненным аншлагом, который взлетел над горизонтом гигантскими буквами:

ЮНОСТЬ. СИМФОНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОМПОЗИТОРА СКЛАДСКОГО И СВЕТОВОГО КОМПОЗИТОРА ШУБИНА

Над городом загорался бледно-розовый пожар. Он полыхал из края в край, то бледнея, то розовея позолотой. Шелестя, прокатилась над городом тихая и теплая, радостная и свежая, как дыхание весеннего утра, музыка.

Шумя, точно древняя степь под ветром, сплетаясь в стройное целое, в город ворвалось вступление симфонии.

На мгновение город потонул во мгле. Затем вверх поднялись гигантские розовые столбы и, качнувшись, взмахнули мощными сверкающими крыльями.

В воздухе грянул радостный марш.

Звон хрустальных водопадов, юношеские песни на взморье в тот час, когда горячее солнце падает в голубые туманы, веселый смех девушек и топот крепких юношеских ног в веселом танце — все это бурным потоком опрокинулось сверху на землю, и от жара песен, от раскатистого смеха вспыхнула и неистово заполыхала старая земля.

Павел смотрел на пылающий горизонт, который, как бледно-оранжевый полог, висел, закрывая путь в иные миры, и, смеясь, начал подпевать, стараясь поймать мелодию.

— Как хорошо! — прошептала Майя.

Улыбаясь, Павел взглянул в широко открытые глаза Майи. Она подалась вперед, и золотая заря, плещущая над городом, играла в ее глазах, как солнце играет в плёсах в рассветный утренний час.

В золотом пурпуре световой симфонии загорелись новые дрожащие голубые полосы, и тотчас же загремели победно литавры, и рокот барабанов пронесся бурей.

Тогда, — как показалось Павлу, — с края земли поднялась прекрасная Юность.

Размахивая ослепительным плащом и высоко подняв голову вверх, она летела навстречу, и радостная песня гремела в воздухе, наполняя сердца отвагой.

— Я чувствую, как у меня растут крылья! — прошептала Майя.

— А у меня растет негодование! — сказал чей-то голос сзади.

Павел и Майя оглянулись.

Освещенный розовой зарей, перед ним стоял неподвижный профессор Бойко. Одетый в темный плащ, он был похож на черную летучую мышь. Тускло блестели в темноте металлические пряжки, скалывающие плащ под горлом.

— Который час? — спросил Бойко.

Павел и Майя одновременно вынули мембраны. Приложив мембрану к уху, Павел услышал монотонный голос авторадиостанции:

— Семь минут двенадцатого, семь минут двенадцатого, семь минут двенадцатого!

В мембране щелкнул переключатель, и нудный деревянный голос монотонно забормотал:

— Восемь минут двенадцатого, восемь минут двенадцатого, восемь...

Павел положил мембрану в карман.

— Ты хочешь сказать, что мне пора спать? — спросил Павел.

— А ты, кажется, намерен провести ночь без сна? Майя, отведи Павла... Спокойной ночи!

— Я хотел поговорить с тобой, Бойко!

— Завтра, завтра, дорогой! Во-первых, поздно, во-вторых, осенние вечера прохладны, и, в-третьих, световые симфонии для твоих расслабленных нервов не годятся... Спокойной ночи!

Бойко ушел. Павел взглянул с сожалением на бешеную симфонию цвета и света, опоясавшую город пламенным кольцом, но, повинуясь требованию Бойко, направился к лифту.

Глава вторая

Рано утром Павла разбудил неприятный, режущий шум.

За стеклянной дверью сновали, сгибаясь и выпрямляя нелепые члены, сверкающие никелем машины. Огромные пылесосы взлетали вверх и, сделав неверное движение, с металлическим звоном падали вниз.

Павел улыбнулся. Ему показалось забавным, что он не узнал своих старых знакомых. Он сбросил одеяло, подошел к стеклянному шкафу и, выбрав верхнее платье, начал быстро одеваться.

Вчерашнего утомления как не бывало.

Прилив необычайной бодрости наполнял его радостным ощущением.

Одеваясь, Павел болтал ногами, чувствуя, как мускулы его упруго перекатываются под свежим, прохладным бельем.

Огромная шумная птица билась в груди Павла, расправляя могучие крылья.

Павел, смеясь, начал напевать вполголоса любимый марш «Звездного клуба».

— Ты уже проснулся? — услышал он знакомый голос.

— И даже оделся! — весело сказал он, подходя к микрофону. — Кстати, конструкция местных телевоксов отвратительна. Убирая помещение, они производят такой шум, как будто копируют допотопные фордзоны.

— Попробуй поругать городской совет, — сказал тот же голос, — местные члены совета, очевидно, не могут найти в себе смелости, чтобы заменить эту дрянь каптилерами. Я уже давно говорю, что скупость прежде всего является матерью неудобств.

А я полагаю, что они держат их, как память о далеком детстве. Между прочим, эти сувениры вот-вот ворвутся сюда и покроют меня мыльной пеной. Кроме того, я голоден, как пещерный человек перед охотой.

— Войди в лифт и поднимись на крышу. Завтрак готов!

В это время стеклянные двери распахнулись и в помещение ввалились коммунальные телевоксы*. Жидкое мыло, кипя и пенясь, поползло по полу. Отвратительно зашипели пылесосы. Круглые, проворно вращающиеся щетки со скрежетом поползли по мокрому, покрытому пеной полу.

---

* Уэнслей, инженер Вестингаузовский электрической компании, изобрел в 1928 году автомат-телевокс, который может совершать целый ряд различных действий — открывать и закрывать двери, окна, пускать в ход и останавливать электромоторы.

Чтобы заставить телевокс выполнить то или другое действие, нет надобности передвигать какие-либо рычаги или нажимать какие-либо кнопки. Для этого достаточно только дать определенный звуковой сигнал, например, короткий или длительный свисток. Вот почему с телевоксом можно устанавливать связь по телефону, и это очень ценно с технической точки зрения.

На первый взгляд может показаться, что все эти телевоксы и им подобные механические люди — только шутки, только игрушки техники. В действительности это далеко не так. Более того, именно в телевоксах нужно видеть начало нового «века автоматов», которые будут облегчать или даже заменять труд человека во многих областях.

Уже и сейчас ряд телевоксов «дежурит» на электрических подстанциях и у водонапорных баков (Англия, САСШ). Такому телевоксу с центральной электрической станции можно приказать пустить в ход какую-либо вспомогательную машину, и он выполнит приказ. В случае аварии телевокс сам звонит по телефону на центральную электростанцию и сообщает о случившемся.

Сейчас проектируется несколько метеорологических станций на вершинах высоких гор, в полярных областях Америки и даже на Северном полюсе (мысль Ф. Нансена), которые будут снабжены автоматами-наблюдателями. По радио эти метеорологи-телевоксы будут регулярно сообщать о своих наблюдениях на центральные геофизические станции. Такие автоматические «метеорологи» уже и сейчас прекрасно производят некоторые астрономические наблюдения, отмечая, например, совершенно точно момент прохождения какой-либо звезды через меридиан. Человек же такую отметку времени, случается, делает с ошибкой.

В фабрично-заводской практике телевоксы в виде различных автоматических и полуавтоматических станков уже и сейчас выполняют большую работу. Примером может служить один из американских заводов (компания Смита), изготовляющий до 7000 автомобильных шасси в день. На этом заводе работает... 272 человека. Столь ничтожное количество рабочих на заводе объясняется тем, что почти вся работа совершается автоматически. На долю людей остается лишь надзор за машинами.

Павел кинулся в лифт.

Поднявшись на крышу, он увидел Майю, которая шла навстречу, протягивая руку и приветливо улыбаясь:

— Вид у тебя замечательный!

— Скажи об этом Бойко!

— Ты думаешь, на этом основании он разрешит тебе работать?

— У меня, — сказал Павел, — есть тысячи оснований, но, увы, я боюсь, что для Бойко мои доводы покажутся неубедительными.

— Ты прав, конечно! Когда человек исполняет волю Республики, его никакими доводами не заставишь поступить против этой воли. Впрочем, завтрак готов. Садись, пожалуйста!

Они прошли под тень причудливых гибридов и сели за стол.

В воздухе стоял гул, точно над городом катился ураган. Почтовые аэропланы и дирижабли, гудя моторами, мчались в лазурном небе. И над крышами многоэтажных домов, точно мошкара, сновали крылатые люди.

Вдыхая полной грудью очищенный электроозонаторами воздух, Павел с интересом наблюдал, как Майя приготовляла завтрак. Белый кувшин с молоком, терпкие плоды тропиков, аппетитный паштет, кисти бледно-зеленого винограда, золотистый бульон и прекрасное кавказское вино были поставлены среди пышных цветов. Желтая голова сыра сочилась под искрящимся хрустальным колпаком. В узких, сверкающих бокалах качались причудливые солнечные блики.

Майя придвинула к Павлу фарфоровую тарелку с паштетом.

— Между прочим, — сказала Майя, — тебе придется познакомиться сегодня с собственной популярностью. До двенадцати тебя не тронут. Как видишь, ни один человек не пролетел еще над нами. Но тебя уже видят. За тобою следят тысячи глаз. И как только ты кончишь завтрак, твои друзья детства, представители клубов, поэты и художники будут здесь. Бойко разрешил им...

— Говорить со мной? Какая неосторожность, — съязвил Павел. — А вдруг от разговоров с моими друзьями мое так нужное для Бойко тело растает?

С крыши Магнитогорск был виден, точно на ладони. От центра, где высились небоскребы статистических отделов, улицы расходились симметричными кольцами, пересекаемые радиальными бульварами. Гигантские голубые и белые здания научных учреждений сверкали отражением солнечного света.

Над центром города творческим порывом взлетел в высь аэровокзал. Смелый взлет его башен с причальными мачтами для дирижаблей, стремительный бег пилястр от подножья к колоссальному аэродрому, гигантские своды, как бы пытающиеся раздвинуть стены и слить дыхание с дыханьем пространства, — все это напоминало застывшую симфонию прекрасной эпохи. Уступами воздушных линий стекла и бетона городские площади и улицы пробирались сквозь парки и сады к голубеющим горизонтам. Отдаленные улицы города тонули в прозрачном серебристом тумане. Вдали поднимались в облака шестидесятиэтажные отели с темными садами на крышах. И в смутных и неясных очертаниях голубели далекие корпуса промышленного кольца.

Залитые солнцем открытые пространства и широкие геометрические линии улиц, смягченные зелеными садами, кипели повседневной суетой.

Сквозь пролеты застекленных ажурных мостов, повисших над улицами, точно над виадуками, мчались пневматические поезда цвета морских туманов. Внизу в широких улицах непрерывным потоком неслись автомобили, мотоциклы и автобусы. Бесчисленные толпы людей сновали в улицах, вливаясь в открытые пасти метрополитена. Люди поднимались лифтами на крыши домов и, взмахнув крыльями, взлетали к голубому небу.

Павел заметил, как со всех сторон к солярию летели сотни крылатых Икаров.

Засвистели крылья, и шум голосов упал на крышу.

— Ой-ла! Здорово, Павел!

— Алло! Как ты себя чувствуешь?

— Привет!

— Как жив, дружище?

Над головой трепетали крылья аэроптеров. Веселые, улыбающиеся лица смотрели на Павла сверху, плавая в воздухе то поднимаясь, то опускаясь вниз.

— Спасибо! Чувствую себя великолепно! — засмеялся Павел.

Звонкий девичий голос крикнул:

— Может быть, ты поразмял бы мускулы аэроптером? Воздух сегодня чудесный. Пружинит, как никогда!

— Нет, нет! — сказала Майя. — Он еще слаб. Пусть отдохнет.

— Кто там говорит? Аптекарша?

Дружный хохот встретил этот вопрос. Майя, смеясь вместе со всеми, вскочила на стул.

— Это ты? — крикнула она, стараясь схватить за ногу краснощекого парня. Но тот взмахнул крыльями и, взлетев вверх на несколько метров, захохотал.

Он взбудоражил крыльями воздух, кувыркнулся и, вытянув окрыленные руки вперед, ринулся вниз, оглашая воздух веселым свистом.

За ним полетели и другие, прокричав на прощанье:

— Пока!.. Пока!..

— Выздоравливай, дружище!

— Хорошие ребята, — сказал Стельмах, провожая их взглядом.

— Замечательно верно! — крикнул высокий человек, падая на крышу. Он свернул крылья и, прислонив их к балюстраде, оглядел Павла с головы до ног. Потом протянул ему руку:

— Меня зовут Якорь! Главный портной Магнитогорска! Можешь уделить мне несколько минут?

— Конечно.

Якорь подошел к столу, налил в бокал вина, но, сделав несколько глотков, поставил бокал обратно.

— Сегодня изрядная жара, — сказал Якорь, — а вино дрянное.

Он повертел в руках бутылку и лукаво подмигнул:

— Вы не находите, что этот номер вина годен для свиньи?

— Ты прав, — сказала Майя, — тут есть алкоголь, но ведь оно прописано для выздоравливающего. Так что...

— А-а, — удовлетворительно кивнул головой Якорь, — в таком случае... извиняюсь.

Он взял кувшин с молоком и налил себе полстакана. Пока Якорь пил молоко, Павел смотрел на него, стараясь угадать причину этого посещения. Но Якорь не дал ему долго задумываться.

— В моем распоряжении десять минут! — сказал он, вытирая платком широкий лоб, из-под которого смотрели на Павла глаза мечтателя. — Я начну с того, что продемонстрирую свой костюм. Ты видишь?

Он встал во весь рост:

— Обрати внимание на мой костюм!

Павел, недоумевая, смотрел на серый костюм, облегающий фигуру Якоря мягкими линиями, и, наблюдая за его свободными движениями, старался понять, что именно хочет от него Якорь.

— Ну?

— Костюм как все! Как миллионы костюмов!

— Ага! — обрадовался Якорь. — Вот именно. Ты уже сказал: как миллионы костюмов. С той только разницей, что меняется цвет в соответствии с сезоном. Серый, коричневый, черный, белый, голубой и электрик. Ты еще не понял моей мысли?

— Нет! — сознался Павел.

— Странно! Я, кажется, говорю ясно...

— Я все-таки тебя не понимаю, — серьезно сказал Павел и подумал: «Какие странные профессии создает человеческое влечение к деятельности».

— А между тем, — засмеялся Якорь, — суть дела проще автомобильной шины... Видишь ли, я сейчас работаю над костюмом. Но моя работа встречает со стороны товарищей непонятное равнодушие... В старых книгах я читал, что наши предки больше всего опасались единообразия. Они полагали, что республика из экономических соображений стан-

дартизирует все и вся. Но, оказывается, опасность пришла с другой стороны. Люди сами упорно не хотят разнообразить одежды. Ты знаешь, — улыбнулся Якорь, — иногда мне даже жаль, что нет этих прекрасных старых людей. О, как бы я одел их! Какие рисунки и краски расцвели бы на площадях и на улицах городов!

— Два года назад, — сказала Майя, — я интересовалась психологией людей, живших раньше, и довольно добросовестно посещала Исследовательский институт. Но, уверяю тебя, таких наклонностей у них как будто не было. Правда, мне случалось встречать в старой литературе занимательные страницы. Один из персонажей романа тридцатых годов приводит против социалистического общества такие курьезные доводы. «Я, — говорит этот ископаемый человек, — ненавижу социализм — эту гигантскую казарму с полным уравнением во всем: в одежде, в пище, в жилье, в удовольствиях». Старые люди были, однако, удивительно непоследовательны. Из литературы того же времени мы знаем, что тогдашний человек, выдвигая подобный довод против социализма, в то же время испытывал величайшее огорчение, если сто человек ходили в широких штанах, а у него были узкие. Возражая против однообразия, люди совершали преступления, чтобы иметь то, что имеют другие. «Никто этого уже не носит», «у всех есть, а у меня нет», — эти выражения довольно часто встречаются в старых романах.

— А в общем чепуха! — сказал Павел. — Я лично считаю, что ты сотрудничаешь с сумасбродством. Какая, в сущности, разница в том, какого покроя или цвета будет у меня платье?

— Колоссальная! — вскочил Якорь. — Ты, я и она — и все мы пять часов в неделю отдаем общественно необходимому труду. Раз в неделю мы отправляемся на фабрики и заводы, где проводим пять часов. В комбинезонах мы встаем к машинам. Поэт рядом с профессором астрономии, архитектор рядом с композитором, журналист рядом с врачом. Нужна ли нам в этом случае для каждого особенная одежда? Нет! Она не только не нужна, но даже вредна. Необычные линии и краски будут отвлекать наше внимание и мешать работе. Другое дело, когда мы оставляем промышленное кольцо.

Тут уж однообразия линий не должно быть. Человек попадает в жизнь, и чем ярче эта жизнь, тем более яркие следы она оставляет на человеке. А этого можно добиться лишь в том случае, если человек будет находиться в постоянном раздражении. Его эмоции, волнуемые внезапностью линий и красок, должны быть в непрекращающемся движении. Он должен встречать бесконечные сочетания неповторяемых линий и пятен. Тысячи и миллионы ответных звучаний должно это вызвать в человеческом мозгу. Новые мысли, мелодии, ритмы, ощущения человек воплотит в общественно полезную работу.

— Значит, — засмеялся Павел, — для общественно необходимой работы комбинезон, а для общественно полезной — оперенье попугая? Впрочем, ты не обижайся. Твоя идея, возможно, и хороша, но что бы ты хотел сейчас? Чтобы я надел пурпуровый жилет и зеленую тогу?

— Это было бы неплохо, — оживился Якорь. — Сегодня ты самый популярный человек в Республике. А в поступках популярного человека всегда видят особый смысл, они почти всегда являются предметом подражания. Но я не хочу, чтобы ты бродил к качестве глашатая зеленой тоги. Мне хотелось бы попросить тебя о другом. Когда я вынесу свою идею на обсуждение, поддержи ее. Я уже заручился согласием...

— Некоторых популярных людей?

— Хотя бы и так, — смущенно ответил Якорь, — ты сам знаешь, что к дипломатии придется прибегать, пожалуй, и нашим правнукам. Ты разве уверен, что тебе придется работать с новым звездопланом?

— Ты думаешь, — тревожно спросил Павел, — что встретятся препятствия?

— Препятствия уже восседают в Совете ста, и у них три бороды: одна рыжая и две черных ассирийских!

— Молибден?

— Он и Поярков с Коганом! К сожалению, я вынужден тебя оставить. Подробности о препятствиях твоему звездоплану ты можешь узнать у многих. Прощай! Не забудь!

Якорь взял аэроптер и ринулся вниз.

— Всякий по-своему с ума сходит! — пожала плечами Майя.

Павел задумался. Сообщение Якоря взволновало его. Он не знал причины, которая восстановила против его работы часть Совета ста, но, очевидно, произошло что-то очень серьезное, если в Республике уже говорят о возможности прекращения его работы.

Погруженный в размышление, он сидел, не обращая внимания на окружающее. Он не заметил, как на крышу солярия спустились один за другим на аэроптерах люди. Он не видел, как, переглянувшись, они встали полукругом и, по знаку коренастого парня с обветренным лицом, приготовились к чему-то. Парень махнул рукой, и воздух разорвала песня:

Слава тому из нас,
Кто храбр, как тысяча львов.

Крепкие глотки подхватили шутливую песню, и она перекинулась на соседние крыши, зашумела над сводами этажей закипающим морским прибоем.

Шуточная песня, сложенная лет тридцать назад в честь храбрецов, основавших первый метеорологический город на Северном полюсе, заставила Павла улыбнуться. Дружеская кантата, которую пели для него, заставила его забыть о Совете ста.

— Мне хотелось бы, — сказал Павел, — сделать для всех вас что-нибудь особенное.

— Ты обольщаешься! — засмеялся толстяк с добродушным лицом. — Песней мы только хотели вернуть тебя на Землю. Ведь ты, кажется, застрял ногами где-то между Сириусом и Юпитером.

— А город присоединился к песне в силу привычки! — добавил кто-то сзади.

Павел, услышав знакомый голос, оглянулся. Перед ним стоял человек необычайной наружности. Маленький, большеголовый, он смотрел на Стельмаха большими глазами, которые, казалось, жили самостоятельно. Его тело походило на хрупкую, несуразную подставку для огромной головы,

и в этой голове, точно в нелепой оправе, жили удивительные глаза. Глядя на него, Павел ничего не мог видеть, кроме этих живых глаз, пронизывающих его насквозь.

— Мое имя Нефелин! — сказал странный человек, протягивая Стельмаху руку.

— Я знаю тебя, — пожал его руку Павел, — когда-то я слушал в Харькове твои лекции. Ты занимал тогда кафедру формальной логики.

— Ну, это было давно. С тех пор я переменил три профессии. Сейчас же я пришел к тебе как редактор магнитогорской газеты «Проблемы».

— Я тебе нужен?

— Да. Мы хотели бы видеть тебя в редакции после обеда. Мы поговорим с тобой о том, что, пожалуй, заинтересует тебя больше, чем кого бы то ни было.

— Совет ста?

— После, после, — уклончиво ответил Нефелин, — хотя, конечно, Совет ста — это узел всех наших интересов. Во всяком случае разговор коснется и Совета ста.

Присутствующие заговорили о больших проектах Совета ста, который готовился вынести на обсуждение Республики величайшие проблемы. Никто, правда, еще не знал точно, что именно будет предметом обсуждения в конце года. Некоторые говорили о предстоящем восстановлении Берингова перешейка, что могло бы изменять климатические условия СССР. Другие полагали, что предстоит сооружение гигантской солнечной станции в Туркестане.

Уже по одному тому, что в Совете нашлись противники идеи звездоплавания, можно было судить о предстоящих грандиознейших затратах и общественных сил и энергии для осуществления других, не менее грандиозных идей и проектов.

— Ладно, ладно, не будем торопиться, — говорили многие. — Поживем — увидим.

— Во всяком случае мы будем участниками великих событий.

— Посмотрим!

— Я полагаю, — сказала Майя, — что противники звездоплавания имеют весьма серьезные доводы, если они возражают против новых затрат на звездоплавание.

— Может быть, эта катастрофа?

— Нет, нет! Здесь что-то другое.

Около Павла собрались старые товарищи, которые прилетели сюда из разных концов СССР, чтобы пожать руку отважному пионеру межпланетного сообщения. Вспоминали годы далекого детства, вспоминали старых друзей, разлетевшихся во все концы Республики, и те старые города, где протекало детство.

— А помнишь маленького Бриза?

— Да, да, где он теперь?

— Ото, маленький Бриз теперь ворочает большими делами. Он еще удивит нас всех. Ты ничего не слышал о нем?

— Я понимаю, — сказал в раздумье Павел, — он носился с проектом усовершенствования электролизации почвы.

— За него эту работу выполнил Стокальский... Бриз имеет теперь лабораторию, которая призвана претворить идею получения электроэнергии из солнечного света в промышленную отрасль.

— Позволь, позволь, насколько мне помнится, в этой области работает Звезда.

— Ты все спутал. Она работает над проблемой передачи электроэнергии по радио. Между прочим, ее работа, кажется, близка к осуществлению.

— А помнишь Атома?

— А знаешь, чем занят сейчас Владимир? Помнишь его? Он еще картавил немного. Забыл?

— А Мафия помнишь?

— А Пермь? Ты был в этом городе после того, как уехал в Ленинград?

— Постой, постой,— потер лоб Павел, — и в самом деле: ведь я там не был лет пятнадцать. Вероятно, сильно изменился город?

— Ого! — засмеялся коренастый парень с обветренным лицом. — Ты уехал из Перми в те годы, когда Пермь была

захолустьем с одним миллионом населения. Посмотрел бы теперь, что стало там, где стояла Пермь. Она вобрала в себя и Мотовилиху, и Нижнюю и Верхнюю Курью. Шесть гигантских висячих мостов перекинулись через Каму, соединяя старую Пермь с новой, которая выросла на противоположном берегу. Право, тебе не мешает заглянуть в те края.

— А помнишь Егошиху? — спросил Павел.

— Ее уже нет. На месте этой речушки великолепное озеро, на берегах которого многочисленные кварталы соляриев и всяческой медицины. А в конце бетонная плотина и своя гидростанция.

— Воображаю, какой глубины должно быть озеро.

— Хо-хо!

Перед обедом все разлетелись в разные стороны, заручившись согласием Павла посетить вечером театр. С Павлом остались Майя и коренастый Шторм.

— А ты, Шторм, неважно выглядишь, — сказал Павел, всматриваясь в лицо товарища. — Ты чем-то огорчен? Тебя волнует что-то?

Шторм вздохнул:

— Ты прав. Я живу отвратительно. За последние годы я чувствую какую-то неудовлетворенность. Мне не хватает чего-то, а чего я и сам не знаю.

— Ты работаешь?

— Выполняю, как и все, общественно необходимую работу.

— И?

— Остальное время мечтаю!

— О чем?

— Трудно сказать... Меня волнуют неясные и тревожные мысли. Я ищу, но увы... Поиски мои безрезультатны.

— Старая человеческая болезнь! — нахмурился Павел. — Ты должен найти себя, и тогда все устроится отлично.

— Это верно, — вмешалась в разговор Майя, — в старину такие явления назывались томлением чувств, смятением чувств, лирической тоской или мечтательностью, как ты уже сказал. Происходило это в большинстве случаев от несварения желудка, от физического ослабления, а также и от

того, что в те далекие времена труд еще не был целительной медициной.

Шторм беспомощно развел руками:

— Я крепок и тружусь пять часов в неделю. Я занимаюсь спортом. Недурно летаю и... все же...

— У него другое, — сказал Павел, — но пусть он скажет, что его увлекает сейчас.

— Пока... мне кажется интересной живопись.

— Ты сказал «пока», иначе говоря: живопись интересует тебя временно. Вот это-то и плохо. Спроси Майю, она прекрасно знает старых людей, — разве не были несчастливы оттого, что они выполняли работу, игнорируя свои наклонности? Иному, как говорили раньше, на роду было написано работать ботаником, а он всю жизнь топтал землю с астролябией, считая временной и астролябию, и запутанные маршруты. Смутные мечтания были для него добродетелью. Угнетенное состояние духа являлось его попутчиком. Нет, Шторм, человек должен работать сообразно наклонностям, тогда труд превратится в волнующее и захватывающее творчество. Вот главный портной... возьми его примером...

— Но ты ведь сам переменил несколько профессий?

— Так что же? То, над чем я работал, поглощало меня всегда всецело. Я не мог думать ни о чем, кроме того, что делал.

— И все же...

— Чувствуя аппетит, я сажусь за стол, но, пообедав, я не нахожу больше причины сидеть за столом. Ты, Шторм, никогда, по-моему, не уживешься с живописью. Так же, как ты не ужился с литературой. Но знаменательны твои мечтания. Ты подсознательно стремишься к тому, что в некоторой степени отвечает твоим наклонностям. Организуя материал на полотне и на бумаге, ты только будешь удовлетворять свои организаторские способности. Я знаком с твоими книгами. В них порядок, строгий стиль, математически рассчитанная композиция и деревянные люди с деревянными чувствами. Я еще тогда понял: твое призвание быть организатором.

— Ты правильно сказал, — оживился Шторм, — но мир организован. Мне нужно было жить в двадцатых, тридцатых

годах. Я, кажется, немного опоздал родиться, — добавил он с грустью.

— Но ты слышал о грандиозных проектах Совета? И я о том, что бы ты сказал, если бы я предложил тебе организацию вторичного опыта с... С2?

— Молибден и другие против этого!

— Еще ничего не известно! — с жаром ответил Павел. — Помимо того — трое или четверо еще не Совет. Ну, а потом... если даже весь Совет выскажется против, мы попытаемся собрать голоса Республики. Итак?

— Я буду рад сотрудничать с тобой, — протянул руку Шторм, — и если Совет решит, я на другой же день становлюсь организатором... Ты веришь в возможность вторичной попытки?

— В старину говорили: *dum spiro spero**. Где мы обедаем? — обратился Павел к Майе. — Я хотел бы пообедать в общественной столовой вместе с будущим администратором С2.

— Нет, — покачала головой Майя, — Бойко считает для тебя необходимым до отправления в Город Отдыха обедать здесь... Я думаю, Шторм не станет протестовать против обеда здесь с нами?

— Опять Бойко, — поморщился Павел. — Он, как нарочно, запрещает мне то, что наиболее привлекательно.

— Но... Его опытность... Его известность...

— А что мне до того?! Известность... Соевая колбаса более известна, чем Бойко, однако никто еще не выдвинул ее кандидатуру в Совет ста!

— У тебя разыгрался аппетит, поэтому ты зол! — улыбнулась Майя. — Давайте лучше обедать!

---

* Пока я дышу, я надеюсь.

Глава третья

Был час, когда над городом очистилось небо. Аэроптеры исчезли, как будто их разметало ураганом. И только на головокружительной высоте мчались голубыми призрачными сигарами далекие дирижабли, и смутный гул моторов глухо перекатывался в ослепительной синеве.

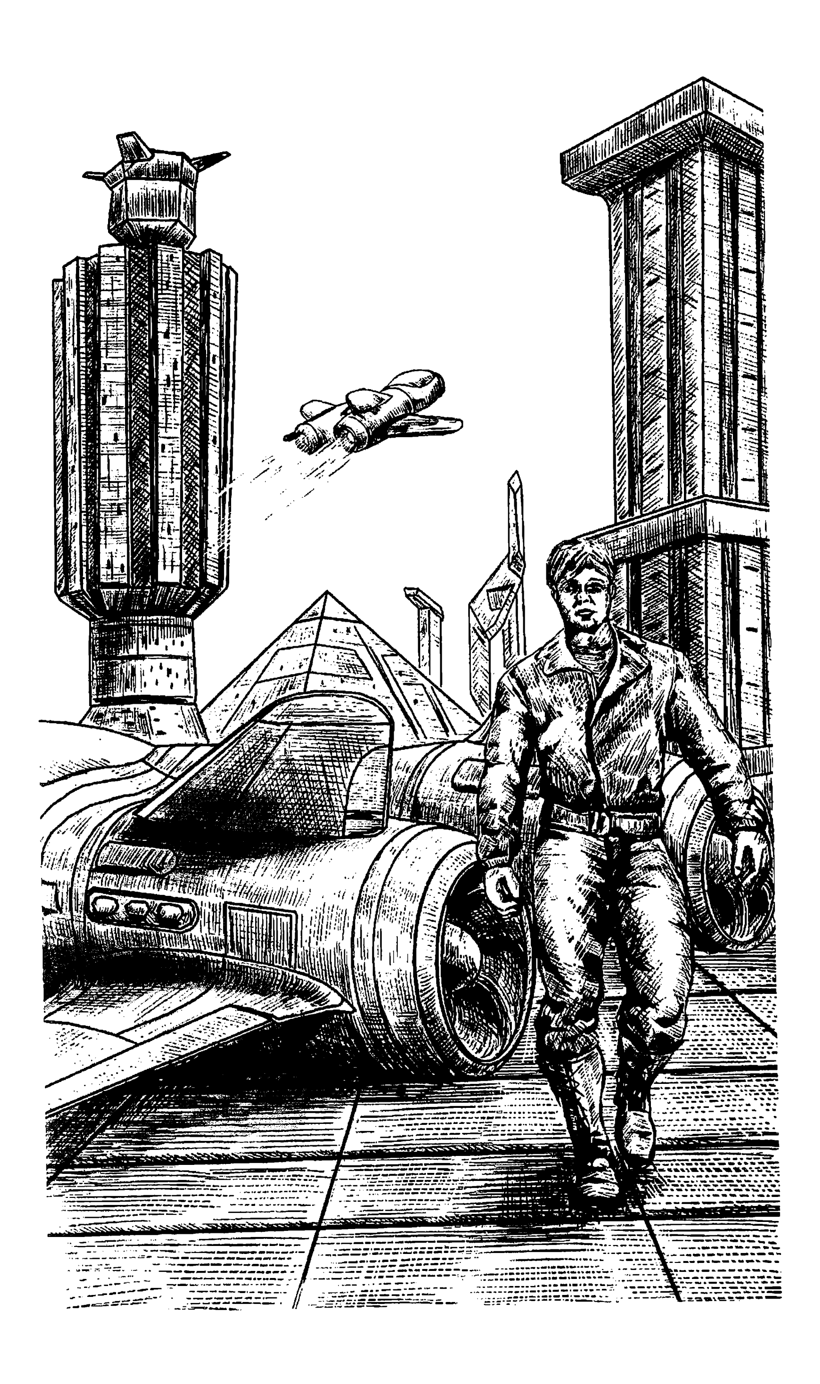
Затихли кольца административного центра, научных учреждений и аудиторий, исчезло движение в жилых районах, пусто стало в радиальных улицах-бульварах и кольцевых парках. Грохоча на мостах, проносились изредка пневматические поезда, как бы спеша догнать пролетевшие раньше передовые колонны.

Население города переселилось в этот час в сектор коммунального питания.

Там, где цепь искусственных озер замыкает кольцо городской черты, гремела музыка. Нестройный шум, крики, говор и смех, мешаясь с музыкой, летели над голубыми искрящимися под солнцем озерами. По берегам сквозь зелень густой листвы глядели в воду открытые веранды ресторанов, и белые скатерти столов отражались в синеве озер. Берега кишели народом. Доносился стук ножей, звон стаканов, взрывы хохота.

В обеденный час, когда магнитогорцы, оставив дела, сошлись поболтать за обедом с друзьями, посидеть и отдохнуть за беседой, над пустынным городом показался оранжевый аэроплан, цвет которого говорил о его экстренном назначении. Описав круг, аэроплан спустился на крышу воздушного вокзала, и тотчас же из кабины вышел человек, одетый в желтый кожаный костюм. Он уверенным шагом прошел под стеклянный навес и остановился перед огромной картой Магнитогорска.

На эбонитовой доске концентрическими кругами лежал распланированный город. Середину плана занимало кольцо административного центра, откуда радиальные бульвары-улицы разбегались в стороны, пронизывая кольцо научных аудиторий, институтов, университетов и академий и кольцо



публичных библиотек, музеев, читальных зал и дворцов для занятий, детского городка и больниц. Сплетение этих радиальных авеню в широких кольцах соприкасалось с кольцом огромных парков, садов отдыха, театров, концертных зал, телекинодворцов, спортивных площадок и гимнастических домов. Немного дальше голубой краской сверкало кольцо озер, с нанесенными светлыми кубами ресторанов, буфетов, закусочных, столовых, универсальных распределителей и огромных фабрик-кухонь. Широкая полоса, окрашенная в зеленую краску, — кольцевой парк, — опоясывала город, за чертой которого плотными квадратами лежали кольца жилых помещений, бассейнов и коммунальных бань, соприкасающиеся с хордой гигантских отелей для приезжающих. Все это было обведено широчайшим зеленым кольцом. Здесь город кончался. Самое последнее, значительно отдаленное от города кольцо — индустриальный пояс — лежало по краям эбонитовой черной доски, держа Магнитогорск в бетонных объятиях фабрик и заводов, гигантских механических прачечных и автоматических станций, транспортирующих по подземным дорогам все необходимое для города. В южном и северном углу краснели эллипсисы иногородных товарных вокзалов.

Человек в кожаном костюме скользнул взором по плану и, наклонившись, взял в руки автоматический путеводитель. Собственно говоря, искать пришлось недолго. Перед ним находился план, от которого планы других городов отличались разве что только размерами.

Отыскав в указателе то, что ему было нужно, он вставил путеводитель в гнездо, и тотчас же в третьем кольце вспыхнул крошечный фиолетовый огонек. Фонограф, расположенный с левой стороны городского плана, захрипел и несколько раз произнес:

— Юго-запад. Голубой дом с тремя верхними этажами из стекла. Единственная крыша с балюстрадами из розового мрамора.

Человек в кожаном костюме положил автопутеводитель в глубокую стеклянную нишу и быстрыми шагами направился к аэроплану.

Над пустынными улицами и парками просвистели крылья аэроптера, и спустя короткое время человек в кожаном костюме, пожимая руку Стельмаха, говорил:

— Если ты вылетишь сегодня ночью почтовым, ты будешь в Доллосах... приблизительно... в час.

— Он очень плох?

— Не сказал бы. Но... Впрочем, ты его увидишь завтра сам! Прощай!

— Прощай, — сказал опечаленный Павел, — я извещу его сегодня же о своем приезде!

— Мне думается, этого не нужно делать! Годы сильно разрушили его слух и зрение. Вряд ли ты сумеешь переговорить с ним! — добавил человек в кожаном костюме, прощаясь с Павлом.

— Хорошо, — сказал Павел, — ночью я вылетаю!

В раздумье он подошел к радиотелефору. Остановившись перед жемчужно-матовым ромбом, он включил аппарат и громко произнес:

— Бойко! Ты слышишь меня?.. Бойко!

Ромб побледнел. По гладкой его поверхности пронеслись голубые искры; потом края наполнились неясными туманными пятнами.

Павел повернул регулятор. Пятна на ромбе слились в очертания человеческой головы. Еще поворот — и в ромбе всплыло мертвое лицо Бойко.

— Ну? — сказал глухой голос.

— Ты видишь меня? — спросил Павел.

— Да... Стельмах?.. Что ты хочешь от меня?

Павел передал свой разговор с человеком в кожаном костюме.

— Ты понимаешь, конечно, я должен присутствовать при этом!

Бойко помолчал.

— Открой рот, — сказал он после непродолжительного молчания.

Павел повиновался.

— Шире! Так!.. Ты не чувствуешь боли в шейных мускулах?

— Нет!

— Подними руки вверх.

Павел поднял руки вверх.

— Теперь, когда я скажу «раз», ты с силой опустишь руки вниз и одновременно сделаешь глубокий выдох. Ну? Р-раз!

Руки Павла быстрой тенью мелькнули по ромбу. Резкая боль в груди заставила Павла простонать.

— Сильная боль? Что?

— М-ль.. Н-нет... Пустяки! — сквозь зубы процедил Павел.

Бойко, прищурив глаза, беззвучно пошевелил губами.

Наступило молчание.

Сухое мерное потрескивание радиотелефора вплеталось в глухой гул вентиляторов. Где-то за стеной печально звенели рофотаторы. Голова Бойко медленно закачалась в рамках ромба. Взглянув на Павла, Бойко сказал:

— Ты еще не совсем здоров, но если будешь осторожен, то это небольшое путешествие не повредит тебе. Постарайся сохранить спокойствие. Даже в том случае... Словом, ты понимаешь, о чем я говорю!

— Значит?

— Я не вправе отказать тебе! Все?

— Да!

— Прощай! Не забудь выключиться!

Ромб потускнел.

* * *

Редакция газеты «Проблемы» помещалась в тихом кольце библиотек, читальных зал и кабинетов для занятий. Мягкая торцовая мостовая сторожила тишину этого сектора, где бесшумно проносились редкие авто и, точно тени, скользили люди.

Шагая по беззвучным тротуарам, Павел рассматривал сквозь гигантские стекла людей, склонившихся над столами, переносясь мысленно в те далекие годы, когда и сам он просиживал долгие часы в таких же залах, беседуя с мудростью минувших веков. Все, что тысячелетиями собирало по крохам человечество, все их гипотезы и мечтания, порывы и вы-

числения, их радости и огорчения, — все это, размещенное в строгом порядке в стеклянных шкапах, было предметом изучения упорных и долгих лет.

Да, именно здесь, в этом величайшем арсенале человеческой мысли Павел получил надежное вооружение и ключ к познанию мира. В обществе мудрых он работал над потрясающим изобретением, которое создало ему популярность в Республике, дало ему самое прекрасное из человеческих чувств — сознание того, что он необходим для общества, что жизнь его ценна для миллионов.

Погруженный в размышления, он не заметил, как дошел до редакции газеты.

* * *

Стельмаха ждали.

В светлом кабинете редактора сидело несколько человек, которые при появлении Павла встали, сердечно приветствуя его.

— Как будто заговорщики все в сборе, — сказал высокий светловолосый человек, — может быть начнем, Нефелин?

Редактор прикрыл ресницами огромные глаза.

— Можно начать. Но если собравшиеся не возражают и если, что более всего важно, у присутствующих есть свободный час, я просил бы подождать. Несколько минут назад я получил сообщение о желании москвичей и ленинградцев присутствовать на этом собрании.

— Когда же они прибудут?

— Я договорился с ними. Они здесь будут через час!

— Как? Они намерены воспользоваться воздушной железной дорогой?

— Разумеется! Да это и не так уж опасно, как многие думают. Я пользовался этим средством передвижения и, как видите, ничего, жив и здоров. Ощущение, конечно, не из обычных. Но и только.

— Так что же? — снова спросил Нефелин. — Будем ждать?

— Было бы невежливо начинать без людей, рискующих ради заседания ребрами.

— Конечно ждать!

— В честь храбрецов предлагаю пожертвовать по часу!

— Прекрасно!

Нефелин встал и подошел к Павлу.

— Если хочешь, я покажу тебе репортерскую. Ты ведь, кажется, интересовался когда-то работой газет? — И Нефелин взял его под руку.

* * *

Они вошли в огромный полутемный зал.

Темные кабины амфитеатром поднимались к черному своду, напоминавшему опрокинутую гигантскую чашу.

Мерцающие в полумраке медные перила лестниц тянулись вверх и пропадали где-то высоко под сводом в густых чернилах мрака.

— Здесь подъем! — предупредительно сказал Нефелин, помогая Павлу пройти к кабинам.

В полной тишине они поднялись по лестнице в репортерскую и, толкнув дверь одной из кабин, вошли в полукруг, полный фиолетового света.

Первое, что бросилось в глаза Павлу, был экран, который струился фиолетовыми огнями. Потом Павел увидел стол и за столом фигуру человека.

— Как дела, Яхонт?

Человек за столом, не поворачивая головы, буркнул:

— Ловлю Керчь, но она ускользает, точно вода между пальцев.

— Что-нибудь интересное?

— Интересное? Не знаю. Я хотел только посмотреть, как поживает нефть в Джарджавах.

— Она еще идет?

— Вряд ли, но я все-таки должен убедиться в этом.

— Со мною Стельмах. Он хотел бы познакомиться с репортажем.

— А-а Павел Стельмах? Привет, привет! — сказал Яхонт, не поворачивая головы. — Ну вот, может быть, с твоим приходом дело пойдет лучше. Хотя должен сказать, моя линия весьма капризная.

Разговаривая, он сновал руками по столу, работая на системе выключателей, как на пианино.

— Между прочим, — сказал Павел, — как это, может быть, ни странно, однако я до сего времени не удосужился познакомиться с устройством телефотоприемников.

— Как? — удивился Нефелин. — Ты не знаешь таких пустяков?

— Представь себе!

— Но ведь это же проще автомобиля...

— И однако... Впрочем, принципы устройства телефотоприемников мне знакомы по школе. Помню, что вся суть заключается в быстро вращающейся оптической системе, которая отбрасывает изображение наблюдаемого предмета на экран, причем оптическая система устраивается так, чтобы изображение все время смещалось в перпендикулярном движению направлении, пробегая по фотоэлементу, который помещается за экраном.

— Ну, ты прав, — хлопнул его по плечу Нефелин, — ты действительно не знаком с устройством телефото. Так эти аппараты работали много лет назад. Сигналы, которые дает фотоэлемент, настолько слабы, что даже при помощи мощных радиотелеграфных усилителей можно было производить наблюдения лишь в пределах небольшой комнаты.

Принцип работы наших приемников иной. Та оптическая система, которая раньше отбрасывала изображение предмета на фотоэлемент, в новом ее приложении сама служит для освещения предметов. Объекты же передачи освещаются острым, ослепительно-ярким лучом, который обегает всю поверхность объекта, отбрасывая рассеянный свет на батарею больших фотоэлементов, соединенных параллелью. Ты, конечно, понимаешь, что импульсы при таком устройстве гораздо сильнее, они легче поддаются усилению и без труда могут быть переданы в линию.

— Ну, это приблизительно то же самое. Меня более всего интересует техника приема. Вот здесь-то уж я полный невежда.

— Прием так же прост, как и передача. Поступающие на приемную станцию электрические токи трансформируются

в световые пятна, которые располагаются на экране в таком же порядке, как они были на освещенном объекте. Это достигается при помощи неоновых ламп, поставленных в фокусе оптической системы аппарата. Теперь представь себе, что механизмы оптических систем приемной и передающей станций движутся совершенно синхронно...

— Линии совпадают и...

— Совершенно верно! — подхватил Нефелин. — Я удивляюсь, как ты не знал этого. Ведь это же стариннейший аппарат. Первые опыты телевидения по этой системе были осуществлены телефонной компанией Белля в Нью-Йорке в 1927 году. Правда, последние годы внесли в передачу и прием ряд весьма существенных изменений, но принцип действия остался тот же.

Во время этого разговора на полупрозрачном экране скользнули темные тени.

— Поймал! — вскричал Яхонт.

Фиолетовый свет потух.

Полупрозрачный экран потускнел, но тотчас же засветился снова, и перед глазами всплыли знакомые очертания Керчи — промышленного центра старого Крыма.

По экрану проплыли длинные корпуса йодных заводов, бетонные громады заводов химикалия, фабрики минерального мыла, консервные заводы, рыбные промыслы, заводы строительных материалов, химические и металлургические заводы.

Экран, пронизывая пространство, мчался сквозь ряды промышленных колец.

Вдали показались дымы над судостроительной верфью. Яхонт сделал переключение, и по экрану промелькнул гигантский 60-километровый акведук, переброшенный через голубой пролив.

Новое переключение понесло экран по хлопковым и табачным плантациям. Быстро пронеслись санатории-отели грязелечебниц.

— Стоп!

Экран, как бы вздрогнув, остановился. На полупрозрачной поверхности медленно потянулись черные нефтяные промыслы Джарджавы.

— Дай крупный план! — сказал Нефелин.

Яхонт повернул выключатель. Но тотчас же фиолетовый свет брызнул по экрану, и телефото прекратило прием.

— Седьмой раз сегодня! — с досадой произнес Яхонт. — Только-только поймаешь и вот на самом интересном месте — обрыв.

Нефелин взял Павла под руку.

— Ладно, лови! Мы пойдем посмотрим другие линии.

Переходя из кабины в кабину, где репортеры неутомимо ловили события и тут же составляли отчеты о виденном, Павел не мог отделаться от странного, волнующего впечатления. Ему казалось, что из темного зала репортерской он глядел телескопическими бесстрастными глазами на мир, открывая, точно клапаны, один глаз за другим.

Уловив его настроение, Нефелин сказал:

— Первые дни работы в репортерской оставляют сильное впечатление. У меня было такое чувство, как будто, оставив где-то все туловище, я воткнул сюда гигантскую голову и рассматриваю человеческий муравейник. Но это ощущение быстро пропадает.

Они вошли в кабину северных линий.

На экране, перед которым сидел репортер, тянулись водные пространства. Прекрасные города теснились по берегам. Пароходы, катера, моторные боты, шхуны и парусные лодки сновали по реке, и белые клубы дымков распускались ватными цветами над водной поверхностью. Вздымая волны, мчались быстрые глиссеры. Легкие байдарки пробирались в этом живом лабиринте бортов, ловко лавируя и прыгая на волнах.

— Новосибирск? — спросил Стельмах.

— Ангароград! — ответил Нефелин.

— Как? Это Ангароград? Я не предполагал, что он...

— Так вырос? Но если ты не веришь — получай доказательства! Неон, дай гидростанцию!

Человек за столом сделал переключение. Город перевернулся и боком вышел из плана. На экране взлетело циклопическое здание. Оно — точно руку — протянуло поперек

Ангары величественную плотину, властно взнуздав реку бетоном и турбинами*.

— Узнал?

— Теперь да! Но лет пятнадцать назад, когда я осматривал Ангарскую гидростанцию, здесь был захолустный город.

— Мало ли что было! — пожал плечами Нефелин. — В 1928 году берега Ангары и вовсе были пустынны.

— Но все-таки...

— В этом нет ничего удивительного. Уже один Ангарский комбинат с его электролитными и металлургическими заводами вызвал к жизни обширнейший город. А с тех пор как были пущены гидростанции Малая Ангара и Мунку-Сардык на Иркуте, этот район в несколько лет перегнал крупнейшие города Республики. Большое значение на развитие этого края оказал, конечно, Черемховский угольный бассейн и богатейшие выходы богхедов. Как видишь, здесь крепким узлом увязаны нефть из богхедов, уголь, дешевая электроэнергия и прекрасное водное сообщение с месторождениями руды. Теперь понятен тебе необычайный рост в этом районе металлургических и машиностроительных заводов? Ну, а там, где индустрия, естественно возникают и города.

— Как я отстал, — задумчиво произнес Павел. — Я вижу, что за годы работы в сферическом гараже Республика стала для меня прекрасной незнакомкой.

— Я хотя и не вижу в этом большой опасности, однако мне кажется, что нашим ученым не вредно было бы читать газеты повнимательнее.

— А время? Время? — возразил Павел. — Человеку так мало отпущено жизни на земле и так много задач он должен разрешить за короткий срок своего существования, что, право, порою не знаешь, что же в данный момент наиболее важно для тебя. Иногда, думая о прошлом человека, когда половину дня он отдавал производству, я прихожу к выводу, что у людей тогда все-таки было больше времени познавать.

---

* Ангарская гидростанция, построенная по плану второй пятилетки, превосходит своей мощностью Днепрострой в 12 раз. Энергия дешевле днепровской в три раза.

Мы же, работая для Республики всего лишь 20 часов в месяц, не имеем времени, чтобы знать даже половину того, что крайне необходимо для нас.

— Ты прав, — согласился Нефелин, — но все это является результатом консерватизма! Мы сами виноваты в этом!

— В чем? — удивился Павел. — В появлении новых отраслей знаний? В том, что человечество оставило нам огромное культурное имущество? Вот, право, забавный парадокс. Жгите фабрики-кухни в благодарность за обеды!?

— Шутишь? А я серьезно думал над этим вопросом. Взгляни на книжные шкапы наших библиотек! — воскликнул Нефелин. — Какое неисчерпаемое богатство мыслей заключено в миллионы томов. Как жизненно необходимо для каждого из нас знать эти сокровища. Какие потрясающие ассоциации возникают, когда ты беседуешь с мудрецами прошлых веков. Но взгляни, на кого мы похожи перед этим океаном мудрости! С непостижимым легкомыслием мы сидим и чайной ложечкой пытаемся вычерпать это море...

— Ты предлагаешь?..

— Да, я предлагаю, — с жаром подхватил Нефелин, — я предлагаю титаническую работу. Я считаю необходимым устроить в библиотеках кровавую революцию. Старым книгам следует дать бой. Да, да! Без крови здесь не обойдется. Придется резать и Аристотеля и Гегеля, Павлова и Менделеева, Хвольсона и Тимирязева. Увы, без кровопролития не обойтись. Моя кровожадность не остановится даже перед Лениным и Марксом. Сталин? Придется пострадать и ему! Всех, всех! Феликса, Иванова, Отто, Катишь, Энгеля, Панферова, Бариллия Фроман, Лию Коган, всех новых и старых под нож! С армией стенографистов я хотел бы ворваться в библиотеки и выпотрошить наши книжные шкапы. Там, где стоит тонна книг, после сражения должно остаться пять-шесть тетрадок стенографической записи. Павел, ты понимаешь меня? Тощие коровы стенографии пожирают толстых старой техники.

— Да, да! — с удивлением произнес Стельмах. — Это изумительный выход из положения. Но не кажется ли тебе,

что расшифровка стенографии будет отнимать не меньше времени, чем обыкновенное чтение?

— Ничуть! Все дело привычки, и при известной тренировке мы могли бы читать застенографированное так же свободно, как читаем сейчас обычный набор. Я не предвижу препятствий. Все мы еще в школьном возрасте изучали стенографию порядочно. При небольшой тренировке и при известном желании, конечно, каждый воспринимал бы не только смысл, но даже интонации автора, настроения произведений и тончайшие нюансы мысли. Ты представляешь, какое огромное количество времени можно было бы сэкономить на этом. А газеты? На чтение их тратилось бы не более пятнадцати минут. Я не говорю уже о колоссальной экономии на бумаге, на техническом оформлении, на транспортировании. Все это пустяки по сравнению с теми удобствами, которые должна дать стенографическая газета.

— И человеческая жизнь, — подхватил Павел, — увеличивается таким образом в два-три раза. В тридцать лет человек будет знать все, что заключено в переплеты миллионов книг. И в самом деле, разве может сказать кто-нибудь, даже столетний старец, что не было мысли на земле, которая не зарегистрирована в его мозгах? Ты гениален, Нефелин, — смеясь, добавил Павел, — но тебе следовало бы поторопиться прийти в этот мир.

— Пагубное стечение обстоятельств, — засмеялся Нефелин. — Но тебе еще не надоело?

— Нет, нет. Я охотно знакомлюсь с Республикой.

Переходя из кабины в кабину, Павел с интересом слушал объяснения Нефелина, чувствуя в то же время, как отстал он от жизни за последние годы своей работы.

Поглощенный работами в сферическом гараже над звездопланом и организацией полета, который так печально окончился, Павел почти не интересовался строительством в Республике, и теперь, совершая чудесное путешествие по городам СССР, он с удивлением всматривался в то, что казалось ему уже известным.

Особенно удивлял его могучий расцвет окраин, которые он хорошо знал по школьным экскурсиям. Он вспомнил

годы далекого детства, когда с веселой ватагой товарищей кочевал он из города в город, осматривая с географом хозяйство страны. Но как неузнаваема стала Республика.

Сквозь полупризрачный экран, точно через окно фантастического поезда, летящего через горы, через реки, над лесами, городами, Павел видел промыслы, промышленные районы, старые моря и заливы, гавани и порты, однако все это было теперь иным, мало похожим на то, что видел он когда-то.

Давно ли вот здесь, на этой Камчатке, что плывет перед глазами по экрану, вот в этой бухте Корфу высились эстакады, и горы каменного угля, точно живые, ползли по чудовищному конвейеру. И как все это не похоже на то, что Павел видел теперь на экране.

Развитие промышленности Камчатки завершило свой круг. Заброшенные эстакады и шахты проплывали перед глазами живыми свидетелями бурной когда-то промышленной жизни края. Втянутый в индустриальное хозяйство Республики во второй пятилетке социалистического строительства, край быстро расцвел, но так же быстро и закончил свое индустриальное существование.

— Видишь, — кивнул головой Нефелин, — опустошенная Камчатка голосует против твоих опытов.

— Ты что-нибудь знаешь? — с тревогой спросил Павел.

— Газета должна все знать.

— Значит, Совет готовит бой по вопросам энергетики?

— Это наше предположение. Во всяком случае мы сейчас собираем материал. Нас интересует, насколько истощены районы, поставляющие топливо.

— Донбасс?

— Не только Донбасс. С ним дело конченное. Еще пяток лет, и бывший титан будет вычеркнут из энергетического хозяйства окончательно. Дело не в этом инвалиде индустрии, тем более что уголь давно не имеет того решающего значения, как это было некогда. Вопрос серьезнее. Опустошены нефтепромысла Камчатки, Джарджавы, Урала и Кавказа. К концу подходят запасы сапропелита. Угольные бассейны выбывают из хозяйства один за другим. И вот — Черемхов-

ский бассейн, богхеды и Кузбасс уже кандидаты на мобилизацию. Сейчас один лишь Норильский угольный бассейн находится в рассвете сил. Но бурный рост промышленности может истощить даже Норильские залежи угля.

— Когда это будет? — усомнился Павел.

— Быстрее, чем произошло очищение утробы Донбасса или вот этой Камчатки. Впрочем, Камчатка не обижается.

С этими словами Нефелин кивнул головой на экран.

Точно живой кустарник, проплывали поля оленьих рогов.

В заливах качались плавучие краболовы. Флотилии тралеров, черпая бортами воду, спешили с богатым уловом к бесчисленным консервным заводам.

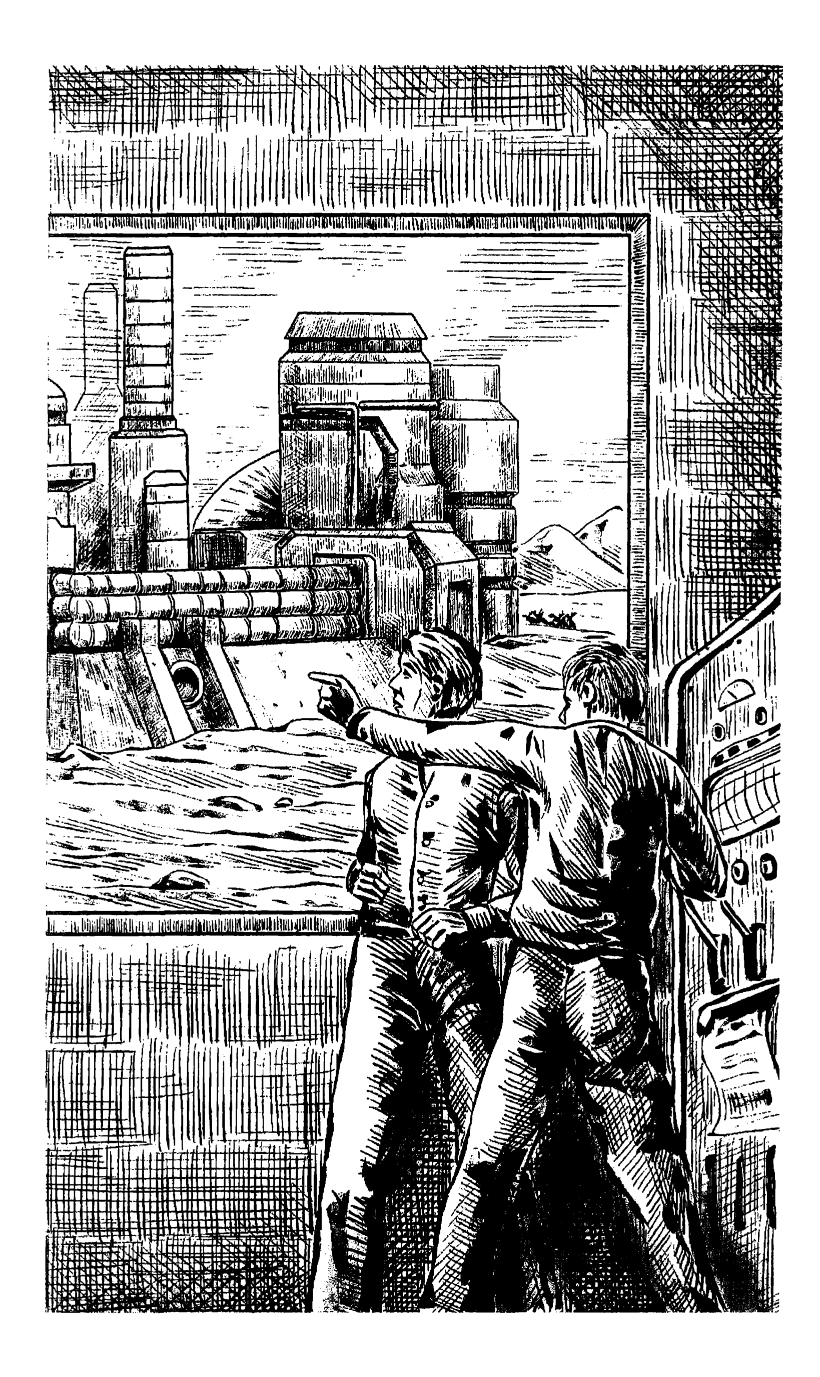
— Камчатка имела дикое детство и блестящую головокружительную карьеру в юности. Теперь она старательно и добросовестно исправляет грехи молодости, если, конечно, роман с каменным углем можно считать ошибкой... Ты не находишь, что она стала прекраснее? — спросил Нефелин, указывая на стройные, вытянувшиеся вдоль берега проспекты рыбных и крабоконсервных заводов, на тысячи тралеров, на пароходы и транспортеры-рефрижераторы, на бесчисленные моторные боты, как бы обступившие берега для яростного штурма.

Засолочные пункты, многочисленные оленьи стада, рассадники и питомники пушного зверя, заводы, рефрижераторы, города и промыслы летели перед глазами, свидетельствуя о необычайной мощи когда-то угрюмого края.

— Какое богатство! — восхищался Павел. — Это, пожалуй, стоит и угля, и нефти, и золота.

Как очарованный, бродил он по кабинам северных линий, не будучи в силах оторваться от картин, развертывающихся на экране.

— Ты знаешь, — сказал он Нефелину, — только теперь, вот в этих кабинах, я понял психологию пушкинского скупого рыцаря. Ты, конечно, помнишь его страсть и его разговоры с золотом, когда он долгие часы сидел над полными сундуками и любовался накопленным богатством. В детстве я не понимал этих чувств, сейчас я начинаю понимать его.



Но только я значительно богаче пушкинского скупца. У того были сундуки, у меня — золотые куски планеты.

— Я не знал, — засмеялся Нефелин, — что ты можешь говорить так пышно.

Они стояли теперь в кабине Мурманской линии. По экрану бежали:

Города.

Оленьи стада.

Бурные реки.

Гидростанции.

Голые скалы горных хребтов.

Неожиданные озера блестели сквозь чащу елей. Рыбоводные заводы теснились по берегам. Ледяные горные реки кипели бешеной пеной. И бескрайным океаном тянулись дренажированные болота.

Окутанная туманом, на экране поплыла вершина Кукисвумчора. Точно безмолвный страж хибинской тундры, гора апатита поплыла над голубым спокойствием озера Большой Вудьявор, над концентрическим кольцом шумного города, над химическими, стекольными и алюминиевыми заводами, раскинутыми у подножья горы.

Промелькнула Лопарская долина, кипящая движением бесчисленных маневренных электровозов. Над горами, — кажущимися хрустальными под полунощным солнцем, — над зеленью елей прошли белые эшелоны облаков. Сквозь чащу леса мелькнули горные санатории. Потянулись сдобренные зеленой апатитовой мукой плодородные поля большеземельной тундры. Проплыли агрогорода, снабжающие полярный край сельскохозяйственной продукцией. И опять замелькали:

Оленьи стада совхозов.

Сиянье неожиданных озер.

Лесные комбинаты.

Бурные реки.

Гидроэлектрические станции.

Асфальтовое зеркальное шоссе, воздушные мосты через реки и паутина электромагистралей в тундре говорили о близости большого города.

Все чаще и чаще попадали в фокус экрана приземистые гидростанции.

Тускло сверкнуло море. И Павлу показалось, что в лицо ему ударил острый соленый запах воды.

— Мурманск! — взволнованно сказал Павел. — Город, в котором созрело мое решение работать над звездопланом.

Туча орнитоптеров закрыла экран. Нефелин кинулся к переключателям.

— Куда? Куда? — закричал он.

Экран, как бы вздрогнув, поплыл над небоскребами столицы Полярного круга. Павел жадными глазами смотрел на широкие проспекты, кишащие народом, на обширные площади, на стройную линию бесчисленных отелей-небоскребов, и в памяти его встало волнующее воспоминание о недавних годах, проведенных в этом изумительном городе.

Порт. Дремучие леса мачт и дымящихся труб.

Сердце Павла учащенно забилось.

Здесь, среди этой шумной разноязычной массы людей, бродил он когда-то в великом смятении. То были дни, которые посещают человека в период зрелости. Дни, которые приносят человеку сомнения в полезности собственного существования. Холодные и бесстрастные, они входят в сознание, точно суровые судьи, и задают вопрос:

«А что ты сделал, чтобы оплатить счет за блага, которыми ты пользуешься? Имеешь ли ты право ходить среди этих здоровых и веселых людей, потративших столько забот на твое воспитание? Не паразит ли ты?.. Не прячь глаза! Отвечай! Будь честен! Мы тебя видим насквозь. Мы читаем твои мысли. Ты думаешь, пять часов в неделю общественно полезного труда достаточно, чтобы спокойно ходить среди людей?.. Слышал ли ты хоть раз, чтобы кто-нибудь одобрил и отличил твою жизнь? Человек бессмертен делами. Он входит в вечность и живет века. А ты? Смерть твоя — твой конец. Ты умрешь, как животное. И никто над урной твоей не скажет: слава ему, он был другом человека».

Тогда Павлу казалось, что он не больше как жалкий выродок, и было стыдно глядеть в глаза людей, которые так дружески смотрели на него и доверчиво с ним разговарива-

ли. В глубине сознания ворочались тяжелые мысли о собственном ничтожестве; было противно быть малюсенькой незаметной букашкой, ему хотелось выть и биться головой о камни.

Он жил в столице Полярного круга в эпоху великих работ. По берегу залива возникали тогда гигантские холодильники, рыбоконсервные заводы и вырастали промышленные проспекты. Паутина транзитных дорог захватывала порт в свои путы, подбираясь к нему с юга, с востока и запада. Город рос с фантастической быстротой. Павлу случалось видеть, как ночью при свете прожекторов хлопотливо суетились люди и стальные хоботы кранов скользили в неестественном свете над пустырем, а утром на этом месте он находил бетонную глыбу здания.

Да, на его глазах... Мурманск обогнал теперь уже многие города Республики. Транзитный порт превратился в огромный столичный город полярного края с двухмиллионным населением и кипел жизнью.

Этот бурный рост сделал Павла счастливым. Именно тогда у него возникли неоформленные мысли о новых городах, которые не могли бы уже найти для себя места на земле. Он совершенно ясно вспомнил тот час, когда к нему ворвались смелые, новые мысли, бросившие его в жар.

«Смотри, смотри! Ты не успел износить ботинок, как люди уже построили целый город. Что же будет, когда износится твое платье? А через десять лет? А через пятьдесят, когда износится твое тело?

Люди торопятся родиться, но никто не торопится умирать. И будет день, когда человечество встанет плечом к плечу и покроет планету сплошной толпой».

Еще яростнее забились горячие и смелые мысли.

«Земля ограничена возможностями... Выход — в колонизации планет. Да, да!.. Десять, двести, триста лет... В конце концов ясно одно: дни великого переселения человечества придут. Они не за горами!»

В ночном небе, осыпанном мерцающими звездами, чертили огненные полосы метеоры, но в разгоряченном мозгу Павла они казались летающими с планеты на планету сфе-

рическими снарядами, в которых люди неведомых и неисследованных Землею миров переносились из края в край необъятной Вселенной.

— Что знаем мы, люди с тысячелетней культурой? А может быть... почему это невозможно? Кто сказал, что это метеоры, а не огненный путь межпланетных экспрессов?

— Ты что-то вспомнил? — спросил Нефелин.

— Рождение идеи!

— А-а!.. Приятные воспоминания — украшение старости. Но к сожалению, тебе придется прекратить занятия. Мы находимся в репортерской почти час и...

— Возможно, что нас ожидают! — закончил Павел.

— Ты не лишен сообразительности! — пошутил Нефелин.

* * *

В полумраке кабинета редактора светилось огромное окно, и в стеклах плясали столбы электрического пожара. Дрожащий свет переливался в сиреневом разливе сумерек, и в полумгле дремали холеные латании и филодендроны. От голубого света неоновых ламп, заглядывающих с улицы в окна, их длинные листья казались чудовищными, качаясь, они бросали на темные фигуры собравшихся фантастические черные полосы.

Громкий смех собравшихся в кабинете свидетельствовал о веселом настроении людей, которые, как видно, не привыкли скучать.

Откинув тяжелую портьеру, Нефелин вскричал весело:

— Свету! Свету больше! Эй, кто там у цветов? Поверни рубильник!

В темноте с шумом отодвинули кресло, затем послышался легкий треск, и матовые неоновые лампы залили кабинет мягким светом.

— Все ли в сборе? — спросил Нефелин, пробираясь между кресел, шагая через вытянутые ноги.

Собравшиеся переглянулись.

— Как будто все! — откликнулся человек с круглым, блестящим черепом.

— Совет ста, — начал Нефелин без лишних предисловий, — готовит большие проекты. Судя по нашим сведениям, осенью мы будем обсуждать вопросы энергетического хозяйства... Картина сессии для нас уже ясна. Молибден поставит население Республики в известность о свертывании работ в некоторых промышленных топливоцентрах. Прохин развернет безотрадные перспективы этого вопроса. Гольдин будет взывать к порыву и к прочим благородным чувствам. Результатом выступлений будет решение о переброске наличных возможностей для лабораторных работ и опытов, на поощрение изысканий новых источников энергии. И если мы не ошибаемся в наших предположениях, на этой сессии пышно похоронят ассигнования на продолжение работы Стельмаха... Мы, собравшиеся здесь, как представители многомиллионной массы членов «Звездного клуба», должны быть готовы к свертыванию наших мечтаний. Перед нами проблема: быть или не быть? И если Совет ста застанет нас врасплох, наш клуб выбывает надолго из строя, мечты будут пересыпаны нафталином и нам останется одно: посыпать головы пеплом и в строго определенные дни скулить и хныкать о погребенных надеждах.

— Мне кажется все это странным, — прервал речь Нефелина человек с блестящим черепом, — и я думаю, это покажется странным не только мне. Я считаю, что как бы ни были велики ассигнования на разрешение энергетической проблемы (если вопрос стоит именно так), Республика все же могла бы без особого напряжения утвердить также и ассигнования для работы над звездопланом. Разве для этого потребуется так много материалов и энергии? Почему нельзя вести изыскательные работы одновременно в двух областях?

Нефелин побарабанил по столу пальцами, огромные насмешливые глаза его потускнели; взгляд стал серьезным, усталым.

— Я буду говорить, как думаю.

Он помолчал немного, как бы собирая свои мысли.

— Совет ста прав! Нам угрожает величайшая опасность. Мы стоим перед лицом катастрофического свертывания угольной и нефтяной промышленности. Собранные редак-

цией сведения говорят о мудрости Совета ста, о своевременности выдвижения этого вопроса. Умалять значение топливной проблемы не приходится. Тысячу раз прав Совет, если перебросит все ресурсы для изыскания новых источников энергии. И если бы для разрешения топливной проблемы потребовалась мобилизация внимания всей общественности, если бы Совет сказал: «Во имя энергетики забудем на время другие проблемы, в том числе и звездоплавание», — я голосовал бы «за». С великим огорчением, правда, но все же голосовал бы «за».

Однако не так стоит вопрос.

Вы знаете, как, впрочем, знают сейчас об этом даже дети, что Стельмаху с его опытами грозит опасность быть выведенным из бюджета Республики. Но никто не знает истинной причины, чем вызвано это. Противники опытов междупланетного полета ведут свою линию искусно. Я не уверен даже в том, что Совет ста будет обсуждать вопросы энергетики. Как знать! Может быть, Совет выступит с проектами других, еще более грандиозных проблем. Я знаю одно: в Совете ста имеются люди консервативных взглядов и эти люди возглавляются Молибденом и Коганом. Они плетут хитрейшую паутину для Стельмаха. Беседуя как-то со мной, Коган сказал: «Стельмаха надо разгрузить от больных фантазий...» Эта фраза не случайна. В Совете ста найдутся и другие, которые с тихой радостью провалят и Стельмаха, и его работы...

В общих чертах картина такова.

Совет подготовляет для обсуждения грандиознейший проект. Судя по многим признакам, это проект преобразования энергетического хозяйства.

Дальше.

Проект вносит смятение. Совет собирает голоса. Утверждает бюджет. Упраздняет Стельмаха под благовидным предлогом, который, несомненно, будет блестяще изложен. Консерваторы предаются необузданному восторгу. Молибден будет накручивать бороду на палец и радоваться, что он, Коган и другие спасли Республику от беспочвенных мечтаний. Однако, чтобы картина была яснее, я скажу не-

сколько слов о причинах борьбы с опытом межпланетного полета. Тут все дело заключается в Когане и Молибдене с их ненавистью ко всему, что выходит за пределы Земли. Дети практического века, выросшие в обстановке суровой борьбы за утверждение социалистического общества, они боятся, как бы нездоровые фантазии не оторвали нас от земных интересов, боятся, как бы опыты Стельмаха не толкнули миллионы на прожектерство. Они полагают, что все это лишь разновидность маниловщины, губительнейшая фанаберия, опасное мечтание. Молибден любит повторять: «Нечего на звезды смотреть, на Земле работы много...»

Очевидно, они полагают: если Стельмах получит поощрение, миллионы других мечтателей бросят свои непосредственные дела и займутся изготовлением костюмов для межпланетных сообщений или начнут разрабатывать технику этического поведения земных жителей на других планетах. Человечество начнет фабриковать всяческие нелепости, и жизнь на Земле повернет свое историческое течение вспять.

— Это верно, — подхватила девушка атлетического сложения, — Молибдена и его друзей я знаю. Нефелин не преувеличивает. Я хотела бы отметить их влияние в Совете ста. Нам, товарищи, не надо забывать, что Коган был когда-то членом ЦК комсомола. (Надеюсь, вы знаете о величайшей роли этой организации в те времена.) Как участник строительства той героической эпохи, он пользуется безграничным влиянием в Совете. Беда в том, что Когана отождествляют с его эпохой. Когда он говорит, у многих создается впечатление, что его устами говорит эпоха, перед которой мы все благоговеем с детства.

— Ты предлагаешь?

— Отделить Когана от его эпохи.

— Практически?

— Трудно сказать, как это сделать. Может быть, уместно поднять дискуссию о специфических задачах веков, а может быть, еще лучше поднять вопрос о консерватизме как о характерной черте старости.

— Ты предлагаешь посеять недоверие к старикам?

— Не совсем так, — ответила девушка, — я хочу воздействовать на них... Вот старый человек, — говорим мы, — вот его точно очерченные цели и нормы жизни, вот эпоха, аплодирующая этому человеку, и вот новый мир, который поднимается рядом и громко говорит: не только это, но и другое. Этот новый мир выводит старого человека из терпения. «Как? — возмущается он. — Разве этих благородных задач недостаточно для твоего счастья? Куда ты рвешься? Зачем ты лезешь на крутые тропы, когда мы проложили для тебя широкие пути?» Нужно показать молодость, которую гонит на обрывистые подъемы горячая кровь. Показать юных, отвергающих питательную манную кашу. Показать зубы, которые тоскуют о твердой пище, и желудки, требующие работы.

— Сплошная биология!

— Но кое-что можно взять, — сказал Нефелин.

— Во всяком случае такая дискуссия многих заставит задуматься и поработать над собственным интеллектом.

— Да, да, вместе с тем это будет прекрасным ударом по консерватизму!

Нефелин усмехнулся:

— Консерватизм, товарищи, это особое кушанье. Когда мы будем седыми, потомки могут преподнести нам такие проекты, что твои и мои волосы, возможно, встанут консервативным дыбом. Никто не в состоянии предугадать, какие еще смелые идеи несет нам грядущий век. Вспомните эпоху великих работ, когда против строителей социализма поднялись даже те, кто, в известной доле, имел право считать себя революционером. Холодная кровь консерватизма пульсирует даже в венах горячих людей. Может быть, в этом есть особый биологический смысл. Разве я знаю? Наш удар, во всяком случае, должен быть направлен против консерваторов. Звезда права. Такая кампания необходима.

— Принимается!

— Попутно следует подогревать увлечение междупланетными полетами, не давая этому увлечению остынуть.

— Нужно будет повести дело так, чтобы собрать на сессии большинство голосов за продолжение опытов Стельмаха

на равных правах с осуществлением даже самых ультраграндиозных проектов.

— Принимается!

— Поручить Нефелину!

— Мой совет, — произнес неожиданно Бриз, — действовать осторожнее. Если Молибден и Коган раскусят наши намерения, мы будем разбиты. Они изворотливы, умны и изобретательны. Мы запутаемся в их бородах раньше, чем начнем битву.

— Внимание, — сказал Нефелин, — предупреждение серьезное. Бриз прав. Дети смелого, но хитрого практического века обведут нас вокруг пальца, если мы будем неосторожны.

— Поэтому, — подхватил Бриз, — следует оставить Стельмаха и его опыты в стороне. Будем чаще давать в газетах статьи агрономов о предполагаемой жизни на ближайших к нам планетах. Напечатаем несколько гипотез металлургов, зоологов и ботаников на эту тему.

Поэты и литераторы пусть выпустят романы и поэмы о дерзаниях человека. Но и тут Павла следует «замолчать». Нелишне пустить слух о том, что Совет разрабатывает не один проект, а два. Намекнуть на то, что второй проект коснется работы Стельмаха. Поднять дискуссию на тему: «Живуч ли консерватизм?»... «Не консерватор ли ты, товарищ?»... Однако дискуссия не должна касаться вопросов звездоплавания.

— Принимается!

— Да, да!

— Осторожность — половина победы! Ясно!

Нефелин встал:

— Итак, союз?

— В поход за колонизацию молодых миров!

— За мечту человека!

— Друзья, — сказал Нефелин, — день еще не кончен. Оставшиеся часы мы можем превратить в куски намеченной программы. Несколько тысяч человек собрались сейчас в театре послушать новую оперу Феликса Бомзе. Полчаса перед началом и все антракты в нашем полном распоряжении.

— Ты предлагаешь?

— Я только предвижу. Предложат в театре другие. Стоит всем увидеть Павла, и... наша программа войдет в действие.

— Если ты рассчитываешь на меня, — обратился Павел к Нефелину, — так я должен тебя предупредить...

— Ты за бородачей?

— Не то! Я вылетаю сегодня ночным самолетом в Долоссы.

— Надолго?

— Не знаю.

— Прекрасно! Ты можешь лететь куда угодно, однако до отправки ночного еще три часа. Долоссы Долоссами, а дело делом. В поход, товарищи!

— В поход!

— Выше знамя! Трубачи, вперед!

— Да погибнут бороды!

С веселым шумом заговорщики двинулись к дверям.

* * *

Опера должна была начаться в двадцать часов, но уже задолго до начала театральная площадь кишела народом. Под сводами театра перекатывался веселый шум толпы. Люди перекликались через головы других. Шутки подхватывались на лету, остроты встречались общим смехом.

Пробираясь сквозь живое месиво людей, Павел почувствовал прилив волнующей радости. Беззаботно сдвинув шляпу на затылок, он шел вперед, улыбаясь широкой счастливой улыбкой. Неожиданно для себя он вполголоса начал напевать модную песенку:

Плыви под звездами, орнитоптер.

Идущая рядом, плечо в плечо, с Павлом девушка дружески улыбнулась ему. Блестя веселыми глазами, она громко стала подпевать:

Крепки мышцы, рука тверда,
Внизу неоном горит земля.

Нефелин, шагающий впереди, повернул голову и, сверкая ослепительной белизной зубов, затянул, дурачась:

Гей, вперед, на штурм миров!
Тот, кто молод, с нами!

Подхваченный всеми, грянул боевой марш «Звездного клуба», раскатываясь под гулкими сводами входа в театр.

Толпа пела, шумела и смеялась, перекатывалась в пролетах ослепительных от света матовых шаров — мраморных колонн. Высоко вверху над головами горел огнями стеклянный свод, и снизу казалось, что сквозь этот свод, точно из широкой пасти Циклопа, низвергается солнечный океан бешеным пляшущим светом.

У главного входа, поблескивая никелем, над головами висел огромный счетчик. Узкие пятизначные цифры чернели за толстым стеклом. Крайние цифры, справа, быстро сменялись одна другой:

16.783.

16.784.

16.785.

На эмалевой доске над счетчиком чернела неподвижная и бесстрастная цифра:

25.000.

Это означало, что театр вмещает 25 тысяч человек. Для тех, кто приходил после того, как счетчик останавливался на 25.000, это означало, что мест больше нет и заходить в театр бесполезно.

Мимо счетчика прошел Нефелин.

16.965.

Павел нажал кнопку.

16.966.

В лицо пахнуло нагретым воздухом.

Павел смешался с толпой и, не теряя из вида Нефелина, направился в гардеробную. Повесив пальто и шляпу в узкие стеклянные ниши, Стельмах прошел в фойе.

* * *

У буфета с прохладительными напитками теснились люди.

— Традиции требуют напитков! — пошутил Нефелин и, увлекая за собой компанию, подошел к буфету.

Металлические краны сияли на белом мраморе распределителя. Над каждым краном сверкали фарфоровые овалы с темно-синими надписями:

Боржом.

Ананасная.

Нарзан.

Земляничная.

Ессентуки.

Грушевая.

Яблочная.

Апельсиновая.

Впрочем, Нефелин не терял времени на изучение прохладительных напитков. Запустив руку в стеклянную вазу, он достал бумажный стакан, выправил его и подставил под первый попавшийся под руку кран.

Друзья последовали его примеру.

Утолив жажду и бросив бумажные стаканы в урну, они направились в зрительный зал.

* * *

Опера молодого композитора Феликса Бомзе еще год назад возбудила серьезное внимание общественности.

Лучшие поэты, соревнуясь, писали либретто к его музыке. Совет художников выделил самых изобретательных и талантливых работников для сценического оформления оперы. Оскар Тропинин, виртуоз-светокомпозитор, работал целый год над световыми эффектами и световой иллюстрацией.

Оркестр был сформирован из лучших музыкантов города, которые наперебой стремились участвовать в этой прекрасной работе.

Зрительный зал волновался не меньше, чем сам композитор и действующие лица оперы. Приподнятое настроение невидимыми волнами бродило в зрительном зале, возбуждая людей, охватывая этим шестым чувством всех, кто входил в зал.

Пробираясь к свободным местам, Павел сказал громко:

— Я начинаю нервничать.

— Ничего, — уверенно ответил Нефелин, — мы сейчас освободимся от этого.

Он остановился около свободных кресел.

— Садитесь!.. А настроение, действительно... Я уже чувствую, как дрожь блистательного маэстро проходит сквозь мою фуфайку. В самом деле здесь так много нервничающих участников, что невозможно сидеть. Надо спасаться.

Он быстрыми шагами подошел к барьеру и, точно кошка, легко вскочил на мостки.

Стоя лицом к лицу с шумящей многотысячной толпой, которая висела густыми амфитеатрами над партером, Нефелин с улыбкой прислушивался к грохоту тысяч.

— Алло! — крикнул Нефелин, но в мощном прибое голосов его крик потонул, как слабый писк. Нефелин оглянулся. Увидев у барьера мегафон, он взял его и взмахнул им в воздухе.

Рокот толпы как бы упал в бездну. Рев стих мгновенно, казалось, ревущее харкающими легкими чудовище подавилось гранитной глыбой.

Наступила мертвая тишина, и только приглушенный гул вентиляторов шумел высоко под сводами.

— Товарищи! — крикнул в мегафон Нефелин. — Я удивлен, я поражен до крайности. Чем это объяснить, что сегодня не слышно песен?

Толпа молчала.

— Каждому честному человеку, — продолжал Нефелин, — противно смотреть на ваши ханжеские физиономии.

— Позор! — гаркнули тысячи голосов.

— Это насилие над природой! — крикнул Нефелин. — А между тем до начала еще полчаса. Я предлагаю песню. Ну-ка, кто против?

Весь театр грянул дружно:

— Песню!

— Песню!

— Но, — закричал Нефелин, — мы споем сейчас то, что должно явиться увертюрой к опере. Я предлагаю спеть что-нибудь старинное, ну, хотя бы песню коммунаров.

И, не ожидая согласия, Нефелин крикнул:

— Павел, затягивай!

Стельмах встал.

— Один?

— Я пою с тобой! — поднялась из рядов девушка в белом платье. — Коммунаров?

Стельмах кивнул головой.

— Хорошо!

Тогда приятным и звучным голосом девушка запела:

Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда...

Мощным баритоном Павел подхватил:

Рок капризный не властен над нами...

Нефелин взмахнул мегафоном, и, точно лавина с гор, загрохотали тысячи здоровых голосов:

Никогда, никогда, никогда, никогда
Коммунары не будут рабами.
Коль не хватит солдат, —
Старики встанут в ряд,
Станут дети и жены бороться.
Всяк боец рядовой, сын семьи трудовой,
Всяк, в ком сердце мятежное бьется.

Настроение было сломлено. Волны бодрых, восторженных эмоций захлестнули зрительный зал, зажгли счастливые улыбки и разбудили смех.

Нефелин, размахивая мегафоном, закричал:

— А теперь, после того, как мы прочистили глотки и освежили хорошей песней мозги, я хочу угостить вас всех замечательной историей. Наберите в легкие больше воздуха... Набрали?

В зрительном зале прокатился смех.

— Теперь можете кричать. Я предоставляю слово...

Нефелин выдержал блестящую паузу, потом во всю силу легких крикнул в мегафон:

— Павлу Стельмаху!

Зрительный зал ахнул. От Нефелина, очевидно, ожидали всего, но только не этого.

Зал вздрогнул и вдруг взорвался криками. Было похоже, что все ураганы Вселенной ринулись сюда, опрокидывая стены, разрывая своды, выбрасывая людей из кресел.

Оглушенный и растерявшийся Павел видел, как люди вскакивали со своих мест, размахивали руками и широко открывали рты. Но — странное дело — Павлу показалось, что это кричат не люди, а стучат и грохочут стены. Перегнувшись через барьеры, присутствующие размахивали платками, и амфитеатры походили на гигантскую живую гору, над которой носились бесчисленные стаи белых птиц.

Внимание Павла привлекла группа людей, возбужденно размахивающая руками. Перед ним мелькнуло красное лицо старика, белые и редкие волосы которого как дым развевались на макушке черепа. Старик хватал за руки соседей, кричал, и на лбу у него вздувались жилы.

Павел видел, как молодые ребята, точно обезумев от радости, колотили кулаками по барьеру.

Растроганный этим вниманием, Павел стоял, дрожа от радостного возбуждения, готовый на что угодно ради этой дружеской толпы. Он быстрыми шагами подошел к барьеру и поднял вверх руки.

Толпа затихла.

Павел сказал чужим голосом:

— Спасибо, товарищи! Спасибо за то, что вы считаете меня полезным гражданином.

Он остановился, перевел дыхание.

— Я рад, что вы довольны мною...

Больше он ничего не мог сказать. Видя его волнение, Нефелин встал с ним рядом и, приподняв вверх мегафон, крикнул:

— Попросим его, товарищи, рассказать о том, что пережил он во время катастрофы и, главное, почему не удался первый опыт.

Новый взрыв оваций покрыл слова Нефелина, как обвалившаяся гора покрывает горный ручей. Павел взял мегафон.

— Хорошо. Я расскажу вам.

Он стоял, опираясь широкими плечами о барьер, и взволнованно смотрел по сторонам.

В Республике в эти дни он был самым популярным человеком. Его полет вызвал всеобщее восхищение; катастрофа повергла всех в уныние; его спасение заставило всех надеяться; выздоровление было встречено всеобщей радостью.

Теперь он стоял, — этот человек, заставивший людей так много волноваться, — и тысячи биноклей прощупывали его со всех сторон.

Он не был высок ростом, но широкоплеч и крепко сложен. Выпуклый лоб висел над белым, без кровинки, лицом. Большой рот его, точно проволокой, стягивал резкие черты лица. Подбородок был тонко очерчен, волосы на голове лежали мягкими завитками, и голубые глаза смотрели ясным, добродушно-детским взглядом.

Было очевидным, что этот человек не по наследству получил сильную волю, сквозившую сквозь резкие очертания верхней части лица, а развил ее путем долгой и упорной работы над собой.

Это внушало к нему уважение.

— Ну вот, — сказал Стельмах, стараясь казаться спокойным, — у меня была идея и чудесный товарищ, которого звали Феликс. У меня была идея, у него был изумительный мозг, который, воспламеняясь, горел огнем.

Мы с увлечением работали над проектом снаряда в течение трех лет. Пользуясь старым, давно открытым принципом межпланетных сообщений, принципом нашего Циолковского, Годдарда, Оберта и других великих стариков, мы построили межпланетный снаряд-ракету С1 и пытались осуществить то, что было не под силу людям старого времени.

Принцип движения построенного нами С1 — старый.

— Не скромничай! — крикнули из глубины театра.

— Нет, нет! — поспешно ответил Павел. — Я не скромничаю. Я говорю это лишь для того, чтобы меня не считали обманщиком, который пытается присвоить себе честь за работу и изобретения других.

Еще задолго до Феликса и меня люди знали, что снаряд, пользуясь для движения взрывчатой силой, развивает предельную скорость движения в атмосфере, то есть двенадцать километров в секунду. (Движение с меньшей ско-

ростью не позволяет освободиться от земного тяготения.) Однако в тридцатых годах звездоплавание не могло встать в порядок дня. Люди тогда не знали нашего металла — эголеменит, — являющегося, как известно, сплавом нескольких металлов, соответственно обработанных. Осуществлению межпланетного полета в то время мешало также и другое серьезное обстоятельство, которое заключалось в том, что ракета, развивающая движение отдачей, должна иметь запасы горючего чрезвычайно высокой теплопроизводительности. Дюзы должны выбрасывать газы, которые толкают ракету со скоростью 5000 метров в секунду.

В старое время знали, что таким горючим может быть сжиженный водород, горящий с кислородом, но это горючее, при малейшем притоке теплоты, вызывает испарение, причем давление быстро увеличивается и резервуар взрывается.

На помощь нам пришел эголеменит, обладающий счастливыми свойствами нагреваться лишь при необычайно высокой температуре и поддающийся плавке только в молекуляторном поле. Остальные трудности разрешила предложенная Феликсом остроумнейшая система хранения сжиженного водорода.

Оставалось спроектировать снаряд, выбрать металл, который обладал бы способностью поглощать солнечные лучи в леденящем холоде межпланетного пространства, и рассчитать, какое количество недостающего тепла должны дать электрогрелки.

Об этом я писал в газетах и сейчас рассказывать не буду. Остальные работы подготовительного порядка были также освещены в газетах. Я остановлюсь лишь на нашей неудаче*.

* Здесь для товарищей, не имеющих возможности ознакомиться с газетами того времени, мы сообщаем, что Стельмах говорит о подготовительных работах первого полета на Луну в межпланетном снаряде С1. Между прочим, в своих объяснениях он проявляет чрезвычайную скромность. Правда, принцип взлета действительно не отличался новизной. Но здесь впервые были применены, в качестве двигателей, аккумуляторы с солнечной энергией. С1 вылетел из Ленинграда, управляемый Стельмахом и Феликсом, но в силу стечения неблагоприятных обстоятельств упал в Магнитогорске.

Как вам известно, мы оторвались от земли 16 мая, в 6 часов 15 минут. Мы покинули Ленинград, имея твердое намерение высадиться на Луне, однако в 6 часов 17 минут наш снаряд вытаскивали из озера Магнитогорска, и в этом снаряде были обнаружены труп и человек, потерявший сознание.

Что же произошло?

Какую ошибку допустили мы? И была ли это ошибка? Не может ли повториться такая же история при вторичной попытке? Не может ли и в будущем межпланетный снаряд превратиться в стратосферный аэроплан? Сейчас я уже могу сказать, что таких случаев больше не повторится. Следующий полет будет совершен уже без пересадки в Магнитогорске.

Бурные аплодисменты всколыхнули напряженную тишину.

— Коротко я попытаюсь нарисовать вам картину, которая предшествовала катастрофе, — сказал Павел после того, как затихли аплодисменты. — В тот момент, когда мы оторвались от Земли...

Но в это время свет в зрительном зале погас.

Оркестр громыхнул трубами.

Началось вступление оперы.

Павел отошел от барьера и, пробираясь между креслами, добрался до своего места.

— Кажется, — сказал Павел, опускаясь рядом с Нефелином, — мне придется увезти картину катастрофы с собой в Долоссы.

— Молчи! Не мешай слушать! — слегка оттолкнул его Нефелин.

Опера началась.

Перед зрителями сверкающей стеной стоял занавес аломюнита. По бокам шпалерами поднимались световые рефлекторы. Широкие глотки резонаторов дремали в четырех углах сцены. Сверху спускались черные микрофоны. Система оптических стекол стояла с правой стороны сцены, готовая начать оптическую пляску, чтобы бросить в приемники Республики отражение спектакля. У рампы чернели батареи прожекторов и вытянутые хоботы киноаппаратов.

Между сценой и зрительным залом, в темном провале, усыпанном мохнатыми красными звездами неоновых ламп, тускло блестели серебряные шары электрических пианол и сложные, опутанные блестящими змеями труб, симфонические машины.

В темноте над пюпитром дирижера вычерчивал сложные геометрические фигуры крошечный фиолетовый огонек дирижерской палочки. Оркестровый провал дышал монументальной, беспокойной музыкой.

Сквозь тьму проходили багровые самумы света, и, когда неожиданные звуковые контрасты взлетали над оркестром, багровый пожар заливал зрительный зал. По занавесу прокатились световые волны, и длинные, похожие на привидения, буквы сплелись в тягостные фразы:

ТЯЖЕЛЫЙ, РАБСКИЙ ТРУД. БЕЗОТРАДНАЯ ЖИЗНЬ,
ГОЛОД И НИЩЕТА
БЫЛИ УДЕЛОМ МИЛЛИОНОВ,
СОЗДАЮЩИХ ЦЕННОСТИ.

Оркестр ворчал. В смертельной тоске ревели трубы. В багровом пожаре сновали фиолетовые полосы прожекторов.

Но вот нестерпимо яркий сноп света на мгновение озарил зал. В музыкальных мощных разливах поплыли гневные крики фабричных сирен, багряные клубы пара взлетели вверх, закрывая занавес. В увертюру вступили шумовые инструменты, отбивающие ритм тональными взрывами. В завес ударил розово-солнечный свет киноаппарата, и снизу вверх полилась яростная толпа, потрясая оружием и знаменами.

Робкая мелодия «Интернационала» теперь гремела, точно разгневанный океан, и гром конипульт отбивал ритм. Поверх стремительной и яростной толпы вспыхнула тяжелым шрифтом фраза:

МАРШ ВПЕРЕД, РАБОЧИЕ ОКРАИНЫ!

Мощный пролог внезапно оборвался. Музыка, кино, свет, взрывы, фабричные гудки и грохот металла как бы провалились в бездну.

В гулкой тишине бесшумно взлетел занавес. Из туманной мглы в зрительный зал глядели блуждающие красные глаза неестественных размеров.

Павел нашел в темноте руку Нефелина и сказал, приподнимаясь:

— Я боюсь опоздать! Прощай!

Нефелин крепко пожал его руку.

— Возвращайся скорей! — шепотом произнес он.

* * *

Выйдя из театра, Павел осмотрелся по сторонам. Театральная площадь, точно огромный котел, кипела народом. Сверкая пыльными глазами, проносились автомобили. Над головой мчались огни ночных самолетов, и полосы света плыли по площади причудливыми световыми тенетами. На углах вспыхивали зеленые огни киосков; над проспектами стояло, дрожа, электрическое зарево...

Шум, говор, хрипенье автомобильных сирен катились в бетонах площади и убегали вдаль, в шумные проспекты.

Павел заметил на противоположной стороне синие огни, сплетающиеся в широкое слово: «Гараж».

Перебежав площадь, запруженную автомашинами, он остановился перед открытыми воротами гаража, под стеклянным сводом которого стояли ровными рядами приземистые автомобили. Но, к сожалению, Павел не видел свободных машин. Белые эмалевые дощечки с досадной надписью «занято» выстроились над карбюраторами длинной, пропадающей в глубине гаража линией. Очевидно, запасливые граждане абонировали авто для возвращения из театра.

Павел уже повернулся было к выходу, как вдруг из глубины гаража его окликнул женский голос:

— Алло, дружище! Тебе машину?

— Есть свободные? — спросил обрадованный Павел.

— Несколько штук! Но почему-то они в глубине гаража.

Пройдя в гараж, Павел заметил женщину, возившуюся около авто.

— Ну вот, а я уже думал воспользоваться метрополитеном.

— Безобразие! — сказала женщина. — Я подниму этот вопрос в газете. В конце концов, это удивительное легкомыслие: занятые машины поставлены у входа, а над свободными никто даже не потрудился поставить сигнал. Вот уроды-то!

Вскочив в машину, женщина махнула рукой:

— Прощай! Если я забуду написать, сделай это ты!

Автомобиль тихо покатился к выходу.

— Я вылетаю сейчас! — крикнул Павел вдогонку.

— А! Ну, ладно! Прощай!

— Прощай!

Наполнив из автомата баки бензином, Павел вывел машину в широкий асфальтированный проход гаража.

Глава четвертая

Оставалось десять минут до отлета, когда Павел подкатил к сияющему огнями аэровокзалу.

Выскочив из автомобиля, он вошел в гараж, расположенный напротив, но неудача, очевидно, решила путешествовать вместе с Павлом. Перед самым носом его вынырнул человек и, протянув руку к стеклянной нише, нажал кнопку.

Под зеленым абажуром вспыхнула надпись:

В ГАРАЖЕ МЕСТ НЕТ!

Павел вскочил в машину. Пробираясь в потоке автомобилей, он осматривался по сторонам, пока наконец не заметил темной арки под ярко освещенным домом.

Оставив машину под аркой, Павел укрепил над карбюратором эмалированную дощечку с надписью «свободно» и торопливо направился к подъезду аэровокзала, у подножья которого толпились люди.

* * *

Ночные самолеты, поставленные в несколько рядов уступами, стояли на площади огромного аэродрома, залитого светом прожекторов.

Люди, обгоняя друг друга, спешили занять места в самолетах, по бокам которых золотистой вязью горели электрические транспаранты.

Магнитогорск — Мурманск — 21 час. 03 мин.
Магнитогорск — Камчатка — 21 час. 10 мин.
Магнитогорск — Одесса — 21 час. 20 мин.
Магнитогорск — Ташкент — 21 час. 15 мин.
Магнитогорск — Сухум — 21 час.

Павел направился к последнему самолету.

Он стоял, сияя круглыми иллюминаторами, за которыми двигались пассажиры. Огромные крылья его бросали тень на освещенную поверхность аэродрома. Под крыльями поблескивали стекла мощных прожекторов.

Павел приложил мембрану к уху.

— Двадцать часов пятьдесят восемь минут, двадцать часов пятьдесят восемь минут, — монотонно бормотал деревянный голос.

Бросив прощальный взгляд на горящий внизу огнями Магнитогорск, Павел вошел в самолет. Стрелки часов аэровокзала показывали 20 часов 59 минут. В самолете прокатился голос:

— Магнитогорск — Сухум. Отправка в 21 час.

Мотор взвыл, сотрясая кабины, и огни Магнитогорска стремительно понеслись вдоль левого борта, быстро уменьшаясь.

* * *

Широко расставляя ноги, чтобы сохранить равновесие, Павел прошел по узкому коридору. По обеим сторонам коридора сочились зеленоватым светом овальные диски кабин. Но ему не хотелось быть одному. Он чувствовал к тому же голод.

Пройдя коридор, Павел вошел в освещенный салон, где сидело несколько человек, перелистывая журналы. Кивнув горловой, Павел подошел к буфету.

Под стеклянными колпаками лежали сыр, икра, семга, балык, холодная телятина, паштеты, румяные цыплята и всевозможные салаты, качаясь в особых гнездах, вздрагивая от сотрясения мотора. В подвешенных к стойке корзинах подпрыгивали фрукты, бутылки с молоком и виноградным соком; в термосах покачивались бульоны, чай, кофе и какао; под металлической сеткой желтели пышные булки.

Взяв прибор и стаканы, Павел приготовил стол и с аппетитом стал ужинать.

Он так усердно работал челюстями, что несколько человек, соблазненные его аппетитом, отложили в сторону журналы и подошли к буфету. Старик в старинных роговых очках показал Павлу знаками, что он не прочь разделить компанию. Стельмах кивнул на свободное место за своим столиком.

Старик оказался веселым собеседником. Невзирая на шум мотора, он кричал, не жалея голоса, и склонялся к самому уху Стельмаха.

— Вы молодые что? — говорил старик, разрезая телятину, поглядывая на Павла. — Вам вот подай и знать ничего не желаете. А мы-то насмотрелись в свое время.

Павлу приходилось напрягать слух, чтобы связать доходящие до него отдельные слова в целые фразы.

— Вот летим хотя бы, — продолжал словоохотливый старик, — а раньше, бывало, поэзии-то сколько подпускали этот транспорт...

Его сухая рука вытянулась в сторону иллюминаторов передней стены, за которыми внизу плыли во мгле электрические пожары городов, сверкали разноцветные огни жироскопических дорог и фантастической аллеей убегали к горизонту прямые вехи ночных прожекторов.

— Вам-то что? Вы с детских лет привыкаете к этому. А в наше время пугались воздуха. В 1933 году многие, бывало, с семьей прощались перед полетом. Сейчас вот глушители придумали. Хотя и приходится кричать, однако слышно все-таки. Как-никак, а поговорить можно. Раньше бы посмотрели, что было. Легкие разорвешь от крика, все равно ни дьявола не слышно. Вот что довелось увидеть... Замечательный паштет, между прочим. Ты ешь! — подталкивал чудной старик Павла. Потом, взглянув таинственно по сторонам, чудак склонился совсем близко над ухом Павла и подмигнул глазом:

— Несправедливости вот много!..

Павел улыбнулся.

Поймав его улыбку, старик сказал:

— Эх, молодежь! Молоды вы, зелены и глупы еще. Я-то все знаю. Меня не проведешь. Старый воробей. Я тебе скажу так, если бы это в старое время, да если бы это мы с тобой вот так вот замечательно ужинали, так следовало бы нам, по настоящему-то, пропустить ради знакомства по баночке и того... уж тут пошла бы музыка не та... Затанцевали бы и лес и горы.

Павел недоумевающе посмотрел на него.

— То-то и есть, — огорчился старик, — святоши вы все какие-то. А мы видали виды. Бывало, рванешь пол-литра и — будьте любезны. Песню затянешь.

— Алкоголь? — поднял брови Павел.

— Ну уж и алкоголь, — обиделся старик, — вино, товарищ, а не алкоголь.

Желая доставить удовольствие старику, Павел вскочил из-за стола и, взяв в буфете бутылку виноградного вина, поставил ее на стол, но старик с пренебрежением отодвинул бутылку от себя и покачал головой.

— Бурда! Квас младенцев, а не вино. Это уж вы пейте, а мы не привыкли к такому. Дразнить себя только таким вином.

Он задумался, всматриваясь невидящим взглядом в бутылку. Потом, как бы спохватившись, отправил кусок паштета в сверкающий вставными зубами рот.

— Водка назывался тот богатырский напиток. Бывало, как двинешь — так тебя, словно огнем, опалит. Обалдеешь в момент. Папу, маму выговорить не сможешь. Тошнота к горлу подбирается...

— Какая гадость! — содрогаясь заметил Павел.

— Поэзии в вас нет, — опечалился добрый старик.

— Но для чего же это отравляли себя люди?

— Не отравляли, а веселились! — сердито поправил Павла старик. — От стакана водки в пляс пускались. Вот что, товарищ!

— Не понимаю, — пожал плечами Павел, — ведь если это так, если водка действительно веселила людей того времени, так нас-то она взорвала бы непременно. Мы веселы через край и без водки. Веселы уже оттого, что здоровы и крепки.

Старик подозрительным взглядом окинул Павла с головы до ног и обиженно замолчал. Торопливо окончив ужин, он бросил в дезинфекционную камеру посуду, встал и, балансируя руками, ушел из салона.

* * *

В Долоссы самолет прибыл поздно ночью. Проскользнув над Ялтинским аэродромом, аэроплан поплыл в сторону висевших высоко в небе огней.

Аллея прожекторов из долины бежала по склонам вверх, где заревом горела ночная площадка Долосского аэродрома.

Под ногами качнулся освещенный овал. Самолет, описывая круги, ринулся вниз и вскоре покатился по твердой, покрытой гудроном площадке.

Вместе с другими пассажирами Павел покинул самолет, но не успел он выйти из полосы света, отбрасываемого боковыми прожекторами самолета, как знакомый голос крикнул за спиною:

— Алло! Павел! Алло!

От кабины управления отделился человек в кожах. Протягивая руки, он кричал громко, как обычно кричат оглохшие люди.

— Ты, дружище, куда?

— Шторм, здорово! — обрадовался Павел. — Ты что? Дежуришь? — спросил он, оглядывая пилотскую прозодежду Шторма.

— А ты что забыл в Долоссах?

Павел нахмурился.

— Семейные дела, Шторм.

— И неприятные?

Павел промолчал. Поняв это молчание, Шторм тряхнул руку Павла и сконфуженно пробормотал:

— Ну, ну, прости! Я ору, как идиот, а у тебя, быть может...

Он поперхнулся и делано закашлял.

— Ты остаешься в Долоссах? — поспешил переменить разговор Павел.

— Увы! — вздохнул Шторм. — С меня причитается еще два часа. Спать хочется смертельно. Хорошо еще, что мотор не дает дремать, а то бы я тебя вывалил давно...

Шторм комически вздохнул:

— Не везет мне последнее время. Удивительно не везет. На прошлой неделе пришлось работать пять часов в столовых, сегодня самолет всучили. И вот всегда так: стоит опоздать на несколько минут, как все лучшие работы расхватают другие.

— Сам виноват, надо приходить раньше в распределитель.

— Так, видно, и придется делать! — засмеялся Шторм. — Однако меня уже, наверное, заждались.

Пожимая руку Павла, Шторм спросил:

— Обещание помнишь, не забыл?

— Нет, нет, Шторм! Но только ничего пока еще неизвестно. Совет ста как будто намерен возражать.

— Знаю, знаю!

— Што-о-рм! — крикнул чей-то голос.

— Ну, всего, — заторопился Шторм, — механик без меня жить не может!

И вприпрыжку побежал к самолету.

Павел подходил к аэровокзалу, когда самолет, гудя моторами, подпрыгнул над аэродромом и, оставляя за собой огненный след, кинулся в туманную мглу южной ночи.

* * *

Аэровокзал был пуст.

Неоновые лампы заливали ровным светом пустынные залы с оставленными на столах журналами и газетами. Тускло поблескивали стекла буфета. В углу горели зеленые огни бюро отелей, и сквозь матовые, молочные стекла механических гидов светились золотистые электролампы.

Павел подошел к бюро.

Усталым взором он скользнул по указателю, механически читая слова:

Отель «Солнечная долина». Свободны № 272—360. Юго-Запад— 15 мин.

Отель «Счастливый рыбак». Свободны № 53, 54, 55. Восток — 30 мин.

Отель «Калабрия». Свободны № 289, 290, 291 и 67. Юго-Зап. — 15 мин.

Отель «Веселый пилот». Свободны № 1, 683, 700. Юго-Зап. — 40 мин.

Отель «Страна советов». Свободны № 6—400 Юго-Запад — 1 ч. 30 мин.

Отель «Ночные звезды». Свободны № 87—400. Юго-Запад — 1 ч. 05 мин.

Отель «Грядущее». Свободны все номера. Юго-Запад — 2 часа.

Отель «Бронзовые кони». Свободен № 6. Юго-Запад 5 мин.

Отель «Бронзовые кони» показался Стельмаху наиболее подходящим местом остановки, предоставляя то неоспоримое удобство, что был расположен в пяти минутах ходьбы от аэровокзала. Для прибывающих в ночные часы это уже являлось большим преимуществом.

Протянув руку к механическому гиду, он перевел эмалированный валик и, когда против слов «Бронзовые кони» встала надпись: «Все номера заняты», Павел вышел из аэровокзала, направляясь на юго-запад.

У южного турникета аэровокзала дороги расходились на запад, юго-запад и юго-восток. Длинная светящаяся стрела показывала путь к юго-западным отелям и санаториям, и в этом направлении Павел зашагал, вдыхая полной грудью терпкий запах магнолий и теплый воздух лаванды.

По-ночному освещенная аллея стройных кипарисов тянулась в гору, над которой стояли отсветы близких огней. Ночная тишина нарушалась далеким шумом моря и шарканием ног по асфальту.

Был полночный час, когда Стельмах дошел до сияющего огнями отеля. Стараясь не шуметь, Павел открыл двери, отыскал по указателю шестой номер и, опустив в автомат свою трудовую карточку, которая тотчас же встала под номер шесть, прошел безмолвным коридором в номер.

* * *

Утреннее солнце застало Стельмаха одетым. Приняв ванну, он вышел на балкон, с которого открывался вид на синюю ширь моря, дымящуюся туманами. Вдали, вырастая мачтами и трубами, плыли караваны кораблей. Гидропланы сновали в лазурном воздухе, наполняя утро уверенным гулом машин.

В памяти Павла всплыли старинные стихи поэта сурового века:

Выйдя в ночь задолго до рассвета,
Как мешок, утрясся в океан
С палевыми мачтами корвета,
С желтыми прожилками туман.

У мола поднимались в лазурь ажурные руки кранов. В рассветном серебре дымили сотни пароходных труб; с утренним уловом спешили неуклюжие тралеры, пробираясь сквозь строй теплоходов, рефрижераторов и трансатлантических кораблей, стоящих на рейде; далекие песчаные отмели были усеяны ранними купальщиками.

За цепью мохнатых зеленых гор, с белыми санаториями и отелями, стояли, сливаясь с призрачно-голубым горизонтом, ослепительно-яркие, точно отлитые из хрусталя, снеговые горы.

Снизу доносился молодой говор.

По шоссе, широко бегущему сквозь густые темно-зеленые сады и виноградники, уже сновали авто; уже гремели фуникулеры, и опаловые вагончики со свистом скользили по подвесным дорогам.

Густое смолистое дыханье теплой хвои, опутанное терпким запахом южных цветов, невидимо сочилось вокруг, проникая в легкие, заставляя сердце гнать горячую кровь сильными, ритмичными толчками.

Павел еще раз взглянул на снеговые горы и, оставив балкон, вошел в светлую, залитую солнцем комнату.

По стенам висели прекрасные художественные репродукции эпического Губерт-ван-Эйка, веселого Давида Тенирса, могучего Курбэ, романтичного Руо, мужественного Леже, чувственного Тициана и буйного Рубенса. Книги, чернея, спали за поблескивавшими, как перламутр, стеклами книжных шкапов. В углах дремали в янтарно-желтых кадках гибриды айлантов — этих живых озонаторов комнатного воздуха*. Небольшой письменный стол и удобное кресло стояли перед окном. Из окна можно было видеть необъятно голубой простор раскинувшегося моря.

---

* Для товарищей, не знакомых с условиями жизни описываемой эпохи, может быть, покажется странным пристрастие людей к комнатным растениям, которые в наши дни считаются прямыми показателями зловредного мещанства и всяческих обрастаний.

К величайшему негодованию борцов с комнатной флорой мы должны все же сказать здесь, что Павел, как и все люди эпохи, любит и цветы и комнатные растения, любит, главным образом, за их прекрасные свойства очищать воздух.



Различные приборы для письма и фонограф в порядке были расположены на столе.

Около дверей поблескивал телетофор. В глубине под небольшой мраморной аркой белел экран для телекинорадиоприема.

Проще была обставлена спальня, куда прошел Павел.

Небольшая комната соединялась с кабинетом аркой мавританского стиля. В спальне стояли кровать и ночной столик. Зеркальные шкапы с бельем и платьем дремали в нишах, рядом с пневматическими автоматами. Полупрозрачные шелковые занавески, закрывающие широкие окна, делали утренний свет мягким и приятным. Узкая стеклянная дверь соединяла спальню с ванной комнатой, где, кроме эмалевой ванны и душа, можно было увидеть всевозможные приспособления и принадлежности для легкой атлетики.

Павел принялся за уборку помещения.

Открыв окна и двери балкона и пустив в ход могучие вентиляторы, он пошел вдоль стен, наклоняясь к плинтусам и освобождав пылесосы от никелевых колпачков. Затем, вытащив из ниши телевокс, он вручил ему ручной портативный пылесос и, нажав кнопку на голове телевокса, отошел в сторону.

Он достал из дезинфекционной камеры свой костюм, тщательно вычищенный за ночь катпилерами, надел отполированные телевоксом ботинки и, насвистывая марш «Звездного клуба», начал одеваться.

Шипенье пылесосов, гул вентиляторов и звон телевокса аккомпанировали маршу если и не дружно, то довольно энергично и старательно. И когда марш оборвался коротким свистом, Павел и комнаты сияли девственной чистотой и были готовы — Павел для визитов, комнаты для встречи новых жильцов.

Выключив пылесосы и поставив на место телевокс, Павел отправился отыскивать того, кто вызвал его сюда из далекого Магнитогорска.

* * *

После долгих поисков Стельмах остановился перед подъездом санатории, прошел в вестибюль, перекинулся

несколькими словами с дежурным врачом, после чего поднялся на громадный аэрарий, где в шезлонгах лежали люди.

Он прошел по рядам, заглядывая в лица лежащих, и наконец остановился перед шезлонгом, в котором вытянувшись лежал старик, кутаясь в клетчатый плед.

Глаза старика были полузакрыты. Густая серебряная борода шевелилась под ветром. На выпуклом челе сплетались пульсирующие синие вены. Он тяжело дышал, с трудом открывая рот и беспокойно перебирая пальцами плед.

— Отец, — тихо сказал Павел, тронув его плечо.

Волнение, охватившее Павла при виде беспомощного тела, которое как будто еще вчера было таким несокрушимо бодрым, прорастало в бесконечную жалость. На глазах Павла навернулись слезы, и на мгновение лучезарный, сияющий мир потускнел и стал безразличным.

Старик открыл глаза.

Было видно, что он узнал сына, но ни одно движение чувств не отразилось на его спокойном лице.

— Ты пришел все-таки? — с трудом произнес отец. — Спасибо тебе.

Он перевел дыхание.

— Я просил отыскать тебя. Я не знал, где ты работаешь. Мне хотелось видеть тебя перед смертью... Умираю, сынок!

Слезы закапали из глаз Павла. Он не мог произнести ни слова.

— Плакать не надо. Такова уж человеческая жизнь. Каждый из нас платит за земные удовольствия самым прекрасным и неповторимым — своей жизнью. И вот она уже стоит за моей спиной, безжалостная ростовщица.

— Ты шутишь! — печально улыбнулся Павел.

— Древние говорили: «Большое несчастье — желать смерти, несравненно большее — бояться ее». Бояться смерти тяжелее, чем претерпеть ее. Лучше уж шутить.

Этими словами он как бы приободрил себя. Нечеловеческая усталость, сквозившая в чертах его лица, сменилась легким оживлением.

— Что дальше? Вот вопрос, который некогда мучил человечество!.. Но что может быть, кроме живой и радостной жизни?

— Ты примирился?

— Хочешь знать, страшно ли умирать? Нет, сынок! Когда человек устал, он стремится к всеобъемлющему вечному отдыху. Это и есть смерть. Без страданий, без внутрителесных диспропорций. Человек смертен, как все живое. Вечно — лишь единое дыхание неугомонной материи, но человек — составная и сложная часть материи, и смерть возвращает его вечности.

— Ты мог бы жить, отец! Может быть, повторное омоложение...

— Ты напоминаешь человека, который предлагает усталому путнику поплясать немного... Когда придет к тебе старость, ты поймешь меня. И ты, так же, как я сейчас, потребуешь покоя... Что может дать мне омоложение? Еще год, два, ну, три года жизни. Так? Нет, сынок, не хочу!.. Жизнь прекрасна, когда человек может работать. Но для старца она тягостна. Покой — вот единственное, к чему я стремлюсь. Ты не понимаешь меня. Ты, может быть, думаешь: не помешался ли он, видя смерть перед собой? Ведь смерть ужасна, смерть — отвратительна и гнусна! Не правда ли? Ты думал об этом? Да, сынок... смерть, конечно, ужасна, но ужасна для тех, кто перед лицом смерти вдруг вспомнил, что, в сущности говоря, он еще не жил, а собирался жить. А я жил! Я в каждом мгновении видел жизнь...

Была живая жизнь... Да-а... Я пожил, сынок... И если бы наука могла дать мне прежнее юное сердце, я попробовал бы начать все снова.

Он прищурился, невидимыми глазами всматриваясь в горизонт, и тихо покачивал головой, как бы одобряя свое внутреннее решение.

— Когда-то отцы оставляли своим сыновьям наследство. Я оставляю тебе целый мир... Он неплохо устроен, как видишь... Мы устраивали мир для потомков. И вот ты, мой конкретный потомок, бродишь в прекрасном мире, и я спокоен за тебя. Это все, чего я добивался... Да-а... Хорошая была жизнь...

— Теперь она еще прекраснее! — горячо воскликнул Павел.

— Что? Да-да... Но глаза мои тусклы. Кровь моя холодна. Кто виноват? «Солнце», — отвечает старость. Это оно стало хуже... Видишь ли, это очень трудно... Да-а... Я погулял на земле...

Что я тебе хотел сказать? Да-а... Так вот... Не трать своей жизни на приготовление. Никогда не надейся зажить какой-то особенной жизнью с завтрашнего дня. Жизнь это всегда «сегодня»... «Сегодня» человека — сумма часов борьбы, работы, любви и познания. В тяжелой жизни всегда есть будущее. Мы плыли к нему, как к маяку. Ваша жизнь — настоящее... Впрочем, я ничего теперь не понимаю... И тебе об этом лучше знать.

Ты культурнее меня, сынок. Может быть, то, что я говорю тебе, ты уже встречал в старых книгах, но я-то узнал об этом слишком поздно. Я начал жить только с 28 лет... У-ху...

Похоже было, что он сделал попытку смеяться, и это больно отразилось в душе Павла.

Павел отвернулся.

— У-ху-ху! Когда мне было 28 лет, я давал себе обещания — с пятницы начать новую жизнь и каждое первое число бросал курить и начинал изучать иностранные языки. У-ху-ху! Жизнь хороша, сынок. Но, чтобы чувствовать это, надо иметь молодое сердце, неутомимые ноги... Теперь обними меня на прощанье. Я чувствую... она уже трогает меня.

...Над морем летели ветры.

Синее небо сочилось солнцем.

Снеговые хребты в раздумье стояли над тихими садами Крыма.

И среди этой торжественной и величавой природы спокойно и философски умирал человек. Патриархальная седая борода его развевалась по ветру. Глаза были устремлены в высь. Лицо выражало покой, и было оно величавым, как природа.

* * *

И вот от человека, который был его отцом, осталась урна.

Склонив голову, Павел смотрел, как четкий шрифт, точно необычайно длинные, сухие пальцы, сжимал урну

с надписью: «От тех, кто жил и боролся вместе с умершим»... «Мы, оставшиеся в живых, горды тем, что он жил с нами. Мы были его товарищами. Он был нашим лучшим другом».

Темно-синие огни города мертвых печальным светом озаряют бледный мрамор и голубое от света лицо Павла. Он медленно, с опущенной головой, отходит от урны. Под цементными сводами шаги Павла звучат гулко и четко, и оттого улицы мертвых кажутся еще более тихими. Сам покой господствует в этом сухом и холодном городе мертвых.

Вот и выход.

У выхода мраморная урна, на лицевой части которой изваяно лицо юноши с огромными глазами. Внизу надпись: «Он был поэт. В тяжелые дни он ободрял нас песнями. Он пел о солнце, когда шел дождь, напоминая о том, что дожди не заливают солнца».

Вот урна с надписью: «Он сдал Республике за 18 лет своей работы 109 изобретений, которые применяются в десятках производств».

Еще урна: «Жизнь его была борьбой за социализм. В боях за социалистическую Республику он был 11 раз ранен. Его подвиги отмечены тремя орденами «Красного знамени».

Над аркой сверкнуло небо. Теплый воздух коснулся лица Павла.

Сзади лежали эпохи. Впереди сияло вечное небо, и море радостно шумело внизу, разбиваясь о скалы.

Глава пятая

Павел вернулся в Магнитогорск.

Потрясенный смертью отца, но более всего ошеломленный сознанием собственного ничтожества, Павел по целым дням не выходил из комнаты санатория, размышляя о жизни и смерти. Ему казалось: вся борьба, все его стремления, надежды и цели — все это мираж, прекрасный и обольстительный, но призрачный и нереальный.

Перед его глазами вставала кипучая жизнь, тенями скользили бурные эпохи; с хохотом и плачем бежали древние. На жирной земле появлялись голубые города. Сквозь ночь и ураган уходили с притушенными огнями корабли, и над хаосом, над созидательной горячкой, над толпами бегущих куда-то людей, над горячечным миром качался оскал смерти.

Игра!

Нелепая и жуткая потеха!

В мире несется микроскопической каплей наша планета, и страшный пассажир развлекает себя игрой.

Сон стал тревожным. Дни проходили в мучительных размышлениях о старой человеческой проблеме.

Однажды ночью он кинулся отыскивать Бойко.

Торопливо поднимаясь и опускаясь в лифтах по этажам, Павел переходил из одного помещения в другое. Он бегал по гулким ночным коридорам, заглядывая в каждую дверь. Он обшарил все лаборатории. Он несколько раз пытался связаться с Бойко при помощи телефона. Но тщетно. Профессор как будто провалился сквозь землю. Тогда в сознании Павла мелькнула мысль:

«Я должен спросить у Молибдена! Да, да! Я пойду сейчас к нему. Я отыщу его и спрошу: что есть жизнь? Он должен это знать».

Он уже хотел было выполнить свое намерение, но тотчас же полная апатия охватила его.

Что может сказать Молибден — этот пришелец старого мира?

«Ближе к земле. Работы здесь непочатый край. А сгореть в работе — счастье каждого!..»

Да, да!

Именно так ответил бы Молибден на его вопрос.

Но разве здесь истина?

Нет, он никогда не поймет этого. Эпохи имеют различные цели, и то, что когда-то называлось смыслом, ныне имеет название общественной обязанности.

Не в одной работе смысл...

Павлу показалась скучной и бесцветной эпоха Молибдена.

Зависть к людям, построившим социализм, сменялась чувством жалости. Да, он жалел сейчас людей, у которых почти вся жизнь уходила на заботы о еде, одежде и жилище. В памяти его, по странной ассоциации, встали страницы старинного романа, в котором герой считал, что жизнь в социалистическом обществе будет безрадостной и серой.

Слепое бешенство охватило Павла. Ему захотелось вытащить этого дикаря из гроба эпохи, потрясти за воротник и, осыпая пинками, спросить:

— Вонючее животное! Мразь и слякоть! Что ты там бормотал о безрадостной жизни нашего времени?! Вонючий осел, протащивший свою жизнь по грязным лужам, о чем пророчествовал ты?! Ты был похож на корыстную свинью, которая считала, что человек, отвергающий гнусное пойло из барды, должен быть глубоко несчастным созданьем.

Он вошел в пустынный зал и, размахивая руками, вскричал:

— Ты думаешь, я боюсь ее?!

Но ледяной холод пронизывал его тело и клубком подкатывался к горлу. Хриплое дыханье вырвалось из груди. Павел обмяк и словно кому-то жаловался:

— Я боюсь ее несравненно больше, чем боялся ты... В сущности, тебе все равно. Она прекращала лишь твое существование. У меня же она прекращает жизнь. Ты не знал, что такое жизнь; ты даже в самых смелых своих фантазиях не мог представить творческого роскошества жизни.

— Я не хочу умирать! — закричал Павел, и голос его прокатился воплем.

Он прижался к дверям и, бледный как стена, смотрел безумными блуждающими глазами по сторонам. Он не заметил, как к нему подошел Бойко, и не почувствовал, как рука профессора опустилась ему на плечо.

— Он умер? — спросил Бойко.

Дрожа и лязгая зубами, Павел непонимающе смотрел на профессора. Тогда Бойко взял руку Павла и сказал:

— Иди за мной!

Павел покорно побрел за профессором.

* * *

Они сидели в мягких креслах, и солнечные туманы обтекали их призрачной золотистой пылью.

Лязгая зубами о края стакана, Павел выпил сиреневую жидкость и, закрыв глаза, опустил голову на грудь.

Бойко барабанил пальцами по столу, исподлобья наблюдая за Павлом.

Потом, взглянув на широкое окно, в которое вливалось солнце, Бойко нерешительно кашлянул:

— Н-да... Так-то вот...

— Я искал тебя! — пробормотал Павел.

— Да? Ну, вот, видишь... Я чувствовал, что я кому-то нужен... Ну, вот...

Бойко поднялся и сделал несколько шагов по кабинету.

— Собственно говоря, безграничный страх смерти — удел всех смертных. Под впечатлением смерти твоего отца ты почувствовал его острее. Немалое значение оказала на твою острую восприимчивость твоя болезнь. Словом, я не должен был отпускать тебя.

— Оставим это... Я видел смерть, которая должна была бы примирить меня с ней. Я слышал слова, которые, точно кислоты, разъедали страх перед смертью. Но разве я примирился со смертью?.. Я сейчас спокоен, но, кажется, я вскоре утеряю вкус к жизни... Да, да, не смейся, пожалуйста.

— Смерть, дорогой мой, соль нашей жизни. Без нее жизнь была бы пресной и безвкусной.

— О, — возмущенно вскричал Павел, — какая чепуха!

Бойко покачал головой:

— Ты оттого и любишь жизнь, что она не вечна. Оттого жизнь и прекрасна, что рано или поздно — она оставит тебя. Самое благоразумное — это не думать о смерти.

— Тебе не кажется, что ты говоришь пошлости?

Бойко взглянул иронически на Павла:

— Ну и что же?..

— Ничего...

— Ты прав, конечно, пустые человеческие слова никогда не объяснят нам ничего. Смерть есть смерть. Необходимое для всех видов биологическое явление. Вот смысл всяческой философии по этому вопросу. Отвращения и страха перед смертью мы никогда не поборем в себе, но сейчас я хочу сказать о другом. Если когда-нибудь страх перед смертью бросит тебя снова в дрожь, ты направишься к медику и попросишь его осмотреть тебя. Ты болен сейчас, — это для меня ясно. Твой панический ужас перед смертью объясняется нервным состоянием. Запомни, Павел, что дети и здоровые люди никогда не считают серьезной эту мысль. Они весьма скептически относятся к смерти. Ты это знаешь, конечно?

Павел кивнул головой.

— К чему трагедии? — пожал Бойко плечами. — Вспомни, как раньше просто смотрели на смерть!

— Раньше люди кончали самоубийством, — возразил Павел, — и я думаю, что в старину люди не ценили жизни. Ведь она же была так бесцветна и неприглядна!

— Напрасно ты думаешь, — сказал Бойко, — что в старину жизнь была бесцветной. Она не была так благоустроенна, эти несомненно. Однако люди не находили поводов жаловаться на нее. Суровая и бедная жизнь старого времени была наполнена большим смыслом борьбы, и это ты знаешь сам прекрасно. Разве ты не завидовал им?

— Я переносил себя в тот мир...

— Ты преклонялся перед ними!

— Нет, это было лишь простое уважение к тем людям.

— И это не помешало тебе кричать в операционной о свинстве старых людей.

— Разве я кричал?

— Кричал твой страх. Но это неважно. Иди к себе. Говорить нам больше не о чем. Ты пробудешь здесь еще две

декады на положении больного и две декады как прикрепленный к санатории. Я выпущу тебя, когда ты перестанешь думать о смерти.

Павел замолчал.

— Ступай к себе! — сказал Бойко, повертываясь спиной к Павлу.

Затем вдруг Бойко остановил его.

— Я вспомнил сейчас, — сказал профессор, — величественные стихи поэта старого века:

Даже когда на кладбище положат
И мраком
И снегом
Закроют мою грудь,
Я буду из могилы, как из темной ложи,
Слушать
Оркестрируемый трубами
Труд.

— Нам никогда не понять величия этих суровых строк, — сказал Бойко.

* * *

Страх смерти, охвативший Павла, пропал так же внезапно, как и появился.

Санаторный режим, холодные души, покой, диетическое питание с богатым количеством фосфатов вернули Павлу ясность мышления и радостное ощущение жизни. Веселый, жизнерадостный, он стыдился минутной своей слабости и при первой встрече с Бойко признался в этом.

— Ты был прав, — сказал Павел, крепко сжимая руку Бойко, — мысли о смерти, как я уже убедился, недоброкачественный продукт слабых организмов. Мне сейчас смешно и стыдно. Мне неудобно смотреть на тебя после того...

— Ладно, ладно! — проворчал Бойко. — Побольше фосфатов, почаще под холодный душ, и слабости исчезнут сами собой.

— Однако, — засмеялся Павел, — мне грозит другая опасность: заболеть от безделья.

— Это менее опасно! — сказал Бойко. — Впрочем, я разрешаю тебе читать газеты, а через несколько дней ты можешь делать небольшие прогулки по городу... Газеты можешь взять у меня.

* * *

С ворохом газет Павел поднялся на крышу санатории и с жадностью принялся за чтение.

Развернув «Правду»*, он пробежал глазами московскую жизнь, пометил карандашом несколько статей, которые считал необходимым прочитать сегодня, и, отложив газету в сторону, взял ленинградскую газету «Вперед»**.

На столбцах запестрели знакомые имена. Старый Ленинград хлынул с газетных полос крепким, знакомым дыханьем. Живая, энергичная жизнь била ключом сквозь газетные листы, заставляя Павла радостно улыбаться.

Юрко.

Крамоль.

Перикл.

Атом Круглое.

Аркадий Лесной.

Голованов.

Юлий Басков.

Ромб.

Гиацинт.

Подписи под статьями, очерками, фельетонами, рассказами и заметки не были для Павла простым сочетанием звуков. Это были его друзья и приятели, с которыми он провел последние годы своей работы над звездопланом.

---

* В конце второй пятилетки все московские газеты слились с газетой «Правда», которая начала выходить на 24 листах, увеличив тираж в тот же год до 15 миллионов. Такое же слияние произошло и в других крупных городах СССР. Количество газет уменьшилось, зато значительно вырос их тираж.

** Газета «Вперед» была образована путем слияния «Ленинградской правды», «Красной газеты» и «Смены».

В 1937 г. тираж этой огромной политической газеты достигал 6 миллионов. В описываемое время ее тираж доходит до 20 миллионов.

Но даже без подписей он мог бы узнать эпическое течение мыслей Крамоля, нежную лирику Ромба, благородный пафос Юрко, нервический стиль Атома Круглова, энергичный телеграфный язык Гиацинта, буйный слог Перикла, иронический стиль Аркадия Лесного, захлебывающиеся от радости строки Баскова.

Охватив голову руками, Павел внимательно рассматривал ленинградскую жизнь, не пропуская даже небольших заметок. Он хотел знать все, чем живет Ленинград, чем он дышит и какие задачи выдвигает сейчас ленинградская общественность.

«Желудок нуждается в путешествии» — так называлась первая заметка, остановившая внимание Павла.

Улыбаясь, он прочитал:

Странные наклонности старых строителей — это солидный счет, по которому мы расплачиваемся нашими удобствами.

Постройки тридцатых годов — с общественными столовыми, прачечными, с яслями и другими атрибутами домашнего социализма — доставили нам изрядные хлопоты. Но, к сожалению, работа в этой области так и осталась незаконченной.

Мы вынесли за черту города прачечные, построили в Шапках и в Токсове детские городки, превратили старые столовые в жилые помещения, но до сего времени не удосужились организовать питание по примеру других городов.

Если повсеместно существуют за чертой города кольца коммунального питания с их неоспоримыми удобствами и преимуществами, то у нас, как старый пережиток, столовые и буфеты, закусочные и рестораны разбросаны по всему городу, вызывая справедливые нарекания населения.

Я не знаю, есть ли у нас любители кухонных запахов, проникающих во все поры жилых помещений, но если даже и найдется несколько чудаков с такими странными наклонностями, так это еще не довод против коренной реорганизации народного питания.

Я хочу обедать, ужинать и завтракать в спокойной обстановке, вдали от шума городского и непременно на свежем воздухе. К тому же мой желудок нуждается в предобеденном вояже, который, как известно, весьма способствует улучшению аппетита.

Не находите ли вы, товарищи, возможным превратить Озерки в кольцо коммунального питания?

Детектор Петров.

В фельетоне Аркадия Лесного «разрабатывалась» проблема одежды. Очевидно, главный портной Магнитогорска не терял зря времени. Мысли Якоря, одетые в блестящую фельетонную форму, казались теперь более привлекательными, а толпа недалекого будущего, шествующая сквозь фельетон, пленяла богатством красок и радовала глаз гармоническими красками и линиями одежды.

Здесь Якорь нашел блестящего пропагандиста своей идеи.

Так же внимательно Павел прочитал очерки о последних литературных новинках, рецензии о музыкальной олимпиаде, отчеты клуба философов, референцию о съезде поэтов, просмотрел полосу спорта, полосу новинок науки и техники, пробежал глазами проблемный рассказ, мельком взглянул на полосу сельского хозяйства и, пропустив официальный отдел, углубился в чтение отдела «Будем строить».

В этом отделе клуб архитекторов знакомил население с утвержденными проектами объектов строительства в предстоящем строительном сезоне. Тут же сообщалось о свертывании на год производства моторов для самолетов ввиду перепроизводства в этой отрасли. Клуб электриков сообщал о постройке новой аккумуляторной станции для нужд электромобилей, судостроители делились своими соображениями о новых типах уже заложенных трансатлантических пароходов, останавливаясь, главным образом, на усовершенствованиях, внесенных в систему управления по радио. Тут же приводился расчет требуемого количества рабочих рук по районам.

В конце отдела, обведенном рамкой, расположился отдел статистического адмцентра.

Вчера население Ленинграда составляло 11 миллионов 783 тысячи 656 человек.

Зарегистрировались на годичное пребывание:

мужчин — 6 311 155 чел.

женщин — 4 916 820 чел.

Потребность в рабочей силе в текущем году выражается в 8 600 000 чел.

Лица, достигшие 40-летнего возраста, по желанию могут быть зачислены в запасный фонд рабсилы.

На текущий месяц работ регистрация начата.

Отложив в сторону «Вперед», Павел взял магнитогорскую газету «Проблемы».

Так же как и все газеты, она была отпечатана на 24 полосах. Первые шесть полос были заняты сообщениями, радиограммами, постановлениями Совета ста и другим газетным материалом всесоюзного значения.

Эти шесть полос не набирались в Магнитогорске. Они передавались из Москвы по всем крупным городам Республики*, а здесь вверстывались в отдел «Новости советских республик».

Четыре полосы, а иногда и больше занимала местная жизнь. Две полосы были отведены спорту и физкультуре. Четыре полосы забирало себе искусство. По две полосы были отведены сельскому хозяйству, науке и технике, экономике и строительству в Республике и по одной полосе для отделов «Будем строить» и «В последний час».

Стандартность в расположении материала имела то неоспоримое преимущество, что каждый человек в Республике, где бы он ни жил, куда бы он ни приезжал, мог в любой газете быстро отыскать то, что для него представляло наибольший интерес.

Перелистывая полосы газеты, Павел с удовлетворением остановился на радиограмме, которая сообщала о том, что Совет ста на сессию выносит («по упорно циркулирующим слухам») вопросы энергетики и звездоплавания. Но, вспом-

---

* Передача московского материала производится Линошмидтом. Машина эта представляет собою остроумнейшую комбинацию Клейншмидта с Линотипом и разрешает проблему набора по радио.

нив заседание в редакции, Павел понял, что это лишь один из маневров Нефелина.

Догадка Павла подтверждалась на каждом шагу.

Просматривая газетные полосы, ласкающие взор гармоничным сочетанием шрифтов, обилием иллюстраций и приятным цветом глянцевитой бумаги, Павел то и дело встречал статьи и заметки, подогревающие интерес к межпланетным сообщениям.

Искусная рука Нефелина чувствовалась в каждой полосе.

Хитрый дипломат подстерегал читателя на каждом газетном развороте.

На полосах искусства какой-то чудак — не то серьезно, не то в ироническом плане — строил гипотезы об... искусстве на ближайших к Земле планетах. В новостях науки и техники была втиснута заметка, в которой туманно говорилось о каких-то усовершенствованиях в области звездоплавания, причем редакция обещала вскоре «осветить этот вопрос более детально». На полосе «Сельское хозяйство», под псевдонимом «Агроном» кто-то делился предположениями о возможности культивирования на Земле интереснейших злаков и плодов, которые, несомненно, будут в недалеком будущем доставлены отважными звездоплавателями с иных планет на нашу Землю. В отделе промышленности и экономики несколько видных ученых-геологов обнародовали увлекательные статьи о рудных богатствах Луны и Марса, набросав пленительные перспективы обогащения металлического фонда Республики ценными для промышленности, но редкими на Земле металлами. И даже на полосе «Спорт и физкультура» Нефелин умудрился дать фельетон, который если не прямо, так косвенно возбуждал интерес к звездоплаванию.

На последней полосе, под рубрикой «В последний час», сообщалось о возвращении Павла из Крыма, куда «Стельмах летал по весьма важным делам, о которых газета до поры до времени сообщить не может».

Последняя заметка подействовала на Павла неприятно. Ему казалось бесцеремонным и нетактичным использовать смерть близкого человека в политических целях.

Но эти мысли Павел старался от себя отогнать.

«Нефелин, очевидно, не знает настоящей причины моей поездки! — решил он. — Иначе вряд ли ему захотелось бы оскорблять меня».

Неприятный осадок, оставленный газетной заметкой, мешал Павлу сосредоточиться, но вскоре, увлеченный поэмой классического писателя эпохи Тиберия Богданова, он позабыл обо всем на свете и сидел в плену смелых и пышных образов, волнуемый горячей ритмикой, вдыхая свежесть строф и хлещущую через ритмы могучую радость.

С газетой в руках Павел шагал от балюстрады к лифту, громко декламируя поэму. Некоторые строфы он повторял по нескольку раз, стараясь запомнить те места, которые ему особенно нравились.

За этим занятием его застал Нефелин.

Упав на крышу, Нефелин освободился от аэроптера и, потирая руки, встал в тень гибридов.

— Прекрасно, — сказал после непродолжительного молчания Нефелин, — у тебя способности декламатора.

— Какие потрясающие строфы! — повернулся Павел к Нефелину. — Вот поэт!.. У него голос моря и сердце — кусок солнца!

— Это уже хуже стихов Тиберия! — с комической важностью произнес Нефелин.

— Ну, я не поэт!

— Напрасно.

— Ты думаешь?

— Видишь ли, дорогой мой, — важно сказал Нефелин, — нашей эпохе особенно нужны бездарные поэты. Они придают мужество застенчивым гениям и вселяют надежды в неокрепшие таланты.

— Ну, ну, ну! — засмеялся Павел. — Ты пользуешься тем, что у нас упразднены нарсуды, и не боишься быть привлеченным за оскорбление. Но я привык прощать обидчикам.

— О, горе мне! — воздел кверху руки Нефелин. — Я, кажется, буду оштрафован в сумме последнего пучка волос на моем черепе.

— Садись, — пожал руку Нефелина Павел, — рассказывай, что нового!

— Видел? — кивнул головой Нефелин в сторону газеты.

— И уже смеялся! Между прочим, если иссякнут темы, я предложу статью «Марс разрешает вопрос энергетики».

— Смейся, смейся! — добродушно сказал Нефелин. — А мы неплохо ведем свое дело.

— Ты полагаешь, Молибден и другие не догадываются?

— Вот поэтому-то я и зашел к тебе... Мы получили информацию о том, что сегодня с тобой намериваются говорить Коган и Молибден. Содержание разговора известно. Они постараются отвлечь тебя от твоей работы и... остальное понятно.

— Вот как? Дипломатия, выходит, провалилась с треском?

— Пока еще не известно. Если тебе предложат отказаться от твоей работы, — значит, они в курсе дела. Если же тебя хотят видеть с другим намерением...

— То мы ошиблись!

— Нам останется одно: перейти в открытое наступление! Открытый бой, по совести говоря, мне больше по душе.

— Тогда Молибден пустит в ход все, что, к нашему счастью, он держит сейчас в резерве. Лучше было бы разгромить его резервы задолго до боя.

— Я не боюсь! На Молибдена уже поднялись все редакции. Разве это не половина успеха?*

— Завтра узнаем все!

Нефелин встал и подошел к аэроптеру.

— Я должен лететь. Меня ждут в клубе к 14 часам. Если я не застану тебя завтра после переговоров с ними... надо полагать, что они посетят тебя утром, то ты застанешь меня вечером в редакции.

— Прекрасно!

---

* В описываемую эпоху ни партийных организаций, ни государственного аппарата не существует. Роль Совета ста — это роль технического совета в народном хозяйстве. Советская же общественность группируется вокруг редакций газет, унаследовавших боевые традиции старых коммунистических советских газет и играющих роль организаторов общественного мнения вокруг всех вопросов нового быта. Решающее же слово остается за большинством всего населения СССР.

Глава шестая

Утром следующего дня к Павлу пришли лидеры оппозиции Молибден и Коган.

Высокий, крепко сложенный Молибден был похож на подвижника-аскета. Суровые черты его лица обрамляла огромная седеющая борода, густая шапка седых и вьющихся волос падала на шишковатый лоб. Черные молодые глаза горели фанатическим огнем. Движения были медленны и уверенны.

Полную противоположность Молибдену представлял его единомышленник Коган: вертлявый, нервический человек с козлиной бородкой, стремительными глазами, с пергаментным, сморщенным лицом.

Движения Когана были порывисты, голос криклив, во время разговора ноги Когана дергались. Он более всего напоминал больную птицу, которая судорожно цепляется за ветку, не будучи в силах сохранить равновесие.

И Когана и Молибдена Павел знал задолго до того, как они попали в Совет ста. Он в детстве еще слышал о гениальных открытиях этих неразлучных друзей, поставивших телемеханику и телевидение на крепкие ноги. Но, преклоняясь перед их блестящими умами, Павел не мог при встрече с ними побороть чувства неприязни, которое охватило его.

— Кто неприятен тебе? — в упор спросил Коган, жестикулируя руками.

— Ты ошибся! — смутился Павел, чувствуя досаду и проклиная в душе чересчур тонкую, нервную организацию Когана, — я не выспался и раздражен.

Коган засмеялся.

— Бросим это! — загудел Молибден. — Сядь, Арон! Садись и ты. В ногах правды нет.

Он помолчал немного, испытующе всматриваясь в лицо Павла, и, опустившись в кресло, вздохнул, точно паровоз, влетевший под своды вокзала.

— Вот ты какой!.. Хорош! Хорош! Только вид у тебя утомленный очень. А так парень ничего!

Павла немного покоробила его бесцеремонность, но он промолчал.

— Ты не ершись только! — загудел Молибден. — Я, знаешь, человек простой. Я вот попросту и сразу скажу тебе...

— Молиб! — подскочил Коган.

— Да помолчи ты! Дай сказать хоть слово человеку! — И, придвинувшись к Павлу, неожиданно хлопнул его по плечу: — Все знаешь?

— Почти! Только стоит ли говорить об этом? Будет сессия, будут и разговоры!

Коган подпрыгнул в кресле:

— Что? Что?..

— Да подожди ты! Не скачи козлом!.. Ты, парень, это брось! — нахмурился Молибден. — Павлом, кажется, тебя звать?

Стельмах кивнул головой.

— Так ты брось! Мы ведь, кажется, в одном оркестре играем! Не враги, кажись? Вот давай и поговорим по душам. Ну-ка, что ты думаешь о нас?

— Думаю, что ты и Коган — злейшие враги прогресса!

— Как? Как? — закричал Коган.

Молибден усмехнулся в бороду:

— Враги прогресса... А ты кто?

— Ну, что ж, скажи!

— А ты стопроцентный дурак, — определил Молибден, не дожидаясь ответа Павла.

Павел насмешливо поклонился.

— Форменный, — загудел опять Молибден, — хоть обижайся, хоть не обижайся, а дурак ты порядочный. Про таких в старину говорили: умен человек, да только ум дураку достался... Ну, ты прости меня, что я с тобой интимничаю.

— Я не из обидчивых! — усмехнулся Павел, начиная чувствовать невольную симпатию к этому чудаку.

— То-то! — загудел Молибден. — Я, брат, не от злости ругаюсь. Досадно мне. Вот что. Вижу я, ум у тебя будто бы и гибкий, ассоциативное мышление развито прекрасно.

Такому человеку по плечу всю технику нашу на голову поставить, а он пустяками занимается.

— C1 — пустяк?

— Не то что пустяк, а форменная чепуха!

— Дай мне сказать! — не вытерпел Коган.

— Подожди! Так как же, Павел?

— C1 — пустяк?

— А? Ты про это? Ну, что ж, давай поболтаем!

— Я не могу, Молиб, — взмолился Коган, — меня трясет всего, а ты точно ложку по смоле тянешь!

— Ну, вали! Барабань! — махнул рукой Молибден.

— Вопрос ясен, — заторопился Коган, — пустяками заниматься не время! Энергетика—вот! Да-с... Именно сюда нужно бросить Колумбов. Луна? Марс? Глупости! Ажиотаж!

Чувства и мысли Когана бежали впереди слов, поэтому ему казалось, что он уже все сказал. Стрельнув глазами в Павла, он плюхнулся в кресло и закричал:

— Ну? Павел? Ну, ну! Что же ты молчишь? Впрочем, о чем говорить! Вопрос ясен.

— Уточним! — загудел Молибден.

Он прищурил глаза, запустил огромные лапы в густую бороду и, качнувшись в кресле, поднял руки вверх.

Я
земной шар
чуть не весь
обошел, —
И жизнь
хороша,
И жить хорошо!

— Крепко сказано, Павел?! Заметь «и жизнь хороша, и жить хорошо». Где хорошо-то? Да, понятно, на земле... Хорошие были в старину поэты. Ты вот сказал сейчас: вы, дескать, враги прогресса! А давай-ка разберемся, кто из нас есть доподлинный враг прогресса?.. Вот мы считаем таким врагом тебя. Не сегодня завтра Республика встанет лицом к катастрофе. Предпосылки к этому уже налицо. Топливные резервы на исходе. Кладовые земли опустошены. Нефть

и уголь, очевидно, придется вычеркнуть из быта. Валить лес для топок — паллиатив. Да и не так уж мы богаты лесом, чтобы превращать его в топливо. Гидростанции — капля в море. Так что ж прикажешь делать? Стоять и спокойно смотреть в лицо катастрофе или же мыльные пузыри пускать на Луну? Мы остановились на третьем. Мы решили все силы и возможности направить на изыскание новых источников энергии.

— Я не понимаю, — перебил Павел, — почему мешает этому моя работа?

— То-то и есть, что ты ничего не понимаешь!.. Я тебе так скажу: когда-то мы не задумываясь жертвовали ради Республики своей жизнью, а ты вот артачишься, когда у тебя меньшего просят.

— То есть половину жизни?

— Помолчи! Я тебя еще послушаю! Будь покоен! Так вот, если ты друг Республики, ты должен прийти на сессию и заявить: дескать, так и так, никаких сейчас других вопросов, кроме вопроса энергетического хозяйства, быть не может. Я, мол, решил временно отложить межпланетные опыты и отдать силы проблеме энергетики. Потому-де интересы Земли для меня дороже и тому подобное... Ты не думай, Павел, что я противник твоих работ. Не то, брат. Но вот беда: выбивают твои опыты всех из колеи. Бредиатаж получается. Человеки перестают смотреть под ноги, а ходят, задрав морды на Луну. Какая уж тут работа. Откажись ты от своей Луны — и люди на время успокоятся и трезво начнут работать над энергетической проблемой.

— В доме пожар, а ты на бал собрался! — крикнул Коган. — Тушить, тушить надо.

— Я не против, — загудел снова Молибден, — и никто не будет против, только...

— Позволь, — перебил его Павел, — я все-таки не понимаю тебя. Мою работу ты только что назвал чепухой и сейчас уже благословляешь ее. Как понять тебя?

— Откровенность нужна? Изволь! Ну, да, и я, и Коган, и многие другие уверены в том, что это чепуха!

— И?..

— И все-таки мы встанем горой за продолжение опытов.

Молибден сжал бороду в кулак.

— Видишь ли, в свое время в колбах алхимика возникла научная химия, идеалист Гегель родил диалектику материалиста Маркса, фантастическая литература помогла наметить пути развития современной техники. В этом мире нет ничего неоправданного и ненужного. Все, что ни делается, — все это идет на пользу. Я, Павел, человек старый... Я помню времена, когда по земле дураки бродили.

— Полезные?

— А что ты думаешь? Понятно, полезные. Бывало, на дурака до дрожи смотришь, экое, думаешь, ничтожество, и сам ужаснешься: а не похож ли я на него?.. Ты не скажи! Дурак — прекрасное пособие для человеческого совершенства... Конечной цели ты здесь не достигнешь. Мы это знаем. А в результате твоей работы человечество, пожалуй, должно будет обогатиться чем-нибудь полезным. Это уж факт. Обожди годик-другой, я и сам приду работать над твоей химерой.

— Это не химера! — покачал головой Павел. — И позволь мне сказать все, что я думаю о своей работе.

— Послушаем... Почему же не послушать?

— Пусть в твоих глазах я встану, как показательный болван, но я скажу все, что я передумал за эти годы.

Помолчав немного, как бы собирая растерянные мысли, Павел задумчиво поглядел на своих собеседников и спокойно сказал:

— Ты знаешь о рождении идеи все... В те дни, когда я приступил к работе, я исходил из тех соображений, что рано или поздно Земля будет перенаселена и человечество встанет перед задачей колонизации космоса. Но с течением времени я решил, что перенаселение — событие маловероятное. Скорее всего, следует ожидать всеобщей катастрофы, которая сделает жизнь на Земле невозможной. А такие катастрофы, если мы примем во внимание свойства вечной материи, явятся, несомненно, если не сегодня, так завтра. Больше того, такие катастрофы уже видело человечество. Уверены ли вы оба в непреложности истины рождения че-

ловека на Земле? Я лично более всего верю в то, что человек родился в космосе и колыбелью человечества была иная планета, о которой мы ничего не знаем.

Я представляю себе дело так.

Миллионы лет назад люди жили на какой-то неведомой человечеству планете. Жизнь на этой планете имела культурный уровень значительно выше нашего. Люди не только имели такую технику, как у нас, но даже могли переноситься с одной планеты на другую. Теперь представьте себе, что на той неведомой планете человек с длинной седой бородой (запомните бороду, пожалуйста!) работает в качестве директора межпланетных сообщений. Он заведует отправкой межпланетных экспрессов, и от него же зависит возвращение этих экспрессов обратно. Теперь допустите, что с этой планеты на Землю отправляется целая экспедиция. Люди высаживаются на планете. Прекрасно. Они занимаются минералогией, ботаникой, собирают богатые коллекции, но в это самое время в космосе происходит страшная катастрофа. В старую систему планет врывается из мирового пространства Солнце, подхватывает нашу Землю и тащит ее в мировом пространстве триллионы астрономических единиц. Наконец, Солнце принимает сегодняшнее положение, захваченные в пути планеты начинают двигаться вокруг Солнца по обычной для всех планет орбите. Те же планеты, которые находились в этом поле мирового пространства, продолжают свой прежний путь, набегая с огромной скоростью на всю Солнечную систему со стороны, обращаясь вокруг Солнца по сильно вытянутому эллипсу.

Последнее обстоятельство, между прочим, чрезвычайно важно, так как оно подтверждает эту теорию. Влетев из мирового пространства в поле блуждающих космических тел, Солнце захватывает силой тяготения эти тела и образует вместе с украденной из другой системы Землей и некоторыми другими планетами нашу Солнечную систему.

Канто-Лапласcовская гипотеза — детский лепет. Глупая сказка.

— Дальше, дальше! — попросил нетерпеливо Коган.

— Теперь представьте себе ужас людей, которые видят, как Земля с потрясающей быстротой уносится от их родной планеты. Они находятся от родины уже на таком расстоянии, которое свет может пройти в течение миллиарда лет. Несмотря на это, люди не теряют надежды. Они верят, что директор станции — седобородый мужчина — вернет их на родную планету. Проходят десятки лет. У вынужденных межпланетных колонистов появляются дети. На земле зарождается человек. Умирая, колонисты рассказывают одичавшим детям о прекрасной жизни на родной планете, которая, может быть, называлась Рай. Возможно, что бородатый директор станции был зарегистрирован под именем бога с фамилией Саваоф...

Проходят миллионы лет. Планета Рай превращается в утерянный рай. Директор Саваоф — в сверхъестественное существо. Коммерческие агенты с аэроптерами — в ангелов. Люди рассказывают о коврах-самолетах (образ аэроплана), о летающем Икаре, о живой и мертвой воде (не боржом ли это?), о скатертях-самобранках (это, несомненно, наши коммунальные столовые).

— Ну, ну!

— Проходят столетия. Все забыто и утеряно.

Но человек тоскует об утерянном мире. У людей по временам поднимает голову «космический атавизм».

Ты сказал: нет случайного и неоправданного. Правильно! Я с тобою согласен. Но сам ты, очевидно, многое считаешь случайным. Ну чем ты объяснишь появление китайских легенд, в которых говорится о том, что первые китайцы упали на Землю с Луны? А перувианские легенды, утверждающие, что Манго-Гуэлла, основатель перувианской династии, спустился со своей женой с неба? А сказание об Атлантиде? А индийские книги «Веды» и «Бхагават-Гиты», трактующие о возвращении людей на другие планеты? И это не случайно!.. У всех народов, особенно у древних, ты можешь без труда найти отзвуки этого события. Монгольские сказки о полетах на небо, сказание о Икаре и Дедале, вавилонские легенды о летающем царе Этане, арабские сказки о Синдбаде-мореплавателе, поэма персидского поэта Фирдуси о полете Шаха

Кей-Кауса, утверждения Гераклита о том, что он был знаком с жителем Луны Арабисом, который обладал волшебной стрелой, переносившей его во всякое место Вселенной.

Все это — деформированные воспоминания о событиях, которые случились миллионы лет тому назад.

Ты сказал: нет случайного и неоправданного. Правильно, Молибден. Не случайно появление литературных произведений, в которых разрабатывается эта проблема. Не случайны также героические попытки человечества осуществить эту связь с другими планетами. Не случаен и я, Молибден. Ты говоришь: откажись. Нет и нет! Тысячи раз нет. Ничто не в состоянии убедить меня в бесполезности этих опытов.

— Фантасмагория! — вскочил Коган. — Бред, чепуха!! Одна из глупейших гипотез! Не будет этого! Слышишь? Большинство встанет против.

— Неправда! Моя работа — мечта человечества. Большинство будет на моей стороне.

— А если?..

— Что если? Ты сам знаешь: если мы соберем большинство, так тебе и Молибдену придется помогать мне. Если же большинство будет на вашей стороне, я вынужден буду, конечно, отложить работу.

— Экая горячка! — загудел Молибден. — Дай твою руку!.. Вот так! Будем говорить спокойно. Я скажу тебе вот что. Гипотеза твоя несерьезна. Да ты и сам, наверное, не шибко веришь в нее. Я хочу говорить о другом. О гипотезах и действительности. Ты вот невесть чего тут нагородил. А толку из твоих слов не вижу. И потому не вижу, что в мире есть явления, которые можно назвать путями человечества. Как бы высока ни была наша техника, а нам никогда не удастся положить звезды в карман. Как бы ты ни обсасывал свою теорию, а дальше Земли тебе не удастся прыгнуть.

Ты не понимаешь одного, что сам человек ограничен во многом. Воля человека не абсолютна. Человек может изобрести летающую корову, но никогда не изменить ему законов движения.

Есть, дорогой мой, в морских глубинах рыбы це-лоринхи, татигады, эстомии, макруги, малокостнусы, неостомы и ты-



сячи других живых существ, которые прекрасно живут на глубине тысячи метров, но умирают, будучи вытащенными на поверхность.

И это закон...

В том, что ты полетишь, — сомнений быть не может. Ну, а дальше что?

Человек никогда не разрешит этой проблемы так же, как не разрешить ему и проблемы бессмертия. Все, дорогой мой, имеет законы. Их же не преступить... Фанаберии космизма только отвлекают людей от прямых обязанностей на Земле...

— В наше время, — кашлянул Молибден, — жили поэты, которые путешествовали в межпланетном пространстве, сшибая оглоблей звезды. Такие поэты умерли вместе с эпохой, гнавшей их в космос... Но куда и от чего бежишь ты, человек социалистического общества?.. Я этого не понимаю. Тебе нужно лечиться от твоей космической болезни. Тебя следует изолировать, чтобы ты не распространял высокой заразы. Можешь обижаться на меня, но после того, что я слышал, я буду бороться против тебя до последнего вздоха.

— Опыт был? — подпрыгнул Коган. — Был, я спрашиваю? И что же? Катастрофа? Да? Стоила ли игра свеч? Конечно нет! Все чепуха! Для того чтобы перелететь из Ленинграда в Магнитогорск, не нужен был С1.

— Катастроф больше не будет! — заметил Павел.

— Так говорят безумцы! — поднялся Молибден. — Не будет больше и межпланетных снарядов, которые вырывают из наших рядов лучших людей...

— Посмотрим!

— Значит, враги?

— Да! — крикнул Павел. — Ты и Коган — враги мои и человечества!

— Будем драться, черт возьми! — спокойно сказал Молибден.

— Будем драться! — принял вызов Павел.

Коган побежал к дверям, извергая ругательства. Следом за ним, тяжело ступая, уходил Молибден, даже не взглянув на человека, который грозил своим упрямством порядку Республики.

Глава седьмая

Павел не знал, что могут предпринять Молибден и Коган, но теперь для него было ясно, что предстоит борьба.

— Да, да, — говорил он себе, собираясь к Нефелину, — мы должны форсировать события!.. Надо действовать!..

Погруженный в размышления о судьбе своей работы, Павел не заметил, как дошел до редакции и как очутился в редакторском кабинете.

— Надо действовать, — были первые слова Павла, — они знают все! Мы не должны терять ни одной минуты.

Нефелин испытующе посмотрел на Павла:

— Открыты?

— Стратегия наша оказалась чепухой.

— Что они предлагают?

Павел передал свой разговор с Молибденом и Коганом.

— Мы расстались врагами! Они ушли от меня, не протянув мне на прощанье руки.

— У тебя есть уже планы?

— Только одно!

— ?

— Перейти в решительное наступление!

— И...

— Я не прочь выступать с завтрашнего дня с лекциями. Кроме того, я мог бы организовать выставку по вопросам межпланетных сообщений.

— Все это, конечно, хорошо, но тебя отправляют сегодня в Город Отдыха.

— Как? — возмутился Павел. — Бойко говорил...

— Брось! Не поможет! Они действуют быстрее нашего. К твоему сведению, могу сообщить, что Молибден и Коган были командированы сюда Советом ста для выяснения твоего здоровья. Они нашли тебя в неудовлетворительном состоянии. И ты, конечно, понимаешь, — засмеялся Нефелин, — что они выразили свое неудовольствие и предложили Бойко отнестись к твоему здоровью более внимательно. Молибден, между прочим,

сказал Бойко (я привожу подлинные слова): «Стельмах дорог Республике. Но ты этого, очевидно, не уясняешь. Вместо того чтобы ремонтировать его, — ты держишь Павла в духоте Магнитогорска». Бойко в припадке раскаянья вырвал еще два волоска на черепе и, отдав распоряжение о твоей отправке, вылетел с правительственным самолетом в Москву.

Как видишь, они отводят тебя с поля сраженья, шутя и играя. И тут уж никто и ни к чему не придерется... Забота о твоем здоровье! Ничего не поделаешь! Назвался гением — лезь в опекунские пеленки.

— Но это же свинство!

— Что? Забота о твоем здоровье — свинство? Неблагодарный, как ты смеешь так думать об этом!

— Не шути, Нефелин! Мне тяжело сейчас! Подумай, выбыть из строя на месяц, когда именно этот месяц должен решить судьбу работы. Нет. Это нелегко. Сидеть в дурацком городе, не принимать участия в борьбе за самого же себя... Я не понимаю, как ты можешь шутить?!

— Ну, хорошо! Я заплачу!.. Ты похож на ребенка, Павел. Право слово! А что ты думал? Я уже говорил тебе, что им надо отдать справедливость, действуют они умно.

— Но нечестно!

— Ступай скажи им! Они тебе ответят, что честность понятие относительное. Они тебе скажут: все разрешено для блага Республики.

— Благо?

— Ступай убеди их!

— Мне хочется плакать, Нефелин!

— А мне хочется драться! Уезжай! Я буду биться за троих! Да и все мы — ты только посмотрел бы — готовы к самому страшному. Я не ручаюсь, но, может быть, рядом с нами сидят члены нашего клуба и точат ножницы. Они клянутся остричь бороды консерваторов и уже расписываются по этому поводу на пергаменте кровью.

— Ты все шутишь!

— Я весел, Павел! Весел от того, что приводит тебя в печаль. Чудак ты, право!.. Подумай хорошенько: что заставило

этих бородачей порхать из Москвы в Магнитогорск? Что побудило их сплавить тебя с поля битвы?

— Ну?.. — с надеждой протянул Павел.

— Сознание бессилия. Ручаюсь головой, что ситуация в Совете ста более благоприятна для нас, чем для консерваторов. Если бы они чувствовали за собой силу, их действия были бы иными. Уезжай, Павел! До сессии еще полтора месяца! А это большой срок для нас. Большинство будет с нами. Вот увидишь!

— Если они не придумают...

— Пускай, пускай! Пусть придумывают все, что им покажется удобным. Мы все равно победим.

— Я начинаю бояться их!

— А, ерунда... Верь мне, что не позже нового года ты будешь трудиться на Луне, открывая банки с консервами. А я... Ну, я буду посылать тебе с Земли воздушные поцелуи... Ну, давай обнимемся на прощанье! В случае чего я буду писать тебе... Прощай, дружище! Будь весел! Поправляйся. А главное — не унывай! Можешь быть уверен, что в любое время дня и ночи твои друзья действуют и за себя, и за тебя, и за ослепительную идею, за старую мечту человека!

* * *

Ободренный и успокоенный немного, Павел вернулся в лечебницу.

В белом вестибюле, залитом светом, он застал Майю, которая стояла в дорожном пальто около распределителя.

Она тянулась к автомату с надписью «Больных один», стараясь повернуть выключатель, но рычажок выключателя был поставлен так высоко, что до него касались только кончики пальцев Майи. Услышав шаги Павла, она повернулась к нему и сердито сказала:

— Безобразие! Установщик, очевидно, сам решил вести регистрацию! Помоги, пожалуйста!

Павел подошел и, протянув руку через голову Майи, поставил в автомате слово: «свободно».

— Так?

— Спасибо! — сказала раскрасневшаяся Майя и протянула Павлу руку:

— Ну... Ты уезжаешь?

— Я ждала тебя! Ты знаешь о последнем решении Бойко?

— Отправиться сегодня? Знаю!

— Ну вот и прекрасно! Я возвращаюсь в Ленинград!.. Желаю тебе поправиться и... Словом, выздоравливай поскорей!

— Спасибо!

Они замолчали. И так стояли, почему-то избегая смотреть в глаза друг другу. Павел чувствовал, что ему нужно что-то сказать, но какое-то странное замешательство вымело из головы все мысли.

Наконец, подавив смущенье, он пробормотал:

— Я... я, знаешь ли... привык к тебе за это время... То есть... ты была очень добра... Да... Очень добра...

Майя вздохнула.

— Мы еще... думаю... встретимся...

— Возможно, — отвернулась Майя.

Павел пожал ее крепкую, узкую руку.

— Ну, конечно встретимся. Ведь мы же ленинградцы.

— Да!..

Майя неестественно закашлялась:

— Ну, что ж... Пойдем!.. Нам пока по пути!

Они вышли на улицу, но тут, вспомнив что-то, Майя вернулась обратно:

— Чуть было не забыла!.. Одну минутку!

Она вернулась с письмом в руках.

— После твоего ухода приходил Молибден. Он просил передать тебе это письмо и вот эту записку.

Павел с недоумением и тайной робостью взял записку и, развернув ее, прочитал:

Дорогой Павло!

Заходил извиниться за резкость. Не застал. Думаю, впрочем, — простил. Никак не привыкну. Отрыжки старого. Нервы. Не обижайся на старика. Исправляю: жму руку, хотя заочно. В Солнцеграде найди мою дочь. Передай

письмо. Другой способ не подходящ для содержания. Это касается только ее. Секрет. Сам не могу. Занят.

О твоей химере буду думать. Может быть... В общем — после поговорим. Навести старика перед сессией. Потолкуем.

Поправляйся.

Молибден.

Письмо не было запечатано.

— Он так торопился, что позабыл даже запечатать! — сказала Майя.

— Ну, что ж, исправим его рассеянность!

Павел попытался заклеить конверт, но это оказалось невозможным делом. Края конверта были не пригодны для склеивания. И тут Павел понял, что письмо оставлено Молибденом умышленно открытым. Очевидно, старик питал надежду, что Павел может заинтересоваться содержанием письма и прочитать то, что, по мнению Молибдена, Павлу следовало знать.

Павел покраснел.

«Какая гадость, — пронеслось в голове Павла, — он мог подумать, что я окажусь нескромным и...»

Горячая краска еще гуще залила его щеки.

Сунув конверт в карман и выдернув быстро руку, Павел пошел рядом с Майей, по направлению проспекта Энтузиастов.

* * *

Он не захотел войти в салон.

В небольшой кабине скорого самолета он просидел несколько часов, безучастно рассматривая плывущие за иллюминатором облака.

«Что замышляет он? — думал Павел о Молибдене. — Почему я должен прочитать письмо, адресованное его дочери?»

Размышляя о поступке Молибдена, Павел решил, что Молибден имеет какое-то, правда очень странное, намерение включить в борьбу против звездоплана свою дочь.

«Для чего ему это? И почему он так сильно надеется разрешить в благоприятном для себя смысле вопрос о моей работе с помощью дочери?»

Неожиданно в сознании Павла пронеслась робкая мысль, заставившая его покраснеть.

— Нет, нет! — вскочил Павел. — Он не думал этого... Я слишком плохого мнения о Молибдене.

Тогда тайный голос вкрадчиво прошептал:

— Прочти, и ты будешь знать все. Ведь он же именно с этой целью вручил тебе письмо.

Павел сунул руку в карман, но тотчас же выдернул ее обратно, как будто пальцы его коснулись оголенного электрического провода.

— Нет! — громко сказал Павел. — Ты напрасно думаешь, что я суну голову в расставленные тобою сети. Того, что хочешь ты, я не должен хотеть!

Но тайный голос снова зашептал вкрадчиво:

— Ты просто боишься его. Ай-яй-яй! Взрослый мужчина. Открой и прочти. Ведь он же хотел этого! Докажи, что ты его не боишься!

— Нет, — закрыл глаза Павел.

— Не понимаю, — заметил тот же голос, — ничего не понимаю в твоем поведении. Ведь это же не подглядыванье в замочную скважину. Он хотел, чтобы ты прочитал. Неужели тебе не ясно? А ты прочти и посмотри, чего хочет Молибден, но сделай так, чтобы этого не было.

Рука Павла опустилась в карман, пальцы схватили конверт. Резким движением Павел достал письмо и быстро выдернул листок бумаги из конверта, но тотчас же почувствовал, как горячая кровь брызнула к его щекам.

Ему стало душно.

Кинув письмо на диван, Павел выбежал из кабины.

Он прошел по коридору и остановился в застекленном проходе. Прижав пылающие щеки к стеклу, он глядел вниз на летящие под ногами поля и фруктовые сады, среди которых белели агропункты. От яркого солнца поля горели разноцветным пламенем, и люди, точно микроскопические

частицы пепла, носились внизу, устанавливая машины, сверкающие никелем.

Павел вспомнил, что вот уже три года прошло с тех пор, как ему последний раз пришлось целый месяц жить и работать в агрогороде.

Рядом с Павлом стояла пожилая женщина, разговаривая с мальчиком, которого она, очевидно, сопровождала в детский санаторий. Мальчик был бледен и часто кашлял.

— Простудили где-то! — нахмурился Павел и мысленно поставил диагноз:

«Бронхит... Сильная форма... Три месяца лечения солнцем!»

Разглядывая ребенка и женщину, Павел почему-то решил, что виновата в болезни мальчика именно эта женщина, которая, несомненно, не считается ни с какими правилами медицины. Он придвинулся ближе и подумал с неприязнью:

«Простудила мальчишку, а теперь болтает что-то. Подумаешь, как ему важно слушать ее болтовню».

Наклоняясь к мальчику, женщина старалась говорить ему прямо в ухо. Было невозможно разобрать все, что говорила она, но по отдельным словам, долетающим до Павла, он мог догадываться, о чем шла речь.

— Видишь? Видишь? — показывала женщина через стекло узловатым пальцем.

Внизу проплыло бетонное здание Волжской гидростанции. Гигантская плотина лежала поперек Волги, кутаясь в кружева яростной пены. Мальчик прильнул к стеклу, с любопытством вытягивая шею.

— А-а-а... О-о!.. рая... Третью пятилетку... Ангарская... это... ция... вторая по мощности...

Павел придвинулся ближе.

Женщина показывала на огромные площади, занятые заводами, которые тянулись к зеленеющей вдали городской черте.

— ...мукомольные... салотопенные... мыловаренные... кожевенные... фабрики... обувные... овощные... фруктовые... крахмальные заводы... строительных материалов...

Она говорила об индустрии Средневолжской области.

Павел зевнул.

В сущности говоря, такие женщины — плохие гиды. Ну что может понять мальчонка из этих объяснений? Да и знает ли она сама, почему Средневолжская область превратились за. последние десятилетия в огромную фабрику по переработке сельскохозяйственного сырья?

Интересно, что сказала бы она, если бы ее спросить:

— А почему все это? Почему здесь такая индустрия, а в Нижневолжской области — металлургическая и металлообрабатывающая промышленность?

Подобные люди способны целыми днями плавать в воспоминаниях. Пролетая над Карелией — всесоюзным комбинатом мебельной и бумажной промышленности, — они непременно будут говорить о диких скалах и безлюдных озерах, которые некогда были на месте прекрасных городов Карелии.

В Туркестане, в районе хлопка и каучуконосных плантаций, они вспоминают о голой пустыне и, конечно, о бывшем Аральском море, которое нынче превращено в резервуар гигантской оросительной системы.

До слуха Павла долетело слово:

— Волго-Дон...

О Волго-Доне она, конечно, расскажет, как его начали строить во вторую пятилетку, как этот канал соединил Волгу с Черным морем и превратил Ростов в порт мирового значения. И уж несомненно, расскажет о гигантской оросительной системе, которая с постройкой Волго-Дона позволила втянуть в сельскохозяйственный оборот десятки тысяч гектаров плодородной земли.

Рассказывать так рассказывать.

Она расскажет и о том, как Ахтуба — дельта Волги — превратилась в район хлопководства и рисосеяния.

Пролетая над старым Днепростроем, она будет говорить о построенных электрических сверхмагистралях, опутавших Донбасс, о том, как на базе донецкого угля, криворожской и керченской руды и днепровской энергии развернули производство тысячи новых заводов судостроения, машиностроения, металлообработки, как выросли здесь алюмини-

евые заводы, электротехнические, сельскохозяйственного машиностроения и, понятно, упомянет о былой мощи дряхлеющего угольного гиганта.

В сущности, это уже старо и давно уже набило оскомину. Павел прошел в кабину и, не взглянув на письмо, белеющее на столике, лег на диван. Укачиваемый воздушной качкой, он заснул богатырским сном, и ни шум мотора, ни спуски на промежуточных аэровокзалах, ни подъемы — ничто не беспокоило его сна.

Свежий и бодрый, он проснулся в тот час, когда самолет летел над Кавказом.

Сквозь стекла иллюминаторов можно было видеть мелькающие внизу бесчисленные гидростанции, перекусившие плотинами бурные горные реки, медеплавильные заводы, виноградники, белые санатории, прячущиеся в зелени лесов, обширные фруктовые сады, города, обсерватории, климатические станции. Мощные горные хребты вырастали под крыльями самолета и беззвучно падали вниз.

Павел привел одежду в порядок и, сунув письмо в карман, вышел в салон.

Указатель змеился дрожащими фиолетовыми буквами:

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА В СОЛНЦЕГРАДЕ

Павел прильнул к иллюминатору.

Книга вторая

Глава восьмая

Самолет падал вниз с выключенным мотором. И город, казалось, поднимался от земли навстречу самолету. Обширные площади, широкие улицы, сады, скверы, сверкающие стеклом дворцы росли на глазах.

Розовые, оранжевые, голубые, синие и белые пятна дворцов, точно причудливые гигантские цветы, переливались радужным цветеньем среди тропической зелени города.

— Солнцеград! — крикнул кто-то.

В тот же момент город вплотную ринулся на самолет, и за иллюминаторами внезапно выросли и метнулись в сторону люди.

Павел, вместе с немногими пассажирами, вышел из самолета и через несколько минут уже сидел в кабинете главного врача — директора и управителя Солнцеграда.

Главный врач, полный, моложавый мужчина с открытым веселым лицом, покачивался в плетеном кресле и с легкомысленным видом вводил нового пациента «в курс леченья».

— Что ты должен здесь делать? Каковы нормы поведения и каков режим?.. Ну, этого ничего у нас нет. Ты можешь делать все, что тебе угодно. Однако, если я когда-нибудь замечу, что у тебя унылая физиономия, — берегись. Это единственное, что запрещено здесь и за нарушение чего — строгое наказание. Леченье? Воздух, солнце, море, музыка, спорт и дружеские беседы.

— Несложные обязанности! Теперь: где я могу остановиться?

— Обычный всесоюзный порядок — в любом доме, где есть место. Рекомендую — берег моря. Там, кажется, сейчас около 400 свободных квартир.

— Обед? Ужин? Завтраки?

— Обед — в обычный час. Остальное — в любое время.

— Диета?

— Что нравится! Впрочем, рекомендую обратить побольше внимания на зелень.

— Работа?

— Час в месяц!

— Так мало?

— Ну, дорогой мой, это же не промышленный город.

— Все?

— Это все, если ты еще запомнишь, что здесь нельзя иметь книг и газет, нельзя читать и писать и запрещено работать.

— И после всего этого ты считаешь Солнцеград городом отдыха? Я назвал бы его преддверьем в психиатрическую лечебницу. Один час работы в месяц?

— Ничего... Привыкнешь! С ума еще никто здесь не сошел, хотя все прибывающие сюда опасаются именно этого.

— Все?

— Ну... Заодно могу сказать тебе, что здесь ты не увидишь ни телефоноприемников, ни кинорадиоэкранов; словом, всем видам искусства, кроме музыки, вход в Солнцеград воспрещен.

— Радиогазета, надеюсь...

— Не надейся! Она также изъята! Впрочем, если ты желаешь, я могу объяснить тебе причины...

— Ну еще бы, — засмеялся Павел, — однако я думаю, что начальники старых тюрем имели в запасе более убедительные доводы за тюремный режим для заключенных, чем мог бы привести ты в защиту порядков Солнцеграда.

— Как хочешь! — зевнул главный врач. — А некоторые, между прочим, интересуются этим вопросом.

— Я не из любопытных!

— Тем лучше для тебя. В всяком случае, это качество полезно для человека, нуждающегося в отдыхе.

* * *

Покинув кабинет главного врача, Павел побрел по широким, утопающим в зелени проспектам. Тысячные толпы отдыхающих, одетых в белое, легкое платье, переливались по тротуарам, громко разговаривая и смеясь.

По асфальтовым мостовым бесшумно проносились нескончаемой вереницей зеленые электромобили, набитые поющими людьми.

Воздух был полон музыки, вырывающейся из широких глоток уличных репродукторов, крепкого благоухания южных цветов и песен и веселого шума беспечных людей.

Сквозь густую зелень пирамидальных тополей, обступивших проспекты, просвечивали розовые, голубые, оранжевые, сиреневые, белые и фиолетовые стены дворцов. Гармоническое сочетание красок веселило глаз, радостная мажорная музыка ласкала слух, смех и песни веселой толпы наполняли сознание юношеским легкомыслием.

Стаи аэроптеров кружились над садами и проспектами, сверкая в ясной лазури неба трепетными крыльями. Сверху, точно конфетти, падали, кружась в воздухе, летающие люди, и с плоских крыш дворцов взлетали с песнями все новые и новые партии аэроптеров.

Проспекты, по которым двигался Павел, точно реки, впадали в цветочные озера прекрасных садов и парков, в царство роскошных клумб, причудливых фонтанов, сверкающих под солнцем беседок над искусственными зеркальными прудами и белых мраморных статуй.

В садах и парках царило особое оживление. Люди пели, играли, смеялись, разговаривали.

На открытых площадках, под репродукторами, кружились в танцах юноши и девушки, и радостные движенья их были полны, красивого ритма.

При выходе из парка, сквозь просветы деревьев которого синело близкое море, Павел натолкнулся на карнавальную импровизацию.

Увенчанная цветами и опутанная серпантином, навстречу катилась толпа, и несколько юношей и девушек с гирляндами темно-бархатных роз бежали впереди, подняв руки и громко крича:

— Мобилизация!

— Мобилизация!

— Призыв веселых!

— Сюда, товарищи!

Мимо Павла бежала раскрасневшаяся девушка. Голубые глаза девушки блестели радостью. Она схватила Павла за руку:

— Ну, ну, скорее!

Но Павел, улыбаясь, покачал головой:

— Не сейчас!

— Как хочешь! — крикнула девушка, пробегая дальше.

Он остановился, наблюдая, как импровизированный карнавал вырастал, точно снежный ком, и когда толпа умчалась к морю, Павел зашагал, насвистывая веселую песенку.

По широким террасам он спустился вниз. Парк остался сзади. Перед глазами, точно голубая атласная стена, встало белесоватое море, сливаясь с далеким горизонтом. Вдали качались дымы океанских пароходов.

Зыбкое море переливалось, отражая теплые, блестящие края туч и веселую лазурь. В мутно-розовой дали синел далекий берег. Над водой, часто махая крыльями, низко летели белые птицы.

Желтый пляж, усеянный купальщиками, гудел веселым шумом. Радостные, звонкие голоса, смех и визг долетали до слуха Павла. Глядя на блестящие обнаженные руки, на темные от загара спины, на яркие красные блузы и цветные чепцы, он чувствовал, как солнце и веселье пронизывают его насквозь и теплыми волнами текут, вместе с кровью, к сердцу.

Он сделал несколько шагов.

Над обрывом поднимались цветущие акации, вытянув тонкие и гибкие вершины к небу. И, точно зеленая армия, спускались к морю темные каштаны, шевеля узорчатыми

листьями и потрясая белыми и розоватыми свечками восковых цветов.

У подножья обрыва сверкали стеклом цветные отели, заслоняя мрамором стен белесоватое море.

Павел спустился вниз.

* * *

После недолгих поисков он выбрал в одном из отелей номер с балконом и окнами на море и, прикрепив карточку к дверям, начал устраиваться.

Здесь предстояло Павлу прожить целый месяц, поэтому он прежде всего разместил мебель в таком порядке, который казался ему наиболее целесообразным.

Не прошло и полчаса, как номер преобразился совершенно.

На серо-зеленых стенах он оставил лишь прекрасные репродукции полотен Рубенса, задернув остальные картины коломянковыми шторами. Кабинетное пианино он передвинул из угла к широкому окну и, спустив люстру над круглым столом, расставил вокруг стола кресла, потом снял с окон бледно-зеленые занавески и опустил их в шкап для чистки и дезинфекции. Открыв «бутафорскую», он разыскал бюсты любимых поэтов и изобретателей, и, когда комната приобрела приятный для него вид, он перешел в спальню, где так же переставил все по своему вкусу.

В гардеробной он выбрал костюм для купанья и переменил серую верхнюю одежду на белый костюм из искусственного шелка*.

Закончив работу по устройству квартиры, Павел достал «купальное» полотенце и, мурлыкая под нос какой-то веселый мотив, вышел из номера, имея намеренье найти на берегу моря друзей и пожариться под южным горячим солнцем.

---

* С 1940 года одежда из искусственного шелка, благодаря гигиеничности, пористости (не задерживает испарений кожи) и способности пропускать самое ценное для человеческого организма — ультрафиолетовые лучи из солнечного спектра, сделалась «униформой» для детей, больных и отдыхающих.

* * *

Так началась новая жизнь Павла в Городе Отдыха. Утром — купанье, завтрак и беседы с новыми друзьями. В полдень — обед, веселая компания, шахматы и мертвые часы; затем — друзья, спорт, горы, парусные яхты, песни, продолжительный ужин, музыка, усталость и крепкий сон.

* * *

Прошло три дня после того, как Павел прибыл в Город Отдыха. Однажды, обедая в обществе новых друзей, он заметил за соседним столом высокую девушку, которая суровостью своей была похожа на Молибдена. Павел подошел к ней и спросил:

— Не зовут ли твоего отца Молибденом?

— Нет! А что?

— Больше ничего.

Павел вернулся к своему столику, взобрался на стул и громко крикнул:

— Алло, товарищи! Нет ли среди вас дочери члена Совета ста Молибдена?

Обедающие начали весело оглядываться.

— Это не ты, Абрам?

— Как будто нет!

— Уж не та ли это девушка...

— Алло! — снова закричал Павел. — Может быть, кто-нибудь знает ее?

Чувствуя на себе чей-то взгляд, Павел повернул голову. Глаза его встретились с темными девичьими глазами, которые смотрели с удивлением и любопытством. Девушка была одета в белое открытое платье. Темные волосы облаком окружали ее голову. Губы ее были полуоткрыты, точно у ребенка, увлеченного занимательностью рассказа.

— Может быть, это ты? — крикнул Павел.

Девушка кивнула головой.

Тогда Павел соскочил со стула и направился в сторону девушки, пробираясь между столиками обедающих. Он подошел к ней и сказал:

— Я привез тебе письмо... От Молибдена.

Девушка удивленно подняла брови вверх, отчего Павел покраснел, чувствуя себя смешным в роли почтальона.

— Но я не захватил его! Если хочешь, зайди ко мне вечером. Впрочем, я могу принести завтра сюда.

— Хорошо! Я зайду! — ответила девушка.

Павел дал ей свой адрес.

* * *

Когда она пришла, Павел предложил ей кресло.

Он достал письмо и, передавая его, сказал со злостью:

— Письмо не запечатано. Очевидно, твой отец имел для этого причины.

Девушка вынула вдвое сложенный листок бумаги. Издали Павел увидел, что на листке была написана только одна фраза и внизу стояла подпись. Но девушка почему-то долгое время не могла поднять головы от письма, как будто это было не письмо с одной фразой, а по меньшей мере десяток страниц «Капитала» Маркса. Павел видел, как густая краска заливает щеки девушки; когда же она подняла голову и в замешательстве взглянула на Павла, — странная неловкость и досада наполнили его сознание.

Инстинктом он понимал, что эта единственная фраза касается его.

Но, не имея возможности узнать, что именно пишет о нем Молибден, Павел почувствовал, как ощущение беспричинной раздражительности овладевает им. Сдерживая себя, он сказал:

— Вообще... я не понимаю, почему Молибдену пришла в голову мысль...

Он запнулся.

Девушка быстро взглянула на него.

— Ты Стельмах?..

Павел кивнул головой.

— Меня зовут... Кира. Ты долго пробудешь здесь?

— Еще три декады...

— Ты первый раз в Солнцеграде?

— Да... И, кажется, последний...

— Тебе не нравится?

— Скучно.

В это время они оба остановили взоры на письме, которое Кира вертела в руке, потом, взглянув друг на друга, смущенно замолчали. Им вдруг стало не о чем разговаривать. Павел почувствовал, как в его грудь проникает непонятное волнение. Сердце сжималось. Он едва решился взглянуть на девушку.

— Что... в этом письме? — спросил Павел.

Кира закусила губу. Густой румянец залил ее щеки.

— Видишь ли, — сказала она запинаясь, — это, очевидно... шутка отца...

Она протянула Павлу руку с письмом, но тотчас же, покраснев еще более, быстро отдернула руку.

— Нет, нет... Ты не должен...

— Как хочешь! — пожал плечами Павел. — Я просто подумал, что это письмо касается меня.

— Ты угадал. Так на самом деле и есть. Но... я не хотела бы говорить об этом.

Она встала и, протянув руку Павлу, сказала:

— Мы еще встретимся... Сейчас же я должна идти!

Он проводил ее до дверей.

* * *

Они встретились через несколько дней.

Утром Павел услышал, как репродукторы приглашали желающих пойти на работу в коммунальных предприятиях. Ощущая потребность в работе, Павел направился к распределителю.

Он подошел к небольшому приземистому зданию в тот момент, когда целые толпы отдыхающих с веселым шумом вливались через стеклянные двери в распределитель.

Пришлось занять очередь*.

---

* Людям нашего времени, возможно, покажется странной та необычайная тяга к работе, которая заставляет людей социалистического общества вставать в очередь для того, чтобы получить работу. Но дело в том, что в социалистическом обществе труд не является тяжелой повинностью. Это, скорее спорт. Это приятная привычка. Труд для каждого человека — такая же необходимость, как вода, пища и воздух. Являясь частицами вечной, находящейся в созидательном движении материи, мы живем только в этом движении. Стоит нам остановиться,

Он продвигался постепенно вперед, пока не очутился перед красным щитом, на котором сверкали полосы указателей:

Для работы	*Требуется*	*Зарегистрировано*
В столовых	1500 чел.	1309
«прачечных	1500 –»–	1101
«продуктовом распределителе	1675 –»–	1670
«отделе снабжения	700 –»–	689
«статистическом отделе	150 –»–	150

Павел в нерешительности остановился перед распределителем. Тогда женский голос крикнул за спиной:

— Ну, ну... Побыстрее!..

Павел в замешательстве перевел валик — против слова «прачечных», и тотчас же в графе «зарегистрировано» встала цифра 1102.

— Ну, вот! — произнес тот же голос, — 1102 и один всегда дают 1103.

Павел оглянулся.

Перед ним стояла Кира.

— Ах, это ты? — смущенно проговорила она.

Они отошли от распределительной доски в сторону. Кира протянула Павлу руку и сказала:

— Не сердись... Но я терпеть не могу, когда кто-нибудь стоит перед доской и выбирает... Как будто не все равно, где работать.

— Я не сержусь, — ответил Павел, — только я хотел пойти в статотдел... Видишь ли, мне еще ни разу не приходилось работать в этой области, поэтому...

выключиться из этого общего движения, как тотчас же приступы невероятной тоски станут рядом с нами. Жизнь без работы, то есть без движения, без творческой деятельности, — немыслима совершенно. Лечение трудом, получившее широкое распространение уже и в наш реконструктивный период, стало там одним из могучих средств медицины. Неврастения, психостения, ипохондрия, малокровие и ряд заболеваний нервного происхождения с успехом врачевались с помощью труда.

— Принимая во внимание твой возраст, я могу гарантировать, что ты попадешь со временем и на эту работу... Ну, а сегодня мы работаем вместе.

— Не возражаю, — улыбнулся Павел.

* * *

Вечером того же дня они встретились за городской чертой у ворот коммунальной прачечной. Это было серое здание в десять этажей. В бетоне сверкали огромные стекла, и за стеклами были видны перебегающие с места на место люди.

Павел пропустил Киру вперед.

Они вошли под застекленный свод гардеробной, отыскали свободные ящики, достали оттуда прозодежду и, превратившись в рабочих, прошли в фабричный распределитель.

Молча заполнили они графу «горячий пар» и, следуя за стрелками-указателями, прошли коридорами в цех.

Войдя в большой зал, сплошь уставленный машинами, они встали против двух девушек.

— Кончай, — весело сказал Павел. — Сменяем!

Одна из девушек спросила:

— Ты уже работал в цехе горячего пара?

— Нет.

— В таком случае — смотри.

Она обратила внимание Павла на широкую ленту, по которой двигались белые одежды. Они шли сплошным потоком по застекленному транспортеру, мимо трубопроводов, из которых вырывались яростные клубы пара.

— Смотри сюда! — сказала девушка.

Она положила руки на регулятор.

— Если подача пара ослабевает, поверни рукоятку вправо. Если платье начнет сбиваться в кучу, переведи этот рычаг до надписи «свободный ход». Вот это все. Понятно?

— Вполне.

— До свиданья.

Девушки ушли. Павел остался с Кирой.

Так же быстро произошла смена и в других отделениях коммунальной прачечной.

Группа новых рабочих встала к приемникам.

Изо всех гостиниц, жилых помещений и коммунальных предприятий сюда тянулись трубы, по которым пневматически направлялось в коммунальную прачечную белье и другие изделия из полотна, бязи и коломянки.

Из приемника все поступающие предметы по транспортерам шли в дезинфекционные камеры, откуда посылались в горячий цех.

Влажный и горячий пар обволакивал бесформенные груды вещей, превращая их в мокрые куски, и гнал в котлы мыльно-щелочных растворов. В следующем цехе белье проходило через камеры электросушки. Затем поступало в гладильное отделение, откуда, сложенное, сияющее белизной, поднималось транспортерами в верхние этажи в отделения сортировки и уже по пневматическим трубам опять мчалось в гостиницы, в столовые, в буфеты, в лаборатории, в бани, в базисные склады, по абонементным номерам.

Павел с сосредоточенным видом стоял у машины, регулируя горячий пар. Белые потоки одежды катились под стеклом ровным приливом. Попадая в полосу пара, они внезапно теряли свои очертания, превращаясь в тяжелую набухшую лаву, которая медленно подплывала к всасывающим отверстиям и бесшумно проваливалась вниз.

— Ну? — услышал он голос Киры.

— Несложно и... неинтересно. Я думал, цех горячего пара не менее, чем машинное отделение.

— А мне все равно, — сказала Кира, — работа в сложных машинных отделениях мне кажется даже скучной.

— А я люблю машины! Работая в сердце предприятий, я ощущаю преклонение перед металлическими чудовищами. Мне кажется порой, что они ворочаются и, точно разумные существа, вздыхают, сердятся, торопятся...

— Атавизм! — засмеялась Кира. — В старину в честь машин даже молитвы писали. Я говорю о стихах... Ты — варвар. Да и потом: разве это, — она показала на транспортер, — не является машиной?

Павел засмеялся:

— Я люблю машину пыхтящую, многоколесную, опутанную приводами и залитую машинным маслом. Люблю сложное сердце. А это вены. Это жилы машинного организма. Когда я стою у дизелей и генераторов, мне кажется: это я даю живую жизнь предприятию и это я сотрясаю гулом стены, и от меня в разные стороны расходятся могучие щупальцы, которые ткут, режут, формуют, плющат, обтачивают тугую материю. Работа среди таких машин мне доставляет высшее наслаждение. Ты не испытывала этого?

Они разговаривали о преимуществах разной работы на разных предприятиях, попутно высказывая свои взгляды на все, из чего сплетена сложная человеческая жизнь.

— Нет лучшего, — сказала Кира, — нет более интересного, чем работа в агрогородах... Я в прошлом году четыре раза работала в агрогородах. В этом году тоже два раза. Если я ночью узнаю о требовании на рабочую силу в агрогородах, то могу вскочить с постели и побежать к распределителю. А какое разочарование испытываешь, когда подходишь к заполненной доске.

— Вот как? — удивился Павел. — Я не понимаю такой наклонности. Я с удовольствием уступил бы тебе это счастье. Работа в агрогородах была для меня всегда менее привлекательна, чем работа в индустриальных кольцах.

— В таком случае ты напрасно отнимаешь удовольствие у меня и у других.

— Ты думаешь, у нас много любителей сельского хозяйства?

— Я первая!

— Атавизм?

— Представь себе, что дед мой был коренным рабочим. Он тридцать лет проработал на ленинградской трикотажной фабрике «Красная заря». А я...

— Пейзанка...

— Смейся, пожалуй! — пожала плечами Кира.

Она помолчала немного, потом, переводя регуляторы и не поворачивая головы в сторону Павла, сказала:

— Работая однажды в лаборатории бионтизации*, я встретилась с одним полусумасшедшим... О, это был единственный в своем роде. Он мог без устали и отдыха говорить и дни и ночи напролет о различных сортах навоза, о породах свиней, о курах, утках, инкубаторах. Словом, все, что имело хотя бы отдаленное отношение к сельскому хозяйству, способно было влить в его жилы поэтический жар. Он мог без устали дискуссировать о коровьих хвостах, о породах свиней, о минеральных удобрениях. Он жил в особом мире, наполненном дыханием плодовых садов и полей, ревом скота и гулом сельскохозяйственных машин. Он не признавал искусства, он не мог просидеть в театре пяти минут; самую лучшую поэму он считал ниже прозаического мычания коровы. Я спорила с ним с утра до ночи. Я доказывала ему все убожество его жизни.

— И все же не могла убедить его в этом?

— Ого! Хотела бы я видеть человека, который сумел бы доказать ему это... Да что там! Он, ты понимаешь, он сам пытался доказать нам односторонность нашего существования. По его мнению, мы, с нашим образом жизни, были самыми несчастными людьми на земле... Впрочем, я хотела рассказать тебе, как он обратил меня в сельскохозяйственную веру.

Она откинула упавшие на глаза волосы.

— Однажды после яростного спора на эту тему он схватил меня за руку и потащил за собой. Первое время я думала, что ему пришла в голову мысль утопить меня в молоке. Такой у него был решительный вид. Но впоследствии ока-

* Метод биологически-экспериментального воздействия внешних сил на растения. Бионтизация повышает жизнедеятельность растения, повышает его производительность в количественном и в качественном отношении. Для бионтизации пользуются ультрафиолетовыми лучами, радиоактивностью, теплом и холодом. Бионтизация увеличивает урожай на 60 процентов.

Первые опыты в этом направлении были начаты в СССР в 1928 г. Опыты с бионтизацией семян доказали, что этот метод не только дает возможность повысить урожай и одновременно улучшить его качество, но что особенности бинтизированных семян наследуются. Таким образом, является возможным производить новые сорта с повышенной способностью развития. В последние годы было поставлено много опытов для получения мутаций, т. е. новых признаков у растений.



залось, что решение его было более жестоким... Три декады он не отпускал меня. Мы исколесили за это время весь юг СССР, побывали в десятках агрогородов, работали в садах, на огородах, в полях, на опытных станциях, на плантациях, возились с телятами, поросятами и цыплятами, пахали, сеяли, а во время антрактов мчались на самолетах, где обедали и делились сельскохозяйственными впечатлениями. Где-то под Лугой, кажется, после двухнедельной работы в зоосовхозе, — он решил отпустить меня на все четыре стороны. Но я уже бредила инкубаторами и минеральными удобрениями. В сновидениях меня посещали цыплята, по ночам к моей подушке подходили все коровы и телята Республики и тепло дышали в мое лицо. Перед глазами качались тяжелые ветви, осыпанные румяными плодами... Я не хотела вернуться в город и больше года путешествовала с этим чудаком из одного агрогорода в другой. Да и теперь я еще не совсем освободилась от влияния земли... О, это нужно испытать!

— Не понимаю, — сказал Павел, — я не испытывал удовольствия, когда работал в агрогороде. Правда, мне пришлось работать там раз два, не более, но...

Павел пожал плечами, как бы желая сказать, что удовольствие, полученное им, сомнительное.

— В таком случае — остается пожалеть тебя! — сказала Кира. — Ты, очевидно, являешься жертвой бессистемного ознакомления с нашим сельским хозяйством.

— Да я просто совсем незнаком с этой отраслью! — честно сознался Павел.

— Ах, так... Ну, в таком случае моя жалость к тебе становится бесконечной...

— Я уже плачу...

— Смейся, смейся!

Кира взглянула на Павла сияющими глазами и восторженно сказала:

— Если бы я была поэтом, если бы я умела хорошо говорить, я показала бы тебе такие потрясающие картины, что ты, ручаюсь, завтра же сбежал бы из Солнцеграда в какой-нибудь агрогород.

Павел улыбнулся:

— Человек почти никогда не знает о своем истинном призвании.

— Тебя интересует эта тема?

— После того, что ты уже сказала мне, я охотно познакомился бы с прелестями сельского хозяйства.

В это время фабричные репродукторы грянули марш. Цехи наполнились бодрой музыкой, которая радостными волнами покатилась над машинами.

— Разве уже прошло полчаса? — удивилась Кира.

— Очевидно... Тебе не мешает музыка?

— Она должна помочь мне... Тра-та-та тар-рам-там... Чудесный марш, не правда ли? Тира-рам, тай-рим-пом... Ну, так вот представь себе Республику нашу в час рассвета... В росах стоят густые сады. Тяжело качаются на полях зерновые злаки... реками льется молоко... Горы масла закрывают горизонты... Стада упитанного, тучного скота с сонным мычаньем поднимают теплые морды к небу. Нежная розовая заря пролились над бескрайними плантациями хлопка и риса. В мокрой зеленой листве горят апельсины. Трайра-рам! Прекрасный марш... Каучуконосные поля гваиюлы и хондриллы шелестят сухою листвой. Бамбуковые заросли шумят и радостно и тревожно... Рощи пробковых дубов тянутся к побледневшему небу могучими руками... Трай-рарай... Трай-ра-рай...

Вот заспанный дежурный в далеком Туркестане выходит на платформу... Паровозы вздохнули... Вагоны забормотали буферами, и состав за составом двинулись поезда с хлопком, с полусырьем каучука, с рисом, с фруктами, с мычащим скотом, с рыбой, с шелком в далекий путь.

И вот уже в Сибири, навстречу туркестанским составам, выползают маршруты с лесом, с хлебом, с машинами и с металлом... Товарные вокзалы открыты. Поезда мчатся друг другу навстречу.

Кавказские маршрутные эшелоны благоухают лавандой, камфарой, ванилью, померанцем, плодами и аптекой. От Сухума, Батума, из Сочи, из Анапы бегут вагон за вагоном. И в этих вагонах, слегка покачиваясь, плывут на север важные субтропические гости.

Северный Кавказ хлещет пшеницей. Точно через прорвавшуюся плотину, текут маршруты с тяжелым драгоценным зерном.

Сибирь и Ленинградская область открывают ворота, и в города катятся реки молока, с ревом устремляются бесчисленные эшелоны скота. Украина еле видна... Горы сахарной свеклы, горы хлопка, горы асклепиаса* закрывают горизонты. Пирамиды сои высятся около пакгаузов.

Тяжелые пшеничные реки растекаются из Центрально-черноземной области во все концы СССР.

В Западном крае колышутся под ветром океаны льна. Пригородные земли опорожняются, и электрокары бегут, груженные до верху огородными овощами...

— Должен тебе сказать, — перебил Павел Киру, — сельское хозяйство тебе не удается оформить поэтически. Все, что ты говорила здесь, меня не воодушевляет.

— О, варвар, — покачала Кира головой, — у тебя высушенное сердце и вместо крови течет тепловатая вода, настоянная на математических формулах. Я чувствую, что мне придется говорить с тобою языком сухим, как гербарий.

— М-м-м... По-моему, есть предметы, которые так далеки от поэзии, что даже самые замечательные поэты стали бы смешными, когда бы им вздумалось воспевать их.

— Вот как?.. А что же, как не поэзия, — зерновые злаки в полярном кругу?

— Гм...

— Ну, конечно, если мы смотрим на поля пшеницы под Мурманском, как на обычное явление, тогда разговаривать нам не о чем. А знаешь ли ты, что еще в самом зародыше даже в первую далекую пятилетку, многие, как ты теперь, не верили в сельское хозяйство в полярном крае.

— Мало ли что...

---

* «Асклепиас корнути» — каучуконосное растение. Стебли его годны также и для бумажного производства. Из пушка этого растения делают искусственное волокно, из семян — технические масла. «Открыто» в 1928 г. молодым агрономом А. Б. Войновским. По распоряжению ВСНХ Украины в 1930 г. впервые асклепиасом засеяны тысячи гектаров земли в колхозах и совхозах.

— Нет, не «мало ли что». Если ты был на севере, ты должен знать, что летний период там настолько короток, что почти ни одно растение не может созреть там и дать плоды. Долгие годы пришлось затратить на то, чтобы добиться более краткого вегетационного периода для злаков, долгие годы работали ученые агрономы, пока не заставили ячмень и пшеницу вызревать в 60 дней. Разве это не поэзия? Разве это скучная проза? Там, где некогда лежала мертвая тундра, ныне качаются океаны зерновых злаков. Где картофель считался когда-то тропической неженкой, ныне табак и сахарная свекла возбуждают к себе такой же интерес, как у нас крапива. А работа с гибридами? Я три месяца работала в совхозах гибридов. Я держала в своих руках плоды и овощи, которые никогда и не снились нашим предкам. Путем скрещиваний одних растений с другими мы создавали плоды и овощи величайших размеров, с необычайным вкусом. Я видела пшеницу, колосья которой были тяжелы и каждый колос весил около 100 граммов. Но это уже была не пшеница, а новое растение, которое породил коллективный ум.

Разве это не поэзия?

Мы ко многому уже привыкли. Мы не видели старого сельского хозяйства, поэтому мы многое не можем теперь оценить. Взять хотя бы обработку земли. Ты, конечно, видел, как в дни пахоты по полям скользят быстроходные земледробилки. Ты, может быть, бродил по вспаханному полю, похожему на мягкую перину, может быть, брал в руки землю, напоминающую пух? А ведь сколько ума и энергии было затрачено, чтобы добиться этого! Я видела в старых книгах машины, которые назывались тракторами и которые считались в старину последним достижением техники. Эти тракторы ползали по земле со скоростью черепахи, утрамбовывали и деформировали своей тяжестью земли, портили ее, отнимали живородящую силу, и все же люди гордились этими уродами. Все-таки это было лучше коня с сохою...

Ах, если бы старые люди взглянули на наши поля. Вот они-то, я уж за это ручаюсь, они, безусловно, почувствовали бы в этом поэзию. А новые, физические методы обработки

почвы? Честное слово, ты даже не подозреваешь того, что сейчас делается на полях.

Я некоторое время жила в опытном совхозе... Если бы ты, Павел, видел, какие величайшие революции зреют в этом совхозе. Я могла бы рассказывать до утра о новшествах и все-таки не успела бы рассказать всего. Когда я работала там, мы производили опыты повышения плотности атмосферного электричества над полями.

— Гм...

— Тебе непонятно? Видишь ли, процесс ассимиляции и дыхания в растениях зависит от количества ионов в воздухе. С повышением числа ионов*, а следовательно, и электропроводности атмосферы, жизненные процессы протекают более интенсивно.

Это зависит от того, что скопление атмосферного электричества способствует повышенному усвоению растениями питательных веществ из воздуха. В этой области мы уже многого добились. Когда же задача будет разрешена окончательно... Знаешь ли ты, что будет тогда?

— Гм...

— Тогда тебе уже не придется никогда в жизни работать на заводах минеральных удобрений. Эти заводы мы закроем навсегда... Поэзия это или проза?.. А пересадка?.. Однако скажи мне сначала, сколько килограммов зерна, по твоему ученому мнению, требуется для обсеменения гектара земли?

— М-м... Кажется, около 100 килограммов.

— Прекрасно. А знаешь ли ты, что в совхозах Северного Кавказа и во многих совхозах Центральночерноземной области для этой цели идет всего лишь 5 килограммов.

— То есть...

— Вот видишь, ты уже заинтересовался. Ах, Павел, как тебе не стыдно! Ведь у нас теперь почти всюду пользуются методом грядовых культур, а ты об этом как будто и не слышал. Нет, ты обязательно должен посмотреть на работу пересадочных машин. Самых умных машин, я сказала бы.

— Это... действительно интересно!

---

* Заряженные частицы.

— Еще бы! Ты посмотрел бы на эти неуклюжие махины, когда они подходят к рассадникам. Огромные и неповоротливые, они осторожно вползают на зелень, бережно опускают железные руки с тысячами пальцев, выдергивают из земли рассаду, едва достигшую 15 сантиметров, и, ворча, уползают на пахоту. Здесь, так же осторожно продвигаясь вперед, они опускают ростки в пашню и присыпают их землей. Умны — непостижимо. Можешь проверять их, можешь придираться к ним. Они спокойны. На каждом квадратном метре они оставляют ровно 10 ростков. Ни больше, ни меньше. На каждом гектаре 100 000 ростков. Изумительные машины!

— Я, кажется, начинаю чувствовать к ним симпатию,— сказал Павел, — и уж, во всяком случае, при первой встрече с ними попробую взять у них несколько уроков математики.

— Не бесполезно. Тем более, что у них своя точка зрения на математику.

— Вот как!

— Этой самой математике они сейчас обучают все зерновое хозяйство. Если раньше, года три-четыре назад, рекордным урожаем пшеницы считали урожай в 4800 килограммов, то с применением пересадочных машин — рекордным урожаем называется такое арифметическое действие, когда на один гектар высевается 5 килограммов зерна, а во время уборки снимается 10 000 килограммов. Теперь прими во внимание, что опыты по сокращению вегетационного периода растений в течение уже ближайших лет позволят нам снимать не два урожая в лето, а три. Иначе говоря, один гектар будет давать 30 000 килограммов зерна. Человек тридцатых годов, собиравший с гектара советской земли не более 2000 килограммов, почувствовал бы в этих цифрах подлинную поэзию.

— Пожалуй, наши поля со временем разрешат и топливный кризис.

— А что? Если взяться за дело как следует, то зерно, как топливо, может быть большим подспорьем в энергетическом хозяйстве... Но неужели ты впервые слышишь о пересадке?

— Представь себе, что это так. Во-первых, я никогда не интересовался сельским хозяйством, а во-вторых, когда я попал на работу в один из агрогородов, то ничего этого не видел.

— Ты работал...

— В районе северных черноземов.

— Ах, так... Ну, тогда для меня все понятно*. И я могу в таком случае открывать для тебя Америки через каждые пять минут.

Она откинула волосы назад и, повернув регулятор пара, сказала:

— Вот так же, как ты, я относилась к сельскому хозяйству до того момента, пока не узнала его. Но стоило мне посмотреть одним только глазом на наши поля, и я стала пейзанкой.

Она вдруг рассмеялась.

— Представь себе мое удивление, когда в совхозе лекарственных трав мне предложили заняться... Ну, чем бы ты думал? Тебе никогда не догадаться. Мне предложили удобрять... воздух.

---

* Северные черноземы в районе Тулы, Тамбова и Орла в описываемое нами время являются семеноводческим районом, дающим семена селекционных зерновых растений для всех районов СССР.

Между прочим, сельское хозяйство в это время «районировано» окончательно. Земли, пригодные только для льна, уже не засеваются пшеницей и рожью, а там, где выгоднее садить картофель, уже нельзя встретить ни одного колоса зерновых.

Так, в Московской и Ленинградской областях (в последней на высушенных болотах главным образом) сельское хозяйство развивается, как кормовая база для разведения молочного скота. Наряду с луговым травосеянием и культурой подсолнечника (силосный норм) здесь также идет развитие и огородных культур.

На Западе, в Белоруссии, сельское хозяйство представляет собой обширные поля корнеплодов, которые являются кормовой базой для широко поставленного здесь свиноводства и беконной промышленности.

Правобережье Украины — область сахарной свеклы.

Об остальных районах мы уже вскользь говорили.

Необычайное благоустройство транспорта позволяет производить обмен продуктами бесперебойно, а это обстоятельство дает возможность пользоваться землей так, как мы мечтали о том в тридцатых годах.

— Что-о?

— Вот так же, как у тебя, очевидно, и у меня полезли глаза на лоб. Почему же, говорю, воздух? А это, говорят мне, участок с чрезвычайно редкими нежными растениями. Мы, говорят, должны их беречь, как свои мозги. Словом, мне вручили баллоны с углекислотой и заставили выпускать ее на гряды. Оказывается, это не так уж глупо, как мне показалось сразу. Дело в том, что углекислота, вылитая на гряды, повышает процент содержания углекислоты в низших слоях воздуха и тем самым придает большую интенсивность процессам усвоения растениями солнечной энергии.

— Позволь, к чему же это делать? Стоит только удобрить землю известью и — пожалуйста — получай углекислоту в любых количествах.

— Когда же растение получает углекислоту еще раз и в другой комбинации, так ты понимаешь, надеюсь, что от этого вторичного воздействия оно становится еще крепче на ноги.

— Скажи мне, — обратился к своей собеседнице Павел, — не рекомендовал ли тебе отец — я говорю о письме — обратить меня в сельскохозяйственную веру.

Кира вспыхнула до корней волос. Закусив губу, она склонилась над конвейером, внезапно заинтересовавшись процессом работы.

— Я угадал?

— Ты хочешь знать содержание письма? — смутилась Кира.

— Да!

— Может быть... со временем... я покажу тебе...

— Что я должен сделать для того...

— Замолчи, пожалуйста! — крикнула Кира.

— Хорошо! — комически вздохнул Стельмах. — Я не буду говорить о письме. Продолжай.

Кира молчала.

— Ну, что же, — пытался вызвать ее на разговор Павел, — с тех пор, значит, ты смотришь на жизнь глазами маньяка.

— Не совсем, — неохотно ответила Кира, — но я уже и не осуждаю его. После этого урока я начала смотреть со-

всем иначе на людей, чем когда-то смотрела. Его увлечение, конечно, ненормально для человека нашего времени, однако таких чудаков, как я убедилась впоследствии, можно встретить на каждом шагу. Для одного весь мир заключен в химические формулы, другой бредит математикой, третьи помешаны на искусстве, ну а некоторые носятся где-то в межпланетном пространстве.

— Прекрасно, очень прекрасно! — сердито заметил Павел. — Но если ты будешь невоздержанна на язык, то я захвачу тебя в сферический гараж и сделаю звездопоклонницей.

— Что ж, может быть и твоя работа не менее интересна.

— Я думаю! — гордо сказал Павел.

* * *

Случилось так, что они встречались почти каждый день. Они вместе обедали и вечерами подолгу болтали о том, что приходило им в голову.

Кира была не только остроумной собеседницей, но и хорошим приятелем. Разносторонне образованная, она, как и большинство людей ее возраста, прекрасно знала технику, увлекалась медициной, рисовала, обладала солидными знаниями в области точных наук, была неравнодушна к поэзии.

Но, кажется, более всего она любила музыку.

Нередко после ужина они заходили в отель «Звездные пути», где остановилась Кира, открывали настежь окна, выдвигали кабинетный рояль на середину... Тонкие и сильные пальцы Киры погружались в белые клавиши; рояль шумно вздыхал, гудел, точно прибой в рассветный час, и вдруг осыпал полумрак весенними мелодиями. Откинувшись назад, Кира смотрела широко открытыми глазами в лицо Павла и звучным голосом импровизировала:

— Ты видишь сад... Он белый, белый... От цветов... от радости... Над садом ласковое голубое небо... Летят птицы... Это весна, Павел... Слышишь радостное курлыканье журавлей... Чувствуешь, как теплый ветер дует в твои ресницы... Прохладные ветви деревьев касаются жаркого лица... Цветет земля... Шумят весенние ручьи...

В полумраке комнаты она походила на белую птицу из сказок древних. Медленно раскачиваясь телом, она неутомимыми руками создавала хрупкий, стеклянный мир, который гремел под напором весенних ветров.

— Все голубое, голубое... Дали призрачны... Море ласковое... Огромный мир дышит спокойно и мудро... И над миром несется песня... Радуйтесь... Каждое мгновенье прекрасно... Веселитесь... День чист... Белые сады клонятся к земле под тяжестью цветов...

Она вскакивала, со смехом подбегала к Павлу.

— Ну? Что ты скажешь?

— Это недурно!

— Тебе понравилось?

— Да, это мне нравится, но не слишком ли прозрачна музыка?

Тогда она подбегала к роялю снова:

— Ну, вот, послушай это.

Горячая музыка вспыхивала под ее пальцами. Беспокойная и тяжелая, она смущала, наполняла сердце тревогой.

— Это человек... Это огромный, сильный человек... В туманах, во мгле поднимается он... Теплая и сонная земля качается под его ногами... В мироздании по неведомым путям стремительно летит Земля... И на Земле человек... Зорким взглядом он смотрит по сторонам... Земля... Миры... Человек огромен... Человек могуч... Он встает во весь рост, и Вселенная пропадает за его плечами... Связка стальных тросов шуршит в его руках... Он поднимает голову...

Музыка нарастает. В тяжелую и беспокойную ритмику внезапно врывается взрыв.

— Довольно! Я устала!

Тогда они выходили на балкон и молча сидели, вдыхая эротический запах лилий, прислушиваясь к шуму моря.

Высоко над головами в темном южном небе дрожали зеленые мохнатые звезды, проносились, сверкая прожекторами, ночные самолеты. В темных садах бродил приглушенный смех. На пляже гремела песня. Она то взлетала высоко вверх и неожиданной ракетой сверкала и рассыпалась, то

вдруг повисала где-то вдали одной нотой, щемящей сердце. Вверху шуршали крылья аэроптеров, любителей ночных прогулок.

— Хорошо все-таки жить! — вздыхала Кира.

Иногда в рассветный час она врывалась к Павлу, заставляла его одеваться и тащила на пляж.

— Довольно спать! — кричала она. — Мир проснулся и вода тепла... Можно уже купаться.

Они бежали к морю.

Сильные и здоровые, они возились, поднимая тучи брызг. Фыркая, точно тюлени, плавали в розовой от зари воде, уплывали далеко от берега, пели песни, кричали, смеялись, потом усталые, мокрые взбирались на скалы.

Огромное солнце вставало над морем. Кира протягивала к солнцу руки и, дурачась, кричала:

— Солнце, здравствуй!

Заражаясь ее настроением, Павел делал в сторону светила приветственный жест:

— Здорово, старина! — фамильярничал Павел с солнцем.

Незаметно пролетел месяц отдыха в Солнцеграде.

* * *

В день отъезда Киры Павел старался шутить, однако в глубине сознания ворочалось что-то неприятное, и это чувство не оставляло Павла весь день.

— Ты недурной товарищ! — бормотал Павел, пожимая сильную руку Киры. — И я, пожалуй, без тебя пролью немало слез.

Улыбаясь, он смотрел в глаза Киры, но, не будучи в силах выдержать встречный взгляд, щурился, надвигал шляпу на нос и говорил в свое оправдание:

— Я, кажется, сегодня ослепну от солнца.

На аэровокзале они сидели в ожидании самолета больше часа, и за это время у них не нашлось ни одного слова для разговора, но в ту минуту, когда самолет упал на площадку и пассажиры поспешили в кабины, они, перебивая друг друга, начали говорить вдруг обо всем.

— Мы неплохо здесь жили, — твердил Павел.

— Но ты непременно должен побывать в совхозе, — бормотала Кира.

— Обязательно, это я уже твердо...

— Непременно... Хорошо?

— И там, где была ты... Я очень заинтересовался...

Павел ласково взял руку Киры и неожиданно для самого себя спросил:

— Ну, ты теперь мне можешь сказать, что было в письме?

— Что? — вспыхнула Кира.

— Я говорю про то письмо.

— Про то письмо... — повторила Кира в замешательстве потом, улыбаясь, сказала: — Теперь мне кажется... со временем... ты узнаешь...

Самолет рванулся и через минуту превратился в черную точку, которая затерялась в голубом сияющем просторе.

Глава девятая

Остаток последней декады отдыха Павел изнывал от нетерпенья. Ему хотелось как можно скорее вернуться к своей работе. Так, по крайней мере, он уверял себя. Но дни, как нарочно, тянулись медленно. Павел волновался и наконец, за день до окончания срока своего пребывания в Солнцеграде, решил вылететь в Магнитогорск.

— Несомненно одно, — рассуждал Павел, — мой организм окреп. Лишние дни пребывания здесь уже ничего не дадут мне. Пора работать. Да, да...

Приняв решение, Павел повеселел.

Сняв пиджак, он с воодушевлением принялся за уборку помещения, потом взял горячую ванну, переменил одежду и не медля двинулся на аэровокзал, насвистывая бравурный марш «Труд свободен».

Большое внутреннее чувство согревало его, распирало грудь, заставляло сердце биться особенным, радостным ритмом.

Ему хотелось работать, проявить себя. Увидев приближающийся самолет, он сдернул с головы шляпу и весело размахивал ею. Когда же самолет упал на площадку, он бросился в кабину управления и, не отдавая себе отчета в своих действиях, крикнул пилоту:

— Алло, дружище. Хочешь, сменю тебя?

— До Магнитогорска?.. А почему?

— Надоело бездельничать... Четыре декады без работы.

Пилот торопливо сбросил с себя комбинезон.

— Садись! — крикнул он. — Само небо посылает тебя... Мне до зарезу нужно быть сегодня в Одессе, и если бы не ты...

— Ладно, ладно! — хлопнул его по плечу Павел. — Поменьше слов, дружище. Где маршрутная карта?

Облачившись в комбинезон, Павел влез в кабину управления, и спустя несколько минут самолет отделился от земли, управляемый новым пилотом.

* * *

— Как так? — удивился Нефелин, встретив Павла. — По нашим расчетам, ты должен прибыть завтра, и вдруг...

— Что делать?! Я не оправдал ваших надежд...

— Скучновато?..

— Я мог бы сойти с ума от безделья, если бы мне пришлось отдыхать еще две декады... Ну, что здесь нового?

— Будет бой...

— Положение серьезное?

— Для оппозиции, дружище. Для оппозиции. Впрочем, садись и слушай.

Друзья сели.

Нефелин постучал пальцами по столу:

— Как мы и предполагали, оппозиция в Совете ста составляет меньшинство. По нашим сведениям, человек десять или пятнадцать будут поддерживать Молибдена. Но...

Нефелин поднял палец вверх и сдвинул брови.

— Но можно ожидать больших неприятностей. Все дело заключается в докладе Василия Иванова.

— Этот?.. Юноша?..

— Да. Юноша...

— Он с Молибденом?

— Он с нами. Но дело вовсе не в том, кому принадлежат его симпатии. Решающее слово принадлежит его докладу о состоянии энергетического хозяйства.

— Ты думаешь?..

— Пока я еще ничего не думаю... Прежде всего я хотел бы знать, как серьезна проблема энергетики. Думать мы будем после.

— Иначе говоря...

— Иначе говоря, работа в этой области еще не закончена. Я ничего еще не знаю. Отдельные цифры... Разрозненные факты... Все это чепуха. Но если Молибден не преувеличивает значения вопроса...

Нефелин положил руку на плечо Павлу:

— Будем откровенны... Ведь ты же не станешь настаивать на продолжении опытов, если Иванов поставит нас лицом к лицу с энергетическою катастрофой.

— Зачем ты спрашиваешь? — пожал плечами Павел.

— Ну, вот... Ну, вот... Так решили мы. Сейчас подготовительные работы закончены. Миллионы ждут доклада. И если дело с энергетикой не так плохо, — от Молибдена и его группы останется пыль. Мы разнесем его в пух и прах.

— Значит, ждать?

— Да... Придется две декады подождать.

— Сессия Совета семнадцатого?

— Семнадцатого! Начало работ в 12 часов.

— Так.

Павел задумался.

— Думай, не думай, а приходится ждать. Ничего не поделаешь.

— Я не о том... Видишь ли, я хотел бы повидать перед сессией Молибдена... Не поехать ли мне в Москву? Как ты думаешь?

— Не понимаю, для чего тебе понадобилось это свидание.

Павел смутился:

— Я и сам не знаю... Но Молибден так настойчиво приглашал меня. Может быть...

— Как хочешь. Можешь, конечно, побывать и у Молибдена. Работать ты все равно ведь не станешь сейчас. Я на твоем месте ничего не мог бы делать до разрешения вопроса.

Павел встал.

— Ты убедил меня! — протянул он Нефелину руку. — Я лечу в Москву... Значит, до сессии!

— До сессии!

Через час он покинул Магнитогорск.

Уезжая, Павел даже не предполагал, при каких необычайных обстоятельствах он попадет обратно в этот город. В эту минуту мысли Павла витали уже далеко впереди, в центральном городе СССР, Москве.

* * *

Этот особенный, единственный в СССР город, построенный в начале третьей пятилетки, сверкал внизу под солнцем белыми и голубыми красками дворцов, синевой искусственных озер, зеленью огромных парков.

Широкие проспекты лежали правильными геометрическими линиями, пересекаясь под прямыми углами, образуя то там, то тут строгие четырехугольные площади. Зеленые бульвары стрелами пронизывали белые и голубые шеренги строений, вонзаясь в круглые сады и парки.

Там, где кончался город, на южной стороне, поднималось розовое циклопическое здание. Оно стояло над Москвой, точно гигантская гора, и проспекты с десятиэтажными дворцами казались по сравнению с этим зданием микроскопической пылью.

Стеклянный свод поднимался к облакам, которые курились вокруг, точно папиросные крошечные дымки.

— Совет ста! — крикнул кто-то за спиной Павла.

Стеклянный коридор самолета наполнился пассажирами, спешившими лишний раз полюбоваться чудом архитектуры. Восторженные восклицания сыпались со всех сторон. Особенное же восхищение вызывал дом Совета ста среди тех, кто видел его впервые.

Ни в одном городе мира нельзя было встретить такого здания. Американские небоскребы и те во многом уступали этому колоссу. Дворец Совета ста вызывал уважение еще и потому, что в СССР глаза всех привыкли к десяти, пятнадцатиэтажным зданиям, а это чудовищное сооружение опрокидывало все представления об архитектуре, врываясь в мозги, как потрясающее сновидение.

Взлетевшее вверх, в стекле и бетоне, облицованное розовым мрамором, это здание сейчас дремало под солнцем, щуря гигантские стеклянные глаза, поблескивая огромным, прозрачным куполом.

— Эра! — засмеялся кто-то из пассажиров. — Дом пока пустует. Мы могли бы остановиться в нем.

— Но... где мы добудем кровати, которые соответствовали бы масштабам дома?

Павел с волнением глядел на дом Советов ста, невольно думая о том, что через две декады сюда прибудут полтора миллиона делегатов и будут решать судьбу его работы, его жизни.

Самолет начал спускаться.

Можно было видеть сияющие мостовые, отлитые из стекла, ослепительно переливающиеся на солнце. В разных концах города сверкнули крупные золотые пятна. Их сверкание кинулось в глаза всем. Пассажиры переглянулись. Кто-то многозначительно крякнул, кое-кто снисходительно передернул плечами, но никто не сказал ни слова.

Золотые пятна были не что иное, как уличные уборные. Они появились отнюдь не с санитарной целью, а как вызов старому миру, как издевательский символ, как блистательные плевок в лицо капитализма, как пренебрежительный жест по отношению к ценностям буржуазного общества.

Самолет сделал круг над городом, и под ногами поплыли проспекты академий, статистических управлений, лабораторий, изыскательных институтов, музеев и различных других научных учреждений всесоюзного масштаба.

На далеком горизонте всплыли очертания старой Москвы — города-музея.

Самолет упал на площадку новомосковского аэровокзала.

* * *

В этом единственном городе — скопище академиков профессоров и исследователей, стекающихся сюда с разных концов Республики для работы в бесчисленных совершенно исключительно оборудованных лабораториях и в гигантских библиотеках, царила особая тишина. Редкие авто мелькали на перекрестках и без шума скрывались за поворотами.

Широкий проспект отелей, прилегающих к аэровокзалу, был пуст.

Павел без труда выбрал для себя временную квартиру в одном из отелей и тотчас же поспешил в сектор Совета ста, где жили и работали члены Совета.

* * *

Не прошло и десяти минут, как Павел отыскал Молибдена. Встреча носила приятельский характер. Молибден встретил Павла с распростертыми объятиями.

— Ну, ну, входи... Гостем будешь.

Он поцеловал Павла в лоб.

— Нравишься ты мне, парень, — сказал Молибден, — химерами набит, это верно, однако мозги твои — зависть всякому. Ну, проходи...

Он ввел Павла в комнату, которая была светла и просторна и оттого казалась неприветливой. Кроме двух кресел и письменного стола, здесь не было никакой мебели. Единственным украшением стены являлись телекинорадиоприемник и телефотор.

— Однако, — пробормотал Павел, осмотрев жилище Молибдена.

— Что? Не нравится? Оно, конечно, пустовато, да зато просторнее чувствуешь себя. Не люблю я на вещи натыкаться... Простор люблю.

Павел насторожился. Пустая комната Молибдена говорила ему о том, что этот человек носит весь мир внутри себя, оберегая его от посторонних наблюдений. Скрытность и замкнутость этого человека как нельзя лучше подчеркивала исключительно скромная обстановка, но в то же время она свидетельствовала об отреченности, о пуританизме, о высокой преданности тому, что было смыслом его жизни.

Они сели.

Павел спросил о здоровье Молибдена.

Молибден разгладил бороду, развалился в кресле и довольно крякнул:

— Да отчего бы хворать мне? Пища хорошая... Пью да ем, а поесть люблю, грешным делом, ну... сплю еще... Работой себя не очень утруждаю...

И снова насторожился Павел.

Он знал, что Молибден славился своей усидчивостью и необыкновенной трудоспособностью. Его трудолюбие было примером для многих ученых. Что же касается чревоугодия, так Молибден — и это тоже знали все — вот уже тридцать лет, как питается сухарями, медом, молоком и овощами.

«Что он: кокетничает, смеется или же старается показать себя хуже, чем он есть?»

Павлу не понравился Молибден.

— Все мы чревоугодники и лентяи! — попытался пошутить Павел.

— Ну, ну... Не сердись, — загудел Молибден, — шучу я. Тебя испытываю...

— Я весь тут. Я не хитрый. Я Рубенса люблю... Зеленые занавески люблю... Простор люблю...

— Злишься, что я себя не показываю?..

— Немного.

Молибден захохотал.

— Ну и ребята. А может, это не всегда нужно? Нет, ты узнай, а потом и откройся...

— Ты ведь знаешь меня.

— То-то и есть, что знаю... Оттого и пригласил...

— А письмо?

— Прочел?

— Нет! Назло тебе не прочитал. Ведь тебе очень хотелось бы этого?

Молибден медленно разгладил бороду.

— Этого тебе не нужно знать.

— А я знаю...

— Ничего ты не знаешь, парень. Вот, пригласил я тебя! А зачем пригласил? Ты это знаешь?

— Догадываюсь.

— Не догадываешься ты, парень. Думаешь, вот-де старый черт, консерватор и варвар будет меня отговаривать. Не лети, дескать. Брось-де свое межпланетное. Так, что ли?

— Я слушаю тебя.

— То-то, что слушаю... Против твоей работы я не протестую. В принципе, так сказать... Но жаль мне тебя. Голову ты себе сломаешь, — вот что. А голова твоя редкая, парень, нужная голова... Ну, вот и придумал я... Хочу предложить тебе поработать со мной.

— Я слушаю тебя!

— Работа интересная. Хорошая работа. Нужная.

— А моя?

— И твоя не уйдет от тебя. Хочу вот покорпеть над вопросами передачи энергии по радио... Поможешь мне?

— Да ведь работают уже над этим!

— Тем лучше. Объединимся, стало быть. А приглашаю я тебя потому, что верю в тебя. Читал я как-то на этих днях доклад твой. Тот, что был опубликован перед катастрофой. Дельный, скажу, доклад. Башка твоя замечательно работает, ежели приложить твои мозги к настоящей работе, — большое дело выйдет. Вот и подумай. Пораскинь мозгами.

— Гм... Я, конечно, не отказался бы поработать в этой области, тем более с тобой. Но...

— Подумай-ка, какие изумительные преобразования были бы внесены в нашу жизнь. Какие возможности открылись бы перед человечеством. Ты представляешь себе, что произошло бы в случае удачи.

— Я уже сказал: работа заманчивая. Но до сессии я ничего не буду предпринимать.

— Ну и дурень! — разгладил бороду Молибден. — Думаешь, на сессии разрешат тебе с химерой возиться?

Павел не успел ответить на этот вопрос. В углу вспыхнул приемник телефотора. Молибден поспешил к аппарату и быстро сделал включение. На полотне задрожали туманные пятна. Они разбегались, дробились на мелкие части, потом соединились в одно целое. Это пятно — силуэт головы — быстро, быстро начало светлеть, и наконец Павел, с биением сердца, увидел на экране Киру.

— Здравствуй, отец!

— Ну, здравствуй.

— Ты обещал мне уделить сегодня немного времени.

— Ну?

— К сожалению, я сегодня не могу. Я сейчас отправлюсь с школьниками в старую Москву. Может быть, мы увидимся завтра утром?

— Дело-то у тебя какое?

— Об этом в двух словах не скажешь... Так завтра утром? Хорошо?

— Ладно! Приезжай! Потолкуем! Между прочим, сейчас у меня сидит один твой знакомый. Я хотел спросить: не захватишь ли ты его с собой, пока я не сломал ему ребра?

— Кто? Кто этот человек, который спорит с тобой?

— Это не человек, а упрямый осел. Впрочем, более всего он известен, как Стельмах.

— Кто? — крикнула Кира. Руки ее метнулись к прическе.

— Злосчастный изобретатель. Путешественник по звездам. Коммивояжер Луны.

— Ты меня слышишь, Павел? — спросила Кира.

Павел подошел к телефотору.

— Да, слышу и вижу.

— Если ты можешь перенести бой с отцом на завтра, то приезжай помочь мне. Я получила сотню школьников, с которыми сейчас отправляюсь в старую Москву. Справиться мне с ними будет трудно, ты это сам понимаешь. Я уже думала вытащить вспомогательного гида из какой-нибудь лаборатории... Ты не мог бы помочь мне?

— С удовольствием... Ты где сейчас?

— На аэровокзале. Ну, жду. Прощай, отец.

— Завтра буду дома до 11 часов! — предупредил Молибден.

— Прекрасно.

Телефотор потух.

* * *

Павел нашел Киру у главного входа в аэровокзал. Окруженная толпою школьников, она что-то объясняла. Ребята слушали ее внимательно. Она подняла руку вверх, и тотчас же ребята кинулись в сторону гаража.

— Не опоздал? — протянул руку Павел.

— Нет. Вовремя пришел. Сейчас едем.

Из гаража медленно, один за другими выкатились автомобили, управляемые мальчиками и девочками, которые грозно хмурились и неизвестно почему старались казаться свирепыми.

— Тебе, Павел, придется взять на себя десять авто. Эй, ребята, смотреть сюда, садитесь по пяти в машину. Та машина, в которой поедет вот он, — она показала на Павла, — должна ехать в середине. Остальные авто следуют так, чтобы слышать объяснения водителя. Первая колонна — вперед. Садись, Павел! По местам, ребята!

Павел вскочил в авто, в котором уже сидели три девочки и два мальчика.

Кира махнула рукой.

— Вперед!

Автомобили помчались по широкому проспекту.

— Ну, вот — громко сказал Павел, — сейчас мы едем по городу, который, как вам известно, называется Москвой. Этот город отличается от других тем, что здесь нет ни одного завода, нет ни одной фабрики. Зато здесь находятся самые лучшие лаборатории, самые богатые музеи, самые крупные библиотеки.

Сюда каждый год города Республики командируют выдающихся ученых, исследователей и изобретателей для научной работы в московских академиях, институтах и лабораториях.

Постоянно же здесь живут одни академики.

— А члены Совета ста? — спросил кто-то из ребят.

— Каждый из них живет в Москве три года. Через три года назначаются перевыборы, и сюда перебираются вновь избранные.

— Значит, ученых очень много в Республике? — спросила вдруг одна из девочек.

— Почему ты так думаешь?

— А как же иначе. Ведь это же для них построен такой большой город.

— О, нет. В Москве ученых не так много. Во всяком случае, меньше миллиона. Но кроме ученых живут работники Всесоюзного статистического управления.

— Они постоянно живут здесь?

— Тоже нет. Штат статистиков пополняют поочередно все города Республики. В силу этого статистики работают здесь не менее трех-четырех декад. Однако и ученые и статистики составляют только одну сотую того, что может вместить Москва. Большинство жилых помещений пустует почти весь год.

— Весь год?

— Почти... Лишь два раза в год, во время осенней и весенней сессий, в Москву прибывает около двух миллионов

делегатов, которые живут тут одну-две декады. В это время в Москве не остается ни одного метра свободной жилой площади. Для этой цели и построено огромное количество отелей.

Автомобили пролетели через парк и понеслись по шоссе в сторону старой Москвы.

— Мы верно держим путь? — крикнул передовой.

— Совершенно верно. Доедем до озера — повернем вправо.

— Знаем, знаем. Кира говорила уже.

— Тем лучше.

— Тебя как звать? — спросило у Павла сразу несколько голосов.

— Павел.

— Ага!

Ребята с удовлетворением кивнули головами.

— Ты ученый? — задал вопрос мальчик, сидящий с Павлом рядом.

— Нет.

— Жаль...

— Почему?

— Мы думали, ты ученый...

— А разве вам так нравятся ученые?

— Я непременно буду ученым, — проговорил кудрявый мальчик.

— Почему ты хочешь быть ученым?

— Потому что они приносят Республике самую большую пользу.

— Я думаю, все люди приносят пользу.

— Это верно, но ученые самую большую. А я хочу приносить самую большую пользу.

— Над чем ты хочешь работать?

— Мне хотелось бы открыть разложение атомной энергии.

— Скромное желание! — рассмеялся Павел. — А ты знаешь, что над этим вопросом работают около сотни лет и все безрезультатно.

— Что ж, — в раздумье ответил мальчуган, — если люди так долго бьются над этим вопросом, значит, он достоин того. Учитель нам говорил, что тот, кто добьется разложения атомной энергии, сделает для людей самое большое. Ты знаешь, что это даст?

— Знаю. Но это очень трудно.

— А если было бы легко, давно бы уже открыли.

— Ты прав, конечно.

С переднего автомобиля кто-то крикнул:

— Павел, это Москва?

На горизонте всплыли очертания старой Москвы. Показалась Крестовская башня. Заблестели купола церквей. Зачернели высокие трубы старых заводов.

Не прошло и десяти минут, как первая колонна влетела в пустые улицы Москвы. По сторонам побежали угрюмые дома, пузатые церкви, вывалившиеся боком на тротуары, кооперативы с бутафорией на окнах, замолкали вывески учреждений, гостиниц, почтовых отделений, аптек, кинематографов и парикмахерских.

Старая Москва имела такой вид, как будто люди, жившие в реконструктивный период, вышли из города на несколько часов.

Двери кооперативов были открыты, и можно было видеть полки с товарами и продуктами, над которыми висели таблички, указывающие, как называется этот товар, с какой целью вырабатывался он и т. д. В окнах парикмахерских стояли манекены с вызывающими недоумение прическами. У входа в кино висели под стеклом афиши. Мрачные пивные останавливали внимание выставками вареных раков и внушительных пивных бочек.

Мертвая тишина царила в мертвом городе-музее. Узкие, изогнувшиеся улицы покрывались густой пылью. На площадях копошились воробьи. Под пыльными мостами меланхолично звенела вода.

— Ух, какой унылый! — воскликнул будущий ученый.

— Да, — согласился Павел, — старая Москва производит невеселое впечатление. Но десятки лет назад это был самый оживленный город. Весь мир прислушивался, как

шумит красная Москва. Ярость и надежда кипели вокруг этого слова когда-то...

Теперь я попрошу замедлить ход машин.

— Есть! — отозвались молодые шоферы.

Автомобили поплыли по улицам медленнее.

— Спрашивайте, — сказал Павел.

Ребята начали оглядываться по сторонам.

— Что это такое? — спросила девочка, показывая на церковь.

— Это церковь. Внутри церкви висят доски... на них нарисованы люди, называемые святыми.

— А что такое святые?

— Святыми называли людей, которые отказывали себе в некоторых удобствах, в еде, были отшельниками, ничего не делали и жили за счет других. Они становились иногда на колени, бились головой о пол, или, как говорили тогда, «молились».

— А для чего их рисовали?

— Рисовали их для того, чтобы, в свою очередь, стоять перед ними на коленях и кланяться им.

— А для чего?

— Думали, что это очень необходимо. Некоторые считали, что если постоять немного перед такой доской, помахать руками и головой, то жизнь станет легче.

— Что значит легче?

— Это означало, что доска поможет человеку вкусно и много есть, а также поможет ему приобрести лишний костюм.

Ребята поглядели на Павла с недоверием.

— Неужели они верили в производительные силы дерева!

— Были такие, что и верили. Кроме того, когда люди отправлялись убивать других людей, они просили у этих досок сохранить им свою собственную жизнь и помочь убить других как можно больше.

— А когда Ленин жил, люди тоже молились?

— Да, молились и тогда. Но в это время церкви посещались самыми темными и невежественными людьми.

— Они молились, чтобы был социализм?

— О, нет! Они просили святых о другом. О том, чтобы не было социализма.

— Этого не может быть. Неужели им нравилось жить в таких грязных домах. Раз они были темными, значит, они не были буржуями. Как же они не хотели социализма?

— На этот вопрос я вам отвечу в Музее быта. Задавайте другие вопросы.

— Что такое пивная?

— Это место, куда собирались люди отравлять себя алкоголем.

— А зачем?

— Ну... — смущенно кашлянул Павел, — я затрудняюсь ответить точно, что именно заставляло людей отравлять себя. Я слышал, что пили алкоголь для того, чтобы быть веселыми. Но в старой литературе часто можно встретить такие описания пьяных людей, которые опровергают эту гипотезу. По словам очевидцев, у пьяного тряслись руки и ноги, подгибались колени, мутился разум, слабело зрение. Пьяный шел по улицам, шатаясь. Он кричал, плакал, лез ко всем драться и успокаивался лишь после того, как у него начиналась рвота. Как видите, гипотеза о том, что алкоголь пили для веселья, не выдерживает критики.

— Я хочу войти в церковь! — заявил будущий ученый, который, по всем признакам, не очень доверял объяснениям Павла.

Автомобили остановились.

Небольшая экскурсия вошла в холодное и мрачное здание. Ребята подошли к иконам:

— Это святые?

— А это что?

— Лампадки! В них наливали масло и зажигали.

— Зачем?

— Вероятно, для того, чтобы яснее видеть святого.

— А что это за двери?

— Вход в алтарь. Здесь сидел человек, одетый в позолоченный мешок с отверстием для головы, и читал книжку. Разные сказки. Потом он выходил вот сюда и пел что-нибудь. Вот и все.

Под сводами церкви гулко разносились, шаги экскурсантов, и эхо подхватывало и катало голоса по углам.

— Смотрите, птичка! Для чего она? Для украшенья?

— Это голубь. Его считали богом-духом. И молились ему.

— А что такое бог? — спросила одна из девочек.

— Да мы ведь уже проходили это! — закричали ребята. — Надо было слушать, Эра!

— Знаете, значит?

— Знаем!

Выйдя из церкви, экскурсанты побывали в домах, где раньше жили люди. Во время осмотра жилых помещений, будущий ученый заявил:

— Как будто они нарочно старались жить так плохо.

Павел улыбнулся:

— Вот, когда мы приедем в Музей быта, ты поймешь, почему люди того времени жили так плохо. А теперь поедемте дальше.

Автомобили медленно покатились по узким улицам.

— А это что?

— Это отделение милиции. Люди, одетые в особую форму, занимались отправкой пьяных по домам, а иногда держали их до выздоровления в этих отделениях. Милиция наблюдала еще и за тем, чтобы был порядок, чтобы люди не отнимали ничего друг у друга, чтобы не дрались, не убивали друг друга.

— Очень странное занятие! — вставил кто-то.

— Все, что ты говоришь, совсем не похоже на то, что мы изучали. Если люди действительно были такими дикарями, как же они могли построить социализм?

— Это верно, — поддержала девочка, — твои слова вызывают у меня отвращение к людям того времени. Значит, книги лгут, когда рассказывают о величайшем напряжении, о героизме людей реконструктивного периода?

— Нет, — ответил Павел, — в книгах написана одна правда. Но вы изучали героическую историю рабочего класса, а я говорю сейчас о людях, которые никогда не имели своих историков. Это были ничтожнейшие людишки. Миллионы их населяли города. Миллионы их заполняли эти ка-

менные коробки. Они жили только для того, чтобы набивать свои желудки пищей, чтобы пакостить и оплевывать жизнь. Их история может быть уложена в несколько слов. Если бы кому вздумалось писать о них, он мог бы сказать: «А кроме трудящихся в те годы жили в СССР люди, которые ничем не отличались от навоза. Они исчезали так же незаметно, как и появлялись». Вот вся история их. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся после. Повернем вправо.

— Ну, а теперь шляпы долой.

Колонна автомобилей влетела на Красную площадь.

— Стой!

Павел вылез из авто, и следом за ним вышли остальные.

Угрюмые большие стены Кремля высились перед маленькими людьми. Справа глухо шумел сад. Слева дремала ветхая церковь Василия Блаженного.

Под старинными курантами высился памятник Ленину. С высоко поднятой рукой, он стоял, окруженный верными учениками. Внизу на мраморном пьедестале яркими буквами было начертано:

«Вожди не умирают, они живут в веках».

— Вот здесь, — взволнованно сказал Павел, — начинается история. Та история, которую вы изучали по книгам. По этим камням ходили великие вожди великой партии. Здесь живой Ленин выступал перед рабочим классом на этой площади. В дни революционных праздников миллионы трудящихся проходили мимо этих стен, мимо мавзолея с прахом Ленина, который стоял тогда вот здесь.

Павел с воодушевлением начал говорить о том, что уже знали ребята, но что теперь они слушали с напряженным вниманием. И суровое дыхание первых лет Революции, казалось, дышало им в лица. Взволнованные, стояли они перед кремлевскими древними стенами, не сводя взоров с бронзовой группы и в сотый раз перечитывая надпись: «Вожди не умирают, они живут в веках».

— Да, — закончил Павел, — это было время титанов. Мы опоздали родиться, и нам теперь остается только преклоняться.

Кинув прощальные взоры на бронзовую группу, притихшие экскурсанты молча сели в авто.

— Прямо! — скомандовал Павел. — В ворота!

Колонна въехала в Кремль.

— Вон к тому зданию.

Павел показал на восьмиэтажный дом.

— Так... Теперь стоп! Вылезай!

Ребята оставили авто и сгрудились у подъезда Музея революции.

* * *

Переходя из одного зала в другой, экскурсанты внимательно слушали объяснения Павла.

— Взгляните сюда. Вот на эти фотографии. Это электростанции, заводы и фабрики, построенные в первую пятилетку. Их не так уж много, как видите вы. Около двух тысяч, не более. Но для того времени такое строительство было труднейшей задачей. Рабочий класс напрягал все усилия, чтобы выполнить пятилетний план, который положил начало строительству социализма. Тяжелое было время. Вредители старались сорвать строительство во всех отраслях промышленности. Капиталисты всех стран делали все для того, чтобы вернуть освободившийся класс в кабалу. Буржуазные газеты ежедневно лили помои на пятилетку, распространяя дикие и невероятные слухи о строительстве. Люди, которые состояли из штанов и утробы, требовали выдать им по мешку муки и по сотне яиц и согласны были на этом считать строительство социализма законченным. Даже в партии находились изменники. Слушая обывателя и вой ущемленной мелкой буржуазии, отдельные члены партии принимали эти вопли за голос народа. Читая в газетах о невыполнении производственной программы на граммофонной фабрике, они твердили о срыве пятилетнего плана. Трудности роста в их глазах превращались в катастрофу. Малодушные люди того времени суетились, проливали слезы о судьбах революции, мешали работать и бороться. А когда партия стала выбрасывать их из своих рядов, они стали клеветать



на вождя партии, на Сталина, пытаясь смешать это имя с грязью... Тяжелое было время...

Когда лучшие строили новую жизнь, миллионы гнусных людишек шипели по углам, выдумывали разные мерзости, предсказывали гибель социализма. Ничего не делая, они хотели получать больше тех, кто отдавал революции все. Они обвиняли партию и трудящихся во всем. Если не было дождя, они винили в этом большевиков. Если дожди шли не переставая, они опять и в этом обвиняли большевиков. Они глядели изо всех углов гноящимися глазами на тех, кто твердо вел человечество к прекрасной жизни. Они боялись выступать открыто. Но зато отводили душу в своих углах.

Павел подвел ребят к большой картине.

— Художник изобразил здесь обывателей, справляющих годовщину рождения одного из этих клопов. Вот он сидит, именинник этот, стараясь придать бесцветному лицу величественное выражение. Но из него так и выпирает тупость внутреннего мира. Он сыт. Сейчас он встанет, зажмурит глаза, начнет рассказывать отвратительные анекдоты.

У окна группа обывателей. Они говорят о том, что в этом месяце им дадут меньше масла, чем тем, кто работает в шахтах, литейных, в химических цехах, на фабриках и заводах. Они обозлены. Вот старик с фиолетовым носом алкоголика. Он, очевидно, убеждает, что советская власть погибнет, если они не получат по лишнему килограмму масла...

Так, задыхаясь от злобы и собственного ничтожества, жили они в то великое время, старели и умирали, оставляя после себя лишь пожелтевшие фотографии.

Павел кинул брезгливый взгляд на увековеченных обывателей и сказал:

— Кроме этих полуживотных, Страна советов была наводнена в реконструктивный период еще другой породой обывателя. Слюнявыми мечтателями. Эти любили поговорить о будущем социалистическом обществе, хотя в то же время пальцем не пошевелили для того, чтобы помочь рабочему классу строить социализм. Они сидели ожидая, когда с неба посыплются машины, мануфактура, галоши, специалисты...

Рабочий класс проводил план социалистического строительства, а болтуны стояли в стороне, глубокомысленно рассуждали:

«Социализм ли это? Выйдет ли что-нибудь из этого?»

Грязный от черной работы, закопченный дымом горнов, рабочий класс сооружал фундамент социализма, а болтуны спрашивали друг друга:

«Разве это социализм?»

«Грязь! Грубость! — морщились они. — Никакой гармонии, никакой красоты».

Когда на рынках кое в чем ощущался недостаток, болтуны ходили с оскорбленным видом и шептали:

«Гибнет революция! Гибнет прекрасная мечта человечества — социалистическое общество...»

Нелегко было строить в то время. Но, как говорит старая пословица, нет худа без добра. В строительной горячке выковывались новые, мужественные люди, ряды их становились еще крепче. Все лучшее из человеческой среды становилось под боевые знамена рабочего класса. В Республике с каждым годом поднимались новые миллионы энтузиастов, беззаветных бойцов за социалистическое переустройство. Даже трудности экономического порядка и те оказались полезными в строительстве. Как это ни странно, но бедность того времени явилась для Страны советов попутным ветром. Благодетельная бедность двинула изобретательство, создала потребность в мудром режиме экономии, толкнула хозяйство на путь могучего расцвета рационализации. Если до момента осуществления пятилетнего плана в Республике валили дубы, чтобы сделать зубочистку, то в период развернутого строительства социализма с пользой для дела употребляли не только ствол дуба, но и листья его, корни, кору и соки. И даже бывшие в употреблении зубочистки находили себе применение, как соответствующее утильсырье.

Первая пятилетка была осуществлена в четыре года. Республика советов превратилась в сильнейшее государство мира.

— Интересно, — спросила девочка, — что же стали говорить обыватели?

— Обыватель получил к тому времени все, что составляло цель его жизни. Они теперь били себя в грудь, называли себя старыми революционерами.

— А я их выгнал бы из Республики! — заявил будущий ученый.

— Ну, они могут благодарить судьбу за то, что ты опоздал родиться! — улыбаясь ответил Павел. — Их оставили в покое.

Да и некогда было возиться с ними. В Стране советов поднималась и вставала в ряды рабочего класса революционная молодежь. Тысячи новых производств образовали новые миллионы пролетариев, новых борцов за социализм. Партия и класс приступили к осуществлению еще более грандиозного плана, к строительству второй пятилетки. Но это строительство уже не было сопряжено с трудностями прежнего порядка, как строительство первой пятилетки. Советы теперь имели мощную индустрию, недурной по тем временам транспорт, огромный опыт и десятки миллионов людей, которые увязали свои личные интересы с социалистическим строительством.

— А это что такое? — спросила девочка, показывая на ряд книжек сберегательных касс.

— Это книжки... — задумчиво сказал Павел, — гм... гм... Видите ли... Люди получали раньше за работу цветные бумажки и металлические кружочки, которые назывались «деньги». В обмен на эти бумажки и кружочки можно было получать обед, платье, жилье, билет в театр. Однако носить с собою все деньги было неудобно. Деньги можно было потерять или же их могли отнять другие люди, которые сами не хотели работать. Бездельники, или, как их называли раньше, преступники, могли унести деньги и из дома. Могли погибнуть они и при пожаре. Словом, хранить при себе деньги было чрезвычайно неудобно. Люди придумали тогда сберегательные кассы. Каждый человек мог принести в кассу бумажки и кружочки и положить их на хранение. Взамен он получал вот такую книжку, в которой и была указана сумма денег, сданных вкладчиком на хранение. Когда вкладчику были нужны деньги, он шел в сберегательную кассу и брал

себе столько, сколько ему было нужно. Кроме того, он получал еще так называемые проценты...

— Знаем, знаем! — закричали ребята.

— Ну, вот... Со временем эти сберкнижки начали превращаться в социалистические карточки.

— Синие? Да?

— Да, синие... Превращенье произошло таким образом. К концу первой пятилетки почти все население имело на руках сберегательные книжки и чеки сберкасс. Имея на руках такую книжку, вкладчик мог производить расплату с коммунальными предприятиями при помощи так называемого безналичного расчета. Не нужно было ходить с деньгами в жакт, на телефонную станцию, в предприятия электроснабжения. Вкладчик посылал распоряжение в сберкассу уплатить тому или иному предприятию такое-то количество денег, и сберкасса немедленно выполняла распоряжение. Впоследствии, когда всю заработную плату стали выдавать через сберкассы, вкладчики начали производить расчет через сберегательные кассы с кооперативами, с театрами, с железными дорогами, с книжными магазинами. Словом, к концу второй пятилетки деньги начали утрачивать свое значение. В 1940 году денежные знаки как старая форма денег были изъяты из обращения вовсе.

Великая денежная реформа, представляя большое удобство для трудящихся, в то же время ударила по карманам тех, кто продолжал заниматься непроизводительным трудом, добывая деньги, как говорили раньше, из воздуха. Новой расчетной реформой такие люди были поставлены в исключительное положение. Не имея права на безналичный расчет, человек терял право на все жизненные блага. Безналичный расчет требовал сберегательной книжки. А сберегательную книжку мог получить только тот, кто занимался общественно полезным трудом. Скрипя зубами, продавцы воздуха вынуждены были не бездельничать, а работать.

К концу второй пятилетки были сокрушены новой экономикой последние тунеядцы. Рабочий класс поставил этих людей к машинам, заставил их производить ценности, заставил заниматься созидательным трудом. Были окончатель-

но уничтожены остатки класса-паразита, который развивал тогда бешеное сопротивление строительству социализма. В ожесточенной классовой борьбе эти паразиты погибли. Презренье и отвращенье — вот что вызывают они, когда изучаешь историю социализма.

— А социалистические карточки?

— Они, — ответил Павел, — были введены в 1945 году, но почти тотчас же их отменили. (К тому времени в Стране советов в них уже не ощущалось надобности.) В этих карточках отмечали количество проработанных часов обязательного труда... Между прочим, интересная подробность... Когда карточки отменили и ввели добровольный труд, — который в то же время является для нас обязательным, — некоторые старики говорили:

«Все ли товарищи будут работать? Будут ли полностью удовлетворены требования на рабочую силу?»

Эти опасения, как вы знаете, оказались несущественными. Ни одно требование не осталось неудовлетворенным. Никому не приходит мысль уклониться от общественно полезной работы. Быт сделался другим, стали другими люди.

— А почему раньше не любили работать? Это была болезнь? Да?

— Нет. Причиной тому были тяжелые условия работы, скверная, антисанитарная обстановка. Кроме того, самый рабочий день тогда равнялся семи и восьми часам.

— В день?

— Семь часов?

— Да. И, между прочим, это был тогда самый короткий рабочий день во всем мире*.

Переходя из зала в зал, Павел рисовал картины прошлого, знакомил ребят с нравами и обычаями старины, рассказывал о старых городах и людях, отвечая на бесчисленные вопросы.

— Перед вами 1933 год. Год начала грандиознейших работ. К этому времени в индустриальный строй встало свыше

---

* К концу второй пятилетки более половины предприятий перешли на 6-часовой рабочий день; третья пятилетка подготовила почву к переходу на 5-часовой рабочий день.

двух тысячи новых, оборудованных по последнему слову техники фабрик и заводов. Сотни старых производств были реконструированы. Десятки мощных электростанций и гидростанций вступили в работу. Сельское хозяйство в основе уже являло социалистический сектор.

Опираясь на социалистическую промышленность и сельское хозяйство, рабочий класс, ведомый коммунистической партией, развернул строительство, равного которому не видел мир.

— Такие стройки, как Магнитогорск, Днепрострой и Турксиб по сравнению с Волго-Доном, Ангаростроем, Волгостроем, с Великим Северным Путем и другими строительствами казались детской забавой.

Взгляните, сюда! — подвел ребят Павел к большому макету, — перед вами Средне-Волжская область к концу первой пятилетки. Вы можете видеть редкие заводы, редкие города и села, бесплодные пространства выжженой земли и редкие здесь оазисы колхозов и совхозов.

Теперь посмотрите, что стало с этой областью к концу второй пятилетки. Как видите сами, трудно здесь даже говорить о каких бы то ни было сравнениях... Что же произошло?

— Волжская гидростанция? — догадался кто-то.

— Да... Пожалуй, отчасти ты прав, но равным образом повлияли на развитие этого края и горючие сланцы... Несколько слов о Волжской гидростанции... Самой мощный в то время гидростанцией по праву считалась самая большая в Европе Днепровская гидростанция в 800 тысяч лошадиных сил. Построенная же Волжская гидростанция имела мощность в два с половиной миллиона лошадиных сил, иначе говоря, превосходила Днепровскую более чем в три раза. Причем строительство ее отняло значительно меньше времени, чем строительство Днепростроя. К тому времени строители уже приобрели крупный опыт в этом деле, вокруг строительства выросли кадры, крепко вставшая на ноги индустрия также способствовала ускорению темпов.

Волжская гидростанция вызвала к жизни разработку нефти в Луках, разработки кварцевых песков, алебастра и горючих сланцев.

Вокруг станции поднялась цепь заводов химических удобрений. Каналы оросительной системы потянулись в заволжские засушливые степи, превращая их в плодороднейшие поля зерновых злаков.

Начатая в первую пятилетку добыча горючего сланца развернулась необычайно быстро.

Общий Сырт, Кашпиро-Сызрань и Ундора-Ульяновск — эти районы с богатейшими в СССР залежами горючего сланца закипели, точно вода в котле.

Сказочно быстро возникали рудники, и с такой же быстротой росли заводы, которые, пользуясь дешевой электрической энергией, превращали сланцы в различные продукты. Из сланца заводы вырабатывали многочисленные сорта масел, нафт, ихтиол, искусственный асфальт, краски, серную кислоту, лаки, удобрения, газ для отопления и десятки других продуктов.

Волжские горючие сланцы и Волжская гидростанция превратили Среднее Поволжье в самый крупный в СССР район химической и строительной промышленности.

Однако то, что мы рассматриваем сейчас, является лишь небольшим куском строительства второй пятилетки.

Более интересные и значительные работы развертываются в то время на севере СССР. И я не ошибусь, если скажу, что характерной чертой второго пятилетия является перенесение строительных работ в новые районы, а именно: Сибирь.

Перед вашими глазами железнодорожная магистраль трех океанов. Вы видите железнодорожный путь, соединяющий Северный Ледовитый океан с Атлантическим через Ленинградский порт и с Тихим океаном через порт Эйкан. Этот путь связан с сибирским водным путем Обь—Енисей—Байкал—Селанга и с трансибирским воздушным путем.

Работы по разрешению транспортной проблемы Севера были начаты еще в первую пятилетку, но особенно развернулись они во второе пятилетие. Железнодорожное полотно, видные пути и воздушные линии опутали крепкой транспортной сетью новые мощные сырьевые базы, новые энергетические источники.

Сибирь вступила в полосу бурного роста. В короткий срок она догнала европейскую часть СССР, а к концу третьей пятилетки начала уже оспаривать первое место и вскоре превратилась в центр социалистической индустрии.

Взгляните вот на эту карту. Здесь вы можете увидеть, к каким могучим сырьевым базам были подведены объекты новых промышленных строительств, и это же вам даст ответ на вопрос: каким образом в сравнительно короткий срок Сибирь догнала и оставила за собой европейскую часть Союза ССР?

Взгляните на сибирские базы каменного угля. Перед вами Канский угольный бассейн, расположенный всего в 2 километрах от железной дороги между Красноярском и Нижнеудинском. Запасы канского угля превосходят запасы Донбасса. Здесь вот находится Кузбасс, запасы которого в несколько раз превышают запасы угля Англии и Ирландии, вместе взятых. Что же касается Донбасса, так по сравнению с Кузнецким угольным бассейном он выглядит так же, как цыпленок перед коровой.

Но что Кузбасс? Расположенный вот здесь Тунгузский каменноугольный бассейн может, как говорили раньше, заткнуть за пояс 38 Кузбассов.

Вместе же с открытым угольным бассейном в Якутии запасы сибирских каменных углей являются равными всем угольным запасам мира. Стоит ли говорить о том, что уже на одной только этой сырьевой базе Сибирь могла бы развить мощную промышленность, тем более что уголь как топливо с течением времени перестает играть большую роль, превращаясь постепенно в уголь как сырье для всевозможнейших, разнообразнейших продуктов, доходящих до 400 названий.

Но кроме угля Сибирь богата золотом, различными минералами, перечислить которые также весьма трудно ввиду их обилия. Особенно же богата Сибирь лесом. Из 913 миллионов га лесной площади всего СССР, здесь находится 800 миллионов га. Поэтому вас не должно удивить, что Сибирь за короткий срок стала гегемоном писчебумажной и лесохимической промышленности.

Являясь первым в мире плацдармом источников белого угля, Сибирь естественно заняла также первое место и в энергетическом хозяйстве.

Вот перед вами электрическая сверхмагистраль и электрофицированные сети подъездных путей, перед вами — гигантские промышленные кольца, обслуживающиеся белым углем, перед вами идеально электрофицированная Сибирь. Все это, понятно, явилось результатом рационального использования водной энергии, мощность которой определяется в 70 миллионов лошадиных сил, то есть равна более чем 80 Днепростроям.

А если вы помните, что Днепровская гидростанция выполняет работу 18 миллионов человек, то вам легко высчитать, что сибирские гидростанции заменяют труд одного миллиарда 440 миллионов людей, при работе ежедневно по 8 часов.

Понятно, все эти гидростанции строились не сразу. Не все они были одинаковой мощности. Для того чтобы вы имели представление о строительстве и значении сибирских гидростанций, я должен остановить ваше внимание на электропервенце Сибири, на Ангарострое.

Павел подвел ребят к большому макету.

— Вот гидростанция, начатая строительством во вторую пятилетку.

— Ангарострой?

— Да, Ангарострой! Этот гигант, оставшийся даже среди наших гигантов далеко не последним, был в свое время чудом строительной техники мира. По своей величине Ангарострой является больше Днепростроя в 12 раз и больше Волгостроя в 4 раза.

Таких гигантских сооружений не было еще в истории человечества. Естественно, что и результаты работы Ангарской гидростанции соответствовали гигантским масштабам.

Вокруг Ангаростроя поднялись тысячи новых заводов. Нетронутые до того времени леса Приангарья создали базу лесохимической промышленности, железные руды бассейна реки Онот, реки Китой, группа курбинских месторождений руд Селенгинского бассейна, ермаковские, долоновские,

красноярские и кежемские месторождения магнитного железняка, Ольхонский край, железные кряжи Нерчинска и месторождения редких металлов — марганца, молибдена, вольфрама, хрома и никеля создали базу металлической промышленности.

Алюминиевое производство на Приангарском алуните и каолине начало отвоевывать себе первое место в СССР.

Выросли цинково-свинцовые заводы на Нерчинском сырье. Появились медеплавильные заводы. Возникли фабрики искусственного шелка.

Заводы Ангарограда перерабатывали гипс тыретско-балаганского района, кварцы Ольхона, графит Ботугольска, ильчирский асбест, апатиты, хахарейские богхеды.

Угли Черемховского бассейна, благодаря их особенностям, создали мощные производства битума, горючих, осветительных и смазочных масел, парафина, жирных кислот и кетоновых соединений, позволивших организовать лакокрасочную и жировую промышленность.

Вокруг Ангаростроя поднялись химические заводы, машиностроительные, заводы и фабрики по переработке продуктов животноводческого сырья и зерновых культур.

По сибирской магистрали потекли, груженные в Ангарограде, вагоны с минеральными удобрениями, с фанерой, с цинком и свинцом, продуктами бумажного, вискозного, скипидарно-канифольного и спиртового производства, с машинами, с мессонитом и древесной шерстью, с алюминием, никелем, крахмалом, натровой селитрой, с готовой одеждой и обувью, с сотнями и тысячами всевозможных продуктов потребления.

Промышленность заводов, работающих вокруг Ангарской гидростанции на дешевом белом угле, уже на втором году своего существования сделалась в своем объеме равной всей промышленности Германии тридцатых годов.

Так было положено начало великой Сибири, так, под руководством партии, рабочий класс превратил глухую, таежную Сибирь в центр социалистической индустрии.

— А это что? — спрашивали ребята.

Павел спешил объяснить:

— Здесь расположены экспонаты человеческих болезней. Вот он стоит, человек прошлого, окруженный бесчисленными болезнями, которые подтачивают его организм со всех сторон. Туберкулез, рак, язвы, неврастения, тиф, холера, чума, скарлатина, дифтерит и тысячи других болезней вырывали каждый год из рядов трудящихся сотни тысяч человек. Здоровые люди в то время были таким же редким явлением, как теперь больные. Человек рождался с болезнями, с ними жил и вскоре был убиваем ими. Медицина стояла на чрезвычайно низком уровне; возбудители многих болезней были неизвестны ей, паллиативный характер носила и борьба со многими заболеваниями.

Средний возраст человека того времени равнялся 50 годам. Тот же, кто сохранял бодрость до 70—80 лет, был предметом всеобщего удивления.

Ну а сейчас — вы это сами знаете прекрасно — 80-летний возраст считается возрастом наступающей старости. Люди теперь живут 100 и до 200 лет. Но и это еще не предел человеческой жизни. Среди нас нередко можно встретить и 150-летних стариков, то есть таких людей, которые родились во времена крепостного права. Несколько эпох пережили они благодаря тому, что разрушение их организмов приостановлено современной медициной.

Болезни побеждены. Сотни всевозможных способов омоложения, как хирургического, так и терапевтического характера, возвращают человеку юность несколько раз в его жизни.

Условия работы и быта теперь не ускоряют изнашивания организма, но всячески укрепляют его. Новые поколения, растущие в особо благоприятных условиях, очевидно, будут жить еще дольше.

— До 200 лет?

— Не знаю... Но судя по тому, что раньше встречались люди в возрасте 150 и даже 170 лет, можно предполагать, что вы достигнете предельного возраста. 200 или 300 лет проживете вы — не знаю. Со временем вы сами увидите...

Ребята рассмеялись.

— А кто поборол все эти болезни?

— Трудно назвать отдельные имена, — ответил Павел, — трудно сказать, кто именно и что именно сделал в этом направлении для человека. Может быть, будет правильно, если я назову двигателем всего Октябрьскую революцию, которая уничтожила буржуазию.

— Разве буржуазия не двигала науку?

— Иначе говоря, вы хотите спросить: разве не развивалась наука при господстве буржуазии? Да! Конечно! Но развивались главным образом те отрасли науки, которые помогали капиталистам научно эксплуатировать трудящихся, которые создавали для буржуазии тысячи различных удобств. Наука была лакеем и развивалась только в дозволенном направлении.

После Октября наука стала достоянием масс, и эти массы, превратив науку в своего друга и товарища, круто повернули течение научной жизни, переведя ее в новое, широкое русло.

— Это правда, что раньше были люди, которые назывались научными работниками?

— Да, это правда... Но вы напрасно смеетесь. Ученость в то время считалась такой же обычной профессией, как, например, профессия плотника.

— Что такое профессия?

— Профессия... гм... ну, как бы это объяснить... Профессия — это умение что-нибудь делать...

Ребята расхохотались:

— Ну и забавники!..

— Как же можно не уметь делать всего?

— Для вас это, конечно, странно, но в то время считалось большим искусством производить хотя бы предметы широкого потребления. Сейчас, в наш век автоматов, когда на долю человека остались лишь функции весьма упрощенного управления машинами, когда все даже самые сложные предметы изготовляются машиной, конечно, забавно слышать это, но в те годы на фабриках и заводах не было столь развитой техники.

Все необходимое для жизни тогда изготовлялось не машиной, а лишь при некоторой помощи машин. А эти машины были настолько сложны по своим конструкциям, что

для управления ими необходимо было учиться долгие годы, но чаще всего кроме знания машины от работника требовалась также известная тренировка и ловкость. Так, например, токарь уже не мог работать на ткацком станке, а ткач не имел представления о работе на токарном станке. Агроном не знал, с какой стороны подойти к линотипу, а наборщик не сумел бы отличить репу от ячменя.

Сейчас профессий нет.

С детства вы привыкаете управлять всеми автоматами всех производств. Но это не отрывает вас и от теоретической подготовки. К двадцати годам вы будете знать больше, чем знали когда-то люди, окончившие пять факультетов. У нас теперь нет рабочих, — в том смысле, как это понималось когда-то, — нет ученых у нас, ибо все мы и рабочие и в то же время ученые.

Правда, в нашем обществе есть особо выдающиеся астрономы, математики, врачи, композиторы, поэты, инженеры. Но это уже не профессия. Это скорее всего увлечение, страсть.

— А профессора и академики Москвы?

— Но разве они не работают вместе со всеми другими в производстве? Разве они не отдают свои пять часов в неделю общественно полезному труду? Они, правда, живут в Москве по пять, шесть лет и больше, но живут они здесь лишь потому, что именно в Москве сосредоточено все, что крайне необходимо для совершенствования в той или иной области науки.

— А журналисты?

— Журналисты? Увы! У нас нет кадров журналистов. И вы, кажется, уже должны знать, что каждый считающий необходимым напечатать свою статью или фельетон прилагает к тому такое же усилие, которое менее напряжено, чем, предположим, получение обеда. Правда, большинство статей и фельетонов принадлежит постоянно сотрудничающим в газетах, но это вовсе не значит, что газету делают эти люди. Они являются лишь самыми ревностными сотрудниками, которые из любви к газетному делу пишут чаще других.

— А если они уедут в другой город?

— Тогда газеты этого города в первое время уменьшат количество своих полос, но зато в другом городе, если, конечно, переехавшие не перестанут увлекаться журналистикой, количество газетных полос увеличится.

— А редактирование?

— Что касается редактирования, вернее, технической части выпуска, так этим делом ведают представители клубов и добровольно, и в порядке клубной нагрузки.

— Павел, скажи, что значат эти яркие костюмы?

Стельмах улыбнулся:

— Это графики моды и человеческого каприза. Но для того, чтобы понять сущность выставки экспонатов, вам следует перенестись в ту эпоху, которая хотя и не отстоит от нас на сотни лет, но которая во многом так же непонятна для нас, как времена средневековья... В начале второй пятилетки, когда Страна советов начала задыхаться от избытка товаров, значительная часть населения придумала себе тысячи бесполезных занятий, в том числе и вот это, — повел рукою Павел. — Люди с какой-то болезненной страстью одевались в костюмы фантастической расцветки и самых невероятных фасонов. Вначале они копировали костюмы буржуазии, но затем СССР стал законодателем мод во всем мире. Лучшие художники убивали свое время, придумывая новые фасоны. Моды сменялись чуть ли не через час. Люди искали какой-то особенной одежды, которая могла бы соответствовать эпохе и отражать ее. Но со временем почти все поняли одно, что одежда должна быть прежде всего гигиеничной, удобной, не стесняющей движений. Такая одежда осталась по сие время.

— И такой она останется еще сотни лет!

— Ну... этого бы я не сказал, — улыбнулся Павел, — во всяком случае, сейчас уже появляются иные взгляды на одежду! Недавно меня посетил один товарищ, который энергично работает именно в области приспособления одежды к новым требованиям.

— Разве этого кто-нибудь требует?

— Ну, странно, — пожал плечами Павел, — ведь не выдумал же этих требований один человек?!

— А почему бы и нет?

— Да хотя бы потому, что ничего ненужного и неоправданного не может родиться в голове человека, и еще потому, что каждый человек может выражать только смутные мечты других людей. Эту истину вам следовало бы знать.

Экскурсанты перешли в другой зал, и на Павла со всех сторон посыпались новые вопросы:

— А это что?

— А тут что такое?

— Ну-ка, посмотри, Павел. Вот так город...

Павел спешил объяснить:

— Вы видите перед собой макет города, который считали самым подходящим для нас, для людей социалистического общества.

Ребята захохотали.

— Не смейтесь! Этот социалистический город люди того времени хотели строить с самыми благими намерениями.

— Но это же карикатура!

— И кроме того, почему такой широкий размах? Смотрите, сколько земли занято под город.

Павел улыбнулся:

— Макет представляет собою город будущего...

— У нас таких уродов нет...

— ...типа союза городов. Между прочим, это было самое сильное течение в архитектуре того времени. Наблюдая за жизнью крупных капиталистических городов, советские архитекторы полагали, что большое скопление людей в одном пункте противоестественно. Но ничего оригинального ими не было внесено. Они предлагали остановить бешеный рост городов по вертикали, начав стройку по горизонтали.

Перед вами макет такого города. Вот центр. Группа улиц и площадей, застроенная небольшими четырех-пятиэтажными домами. Это уже город. Он соединен с такими же городами трамвайными линиями. Пространство между городами — сады и парки.

— Ай-яй-яй, сколько земли отнимает этот город!?

— Ну, — усмехнулся Павел, — если бы все города были построены так, то нам негде было бы сеять зерно, держать скот, выращивать фрукты. Рост населения как раз и упу-

стили из виду эти антиурбанисты. Впрочем, раньше, когда средний возраст человека равнялся 50 годам, когда умирали от туберкулеза, от рака, от тысячи различных заболеваний, тогда, конечно, мало кто понимал значение слов «рост населения». Отсюда — такие легкомысленные предложения... Пугает ли нас урбанизм?

— Нет! — сказал будущий ученый.

— Чем хороши наши города? — спросил его Павел. — Ты это знаешь?

— Знаю... Только я хочу по порядку... Города строились вокруг сырьевых баз, — начал будущий ученый, — так как в старое время люди не имели такого транспорта, какой мы имеем сейчас. Скорость переброски грузов тогда не доходила даже до 300 километров в час.

— Стой, стой! — остановил его Павел. — Ты что-то путаешь... 300 километров — это была скорость аэропланов, а железнодорожные составы делали 40—50 километров в час.

— Ну и черепахи!

— Продолжай, товарищ!

Будущий ученый кашлянул.

— Теперь же новые города строятся главным образом в местах здоровых по климату, красивых, имеющих к тому же твердые фунты. Кроме того, участки земли, на которых строятся новые города, не должны иметь в своих недрах ни угля, ни нефти, ни других ископаемых.

Павел одобрительно кивнул головой.

— Если в районе нового города находятся промышленные производства, то они отгораживаются полосой зеленых насаждений, если же...

— Позволь, — перебил Павел, — ты говоришь о новых городах, а я просил тебя сказать, чем хороши наши города.

— Ага! — поправился будущий ученый. — Наши города?.. Это, по-моему, ясно... Посмотрите на старую Москву... Дома угрюмые. Темные. Окна маленькие. Улицы узкие. Кривые. Краски мрачные. Стоят они один около другого, образуя сплошную грязную стену... Наши дома поднимаются к солнцу. Крыши наших домов и верхние веранды удобны для утренней гимнастики. У нас нет такого коли-

чества камней, как в этих домах. Дома наши, по сравнению с этими, стеклянные фонари. Наши улицы широки. Дом от дома стоит на расстоянии, и никогда тень соседних домов не падает в окна. В городах живут по три, по четыре и даже по десять миллионов человек. Как, например, в самом крупном городе СССР, в Ангарограде, а...

— Стоп! — остановил Павел. — Слово принадлежит мне... То, о чем ты сейчас говоришь как о достижении, раньше считалось смертным грехом, хотя мы прекрасно знаем, какие удобства представляет собою скопление большого количества людей в благоустроенном городе, рассчитанном на людские массы. Тогда же проектировали расселить людей небольшими семьями по всей стране, при чем особенно старались, чтобы агрогорода были отнюдь не меньше индустриального города. Мы же, наоборот, стараемся уменьшать агрогорода. В чем ошибка старых проектов?.. Ошибка заключается в том, что люди упустили из виду развитие транспорта, увеличение скоростей и техническое совершенствование средств передвижения. Сейчас каждый из нас может обедать в Одессе, ужинать в Мурманске, спать во Владивостоке, а работать где-нибудь в Магнитогорске. Вполне понятно, что при таких средствах передвижения нет надобности постоянно жить в агрогородах. Достаточно того, что города снабжают сельское хозяйство сменной рабочей силой.

* * *

Экскурсанты вошли в огромное, светлое помещение, над входом в которое цветным перламутром горели буквы:

«Сектор поэзии»

По стенам помещения в мраморных нишах стояли бронзовые бюсты поэтов величайшей на Земле эпохи, смыкаясь в глубине зала около огромного бюста Маяковского. Сияли удивительные строки его стихов:

Радость прет.
Не для вас.

Уделить ли нам?
Жизнь прекрасна
и
удивительна.
Лет до ста
расти
Нам
без старости.
Год от года
расти
Нашей бодрости.
Славьте,
молот и стих,
Землю молодости.

Сухое лицо бронзового Асеева висело над стихами:

Если день смерк,
Если смех смолк,
Слушайте ход вверх
Жизнью гонимых смол.

Кудрявый Джек Алтаузен застыл с приподнятым подбородком над своей неповторимою строфой:

Друзья,
Мы спаяны и — баста.
Мы дышим песнею одной,
Безусые энтузиасты
Республики своей родной

Широко открытыми, застывшими в бронзе глазами глядел перед собой Владимир Луговской, опираясь на мужественные ритмы:

До утренних звезд вырастаю я,
до утренних звезд нашего свода:
Доброго утра всем друзьям,
доброго утра всем народам.
Перекликаются радиостанции
через эфир, волнами проторенный,

Солнце взлетает, медью волос звеня,
цокает ритм танца —
это идет история
бронзовым шагом коня.

Из ниш глядели Михаил Светлов, Э. Багрицкий, Тихонов, Семен Кирсанов, Михаил Голодный, И. Сельвинский, Безыменский, А. Жаров, Демьян Бедный, Виссарион Саянов и десятки других поэтов.

— Вот пламенные певцы той изумительной эпохи! — сказал Павел. — Их произведения сейчас почти забыты, но имена их будут жить вместе с нами. Они боролись плечо в плечо с рабочим классом за утверждение социализма, и этим они велики. Они дороги нам... Пусть поэты наших дней искуснее их. Пусть наша поэзия выше старой поэзии. Мы не забудем ни одного из поэтов той эпохи.

— Какое было потрясающее время! — взволнованно продолжал Павел. — Какие были изумительные люди! Они, эти веселые, неунывающие поэты, жили одними радостями и одними печалями с партией, с рабочим классом. Когда стране угрожала опасность, они бросали перья и брались за оружье. Когда Советы напрягали все силы, чтобы сдвинуть с рабских темпов производительность страны, они опускались с песнями в шахты, шли в цехи, в колхозы, в рудники, на стройку, и бодрые песни начинали звенеть по стране. Да, этим они были велики.

Экскурсанты вошли в Зал литераторов.

Максим Горький, Леонид Леонов, Юрий Олеша, Виктор Шкловский, Бруно Ясенский, Константин Федин, А. Фадеев, М. Шолохов, Михаил Карпов, Горбунов, А. Бабель и сотни других писателей реконструктивного периода стояли здесь, беседуя с веками.

Осмотр музея затянулся. Чувствуя голод, Павел спросил:

— Ну, как, ребята? Может быть, мы сделаем перерыв?.. Я предложил бы съездить в новую Москву пообедать. Кто против?

— Но мы еще вернемся сюда?

— Конечно. Так как же?

— Обедать!

— Перерыв!

Через полчаса экскурсия влетела в светлые и радостные кварталы новой Москвы.

* * *

Вечером Павел и Кира провожали ребят, которые направлялись в Ленинград. Когда самолет опустился на площадку аэровокзала, будущий ученый встал и сказал:

— От имени группы киевлян выражаю вам, товарищи, благодарность за ваши объяснения. Если мы можем быть для вас полезными, не забудьте наш адрес: Киев, 14 городок. Группа Б-37.

— Прекрасно! — улыбнулась Кира, потом, взглянув на Павла, повернулась к ребятам. — Меня зовут Кира Молибден. Мой адрес: СССР, Клуб энергетиков. Если я могу быть для вас полезной, к вашим услугам.

Пятьдесят карандашей забегали по пятидесяти блокнотам школьников.

— Мой адрес, — сказал Павел, — СССР, Звездный клуб. Меня зовут Павел Стельмах.

Пятьдесят карандашей дрогнули в руках ребят, пятьдесят пар изумленных глаз остановились на лице Павла с восхищением, и пятьдесят глоток огласили площадку аэровокзала нестройным криком.

— Ты?.. Тот самый? — спросил будущий ученый.

— Тот самый! — рассмеялся Павел.

Точно сговорившись, ребята бросились к Павлу и стали кружить его.

— Павел, ур-р-ра!

— Ур-ра-ра.

— Пощадите! — взмолился Павел.

Они долго бы еще тормошили Павла, если бы самолет в это время не подал сигнал к отправке.

Ребята кинулись в кабины. Заняв места, они кричали что-то через иллюминаторы, размахивая шляпами и шарфами.

Самолет сорвался с места и ринулся в вечернее, осыпанное звездами небо.

— Я, кажется, буду забыта! — полушутя сказала Кира.

— Но, уж я-то не забуду ребят! — проговорил Павел.

— Знаменитость обязана страдать, — рассмеялась Кира.

— Это биология или социология?

— Традиции, Павел, традиции!

— Я уважаю из старых традиций — одну: склонность людей ужинать в это время...

— И я не вижу причины к тому, чтобы мы поступили сегодня вопреки старым традициям...

* * *

Спустя некоторое время они мчались в авто по тихим проспектам Москвы.

Ветер свистел в ушах. Звезды заливали небо. В облаках плясала луна. Сады бросались под колеса машины.

Кира смеялась счастливым смехом. Ветер, хлещущий в лицо, шум мотора, звездное, опрокинутое небо и теплое плечо Павла вызывали в ней приступы смеха.

— Павел, Павел! — сквозь смех проговорила Кира.

Он по-мальчишески сдернул шляпу с головы и, размахивая ею, запел, управляя авто одной рукой.

— Павел! Павел!

Ветер гнался сзади, бросался с боков, летел рядом, насвистывал:

— Павел, Павел!

Навстречу грянула музыка репродуктора. Пламя огней залило светом машину.

— Стоп! — вскричали одновременно Кира и Павел.

Смеясь, они выскочили из автомобиля, укрепили над карбюратором дощечку с надписью «Занято» и по широкой лестнице вбежали в вестибюль.

Сквозь стеклянные двери были видны столы, покрытые белоснежными скатертями. Зеленые айланты протягивали к прозрачному куполу пышные ветви. Неуклюжие телевоксы бродили меж столов, за которыми сидели люди. Казалось, весь зал, все обеденные столики были заняты.

— Не подняться ли нам этажом выше? — предложил Павел.

— Нет, нет! — запротестовала Кира. — Один столик найдется.

Они толкнули дверь, и шум голосов, музыка, смех и крики вырвались в вестибюль...

— Видишь, как здесь весело!

— Да... Но столов свободных как будто нет!

Они остановились, оглядываясь по сторонам.

Свободных мест не было.

— Ну, все... Я говорил! — заворчал Павел.

Они направились к выходу, но в это время с разных концов зала закричали:

— Алло, алло! Здесь освобождается столик.

Несколько человек поднялись из-за столов, предлагая место.

— Ну, вот... Я ведь говорила.

Они направились к свободному столу. Павел взял меню, но, взглянув на него, поморщился и положил обратно:

— Сплошная химия! Таблетки, капсюли, какие-то порошки и мази. Что за издевательство над человеческим желудком*.

— Может быть, ты? — обратился он к Кире.

— Нет, нет! — закричала Кира. — Я еще не так стара.

Сидевший спиною к ним человек повернулся и, улыбаясь, сказал:

— Напрасное предубеждение! Я с десяти лет пользуюсь новой кухней, но кто скажет, что я стар или же плохо выгляжу?

---

* Любитель хорошо и вкусно покушать вполне разделит негодование Павла. В его руках находилось меню новой кухни, которая изготовляла таблетки и капсюли, содержащие строго необходимое для организма количество белков, жиров, углеводов и витаминов. Говоря о питательности кушаний кухни будущего, необходимо упомянуть о вкусовых ее особенностях. Кулинария будущего — это целая гамма тончайших вкусовых ощущений, о которых мы, люди спартанской эпохи, не можем даже подозревать. То, что современный гастроном и гурман считает лакомством, могло бы вызвать даже у самого нетребовательного члена социалистического общества гримасу недоумения.

— Ого! — дурачась ответила Кира. — Если бы новая кухня вздумала рекламировать свои мази, тебя следовало поместить на плакат... Знаешь, такие плакаты были раньше... Один из них я видела сегодня в старой Москве. Апоплексический дядя держит кружку с алкоголем и говорит: «Я пью пиво "Новой Баварии", я всегда здоров».

Павел позвонил.

— А тебя, — засмеялась Кира, — следовало бы изобразить с надписью: «Посыпайте порошком языки, смазывайте десна питательной мазью. Я нахожу в этом удовольствие».

— В таком случае, — рассмеялся сосед, — я предложил бы...

— Не хочу! Не хочу слушать... Я есть хочу... Звонил?

— Уже!

К столу развинченной походкой подошел телевокс. Павел достал из его кармана меню и громко прочитал:

— 1. Суфле. А какое суфле, неизвестно. Очень подозрительно.

— Пропустить суфле! — сказала Кира.

— 2. Шницель телячий?

— Не хочу! Мимо!

— 3. Филе?

— Мимо!

— 4. Аморетки?

— Стуфат? Телячьи ножки под белым соусом на вальванте? Шашлык? Поросенок с соусом из шампиньонов? Утка, фаршированная груздями? Тетерки с красным вином? Марешаль из рябчиков? Щука с шафраном? Карп с белым вином? Форель с раковым маслом? Лососина в папильотах? Судак по-капуцински с ромом? Сиг печеный со сморчками? Караси, варенные в сливках?

— Стоп! — закричала Кира. — Беру карасей! Какой номер?

— 17! Дальше! Стерлядь с трюфелями? Буженина с вишней? Индейка, фаршированная каштанами? Спаржа с сабайоном?

— Беру! Номер?

— 21! Грибы тушеные? Артишоки в малаге? Оливки фаршированные? Мозги фри?

— Беру!

— 25! Грудинка с изюмом? Артишоки с голландским сыром? Пил...

— Довольно! Хватит!

— На сладкое?

— Ну, что-нибудь!

— Я возьму рагу! — сказал Павел. — Ну, и, пожалуй, говядину, шпикованную трюфелями...

— Ну, ну... — кивнула головой Кира.

Опустив руку в урну, он достал пригоршню жетонов и, выбрав из них несколько штук, отложил их в сторону.

Затем, собрав жетоны, опустил их в алюминиевый кармашек телевокса и нажал перламутровую кнопку на руке телевокса.

Телевокс качнулся, сделал поворот и, звеня металлическими частями, побрел в сторону кухни. На белой спине его чернела цифра 137.

— А это наш телевокс? — всполошилась Кира.

— Я думаю, — сказал Павел, сдвигая оставшиеся жетоны со скатерти, на которой голубела цифра 137.

— Надо всегда проверять, — поучительно говорила Кира, — а иначе два часа можно просидеть за столом в ожидании ужина.

— Как так?

— А так... Ты не знаешь, что со мной случилось в Калуге?

— С тобой и с телевоксом?

— Ну да... Села я однажды обедать. Заказала уйму прекрасных вещей и жду. Сижу час. Нет обеда. Начинаю беспокоиться. Оглядываюсь. Слышу смех. Смотрю туда. И что же? Через несколько столов от меня стоит мой телевокс и держит в руках поднос, а компания, обедающая за этим столом, хохочет. «Ты, — говорят, — голубчик, сам пообедай. Мы, — говорят, — привыкли только раз в день обедать». Подсмотрела я на номер своего столика. 28. Взглянула на спину телевокса. Тоже — 28. Оказывается, что этот телевокс был переведен с круговой линии на угольную, а механизм-то у него не потрудились переставить. Вот он и запутался меж столов.

За соседними столиками засмеялись. Высокая девушка повернулась к Павлу и Кире и, блестя веселыми глазами, сказала:

— А я была свидетельницей другого случая с телевоксом. Не помню где, но, кажется, в Минске, мы заказали вот так же ужин. И тоже ждали. А телевокс точно под землю провалился. Некоторые не выдержали. Пошли искать.

Кто-то, не ожидая развязки, захохотал.

— Да вы подождите. Слушайте, что было дальше. Ищут его на кухне. Нет. Ищут в буфетной. Нет. Собралась толпа добровольцев. Так где, вы думаете, он шатался?

— Наверное, тут же. В зале.

— Совершенно верно. Начали присматриваться к обслуживающим зал и замечаем: ходит один телевокс с подносом и нигде остановиться не может. Ну, пришлось, конечно, ловить его.

Веселый разговор был прерван появлением телевокса 137. С вытянутыми вперед металлическими руками, в которых висел поднос, он подошел к столику Павла и Киры и, качаясь, остановился.

Павел начал снимать с подноса заказанные кушанья.

— Я еще хочу взять молока! — сказала Кира.

— Заказывай!

Кира взяла жетон. Потянувшись к телевоксу, она опустила жетон в алюминиевый кармашек, затем перевернула минутную стрелку на цифру 15*.

— Ты думаешь, — взглянул Павел на циферблат, — что мы управимся со всем этим в 15 минут?

— Вполне! — нажала кнопку Кира.

Телевокс отошел.

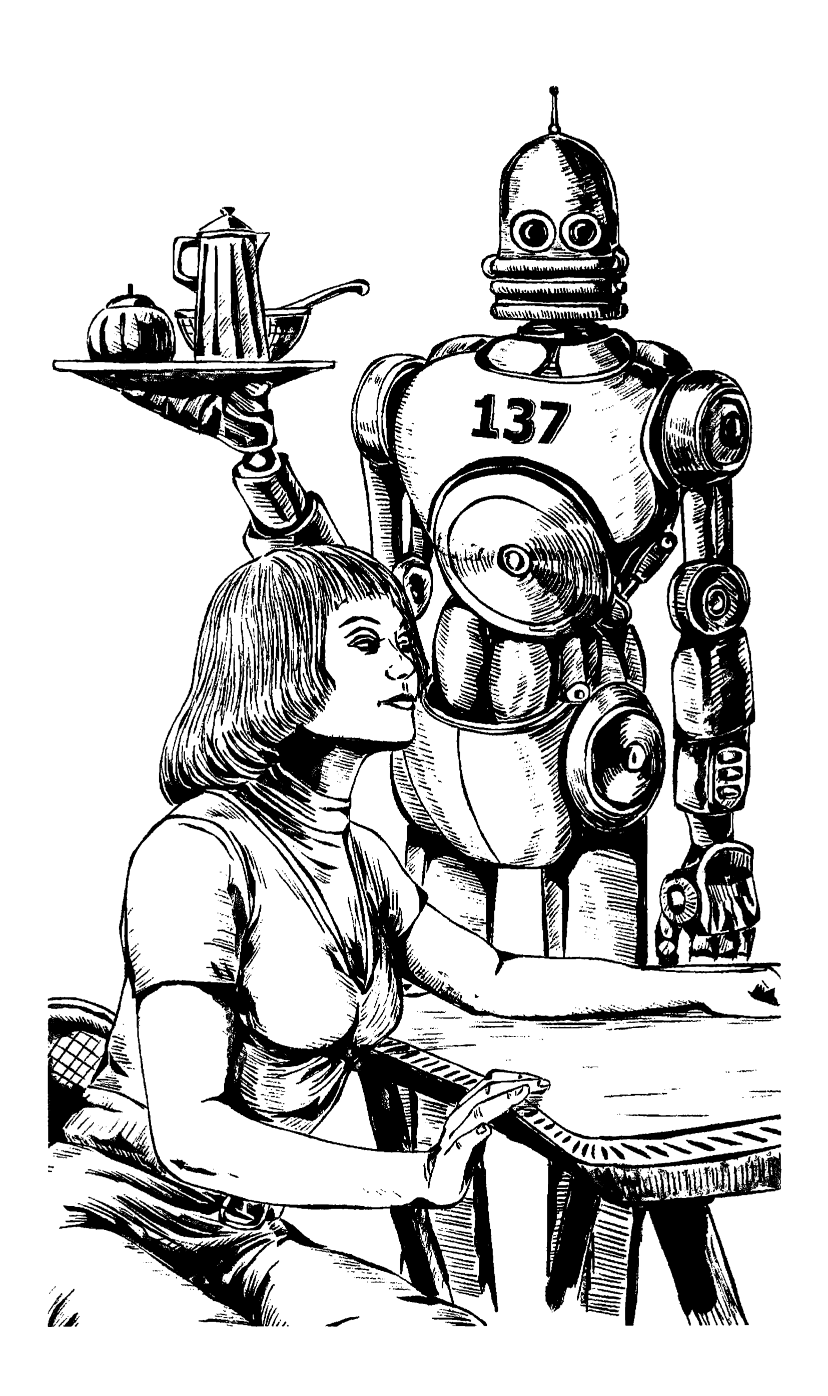
Кира и Павел приступили к ужину.

* * *

Обычный шум вечернего ресторана гремел вокруг, сплетаясь с музыкой репродукторов. Стучали ножи и вилки. Люди перекликались через столы. Шутили. Смеялись.

---

* Это значит, что телевокс должен принести заказанное через 15 минут.


137

Прислушиваясь к музыке, Кира подняла вилку вверх:

— Слышишь, Павел?..

— Что-то знакомое! По-моему, это музыкальный антураж к рагу.

— Это «Весна в горах». Помнишь, я играла в Солнцеграде.

— Ах да... — смущенно пробормотал Павел.

Ему стало почему-то неприятно, что он забыл эту мелодию. В замешательстве он поспешил переменить разговор. Чувствуя досаду, он неожиданно проговорил:

— Удивительное безобразие!..

— Что такое?

— Меня хотят оставить без витаминов. Подливка к рагу сделана из одних вареных овощей!

Он понимал комичность положения, но упрямство толкало его дальше. Он встал из-за стола. Кира, смеясь, глядела на него исподлобья.

— Можешь смеяться, а я пойду за витаминами.

Пробираясь между столиками и уступая дорогу телевоксам, Павел прошел через зал на кухню.

* * *

Залитое светом помещение было похоже на цех завода. Сияющие автоклавы, точно бокалы гигантов, стояли выстроившись вдоль стен.

Духовые шкапы, блестя никелем, выступали из ниш. Под гигантскими прозрачными колпаками лежали куски сырого мяса и фарша. В стороне — под стеклом краснели помидоры, морковь, желтела репа, блестели оранжевые плоды и овощи гибридов, розовела редиска, белела капуста. Горы фруктов и овощей горели аппетитной радугой под тонким слоем хрусталя. В мраморных водоемах двигались темные, жирные спины щук, карпов, лещей, налимов. Паутина пневматических труб опутывала кухню, нависая над автоклавами, духовками и продуктовыми шкалами.

Телевоксы выходили в кухню один за другим. Не останавливаясь, они снимали подносы и поднимались на не-

большие площадки, над которыми медленно плыл конвейер. Остановившись здесь, телевокс опускал жетон в особую металлическую трубку и, вытянув руки с подносом к конвейеру, застывал в такой позе. Через несколько минут на движущейся ленте конвейера появлялись тарелки. Они подплывали к телевоксу и на мгновение задерживались. Лента конвейера молниеносно опускалась вниз; одновременно руки с подносом делали еле уловимое движение вперед, тарелки располагались на подносе. Телевокс повертывался и выходил.

Павел осмотрелся.

На противоположной стороне он заметил белые халаты дежурных, которые возились среди суетливо снующих телевоксов-поваров.

Павел подошел ближе.

Один из дежурных подошел к нему и спросил:

— Ты хочешь заказать что-нибудь особенное?.. Сейчас только что получены цыплята. Зафаршировать тебе? А? Или ты любишь в сухарях?

Павел отрицательно покачал головой.

— Может быть, я соблазню тебя омарами?

— Нет! Здесь застряли мои витамины!

Дежурные тревожно переглянулись.

— Ты что взял?

— Рагу. Но мне его подали с вареными овощами...

— Без витаминов! — подхватил один из дежурных.

— Совершенно верно.

— Какой стол?

— 137!

Два белых халата кинулись в паутину пневматических труб.

— Ну, так и есть.

— Не работает. Линия закупорена.

Павел подошел ближе.

— Поварская бастует?

— Нет. Это на подающей линии. Придется, кажется, повозиться.

— Возьми лимон, морковный сок и тыквенное пюре*, — предложил стоящий рядом с Павлом дежурный, — впрочем, есть еще немного пюре из помидоров.

С судком в руках Павел вернулся к столу.

— Нашел свои витамины? — встретила его Кира.

Павлу стало неловко.

— Знаешь что, — ответил он запинаясь, — мне показалось... нетактичным забыть эту мелодию, которая произвела на меня тогда впечатление... Ну, вот, — стараясь быть развязным, закончил он, — я и решил прогуляться немного.

Кира пытливо посмотрела на него, однако ничего не сказала.

— А где же музыка? — взялся за нож и вилку Павел. — Где тот марш, который будет сопровождать мои витамины... Перерыв?

— Нет! — ответила Кира. — Пришло сообщение о какой-то катастрофе на юге.

---

* В наше время на пищу не обращается почти никакого внимания. Мы едим мясо, которое жарится на сковородах по часу и больше и которое теряет половину своей питательности. Мы едим овощи, которые варятся полдня, теряя столь необходимые для организма витамины. Мы держим готовые мясные и рыбные блюда на плите и в духовом шкалу, убивая три четверти питательности этих блюд. Мы пользуемся вредными для организма разогретыми кушаньями.

В кухне будущего поступающее в поварское отделение мясо (в фарше или кусках) лежит в сосудах, из которых выкачан воздух, до того момента, пока не получен заказ. Перед тем как подавать мясо на стол, его опускают на несколько секунд в электрошкапы или же в духовые шкапы, где оно обрабатывается паром. (Все зависит от того, какое именно мясо и в каком виде желают получить обедающие или ужинающие.) Быстрота превращения сырого мяса в годное для употребления сохраняет питательность мяса и почти все находящиеся в нем витамины. Однако при этом пропадает витамин С, который начинает разлагаться при температуре в 50 град. Помимо того, мясо всех витаминов, нужных для человека, не имеет. С целью пополнения пищи необходимыми витаминами кухня будущего пользуется так называемым способом оживления пищи. Для этого в готовые мясные и рыбные блюда вводят сырые соки овощей, зелени и фруктов. Пудинги, суфле и другие блюда из овощей, которые не могут быть оживлены непосредственно, как подвергавшиеся действию весьма высокой температуры, оживляются посредством введения сырого сока в отдельно приготовленный соус, преимущественно на пассеровке, т. е. на муке, декстриниэированной в кипящем масле и разведенной бульоном, сливками или молоком.

— Где?

— Ничего еще не известно. Подождем — узнаем.

Павел пытался поддержать разговор, но его усилия оставались тщетными. Едва начав говорить, они умолкали. Так же вяло разговаривали и за соседними столиками. Все чего-то ждали.

Громкие голоса и смех стихли. Сдержанное гуденье и тихий звон приборов о тарелки нарушали тишину.

Наконец в томительное, напряженное ожиданье ворвался гулкий вздох репродукторов.

— Товарищи! — громко сказал звенящий металлом голос. — Случилось большое несчастье. Упавшим метеором разрушено промышленное кольцо Харькова. К счастью, работы были прекращены за несколько минут до катастрофы. Человеческих жертв нет. Для восстановления предприятий с таким расчетом, чтобы они через «пятидневку» могли вступить в строй, нужна рабочая сила в количестве 75 миллионов человек. Но это только предварительный подсчет. Через два часа будут переданы более точные цифры необходимой рабсилы. Совет ста постановил произвести следующую разверстку:

Харьков выделяет половину всего населения, то есть 3 миллиона.

Киев — 2 миллиона.

Одесса — 4 миллиона.

Минск — 3 миллиона.

Сталинград — 3 миллиона.

Москва — мобилизуется полностью, кроме работников статотделов и десяти дежурных членов Совета ста.

Ростов-на-Дону — 2 миллиона.

Ленинград — 4 миллиона.

Познакомив город с нарядом, тот же голос сказал:

— Сибирь рабсилы не посылает, но в случае надобности должна будет доставить все остальное недостающее количество рабочих. На пять дней запрещается переезд из одного города в другой. Мобилизованные образуют трудармию, руководить которой будет Совет ста. Направляющиеся на работу должны взять с собой из местных распределителей рабочие комбинезоны, запас продовольствия на пять дней

и походные палатки с постельной принадлежностью. Подписано Советом ста. В дорогу, товарищи! Бросай свои дела! Харьков ждет.

В дорогу, товарищи!

В зале началось движение.

— Значит, едем? — вскочил Павел.

Кира собрала посуду и быстро позвонила. Нагрузив вместе с Павлом телевокса посудой, она нажала кнопку.

— Отдыхай пять дней, ленивец!

— Надо бы его смазать! — озабоченно сказал Павел.

— Да ведь остаются же здесь люди. Неужели они не догадаются это сделать... Бежим, бежим.

Вместе с озабоченной, встревоженной толпой они выбежали на улицу. Люди прыгали в автомобили. Сердитый рев сирен будоражил тишину. Шум и крики оглашали тихие и темные кварталы.

— Садись! — крикнул Павел.

Кира села рядом.

— Кто без авто? — снова закричал Павел. — Садись!

Несколько человек вскочили в автомобиль.

Вместе с этими случайными спутниками они отыскали распределитель, нагрузили авто палатками и продовольствием, взяли рабочие комбинезоны и тут же, около распределителя, организовали летучее совещание.

Высокий мужнина с длинными руками и широкой спиной взял себе слово.

— Товарищи! — сказал он. — Ехать на аэровокзал бесцельно. Туда сейчас бросились все. Я предлагаю подумать о том, как нам попасть в Харьков с помощью других средств.

— Может быть, нам следует добраться до Гжатска, а там взять самолет? — предложила Кира. — Если я не ошибаюсь, Гжатск не попал в разверстку?

— Нет! Это отнимет два часа.

— А почему бы нам не воспользоваться воздушной дорогой? — спросил Павел.

— Товарной?

— Ну, да!

— Это идея! — крикнул кто-то в темноте.

— В таком случае — вперед!

Авто помчался к товарному вокзалу.

Но не одному только Павлу пришла мысль воспользоваться этой дорогой. Когда авто подъехал к товарной станции, здесь уже стояли сотни пустых машин.

— Мы не первые! — вскричала Кира.

— Тем лучше. Веселее будет.

Нагруженные вещами, они вбежали под стеклянный навес, где уже толпились сотни других людей.

— В чем дело?

— Почему стоят?

Кто-то крикнул из толпы:

— Поезд прибывает через пять минут.

— Откуда?

— Из Мурманска.

— Туда уже сообщено?

— Да, да. Товарищи уже передали в Мурманск, что дальше поезд пойдет с пассажирами и под управлением живых людей*.

Прошло несколько минут.

— Отойдите от дороги!

Павел и Кира отошли от бетонной отполированной дороги в сторону. И тотчас же, точно из-под земли, вылетел и замер около перрона длинный, похожий на вытянутый, приплюснутый дирижабль — воздушный поезд**. Несколько вагонов

---

* Поезда, рефрижераторы, пароходы и другие средства передвижения, занятые перевозкой грузов, не имеют обслуживающей команды. В описываемое нами время управление товарными поездами, пароходами и рефрижераторами осуществляется по радио.

** Вместо неудобных, уничтоженных в 1950 г. железных дорог, Советы ввели спроектированную еще в 20-х годах нашего столетия К. Э. Циолковским дорогу с поездами, приводимыми в движение воздушными турбинами. Такой поезд «передвигается» по прямой как стрела бронированной, гладкой дороге. Перед отправлением бесколесный поезд ложится на бетонное полотно своим полом, затем между полом вагона и полотном дороги накачивается воздух, который держит на себе весь поезд. Иными словами, поезд висит на тонком, в несколько миллиметров, слое воздуха. Избыток давления накачиваемого воздуха над окружающим составляет только одну десятую долю атмосферы. Таким образом, подъемная сила воздушной прослойки достигает тонны на

автоматически выключились из состава. Подъемные краны схватили их сверху стальными руками, подняли на уровень крыши и поднесли к верхнему бассейну. Глухо щелкнули затворы, зашумела вода, шумно заплескалась в бассейне рыба.

— Собственно говоря, — сказала стоящая рядом с Павлом женщина, — рыбу эту можно было бы захватить в Харьков. Там она больше пригодилась бы.

— Да, здесь рыба пропадет, — согласился Павел, — но попробуй — сговорись с машиной. Она приведена в движение и будет выполнять свою работу, пока не сломается.

— Товарищи! — крикнул мужчина с длинными руками. — При посадке надо выбрать уже разгруженные вагоны, иначе мы рискуем где-нибудь в Туле или в Орле попасть в бассейн с водой. Машина, как видите, заряжена.

— Ничего! Сегодня Тула и Орел останутся без рыбы. Садись, товарищи! Наша первая остановка — Харьков.

Кран опустил опорожненные вагоны на места. Щелкнула автоматическая сцепка. Поезд был готов для отправки.

— Са-ди-и-и-сь!..

— Не забудьте закрыть герметически щиты.

— Держитесь у задней стены вагона.

Павел, Кира и еще несколько человек бросили вещи в вагон и вошли сами.

Щиты опустились. Черная мгла наполнила вагон.

— Прижмитесь спиной к задней стене.

— Павел, дай твою руку.

В темноте они отыскали руки.

— Ты не боишься?

— Нет. А ты?

— Я еще не пробовала передвигаться с такой скоростью. Какое, интересно, испытываешь при этом ощущение?

— По-моему, никакого.

---

1 кв. метр, т. е. впятеро больше, чем требуется для вагона. Уничтожая трение, эта прослойка в то же время, вырываясь сзади вагона; оказывает на него продольное давление, иначе говоря, создает тягу поезда. Воздушные поезда, развивая скорость до 1000 км/ч, перелетают с разбега, без мостов, через самые широкие реки и озера. В этих пунктах дороги поезд автоматически выбрасывает поддерживающие плоскости. Останавливают такой поезд, ослабляя под ним воздушное давление.

Вагон, качнувшись, приподнялся вверх.

— Ого!

В тот же момент стена вагона вдавилась в плечи.

— Едем!

— Упирайтесь ногами в пол!

— Давит!

— Ничего! Это сейчас пройдет.

Не прошло и минуты, как ощущение тяжести пропало.

— Только и всего? — разочарованно спросила Кира.

— А ты чего ожидала? Впрочем, через полчаса здесь будет немного жарко и очень душно.

— Ерунда! — крикнул чей-то голос. — К тому времени мы будем уже под самым Харьковом.

...Через сорок минут воздушный поезд остановился в Харькове.

* * *

С Холодной горы, где помещалась товарная станция воздушной дороги, прибывшие увидели плавающий в свете бесчисленных прожекторов, взволнованный Харьков.

По улицам, белым от усиленного освещения, нескончаемым черным потоком катились колонны автомобилей. Ползли, приподняв вверх длинные руки, подъемные краны, вытянув чудовищные шеи, бежали экскаваторы. Металлические балки, вычерчивая в белом и нежном свете неверные треугольники, двигались по Екатеринославской улице, точно живой лес. Горы бочек с цементом ползли на грузовиках, следом за гигантскими бетономешалками. Щупая прожекторами темную воду, по Неточи, Лопани и Харькову, по трем рекам-каналам города, бежали пароходы. Тысячи дирижаблей и самолетов гудели над головами в белом от света небе.

Каждые две минуты на товарную станцию прибывали воздушные поезда с людьми, с машинами и строительными материалами.

Репродукторы кричали не переставая:

— Прибывающие на южный аэровокзал должны отправиться немедленно на место катастрофы и приступить к расчистке.

— Товарная южная станция забита машинами, прибывшими из Донбасса. Населению кварталов, расположенных в этом районе, предлагается доставить машины к месту катастрофы.

— Центральным районам разгружать прибывающий на городские пристани строительный материал.

— Всем районам немедленно связаться с главным штабом.

— Тем, кто не имеет работы, отправиться в промышленное кольцо.

— Ждите через десять минут новых распоряжений.

— Ну? — спросила Кира.

— Я думаю, — сказал Павел, — что нам следует помочь разгружать прибывающие на эту станцию поезда и организовать доставку строительных материалов к месту катастрофы.

Сложив вещи на перроне и накинув рабочие комбинезоны, они вместе с другими товарищами принялись за работу.

По бесконечному перрону тянулись длинные, густые вереницы людей, которые набрасывались на поезда, опорожняли их и отбегали в сторону. Бесчисленные подъемные руки кранов сновали в воздухе, заслоняя свет. Лязгали и ворчали дерики и тельферы. Грузовики тремя рядами плыли около пакгаузов, принимая на ходу бочки цемента, железные конструкции, арматурное железо, песок, камень, рельсы, бетономешалки, бревна, доски и, нагруженные до верха, мчались полным ходом вниз.

К полночи поезда перестали прибывать.

— Все, что ли? — спросили с грузовиков, прибывших за материалами.

— Подача прекращена. Очевидно, больше не требуется.

Погрузив вещи на грузовики, Кира и Павел, вместе с остальными товарищами, помчались через город к промышленному кольцу.

Пробираясь сквозь бесконечные потоки автомобилей, они наблюдали необычайные картины. Они видели бесчисленные палатки, выросшие на площадях, у пристаней и вдоль тротуаров улиц. Но еще более удивительное зрелище представляло место катастрофы. На несколько километров вокруг разрушенного промышленного кольца белели, сли-

ваясь с темным горизонтом, палатки мобилизованных, образуя огромный город с широкими проспектами и улицами, по которым двигались машины и грузовики с материалами.

Мощные прожекторы, обступив со всех сторон полосу промышленного кольца, освещали развалины фабрик и заводов. Из черных стен вытягивались в небо изогнутые железные балки. Крыши лежали на исковерканных машинах. Все это было залито черной толпой людей, копошащихся, точно муравьи, среди этих развалин. Молча, без криков, люди придвигали машины, устанавливали подъемные краны и с помощью этих верных своих помощников расчищали площадки.

— Стены до утра не трогать! — кричал репродуктор. — Крыши выбирать и направлять в южный сектор кольца. К зеленым огням. Туда же направлять и машины. Мусор вывозить в северную часть сектора. К бетономешалкам. В сторону двух фиолетовых прожекторов.

Выбрав место для палатки, Павел и Кира растянули полотно.

— Теперь давай я помогу тебе установить палатку! — сказал Павел.

— Как? — возмутилась Кира. — Но это же моя палатка.

— Извини, но мне кажется, ты ее даже и не подумала захватить с собой.

— Позволь, но ты же две взял на складе.

— И не подумал даже. Впрочем, я могу ее уступить тебе.

— Нет уж, пожалуйста. Без самопожертвования. Мы будем спать в одной палатке. Давай другую кровать.

— А ты ее взяла?

— Ну да!

— Прекрасно!

Быстро установив в палатке походные кровати, они привязали к верху широкий цветной шарф Киры.

— Теперь наш адрес, — засмеялась Кира, — Харьков, катастрофа, Оранжевый шарф... Пошли.

Они смешались с толпой работающих.

В три часа, когда край неба лопнул и сквозь щель вошла темная предрассветная заря, репродукторы выбросили распоряжение:

— Бросай работу! Сейчас прибывает из Сибири смена... Завтра встать в 10 часов. Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Утомленные работой, Павел и Кира добрались до полотняного города, отыскали свою палатку и, не раздеваясь, бросились на кровати.

— Ты есть не хочешь?

— Нет! — ответила Кира. — А ты?..

— Я заснул бы с куском во рту.

Помолчав немного, Кира сказала:

— У меня такое ощущение, как будто я побывала под прессом.

Павел молчал.

— Ты уже спишь?

В ответ раздался могучий храп.

* * *

Они проснулись одновременно. Открыв глаза, Павел с недоумением увидел против себя смеющееся лицо Киры.

— В чем дело? — пробормотал он, оглядываясь по сторонам, но, вспомнив события вчерашней ночи, засмеялся. — Ах, ванну бы сейчас... Горячую.

— А еще что? — деловито осведомилась Кира.

— И хороший бифштекс!

— С кровью или без крови?

— Лучше, конечно, с кровью!

— Так... Больше ничего?

— Этого было бы вполне достаточно.

— В таком случае вставай! Будем завтракать... Если, конечно, ты не забыл продукты.

— Нет! — вскочил Павел. — Но я не знаю, куда я их вчера положил.

Сумку с продуктами нашли под кроватью.

— Посмотрим теперь, что ты взял!

Запустив руку в сумку, Кира достала зеленую банку.

— Горошек! — прочитала она надпись на этикетке. — Прекрасно. Ну, а теперь?

На свет появилась вторая банка.

— Еще горошек. Ну, эта банка, пожалуй, лишняя. Посмотрим дальше.

С этими словами она вытащила третью банку.

— Опять горошек... Не думаешь ли ты, что я горохоманка какая-нибудь.

Появилась пятая банка с зеленой этикеткой.

— Ну, конечно, горошек...

— Видишь ли, — забормотал смущенный Павел, — я так торопился...

— Это ясно. Однако, будем терпеливы...

Она достала из сумки шестую банку с зеленой этикеткой. Укоризненно качая головой, Кира взглянула на Павла и ядовито сказала:

— Как ты думаешь, — она протянула банку к самому носу Павла, — это зеленое может быть чем-нибудь другим, кроме горошка?

— А что, — попробовал защищаться Павел, — горошек не так плох, если относиться к нему с некоторым снисхождением.

— Он не заслуживает снисхождения! — нахмурила брови Кира.

— Но я охотно закусил бы горошком.

Кира пожала плечами:

— Посмотрим дальше... Нет ли в сумке чего-нибудь более съедобного.

С этими словами она высыпала из сумки целую груду зеленых банок.

— Я думаю, — взглянула на Павла Кира, — твое желание закусить горошком можно удовлетворять в течение пяти дней.

— Да он не так ведь уж и плох! — защищался Павел.

Кира захохотала. Глядя на нее, засмеялся и Павел.

— Воображаю, как он надоест нам за эти три дня.

— Хотя бы хлеба взял, — покачала головой Кира. — Впрочем, ладно, горошек так горошек, — примиряюще сказала она. — Пойдем, посмотрим, что делается на стройке.

Они вышли из палатки.

* * *

— Ого! — вскричала Кира, восхищенная развернувшейся картиной. — Пока мы спали, тут целый город выстроили...

Перед глазами встала грандиозная панорама строительства. Высоко в небо поднимались, вырастая на глазах, бетонные стены. Десятки тысяч машин размахивали железными щупальцами. Огромные маховики бешено крутились во всех углах стройки. Толстые провода свисали всюду гирляндами изоляторов. Несколько десятков дирижаблей качались над стройкой, опустив вниз, стальные тросы. Подъемные краны закрывали небо движущей, густой паутиной.

Кое-где уже устанавливали машины.

Дирижабли опускали тросами на площадки, окруженные стенами, турбины, генераторы, цилиндры, котлы, дизеля и другое громоздкое оборудование, затем, выбрав тросы, отплывали в сторону. Другая группа дирижаблей подносила готовые конструкции крыш и опускала их на стены. Тысячи людей тогда облепляли черной живой массой верх здания, волоча за собой кишки пневматических молотков.

— Сколько сейчас времени? — спросила Кира.

Павел приложил мембрану к уху.

— 9 часов и 40 минут.

— Значит, — вздохнула грустно Кира, — пора познакомиться с питательными свойствами зеленого горошка и отправляться на стройку.

* * *

Работы предполагалось закончить в пятидневный срок, но прибывшие со всех концов Республики товарищи работали на стройке по 16 часов, и на второй день к вечеру основные сооружения были почти закончены.

Приказом Совета ста трудовая армия распускалась. Оставшиеся работы было поручено закончить населению Харькова самостоятельно. Но после того, как около ста миллионов человек, вооруженных самыми совершенными машинами, проработали на месте катастрофы два дня, оставалось только одно — застеклить кварталы Харькова, который от сотрясения воздуха, в момент падения метеора, растерял все стекла в рамах домов.

— А машины? — недоумевала Кира.

— Машины повезут обратно те, кто их привез!

— Словом, мы свободны.

— Да. Руководитель сотни, в которой мы работали, сказал, что обратно можно ехать даже без вещей. Наши палатки и кровати будут взяты воздушными поездами.

— Я хотела бы сдать в багаж в первую очередь зеленый горошек.

У Павла что-то попало в глаз, и он усиленно начал протирать его.

— Ты меня слышишь, Павел?

— Да, слышу, слышу.

— Ну, и что же?

— Ах, ты все о том же...

— Может быть, мы его возьмем с собой?

— О-о! — застонал Павел.

Он видел, как за эти два дня осунулась и побледнела Кира, и чувствовал себя виноватым перед ней. Он прилагал все усилия к тому, чтобы загладить свою вину.

После того как трудовая армия была демобилизована, он предложил Кире вернуться обратно в Москву не самолетом, а дирижаблем конечных рейсов, так как на этих дирижаблях, он знал, была прекрасная кухня.

— Но тогда нам придется тащиться до Москвы не менее как два-три часа.

— Неважно! — настаивал Павел.

— Ты имеешь в виду кухню? — догадалась Кира.

— Именно...

— Пожалуй, это идея! — согласилась Кира.

Некоторое облегчение Павел почувствовал лишь в тот момент, когда они вошли в ресторан воздушного корабля и сели за свободный столик. Стараясь исправить ошибку, Павел сам старательно составил меню обеда, проявив при этом все свои способности.

— Я не знала, что ты такой привередливый! — удивлялась Кира. — Я считала твою любовь к зеленому горошку неизменной.

— Ну, ну! — заворчал Павел. — Забудем о постигшем нас несчастии.

Они принялись завтракать, чувствуя, может быть в первый раз, удовольствие процесса насыщения.

Глава десятая

До сессии оставался один день.

Со всех сторон Страны советов уже прибывали делегаты. Москва за несколько дней превратилась в шумный, оживленный город.

Широкие проспекты гудели от сигнальных сирен. Толпы народа двигались по тротуарам плотными рядами. В ресторанах с утра до поздней ночи толкались люди. Десятки новых, запасных столовых, буфетов, закусочных и ресторанов открывались через каждые два часа. Начали работать театры. На площадях появились полотна телекинорадиоприемников. По широким лестницам музеев и библиотек вверх и вниз тянулись бесконечными потоками посетители. По вечерам с крыш домов неслись песни. Пели улицы и площади. Пели дома и мостовые.

Павел бродил среди этих шумных, веселых делегатов, рассеянный и озабоченный. Волнуясь, он ловил на лету отдельные фразы о предстоящих работах сессии, стараясь угадать по настроениям, по еле уловимым интонациям голосов решение о своей работе.

Обедая, он вмешивался в разговор соседей, ловко направляя беседу в нужном ему направлении, и с биением в сердце прислушивался к тому, что говорят о Звездном клубе.

Но все его попытки угадать настроение отдельных делегатов неизменно сталкивались с одной и той же фразой:

— Подождем доклада... Сейчас говорить об этом — преждевременно... Послушаем, что скажет Иванов.

Он похудел, потерял аппетит, сон его стал беспокойным.

В последний вечер перед сессией он не мог найти места в этом большом городе. Какая-то неведомая сила гнала его из одного конца Москвы в другой, из театра в сады, из садов в рестораны.

Не имея возможности убежать от самого себя, от внутренней тревоги, охватившей все его существо, он отыскал Киру и несвязными словами рассказал ей о своем настроении.

— Измучился за эти дни... Места нигде не могу найти...

— Попробуй представить худшее... Представь себе, что работать тебе не придется в этом году.

— Я не могу представить этого. Не могу уже потому, что это было бы неслыханным насилием над личностью. Укажи в нашей истории, в истории социалистического общества, хотя бы один случай, когда бы коллектив вмешался в личную жизнь члена общества... Мы гордимся тем, что способности каждого особенно пышно расцветают в наше время. Мы знаем, что к индивидуальным наклонностям каждого из нас коллектив относится бережно и любовно, и вдруг...

— Ты забываешь одно, — перебила его Кира, — коллектив не может культивировать того, что может быть для него вредным.

— Да черт возьми! — не выдержал Павел. — А я-то для кого стараюсь? Я для кого из кожи лезу? Для себя?

— Тем больше причин для коллектива распоряжаться твоей работой.

— А я сам?

Кира с досадой пожала плечами:

— Ты хочешь противопоставить себя коллективу. Ты считаешь себя самым лучшим и самым умным.

Павел покраснел:

— Я не имел таких мыслей. Но я хотел сказать, что при таком порядке вещей мы можем потерять свою индивидуальность!

— Ты сам не веришь тому, что говоришь. Ты отлично знаешь, что наша система воспитания и отношение коллектива к отдельным членам общества направлены к тому, чтобы помочь каждому выявить себя во всем объеме своих способностей... Вспомни капиталистический мир, где величайшие таланты гибли от голода, и взгляни на наше общество. Будь ты даже самым бездарным маляром, обладая в этой области способностями телевокса, — и тогда, даже в этом случае, если ты почему-либо решишь, что у тебя в груди шевелится талант художника, коллектив сделает все, чтобы помочь тебе в твоей работе. Лучшие художники возьмут над тобой шефство. Лучшие профессора искусства займутся

твоей теоретической подготовкой. Прекрасное ателье будет предоставлено в твое полное распоряжение. Проявляй себя. Работай. Совершенствуйся. А если из тебя ничего не выйдет и если ты всуе возомнишь себя поэтом, — то коллектив не сделает тебе ни одного упрека. Так же бережно и любовно он поставит тебя в иные условия для роста твоего поэтического призвания.

Индивидуальность? — усмехнулась Кира. — Его угнетают? Ты напоминаешь старого мещанина, который боялся социалистического общества только потому, что его бесцветная личность могла раствориться в коллективе. Он представлял наш коллектив, как стадо животных, как коллектив потертых, стандартных личностей, таких же как сам. Да это было бы страшно. Но разве наш коллектив таков? Точно в бесконечной гамме каждый из нас звучит особенно и неповторимо, но все мы вместе под опытными виртуозными пальцами Экономики соединяемся в гармоническое целое, в прекрасную человеческую симфонию...

— Ты, кажется, принимаешь меня за выходца из старого. Я сам все это знаю.

— Я не считаю тебя хуже того, что ты есть.

— Да ведь живой я человек?

— Волнуйся! Но говорить при этом глупости вовсе не обязательно. Ты даже не знаешь, что решит завтра сессия, а уже авансом сыплешь гром и молнии.

— Побыла бы ты в моем положении хотя бы две декады...

— Но, Павел... Ведь это же исключительное положение. Сейчас, когда остро встал вопрос об энергетике, нечего даже и обижаться на коллектив, если он не сочувственно отнесется к твоей работе. И наконец, решающее-то слово принадлежит тебе. Ты можешь работать, вопреки воле коллектива. В материалах тебе не откажут. Этого бояться нечего.

— Хорошо. Я буду работать, а на меня станут смотреть, как на волка? Спасибо.

— Так ты хочешь получить общественную поддержку, игнорируя интересы общества? Я так тебя поняла?

— Ох, оставь пожалуйста. Я сам не знаю, чего хочу. У меня голова идет кругом.

— Тогда — прекратим этот разговор.

— Хорошо! — покорно сказал Павел.

Они замолчали.

* * *

На другой день все шестьдесят подъездов дома Совета ста принимали делегатов всех клубов Республики. Гигантские стены розового мрамора поднимались в небо. В огромных стеклах, точно в тихих заливах плескалось солнце. Толпа людей перед домом-гигантом была похожа на полчища муравьев.

Пневматические лифты-экспрессы безостановочно курсировали между этажами. В стеклянных, залитых солнцем галереях катилась толпа, не останавливаясь ни на одно мгновенье.

Павел вошел вместе с делегатами в подъезд и поднялся на второй этаж, где находился амфитеатр для гостей, а также для тех, кто был лично заинтересован в решениях сессии по тому или иному вопросу.

До открытия оставалось десять минут, но зал был почти заполнен.

Заняв свободное место, Павел поднял голову вверх, к прозрачному куполу дома Совета ста, уходящему в голубую синеву, в которой растворилось стекло крыши, создавая впечатление пустоты. Плывущие над куполом белые облака усиливали это впечатление еще больше.

Павел посмотрел по сторонам.

Сверху, почти от самого купола, уступами спускались кольца амфитеатров, заставленные пюпитрами.

Пюпитры бежали с головокружительной высоты вниз, наступая широкими потоками на середину. И только у самой середины, где на глыбе мрамора стоял изогнутый в подкову огромный стол с массивными креслами сзади, они смыкали свои ряды, охватив глыбу мрамора строгим полукругом.

Шумная, густая толпа делегатов катилась в проходах, заполняя свободные места перед пюпитрами. Бесчисленное множество усилителей, точно рассыпанные пуговицы, чернели всюду, где только останавливался глаз.

Прямо перед собой, над глыбой мрамора, Павел увидел спокойного и сильного Владимира Ленина.

Суровое, с гранитным чертами, лицо Иосифа Сталина бесстрастно поднималось над шумными амфитеатрами.

Знакомые с детства лица всех борцов за социализм стояли плечо в плечо с вождями партии. Вся задняя стена представляла собою изумительное произведение скульптуры, на этой стене тысячи художников воспроизвели барельефные портреты громадной ленинской партии, положившей начало социалистическому строительству.

...До открытия сессии оставалась одна минута. Члены Совета ста, один за другим, появлялись на возвышении, обходили стол и усаживались на свои места.

Вот вынырнул суетливый Коган. Наклонив голову вниз, он тыкался то в одно, то в другое кресло, потом, присев с краю, быстро вскочил и побежал в другой конец стола.

Вот появился Молибден. Сохраняя свой обычный вид, — высокий и большой, — он, как всегда, прямо держал крупную голову, как всегда, размеренно и бесстрастно прошел мимо стола и опустился в кресло.

За Молибденом шел Владлен Осипов. Это был маленький, необыкновенно подвижный человек, с глубоким взглядом блестящих странно-голубых, словно прозрачных глаз. За его спиной появился Неон Берг, казавшийся совсем молодым человеком. Под шапкой серебристых седых волос светились глаза, в которых метался лихорадочный огонь. С грустным, сосредоточенным видом просеменил Феликс Родэ.

Прошел к своему месту высокий, с величественной осанкой, Ларион Федин.

Подняв перед собой тяжелую могучую руку с тонкими holеными пальцами, медленно двигался старый Андрей Ермаков. И, точно медведь, лохматый и взъерошенный, прокатился перед столом шумный Гамов. Он упал в кресло, сжался в комок и, запустив одну пятерню в голову, другую в бороду, принялся рассматривать делегатов маленькими, колючими глазами.

Один за другим занимали места члены Совета ста, старые знакомые всей Республики.

Самое лучшее, самое талантливое, лучшие из лучших, цвет и гордость Страны советов — было представлено здесь, за столом.

Убеленные сединами, имеющие за плечами крупные заслуги, выдающиеся научные работы, они готовились отчитаться перед Республикой в работе и поделиться мнениями по различного рода экономическим вопросам, по вопросам быта, по вопросам культуры.

Наступила гулкая тишина.

Из-за стола поднялся и подошел к микрофону Максим Горев. Его магнетические, словно завораживающие зрачки блеснули под высоким, чистым лбом, затем пропали, утонув под тяжелыми и длинными ресницами.

Полтора миллиона человек встали и, точно ранее сговорившись, грянули «Интернационал».

Сессия открылась.

— Товарищи! — негромко обратился к присутствующим Горев. — Сегодня, вопреки традициям, Совет ста решил открыть сессию докладом по энергетическому вопросу.

Одобрительный гул взлетел под купол.

— Предоставляю слово Василию Иванову.

Из-за стола порывисто поднялся юноша лет 19.

Этот самый молодой член Совета ста, несмотря на свой возраст, был известен Республике как гениальнейший теоретик-энергетик. Его имя означало школу. Его работы с почтительностью встречались ученым миром СССР. К его мнению прислушивались. С ним считался весь коллектив. Его гениальность опрокинула традиции. Не имея даже 18 лет, он, вопреки установленному правилу, был выбран членом Совета ста.

Самым молодым, каких только видел Совет ста в своей среде, был до него Мюнценберг, попавший в Совет, имея за спиной 30 лет и 150 научных работ.

Юноша занял место Максима Горева.

Наступила немая тишина. Все глаза устремились на него. Вот тот, который должен был сообщить нечто необыкновенное.

Василий Иванов окинул зал спокойным взором и, не теряя понапрасну времени, приступил к докладу.

Он не умел говорить и впервые выступал с такой ответственной речью перед таким собранием. Тем не менее голос его был чист и звучен, и в нем не было заметно ни малейшей дрожи, когда он заговорил.

— Товарищи! Я выступаю здесь по поручению Совета ста. Я хочу познакомить вас с той работой, которую мы выполнили коллективно в области планирования дальнейшего развития нашего энергетического хозяйства. Мой доклад, таким образом, представляет собой суммированные данные коллективной работы Совета ста.

Он кашлянул, положил на пюпитр листки с цифровыми материалами и продолжал:

— Я отниму у вас пять минут для небольшой экскурсии в прошлое. После того как мы воспроизведем в памяти некоторые, весьма интересные цифры, мы с должной внимательностью познакомимся с нашим настоящим. Попробуйте представить себе конец девятнадцатого века с его нарождающимся энергетическим хозяйством...

В одном из хозяйственных графиков 1875 года вы легко можете обнаружить, что количество потребляемого каменного угля равнялось в тот год 260 миллионов. тонн... На этой цифре я попрошу вас задержать свое внимание.

260 миллионов тонн. Что может вызвать эта цифра, кроме иронической улыбки? Но крошечные 260 миллионов уже в то время вызывали среди ученых страх. Ученые той эпохи с карандашами в руках и с тревогой в сердце подсчитывали... Смешно, товарищи, но они подсчитывали, насколько хватит запасов каменного угля, если промышленность будет «пожирать» такие чудовищные, по тем масштабам, порции. После некоторых подсчетов ученые успокоились. Математические вычисления говорили о том, что запасов угля вполне достаточно на 10 тысяч лет, причем тут уж принималось во внимание также и постепенное увеличение потребления.

Теперь перешагнем через 20 лет и познакомимся с системой «постепенного» увеличения. Перед нами 1895 год.

В графике расхода угля стоит уже более почтенная цифра. В этом году мировая промышленность потребовала 526 миллионов тонн. Обратите внимание на научность прогнозов в этой области.

В 1870 году правительственная комиссия, после предостерегающих статей профессора Стенли Джевонса о необходимости экономии в расходовании угля, исчисляла угольные запасы Англии в 147 000 миллионов тонн, что при годовой добыче в 110 миллионов тонн должно было хватить на 1300 лет. Но уже в 1900 году добыча возросла до 220 миллионов тонн, а срок длительности его запаса упал до 650 лет. В 1913 году добыча возросла до 287 миллионов тонн, а время истощения запасов сократилось до 500 лет.

Можно ли говорить о тысячелетиях, когда уже в 1920 году мировое потребление угля равнялось одному миллиарду 300 миллионам тонн, возрастая с того времени чуть ли не с геометрической прогрессией.

Оставив на совести старых ученых серьезность прогнозов о сроках истощения угольных запасов, обратимся к статистике наших дней. Вот цифры, товарищи. За истекший год одной только промышленностью Страны советов потреблено около полутора миллиардов тонн*.

Цифра эта, товарищи, призывает нас к сугубой серьезности. Мы не можем, по примеру ученых девятнадцатого века, надеяться на тысячелетия. И даже на столетия уже не вправе рассчитывать мы. Опустошенный Донбасс, полуопустошенный Кузбасс сигнализируют опасность. Еще более серьезной становится эта проблема, если вы примете во внимание катастрофическое положение с нефтью. Ее запасы — исчерпаны. Нефти уже теперь не хватает. Сейчас мы вынуждены извлекать нефтепродукты из сапропелитов. Что это значит? Это значит, что через год, самое большее через два, нам придется перевести всю промышленность и весь транспорт на уголь и на его продукты. Но так как уголь служит в нашем хозяйстве не только в качестве топлива, то опасность становится совершенно реальной.

---

* Мировые запасы каменного угля были равны в 1920 г. 5 800 000 миллионов тонн.

В этом году мощность механических двигателей, потребляющих твердое и жидкое топливо, равняется 700 миллионам лошадиных сил. Иначе говоря, в Стране советов работает на угле и нефти почти в два раза большее число двигателей, работавших в 1930 году во всем мире.

В ближайшее десятилетие количество механических двигателей, по предварительным подсчетам, должно увеличиться ровно в два раза. Если к нашим запасам топлива придвинется новый рот, обладающий такими же крепкими челюстями, то опустошение угольных бассейнов ускорится ровно в два раза. Только на тридцать лет хватит наших топливных запасов и то последнее десятилетие будет питать свои двигатели остатками когда-то мощного Норильского угольного бассейна.

Только тридцать лет, товарищи, отделяют нас от катастрофы. И мы, присутствующие здесь, в большинстве своем будем свидетелями разорения и промышленного паралича страны.

Жизнь замрет. От социализма мы в несколько месяцев перейдем к временам каннибализма...

Сегодняшняя сессия — историческая. Сегодняшний день должен создать мощное движение коллектива против надвигающейся опасности. Эта сессия должна положить конец дальнейшему росту силовых установок, работающих на твердом и жидком топливе. Эта сессия должна положить начало внедрению в промышленность и транспорт новых двигателей, пользующихся солнцем, водой, ветром.

Страна, весь коллектив обязаны направить все силы к отысканию новых источников энергии. Работы в этой области следует окружить особым вниманием, особой атмосферой. Все излишки ценностей надлежит перебросить на лабораторные изыскания. Каждая новая идея в вопросах энергетики должна обрастать армией исследователей-лаборантов.

Чего мы можем ожидать и на что мы можем надеяться в этой области? Обратили свои взоры, прежде всего, на могучий источник энергии, на Солнце.

По подсчетам старого ученого Сванте Аррениуса, излучение солнца на земную поверхность составляет 530×10^{18}

больших калорий, что эквивалентно 76 000 миллиардов тонн условного 7000-калорийного топлива. Если бы мы могли использовать эту солнечную энергию, она обеспечила бы непрерывную работу (в течение круглого года) паровым двигателям суммарной мощности 10 000 миллиардов лошадиных сил. Иначе говоря, это было бы в 15 000 раз больше того количества лошадиных сил, которые выполняют сейчас почти $^7/_8$ работы нашей Республики, пожирая в виде благодарности твердое и жидкое топливо. Если бы нам удалось запрячь в работу хотя бы тысячную долю излучаемой энергии, мы могли бы надолго прекратить обсуждение вопросов энергетики. Да и нашим правнукам, пожалуй, не пришлось бы ломать головы по этому поводу. Но вся беда заключается в том, что серьезно заняться превращением солнечной энергии в механическую мы можем только в Туркестане.

Печально?

Конечно, товарищи. Но ничего не поделаешь. Приходится считаться с данными. Но более всего печально, наше недостаточное строительство солнечных двигателей в Туркестане. По статистическим данным, количество таких двигателей в этой части Республики достигает лишь 1500 штук, при чем из них 1300 заняты в сельском хозяйстве. Эти в большинстве своем 100-сильные двигатели приводят в движение паровые машины, которые за 10 часов работы орошают около 400 тыс. га хлопковых плантаций. И только 200 солнечно-эфирных двигателей, т. е. таких двигателей, в которых вода заменена эфиром, закипающим при более низкой температуре, только, повторяю, 1200 двигателей обслуживают промышленность. А между тем, по моим подсчетам, солнечная энергия, излучаемая на поверхность Туркестана, могла бы (будучи превращена в механическую энергию) приводить в движение всю промышленность СССР. И вот этот самый Туркестан без всякого стыда и совести питается углем и нефтью. Сессия должна сказать:

— За эти три года Туркестан обязан перевести всю свою промышленность на питание от солнечно-эфирных двигателей. (*Бурные аплодисменты.*)

Докладчик подошел к другому микрофону и громко сказал:

— Алло! Алло! Говорит сессия. Туркестану вменяется в обязанность начать перевод промышленности на питание от солнечно-эфирных двигателей.

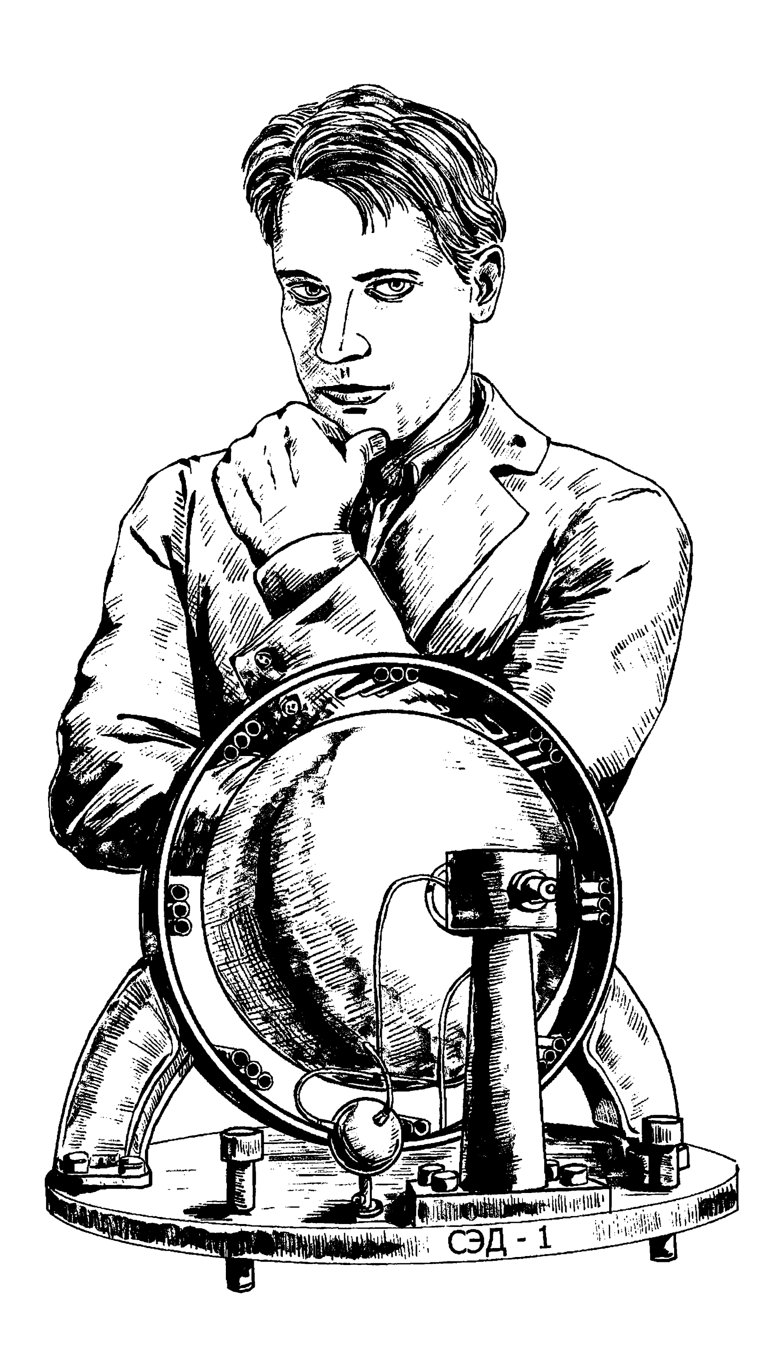
Возражения по этому вопросу присылать не позже, как через час. В пятнадцать часов, если не последует нового распоряжения сессии, приступить к организации подготовительных работ.

Заняв прежнее место, Василий Иванов продолжал:

— Что касается использования водных сил СССР, так здесь вопрос можно считать исчерпанным. Все, что можно было сделать в этой области, сделано. Какие бы то ни было дальнейшие работы я считаю бесполезными. Другое дело — сила воздушных течений. Сейчас по всему СССР насчитывается не более 5 тысяч ветросиловых двигателей. Много это или мало? До обидного мало, товарищи. Когда бы мы поставили ветер на службу промышленности, он смог бы дать энергию, получаемую от сгорания 69 миллиардов тонн угля. Но здесь предстоит огромная работа. Существующая система ветросиловых установок не может удовлетворить нас. Мощность цилиндрических двигателей типа Флеттнера в лучшем случае достигает 500 лошадиных сил, но в большинстве своем они не развивают даже и этой мощности. Помимо того, обращает на себя внимание и область применения ветросиловых установок. Мы не должны ограничиваться работой этих установок в одном только сельском хозяйстве. От обслуживания в сельскохозяйственной индустрии нам следует перейти также к обслуживанию основной индустрии. Ветер — на службу индустрии. Вот что должно стать лозунгом ближайших дней. Не меньшее значение следует уделить темпе-ратуростанциям. *(Бурные аплодисменты.)*

Иванов поклонился:

— Я рад, что работа в этой области встречает ваше одобрение, но, право, сам я только ввел некоторые частичные усовершенствования и имел счастье руководить постройкой


СЭД - 1

пяти температуростанций*. Что же касается самой идеи, она стара, как мир. Так вот. Я говорю, что не меньшее значение следует уделить температуростанциям.

60 процентов Арктики является достоянием СССР, 60 процентов арктической энергии находится в нашем энергетическом хозяйстве. Но, к сожалению, использование этой энергии начато только недавно и применяется, главным образом, в добывающей промышленности. Тут нам необходимо добиться полного и безоговорочного перевода всего Полярного края с его промышленностью и хозяйством на исключительное питание от температуростанций.

Докладчик перевел дыхание, окинул зал спокойным взором.

— Здесь я хочу сделать небольшое отступление... Я должен напомнить вам, товарищи, что у нас в Республике вот уже несколько лет как начаты изыскательные работы в области передачи энергии по радио. В лабораториях Союза бьются над этой проблемой тысячи ученых. Но их работы мы еще не окружили должным вниманием и той любовной атмосферой, которая способствовала бы плодотворной деятельности этих ученых.

Мы заботимся о поддержке товарищей, занимающихся литературой, живописью, музыкой, скульптурой и халатно

---

* Идея использования нового вида энергии заключается в том, что охлажденная до 0 град. вода из-под ледяного покрова морей, озер и рек выпускается по трубам в кипятильник, в котором находится жидкий бутан (температура кипения которого минус 17 градусов). Вода при 0 или 1 градусе является сильно разогретым телом по отношению к изобутану. При соприкосновении с ним вода замерзает, отдавая свою скрытую теплоту плавления. Эта теплота составляет на 1 куб. метр воды такое же количество тепла, какое дает при сгорании 10 кило угля. Пары бутана попадают в турбину и после этого конденсируются в конденсаторе, охлаждаемом или смесью льда и соли прямо из океана, или искусственной смесью льда рек, озер и соли. При установке станции на 10 тыс. лошадиных сил каждая сила стоит около 85 руб., в то время как гидроэлектрическая установка обходится в 300 руб. на силу. 20 тонн бутана (весьма дешевый продукт нефти) могут обеспечить работу температуростанций при мощности в 30 000 лошадиных сил, причем снабжение станция бутаном производится только один раз, так как процесс его перегонки идет непрерывно: отработанные пары бутана охлаждаются в жидкость, опять поступают в котел и т. д.

относимся к проблемным, научным работам. Я, конечно, не враг искусства. Но, товарищи, сейчас необходимо позаботиться о том, что дает жизнь этому искусству, без чего искусство существовать не может.

Арпеджио? Сонаты? Колорит? Линия? Все это прекрасно. Все хорошо. Но... нельзя заниматься этим до бесчувствия.

Если ты композитор, — тебя чуть ли на руках не носят, а человеку, занимающемуся научной работой, предоставляют все, что ему нужно, кроме духовной поддержки. И для того, чтобы такой человек заслужил внимание коллектива, ему нужно обязательно довести свою работу до блестящих результатов, до конечных целей. Тогда его подхватывают на руки, осыпают похвалами, разрывают на части...

Так не годится делать. Такая нечуткость может кое у кого отбить охоту к работе... С какой стати я буду гнуть спину в лаборатории, если моя работа не привлекает к себе внимания коллектива? Значит, я работаю впустую? Значит, я какой-то маньяк? Значит, мне следует лечиться?

Головотяпство, товарищи! Безобразие! (*Бурные аплодисменты.*)

Совет ста, конечно, не может заставить людей делать то, что им не нравится. Он обращается к здравому смыслу коллектива. Он призывает вас уделить внимание, равное тому, какое вы уделяете искусству, нашим ученым и особенно тем из них, кто сейчас работает в области энергетики. (*Бурные аплодисменты.*)

— Лицом к лаборатории! — вот лозунг дня.

Докладчик кашлянул.

— Я сказал, что тысячи ученых заняты сейчас разрешением проблемы передачи энергии на расстояние. Если мы добьемся удачи, мы покроем густой сетью температуростанций Арктику и солнечно-эфирными двигателями Туркестан. Эта энергия могла бы обеспечить работу промышленности и транспорта, превосходящих нашу промышленность и транспорт в сотни раз*.

---

* Передача энергии по радио фактически существует и сейчас, но передается она в крайне ничтожных количествах, достаточных только для беспроволочного телеграфирования и телефонирования. Проис-

Не меньшее значение имеют также работы по извлечению электрической энергии из света. Эта идея основана на том, что солнечный свет производит так называемые фотохимические процессы, из которых некоторые обратимы, т. е. могут идти в темноте в обратном порядке. Такими свойствами обладают, например, хлористое железо и сулема. Если после действия на них света их поместить в темноту, то получившиеся из них при действии солнца каломель и хлорное железо снова превращаются в хлористое железо и сулему и затраченная на превращения при свете солнечная энергия освобождается в виде электрического тока.

Заслуживают внимания работы по извлечению энергии из воздуха. Интересны опыты использования ультрарентгеновских лучей, несущихся из мирового пространства. Значительна практическая попытка Павла Стельмаха получить для движения энергию из солнечных аккумуляторов.

Докладчик упомянул о начатых на севере работах по сооружению электростанций, получающих энергию от движения громадных масс воды в виде приливов и отливов, развернул перед сессией план реконструкции энергетического хозяйства и затем закончил свою двухчасовую речь словами:

— Мы должны форсировать реорганизацию силовых установок. Мы должны свертывать производство машин, обслуживающихся твердым и жидким топливом, и одновременно с этим нам следует подготовить промышленную базу для снабжения Арктики и Туркестана новыми видами силовых установок. Работам лабораторного характера следует придать более широкий размах. Ученых, работающих над проблемами энергетического хозяйства, поставить в самые благоприятные условия.

Совет ста призывает страну встать лицом к энергетике, к ученым и лаборантам.

А теперь разрешите, товарищи, объявить перерыв.

ходит это вследствие того, что радиопередатчик передает свою энергию по всем радиусам шара, так что в один какой-нибудь пункт попадает ничтожное количество энергии.

* * *

Прошло пять минут.

Страна советов была погружена в молчание.

Люди на радиобашнях бесстрастно направляли по радио в далекие порты караваны судов с грузами.

Молниеносно мчались из одного конца Страны советов в другой воздушные поезда.

Сверлили воздух сотня тысяч дирижаблей и самолетов. На горных вершинах бесшумно двигались тысячи телевоксов — регистраторов метеорологических станций.

В промышленных кольцах размеренным ритмом дышали турбины, генераторы, дремали динамометры, термоэлектрические пирометры, поляризационные аппараты, маномикрометры, газоанализаторы, реостаты, сдержанно шумели миллионы машин, сновали приводные ремни, судорожно дергаясь, тянулись ленты конвейеров, мелькали маховики, сияли никель, медь и сталь.

Мощные буры вгрызались в теплые недра земли.

Сады клонились под тяжестью плодов.

В полях гудели машины.

Прошло еще десять минут и вдруг репродукторы взорвали тишину ревом:

— Алло! Алло! Говорит сессия. Разрешите считать доклад по энергетическому хозяйству одобренным. Основные положения доклада и план реконструкции энергетики получают значение общественно полезной работы.

Василий Иванов отошел от микрофона.

Из-за стола поднялся Христофор Лямин, но в это время зашумел огромный двусторонний репродуктор, укрепленный на задней стене.

— Алло! Алло! Говорит метеорологическая станция Северного полярного полюса. У микрофона — Натан Африк. Серьезные причины помешали мне выступить своевременно. Приношу извинения. Алло! Алло! Я хочу, товарищи, сделать серьезное предупреждение. Я хочу предостеречь товарищей от увлечения строительством солнечно-эфирных двигателей. Помимо этого, я предлагаю изыскательные работы в области получения новых источников энергии, по возможности, не

связывать с солнцем. К этому выступлению меня толкают мои тридцатилетние работы астрономического характера.

Я убедился в том, что каждая звезда, проходя главную последовательность своего развития, уменьшается в массе в несколько десятков раз: это таяние материи внутри звезды и служит главным источником ее тепла. Солнце, как и все остальные звезды, также теряет свою массу. Медленно, но неуклонно оно сокращается в объеме, ослабляя при этом силу притяжения.

При таком положении вещей наша Земля и все планеты Солнечной системы вот уже тридцать лет как постепенно удаляются от солнца. В один прекрасный день мы можем уйти от него в мировое пространство.

Встретим ли мы там новые солнца? Говорить об этом я воздержался бы. Но уже во всяком случае солнечно-эфирные двигатели были бы для нас бесполезными, как и машины, приспособленные к питанию солнечной энергией и светом. Опасность эта весьма отдаленная, но лучше будет, если мы толкнем исследовательскую мысль в противоположном направлении.

Иванов пожал плечами. Быстро встав из-за стола, он подошел к микрофону.

— Алло, товарищ! Вопрос идет о трехлетнем плане строительства.

— Я слышал! И по существу не возражаю.

— Твое пожелание Республика слышит.

— Алло! Больше я ничего не хочу сказать.

* * *

Три дня сессия прорабатывала с представителями клубов остальные вопросы жизни Страны советов. Один за другим появлялись на трибуне делегаты сессии, зачитывая наказы клубов.

— От имени Клуба химиков прошу перенести писчебумажные фабрики из Карелии в Сибирь, лесные же массивы Карелии закрепить для лабораторий лесохимии. (*Аплодисменты.*)

— Клуб химиков благодарит за внимание.

На трибуне появился новый делегат:

— От имени Клуба ихтиологов передаю в распоряжение Республики озера северо-западной части Мурманской области. Опытные работы по обследованию этих озер закончены. Можно приступить к их эксплуатации. Клуб ихтиологов просит на три месяца прекратить какое бы то ни было передвижение и рыбную ловлю в Кандалакшской губе. (*Аплодисменты.*)

Делегаты сменяют один другого.

— От имени Клуба физиков...

— Клуб математиков просит...

— От Литературного клуба...

— Клуб медиков...

— Клуб геологов...

— Биологов...

— Философов...

— Астрономов...

— Инженеров...

— Художников...

— Композиторов...

Три дня шли представители клубов Страны советов. Три дня с трибуны зачитывались наказы. Наконец перед микрофоном появился круглый, толстый человек с сияющей лысиной, с розовыми щеками. При виде его Молибден подскочил в своем кресле и превратился в вопросительный знак. Круглый, толстый человек крикнул в микрофон:

— От имени Звездного клуба я прошу настоящую сессию включить в план общественно полезных работ постройку нового звездоплана С2. (*Бурные аплодисменты.*)

Молибден сорвался с места. Подбежав к микрофону он закричал:

— Что это? В бирюльки мы играем? Республика стоит перед энергетической катастрофой, а мы будем бросать коллектив в лихорадку из-за нелепых бредней. Вспомните, что делалось перед полетом С1. Люди бросали работу, говорят, было даже несколько случаев, когда в распределителях рабсилы счетчики работали вхолостую. Я спрашиваю вас, вы понимаете, чем является ваше согласие в данном случае?

Потеряв обычное хладнокровие, Молибден метался перед микрофоном, точно спущенный с цепей ураган. Размахивал руками, задыхаясь от негодования, приводил тысячи доводов против работы Павла, но получасовая, гневная речь его не вывела делегатов из равновесия. Он окончил свою речь при гробовом молчании.

К микрофону подбежал Коган:

— Товарищи... Я присоединяюсь к голосу благоразумия... Довольно, товарищи... Пусть Стельмах сначала подработает проект звездоплана... Рисковать своими товарищами мы не можем. Хватит и одной катастрофы...

Сессия молча проводила и Когана.

— Мы будем апеллировать! — проговорил Молибден.

— Пожалуйста! — заулыбался толстяк.

Он подошел к столу, повернул эмалированную рукоятку. Со стен поползли вниз репродукторы.

— Товарищи! — повернулся он к микрофону. — Два члена Совета ста, как вы слышали, протестуют. Они апеллируют к вам. Присоединяетесь ли вы к просьбе Звездного клуба?

Репродукторы затрещали аплодисментами.

— Нет ли товарищей, разделяющих мнение Молибдена и Когана?

Несколько секунд длилось молчание, затем из репродукторов послышались крики:

— Долой!

— С2!

— С2!

— Да здравствует звездоплан!

Тогда в наступившей тишине прозвучал голос:

— Ты стареешь, Молибден! Ты отстаешь от эпохи!

Это был голос Павла.

Глава одиннадцатая

— Ты рад?

— Разве этим словом можно выразить мои чувства?

Кира промолчала.

— Я готов обнять весь коллектив, — сказал Павел, размахивая руками. — В тот момент, когда репродукторы городов кричали «да здравствует звездоплан», я чуть не расплакался.

— Коллектив проявил величайшую чуткость! — усмехнулась Кира.

— Да, да... Но как же могло быть иначе?

— Ты в этом не сомневался? — снова усмехнулась Кира.

— Никогда! — с жаром воскликнул Павел, но тотчас же спал с тона, почувствовав некоторую неловкость.

— Конечно, вообще... я и сам не верил тому, что говорил. Знаешь, Кира... Едем вместе?! А?

— Ты полагаешь, что я могу быть полезной?

— Ты? — вскричал Павел. — Конечно да!

— Я сама хотела тебя попросить об этом.

— Чудесно! Ты увидишь, какая это изумительная работа. Ты будешь бредить так же, как и я. Разве не обидно видеть человека прикованным к земле, как был прикован Прометей к скале!

Вокруг лежат миллионы миров, а ты живешь, точно на косточке от апельсина, и не смеешь двинуться ни на один сантиметр. Одна только мысль о том, что мы сидим в клетке, сводит меня с ума. Не зная, что там, я все же почему-то верю в прекрасное тех миров. Мы разрушим цепи. Освободим человечество, привязанное к Земле. Человек станет владельцем всей Вселенной!

— Если я буду полезной...

— Будешь, будешь...

Вспомнив что-то, Павел кинул на Киру подозрительный взгляд:

— А твоя просьба — не часть программы действия... того письма?

— Ты не забыл его? — покраснела Кира.

— Я шучу. Я сам предложил тебе сотрудничество.

— А я согласилась при условии, если я буду полезной.

— Ты будешь полезной! — уверенно сказал Павел.

* * *

Стельмах оказался прав.

С первых же дней работы в Ленинграде Павел мог убедиться, каким действительно полезным сотрудником стала в его работе Кира.

Правда, она занималась главным образом теоретической подготовкой и временно как будто не принимала участия в общих работах, но ее присутствие непонятным образом влияло на темпы строительства, на бешеную работоспособность Павла, который носился метеором из лаборатории в эллинг, из эллинга на заводы, успевая забежать к Кире и хоть минуту поговорить с ней.

Через несколько дней после начала работ прибыл Шторм.

Передав ему организационную сторону дела, Павел теперь не выходил из эллинга по целым дням, но для руководства подготовкой Киры у него все же всегда находилось время.

Вечерами они иногда бросали работу и после ужина отправлялись колесить по Ленинграду, вдыхая гул этого огромного города, безудержно болтая о предстоящем полете или ни с того ни с сего распевая песни. Уставая от осторожности в потоках авто, наполненных поющими, кричащими людьми, они выбирались из машинного месива на широкое шоссе и мчались в пригороды.

Однажды Павел предложил совершить прогулку по береговому шоссе.

Был тихий ленинградский вечер. Взморье горело тысячами корабельных огней. Далекие прожектора шевелились на горизонте. Земля была в тени, небо светилось; в нем зацветали звезды.

За Стрельной Павел остановил авто. По шуршащему гравию они пошли к воде. Кира села на камень.

На взморье гремели песни. Вдали в зыбком тумане поднимались огненные террасы Кронштадта. Тихие волны плескались о берег.

Кира запела старую песню о кораблях, уплывающих в далекие гавани.

Печальная и простая мелодия полетела над темной гладью залива, теряясь в ночи. Она пришла издалека, из старого мира, опять уходила неведомо куда. Ее печаль волновала; под видимым ее спокойствием чувствовалась приглушенная тревога.

Затаив дыханье, Павел не шевелился, похолодев от волнения. И в этот миг внезапно он понял все, что так тщательно скрывал от холодного, анализирующего разума. Он понял: пришла любовь, и эта девушка на камне имеет такое высокое имя.

* * *

Не сказав друг другу ни слова, они вошли в тревожный и радостный мир. Они наблюдали друг за другом, желая и боясь один другого. Они прятали чувства, но в каждом движении, в рукопожатии, в пустых и незначительных словах сквозил особый смысл, понятный только им.

Павел не прикасался к земле. Розовый океан качал его. Густая кровь с шумом переливалась в нем.

Он носился теперь по эллингу и орал песни, путая мелодии, вставляя вместо забытых слов свои, придуманные тут же. Отделенный от нее стенами эллинга, он чувствовал ее присутствие, ощущал ее дыханье, слышал, как бьется ее сердце.

Да, это была любовь.

Это была любовь, единственная в жизни людей прекрасной эпохи, вливающая в человека радость и силы*.

Они молчали, но встречаясь друг с другом, они понимали все, что говорили им глаза. Настоящая любовь не знает слов.

---

* О любви. Во-первых, это не то, что принято называть любовью у нас. Это не стыдливый блуд людей, отравленных алкоголем, никотином, придавленных мелочными заботами. Любовь будущего — могучее человеческое чувство, соединяющее равных. Сейчас хихикая рисуют отвратительные картины повального блуда в будущем обществе. Занимаются этим делом преимущественно люди с жалкими чувствишками, чья любовь похожа на омерзительный плевок. Подлинная, высокая любовь есть радостный удел мужчины и женщины социалистического общества.

Пустые человечьи слова бессильны передать то, что хочется говорить, когда любишь.

— Я хочу, — как-то сказала Кира, — начать работу. Я считаю, что теорий для меня достаточно.

Она стояла перед планшетом, исчерченным расчетом давления встречного потока. Темные волосы облаком качались перед доскою, и слева всплывала сложная формула:

$$D = \frac{C_k^{\;2}}{2y} \Pi_{\Lambda_1} \left(\frac{D}{D} \right) A : (1 + A).$$

Следующее движение головы открывало в правой стороне решение:

$$D = \frac{\Pi_{\Lambda_1}}{2y_3} A + 1 \left(\frac{C_k^{\;2A+2}}{D_1 A} \right).$$

— Я хочу работать с тобой!

Но деловые слова кричали Павлу другое:

«Ты видишь все. И я знаю: ты любишь меня. Скажи что-нибудь...»

— Кира! — с пересохшим горлом сказал Павел.

Она схватила его за руку.

— Помнишь письмо?.. Прочти его!

Она достала из кармана памятный конверт. Перед глазами Павла мелькнул белый листок и неровная единственная строка.

Мир зазвенел, качнулся, буквы запрыгали, сплетаясь в слова, которые было странно видеть.

«Податель — твой будущий муж, Павел Стельмах.

Молибден».

— Кира?

— Не надо, Павел...

* * *

Работы подходили к концу. Тысячи добровольцев считали за счастье работать в эллинге под руководством Павла. Шторм не посылал требований на рабсилу в статотдел. Он

вынужден был в последнее время обороняться от напирающей армии добровольцев, которые требовали допустить их к работам на том основании, что одни из них были физики, другие члены Аэродинамического клуба, третьи оказывались астрономами, и, наконец, находились такие, которые, ни с кем не говоря, пытались проникнуть в эллинг.

Как и предсказывал Молибден, Страна советов «сходила с ума». Миллионы людей справлялись по нескольку раз в день: «В каком состоянии С2?» Когда же Шторм выключил все приемники, то Петроградская сторона, где помещался эллинг, превратилась во всесоюзный центр автомобильных аварий. В необычайной машинной свалке трещали крылья, гнулись карбюраторы, ломались шасси.

Павла ловили на каждом шагу, останавливали сотни умоляющих глаз, просящие голоса гудели в ухо:

— Могу я рассчитывать?.. Хотя бы только туда... Там бы я мог подождать...

— Я мастер на все руки. Ты бы не раскаялся, если бы взял меня...

— Я отниму самый крохотный уголок в звездоплане...

Со всех концов Страны советов стали прибывать школьники, которые «ничего не хотели».

— Только взглянем разок на С2 и на Павла и — до свидания. Вы нас больше и не увидите.

Павел вынужден был обратиться к Советам с просьбой.

— Товарищи! — взмолился Павел по радио. — Дайте работать. Я очень благодарен за оказываемое внимание, но, простите, ведь так нельзя. Вы же мешаете мне!

Просьба подействовала. Павла перестали осаждать на месте работы, но стоило ему появиться на улице, как шепот возникал сзади и тянулся за ним, как пышный шлейф.

— Право, ты мог бы меня взять...

— Так как же, а?

— Прийти мне, что ли? Павел?

* * *

Вечером в конце последнего дня первой декады работы были закончены.

Звездоплан С2, точная копия печального предшественника, только значительно больших размеров, тускло сиял под крышею эллинга. Это был огромный, похожий на поставленный вертикально дирижабль, металлический корпус, усеянный блиндированными створками окон. Широкие раструбы дюз охватывали звездоплан снизу могучими объятиями.

Последний вечер работы в эллинге Павел и Кира провели на крыше отеля.

Крепко сжимая друг другу руки, они молча смотрели на город, как бы прощаясь с ним.

Что ждет их в ближайшие дни? Быть может гибель?

Куда? В какой неожиданный мир забросит их сила разума?

Боясь проронить слово, они сидели, вдыхая влажный воздух Земли, прислушиваясь к яростному гулу Страны советов.

Люди мчались по земле и по воздуху, стояли у машин, шумели в театрах, пели, любили, смеялись. Знакомый, простой и понятный, любимый мир клокотал вокруг, точно вспененный ураганом океан.

А там?

— Павел!..

— Полет назначен на первый день четвертой декады. Ты это хотела спросить? Ты счастлива?

— Павел, какая все-таки смелость! Как велик человек!

Она вздохнула и безмолвно прижалась щекой к его горячему лбу.

— Кира!..

— Мне пришла сейчас мысль... Если бы мы жили во времена инквизиции, святые отцы непременно сожгли бы нас. За дерзость, за вторжение в непонятное. Сожгли бы во имя святого страшного христианского бога.

— «Милостивого и всеблагого»!..

— «Имя которому — любовь»!..

Они замолчали.

С Балтики летели ветры. Внизу шумел город. Полыхающее зарево огней поднимало ночь высоко над кварталами.

— Пройдет несколько дней, и мы ворвемся в историю Вселенной, — засмеялась Кира.

— А когда мы вернемся, — подхватил Павел, — всемирная история превратится в скромную историю Земли.

— История миров только начинается... И это мы, Павел, такие простые и несложные, откроем первую страницу...

Она потянулась к мерцающим звездам.

— Когда миры будут населены, Вселенную прорежут сигналы разумных созданий. Планеты станут перекликаться между особой, и в этом пространственном мире мы будем жить... Мы никогда не умрем, Павел.

— Это — бессмертие, к которому так тщетно стремилось человечество.

* * *

До полета оставалось несколько дней.

Павел производил поверочные испытания. Шторм нагружал междупланетный корабль продуктами, теплой одеждой, приборами, снарядами.

Однажды во время работы в эллинге за стенами послышался шум.

— Опять гости!? — недовольно поморщился Павел.

Шторм, засучив рукава, пошел к воротам.

— Я тихий и кроткий, — зарычал Шторм, — но сейчас вы видите нечто необычайное для социалистического общества...

С грозным видом он подошел к блиндированным створкам, откинул в сторону засов и пропал в темноте.

— Без глупостей, Шторм! — закричал Павел.

Он кинулся к выходу.

— Шторм!

— Ну, что тебе? — сконфуженно пробормотал Шторм, появляясь в эллинге.

За спиной Шторма, всплыли знакомые лица.

— Представители Совета ста! — угрюмо сказал Шторм.

К Павлу подошел Василий Иванов и протянул руку.

— Здравствуй, товарищ!

— Здравствуй, Василий!

Потянулись руки Максима Горева, Бомзе, Прохорова, Андрея Ермакова, Фиры Скопиной. Павел насторожился.

По смущенному виду членов Совета ста он заметил, что они пришли с плохими вестями.

Волнение охватило Павла широкими лихорадочными руками.

— Полет?.. — рванулся Павел.

— Завтра ровно в 12 часов!

— Ну, так что же!.. Да не тяните?! Говорите, что еще придумал Молибден!

— Мы, — сказал Максим Горев, — хотим познакомить тебя с некоторыми пожеланиями Совета ста. После долгих размышлений...

— ...и настойчивых просьб Молибдена...

— ...мы решили, — пропустил Максим мимо ушей реплику Павла, — просить тебя остаться.

— Вы не имеете права! — закричал Павел. — Моя работа одобрена всем коллективом.

— Не горячись! Выслушай сначала... Как я сказал, полет состоится завтра, ровно в 12 часов. Но...

— Но?

— Но прежде, чем ты оставишь Землю, ответь на несколько вопросов.

— Охотно!

— Ты уверен в том, что твоя работа завершится успехом?

— Через несколько дней С2 достигнет Луны. За это я могу отвечать. В это я верю твердо.

— Мы хотим верить тебе.

— Еще что?

— Веришь ли ты в то, что тебе удастся оторваться от Луны и вернуться на Землю?

Павел смутился:

— Я... надеюсь.

— Но...

— Честно говоря, я не могу ничего сказать по этому вопросу.

— Прекрасно! Теперь представь себе, что ты и твои спутники — Шторм и Кира — попадаете на Луну, но, увы, не можете вернуться на Землю.

— Мы погибнем ради человечества.

— И только-то?

— На смену нам придут другие люди.

— И тоже погибнут?..

— Это необязательно. Они могут достичь успеха.

— Тебе, конечно, хотелось бы именно этого?

— Да, хотел бы успеха.

— В таком случае, ради чего ты должен погибать?

— Я не собираюсь...

— Но допустим... Ты же сам сказал, что обратный полет с Луны на Землю — проблема скорее теоретического характера, чем практического.

— Что вы хотите?

— Мы хотим, чтобы ты остался на Земле. Первый полет совершат Шторм и Кира. Если же им не придется вернуться, ты должен быть здесь, среди нас, и оказать им помощь.

— Но если я, Кира и Шторм попадем в безвыходное положение, разве вы не окажете нам помощи? Построить второй звездоплан не представит ведь никакой хитрости. Чертежи остаются на Земле.

— Если звездоплан, сконструированный по первым чертежам, потерпит неудачу, так почему должен добиться успеха второй? Не чертежи ты должен оставить здесь, а свою творческую мысль, которая могла бы внести изменения в новые конструкции, которая добилась бы полного разрешения выдвинутого техникой вопроса. Ты хочешь погибнуть? Погибай! Мы не в праве насиловать твою волю. Но вспомни: ты вырос в коллективе, коллектив дал тебе все, что ты сейчас имеешь. Коллектив надеется, что ты, один из лучших среди нас, разрушишь наконец это проклятое пространство. И вот в тот момент, когда мы все стоим на пороге величайших открытий, какие только знало человечество, ты... ты...

— Можешь не выбирать слова.

— Выбирай из них те, которые самому тебе кажутся подходящими.

— Да. В тот момент, когда мы стоим на пороге Вселенной, я говорю коллективу: товарищи, путь открыт. Через месяц я вручу вам ключи от мироздания.

— Или погибну?

— Ну и что же?

— Начнем снова. Ты и твои друзья — наши лучшие товарищи — погибнете. А коллектив?

— Начнет все снова.

— Значит, новые десятилетия будут убиты на изыскательные работы, значит, новые ошибки создадут новые катастрофы?..

Павел прикусил губу.

— Ты молчишь?

— Павел! — сказал Андрей. — Ты нужен нам для того, чтобы мы могли довести начатое дело до конца.

— Я не знаю, — нерешительно сказал Павел, — не знаю, чего добивается Молибден... Но я отдаю ему справедливость, он заставляет меня действовать против самого себя.

— Подумай, Павел, — сказала Фира Скопина, — с твоей гибелью — допустим худшее — мы не только потеряем ценного сотрудника коллектива, но потеряем мы также десятилетия из нашего скупого времени.

— Но почему меня не удерживали, когда мы летели с Феликсом?

— Именно эта катастрофа и заставляет нас удерживать тебя теперь. В то время мы верили в тебя больше. Но... ты сам мог убедиться, что кроме точности расчетов существуют непредвиденности, которые не входят в расчет.

Павел опустил голову. Все, что говорили ему, было логично, но, чувствуя за разумными доводами руку Молибдена, он начинал беситься.

— А если я откажусь?

— Тогда ты должен вернуться победителем.

— Верит ли он в это? — сказала Фира.

Павел молчал.

Он с тоскою взглянул на детище своей жизни, на сияющий металлом С2, который дремал посередине эллинга.

Взор его скользнул по отполированной поверхности и остановился, споткнувшись на белой фигуре.

Это была Кира.

Опираясь на сияющий бок звездоплана, она стояла, прижав руки к груди. Лицо ее было бледно. Открытые глаза смотрели на Павла.

— Кира?

— Ты должен остаться, — сказала она, — они правы.

Павел повернулся в сторону членов Совета:

— Значит, вы правы, товарищи. Я остаюсь. Но передайте Молибдену: историю делает история, и отдельным лицам еще никогда не удавалось повернуть ее. Скажите ему — этому человеку, оставленному у нас старой эпохой — скажите ему: мы другие. Он плохо знает нас. То, что могло удержать человека когда-то, — сейчас уже не удержит. Он знает, о чем я говорю... Скажите ему, что он напрасно...

Не имея сил говорить, Павел закусил губу.

Глава двенадцатая

И вот как будто все это было тысячи лет назад. Рев толпы, мелькнувшее бледное лицо Нефелина, крики, музыка, горячие, торопливые губы Киры, крепкое до боли рукопожатие Шторма, взрыв и... нечеловеческая усталость.

Точно туман, поднимались из глубины сознания события вчерашнего дня, обволакивая липкой и вязкой массой волю, мозги, сердце.

Бледный и осунувшийся, Павел провел всю ночь на крыше отеля, бесцельно шаря глазами по звездам.

Взволнованное человеческое море плескалось у его ног. Репродукторы передавали через каждые пять минут депеши обсерваторий, наблюдавших за полетом С2. Но ко всему этому он оставался безучастным.

Рассвет застал его, одинокого, погруженного в сон... на ковре аэрария.

* * *

Прошло несколько дней.

Опустошенный и разбитый Павел бродил по крыше отеля, как тень, ни о чем не думая, ничем не интересуясь. Наконец голод пробудил его к жизни. Он вспомнил, что с того дня, как С2 отправился в межпланетное пространство, он ничего не ел.

Надвинув шляпу, он спустился вниз. Прижимаясь к стенам домов, он шел, точно глухой, машинально передвигая ноги.

Началась его новая жизнь, которая была похожа на медленное пробуждение от глубокого сна. Он ел, спал, слушал музыку, читал и наконец как будто приобрел некоторое равновесие.

Завернув однажды во время бесцельной прогулки по городу в распределитель и увидев требование на рабсилу в Статотдел, он вспомнил о своем давно забытом желании поработать в качестве статистика.

«Я говорил ей об этом!» — мелькнуло в голове Павла.



Он переставил номер и вышел.

Не снимая шляпы, он вошел в Статистическое управление в единый для всей Страны советов час смены и, остановившись перед первым столом, сказал глухо:

— Сменяю!

— Ты уже работал по статистике?

— Нет. Объясни мне.

— Смотри сюда. И постарайся быть внимательным. Этот стол самый ответственный. Если ты напутаешь, получатся большие неприятности в стране. Те ряды столов, которые находятся впереди тебя, принимают заявки на машины, на продовольствие, на одежду, на предметы искусства, на обувь, на мебель, на сырье, на полуфабрикаты.

Заявки эти группируются, из них выводят графики потребления и итоги отсылаются в Центральное статистическое управление. Затем уже в сгруппированном виде заявки поступают к тебе на стол.

Видишь эти карточки? Читай.

Павел безучастно взглянул на белые куски картона.

«Лен. область. Островки. Агрогород. Фрезмашин — 17. Пересадочных машин — 3. Микроскопов — 1».

«Лен. область. Чудово. Роялей — 150. Телевоксов — 200. Клюквы — 1 вагон».

«Лен. область. Псков. Промышленное кольцо. Нефти — 5000 тонн. Угля — 5000 тонн. Обуви мужской — 450 000 пар, женской — 450 000 пар».

Твоя работа заключается в следующем:

Ты берешь карточку. Возьмем вот эту. Из Островков. Им нужны фрезмашины и пересадочные машины. Ты пишешь на куске картона требование: «Островки. Фрезмашин — 17, пересадочных машин — 3». Теперь взгляни сюда.

Павел повернул голову вправо. Перед его глазами всплыл большой металлический ящик с тонкими, как у копилки, отверстиями, над которыми сверкали медные дощечки с надписями.

— С этой стороны — приемник заказов на готовые промышленные изделия. С другой — на сырье, полуфабрикаты и продовольствие. Как видишь, здесь в алфавитном порядке

расположены наименования всех производств. Тебе нужно передать заказ на сельскохозяйственные орудия. Ты берешь заполненный кусок картона и опускаешь его сюда.

Объяснивший опустил требование в узкую щель, над которой была привинчена таблица: «Сельскохозяйственные машины».

— А дальше?

— А там уже забота не твоя. Требование это будет доставлено пневматической почтой по адресу.

— Но если оно попадет на завод, не вырабатывающий этих машин?

— Видишь ли... Сельскохозяйственные орудия не так многочисленны. Их у нас всего-навсего пять типов, и изготовляются они обычно на одном заводе. Но может, конечно, случиться так, что этот завод загружен полностью или же, по причине аварий, он не может выполнить заказа. Тогда дежурный директор или направляет заказ на другой завод сельскохозяйственных машин (Ленинградской области, понятно), или же, в случае загрузки всех заводов, пересылает заказ в Центральное статистическое управление. Впрочем, в практике таких явлений не наблюдается... Однако продолжим. Кроме сельскохозяйственных орудий, Островкам нужен также 1 микроскоп. Ты пишешь: «Островки. Агрогород. 1 микроскоп» и опускаешь вот сюда.

Объясняющий опустил требование в щель, над которой стояла надпись: «Оптика, точные приборы».

— Понятно?

— Мне не надо подсчитывать, какое количество и чего именно требовалось?

— Нет. Я уже сказал, что этим делом занимаются на тех столах. Сгруппированные сведения они сообщают в Москву, в Центрстатотдел. Ну, а там, уже ориентируясь по этим сведениям и принимая во внимание движение заявок за предыдущие месяцы, вырабатывают контрольные цифры для всех видов промышленности, увеличивая производство в одном секторе, свертывая в другом, оставляя стабильным в третьем.

— Ты можешь идти! — сказал Павел.

* * *

Работа подействовала на Павла благотворно.

Он чувствовал, как возвращается к нему ясность мышления, как медленно растекается туман, который наполнял его эти несколько дней. Но все же он не походил на прежнего Павла, который жил и работал в Ленинграде три декады назад.

Дни проходили в томительном ожидании. Сам того не сознавая, он жил одной упорной всепоглощающей мыслью. Он не надеялся, не волновался, он прислушивался к беспокойному шуму коллектива, который дежурил на вышках обсерваторий и с трепетом встречал каждый новый рассвет. Он стоял в стороне и ждал.

Зачем волноваться? К чему считать дни и часы?

Все это лишнее. Расчет сделан правильно. Предусмотрены все мелочи. За судьбу звездоплана можно не беспокоиться. Будут день и час, когда откроется дверь и радостная, взволнованная Кира войдет и молча прижмется к нему щекой.

Он хотел быть спокойным и спокойно дождаться конца. Ему казалось: он стоит и время проходит мимо. Но, приученный с детства к работе, мозг его неутомимо отсчитывал и дни, и часы, и минуты. И наступил день, когда Павел уже не мог обманывать себя.

* * *

В газетах появилось письмо Павла, в котором было всего несколько строк:

Товарищи! С2 не вернется на Землю. Что произошло, неизвестно. Шторм и Кира Молибден, очевидно, живы, но они не могут вернуться обратно. Я приступаю к строительству С3. Мне нужны астрономы, физики и математики для непосредственной работы над звездопланом и помощь клубов в теоретической проработке вопросов звездоплавания.

Призываю клубы астрономов, физиков и математиков, всех интересующихся вопросами звездоплавания, познакомиться с конструкцией С2, с принципами полета.

В чем-то я ошибся. Жду вашей помощи.

Павел Стельмах.

Страна советов забурлила. На помощь товарищам, застрявшим в чужом мире, поспешили миллионы умов.

Как и предполагал Молибден, коллектив теперь почти не обращал никакого внимания на другие проблемы. Все умы и вся энергия были направлены к небу.

Не ожидая коррективов, Павел приступил к постройке С3, не отступая от старых чертежей и лишь увеличив только размеры звездоплана.

* * *

С3 был готов через 1½ месяца несмотря на то, что в процессе работы приходилось делать различные поправки.

По новой конструкции звездоплан мог развивать гораздо большую мощь при подъеме с Луны, а также получил возможность пользоваться при спуске приборами, замедляющими падение.

От желающих лететь трудно было избавиться. Они ходили по пятам, преследуя Павла с такой настойчивостью, что он нередко терял самообладание. Он положил конец всему этому объявлением в газете, предложив Аэродинамическому клубу, клубу астрономов и клубу инженеров выделить для полета по одному представителю.

Наконец все было готово.

С3, закрытый блиндированными окнами, стоял, ожидай сигнала.

Три счастливца — Кроль, Бовин и Звезда — уже сидели за плотными стенами звездоплана.

* * *

— Пускай!

Это слово утонуло в ужасном грохоте.

* * *

Павел теперь не покидал Пулковской обсерватории.

Взоры его были прикованы к небольшой светящейся точке, которая мчалась в сторону Луны, удаляясь от Земли с потрясающей быстротой. Наконец она пропала из поля зрения. Но Павел не оставлял своего места. В тот час, когда,

по его расчетам, С3 должен был прибыть на Луну, Павел сидел перед телескопом, дрожа от волнения.

Перед отлетом Бовину пришла в голову счастливая мысль — захватить с собою магний, с помощью которого он надеялся сигнализировать Земле.

«Одна вспышка, — прошелестело в сознании Павла, — благополучное прибытие. Две последующие вспышки — С2 разбит. Три последующие вспышки — не можем оторваться от Луны. Четыре вспышки — нет воздуха».

Для сигнализации было захвачено 150 килограммов магния.

Приближался час спуска.

Душевное волнение Павла достигло крайнего предела.

Он потерял сознание.

* * *

— Ур-р-ра!

— Ур-р-ра!

Павел открыл глаза.

Перед ним стоял седой Панферов и, широко распахнув руки, кричал:

— Ур-р-ра! Победа!

Схватив Павла в объятия, он тискал его, колол жестким подбородком.

— Дождались... Ты видел? Но что с тобой?

— Я потерял сознание... Вспышка была?

— Ну, да... И так ясно. Ах, черт возьми... Павел! Дорогой мой!

И снова седой астроном кинулся на Павла, тиская его в крепких объятиях.

— Постой! — освободился от возбужденного старика Павел. — Через пятнадцать минут должно появиться следующее сообщение.

Он устремился к телескопу.

Прошло пятнадцать минут напряженного внимания. Но, увы, мертвая поверхность Луны оставалась неподвижной. Дикие и суровые скалы, хаотически нагроможденные, поднимались в телескопе, как страшный сон. Исполинские

валы кольцевых гор сочилась мертвенной белизной. Пятна дна Эратосфена плясали на ретине воспаленного глаза.

Луна оставалась мертвой.

Так прошла ночь и наступил рассвет.

* * *

Подготовка к отправке С4 отличалась особой тщательностью.

Было предусмотрено все до мелочей. Точно была разработана система сигнализации, увеличена вдвое подъемная сила звездоплана, запасы магния достигали 500 килограммов.

Клуб астрономов в ударном порядке закончил начатые пять лет назад работы по оборудованию обсерватории мощными телескопами, при помощи которых надеялись проследить полет от начала до конца.

Миллионы людей рвались на Луну. Клубы тянули жребий. Счастливцев провожали завистливыми глазами.

Так в эти дни на Землю вернулось давно утраченное чувство зависти.

* * *

С4, превосходящий по размерам предшественников, оторвался от Земли, унося сынов своих в неведомое. Миллионы людей с невероятным напряжением следили за полетом. Обсерватории осаждались бесчисленными толпами. Клуб астрономов превратился в самый могучий клуб страны, насчитывая в своих рядах около 15 миллионов членов.

Павел сидел перед новым телескопом, не вставая с места. Он не хотел есть и страшным напряжением воли гнал от себя сон. Молчаливый, осунувшийся и поседевший, он не отрываясь следил за светящейся точкой, и никакие уговоры не могли снять его с наблюдательного поста.

Глядя на него, старый Панферов ругался, пытался оттащить его от телескопа силой, затем начал приносить ему из столовой питательные бульоны, фрукты, молоко.

Наконец наступил час, когда вся Страна советов застыла в напряженном внимании.

С4 достиг поверхности Луны.

В мощные телескопы можно было видеть, как еле заметная точка передвигается взад и вперед.

На мертвой поверхности вспыхнуло крошечное пламя. И тотчас же репродукторы грянули по Республике:

— С4 на Луне! Все благополучно!

От напряженного внимания и от бессонницы у Павла рябило в глазах, но все же он мог заметить, как звездоплан, сделав несколько рейсов, поплыл и скоро исчез в неосвещенной солнцем части Луны*. Павел хотел встать, но какое-то внутреннее чувство заставляло продолжать наблюдения.

Стиснув зубы, он остался на месте.

Прошло два часа.

И вдруг (Павел подскочил, не будучи в силах удержаться на месте) из темной, неосвещенной стороны Луны выплыли одна за другой три светящиеся точки.

Мозг пронзила молния:

— С2!

— С3!

— С4!

Лязгая от волнения зубами, Павел увидел, как три точки эти, сделав несколько передвижений взад и вперед, уплыли быстро в неосвещенную полусферу.

---

* С Земли видна только половина Луны. Что представляет собою вторая половина ее полусферы, мы не имеем никакого представления, так как Луна обращена к Земле только одной своей стороной.

Глава тринадцатая

Открытие обсерваторий привело Республику в неистовое волнение. Оно охватило коллектив. Везде только и было разговора о странном поведении звездопланов.

У всех вертелся один вопрос:

— Почему звездопланы не могут остаться в освещенной части Луны?

Люди на улицах останавливали друг друга и спрашивали:

— Как ты думаешь, почему они не пытаются сигнализировать?

— Дорогой мой, у меня более простой вопрос, и то я не могу найти на него ответа. Я хотел бы знать, почему они вообще не могут долго оставаться в освещенной полусфере.

Миллионы людей ломали себе голову над загадкой, но ничего никто из них не мог придумать, никто не мог дать даже гипотезы по поводу странных явлений.

По ночам возбужденные массы часами глядели на Луну, как бы пытаясь проникнуть в тайну мирового пространства, которую уже, видимо, знали улетевшие туда члены человеческого коллектива.

* * *

Постройка C5 протекала уже в совершенно исключительной обстановке. В дело строительства была вложена энергия всей многомиллионной массы. Над системой сигнализации работали миллионы умов, пока наконец не напали на простую, как и все гениальное, мысль.

После долгих поисков член Совета ста Василий Иванов предложил воспользоваться азбукой Морзе. Звездоплан должен был появляться на короткое и продолжительное время, причем полуминутное появление должно было обозначать точку, минутное — тире и двухминутное — интервал.

В третий день второй декады C5 ринулся в мировое пространство.

Луна была взята под непрерывное наблюдение.

Страну советов била лихорадка.

* * *

И вот наступил час, когда в мертвой тишине перед репродукторами, боясь шевельнуться, застыли миллионы людей.

В обсерваториях можно было слышать, как бьются сердца, как растут на головах людей волосы.

Павел прилип к телескопу и, сдерживая руками готовое вырваться сердце, следил за каждым движением С5.

Вот вспыхнуло крошечное пламя.

— Прибыли! — гаркнули репродукторы.

Вот так же, как и все звездопланы, С5 скрылся в неосвещенной части Луны.

В томительном ожидании прошел час, и в этом часе каждая минута была веком.

Наконец, крошечная точка вынырнула в освещенную полусферу и начала подавать сигналы.

— Точка...

— Точка...

— Точка...

— Три точки. С... Интервал.

— Тире.

— Точка.

— Точка.

— Точка.

— Тире, три точки. Ж...

— Сж...

Но тут С5 начал сбиваться. Очевидно, что-то мешало ему. Он скрылся из поля зрения и полчаса не появлялся. Затем он приступил снова к сигнализации.

— Точка.

— Тире.

— Тире.

— Точка, два тире. В...

— Тире.

— Тире.

— Тире.

— Три тире. О...

— Тире.

— Тире.

— Точка...

— Точка...

— Два тире, две точки. З...

С5 скрылся и больше уже не появлялся.

* * *

На следующий день волнение коллектива достигло своего предела.

Все бились над расшифровкой СЖВОЗ и в то же время пытаясь проникнуть в тайну поведения звездопланов.

— Почему он не мог сигнализировать? Что значит СЖВОЗ?

Это слово пытались расшифровать всяческим способами, но никто не мог дать удовлетворительного решения таинственных букв.

Наблюдения обсерваторий оставались тщетными. Три декады не появлялись звездопланы из затененной части.

— Что это значит?

— Почему они не сигнализируют?

— Что такое СЖВОЗ?

Спустя три декады один из звездопланов появился на освещенной стороне, как бы желая что-то сказать Земле, и так же быстро исчез из поля зрения.

Эти дни Павел сидел, размышляя над значением слов СЖВОЗ, пытаясь расшифровать смысл, читая каждую букву за слово, переставанливая буквы, допуская, что одна из этих букв случайно сигнализирована неправильно, пока наконец не расхохотался над своими попытками.

Через час репродукторы разнесли по Стране советов:

— СЖВОЗ означает сжатый воздух. Они нуждаются в сжатом воздухе. Что значит это странное требование, — неизвестно.

И еще через час стало известным снаряжение целой экспедиции в составе 12 звездопланов, которая направится на Луну с запасами продовольствия, сжатым воздухом и различными материалами. Двенадцать человек должны были составить экипаж межпланетной экспедиции.

Двести пятьдесят миллионов тянули жребий, пытая счастье На следующий день репродукторы сообщили:

— Во главе экспедиции встает Павел Стельмах.

* * *

Как странна все-таки жизнь. Ведь, кажется, совсем недавно, всего лишь двадцать пять лет назад, он был смешным, белоголовым мальчуганом, который только начинал учится жить.

А это была сложная наука.

Павел закрыл глаза, и, точно сон, перед ним поплыло его детство. Вот он, совсем еще крошечный, стоит перед матерью и слушает ласковый голос. В памяти Павла прошелестели полузабытые слова матери:

— Сыночек мой, ты будешь скоро большой, как папа. Ты хочешь быть большим?

— Хочу! — говорит маленький Павел.

— И у тебя, как у папы, будет много, много веселых товарищей.

— Хочу веселых! — говорит Павел.

Потом туман закрывает все. Из тумана всплывают отдельные, неясные детали.

Густой сад... Горы песку... Большие колеса... Белая, густая толпа детей... Мать появляется в самый разгар интересных игр, и Павел с плачем оставляет своих товарищей.

И опять туман.

Павел улыбается... В памяти встает другой маленький Павел. Ему уже семь лет. Он живет у большой реки, по которой ходят пароходы. Эта река папина. Он с бородатыми товарищами перегораживает ее большой перегородкой. Мама говорит, что река будет работать. Мама все знает. Ее слушают очень большие люди и записывают слова. Только маме очень некогда. Она весь день проводит в большом доме, который называется по-птичьи — вуз. Павел также занят целыми днями. Утром мать едет с ним в автомобиле и оставляет его в детском городке.

Правда, здесь совсем не так уж плохо. У Павла сотни приятелей. Вообще-то здесь не скучно.

Потом какие занятные вещи можно узнать от взрослых, играющих тут же. Например, песок. Ну, песок и все. Его можно насыпать за воротник товарищу, а можно из него сделать крепостной вал. Только когда сухой песок, — высокий вал не получается.

— А почему? — спрашивает девушка, похожая на маму.

— Ну, странно. Почему не получается? Не получается и только.

— А ты подумай!

Вот занятие. И думать даже не буду о таких пустяках.

— Может быть, кто-нибудь догадается?

Догадаться, конечно, можно. А только стоит ли? Но тут подходят товарищи и начинают обдумывать этот вопрос. Да пожалуй, дело с песком серьезное. Подумаем-ка!

А девушка и не смотрит. Какой ей интерес? В конце концов тайна открывается, но, оказывается, она не такой уж простой, как кажется с первого взгляда. Или взять листик. Вот он упал и лежит. А почему упал? А какой это листик? А почему лежит? А что это за ниточки на листике? Нет, право, здесь не так уж скучно. А главное, все как-то по-новому получается. Тот же мир, а если знать «почему», — он выглядит совсем другим. Даже за столом, во время завтраков и обедов, открываются совершенно удивительные вещи.

Вечером приезжает мать и он едет домой.

Бегут дни.

Павел почти взрослый. Ему 8 лет.

— Павлик, — говорит мать, — ты очень скучал бы, если бы мы встречались с тобой не каждый день?

— Ты уезжаешь?

— Нет! Но я хочу, чтобы ты начал учиться. Ты будешь жить с товарищами и учиться.

— А ты?

— А я буду приезжать к тебе, и ты мне станешь рассказывать о своих успехах.

— Нет, — говорит Павел, — я буду с тобой.

— Милый, ты должен очень многое знать... Жизнь наша сложна, и мама тебя не научит всему. Надо учиться, Павел.

Впрочем, Павел не слишком был огорчен новой жизнью.

В маленьком городе, куда привезла мама Павла, перед ним открылся такой чудесный мир, что просто некогда было думать о маме.

Бородатый человек собрал всех привезенных Павлов и сказал им:

— Ребята! Этот город, в котором вы будете жить, находится в вашем полном распоряжении. И он неплохой, ребята, город. Он только меньше других городов, но зато ничем не отличается от больших. Вы можете здесь делать все, что хотите.

Девушка ходила с ребятами по отелям, показывала им, как надо убирать комнату, как пользоваться ванной, как приводятся в движение телевоксы. Затем они уже сами узнали, где находится кольцо ресторанов и столовых и когда нужно работать, завтракать, обедать и ужинать.

Всем ребятам выдали часы, после чего оставили их в покое.

Несколько дней они жили скучая. Они сами подбирали себе компании, бродили по городу. Тогда к каждой компании как-то незаметно присоединились взрослые и ходили с ребятами вместе. Но вскоре взрослым надоело это занятие. Они предложили ребятам воспользоваться автомобилем.

— Но мы не умеем!

— Подумаешь, большая хитрость, — удивились взрослые, — да этому делу пара пустяков научиться.

И вот Павел видит себя, перемазанного, собирающего с замиранием сердца мотор машины.

Да. Они были правы. Авто уж не так сложны. И вскоре улицы детского города ревели оглушительными сиренами.

А взрослые подбивали ребят на разные забавные штучки. Вот, например, кино. Со смеху можно умереть. Жаль только, что очень много надписей. Не понять половины. Но надписи читать оказалось совсем нетрудным делом.

Прямо само небо послало ребятам этих взрослых. Ну, уж и выдумщики же они были. Ну, взять хотя бы «Меккано». Разве есть что-нибудь интереснее этой вещи. Из разных пустяковых железных частичек можно было собрать авто-

мобиль, который бегал не хуже настоящего, можно было сделать подъемный кран и он поднимал здоровые бревна. Целую фабрику можно было собрать из частей «Меккано». И не какую-нибудь, а с генераторами, с конвейером. Не хуже настоящей.

— Но это чепуха, — вскоре начали морщиться взрослые, — что это. Для маленьких детей — забава.

И — вот счастье! — они предложили ребятам настоящую фабрику.

— Собрать или разобрать?

— А все что угодно!

Фабрики, правда, не разобрали, но возились там по целым дням. И подумать только: сами, управляя своими руками, ребята сделали сапоги. Думаете — одну пару? Ничего подобного. Целых двадцать тысяч пар.

Началась игра в настоящий город. Но тут оказалось, к сожалению, что многого ребята не знают.

Пришлось учиться.

Летом Павел уезжал домой, а когда наступила осень, — возвращался в городок, где его встречали приятели.

С каждым годом жизнь становилась более интересной. Работа в обсерваториях, в музеях, в библиотеках, в музыкальных и художественных студиях: свой театр, свои лаборатории, свой собственный город.

Он уже юноша. Ему уже 16 лет.

Вместе с другими шестнадцатилетними он мчится по Стране советов, изучая географию и экономику страны.

— Смотрите, — гудит голос над ухом, — все это ваше. Видите, какой порядок во всем. Вы становитесь всему этому хозяева. Следите же хозяйским глазом за своим добром.

В памяти проплыли год: искания, работа с Феликсом, Кира...

Павел вздохнул.

Я ли это? Тот ли это смешливый и белоголовый? Что изменилось собственно? Может быть, с Луною не так уж хитро, как кажется? Может быть, это проблема сухого песка, не желающего оформляться в высокие валы крепости?

* * *

Экспедиция покинула Землю на третий день первой декады.

Двенадцать чередующихся один за другим могучих взрывов сотрясли воздух. Разгневанная Земля штурмовала далекие миры. Огненные хвосты прочертили небо из края в край. Обсерватории приступили к работе.

* * *

Четыре декады прошли в напряженном ожидании.

И был час, когда Страна советов обезумела от восторга.

— Они возвращаются! Они покинули Луну!

Репродукторы кричали не уставая.

Вечером в города хлынули световые океаны иллюминации. Вспышка огней, взрывы фейерверков, золотые хвосты ракет расцветили кварталы мириадами веселых огней.

— Они возвращаются!

Ночь, подожженная со всех концов, побледнела. В молочно-синем небе пронеслись, скрещиваясь, гигантские мечи голубых и фиолетовых прожекторов.

— Они возвращаются!

Несутся расцвеченные авто, утопающие в гирляндах цветов. Высоко вверху над головами вспыхивают красные точки. Они кружатся, сталкиваются и вдруг с оглушительным треском разрываются на миллионы золотых звезд и падают на крыши дрожащим пологом, на котором искрятся голубые гигантские буквы:

— Вселенная побеждена!

Города шумят. В небо взлетают фонтаны золотых дождей. Музыка гремит не переставая.

— Они возвращаются!

Над зеленой Республикой проносятся веселые прожекторы, гремят оркестры, праздничные толпы народа с шутками, песнями и смехом переливаются в сверкающих огнями улицах. Над Республикой катится мощная песня:

Нам подвластны моря и реки,
Земля и звезды подвластны нам.



Приложение

КАК ПРОВИДЕЦ ЯН ЛАРРИ
ликвидировал Маркса и Ленина

ЯН ЛАРРИ — «Страна счастливых» (публицистическая повесть). С предисловием Глебова-Путиловского. Ленинградское областное издательство. Ленинград. 1931. Стр. XVI. 192. Ц. 1 р. 20 коп. Тираж 50 000.

Хороший, утопический роман нам до крайности нужен. Такой роман сыграет огромную агитационную роль. Он неизбежно будет заражать, в особенности молодых читателей, пафосом социалистического строительства. Этого нельзя, однако, сказать о «Стране счастливых».

Автор этой «публицистической повести» прямо переносит нас в коммунистическое общество. Молодой изобретатель Павел Стельмах весь поглощен мыслью об осуществлении межпланетного сообщения. Стельмах и его многочисленные друзья из «звездного клуба» мечтают о колонизации планет. После многих препятствий один за другим летят к луне новые «звездопланы». С тревогой следит за их полетом республика. Наконец, они возвращаются на землю. Мировые пространства побеждены.

Вот несложный и не новый по замыслу остов «публицистической повести». В первую очередь он оброс техническими подробностями. Общественная жизнь намечена в романе сравнительно бледными, но «небезынтересными» чертами.

Беспощадно расправляясь с прошлым, автор совершенно безумеет в своем халтурном рвении:

Я считаю необходимым устроить в библиотеках кровавую (!) революцию... — восклицает один из его героев. — Придется резать и Аристотеля, Гегеля, Павлова, Менделеева, Хвольсона и Тимирязева. Увы, — без кровопролития не обойтись. Моя кровожадность не остановится даже перед Лениным, Марксом, Сталиным! Придется пострадать и ему! Всех, всех» (стр. 29).

Расправившись с вождями Октябрьской революции, классиками философии и науки, автор ведет читателя в музей и показывает ему «зал литераторов», где, «беседуя с веками», стоит в числе других бронзовый... Виктор Шкловский (!).

Перспективы развития социалистического общества чудовищно искажены. Республика оказывается изолированной от внешнего мира. Действие романа развертывается исключительно на территории СССР. О судьбах ныне существующего капиталистического мира ничего не известно. И это в то время как существует определенное ленинское указание: «Пока наша советская республика остается одинокой окраиной всего капиталистического мира, до тех пор думать... об исчезновении тех или иных опасностей было бы совершенно смешным фантазерством и утопизмом». Ларри забыл вовсе о национальном вопросе. Но самое интересное, что в исторических воспоминаниях, которым предаются время от времени действующие лица романа, совершенно отсутствуют указания на ведущую роль ВКП(б) в строительстве социализма. Герой романа убежденно говорит о том, что люди на земле — одичавшие потомки людей, залетевших с другой планеты, которая, может быть, называлась «Рай», что директора станции межпланетных сообщений, возможно, звали Саваофом. Подобная «теория» происхождения религии способна надолго испортить кровь любому пропагандисту-антирелигиознику.

Автор предисловия т. Глебов-Путиловский, скверно охарактеризовав крупнейшие произведения утопической литературы и не сумев ничего сказать о классовой борьбе нашей эпохи, нашел теплые слова для рекомендации книги «каждому гражданину СССР».

Совершенно напрасная рекомендация. Книга Ларри не только бесполезная, но и вредная.

(«Литературная газета», 15 августа 1931 г.)

ПОД МАСКОЙ УТОПИИ — ПАСКВИЛИ НА СОЦИАЛИЗМ

Чью политику делает Ларри?

В «Литературной газете» была уже помещена рецензия на книгу Я. Ларри «Страна счастливых». Это было сделано в странице против халтуры, в № 44 от 15 августа, Однако рецензент «Б.», а вместе с ним и редакция, подойдя к книге Ларри как к обычной халтуре, не дали отпора ее определенной классовой направленности. Рецензия, помещенная в «Л. Г.», является политически неверной, ошибочной: вместо того, чтобы с большевистской нетерпимостью обрушиться на враждебные теории, которыми пропитана вся книга Ларри, она центр тяжести переносит на относительно второстепенный в книге факт — мысль о «рационализации» библиотек (хотя и он имеет определенный политический эквивалент), лишь мимоходом касаясь антибольшевистского, антисоветского, национал-шовинистического существа книги. А суть дела именно в этом!

Чему учит Ларри? Тому, что мы, СССР, можем существовать вне всякой связи с окружающим — капиталистическим — миром, вне всякого влияния этого мира на нас и наоборот, что мы должны так существовать, предоставив капитализм своему «естественному развитию». Теория, аналогичная социал-фашистской.

Только у Ларри она выглядит еще более контреволюционно, так как в его романе при существовании капитализма на 5/6 света в 1/6 его уже бесклассовое общество.

Какие выводы должен сделать молодой читатель (на которого эта «утопия» рассчитана), если он поверит Ларри? Бороться за обороноспособность страны — тоже не нужно: в «Стране счастливых» армии нет, а добрые капиталисты на нее не нападают. Последователь Ларри, очевидно, должен развить эту мысль и дальше: почему бы теперь не обходиться без обороны?

И наконец, Ларри призывает к тому, чтобы вообще бросить заниматься землей, а обратить свои взоры на луну — на земле уж делать нечего, — хотя на пяти шестых ее продолжает властвовать капитал.

Это основные политические идеи Ларри. Нетрудно догадаться, что бы получилось уже назавтра после их осуществления: нас бы просто слопал капитализм! Понятно поэтому, что книжку Ларри с охотой бы стало распространять среди советских читателей любое капиталистическое издательство. Она служит целям нашего классового врага, дезориентируя, затуманивая нас.

«Страна счастливых» Ларри — пасквиль, клевета на нашу политику, на линию партии. Международный характер нашей революции и ее неразрывная связь с международной борьбой рабочего класса — один из главнейших тезисов этой линии. Не может быть построено бесклассовое общество, упразднена переходная ступень — диктатура пролетариата, пока существует капиталистический мир и его враждебные влияния на страну социализма. Только уничтожив капитализм, мы уничтожим государство и классы, вместе с системой, их породившей. За это нужно бороться здесь на земле, а не на луне.

Просто ли не понял этого Ларри? Случайно ли его «люди будущего» не желают заниматься землей, бороться за мировую революцию, что-нибудь слышать о внешнем мире? Нет. Здесь есть определенная система. Земная скука — вот что обращает взоры людей с земли на луну. В «Стране счастливых» Ларри прежде всего ужасно скучно. Его люди очень немногим отличаются от обслуживающих их телевоксов (автоматов). В полном согласии с «теоретиками», которые (в противовес Марксу, Энгельсу и Ленину, утверждавшим, что при социализме будет небывалый гармонический расцвет всех человеческих способностей) представляют себе будущих людей рационалистами-схематиками, для Ларри социализм это только век техники — типичное буржуазное представление!

Какие же сдвиги происходят в психологии людей? Никаких. Вернее, вот какие: в «Стране счастливых» нет большевиков как людей определенной формации, развившейся, как известно, в наше время. Там есть только деляги, перенесенные из буржуазных столиц, политики и т. д. Жизнь обитателей «Страны счастливых» концентрируется вокруг старых, извечных проблем — в частности, борьбы между молодыми — людьми прогресса и стариками-консерваторами.

Вот что такое книга Ларри! Насквозь враждебная, не имеющая ничего общего с большевистским пониманием социа-

лизма, агитка классового врага (объективного или субъективного — не в этом суть).

И вот к этой-то книге т. Глебов-Путиловский дал предисловие, в котором рекомендует ее «каждому гражданину СССР», считает реальной:

«Это перспектива СССР, которую автор видит, слышит и в которой уверен. Без твердой веры в развитие нашей страны, в рост ее социалистического строительства и культуры — такую книгу написать нельзя».

Тов. Глебов-Путиловский, очевидно окончательно потеряв представление о том, что он и где он, оправдывает отрыв Ларри Советского Союза от всего мира:

«Он не берет весь мир, он обходит его. Он предоставляет “капиталистическое окружение” (почему в кавычках? — *Ред.*) своему естественному историческому развитию, которое с железной необходимостью, все равно поздно или рано (!!), через мировую революцию приведет его к одному знаменателю с СССР».

* * *

Политической ошибкой было бы принесение этой контрреволюционной болтовни просто к халтуре и т. д. Нет, это надо квалифицировать строже. Мы усиленно советуем товарищам-ленинградцам устроить показательный суд над автором книги и издательством, напечатавшим эти страницы лжи и клеветы.

(«Литературная газета», 18 декабря 1931 г.)

<Статья из журнала РОСТ, № 1 1932>

Роман Я. Ларри «Страна счастливых» выпущен в 1931 г. Ленинградским облиздатом.

Сюжет его таков: в СССР построен социализм, коммунистическое общество.

Что делается на остальных пяти шестых мира — неизвестно, но, очевидно, там ничего не изменилось, там властвует буржуазия. Но она «не мешает» СССР, а СССР «не мешает» ей — они никак не соприкасаются.

Техника достигла своего наивысшего развития. Все делает машина, люди стали универсалами и работают не более дня в месяц.

Суть дела заключается в том, что молодой изобретатель Павел Стельмах решил осуществить межпланетное сообщение. Этой мыслью занят и весь Союз, тем более что на земле, т. е. в СССР (о пяти шестых мира никто не думает!), не хватает места — надо завоевывать луну.

На этом фоне происходит борьба между «старыми» и «молодыми» жителями СССР. Старики из-за своего консерватизма не хотят ничего слышать о луне. Финал повести: — мечта осуществлена — луна завоевана.

«Страна счастливых» — классово-враждебное шовинистическое и клеветническое произведение.

Попробуем в этом разобраться. Ведь чему учит нас Ларри? Тому, что мы, СССР, должны предоставить капитализм своему «естественному развитию».

Бороться за мировую революцию, крепить интернациональную солидарность, помогать зарубежным братьям — пролетариям не нужно. Обитатели «Страны счастливых» и знать не хотят про то, как угнетают пролетариев капиталисты.

Ларри призывает к тому, чтобы вообще бросить заниматься землей, а обратить свои взоры на луну: на земле уже делать нечего, хотя на пяти шестых ее продолжает властвовать капитал.

Это основные политические идеи Ларри. Не трудно догадаться, чтобы получилось уже назавтра после их осуществления: нас бы просто слопал капитализм! Понятно поэтому, кому служит Ларри. Книжка Ларри отрицает международный

характер нашей революции и ее неразрывную связь с международной борьбой рабочего класса.

Ларри рисует коммунистическое общество конца XX века. Изолируя СССР от остального мира, он, следовательно, практически утверждает, что и через 50–60 лет на пяти шестых мира не произойдет никаких социальных изменений, между тем как т. Сталин на 7-м пленуме ИККИ подчеркивал, что «успехи социалистического строительства в нашей стране, а тем более победа социализма и уничтожение классов, это такие всемирно-исторические факты, которые не могут не вызвать могучего порыва революционных пролетариев капиталистических стран к социализму, которые не могут не вызвать революционных взрывов в других странах». Ларри игнорирует это положение, он не верит в силы мировой революции.

Бросим заниматься земными делами!

Но если бы даже Ларри брал и более близкий к нашим дням период, то он должен был исходить из того ленинско-сталинского положения, что, полностью построив социализм в нашей стране, уничтожив классы и государство, мы будем с еще большей энергией продолжать борьбу за мировую революцию, помогать зарубежным пролетариям. Он должен был развить тезис о том, как страна социализма будет защищаться от своих врагов, — Ларри же совсем смазал эти моменты. Исчерпывающую их постановку дал т. Сталин в том же выступлении на 7-м пленуме ИККИ, говоря о социалистической милиции общества без классов и государства.

Почему же обитатели «Страны счастливых» Ларри вместо того, чтобы бороться на земле, здесь строить коммунизм — летят на луну? Потому, что они не имеют ничего общего с коммунизмом. Это не большевики, а буржуазные деляги, взятые напрокат из западных романов.

Земная скука — вот что обращает взоры людей с земли на луну. В «Стране счастливых» Ларри прежде всего ужасно скучно. Его люди очень немногим отличаются от обслуживающих их автоматов, В противовес Марксу, Энгельсу и Ленину, утверждающим, что при социализме будет небывалый гармонический расцвет всех человеческих способностей, Ларри

представляет себе будущих людей рационалистами-схематиками. Для Ларри социализм — это только век техники.

Социализм не упраздняет наций, а, наоборот, обеспечивает им мощный экономический и культурный подъем, подтягивает отстающих, уничтожает национальное неравенство, создает общую интернациональную семью. Ларри решил иначе: он уничтожает все многочисленные национальности СССР и оставляет одну — русских.

Великодержавный шовинизм в самой отвратительной форме! Это идея, искривляющая основы политики партии и советской власти. Это — антисоветская идея.

Таким образом, книга Ларри — насквозь враждебная, не имеющая ничего общего с большевистским пониманием социализма, агитка классового врага.

И вот к этой-то книге т. Глебов-Путиловский дал предисловие, в котором рекомендует ее «каждому гражданину СССР», оправдывает отрыв Ларри Советского Союза от всего мира. «Он не берет весь мир, он обходит его. Он предоставляет "капиталистическое окружение" (почему в кавычках? *М. Ц.*) своему естественному историческому развитию, которое с железной необходимостью все равно поздно или рано (!!) через мировую революцию приведет его к одному знаменателю с СССР».

Либерализмом было бы отнесение этой контрреволюционной болтовни просто к гнилому либерализму, к халтуре и т. д. Нет, это надо квалифицировать строже.

Книга Ларри должна быть немедленно изъята.

P. S. «Литературная газета», критикуя контрреволюционную книжку Ларри, дважды допустила политические ошибки. В первый раз (в № от 15 августа 1931 г.) она квалифицировала книжку Ларри просто как халтуру; во второй раз (в № от 18 декабря 1931 г.) были допущены еще более грубые ошибки: критикуя Ларри за отрыв СССР от остального мира, автор статьи скатился к троцкистскому тезису о невозможности построения социализма в одной стране, утверждая, что будто «не может быть построено бесклассовое общество, пока существует капиталистический мир и его враждебное влияние на страну социализма».

Записки конноармейца



Эту книгу борьбы за социалистический мир товарищу Николаю Николаевичу Глебову-Путиловскому, слесарю, члену Петербургского совета рабочих депутатов 1905 года.

Автор



Глава I

Во дворе зовут меня Язвой. А дворничиха — женщина большой учености — называет Египетской казнью.

Худая и высокая дворничиха знает все на свете. Когда-то в молодости она служила кухаркой у немца-фабриканта и там набралась разной мудрости. Дворничиху во дворе уважают и к ней почтительно прислушиваются.

Но бывает и так, что кто-нибудь, пьяный, начинает куражиться:

— Бро-о-ось! Заливаешь ты это, Митревна!

Дворничиха смотрит тогда с усмешечкой и покачивает головой:

— Ах, шлехт, шлехт. Их зее думков зер!

И ошеломленный непонятными словами пьяный умолкает.

...По вечерам, когда печальные синие сумерки тихо обволакивают двор, когда до получки остается несколько дней и по этому случаю во дворе не видно пьяных и люди тоскливо слоняются по двору, дворничиха садится под окном темной дворницкой, держа в растопыренных руках недовязанный чулок. Шевеля неспешно спицами, она исподлобья осматривает двор, а заметив людей во дворе, печально вздыхает и начинает щунять сапожника Евдоху.

— Какой ты есть человек? – говорит она, вытягивая губы.

— А такой! — мрачно отвечает Евдоха. — И с руками, и с ногами, и с телячьей головой.

Дворничиха тяжело вздыхает.

— А ты не дыши, Митревна! Дышать это даже бесполезно. Дала бы лучше двугривенный! А? Нет, право слово, — оживляется Евдоха, — двугривенный что? Глупость, конечно! А человеку — облегчение.

— Пустой ты человек, Евдоха! — скорбно качает головой дворничиха. — Думков, как говорят немцы!

— Немцы не пример, — солидно откашливается Евдоха,— немец размаху не имеет. Хотя, конечно, хитрый народ. Это безусловно. Но только немцы, они без души. Пар у них заместо души.

— Ау тебя? Дух винный?

— У меня-то? У меня, Митревна, православная душа под жилеткой!

— Пьяница ты, Евдоха!

Подходят скучающие люди. Евдоху обступают со всех сторон. Он подмигивает и, как бы призывая всех в свидетели, говорит значительно:

— Если насчет выпивки, так тут понимать надо.

— И понимать нечего! — усмехается дворничиха.

— Нет, дозвольте... Я пью! Не отрицаю. Однако кто может мне пальцем ткнуть: вот-де, идет Евдоха пьяница! Никто мне не ткнет. Пьяница, это который у монопольки валяется.

— Справедливо говорит! — поддерживает Евдоху взлохмаченный жестянщик Николай. — Пьяница проспится, а дурак это уж извините. С давних времен замечено. — И добавляет строго: — Мастеровому человеку никак невозможно без выпивки.

— Во! — обрадованно подхватывает Евдоха. — В точку! Да ежели нашему брату не пить, так и свет в овчинку покажется. Да мне жизнь она не в жизнь, ежели шкалика не пропущу... Грудью я маюсь. Неделю не попью — задышка вяжется. Вот и не пей тут!

Дворничиха подбирает скатившийся с колен клубок шерсти. Лицо становится красным. Она смотрит на всех и певуче говорит:

— Необразованность мучает тебя, Евдоха! Жила я вот у немцев, так насмотрелась этой образованной жизни. По-нашему взять хотя бы фрукт какой-нибудь. У нас называется яблоко, а по-ихнему «апфиль». По-нашему лошадь, по-ихнему — ферт. Ты вот скажешь: «дайте мне водки», а у немца — «гибин зи шнайпс».

— Чудеса! — подхалимничает Евдоха.

— По-нашему — ребенок, у них — кнабе. Стакан — гляс, а вода — ватер.

— Как же в таком разе сортир по-ихнему? — спрашивает жестянщик под общий хохот.

Дворничиха сердито хмурится:

— Таких кабловских слов на немецком языке нет. Спать по-ихнему — шлафен, хлеб — бутер, есть — есен.

— Вроде бы и с нашим схоже!

— Окно — фенстер, садиться — зицен.

— А ежели с барышней немецкой насчет того-этого: дескать, нельзя ли с вами любовь вертеть?

— По-немецкому это будет: их либе дих, метхен.

— У, дьявол! — качает головой Евдоха. — Непременно за немкой приударю. У нас, пока бабу обходишь, — все что знаешь ей выложишь, а тут просто как: их лыби, мадамочка — и вся тут! Ну и народ!

— Печь — офен, пить — тринкен!

— Боже ж мой, — умиляется Евдоха, — и до чего это ты, Митревна, разбираешься во всем. Чистая немка, прости господи!

Дворничиха опускает скромно глаза.

— А интересно, как по-ихнему: «я тебе дам в морду»?

— Нейн, — качает головой дворничиха, — у немцев этого в заведении нет. У них только вежливые слова, ну и для обихода, конечно! Объясниться там, поджарить что или вообще...

— Механика! — вздыхает Евдоха. — Непонятный такой народ, а тоже, ить, жить хочет. Каких только людей нет на свете?!

— Стол называется тиш, — певуче говорит дворничиха, — а спальня — шляфкамер. Муха, например, флиге.

Огонь, если сказать, потух — дас феер варт штиль, а жаркое — братен.

— Постой, — перебивает Евдоха, —как же это ты говоришь: дайте мне?

— Гибин зи!

Евдоха подмигивает слушателям и, выставив ногу вперед, говорит:

— И ну-ка, поймешь ты меня?

Вывертывает кренделем руку и, топнув ногой, скалит зубы:

— Гибин зи двугривенный, Митревна! — изгибается Евдоха и смотрит на дворничиху веселыми глазами.

— А вот и не так! — смеется дворничиха. — Нужно сказать: гибин зи званзиг копейкен, фрау.

— Не с нашим это языком! — кашляет Евдоха. — Такое слово у нас в зубах вязнет!

* * *

Солнечным утром, когда из темных, холодных подвалов выползают оборванные, грязные ребята и заполняют двор веселым гамом, ученая дворничиха выносит венский стул и, стряхнув с сиденья пыль, ставит его под окнами дворницкой. Потом, положив корзину с вязаньем у ног и расправив юбки, она широко расставляет локти; сверкающие иглы приходят в ленивое движенье.

На шум и крик, оглядываясь по сторонам, выходит Вовочка «из верхней квартиры». Он одет в матроску с белым отложным воротничком, с золотыми якорями из отворотах. Лицо Вовочки заспанное, глаза ленивые, нижняя губа шевелится, словно красная улитка.

Я подхожу к нему и спрашиваю:

— Сахар-то ел сегодня?

— Что? — спрашивает Вовочка.

— Сахару много съел?

— Н-нет! Я его не ем!

— Ври больше!

— Я не вру. Врать нехорошо! — пищит Вовочка.

— Та-ак! — говорю я. — А у вас много сахару?

— Много!..

— Ты бы принес мне! А? Чего тебе стоит? Запусти руку и — айда сюда.

— А зачем?

— Фокус я тебе покажу! Булку еще захвати с собой!

Дворничиха прислушивается.

— Ты, казнь Египетская, чего там крутишь?—спрашивает она.

— Ничего я не кручу!

И потихоньку шепчу Вовочке:

— Ты поскорей только, а то мне некогда!

Вовочка уходит и возвращается, держа в растопыренных руках французскую булку и сахар.

— На!

— Сичас будет фокус-покус. Никакого мошенства. Одна ловкость рук.

Засучив рукава, как это делают заправские чародеи и маги, посещающие наш двор с шарманщиками, я высоко поднимаю булку вверх, эффектно ломая ее над головою пополам.

— Гляди хорошенько! Ейн! Цвей! Дрей!

Я делаю зверское лицо и, чавкая и жмурясь, начинаю торопливо есть.

Вовочка вежливо смотрит мне в рот, ожидая чуда, но в это время подкрадывается дворничиха и хватает у меня из рук булку.

— Ты что же это, Казнь ты египетская? Выманиваньем занимаешься?

— А тебе жалко?

Не удостоив меня ответом, дворничиха уходит, уводя Вовочку за руку.

— Какой сачок, однако? — кричит дворничиха во весь двор.

Я стою, медленно разжевывая оставшийся во рту кусок сладкой, чудесной булки, стараясь как можно дольше продлить удовольствие. Визгливый голос дворничихи, вырывающийся из открытых окон квартиры Вовочки, выводит меня из раздумья.

Я начинаю прислушиваться.

— А я за ним полчаса наблюдаю, — захлебывается дворничиха. — Как он подошел еще, я сразу сообразила, что дело тут неладное. Чего, думаю, надо ему от вашего мальчика? Конечно, ваш Вовочка воспитанный мальчик. Я всегда любуюсь им, как он выходит. Тихий такой, скромный. Сразу видно порядочных родителей. А тот-то около него вьется. И с этой-то стороны зайдет и с той-то заглянет. А ваш — прямо прелесть, стоит как губернатор, да так-то вот смотрит спокойно. Булку он уж отъесть успел, обормот...

* * *

Во дворе дворничиха глаз с меня не спускает. Стоит мне подойти к чистому мальчику «сверху», как она уже беспокойно и подозрительно следит за мной.

И мне приходится «работать» осторожно.

Нарядные дети тянут меня с непреодолимой силой. Каждый из них представляет величайшую ценность, а Сева — сын черной и худой барыни с занятными усиками — прямо передвижной фантастический клад. Если око дворничихи не следит за мной, предаюсь безумному пиршеству, глотая принесенные Севой котлеты, пироги, булки, а иногда даже куски настоящего пирожного.

Но последнее время судьба не улыбается мне. Я хожу с булькающими, поющими кишками, бесплодно размышляя о том, как бы набить свой живот.

Попытки урвать кусок хлеба дома предупреждаются матерью.

Каждый раз она ловит меня в самый последний захватывающий момент, когда, откромсав кусок хлеба, я пытаюсь засунуть его под рубашку.

— Опять таскаешь? Прорва ты чертова! Целыми бы днями он ел! И куда только лезет в тебя, шкилета?!

— Дык... кусочек же! — ною я, стараясь разжалобить мать.

— Я те дам кусочек!.. Сядешь обедать и ешь, а так таскать не дозволю! Пошел! Нечего тут проедаться! Наказанье, а не ребенок!

Но что обед? Во-первых, до обеда еще целая вечность, а во-вторых, и обед-то не очень успокаивает. После жидкого картофельного варева, кислых огурцов да капусты у меня только-только разыгрывается аппетит. После обеда я начинаю особенно энергично разыскивать пищу.

Я кружусь по двору, зорко всматриваясь в мутные пасти черных лестниц, и, как только в темноте замечаю «верхних», я, точно коршун, делаю широкие круги, постепенно приближаясь к мальчикам-кладовкам.

Зацепившись за трубу, я рассматриваю верхних мальчиков издали, затем завожу разговор.

— Вы никогда не чешетесь, Сережа? — вежливо спрашиваю я румяного мальчика.

Он исподлобья смотрит на меня, не понимая, чего от него хотят. Тогда я ставлю вопрос ребром:

— У вас, значит, не водится вошей?

Мальчик молчит. Я начинаю беспокоиться, не испорчено ли дело, и тотчас же подвожу разговор к его ближайшей цели.

— Вы, Сережа, не можете принести две булки?.. Можно хотя одну, конечно! — торопливо добавляю я.

Мальчик сопит.

— Если принесешь, — перехожу я на «ты»,– можешь гулять по двору, где хочешь. Я тебя не трону. Вот лопни мои глаза.

Но, увы! Я слышу за спиной подкрадывающиеся шаги дворничихи.

— Египетская казнь, ты чего опять придумал?

Я отскакиваю в сторону. Дворничиха поднимает голову вверх.

— Мадам, Нина Николаевна! — кричит мой враг.

Глава II

Я не одинок. Таких, как я, — вечно голодных ребят — во дворе около двух десятков. У каждого из нас свои приемы добычи булок от «верхних» мальчиков и у каждого свои враги.

Мы честно поделили между собой румяных Вовочек, Сережей и Тосиков и работаем, не вторгаясь в чужие районы. Но враги наши действуют против нас сообща.

Из форточек наблюдают за нами няньки, мамаши счастливых мальчиков, кухарки, горничные, а во дворе зоркий взор самой дворничихи.

В конце концов мы сдаемся. Борьба не по силам. Мы переносим свою деятельность за пределы двора. Точно стая голодных волков, мы шныряем по базарам, болтаемся на вокзале, торчим в садах. Подносим вещи пассажирам, нанимаем извозчиков, бегаем за папиросами, исполняем тысячи поручений, нередко возвращаясь домой настоящими богачами, с карманами, в которых позванивают медяки.

Особенно удачные дни выпадают на нашу долю в загородном саду.

Я скоро полюбил ночной, с темными сводами, прохладный сад, полюбил шум его ресторана, веселую музыку и сладкое дыханье цветов. Прижимаясь к деревьям, мы каждый вечер пробирались к огням и шуму, рассматривая богато одетых людей.

Веселые люди кричат, поют, размахивают руками. Звенят ножи, посуда, хлопают пробки толстых бутылок.

Сквозь темную листву виднеются звезды. Матовые электрические шары висят над белыми скатертями столов. Ночные бабочки кружатся в теплом свете.

Кто-нибудь из этих веселых людей замечал нас, подзывал к себе.

Мы входим в освещенный круг и, встав спинами к деревьям, стоим, ожидая счастья.

И оно нередко протягивало нам руку.

— Эй, мальчик! Заработать хочешь?

— Хочу!

— Город знаешь?

— Знаю!

— Слетай на Николаевскую! Есть там дом номер три, квартира восемнадцать. Спросишь господина Запольского. И передай ты ему, эфиоп мазанный, что его ждет здесь Николай Николаевич! Будет он или не будет — возьми записку. Одна нога здесь — другая там. Придешь через полчаса — гривенник. Понял?

— Понял!

— Марш!

Давали и другие поручения.

— Эй, малец! Смотри сюда!

Человек за столом тянулся в сторону полуосвещенной аллеи, где густо переливалась толпа и красные огоньки папирос плавали в воздухе.

— Видишь этих барышень в зеленом? Вот, вот, сюда поверни голову. На одной шляпа с пером. Видишь?

— Вижу!

— Вот, передай записку. Не той, что с пером, а которая рядом!

Ночью мы возвращаемся домой. Утром ватагой идем на базар, покупаем калачи, копченую воблу, квас, папирос, пряников и на задах, на пустыре, устраиваем пир и, пресыщенные до боли в животе, засыпаем.

* * *

Однажды вечером меня подозвали к столу, за которым сидело много веселых людей. Один из них, видимо чиновник — худой и черный, как цыган, — долго смотрел на меня круглыми желтыми глазами и, наконец, спросил:

— Ты кутилкин?

Сидевшие за столом захохотали.

— Что ж молчишь?

— Как прикажете! — ответил я, не понимая черного.

— Смирный, значит? — снял чиновничью фуражку черный. — Ну, ну!

Отвалившись на стул и ковыряя зубочисткой во рту, он спросил у меня:

— Ты насчет того, чтобы кутнуть в приятной компании... Не прочь?

— Я на все согласен! — продыхнул я, думая разжиться у стола гривенником.

— Ловкач ты, брат, я вижу! — оскалился черный. — А ну, иди-ка ближе!

Черный повел рукой над столом.

— Вот это, — показал он на половину съеденной птицы, — ты съел бы?

У меня за щеками хлюпнули слюни.

— Съел бы! — чуть не закричал я от счастья.

— Тише, тише! — остановил меня черный. — А вот это?

Палец повис над коробкой с маленькими золотистыми рыбками.

— Съел бы! — зажмурился я.

— А это?

— И это съел бы!

— А это?

— Съел бы!

Я следил за пальцем черного, показывающего на разные незнакомые мне, но, очевидно, вкусные кушанья, стучал зубами, ожидая знака, чтобы кинуться и проглотить все это.

Но черный не торопился.

— А вот это?

— Съел бы, дяденька! — со стоном вырвалось у меня

Черный замолчал. Я стоял, глотая обильные слюни, не смея шевелиться, боясь резким движением рассердить доброго дяденьку.

Черный зевнул.

— Что ж ты стоишь?

Я понял вопрос как приглашение взять со стола все, что мне нравится, но, не веря тому, стоял не двигаясь, не шевелясь.

— Что ж ты стоишь, мальчик? — снова спросил черный, зевая. — Постоял немного — и ступай себе с богом! Ну, иди.

иди, мальчик! — Он сдвинул сердито брови. — Пошел прочь, каналья! Иди, пока официанта не позвал!

Сидевшие с ним за столом хохотали. Обида обожгла мои глаза и прошла через них солеными, тяжелыми каплями слез.

— Гого-оль? — икнул сосед черного и, приподняв взлохмаченную тяжелую голову, крикнул пьяно: — А гоголь-моголь? Что-о-о?

— Так не годится! — сказал толстый человек с большими усами. — Раз угощать, так угощать как следует. Видишь, малый на все изъявил аппетит, стало быть, ему всего и дать надо.

— Ты не бойся, малец! — сказал толстяк. — Мы это устроим в два счета.

Он взял стакан и стал наливать в него понемногу из разных бутылок, затем, помешав ложечкой и насыпав чего-то из баночки, протянул его мне:

— Хвати, молодец! Хвати да закуси. Да чтобы капли не оставлять в стакане, не то, смотри, серчать буду!

Не смея благодарить добряка, я поднес стакан к губам и, не переводя дыханья, осушил его.

Стакан со звоном покатился, подпрыгивая, по земле.

* * *

Я тащился домой, хватаясь за заборы.

Улицы вертелись перед глазами. Рвота разрывала меня на части.

...Две недели я пролежал в горячечном бреду. Когда же встал, я был похож на зеленого старика.

Глава III

Мне — двенадцать лет.

Отца уволили с завода за кражу. С утра до ночи он грызется с матерью, обсуждая случившееся.

— Польстился? — ворчит мать.

— Дура, — убежденно говорит отец, — если я мастеровой, так можно мне быть без шабера? Как по-твоему? А если мне граш* надо снять? Пальцем я сниму?

— Вот теперь и снимай! Польстился на что?! А?

— Много ты понимаешь!

— Тьфу! — плюется мать.

— Плевать это что? Этим ничего не докажешь! — спокойно говорит отец. — А только не в шабере дело. И черт его знает, как все это неладно как-то вышло! Тиски пронес, клупп вынес, микрометр взял, французский ключ, пилы и вот — на́ тебе. На шабере — запятая получилась. Надо бы, безусловно, во дворе было бросить. Не везет дьявол! Прямо это удивительно!

— Поступи вот теперь! — ругается мать.

— Не в том дело! — скребет пятерней волосатую грудь отец. — Поступить что? Надо будет, так поступим!

— Поступишь ты?!. Кто тебя примет теперь? Пушкин?

— Да не принимай! Вот испугался! Эх, дура-баба! И правду говорят — волос длинен... Так по-твоему выходит: с озорства уворовал я?

Мать молчит.

— Нет, скажи, — настаивает отец, — значит, как же это? Жиган я, по-твоему? Всамомделишный вор!?

Мать молчит.

— Понимаешь ты сисю, да и то не всю... Значит, возить воду на воеводу расчет мне, по-твоему? Что я есть за человек? Анчутка! Гнешь, гнешь спину, а какой толк?

— Теперь будет толк! — ехидно вставляет мать.

— Не бойсь! Мы не пропадем! Не таковские!

---

* Ш а б е р — слесарный инструмент, которым пользуются для снятия граша (следы пилы).



* * *

Вечером приходят дядя Вася и Финогенов.

— Ну, как? — спрашивает Финогенов.

— Да, никак! — смеется отец. — У меня, брат, теперь полная мастерская. Тиски бы посмотрел какие!

— Неужто и тиски спер?

— А что? В зубы буду смотреть? У меня, брат, и метчики, и плашки, и сверла, и клуппик, и ножовки. Все честь честью. А что ребята говорят? Не осуждают?

Дядя Вася цвиркает слюной в угол.

— Жалеют ребята. Знатье бы дело — мигнул бы. Помогли бы затырить.

— Не смотрят, как на правдошнего вора? — беспокоится отец.

— А, брось ты! — машет руками Финогенов. — Не понимаем мы или как?

— А баба моя не понимает, — со вздохом говорит отец.

Мать молчит.

Обращаясь к товарищам и как бы призывая их в свидетели, отец говорит:

— Я теперь вольная птица. Сам на себя буду работать. Может, и меньше заработаю, однако сам хозяин. Не буду шапку ломать... А что, Вась, собрать бы это нам инструмент подходящий, да людей подобрать бы, да по ремонту? А? Толково говорю?

— Строгости теперь у нас после твоей оказии.

— Ну, а купить бы если...

— Что ж ты не покупал?

— Это верно! — смущенно соглашается отец. — Купило-то у нас притупило. Хотя, — в раздумье говорит он, — по гривеннику если откладывать каждую неделю...

— Так в старости будет полное обзаведенье! — плюет дядя Вася.

—И то правда! — смеется отец.

* * *

Отец ходит гоголем.

По воскресным дням у нас дымятся на столе мясные щи. Изредка мы пьем чай с теплым и мягким ситным.

— Пошло! Пошло! — хохочет отец. — А ты говорила? Я сказал — не пропадем, значит — вся тут. Испугалась. А это что?

Вытянув над столом широкие, с въевшейся гарью черные руки, отец кричит:

— Золотые! Не руки, а золото! Что хочешь сработаю! Никакая машина не устоит против меня.

Работая по ремонту, отец брал главным образом водопроводные и канализационные работы, но в свободное время занимался всем, что только подвертывалось под руку: исправлял замки, лудил самовары, устанавливал ванны, плотничал, чинил швейные машины, граммофоны и велосипеды, проводил электричество, клал печи, а как-то раз взялся исправить рояль, впрочем, провозившись около рояля несколько дней, отец напился пьяным.

— Ну ж, жизнь проклятая, — бормотал он сквозь пьяные слезы, — кому не надо — палкой гонят, а кому надо — зубом не угрызешь. А дай мне ученье, да я всех инженеров за пояс заткну.

* * *

Старые товарищи по заводу часто заходят к отцу. Они считают его особенным и как будто чего-то ожидают от него.

Отец хвастается, поит всех водкой, туманно говорит о каких-то больших планах.

Однажды Финогенов привел к нам рабочего, который выделялся среди всех своей особенной повадкой. Был он серьезен, неразговорчив и больше прислушивался к тому, что говорили за столом, роняя изредка скупые, ничего не значащие слова.

— Вот человек! — кричал подвыпивший Финогенов, хлопая отца по плечу. — Такой тебе нужен?

— Я такой! — хохотал отец. — Я все могу! Я вот взял да и украл. То меня обкрадали, а тут я их. Вот я какой!

Странный гость строго посмотрел на отца, затем, опустив глаза, сказал тихо:

— Не годится все-таки... Рабочий не должен воровать. Это унижает его.

— Ка-ак? — захлопал глазами отец. — Осуждаешь, стало быть, меня?

— Осуждаю! — тихо сказал гость.

Отец нахмурился. Подумав немного, он спросил:

— За моим столом сидишь и осуждаешь?

Гость, побледнев, медленно поднялся из-за стола, отодвинув с шумом стул.

— Простите, товарищ, но меня невозможно купить. Спасибо вам за угощенье.

Отец растерянно оглянулся по сторонам.

— До свиданья! — сказал гость.

— Ну, нет, – бросился к нему отец, — ты сиди! Ты прости меня. Ну хочешь, я тебя поцелую.

И, не ожидая разрешенья, он троекратно облобызался с бледным, сухим человеком.

— Ну, скажи, здорово я тебя обидел? Ах, курья нога! Да ты сядь! — засуетился отец. — Хочешь, я чайный стакан за твое здоровье?

* * *

Несколько дней после того ходил отец расстроенный, бормоча под нос разные жалкие слова, но вскоре успокоился.

— А ну их! Никому не дано правду знать. Каждый посвоему притворяется. Ну-ка, Ян, собирайся. Пойдем не спеша.

Я работаю вместе с отцом. Мы ходим по квартирам «с ремонтом». Работы много. С утра до вечера мы возимся в клозетах, в ванных и на кухнях, возвращаясь домой испачканными грязью.

Отец приучает меня к делу, объясняя попутно все тонкости трудной и сложной жизни.

— Ты наблюдай, — поучает он меня дорогой, – а сам помалкивай да на ус мотай. Вот возьмем хотя бы сегодняшний случай. Ты вот лезешь и орешь: кожа! А к чему такой крик? Мастеровой должен быть степенным. И без крику! Мастеровой свое дело знает, а они пускай свое знают. Думаешь, я без тебя не вижу, что кожа? Замечательно вижу. Но... Молчу.

Кран течет? Ну и пусть его течет. А почему течет — это дело наше! Починка, безусловно, пустяковая, а ты не подавай виду. Старайся ты показать, будто и сам не понимаешь, в чем загвоздка. Настоящий мастер полчаса должен походить вокруг, поморщиться да головой покачать: дескать, работа хотя и серьезная, но сделать, однако, можно... Быстрый ты очень. Схватился, раз-раз — и готово. Так не годится. Уваженья к своему труду не получишь. Ну, скажут, дело-то такое пустяковое, а он полтину просит.

— Совестно же!..

— Им не совестно, а нам чего? Толстая-то барыня сегодняшняя... Видал? Лежит да книжку читает. А ты гляди, какой вид у нее серьезный. Будто она и в самом деле утруждает себя. Ты молодой, безусловно, а я насмотрелся. Я их вот как знаю. Они что? Дурака они валяют, а со стороны посмотреть, так будто изнуряются работой. Дело важности требует. И цена тебе повышается оттого. Ну и опять же еще хочу тебе сказать: ты вот ручником по рукоятке бьешь, а это никак уж не годится. И пилишь ты, как валеный сапог. При чужих людях я не стану срамить, но только нужно и тебе соображать. Ты силой берешь, а сила тут не нужна... Пилить надо с легким сердцем, играючи. Забыть надо, что работаешь. А ты что делаешь? Ты ее жмешь со всей силой, будто сталь ножовкой садишь.

— Я не жму!

— Жмешь! После тебя рукоятка мокрой становится. Ты ее жмешь, оттого она и качается у тебя. То вверх, то вниз. Что получается из этого? А то, что опиловка круглой становится. Сегодня, опять же, вместо драчевой пилы ты схватил личную. А личная когда употребляется? Когда уж драчевая прошлась как следует. Корку опять же... Сколько раз я тебе говорю, снимай ты, пожалуйста, корку зубилом. Чугун же ведь это. А ты по корке — знай себе садишь. Пила же портится от этого. Меня, брат, как учили? Носом тыкали. Кровью тиски поливал. А у тебя рассеянность большая.

Отец мой разговорчив и словоохотлив. Появляясь на кухне, он на пороге заводит разговор о погоде, а через полчаса рассказывает о своей жизни.

«Господ» отец считает круглыми дураками, а каждая «барыня», в его глазах, «ищет себе мужика».

— Голая у них жизнь! — говорит отец. — Ни богу свечка ни черту кочерга. И для чего только живут люди, — никак не пойму. Жрут целыми днями да пуза наживают.

Одна барыня, для которой мы с отцом ставили теплый ватерклозет, прибегала к нам каждые пять минут. Размахивая широкими рукавами цветного халата с большими букетами, она пыталась лично руководить установкой «вазы», давая отцу советы и указания.

Барыня хотела, очевидно, показать, что ее трудно обмануть в чем-нибудь и что она-то уж ни в коем случае не допустит, чтобы ей подсунули «вазу» с плохим рисунком. Но отец понял ее иначе. Он многозначительно улыбался, крутил убийственный ус, а к вечеру напился допьяна, пел чувствительные песни и говорил матери о какой-то купчихе, которая без него жить не может и готова с радостью пойти за ним на край света.

Глава IV

Жизнь моя делает неожиданный поворот.

Как-то вечером зашел к нам подвыпивший Финогенов. Под мышкой у него расползлась груда книг, засаленных до такой степени, что казалось, будто они вот-вот начнут капать жиром.

— Видал? — поднял Финогенов книги над головой.

— Книги! — неопределенно промычал отец.

Финогенов икнул.

— Не книги, а прекрасное существование.

— Куда вам, Сергеич, такую уйму? — спрашивает мать. — Неужели прочтете все?

— Бесприменно! И не то что прочту, но все назубок вытвержу.

— Господи Иисусе, — испуганно крестится мать, — столько прочитать. С ума ведь сойти можно. Я вот девушкой была, так у нас во дворе студент был один. Так тоже. С утра до утра, бывало, читал книжки, а потом отвезли в сумасшедший дом.

— У студента мозга жидкой оказалась. И потом, книжка — книжке рознь. Некоторые возьми да брось, а которые большую пользу приносят. Мои книжки с толком подобраны. Не простые они, хозяюшка. Тут — прямой есть путь, как сделаться техником.

Отец беспокойно завозился на месте.

— Что это ты говоришь такое? Несуразицу какую плетешь. Такой чучел, да в техники вдруг?!

— Мы знаем, что знаем! — засмеялся Финогенов. – Мне это верный человек сказал.

Финогенов сел на заныввший под его тяжестью стул и с размаху ударил ладонью по книгам.

— Механика тут обыкновенная. Стало быть, заучу я, что имеется в этих книгах, и подаю прошенье. Дескать, так и так– пышки в мак, имею желание экстренным держать экзамен за гимназию. Выдерживаю я экзамен. Еду в Москву. И опять прошенье. Желаю, дескать, учиться на техника. По-

ступаю в университет, учусь, а через четыре года — будьте любезны. А ну-ка, где, скажу, проживает чумазый слесарь Ларри? Выйдешь ты ко мне, а у меня на фуражечке молоточки. Что изволите, господин техник? А я скажу: и не господин я тебе, а Сашка Финогенов. На, скажу, друг, шампанского тебе. Выпьем давай да потолкуем, как нам с тобой техническую контору открыть. Да ты держись, скажу, просто со мной. Я, брат, чувствую, из какого званья вышел. Ты эти вежливости отложи в сторонку. О деле будем говорить. Ах, дьявол, — жмурится Финогенов, – делов бы мы с тобой закрутили. Всех бы хороших мастеровых в одну кучу сбили, да как бы двинули, друг. Эхма! Всех господ без штанов пустили бы. И порядок бы я завел. Обращенье чтобы простое, а что заработаем – на равные доли. Дом бы на Николаевской заарендовали и вывеску с золотыми буквами: «Техническая контора техника Финогенова и рабочих таких-то. Ремонт, подряды и всякая такая мура».

Бледный от зависти, отец взволнованно смотрит Финогенову в рот, слушая, как зачарованный, необыкновенные слова, но тотчас же стряхнув наваждение, говорит недоверчиво:

— Что-то у тебя все легко да гладко получается. Так-то это всякий захотел бы. Это и я, брат, не прочь.

Финогенов приходит в восторженное состояние:

— Ну? Друг? Неужто согласен вместе со мной?

— Согласен-то согласен, да выйдет ли толк. Не слышал я будто про такие чудеса.

— Выйдет, друг. Уверяю тебя — выйдет. А что не слышал — не важно. Выучимся мы с тобой, вот и будет пример.

На столе появляется водка. А через час отец верит в техническую контору крепче Финогенова. Ночью они по-братски делят между собой принесенные книги. Финогенов раскладывает их на две ровные кучки, приговаривая при этом:

— Тебе одна толстая и мне – толстая. Тебе — потоньше и мне — потоньше.

И тут же составляют программу:

— Сначала тоненькие книжки надо зазубрить, а там и за толстые примемся. Практика у нас уж будет.

Отец изъявляет желанье тут же и начать ученье.

— Ах, курья нога! — восторженно кричит он. — Открывай книжку. Давай. Начнем, друг.

— Завтра начнем! — икает Финогенов.

— Ну, завтра так завтра, — кричит отец. — Истинный друг ты мне. А это все обучим? А? Ах, курья нога.

— Сыну-то дай книжку, — мычит Финогенов, — Янку тоже выведем в люди. Сына твоего люблю я. И всех я люблю. Ей-богу.

Но тут выясняется, что я даже азбуки не знаю.

Отец удивлен:

— Ах, курья нога! Как же это я упустил из виду? Ты что ж мне не сказал? Ян? А?

Я притворяюсь спящим.

* * *

Затея Финогенова забавляла отца и друга его больше месяца. Они подолгу засиживались над книгами, стараясь понять, «что к чему», но книжная мудрость раздавила их упорство. Вскоре они вынуждены были признать себя побежденными.

— Ни хрена не выходит, — первым сдался отец, — ты одно учишь, а тут другое лезет непонятное. Нача-ала мы, друг, поймать не можем. А без начала — беда.

— Без начала беда, — соглашался Финогенов, — надо бы докопаться, откуда идет все это.

— Верный-то твой человек не знает? А?

— Спрашивал. Говорит — подряд учи. После, говорит, поймешь.

— Пожалуй, учи, — качал головою отец, — толк-то какой из этого? Выходит нá тебе, сделай циркуль, а я, может, и ручника в глаза не видал, а пилу сроду и в руки не брал. Разузнать надо: где начало лежит всему.

Охладев к ученью, отец принялся учить меня. Он достал где-то разрезную азбуку, положил ее на стол и, подозвав меня, сказал:

— Видишь загогулины эти? Тут их три десятка с небольшим. Буквами называются. Отличаешь одну от другой?

— Отличаю!

— На то они и разные, чтобы отличать их, однако некоторые похожи промежду собой. Тут важно, чтобы каждый крючочек запомнить. Вот тебе буква «А», а вот буква «Л»: с виду будто и похожи, только Л без перекладинки, а буква А с перекладинкой. Понятно тебе?

— Понятно.

— А понятно — значит, и говорить больше нечего. У нас сегодня какое число? Четвертое. Ну, вот, к двадцатому постарайся. А пока один я поработаю.

Он взял со стола три первые попавшиеся буквы, положил их передо мной, остальные же сгреб в кучу и сунул себе в карман.

— Вот это Ш, это — Б, это — М. К завтрашнему спрошу у тебя. Выучишься к двадцатому — проси что хочешь. Полцарства дам. Не выучишься — сукин сын будешь.

Щедрость отца не произвела на меня должного впечатления.

Я никогда не нуждался в «полцарстве», но сукиным сыном мне не хотелось быть. Я разложил перед собой буквы и начал изучать их, не вылезая из-за стола.

— Мэ-то которая? Эта?

— Б это, дурак. М вот раскоряченная. Да ведь просто-то тут как. И учиться вроде бы нечему.

Два часа я бьюсь над буквами, однако путаю их отчаянно.

— Ш — это значит?

— Б, а не Ш. Ну, и голова же у тебя дубовая. Вот смотри, я тут напишу тебе на уголке.

И отец ставит в углах картонок свои каракули.

— Забором — значит Ш, кренделем – Б, а раскорякой – М. Да ты сам старайся. Ко мне лезть нечего. Я-то все знаю. Ты теперь умом доходи.

На следующий день отец передал мне еще три буквы.

К концу месяца я мог читать вывески.

— Что написано?

— Булочная!

— Вот дьявол, какие способности?! А это?

— Колбасная!

— Шпарит как?! А? И не споткнется?! А это?

Я взглянул на витрину, где стояли банки с красками, из которых во все стороны торчали щетки.

— Красочная! — вдохновенно выпалил я.

— Куда ж ты смотришь? — удивился отец. — Какая первая буква?

— М!

— Ну, и выходит москательная лавка. Откуда красочную ты взял?

Мне стукнуло четырнадцать лет.

Глава V

Двор живет своей обычной жизнью.

По воскресным дням несутся из подвалов песни.

Бабы бегают из квартиры в квартиру, одалживая друг у друга сковороды, чашки, стаканы, табуретки. Ситцевые яркие платья весело шуршат во дворе.

Пьяные голоса кричат во всех углах. Во двор выскакивают красные от водки люди.

Люди пьют, поют, топочут ногами.

Пьяный Евдоха сидит на подоконнике. По-бабьи подперев голову рукой, он качается из стороны в сторону и тянет тоненьким печальным голосом:

Песня-я у-уда-ала-а-а-ая
За-а-а- реко-о-ой зву-чи-и-ит.

Из подвальных окон жестянщика Николая, вместе с нестройным шумом, катится рев голосов:

На диком бреге Иртыш-а-а-а-а
Си-и-де-ел Ермак, объятый ду-у-умо-ой.

К вечеру во двор выходят все пьяные. Дядя Вася, в новой гарусной рубахе, идет через двор, поддерживая небрежно гармонь, грузно садится на ящик у дворницкой.

— Ва-ася! Дру-уг!

Дядя Вася не обращает внимания. Прищурив глаз, он открывает рот. Лицо его делается каменным. Он не замечает никого. Он кажется погруженным в глубокий сон, но руки его безостановочно снуют, растягивая певучие меха гармоники, и стройные лады плывут в синеве вечера, заставляя людей подергивать плечами.

— Эх.

— Жги.

— Рви с подметкой. Шпарь. И-эх, ма.

— Эх, эх, эх.

Подергиванье плечами становится яростным. И вот уже ноги пришли в движенье.

Ходи изба, ходи печь.
Хозяину негде лечь.
Эх, эх.
Эй топни ногой! Приударь другой!
А кто со мной, пойдет с молодой.
Эх, эх, эх, эх, поплясать не грех.

— Под-дай.

— Э-э-э-а-а-а.

Разбойный свист разрывает воздух. В широкий круг выплывает, топая каблучками, жестянщица.

— Ай, держите меня. Ай, ловите меня. Ну-ка, ну-ка, нука, взвеселите меня.

— Ой-й, — кричит отец, — не могу.

Топнув ногой, он становится перед жестянщицей, дергая рукою залихватский ус.

— Вася! Друг! Над-дай!

Захлебывающиеся, веселые переборы подхватывают ноги отца, несут по камням, высекая неистовые искры. А жестянщица плывет, платком помахивает. Грудь ее высоко похаживает, то вверх, то вниз, щеки горят, глаза блестят зазывно, лукаво.

— Ва-ся!

— Жги-и!

— И-эх, эх, эх!

Ходи изба, ходи печь
Хозяину негде лечь.

* * *

Ночью начинается драка. Жестянщик, тяжело дыша, волтузит свою жену. Крик и плач сливаются с матерщиной. Во дворе появляется полиция.

Двор пустеет. Гаснут огни. Жестянщица, избитая мужем, плачет в дровяном сарае.

По двору бродит старый Храпач, покачиваясь, точно старая баржа на приколе.

— Господи, Господи, — шепчет Храпач, — до чего же доводишь людей, боже милостивый.

— Иди спать, – командует Евдоха из окна.

— Вот и повеселились, — шепчет Храпач, — поплясали людишки твои.

— Ты что колдуешь? — не унимается Евдоха.

— Страшная жизнь твоя, Господи! Да не в суд и не в осуждение, но во оставление грехов.

Евдоха ложится на подоконник и прижимается лицом к холодному камню. Пьяненьким голоском Евдоха тянет незлобиво:

Живу ли я,
Умру ли я, —
Все мошка я
Веселая!

* * *

Обильной жизни приходит конец. Ремонтные работы сдают техническим конторам. Отец занят теперь два-три часа в день. Остальное время проходит у него в посвистывании. Он ходит из угла в угол, неутомимо покручивая пышные усы. Изредка остановится перед окном, посмотрит на кусок голубого неба и плюнет. Потом подойдет к тискам.

— Н-да...

Стирая пыль рукавом с металла, он начинает мурлыкать:

Под вечер осени ненастной
В пустынных дева шла местах...

Оборвав песню на середине, вздохнет и снова скажет:

— Н-да!..

Потом опять плюнет:

— Дела-а, едрить ее корень...

Через товарищей отец устраивает меня на завод, подручным к дяде Васе.

Я хожу в новом картузе и в жилетке. Во время разговора на дворе и к делу и не к делу вставляю поминутно:

— Мы, заводские, народ отчаянный! Жизнь у нас рисковая!

Вовочка — гимназист. Он реже теперь бывает во дворе и держится солидно. Однако передо мною Вовочка робеет.

— У нас ведь что? — стараюсь я говорить басом. — У нас зацепит ковшом и — квиты. В момент — пепел из тебя. Ли-

тье! С ним не шути! У машины тоже зевать не приходится. В момент – расчавкает. Оттого и пьем мы, как лошади. Без водки нашему брату никак невозможно.

У Вовочки глаза становятся круглыми.

— И мальчики пьют?

— Это когда мальчики... А у нас мальчиков нет. У нас – ребята. У нас есть Федьша, так не смотри, что ему тринадцать лет, – он, брат, любого мужика перепьет. С бабами, конечно балуемся... Спуску не даем!

Мне почему-то нравится показать себя перед Вовочкой хуже, чем я есть. И я оговариваю себя без зазрения совести.

— Башка сегодня трещит. Опохмелиться бы надо, конечно. Однако держусь. Зарок у меня. Месяц держусь, а три дни гуляю. Три целковых вчера просадил.

Вовочка с испугом смотрит на меня широко открытыми глазами, а я цвиркаю слюной и притворно зеваю:

— Шухер вчера затерли в трактире. Что было — хоть убей, не помню, а только Саньша говорит утром: помнишь, грит, как ты вчера ножом стебанул одного? Нет, грю, не помню. Ну грит, твое счастье, что не до смерти, не то было бы делов!

Я круто повертываюсь и, заломив картуз, ору:

Ахти, да охти,
Дыд, на-д ня-я-я-сочке-е!

Покачиваясь из стороны в сторону, я иду к воротам; проходя под окнами дворницкой, распеваю во все горло похабные частушки.

Дворничиха теперь скрывается при моем появлении, а встречая на улице, перебегает на другую сторону.

* * *

Где-то есть хорошая, чистая жизнь, где-то тут же, рядом находится иной мир. Но что я знаю о нем? Он лежит над моей головой этажами, выходя на улицу парадными зеркальными дверями, широкими лестницами, лифтами и коврами.

По весенним звездным вечерам этот мир открывает окна. Веселые огни путаются в тюлевых занавесях. Смех, музыка и девичьи голоса вырываются из окон и уплывают в небо.

* * *

После гудка широко открываются ворота завода. Черная, пропахшая мазутом и машинным маслом толпа с ревом выливается на тротуары переулка,

Опорки на ногах звонко шлепают по асфальту. Пыль с мостовых летит в глаза. Я иду усталый, голодный, и злость, как горячий пар, поднимается в одеревяневшую голову.

На заводе меня зовут «художником», и я из кожи лезу вон, чтобы оправдать это званье.

Заметив впереди себя важную барыню с прислугой, я подмигиваю ребятам и выступаю вперед.

Поравнявшись с барыней, я быстро наклоняюсь к земле. Барыня испуганно отскакивает в сторону.

— Успокойтесь, мадамочка! — говорю я. — У меня портянка размоталась...

И улыбаясь, добавляю несколько похабных слов. Барыни и след простыл.

Ребята хохочут.

* * *

Я не знаю, откуда у меня это, но я ненавижу чистых, хорошо одетых. Отец считает их дураками, а я смотрю на них, как на своих врагов. Никто и никогда не учил меня ненависти. Это поднимается откуда-то изнутра, мутит голову, заставляет смотреть прямо и нагло в глаза и, смакуя каждое слово, говорить разные гадости.

И я не один. Сотни таких же, как я, вылетают из завода после гудка и с омерзительной руганью бегут вперед, через каждые два шага устраивая скандалы

По улице несется предостерегающий крик. Закрываются окна. Девушки вскакивают со скамеек, пугливо скрываются в ворота.

— Фабричные...

— Фабричные...

Где-то есть хорошая, чистая жизнь, и девушки у тюлевых занавесей прижимаются к стройным юношам горячими губами. Музыка играет что-то печальное. И смех девушек благоухает сладкими цветами.

— Эхма! Эй, барынька, гляди, гляди! Штаны потеряла!

Глава VI

Война началась неожиданно.

Теплым июльским вечером улицы внезапно загудели людским нестройным шумом. Подмывающе загремели оркестры. Крики «ура» вспыхнули во всех концах города.

Я выскочил на улицу.

Черная толпа густыми рядами шла в сторону площади.

Впереди шагали люди в поддевках, остриженные в скобку. В руках у них колыхались большие царские портреты.

— Ур-р-р-ра!..

Во всех этажах хлопали окна. Из ворот выбегали люди без фуражек. Тротуары быстро покрылись черной толпой.

— В чем дело?

— У-р-р-ра!..

Человек в поддевке, шагающий впереди, махнул фуражкой.

— Смерть немцам!

— У-р-р-ра!..

Я смешался с толпой.

— Что это? А?

— Война! С немцем воевать будем! — крикнули в рядах несколько голосов.

Сзади запели: «Боже, царя храни». Шагающий рядом со мной чиновник закричал визгливо:

— Умрем за царя и отечество!

Опять прокатилось «ура». Я кричал вместе со всеми, не жалея глотки, радуясь случаю поорать.

* * *

Манифестация затянулась заполночь. Неизвестно откуда появились факелы, освещающие ночь темно-багровым светом. Кого-то подбрасывали вверх. Кто-то и с кем-то целовался.

Я вернулся во двор возбужденным, торопясь поделиться новостями. Заметив кучку людей около дворницкой, я сорвал с головы фуражку и закричал:

— У-р-р-ра!

Крик мой, не подхваченный никем, повис одиноко в воздухе.

— Дура-а-а-ак! – передразнил Евдоха.

Все засмеялись.

Это обидное равнодушие задело меня.

Я видел в войне что-то большое, необыкновенное, что должно было встряхнуть постылую жизнь, сделать ее осмысленной, радостной. Что именно должна была принести с собой война, я не знал, но уже сегодняшний крутой поворот жизни, казалось обещал, многое.

Равнодушие двора обескуражило меня.

— Ну?– засмеялся Евдоха. — Чему обрадовался сдуру?

— А плакать мне, что ли?

— Да радоваться нечему! – заметил жестянщик.

Не обращая больше на меня вниманья, он повернулся спиной, продолжая беседу:

— Орут: немца бить. А немца-то не бить надо, а поучиться у него уму-разуму следует. Учиться у немца надо, а не бить его.

Я с удивлением посмотрел на Евдоху. Что он? С ума спятил?

— А если лезет? – спросил я.

— Немец, он зря не полезет! — захихикал жестянщик.

— Сами мы лезем! — сказал Евдоха. — А чего лезем, так и не знаем... Земли, что ли, у нас мало? Вояки-сраки. На своей земле порядков завести не могут, а туда же на чужую зарятся.

— Так тоже нельзя рассуждать! — качает головой дворничиха. — Если мы не будем воевать, немец наше государство заберет.

— А пускай забирает! Может, при немце-то хоть жизнь увидим! Да рази это государство? Позор один, а не государство! Китайцы только и живут хуже нас во всем мире.

— А ты видал? — сердится дворничиха.

— Видать не видал, однако думаю: похабнее нашей жизни во всем свете не сыщешь!..

— Ну, тоже... такие разговоры!

Кое-кто торопливо отходит.

— Ну вас к богу, нашли тоже тему!..

— Народу теперь поломают — страшно подумать! — не унимается Евдоха. А только холку нам надерут, безусловно. Не нужна эта война народу. Ни с какой стороны не нужна.

* * *

Город неузнаваем. По улицам каждый день проходят с музыкой солдаты. На вокзалах шум, плач, солдатские песни. Площади заняты обучающимися солдатами. Улицы наводнены газетчиками.

В первые же дни войны закрыли монопольки. Двор стал трезвым и тихим. Жестянщик Николай выходит после работы с газетой в руках. К нему подходит Евдоха, потом кучка людей обступает Николая.

— Ну-ка, ну-ка! Читай!

— Как там? Чего там?

Захват немцами Калиша почему-то вызывает у Евдохи приступ веселого смеха.

— Вот тебе и на! Сразу, да по башке. Ну, ничего, — пол Расеи отдадим и замиренье выйдет. Эхма, лежать бы уж нам на печке да клопов давить. Вот тебе и ура.

Мне немного обидно. Было жалко отдавать немцам Калиш.

— Война, — встреваю я в разговор, — такое дело. Сегодня отдал, завтра — взял. Может, заманивают немца? Ты что знаешь?

— Тетеря! Молчал бы! Заманивают?! Политик тоже выискался. Чистый генерал.

Волнуется и завод. Здесь говорят о другом.

— Если возьмут, — слышно в одном углу, — так надо стараться попасть под суд, да в штрафную роту. Войну, глядишь, и проворонишь как-нибудь. Плохо, конечно, будет, но, однако, живым останешься.

— Теперь думка одна должна быть: попасть на военный завод! — слышно в другом углу.

Сегодня мастер Бузников пришел в цех за несколько минут до работы. Подойдя к кучке рабочих, он поздоровался и спросил:

— Ну? Что новенького?

Рабочие переглянулись.

— Да как сказать, Николай Степанович... Воюем вот.

— Войну обсуждаем. Немца ругаем.

Мастер достал из портсигара папироску и постучал мундштуком по крышке.

— Что ж... война... И воевать плохо и не воевать нельзя...

— Да, это, конечно, — неопределенно протянул Пронин, — только... ну, как бы вам сказать... не очухаешься сразу-то. Будто гром среди ясного неба...

— Положим, — двинул бровями мастер, — Германия уже сорок лет готовилась к нападению.

— Неймется ей или как? — с невинным видом спросили у мастера.

— Да это как хотите понимайте.

— Но все-таки?

— Сказать прямо, — кашлянул мастер, — зарится Германия на нашу землю.

— Ну, что ж, — подмигнул Пронин, — придется, видно, дать Германии по шеям, Расея-то наша вон какая. Миллионный народ. В рукопашную пойдем, так и то не устоять никому.

— Я думаю, война не продлится долго, — уверенно сказал мастер, – если не к Рождеству, так к Пасхе непременно кончится.

— Дык... это уж безусловно.

А через несколько минут, в вонючей уборной, Пронин хохотал во все горло:

— Слыхал? Сорок лет готовилась... Ну, уж и накостыляют нам. Как богатым купцам всыпят.

— Мастер-то, слышь, и сам не знает, с чего она, война эта.

— С чего? Да все с того же... Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.

По заводу поползли слухи о забастовках в Питере и Москве. Шепотом передавали о листовках, найденных в уборных. Через неделю заговорили об арестах. На заводе появились новые рабочие, которые громко кричали о притеснении рабочих.

Дядя Вася некоторое время присматривается, затем говорит загадочно:

— Осторожнее, ребята, с этими, смотри, языком-то не очень трещите.

Завод затих. Меньше разговоров. Работают нехотя. В цехах пахнет скукой.

* * *

Отец поступил на военный завод. Мать шьет белье для армии. Она теперь ходит веселая и дома распевает песни.

Мы работаем трое.

В первый месяц после войны наш заработок поднялся до ста рублей.

— Кому война, а мы при войне только свет увидели, — смеется мать.

Жаловаться, действительно, не приходится. Живем прекрасно. Мясо со стола не сходит. Чай пьем с калачами. Ложимся спать после плотного ужина. Мать купила пузатый темно-красный комод и присматривается к швейной машине. Особенно довольна мать запрещением продажи водки.

— Вот так бы ее навовсе уничтожили, – говорит мать, — первой бы молельщицей была.

— Да уж чего бы лучше, — поддерживает жестянщица.

Все женщины во дворе довольны закрытием монополек.

Евдоха посмеивается:

— Мы-то знаем, что знаем... Трезвенность...

— Ну, уж, ты уж...

— Тар-тар-тар, — хохочет Евдоха.

Он ходит праздничным и веселым. Вчера его признали негодным для армии.

* * *

Привезли первых раненых. Мы ходили на вокзал, но протолкнуться к вагонам не удалось. Вокзал забит гимназистами, гимназистками, чиновниками и военными. У всех в руках цветы. В зале I класса кричат «ура».

* * *

Город наводнен беженцами. Они ходят толпами, эти обалдевшие люди в больших картузах с маленькими козырьками.

Всюду говорят о зверствах немцев. Лавочник повесил на дверях цветную картинку «Геройство казака Кузьмы Крючкова».

На картине изображен чубастый парень, протыкающий копьем голубых немцев.

Евдоха посмеивается:

— В Японскую войну вот так же рисовали. Казак япошек, словно вошей, давит, а япошки-то, гляди, и накостыляли героям. Наша берет – и морда в крови.

У всех только и разговору что о войне.

Завод молчит.

* * *

Вовочка удрал из дому. Поехал убивать немцев. Через неделю Вовочку поймали.

Пороли.

Глава VII

Уже два года тянется война, а конца и не видно. Россия оделась в солдатские шинели. В газетах печатают списки «убитых героев». По ночам шумят оркестры. Тысяча за тысячей идут умирать на фронт хмурые люди в шинелях. За ними, по тротуарам, бегут вприпрыжку женщины. У многих на руках — дети. Под сводами вокзала колыхается надрывный плач. Играют трубачи. Темные эшелоны трогаются с места. Двери вагонов широко открыты. Солдаты поют. Играет гармоника. Женщины падают на перрон, бьются головой, кричат.

— Россия кричит, — говорит Храпач.

— Какую ж это жизнь для людей устроили, — хмурится Евдоха. — Бойня! Бойня, едрить ее налево.

Унылые катаются солдатские песни.

Завод молчит.

* * *

Раненые солдаты говорят об измене, называют генералов, которые торгуют армиями направо и налево.

— Продали, — открыто вторят солдатам.

— Продали и пропили.

Солдат с перевязанной рукой громко говорил обедающим в трактире, никого не стесняясь:

— Продают нас, земляки, вроде бы как картошку на базаре. И пудом и мешками. И оптом и в розницу. В Карпатах заместо снарядов сухарей нам представили. Цельными эшелонами нагнали сухарей. Рази это война? Убивство одно. В наступленье идешь — на троих одна винтовка. Они стреляют, а мы, как дураки, лоб подставляем. Погибла Расея.

* * *

Цены на продукты растут, как снежный ком. У булочных с раннего утра выстраиваются очереди. В газетах пишут о голоде в Германии. Ранеными забиты школы и кинематографы. По вечерам улицы тонут в полумраке.

Гуляют прапорщики и гимназистки.

* * *

На заводе арестовали литейщика Фомина и двух инструментальщиков.

* * *

Жить становится с каждым днем труднее. Наши заработки уже не вызывают удивления у матери.

— Куда они, бумажки-то, — ругается она, — названье одно, что деньги...

Хожу на работу. Дорогой прислушиваюсь, как мерзлая картошка булькает в животе, наполненном водой.

* * *

Газеты пишут о беспорядках в Питере.

— Немецкие шпеоны орудуют, — говорит лавочник.

— Шпеоны? — передразнивает Евдоха. — Небось как станет кишка за кишкой гоняться, так почище шпеона заорудуешь.

— То исть? — щурится лавочник. — Как же это я должен понять тебя?

— Как знаешь, так и понимай.

— Смутьян ты, Евдоха... О, господи! — мелко крестится лавочник.

* * *

— Зачем она, эта война проклятая?

— Всю Расею испохабили.

— Немцу хорошо воевать. У немца машина, а русский голой пузой лезет.

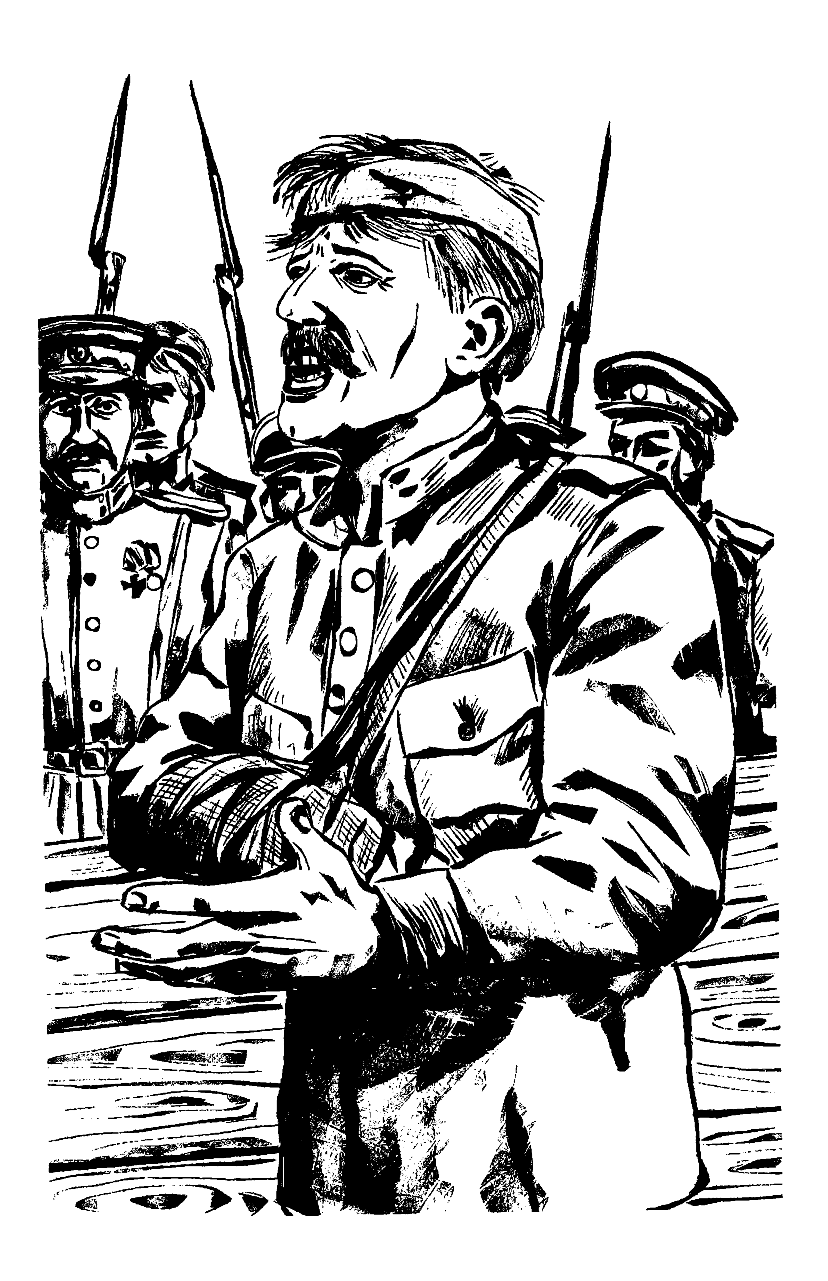
— Денег-то сколько тратится. Собрать бы такие суммы в одну кучу, так всем бы всего по горло хватило.

— Истребляют народ только — вот тебе и война.

— Дрались бы цари промеж собой, а при чем тут народ? Мы-то за что мучаемся?

— Как собаки народы склещелись. И кто только разливать будет?

— Генералам чины да ордена, а матерям слезы. Офицеру награда, женам — вдовство.



— Эх, был бы я царь, созвал бы я все народы...

— Ну, ну, ты. Царь. Попривяжи язык-то свой...

— Только и жизнь австриякам пленным.

Каждый раз, возвращаясь с работы, я прохожу мимо ресторана «Альпийская роза». Веселый шум и музыка вырываются из дверей. Сквозь стекла окон я вижу голубые мундиры австрийских офицеров. Они проводят дни в веселых беседах, уничтожая слоеные пирожки, кофе, сливки, бисквиты, пирожные.

— Вот дьявол, — качает головою дядя Вася, – денег у них прямо не протолкнешься.

Тут же, за соседними столиками, сидят русские офицеры. Они угощают австрийских офицеров, рассказывают им что-то веселое.

— Тьфу, — плюет озлобленно дядя Вася, — до чего ж это похабно все. Чистая комедия.

* * *

Я заболел. Седой врач, осматривая меня, ворчит, дергает скулой, хмурится.

— Что у меня?

Врач смотрит поверх очков, точно козел, приготовившийся бодаться.

— Рабочий?

— Рабочий.

— Бросить надо работать. Газетами торгуй... о победоносной армии... Впрочем, подожди...

Он садится за стол, берет в руки перо.

— Ляжешь в больницу недели на две... Все равно уж теперь...

* * *

В больнице я пролежал больше месяца.

Вышел на улицу — не узнать города.

Грязь. Снег лежит горами. Всюду очереди. Многие магазины закрыты на замок. Люди хмуры. Солдаты проходят мимо без песен. Резкая дробь барабанов раскатывается железым горохом.

Холодно.

Неприветливо.

Тоскливо.

Дома у нас сидит дядя Вася. Он молча здоровается со мной, спрашивает о здоровье и, не ожидая моего ответа, говорит:

— Довоевались. Докатились до кромки, едрена корень.

Отец искоса глядит на меня, что-то хочет сказать, но, махнув рукой, повертывается к дяде Васе.

Отец осунулся, оброс бородой, выглядит растерянным, жалким.

— Повеситься... только и остается... Работать-то ты не ходи, — обращается он ко мне, — все равно уж теперь... Бастует завод...

Вечером приходит Финогенов. Он возбужден, говорит быстро, будто горохом сыплет.

— Вот дела-то, а? — кричит Финогенов, переступив порог. — Ну, и наслушался я... И дьявол его знает, откуда появился такой. Маленький, плюгавый, нос вроде пуговицы от портков, а говорит... как река течет. Ага, Ян! Выздоровел уже? С места не сойти... Будто ноги приклеил к полу своим разговором...

— Да ты о чем?

— А про собранье... Кругом заперлись, а полиция барабанится, так не поверишь, все ходуном ходит. Ну и говори-и-ит. Безо всякого. Чешет и чешет. Война, говорит, толстопузым нужна. На народных, грит, костях капиталы наживают. Всего не запомнил, но о... Скажу прямо, будто налил он меня разговором. Каждой косточкой чувствую теперь...

— Америку открыл, — ворчит дядя Вася, — это и без него знаем, что богачи из-за прибылей передрались. Ты бы новенькое что сказал.

— Дык... Вот ведь язык-то у меня деревянный... Конечно, новое он говорил, только рассказать не умею этого.

— Пустое дело, — почесывается отец, — поговорят, поговорят, да опять за старое возьмутся. Первый раз, что ли?

Лавочник встречает меня усмешечкой:

— В шпеоны записался?

— В какие шпеоны?
— Не работаешь, говорю?
— Бастуем!
— Нашли время...
Подумав немного, лавочник спрашивает:
— Чего не поделили опять?
— Там уж знают чего.
— То-то, что знаете... О, господи, владыко живота моего. Совсем народ очумел... Дурьи вы головы. Бараньи. Предателей родины слушаете. Ну, вот они и подведут вас к точке.
Я молчу.
— Шпеон-то, он знает свою линию. Он заберется к вам на горб. Дождетесь.

* * *

Пропало разменное серебро.

Вместо мелкой разменной монеты выпущены почтовые марки.

Фунт хлеба стоит 10 коп., фунт мяса — 1 р. 50 к., сапоги — 80 рублей, галоши — 10 рублей, костюм — 200 руб., воз дров — 100 руб.

В начале войны хороший костюм стоил 30 рублей, воз дров — 6 руб., галоши — 2 руб., фунт мяса — 20 коп., сапоги — 5–6 руб.

Завод не работает, и я не работаю. Заработок отца и матери сильно упал. В квартире — собачий холод. На столе — картошка и хлеб. Комод и швейная машина уплыли.

* * *

Поезда не ходят. Вокзал забит военными эшелонами.
— Рушится Расея! — кричат в трактирах.
— Все пропало.
— Довели, язви их душу.

Военные гуляют до утра. Пьяные офицеры устраивают скандалы.

В темных улицах раздевают и грабят прохожих. Газеты сообщают о нападениях на квартиры. Злобные метели бушуют над городом.

Холодно.

Погано.

* * *

От голода, от мерзлой картошки тело покрылось чирьями. Болят руки и ноги. Лежу, закутавшись в отцовское рваное пальто. Дыханьем согреваю посиневшие от холода руки.

* * *

Февраль.

Улицы живут тревожной жизнью.

Бабы разбивают булочные.

На углах появились усиленные наряды.

* * *

Просыпаюсь от трескотни.

— Что это?

— Лежи, лежи, — говорит мать.

Она испугана. В глазах тревога. Перебегая от стола к печке, она хватает все, что попадется под руку, прячет под печку. А за окном, высоко вверху, будто кто-то на большущей швейной машине строчит.

Во дворе неистово кричат. Слышен тяжелый топот ног.

Я подбегаю к окну.

— Да лежи ты,– оттаскивает меня мать от окна.

Но я отталкиваю ее и, повинуясь непреодолимой силе, быстро одеваюсь.

— Куда?

— Уйди.

* * *

Двор полон солдат и штатских. Подняв винтовки вверх, они стреляют по крыше, кричат, размахивают руками.

— Стой! Стой!

Огромного роста солдат, в расстегнутой шинели, размахивает винтовкой, точно дубиной, хватает всех за руки:

— Стой, дьяволы.

От страшного крика его лицо побагровело, на носу, несмотря на мороз, висят капли пота.

— Да стойте ж, черти сумасшедшие.

Он залезает на ящик, кричит, подняв голову вверх:

— Эй, вы...

Наступает тишина.

— Эй, на крыше!

Я вижу, как из чердачного окна осторожно высовывается околыш черной фуражки, затем под фуражкой появляется толстая красная морда с испуганными глазами.

— Эй, городовой, – кричит огромный солдат, — вылазь, вылазь, не бойся.

Помертвевшее от страха лицо городового смотрит вниз.

— Кончай сраженье, — кричит солдат, – тащи сюда пулеметы.

Городовой беззвучно шевелит побледневшими губами.

— Слезай, говорю. Не тронем. Наша взяла. Николашку вашего под задницу коленом. Даем две минуты. Не слезете — с голоду подохнете там. Все равно не выпустим.

Городовой скрывается. Наступает тишина. Затаив дыханье, все смотрят вверх.

— Совещаются! — шепчет кто-то рядом со мной.

— Торопись, — кричит солдат, — некогда нам с вами вожжаться.

Из чердачного окна вытягивается рука с белым платком.

Я кидаюсь к черной лестнице и, тяжело дыша, бегу, вместе со всеми, прыгая через ступень.

Навстречу нам, держась друг за друга, спускаются бледные городовые.

Толпа окружает городовых кольцом.

— Царя вам надо?

Городовые молчат.

Евдоха, с перекошенным злобой лицом, наскакивает на самого толстого.

— Что? Крови нашей мало попили? Кровопийцы!

— Порешить их! — кричит мастеровой иизенького роста.

— Чего миндали разводить? Бей стервецов!

Неожиданно перед толпой появляется Храпач. Высоко приподняв руки вверх, он загораживает городовых спиной.

— Братцы вы мои! — плачущим голосом блеет Храпач.— Образумьтесь. Такой светлый день, а вы задумали убивство. Нехорошо, братцы, выходит это. Чем они виноваты? Такие же темные пешки, как мы.

— А ребра ломать в участке не темные?

— Эх, Евдоха, Евдоха. Да, ить, клопы кусают не потому, что злы, а потому, что питаться им надо.

— Брось, товарищи! — подходит к толпе солдат, волоча на плече пулемет. – Раз дали слово – стало быть, держись. Не имеем права слова нарушить.

— Пусть, выходит.

— И пускать не пустим. Передадим революционной власти, а там видно будет.

* * *

Мартовский день серый, пушистые снежинки, тихо кружась, падают на землю. Теплый ветер дует навстречу. Под ветром колышутся знамена.

Солнца нет, но у всех такие солнечные, радостные лица, что кажется, будто каждый несет на своих плечах горячее и молодое солнце.

Крики, смех, оркестры и «Марсельеза» наполняют улицы и город. На груди у всех краснеют пышные банты. Красные ленты в петлицах, красное за тульями шляп, на шее, на рукавах, на фуражках. Улицы похожи на буйные поля красного мака. Пасхальный звон колоколов гудит над головами. А толпы народа идут и идут, заполняя и улицы и тротуары.

На углах грузовики. Студенты, в шинелях нараспашку, размахивают фуражками.

— ...обода, равенство и братство.

— Ур-р-ра!..

— ...и...а...ская революция.

— Ур-р-ра!..

Хлопают форточки. Возбужденные лица высовываются наружу и, краснея от натуги, кричат:

— Ур-р-ра!..

Без фуражек, без пальто выбегают из ворот взлохмаченные люди, широко раскинув руки, падают, точно в летнюю речную прохладу, в кричащую толпу, обнимая незнакомых, бормоча со слезами на глазах:

— Христос воскрес!

— Праздник-то какой.

Я иду рядом с отцом и матерью. Она улыбается сквозь слезы и пытается петь. Отец высоко поднял голову, посматривая по сторонам веселыми глазами.

Глядя на плачущих от радости людей, я чувствую, как слезы подступают к моим глазам. Весь мир готов бы, кажется, обнять и прижать к стучащему сердцу.

— Господи, хорошо-то как, — шепчет умиленная мать.

Глава VIII

— Свобода!

— Свобода!

Этим словом захлебываются.

Верхние этажи спустились вниз. Во дворе ораторствуют гимназисты, студенты.

Я слушаю с напряженным вниманием. Я впитываю в себя, как губка, все, что говорят о революции.

Вовочка — эсер. Он заходит к нам на квартиру и подолгу сидит, объясняя программу партии. Отец слушает его с открытым ртом. Но когда Вовочка ловит его взгляд, отец принимает важный вид и, значительно накручивая усы, кивает головой:

— Это мы знаем... Сами в девятьсот пятом на баррикадах дрались.

К делу и не к делу отец говорит теперь:

— Меня, брат, учить нечего. Я, брат, еще в девятьсот пятом пострадал.

Но я-то знаю другое.

— Врешь ты насчет девятьсот пятого. В больнице ты лежал тогда.

— Ну и что ж? — бодрится отец. — А не лежал бы, так дрался. Ты что знаешь?

— А сам всегда другое говорил.

Лицо отца становится жалким. Он чешет затылок и говорит умоляюще:

— Ты бы помолчал, Ян.

— А ты не ври.

— Вот ты какой жестокий. Осудил меня, а того не понимаешь, что обидно мне. Всякий, вон, шибздик, вроде Вовочки, в героях теперь ходит. А что он видал? У мамки под юбкой вырос. Кофеи распивал. А сейчас — первая персона революции. С жиру они бесятся. Им это заместо забавы, а мне другое тут... Я, может, думать даже не смел. Вот как замурдовали меня. Я, сынок, всю жизнь свою перемены ждал, да только не знал, откуда придет она. А пришла, так опять

неладно. Вовочка, однако, пустое. На заводе меня обидели. Вот сердце болит. В глаза людям срамно смотреть.

— Чем обидели-то тебя?

— Подозреньем — вот чем. Я, может, каждого с измальства знаю, с каждым, может, пуд соли съел, а выходит — сторонились меня. Смотрю я сейчас: тот в этой партии, тот — в той, третий — в иной. Когда ж, говорю, записаться успели? А они хохочут. Тетерин, вон, десять лет, оказывается, партейный.

— А тебе-то что?

— Обидно ж! Вместе парнями гуляли, рядом станки, а он своей жизнью жил да других в дело втягивал. Что ж, говорю, меня-то обошел? А он говорит: «Несуразный ты какой-то. Нескладный». Я ему: «Предам, боялись»? А он мне: «Горяч да нескладен ты. Провалить мог бы. Характер у тебя другой». А теперь, грит, пожалуйте: примем с нашим удовольствием.

Отец замолчал.

— Взял бы, да и пошел, — говорю я.

— То-то что пошел, — крутит усы отец, — а куда идти мне, скажи? Ты знаешь куда?.. Никто не знает толком. Партий много и все против буржуев. А почему разные партии? Меньшевики, большевики, эсеры. Пойми тут.

Впрочем, отец разрешил этот вопрос скоро.

Однажды вечером он достал два билета и, потрясая ими в воздухе, засмеялся:

— Видал? Вот, брат. Тут дело теперь верное. Вот тебе: по этому билету я большевик, а по этому меньшевик. Взнос небольшой, а дело верное. Кто теперь обратно повернет, если и меньшинство и большинство объединяется? Кто там еще остался?

* * *

В театрах, в цирках, на улицах и на вокзале с утра до поздней ночи толпится народ, слушая охрипших ораторов. Тщетно я стараюсь понять, кто прав. Все ораторы говорят о ненавистном царском режиме, обещают новую, хорошую жизнь. Я усердно хлопаю меньшевикам, и большевикам,

и эсерам, и анархистам. Мне только непонятно, почему они ругают друг друга.

Однажды в цирке, доверху набитом солдатами, которые сидели с винтовками в руках, я прислушивался к горячему спору, но, не понимая ничего, разозлился. Я поднял руку вверх и попросил слова.

— Пожалуйста. Как ваша фамилия?

Я встал и крикнул:

— Граждане, разрешите...

Но меня перебили. Из-за стола, стоящего на арене, приподнялся лохматый человек и крикнул:

— Пожалуйста, сюда. Как ваша фамилия?

— Неважно, — ответил я, пробираясь по рядам.

— От какой партии выступаете?

— От себя!

Солдаты захохотали. Тогда в оркестр вскочил рыжий гимназист в очках. Яростно вздевая к трапециям цирка руки, он закричал визгливо:

— Мы, анархисты, протестуем. Это не смешно, когда человек осознал себя. Мы требуем уважения к товарищу. Стыдно. Позор.

— Анархист, — зашептали вокруг меня.

Кто-то засмеялся:

— Пусть побрешет... Они занятные.

Многоликая толпа висела тяжелыми серо-черными ярусами. Не видя отдельных лиц, я чувствовал дыханье каждого. Миллионы пристальных глаз рассматривали меня с откровенным любопытством. Я смутился, но тотчас же, сунув быстро руку в карман, ущипнул живот, и разозлившись еще больше, закричал:

— Граждане... Я хожу и хожу... и хожу...

В рядах вспыхнул смех.

— Нечего смеяться, — чуть не плача крикнул я, — а будете ржать, так я и матом могу...

Цирк загрохотал окончательно.

— Продолжайте, продолжайте, — улыбаясь, сказал человек за столом.

— Я продолжу. Только говорить-то мне не о чем.

Гром аплодисментов смешался с буйным хохотом.

Человек за столом позвонил.

— Граждане, – сказал я, все еще трясясь от злости, – говорить не приходится, а только эти партии дурят нам голову. Партий нам не нужно...

Цирк зашумел.

— Раз все против режима, значит... как мне понять? Будем грызть друг друга – опять царь вернется. Нужно в одно идти. А это — дурость одна. Раз против старого режиму — должно значит... Я не могу высказаться, но... Граждане, призываю вас... Да здравствует весь народ...

— Верно говорит! — крикнул солдат в передних рядах.

Цирк загремел аплодисментами.

Я подошел к столу и сел на свободный стул.

— Тут президиум, — зашептал кто-то.

— Это ничего, — ответил я,– я немножко посижу и пойду. Мне на работу надо пораньше.

Человек с колокольчиком позвонил:

— Собственно говоря, предыдущему оратору отвечать не приходится. Выступление, как вы сами видите, не по существу. Кто следующий?

Тогда из ложи выпрыгнул на арену худой большеротый унтер-офицер.

— От какой партии? — спросил человек с колокольчиком.

— Увидишь, – злобно ответил унтер.

Бросив фуражку на стол, он поднял руку вверх.

— Товарищи. Председательствующий говорит: не по существу. Нет, товарищи, по существу говорил парнишка. Он молод и глуп, по-настоящему высказаться не может, но, товарищи, задумайтесь над его словами. По его, как будто все тут за революцию. По простоте своей парнишка думает, будто все зло только в царе заключается. А раз против царя – значит за народ. Глупый ты, глупый, — повернулся унтер ко мне, — да ведь и буржуазия против царя. Да, товарищи. Против. Мешает царь буржуазии. Силу они почувствовали. Сами в цари полезли. Видишь ли, им тесно сидеть с царем на шеях рабочих. Они теперь сами поудобнее располагаются.

Но что мы видим, товарищи? Мы видим молодую буржуазную власть. Надо отдать ей справедливость. Берется она за дело умно. Это уж не чета глуповатому царю.

— Долой! — крикнул чей-то голос.

— Ишь ты, — улыбнулся унтер, — и вонючий монархист, оказывается, слушает беседу. Бедовый какой.

— Так вот, товарищи,– серьезно сказал унтер, — если царь пользовался для угнетения силами полиции да жандармерии, то буржуазия, как более хитрая, пользуется услугами меньшевиков, эсеров, кадетов и другой политической жандармерии.

Цирк зашумел. За столом началось движение. Человек с колокольчиком позвонил:

— Я прошу вас...

— К чертовой матери! — закричал унтер.

— Позвольте!

— Довольно! Товарищи, мы знаем, что у нас есть классы. Трудовой класс и паразиты. Весь мир — это два фронта. Трудовой класс имеет одну свою большевистскую партию, паразиты пользуются услугами всех остальных партий.

Вой, свист, аплодисменты, крики и топанье ног пронеслись по рядам ураганом.

— Правильно!

— Правильно!

— До-ло-ой!

— Провокатор!

Унтер старался перекричать всех. Воловьи жилы вздулись у него на лбу желваками. Изо рта летели брызги. Лицо побагровело. Но все было напрасно. В дьявольском шуме нельзя уже было ничего разобрать. Человек с колокольчиком схватил унтера за рукав. Все остальные сидящие за столом кинулись к унтеру, угрожающе размахивая руками.

— Хулиган!

— Провокатор!

— Вон! Вон!

В это время в оркестре грянуло подряд три выстрела.

Цирк на мгновенье затих. Все головы повернулись в сторону оркестра.

Я увидел рыжего гимназиста с дымящимся револьвером в руках.

— Слово принадлежит мне!

— Долой-ой!

— К черту гимназистов!

— До-ло-ой!

Но гимназист, пальнув еще раз вверх, наставил револьвер на толпу.

— Я буду стрелять! — завизжал он, поблескивая стеклами очков.

На галерке заорал пьяный голос:

— Бей буржуев проклятых!

Солдаты вскинули винтовки.

— Товарищи! — вскочил унтер на стол. — Это провокация! Сохраняйте спо...

Человек с колокольчиком дернул унтера за ноги.

С диким воем ярусы цирка ринулись на арену. Я поднял стул и шлепнул с размаху человека с колокольчиком по голове

Свет потух.

В темноте началась свалка.

Глава IX

Отец записался в третью партию, к эсерам.

— Замечательная партия!.. Сергея-то Александровича они укокошили. Царей сколько перещелкали, а губернаторов да министров и не счесть.

— Дурость это у тебя! — говорит дядя Вася, вписавшийся к меньшевикам. — Программы-то ведь разные!

— Это ничего! — крутит отец усы. — После разберемся, что к чему, а пока надо нам всех поддерживать. Пускай революция на ноги встанет. Которое ненужное — само отпадет.

* * *

А война продолжается. Везут раненых. Печатают списки убитых.

— Кто это Керенский?

— Из жидов, наверное! — говорит лавочник.

— Да ведь Александр Федорович!

— Неважно! Жиды для гешефта тридцать раз окреститься могут.

* * *

Солдаты бегут с фронта полками. Введена хлебная норма. Фунт на человека. Продукты на рынках исчезли. Голодают рабочие, голодает беднейшее население.

А Россия говорит, говорит, говорит. Митинги не прекращаются.

— Как выскажемся все, — смеется Евдоха, — тогда и за ум возьмемся!

Я ни черта не понимаю.

Керенский. Родина. Война. Голод. Революция. А что к чему, — разобраться трудно.

— Те же штаны, только назад пуговицами! — говорят все. — Революция прошла, а все осталось по-старому. Даже еще хуже стали жить.

А в городе говорят, говорят, говорят.

* * *

Рабочие-большевики кричат о классах, о буржуазии и пролетариате и критикуют Керенского, но путного от них ничего не добьешься. Классы да классы. А дальше-то что?

— Ну, ладно! — говорят у нас на заводе. — Согласны, предположим. Что ж делать-то надо?

— Записывайтесь в партию!

— А дальше?

Насчет «дальше» наши заводские большевики говорят туманно и сбивчиво. Пожалуй, они и сами не знают, что дальше.

— Контроль над производством!

— А еще?

— Землю — крестьянам!

— Ну?

— Мир без аннексий и контрибуций!

— Ну, ну!

— И вообще...

— Задница!

— А ты не ругайся!

— Смотреть на тебя буду?! Всем все роздал, а как ты это сделаешь? Облагодетельствуешь-то как?

— Очень даже просто! Голосуй за большевиков — вот все и будет!

— Эва! Учредилка-то, она когда соберется?

— Соберется!

— Пока соберется — подохнем на фронтах или с голоду. А хрен редьки не слаще.

* * *

Начались грабежи среди белого дня.

В соседнем доме самооборона убила двух солдат, забравшихся в квартиру.

На вокзале растоптали ногами солдата, укравшего чемодан.

Говорят, в деревнях жгут помещиков.

Дезертиры гуляют открыто, никого не стесняясь.

— Пусть дураки воюют, а с нас хватит! Помучились!

* * *

У меня появился товарищ Вася Котельников. Он старше меня на два года. Ему восемнадцать лет. Он состоит в партии большевиков.

— Ты понимаешь машинку! — просвещает меня Вася. — Тут у нас два класса. Мы и они. Вона они какие квартиры-то заняли. На велосипеде можно ездить. А жрут как? Мы небось на картошке сидим, а у них жаркое не сходит со стола. И ты заметь это: они же как презирают нас. Шляпы понадели и нос кверху. Паразиты ж проклятые. А ты возьми хотя бы табуретку. Дерево, положим, стоит двугривенный, да тебе за работу двугривенный, а продаст он за рупь. Вот тут и есть прибавочная стоимость. Шесть гривен он и положит в карман. Что ж выходит? Обобрал он тебя средь белого дня. Ты работал — тебе двугривенный, а он ручки в брючки — ему в три раза больше. И еще, паразит, презирает. Шляпу носит, провокатор. Вот это и выходят классы. А что другие партии, так это — паразиты форменные. Мешают они только. Я тебя не агитирую, а только говорю: смотри, вот тебе ладонь и все на ней, как стеклышко. У нас простая программа. Мы не запутываем. Ну, впрочем, тебя не примут. Годы еще не дошли.

— Годы что? В декабре мне семнадцатый пойдет.

— А понятно я разъяснил?

— Разъяснил понятно!

— Ну?

— Ей-богу! Сколько я слышал, а ты всех лучше, однако.

— Вот и славно!

— Хорошо растолковал. Этих... в шляпах которые, я всегда терпеть не мог... И без программы не любил.

— Да разъяснять тут нечего. Вот тебе мы, вот тебе они. Простая механика. А другие за буржуев.

— Не спутаю!

Как-то вечером Вася прибежал ко мне и с таинственным видом сообщил:

— Будем драться, кажется... Вся власть советам!

— Учредигельное-то не будет, что ли?

— Учредительное — потом, а сейчас — вся власть советам.

— Ври больше! — вмешался в разговор отец.

— Ей-богу, правду говорю! Сейчас только товарищ из Питера приехал. Там уж больше недели наш верх.

— Бреши?!

— Ей-богу, товарищ! Верный человек привез известия.

— А Керенский?

— По шапке! Бои во весь опор. Делов что было! Рязанов — против, Луначарский — против, Зиновьев — против, Ногин — против. А Ленин — за! Ну, конечно, голосовать. Проголосовали — отклонить. Но тут — фронтовики: как отклонить? Опять голосовать. Ну, конечно, приняли.

— Да ты постой! — перебил Васю отец. — Ты толком рассказывай.

— Да я толком говорю. Чего ж еще?

— Спешишь больно! Ты скажи, в чем дело-то?

— Фу-ты, будь ты неладно! Да я ж и говорю: Временное правительство по шапке. Министров — в кружку. Под замок. Вся власть съезду советов.

* * *

Драться не пришлось.

В ту же ночь, 20 ноября 1917 года, власть перешла к совету рабочих и солдатских депутатов. На заборах появились плакаты:

Рабочим, солдатам и крестьянам.

Второй всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов открылся. На нем представлено громадное большинство советов. На съезде присутствует ряд делегатов от крестьянских советов.

Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки.

Временное правительство низложено. Большинство членов временного правительства уже арестовано.

Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленное перемирие

на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, обеспечит своевременный созыв Учредительного собрания, озаботится доставкой хлеба в город и предметов первой необходимости в деревню, обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение.

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок.

Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. Съезд советов уверен, что революционная армия сумеет защитить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое правительство не добьется заключения демократического мира, который оно непосредственно предложит всем народам. Новое правительство примет все меры к тому, чтобы обеспечить революционную армию всем необходимым путем решительной политики реквизиций и обложения имущих классов, а также улучшит положение солдатских семей.

Корниловцы — Керенский, Каледин и др. — делают попытки вести войска на Петроград. Несколько отрядов, обманным путем двинутых Керенским, перешли на сторону восставшего народа.

Солдаты, окажите активное противодействие корниловцу Керенскому. Будьте настороже.

Железнодорожники, останавливайте все эшелоны, посылаемые Керенским на Петроград.

Солдаты, рабочие, служащие, в ваших руках судьба революции и судьба демократического мира.

Да здравствует революция.

Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов.

Делегаты от крестьянских советов.

* * *

Улицы города забиты нестройными толпами прибывших ночью матросов.

Черные от копоти, они проходят, перебрасываясь шуточками, весело скаля зубы.

На тротуарах стоят горожане, одетые в меховые шубы, стройные барышни, чиновники, гимназисты, старые барыни.

— Братишки, — кричит приземистый матрос с черными усиками, — глянь, девочки какие. Сахар. Недаром Митька-то поторапливал.

На тротуаре покашливают, барышни, сердито хмуря брови и краснея, прячутся за спины других.

Заметив на углу попа в енотовой шубе нараспашку, один из матросов, покинув ряды, бросился к попу, широко открыв могучие объятия.

— Батюшки, — закричал матрос, как бы встретив родного брата после десятилетней разлуки, — товарищ поп, дорогой ты мой, простудишься ведь. Шел бы ты, милуша, домой.

Поп юркнул в толпу.

* * *

Матросы остановились против нас, в кинематографе «Форум». Вася Котельников, взволнованный прибытием, тянет меня к матросам:

— Пойдем! Поговорим с ребятами! Из самого Питера прикатили.

Послушать рассказы матросов о питерских делах было заманчиво.

Пошли.

Перебежав улицу, мы остановились перед стеклянными дверями кинематографа. У дверей, под оборванной афишей, на которой была нарисована женщина с букетом белых цветов, сидел, развалившись на стуле, матрос, пощелкивая семечки. Он был черен от грязи и копоти. Белки глаз сверкали, точно куски сахара. Нижняя губа матроса была рассечена, кровяная корка запеклась на губе толстой коростой. На широких плечах ладно сидел распахнутый

матросский бушлат с тусклыми медными пуговицами. Матросская бескозырка с золотыми буквами опускалась на широкий, выпуклый лоб.

Щелкая семечки, матрос обнажал ослепительно-белые зубы, лениво выплевывая шелуху на тротуар.

Мы встали перед дверью. Матрос оглядел нас с ног до головы.

— Ну? — сплюнул он шелуху на живот Васи.

Вася отряхнулся.

— Нам бы поговорить с товарищами, — взялся Вася за медную ручку двери.

Матрос спокойно снял его руку, затем, подбросив семечко, ловко подхватил его вытянутой губой.

— Как, то исть, поговорить? О чем поговорить?

Вася сконфузился:

— Интересуемся событиями...

— Та-ак, — протянул медленно матрос, с любопытством рассматривая нас. — А почему же это интересуемся?

— Странно, — пожал плечами Вася, — должны ж мы интересоваться все-таки...

— Это не дефект еще, — надвинул матрос бескозырку на самый нос,– а может, вы провокаторы? Может, вы отряд собрались взорвать? Кто вы, миндали такие? Откуда притопали?

Красный от смущенья, Вася протянул матросу партийный билет, но матрос, не взглянув даже на билет, отстранил его ленивым жестом.

— На то и поставлен часовой, чтобы не пропущать разную гидру. Ну, я тебя, к примеру, пропущу, — продолжал он словоохотливо, — а ты пойдешь да бомбу кинешь... К чему же часовой тогда?

— Видишь, билет у меня...

— А бомбу кинешь, кто будет отвечать? — продолжал матрос, увлеченный собственным красноречием. — Бомба, она без разбору лущит. Один ужасный взрыв и — пишите расписку.

— Обалдел ты, что ли, — рассердился я, — зачем нам своих-то взрывать?

Я говорил так, как будто у нас в карманах находились склады взрывчатых веществ. Матрос опять передвинул бескозырку на затылок, открыв испачканный копотью лоб и жесткие, торчащие щеткой волосы.

— Ну ж, народ какой бестолковый. По-вашему, значит, часовой поставлен для блезиру... Часовой, братишки, лицо неприкосновенное. Я вот разговариваю с вами, а по уставу могу стрелять, потому — не полагается разговоров с часовым.

Матрос, очевидно, смертельно скучал. Ему хотелось отвести в разговоре душу. Но мы не понимали этого. Вася сердился:

— Да что ты...

— Постой. Не лезь. Слушай, что говорю тебе... Ну, поставлю я такого сачка, как ты, на свое место. Сиди, скажу, и охраняй военный сон пятисот братишек. А ты пускать начнешь каждого. Какой же это порядок выйдет? Часовой на то и приставлен, чтобы мышь не проскочила мимо. А не то чтобы разные провокаторы... Какие такие свои?

— Ну, рабочие...

— Рабочие? — подозрительно оглядел нас матрос. Вид наш не внушал ему доверия. Он покачал головой. — По хлебу, что ли?

— Не по хлебу, а по станкам! — крикнул я, раздражаясь.

— Какие же, к примеру, станки? — недоверчиво усмехнулся матрос.

— А ну его — махнул рукою Вася, — идем, чего с ним разговаривать. Видишь, какой...

Матрос обиделся.

— Чего ж видеть тут должно? — запыхтел он.

— Ничего... По каким станкам, да кто, да что... Ну, а скажу я, так поймешь ты? Ну, токарь я. Ну. Понятно тебе? — вызывающе крикнул Вася.

— Токарь? — обрадовался матрос. — А мы это проверим в два счета. Токарь, значит, ты? От своих слов не отопрешься?

— Да ну тебя, — повернулся Вася.

— Заслабило. Бежать. Стой, токарь, пожди. Ну-ка, скажи мне, если ты токарь, для чего люнеты ставят?

Вася остановился.

— Да это каждый дурак знает.

— Ну, ну, скажи, — торжествовал матрос.

— Известно для чего. Чтобы изделия не прогибались.

— Знаешь, оказывается, — равнодушно сказал матрос,— ну, а это...

Он подумал немного и спросил:

— Под каким углом должны быть выточены центры станка?

— Ну, под 60 градусов.

— А куда резец вставляется?

— В суппорт.

— Так... А... А...

— Да что ты заакал, давай станем к станку, так я тебя за голенище заткну.

— Меня не заткнешь, — спокойно сказал матрос, — однако интересно все это...

Он замолчал.

— Так как же, — спросил Вася, — пропустишь?

— Не... Все равно нельзя. А если интересуетесь, как мы кадетов истопали, об этом пару слов можно сказать, поскольку я вижу в вас пролетариев. Это я как на ладони знаю. Сам проявил геройство. Меня по всему Петрограду знают. Ей-бо. Хошь, спроси любого из наших: Мишку Панферова знаешь? А кто же, скажет, не знает Мишку Панферова. Меня, братишки, все знают... Простой я очень... Вроде Ленина, к примеру сказать.

Он пригорюнился, задумчиво посмотрел на семечки, покрывающие широкую ладонь, и вздохнул:

— Из-за бабы я погибаю, братишки.

Он задумался. Втянув голову в плечи, он сидел, погруженный в грустные размышления, но его печальный вид как-то не вязался с его огромной фигурой. Казалось смешным и невероятным, чтобы этакий бегемот имел какие-то тонкие чувства. Вежливости ради мы также вздохнули и, по мере своих способностей, приняли грустный вид, а Вася сочувственно засвистел, покачивая несуразно большой головой.

— Н-да, — с шумом выдохнул воздух матрос. И, крутнув на голове бескозырку, захохотал. — Ну ж и били мы их, гадов. К юнкерскому подошли, а они, гады, залпами. Что ж, думаем, гадюки, не навоевались еще. Трудящихся истреблять. Кэ-эк жахнем с трехдюймовки! Пыль полетела столбом. Поползли они будто вши по гашнику. Сдались, конечно. Белым платочком помахивают. Мерси, дескать, мы больше не хотим. Не по носу табак. Тут и установилась советская власть. Разве можно осилить нас? Безусловно, братскую могилу битком набили жертвами революции, но, однако, и ихнего брата плотно утрамбовали... Видал? — приподнял матрос рубашку до горла. Весь живот и грудь его были забинтованы крест-накрест.

— А это видал? — отстегнул штаны матрос, показывая забинтованную ногу около паха.

— А это видал? — сдернул матрос бескозырку с головы, обнажая выбритый затылок с зеленым толстым пластырем.

— Семь ран, как одна копейка. Полный герой, можно сказать... Но только мне чихать. Я, братишки, простой. Ну пострадал, так пострадал. В чем вопрос может быть... За дело народа всегда с полным удовольствием, тем более раны — пустяки. Небольшой дефект, как говорила докторица.

Привлеченный необыкновенными действиями матроса, к нам подошел и остановился в нескольких шагах человек в хорошей шубе и бобровой шапке.

Матрос поглядел на него, медленно встал со стула и, широко расставляя ноги, раскачиваясь, пошел на человека. Ни слова не говоря, он сбил с человека шапку и наступил на нее ногой.

— Ты чего, абрикос, подслушиваешь? — грозно спросил матрос.

Человек в шубе побледнел.

— Какого званья?.. Буржуй?..

Тот растерянно замигал глазами. Тогда матрос приподнял шапку с земли и подал ее человеку в шубе.

— Смотри у меня! — пригрозил матрос пальцем. — Чтоб я тебя не видал больше. Конец вашему режиму. Забывать

надо. Иди себе своей дорогой, да не оглядывайся, провокатор.

Человек в шубе бросился бежать. Матрос как ни в чем не бывало сел на стул.

— Непуганые они еще у вас тут. В Питере, однако, сидят и ни гугу. Работать не хотят. Саботаж устраивают, а в шляпы расфуфырились. Хотя, промежду прочим, мы быстро отучили их от шляп да от пинсне разных. Хохоту что было! Идем по Невскому, а буржуи, будто прорвало их, один за другим, один за другим. Бегут, стервецы, и в ус себе не дуют. Будто и никакой революции не было. Ну, до чего же мне обидно стало. Что ж, думаю, за то меня растерзали, чтобы насмехаться надо мной? Бац одного по шляпе. За что? Не ходи, говорю, босиком. Ребята уговаривают: брось. Нет, говорю. Бросать тут нечего. Раз теперь наша власть, пусть гады чувствуют. А то выпялились. Галстуки понадевали. Я ли, не я ли — буржуй. А как же, говорю, при старом режиме не допускали меня в моем костюме ни в хороший ресторан, ни куда больше? Пошел это я в театр. Так что ж, гады, ведь не пустили. Вы, говорят, сначала оденьтесь, а в таком виде — невозможно. Ну, я их и одел. Мы, говорю, вас заставим из-под крана воду пить. Гады, губошлепы. Ну, безусловно быстро обучил некоторых.

Разговаривая, матрос крутит на голове бескозырку.

— Попался абрикос тут один. Заступаться полез. Нельзя, говорит. Это не обязательно буржуй, если в шляпе. Может быть, это такой же угнетенный служащий. Не важно, говорю, успокойся, говорю, братишка. Раз он под буржуя работал, пускай теперь меня уважит. Не шляпу бью, обиды выколачиваю...

И вдруг обратился к нам с вопросом:

— Квартиры-то вы заняли буржуйские?

Мы переглянулись.

— Н-нет...

— П-фа! — фыркнул матрос. — Какая же у вас отсталость!! Сказано: мир — хижинам, война — дворцам. В подвале живете?!

— Ну, в подвале...

— Дурачье!

Матрос встал и поддернул штаны.

— Где тут буржуйчики главные? — оглянулся он по сторонам.

— А черт их знает... Жандарм, кажись, какой-то живет вон в этом доме. На втором или на третьем этаже.

— В котором? — спросил матрос, застегивая бушлат.

— А вон,— кивнул Вася на угловой дом с зеркальными окнами.

Матрос передвинул кобуру с револьвером на живот.

— Айда, братишки. Прощупаем.

С этими словами он взял нас под руки и потащил за собой.

— Постой, — освободил я свой рукав. — А если провокатор с бомбой? Ты же, говоришь, часовой.

— Чего это? — удивился матрос. — Ну и плешь. Кто ж, ты подумай, к братишкам на хазу полезет?

Увлекаемые матросом, мы пересекли улицу, прошли несколько шагов по тротуару и остановились перед богатым подъездом.

— Айда! — запрыгал матрос по ступенькам.

По светлой широкой лестнице, сияющей чистотой и ярко начищенными медными перилами, мы вбежали на второй этаж.

— Стой!

Перед глазами сверкнула вделанная в толстый войлок медная дощечка с витыми, прописными буквами.

А. П. Конухес

— Конухес, — прочитал матрос. — Буржуй. Ясно.

Он нажал кнопку звонка. Резкий звонок затрещал за плотными дверями, и тотчас же послышались чьи-то шаркающие, торопливые шаги.

— Кто? — спросил мужской голос за дверью.

— Конухес проживает у вас? — вежливым голосом осведомился матрос.

За дверью загремел засов. Ручка перевернулась. Дверь слегка приотворилась. Встревоженное бородатое лицо высунулось в полуоткрытую дверь.

— Это вы и есть Конухес? — нахмурил брови матрос.

— Я Конухес! — ответил недоумевающий бородач.

— Так... Вы как же это?.. Из каких будете?

— Я?.. Художник! А что?

— А-а! — разочарованно протянул матрос. — В таком разе прикройте дверь.

Дверь захлопнулась.

— Идем, братишки, тут либералы живут. Они безвредные.

Поднялись этажом выше.

— Звони в эту!

Вася нажал кнопку. Звонка мы не услышали. Тогда позвонил матрос. В гулкой тишине послышались твердые, уверенные шаги. Дверь открылась. Перед нами стоял высокий, крепко сложенный мужчина. Лицо его было суровым. Орлиный нос висел над кольцами пышных усов. Досиня выбритый подбородок упирался в твердый стоячий воротник военного мундира без погон. Пронизывающие серые глаза спокойно глядели на нас.

— Тэк-с, — сказал матрос, переступая порог. — Проходи, братишки.

Мы вошли в темную переднюю. Матрос, закрыв за собою дверь, пошарил по стене.

— Где тут у вас зажигается?

Хозяин включил свет.

— Тэк-с! — снова сказал матрос и сдвинул бескозырку на затылок. — Провокатор? — спросил он, осматривая военного с головы до ног.

Хозяин пожал плечами.

— Давно состоите в жандармах? — вежливо кашлянул в руку матрос.

Хозяин сунул руку в карман. Матрос перехватил ее в локте.

— Это оставить надо! Дайте-ка сюда!

Сунув другую руку в карман хозяина, он вынул блестящий браунинг.

— Как фамилия?

— Ружицкий! — процедил сквозь зубы военный.

— Жандарм?

— Жандармский ротмистр! — И скрипнул зубами. — Да ты же, каналья, знаешь... Веди, куда надо...

— Я все знаю! — спокойно ответил матрос. — А вести тебя некуда. Сам должен удирать. Не в бирюльки играем... Понимать надо. Раз революция — провокаторы должны скрываться! Или правил не знаешь? Учить тебя?

— Много чести — бегать от всякой сволочи.

— Герой! — покачал головой матрос. — Один живешь или как?

Жандарм закусил в бешенстве губу.

— Ну, ну, гордый какой! — примиряюще сказал матрос.— Однако посмотрим. Показывай нам квартиру свою, провокатор.

Он выпростал наган из кобуры и ткнул жандарма дулом в бок.

— Ну, ну, не прохлаждайся. Возиться с вами...

Пожав плечами, жандарм повел нас по комнатам, печатая твердые шаги по линолеуму. Мы обошли светлую, богато обставленную квартиру и опять вернулись в переднюю.

— Ничего хаза! — похвалил матрос. — С толком тратили провокаторы рабочую кровь. Однако где фуражечка твоя?

Жандарм молча надел шинель и фуражку. Матрос открыл широко дверь.

Мы стояли в широкой полосе света, с любопытством разглядывая жандарма. Был он выше нас на голову, дороден, холен и чист, но глаза его теперь уже не смотрели спокойно. Они встревоженно бегали в глазных впадинах, как бы стараясь укрыться, уйти вглубь, загородиться от нас ресницами. Так мечется злобная крыса, окруженная со всех сторон, припертая к стене.

Слабость и ужас, охватившие жандарма, и сознание собственного бессилия сквозили в каждом его движении. Жандарм тускнел, серел лицом и как бы таял на наших глазах. Он ждал. Тогда стоящий полосою свет колыхнулся серыми тенями.

— Во-он, — неожиданно затопал ногами матрос.

Жандарм, вздрогнув, втянул голову в плечи и, как бы защищаясь, поднял руки вверх.

Матрос захохотал:

— Ну ж, гад, подлюга! Думает, вдарю я его. Иди, гад, свободно! Об такое дерьмо не стану руки поганить. Три года после в бане не отмоешься. Пошел!

Жандарм кинулся к дверям.

— Держи его! — крикнул вдогонку матрос.

Каблуки затрещали по лестнице. Хлопнула внизу дверь, и все стихло.

— Драпанул! — усмехнулся матрос, почесывая в затылке, и зевнул. — Всякая ведь погань охоча до жизни. Как это в библии написано: каждая тварь дышать любит. Ну, однако пойду спать.

И тут мы увидели смертельную усталость на лице матроса. По всей вероятности, давали знать о себе раны, а может быть, просто долил сон.

— Живите, братишки! — протянул руку матрос. — А я покемарю пока.

И, подтянув еще штаны, он ушел, напевая под нос, оставив нас в пустой квартире.

Мы переглянулись.

— Клево?

— Клево-то клево, — сказал Вася, — да только надо будет спросить у товарища Зорина... Может, не полагается так...

— Спрашивать тут нечего. Он знает порядки. Видать, в Питере настропалился.

— Так-то оно так, но лучше спросить все-таки.

— Ну, спросим.

Отыскав ключ, мы заперли квартиру и пошли в совет.

* * *

Бывший губернаторский дом гудел от неистового людского шума. По коридорам бегали взад и вперед вооруженные рабочие с красными повязками на рукавах. Несколько человек шли гуськом, один за другим, волоча на плечах, точно дрова, груды винтовок. Под лестницей сидел здоровый

дядя в полушубке. Он выстукивал на пишущей машинке и качал недоуменно головой: не то он удивлялся мудрости человеческих мозгов, устроивших эту машинку, не то осуждал сам себя за неумение ею пользоваться.

Туманы табачного дыма висели во всех комнатах. В дыму стояли кричащие и ожесточенно жестикулирующие люди. Лежали на полу вооруженные рабочие.

То из той, то из другой комнаты выскакивали бледные, с красными глазами люди и, оттолкнув нас, бежали дальше, высоко поднимая над головами бумажки.

Остановили в коридоре заспанную барышню.

— Товарищ Зорин в какой комнате? — спросил Вася.

— Там...

— Где это?

— Напротив... Дом предводителя дворянства.

* * *

Мы застали товарища Зорина между столом и телефоном. Он как бы висел в пустом пространстве, одновременно разговаривая по телефону, подписывая бумаги и с помощью жестов объясняясь с рабочими, обступившими стол.

— Что? Что? Это о чем? Да, да, я слушаю... Не Афанасьев, а Афонин! Что же вы пишете? Да, да... Поздно, поздно. Что? Ну, да. А, все равно. Сойдет. Где это? Что? Сейчас пришлем. Торопись, Кочин! Ждут ведь.

Вася протянул руку. Товарищ Зорин ткнул в Васину ладонь пером.

— Да, да... Подожди, Котельников... Ты мне нужен. Да слушаю же. Что вы там на самом деле... Сыпь, сыпь, Кочин. Автомобиль внизу... Да, да. Эту переписать. Я слушаю, слушаю.

— Это председатель нашего партийного комитета, — шепнул мне Вася на ухо.

— Да, да... Где? Банк? Сейчас пришлем... да... Давай, давай... Ты, Котельников, мобилизуешься... Что? Ну, да. Давай дальше. Возьми винтовку... Что? Я, я... Пойдешь банк охранять... Что? Уже, уже.

— Один вопрос только! — зашептал Вася. — Тут жандарм один. Так матрос его выселил. Матрос говорит — выселять буржуев.

— Прекрасно, так и сделаем... Что? Жандарма задержать! А с Ивановым говорил? Ну, ну.

— Так как же? — спросил Вася. — Матрос говорит — квартиру занять.

— Какие матросы? Отправили ведь уже. Да слушаю я, черт побери. Что? Матросу квартиру! Дать квартиру! Кто? А-а. Ну-ну. Иди же, Котельников. Винтовки в соседней комнате.

* * *

— Ну, как ты его понял? — спросил Вася.

— Что ж... Понимать тут нечего. Говорит отчетливо.

— Я тоже так думаю! — сказал Вася.

Мы вышли в соседнюю комнату.

За круглым столом, положив головы на руки, спало несколько человек. Большой чайник стоял на столе, окруженный грязными стаканами. Сзади, в углу, точно снопы, стояли винтовки, упираясь штыками в золотистые закопченные обои.

— Пойдешь со мной? — спросил Вася, направляясь в угол.

— Пойдем!

Вася вытащил две винтовки. Одну передал мне, другую положил себе на плечо.

Глава X

На улице перед банком бесновалась толпа чиновников. Они напирали на рабочих, стоявших у подъезда банка, стараясь проникнуть внутрь.

— Я требую! — визжал сухолицый старик в огромной чиновничьей фуражке. — Вы не смеете! Я буду жаловаться!

Опираясь на винтовки, рабочие стояли спокойно, посматривая по сторонам. Они точно не замечали этой толпы, и, когда к лицам их подпрыгивали костлявые кулаки, выскакивающие из белых манжет, рабочие потихоньку зевали, закрывая ладонью рот.

Мы протискались вперед. Рабочие, ни слова не говоря, полуоткрыли дверь и, пропустив нас, быстро закрыли ее.

Мы вошли в вестибюль.

Перед широкой, ослепительно сверкающей лестницей с пристегнутым к ступеням красным ковром стоял стол с большим дымящимся чайником на середине. Шесть человек, поставив винтовки между колен, сидели, попивая с блюдечек горячий чай. Ломти хлеба и горка сахара лежали на газете, подмоченной водой.

При нашем появлении горбатый человек поставил блюдечко на стол и рукавом вытер редкие усы.

— От Зорина? — спросил горбун сердитым голосом.

— Угу!

— Чай пили?

— М-м-м... Не мешало бы, конечно...

Горбун кивнул головой, приглашая нас сесть.

— Дело такое, товарищи, — сказал он, когда мы налили стаканы. — Интеллигенция категорически и решительно не идет на работу, как нужно. Жестокий саботаж.

Один из сидящих с шумом поднялся из-за стола, подошел к лестнице и положил шапку на нижнюю ступеньку, затем лег на пол и, вытянув ноги к столу, моментально захрапел.

— Формально мы не можем заставить их работать, — продолжал горбун, — хотя формально они получили деньги

за полмесяца вперед. Но не в этом вопрос. Они доказывают нам. Хотят доказать, что неумытый рабочий у них на поводке должен ходить, а они распоряжаться будут.

— За то мы кровь проливали, — буркнул мой сосед.

— Они нам доказывают, — продолжал горбун, — ну и черт с ними. Не клином свет сошелся. Не хочешь — не неволим. Но тут какая загвоздка. Безусловно, запоремся мы на первых порах, но не в этом дело. Загвоздка тут такая. Они себе думают, ихний это банк. Вот ведь что!

Вчера вот пришли тут и ключ унесли от кассы. Один книги попер. А книги, может, нужные. Вы смените сейчас хлопцев, а в случае разговора объясните... Дескать, вывешен приказ приходить на работу завтра, а сегодня впуску нет. Дескать, зачем ключи уперли от кассы. А в общем, лучше молчите.

* * *

Мы стоим, охраняя банк.

Я держу в руках винтовку, устройство которой для меня представляет непостижимую хитрость. Я даже не знаю, заряжена винтовка или нет, не знаю и того, где помещаются в ней патроны. Вася Котельников, кажется, знаком с винтовкой так же, как и я.

Мы стоим перед злобными лицами.

Они открывают рты, кричат, требуют «вызвать начальника».

Старик с прыгающим пенсне на носу, брызжа слюной в мое лицо, кричит:

— Я требую... Слышите? Сейчас же...

— Чего ж ты требуешь? — интересуюсь я.

Толпа чиновников моментально стихает.

— Я требую, — оттопыривает дрожащую губу старик, — сейчас же... впустить меня к моему столу... И прошу не тыкать. Щенок!

— Нельзя, старая собака. Не велено.

Дикий вой покрывает мои слова. В нестройном, злобном шуме голосов я слышу выкрики:

— Мерзавцы...

— У меня в столе золотые часы...

— А я, может быть, бриллианты оставил...

— Хамы!..

— Узурпаторы.

Вася толкает меня ногой:

— Брось.

Но мне жалко «бросить». И как можно «бросить», когда вот здесь, передо мной, стоят толпой мои бессильные враги? Злобная радость распирает меня. Я готов реветь от счастья, готов плясать, хохотать.

Загородный сад качнулся в памяти, и вкрадчивый голос зашептал мне в уши:

— А это бы съел?..

Тошнота подкатилась к горлу упругим, щекочущим комком.

— А ключи воруете? — закричал я. — В белых манжетах, а воруете ключи... Над детьми измываетесь, а сами хуже всех на свете. Я вот как стрельну...

Толпа испуганно попятилась назад.

— Это бы съел? — закричал я. — Люди вы?.. Нелюди вы, звери... Ироды проклятые. Гоголь-моголь детям делаете. У-у, сво-олочи! Уйди, гадюки! Р-р-расходись!..

Вася ударил меня ногой:

— Бро-ось!

Я замолчал. Лихорадка била меня так, что я вынужден был сжать зубы, чтобы они не прыгали, не стучали во рту.

Туман обволакивал мои мозги, и, как кипящая ключом вода, проносились в голове мысли, свиваясь в клубящийся моток: загородный сад, мерзлая картошка, жандарм, матрос, подвал, румяный Вовочка, городовые на крыше, отец и мать, митинги, слова о равенстве, побоище в цирке.

Я не мог уяснить того, что случилось сейчас в России, но чувством и нутром догадывался: произошло что-то особенное; жизнь круто повернулась, вышла, как река в половодье, из каменистых берегов, неся озорные, буйные воды, разливаясь в бескрайной шири. Может быть, день, может быть, два будет неистовствовать половодье. Зачем мне думать об этом?

Не камень подъезда банка я ощущал под своими ногами. Я стоял, широко расставив ноги, на льдине, и бешеная вода уносила меня. Сзади остался темный подвал и стужа под ситцевым рваным одеялом.

Я молчал.

Люди передо мною внезапно уменьшились, превратились в крохотные черные точки. Слабый комариный писк еле шелестел в ушах.

Не смея шевелиться, я стоял, крепко сжимая холодный ствол винтовки с большим четырехгранным штыком.

Глава XI

Мы живем в квартире жандарма.

Вася с бабушкой заняли большую комнату с роялем. Вася говорит, что ему необходимо научиться играть. По вечерам он бережно стирает с полированной поверхности рояля серую пыль, затем открывает крышку, стараясь не хлопать ею, и осторожно извлекает из рояля нестройные звуки.

Отец поселился в кабинете, прельстившись обилием книг, спящих за мутно поблескивающими стеклами. Когда к отцу приходит кто-нибудь, он с важным видом пропускает гостя вперед и говорит значительно и непременно на «вы».

— Пройдите, прошу, в мой кабинет.

Он чертовски гордится кабинетом, но более всего, как видно, ему нравятся книжные шкапы.

— Вона... уйма какая! — похлопывает он по книгам.

И вздыхает:

— Как только освобожусь, — засяду. Все до одной перечитаю... Хорошие книги, я думаю...

Председатель партийного комитета, отобрав, к великому огорчению отца, его эсеровский и меньшевистский билеты, заставляет отца работать «не валяя дурака». С утра до вечера он где-то заседает, а вечером к нему приходит зеленолицый паренек в очках «проходить политическую грамоту».

Отец чертовски гордится этим.

— Видал, — кричит он мне, когда паренек уходит, — всего- навсего к пятерым ведь Зорин-то приставил. Пять на весь город имеют собственных агитаторов.

— Нашел чем гордиться. Может, вы пятеро самые худшие — вот и дали вам наставников.

— Ну да, — усмехается отец, — худшие. Где ж это худшие, когда мы все — мастер к мастеру. У каждого, брат, золотые руки.

Впрочем, вскоре отец перестает гордиться.

— Ах, курья нога, — смущенно покашливает он, — а ведь вправду ты догадался.

— Чего еще выдумал?

— Да про это... Действительно адиет выходит. Зорин-то раскусил, стало быть... Вот ведь плешь какая... А ты не смейся, балда не нашего бога... Тебе, брат, самому многое надо знать... Нет, ей-богу, — воодушевляется отец, — ты, брат, того... зубы скалить нечего... Я, брат, тебя впрягу...

— А зачем? Я не в партии.

— Ну-к, что ж, что не в партии... Да ты что? — сердится отец. — Я тебе кто? Чужой дядя с барок? Говорю — значит, нужно. Какое твое собачье дело рассуждать. Придет сегодня товарищ и — будьте любезны. Смотри у меня.

— Ф-ф-ф, напугал!

Однако после двух-трех бесед с «товарищем из партии» я начинаю входить во вкус.

Щупленький зеленый паренек до того толково объясняет все, что я за несколько вечеров почувствовал, как ясно, как отчетливо и понятно становится для меня все окружающее.

Точно шабером по мозгам прошлись. Смутные понятия о буржуазии, о пролетариате, приобретенные мною у Васи, встали единой системой, поднимаясь к новому, ласковому, как слово «мама», к странному сверкающему слову «социализм».

Я почувствовал острое желание жить. Закрыв глаза, я прислушивался к горячим словам «товарища из партии», и новый, радостный мир вставал передо мною, переливаясь красивыми пятнами.

Я пытался рассказать обо всем Васе, но из моих запутанных и сбивчивых объяснений он ничего не понял. Тогда я втянул в кружок Васю.

Прошла неделя.

Как-то после того, как паренек ушел от нас, Вася глубокомысленно сказал:

— Н-да... Это говорит...

И добавил, растерянно улыбаясь:

— А я думал: все уже знаю...

* * *

А жить становится трудно. Нет хлеба, нет даже картошки. Заводы отсылают в деревни бригады — выменивать железо,

мануфактуру, обувь, посуду и платье на хлеб и другие продукты. Кинулись по деревням и одиночки.

Васина бабушка привезла мешок крупы, и мы перешли, как говорит отец, на куриное положение.

— Просмеетесь, — ворчит на это бабушка. — Спасибо за кашу говорите.

Шамкая беззубым ртом, она сердито, по-старчески жует, потом вытирает концом платка сухой рот и кладет в миску «добавок».

— Без каши насидимся еще...

— Чего так? — интересуется отец.

— Мужик жиреет, — сердится бабушка, — нахапали всего от помещиков и лютует теперь. Смотреть паскудно.

— Да, может, тебе показалось только?

— Показалось, — злится бабушка и, положив ложку на стол кричит: — Совести нет ни в ком. Бесстыжий народ стал. Мне, грят, бабка, это ни к чему твои юбки-разъюбки... Мне, грит, попугая в клетке представь, тогда и подкормишься. Тьфу, бесстыжие рожи!

— Неужто попугая?

— Врать для тебя стану на старости. Глянули бы, что в деревнях делается. Один даже роялю просил. Я, грит, за роялю два мешка крупчатки отвалю. Что ж, говорю, помирать нам. А помирайте себе с богом. Это мужик-то. А мы, грит, и без городу ладно проживем.

— Кулаки это, — вставляет Вася.

— Бедняки, они другое, наверно...

— Ну, уж не знают, чего бедняки говорят. Мне заходить до них без интересу было.

— Голодают?

— Не докладали мне, — злится бабушка, — а интересно тебе — сходи да поспрошай.

* * *

Под Оренбургом появился какой-то Дутов. Говорят, идет против советской власти. А еще дальше, на Дону — старается повернуть все обратно Каледин.

— Беда, бабушка, — говорим мы с Васей, — опять царя посадить хотят.

— Ну, уж и вы тоже хороша власть. А ну вас, — отмахивается бабушка.

— Чего ж так?

— Подохнем, вот и все! Хлеб-то где он?

— Ну... Будет и хлеб. Не все сразу. Не мы порешили хлеб. До нас съеден.

— Ваша власть все одно, что у голого крестик. Ни молока, ни шерсти.

* * *

Заводы останавливаются.

Фабриканты говорят, что нет сырья.

Инженеры ходят нахохлившись. На вопросы пожимают плечами:

— Что мы можем знать? Идите к хозяину.

Но хозяева точно сквозь землю провалились. Днем с огнем не сыскать. В кабинетах сидят «управляющие», но и они «ничего не знают».

Началась национализация заводов.

Меньшевики подняли вой. Со стороны смотреть смешно. Не то их самих грабят, не то родственников их обижают. Поддались на удочку меньшевиков и некоторые рабочие:

— Делаем-то что, товарищи? Не годится как будто?

— Ну и катись, когда не нравится.

— Да ведь...

— А ну вас к дьяволам.

— Хуже не было бы?

— Откуда ж это?

— Как справимся-то? Командовать кто будет?

— Инженеров поставим!

— Пойдут?

— А чего ж не пойти?

— Пойдут?

— Не будет, как с чиновниками?

— Ну, то ж совсем глупые головы. Инженер, он умнее!

* * *

Инженеры остались. На другой день все они, как один, вышли на работу.

— Видал миндал?

— А ты не радуйся! Еще ничего не известно. Может, хозяин приказал им.

— Ну и чихать! Дело делает и — точка.

На нашем заводе рабочие, обращаясь к инженерам, вежливость такую развели, что многие покрякивают даже:

— Не слишком ли?

— Ничего! Маслом каши не испортишь. Народ интеллигентный. Для них уваженье — первее всего. Любят они это уж очень. А голова не отвалится, если я поклонюсь лишний раз.

— Вот дубье. Ты ж хозяин, да ты и кланяться?

— Неважно, что протяжно, было бы здорово. Пусть они почувствуют, что новый хозяин вежливее старого.

То, что все инженеры вышли на работу и работают как ни в чем не бывало, многих чертовски растрогало. Старый Маврин в припадке восторга обнял молоденького инженера Уханова и с чувством троекратно облобызал его:

— Милуша! Друг ты мне теперь на всю жизнь.

Но инженер Уханов, очевидно, не нуждался в дружбе старого Маврина. Он холодно взглянул на строгальщика и сказал нудным голосом:

— Очень рад, гражданин Маврин. Но только сейчас я попросил бы вас работать.

Холодно встречали попытки рабочих к сближению и остальные инженеры, а нашу вежливость они как будто приняли за врожденное холуйство. Тогда неделю спустя наш новый «хозяин» — литейщик Парфенов дал инженерам почувствовать «новое».

Придя во время работы в цех, он заметил инженера Уханова, читающего газету. Парфенов подошел к нему, взял газету и, положив ее на стол, сказал спокойно:

— Я думаю, что этот пример нехорош для рабочих. Глядя на вас, пожалуй, и все примутся газетки читать. Я извиняюсь, но, — пожал Парфенов плечами, точь-в-точь, как старый хозяин, — надо придерживаться общего распорядка.

Инженер Уханов вскочил, красный и негодующий, но, взглянув в спокойные, строгие глаза Парфенова, передернул пренебрежительно плечами.

— Вы не обижайтесь на меня! — глядя в упор, сказал Парфенов.

— Нет, нет, — забормотал инженер, застегивая тужурку.

Рабочие усмехнулись:

— Так-то лучше, пожалуй.

Однако дело не ладится. Простои становятся постоянным явлением. Стоят станки. Стоят цеха. Сырья нет. Запасы на исходе. Нового сырья достать невозможно. Железные дороги забиты армией, голосующей за мир ногами. Солдаты управляют паровозами, сами отправляют поезда, сами составляют эшелоны.

— Вот тебе и сырье! Привези попробуй. На горбу потащишь?

Отряды красногвардейцев, отправившиеся «на Дутова», увели из города последние паровозы. Проезжающие мимо эшелоны караулят «свои паровозы», и попытки отцепить их встречают вооруженный отпор.

— Катитесь вы к чертовой матери. Какое вам сырье?

После наших горячих доказательств объясняют нам мягче:

— Чудаки вы, братцы. Как же мы можем отдать вам паровоз? Мы ж его, может, с кровью выдрали у гайдамаков, а вы — отдай. Да и куда вам? Все равно отнимут у вас дорогой! Народ теперь — жулик. Разинь рот-то, так он у тебя не то что паровоз, а весь состав под сиденье приспособит.

Мы были бессильны.

— Вот те и власть!

— Власть рабочего, а право солдатское.

Да так оно и было, пожалуй. Двенадцатимиллионная армия катилась сокрушающей лавой с фронта, никого не признавая, ничего не желая слушать. Чуть слово против, и от станции оставался пепел. Обалдевшая от ужасов войны вольница неслась по России с собственными паровозами, с неписаными законами, ломая все на пути.

Бесчинства, грабежи, налеты стали скучными буднями.

— Вчера тридцать семейств вырезали! — вопили в городе.

— Среди белого дня на главной улице двух прохожих ограбили.

Попытки обезоружить солдат наталкивались на яростное сопротивление. Вооруженные до зубов, обученные военному делу, солдаты шутя могли разогнать красногвардейцев, не умеющих даже стрелять как следует.

— Вы... Вы виноваты! — кричали на митингах меньшевики и эсеры.

— А ну вас к дьяволу! И без вас тошно. Чем кричать, взяли бы да помогли.

Но меньшевики и эсеры умели только разжигать страсти. Как и все обыватели, они занимались беспредметным «критиканством», тормозили работу, срывали все наши начинания. Когда мы решили обезоруживать по ночам проезжающие эшелоны, они вынесли протест.

— Вы не имеете права, — кричали они, — солдаты разнесут город.

— Ну, так посоветуйте.

— Вы власть, вы должны авторитетом воздействовать. А если вас не хотят слушать, — вы банкроты. Вы должны уйти.

— Это ваша забота! Вы теперь власть. Думали шуточки шутить...

То, что власть наша, мы прекрасно понимали, но достался-то нам драный тришкин кафтан. Куда ни взглянешь — всюду нехватки. Пустые магазины, голод, отсутствие сырья. В городе саботаж. По ночам — стрельба, крики ограбляемых, треск заборов, разбираемых на топливо. А тут еще генералы, дьяволы, навязались, наступают где-то... Надо сколачивать отряды Красной гвардии, одеть и обуть их, а затем найти паровоз и вагоны для их отправки.

Башка идет кругом.

Но губошлепством заниматься некогда.

— Ничего. В новой квартире всегда беспорядок, пока вещи по местам не расставишь.

Спим «впритычку». Где ткнулся, там и заснул. Едим на ходу. Отец носит кашу в кармане.

— Ух, делов завернули, — жмурится отец и убегает.

* * *

С солдатами дело налаживается.

Вчера отец рассказывал, как он и какая-то девица партийного звания обезоружили целый эшелон.

— Ничего. Народ смирный, — говорит отец, — хорошие ребята.

— Как же ты это... воевал с ними?

— Очень даже просто. Пришли мы с барышней. Она, говоря по совести, и настропалила меня. Давайте, говорит, товарищ, попробуем. Что ж, можно, говорю, отчего не попробовать. Ну, пришли. Барышня говорит: выступайте. Ну, выступил, конечно. Так и так, говорю, товарищи. Поскольку вы все вооруженные, нельзя ли просить сделать одолжение генералов пощипать немного. Это, говорят, ты, дядя, брось. Мы, говорят, баб своих сколько времени не щипали, а баба — она вкуснее любого генерала, даже при орденах который. А я будто дурачок. Что ж, говорю, баба полезное существо. Щиплите себе на здоровье, но в таком случае нельзя ли попросить оружьица у вас. Мы в таком разе сами генералов почешем. Тут пошел раздор между ними. Кто дать, кто не дать. Однако нашлись партейные среди них, и мне это моментом дело обтяпали. Девица, которая была со мной, так и говорит Зорину на меня: урожденный, говорит, оратор... Во, балда! Видал, какой у тебя отец. Урожденный оратор. Я, брат, и завтра пойду.

* * *

Эсеры бросили в театре во время митинга бомбу.

— Ну и гады ж, — возмущаются рабочие, — ну и стервячья порода. И так голова кругом идет, а эти подлюки с бомбами.

Прихлопнули все газеты, дующие в буржуйскую дудку. Гимназисты в знак протеста объявили забастовку.

Было занятно.

* * *

Говорят, что беда не ходит в одиночку.

Рыжий гимназист в очках, всегда выступавший на митингах, объявил Кушнаревку «Свободной Элладой». Район

захватили анархисты и на перекрестках повесили черные флаги. Стащив где-то броневой автомобиль, рыжий гимназист разъезжает по городу под черным флагом и разбрасывает листовки с разной печатной чушью.

Впрочем, броневик у гимназиста отняли какие-то пьяные парни и устроили на главной улице бесплатное катанье. А когда бензин кончился, броневик бросили посреди улицы. Отряд красногвардейцев уволок его на веревках во двор совета.

На другой день гимназист объявил безвластие. На главную улицу вышло около сотни анархистов, одетых в черные кожаные куртки, с револьверами и карабинами в руках.

Распевая во все горло какой-то марш, они прошли несколько раз взад и вперед по главной улице и остановились перед советом. На балконе появился товарищ Зорин. Он устало смотрел на анархистов и чего-то ждал. Гимназист выскочил вперед и крикнул:

— Да здравствует анархия!

Зорин поклонился.

Анархисты заорали:

— Ур-р-ра!

— Мне передали, — громко сказал товарищ Зорин, — что отряд истинных революционеров-анархистов изъявил желание раздавить гидру контрреволюции — генерала Дутова.

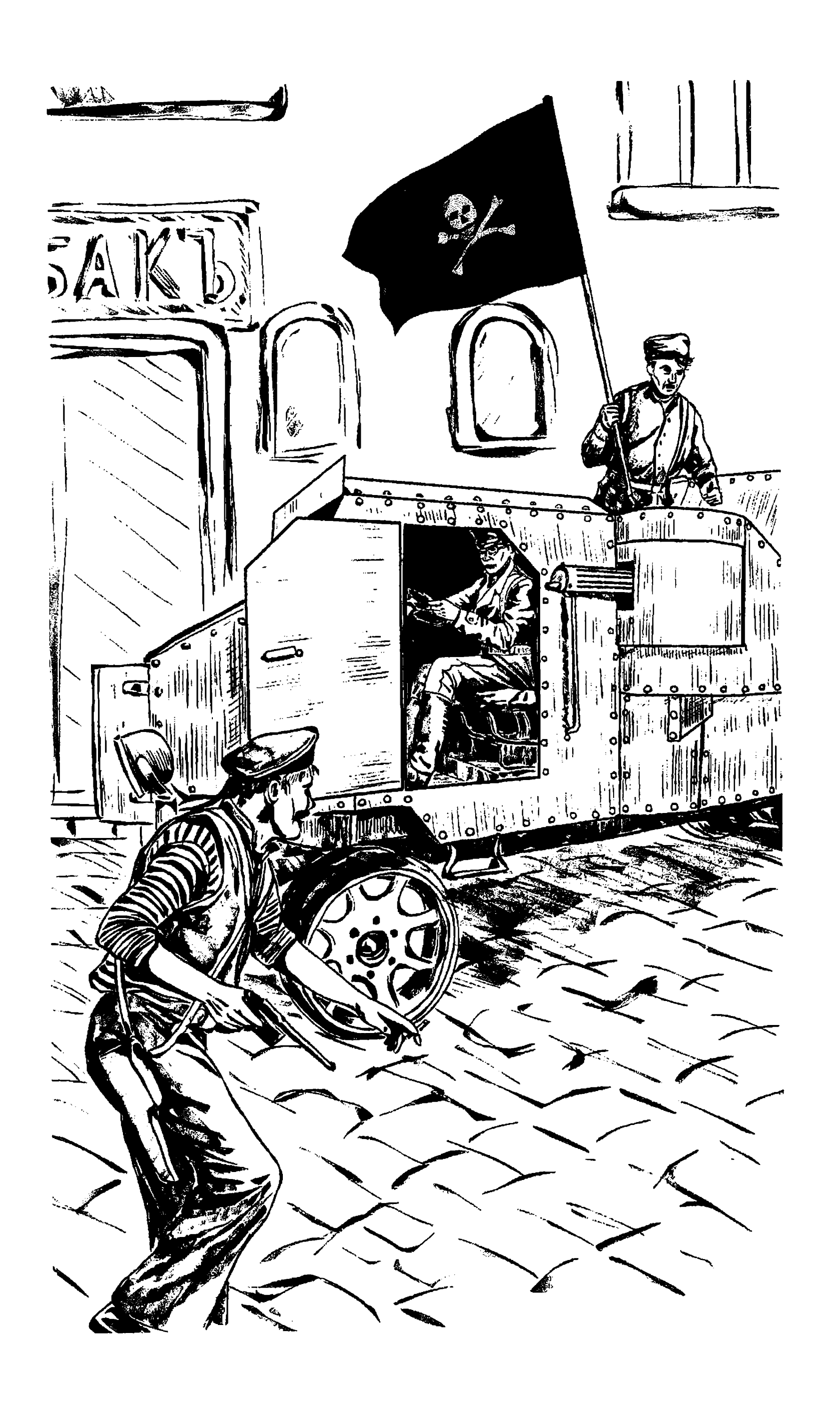
Анархисты начали переглядываться.

— Конечно, — продолжал Зорин, — желание это вполне законное. Пока мы не раздавим последышей монархии, — революция в опасности. Совет приветствует ваше мужественное решение. Идите, товарищи. Никто не смеет насиловать вашу волю. Ни запрещать ни разрешать вам, анархистам, мы не можем.

Впоследствии товарищ Зорин говорил:

— Никогда не подозревал, что они такие болваны. Думал, придется красногвардейцев будить... И откуда это они пистолетов себе набрали...

Анархисты, во главе с рыжим гимназистом, реквизировали в городе весь одеколон и, перепившись, укатили куда-то, угнав выпущенный из ремонта паровоз.


БАКЪ

Глава XII

Мне шестнадцать лет, и мир лежит передо мною как одна дорога.

Это ничего, что голодно. Неважно, что вокруг груда дымящихся развалин. У нас есть песня и в этой песне — хорошие, крепкие слова:

Мы наш, мы новый мир построим...

* * *

Солдаты бросили фронт. Немцы идут следом, занимая одну губернию за другой. Это злит.

— Какая ж сознательность у них козья? — возмущается Финогенов. — Видят ведь: устал народ от войны. Неужели понять нельзя?

— А им что?

— Как что? Мы им пример показали, пущай и они бросают к чертовой матери...

Евдоха кипятится, будто самовар, набитый горячими углями.

— Встал бы я да закричал им: «Немцы вы дорогие, что это вы, братцы, делаете, сукины вы дети?!..»

* * *

Завод опять остановился. Дядя Вася ходит мрачный и каждый день ссорится с отцом.

— Выходит, правы все-таки меньшевики, — заводит разговор дядя Вася.

Отец незлобиво отмахивается:

— А, брось... Меньшевики да меньшевики. А что меньшевики? Стало быть, меньше их.

— Ты ж пробка! — кричит дядя Вася. — Ты и разбираться-то не можешь в партиях.

— Ну, это уж ты брось! — сердится отец. — Был пробкой, да сплыл.

— А в чем разница, знаешь?

— И знать не хочу, — упрямо говорит отец, — я свое знаю, больше знать ничего не желаю. Ты бы, Вася, бросал своих меньшевиков. А? Пробка ты, пробка!

— Брось, Вася, бро-ось. Я, брат, во всех партиях побывал, все программы насквозь вижу.

— И ни черта ты не знаешь. Немцы-то идут.

— Пойдут да перестанут. Увидят мирный народ и образумятся. Мы ихнего не хотим, и они нашего не тронут.

— А вот трогают.

— Ну-к, что ж... Будут напирать здорово, так мы и в морду сумеем.

— До победного?

— Не до победного, а свое защищать поднимемся.

— Пойдет-то кто?

— Пойдут!.. Все пойдут. Отдохнут немного и встанут.

— Ты-то пойдешь?

— Почему ж не пойти?

— А раньше-то шел?

— Раньше — забывать надо. Раньше — неизвестно за что на убой посылали, а сейчас защищаться станем.

— Храбрый ты очень! — усмехается дядя Вася. — Чего ж ты на генералов не идешь? Пошел бы на Дутова да показал себя.

— Ну-к, что ж, надо будет пойду.

— Ну и ступай!

— Ступать тут нечего. Сколько их, генералов-то. Да им, брат, матросы одни наклепают.

— А Красную гвардию, как курей, щиплют.

— Пустое ты говоришь, Вася. Ей-богу, пустое. Большая ты пробка, как я погляжу. Никак ты в политике не разбираешься.

* * *

Привезли убитых красногвардейцев. Их похоронили на площади и сверху поставили какие-то рогульки.

— Чего это рогульки-то?

— Балда. Не рогульки, а памятник беззаветным героям.

Волосатые ребята в длинных рубахах распоряжаются на улицах, устанавливая памятники, похожие на мышеловки.

— Живописцы! — смеется Финогенов. — А чего наворотили и не понять.

— Ничего! — говорит отец. — Пускай себе стоит. Зачем людей обижать. Может, они от всего чистого сердца, а мы смеемся над ними.

Финогенов покашливает:

— Да мне что. Пускай стоит. Смешно, конечно, но если от чистого сердца, — не возражаю. Может, и ихняя жизнь была несладкая.

* * *

По городу расклеены объявления, призывающие вступать в Красную гвардию.

Партия объявила «десятипроцентную мобилизацию». Об этом сообщил нам прибежавший дядя Вася.

— Слыхал, большевик?

— О чем это? — спокойно спросил отец.

— Партия-то мобилизацию объявила...

— Ну?

— А большевики, герои, в кусты! Половина билеты побросала!

— Ну, это ты врешь! — не поверил отец. — Не может этого быть!

Впоследствии мы узнали, что «это» хотя и было, но насчет «половины» дядя Вася поднавалил. Правда, нашлись и такие, которые бросили партийные билеты, но до половины было далеко.

— Какой мне интерес врать? — усмехнулся дядя Вася. — Говорю — значит, знаю!

Отец встал.

— Ва-ась-ка! — крикнул он, открывая дверь. — А ну-ка, иди сюда!

Вошел Вася.

— Слыхал? Партия мобилизует нас! Что ты скажешь?

— Сегодня мобилизует? — спросил Вася.

— Ну, хоть сегодня!

— Что ж... Сходить надо — узнать!

— А пойдешь? — задал вопрос дядя Вася.

— Нет, сидеть буду с бабушкой!

— Видал? — засмеялся отец. Подойдя к Васе, он положил ему руку на плечо и повернулся к дяде Васе. — Оба пойдем... Ну-ка, где твоя половина? Два нас в квартире? Два и пойдем!

— И я пойду! — сказал я.

— Видал? — захохотал отец, но тотчас же нахмурился. — Ну, тебе-то рано еще. Подрасти надо! Вояка тоже... Стрельнут как, так штаны твои заржавеют.

— У тебя, смотри, не заржавели бы!..

— Вот балда! Да ведь это ж война. Тут, брат, тактику понимать надо. Наступленье там всякое... Сигналы... Запутаешься ты и пропадешь ни за грош...

— Ты-то откуда знаешь сигналы? Телегу от ружья не отличишь, а я-то уж управлялся с винтовкой.

— Управлялся... Посидишь дома. Таковский будешь!

Но дома сидеть я не хотел. С отцом я не стал спорить, считал это лишним. Маленький я, что ли, чтобы советоваться со всеми?

* * *

На другой день я направился отыскивать, «где принимают в Красную гвардию».

Проходя мимо дома, в котором мы жили раньше, я натолкнулся на Евдоху. Он тащил через дорогу полные ведра воды.

— Ну и лешагоны! — закричал Евдоха. — Свой водопровод загубили, а починять носы воротят. К соседям ходить приходится. У вас-то действует?

— Ты, Евдоха, не знаешь, где принимают в Красную гвардию?

— Ну, а хотя бы? Ай воевать захотелось?

— Захотелось, не захотелось, а видать, наше дело под табак. Мобилизацию большевики объявили.

— Всех?

— Не всех, а которые партейные! Ну, и в Красную гвардию набирают народ.

— Стало быть, стряслось что-нибудь! — задумался Евдоха.

— Ничего неизвестно!

Евдоха покорябал пальцами грудь.

— Постой-ка, парень! Я сичас!

Он схватил ведра и, расплескивая воду, побежал во двор. Я остался у ворот.

На улице было пусто.

На заборах висели оборванные афиши. Дремали забитые досками магазины. Загаженные, замусоренные улицы лежали под толстой корой бумаги, лошадиного навоза, остатков пищи и золы.

— Пошли! — выскочил Евдоха из ворот, вытирая о грязный фартук руки.

* * *

Во дворе штаба Красной гвардии уже шумела пестрая разнородная толпа. В углу двора около походных кухонь был слышен задорный смех.

— А ну-ка, посмотрим! — потащил меня Евдоха.

Окруженный толпою, в углу двора стоял монах в черной рясе, с бараньей шапкой на голове. Монах был красив и молод. Большие серые глаза весело смотрели из-под черных бровей. Белое лицо горело румянцем. Пьяная улыбка блуждала на крупных губах.

— Ну и бес! — хохотал до слез стоящий рядом с ним рабочий.

— Вот они, монахи-то! — качал другой головой.

Евдоха подошел к монаху вплотную и приподнял высоко черную рясу:

— С припасом монах-то!

Все захохотали.

— Баб портил? — строго спросил Евдоха.

— Случалось! — светлым голосом ответил монах.

— Та-ак! — растерялся Евдоха. — А водку как?

— Водка — утешительница сердец. Ее же и монаси приемлют.

Все захохотали.

— Та-ак, — опешил Евдоха, — значит, не монах ты, а бандура какая-то!

— Истинно говорите вы! — ответил монах.

Евдоха заморгал глазами:

— Н-ну и... сукин сын!

Растерянный вид Евдохи рассмешил всех еще больше.

— Возьми-ка его за рупь, за двадцать!

— Святой, святой, а тоже в Красную гвардию!

Со всех сторон посыпались шуточки:

— Полковым священником метит!

— Первый красный монах!

— А может, девка это?

— Го-го!

— Ну и дьявол!

Монах стоял улыбаясь, радостно и весело посматривая на всех.

* * *

Из штаба вытащили два стола. Началась запись красногвардейцев. Длинная очередь подходила к столу, за которым сидел худой человек. Казалось, у него, кроме длинного носа и больших несуразных глаз, ничего не было. Лицо пропадало где-то между воротником шинели и барашковой папахой с широкой красной лентой, тянущейся к зеленому верху.

Длинноносый махнул рукой и сказал неожиданным басом:

— Товарищи! За последнее время в Красную гвардию проникло очень много разных уголовных элементов. Позоря нашу гвардию разными поступками, они подрывают ее авторитет на каждом шагу. Товарищи! Уголовникам не может быть места в нашей гвардии, и я просил бы вас, товарищи, оказать помощь в этом деле. Подходя к столу, показывайте ваши руки, а если кто из вас покажется мне... ну... Словом, не обижайтесь, если некоторых придется проверять. Принимаются рабочие и крестьяне, всех остальных только по рекомендации.

Он сел.

Вытянув руки, очередь двинулась на длинноносого. По воздуху плыли корявые ладони с короткими, словно обрубленными пальцами, с въевшейся черной гарью на ладонях. Длинноносый коротко спрашивал:

— Ничем не болен?

— Нет.

Некоторые отвечали смешками:

— До хлеба охоч больно!

— Аппетита нет. Больше каравая никак не могу смять!

— Расширенье зрачков на буржуя!

— Нервы шалят против генералов!

— Хозяйские зуботычины беспокоят!

Мои руки не понравились длинноносому:

— Стоп! С какого завода?

— С механического!

— Кто будешь? — подозрительно осматривали меня десятки глаз.

— Кого на механическом знаешь?

Евдоха протолкался вперед.

— Я его знаю!

— А ты кто такой?

— А Евдоха! Сапожник! Вона? — и Евдоха растопырил ладони с крючковатыми черными пальцами. — А этот паренек — сын Ларри!

Отца моего длинноносый знал. Он улыбнулся чему-то и сказал торопливо:

— Знаю... Проходи!

Немного обиженный, я встал в очередь к следующему столу, украдкой рассматривая свои худые руки. Сзади в затылок задышал Евдоха:

— Что ж ты обмишулился, парень?

— То и обмишулился, что год не работал целый, а последнее время сам знаешь, какая была работа. Курили больше!

— Видишь, — с упреком сказал Евдоха, — не надо было курить-то. Могли и не принять. Мне говори спасибо.

— Да я и без тебя бы...

— А что ж молчал? Без меня... А сам, будто курица мокрая, стоял! И слова все проглотил.

Сзади захохотали.

Перед столом стоял монах и, кланяясь длинноносому в пояс, говорил что-то.

— Не могу! — басил длинноносый. — Жандармов и служителей культа не полагается.

— Дозвольте за народ пострадать! — кланялся монах.

Длинноносый разозлился:

— Мы, монах, не собираемся страдать. Мы драться встаем, а не страдать. Нельзя, говорю!

Но за монаха вступились уже принятые:

— Да одного-то ничего! Возьмем его!

Не утерпел и Евдоха.

— Эй, товарищ, — крикнул он, — возьми уж «Всех скорбящих»-то!

Длинноносый захохотал. Глядя на него, захохотали все.

— Пускай служит!

— Заместо гармошки будет!

— Тропари нам будет петь.

Длинноносый, смеясь, поднялся из-за стола:

— Ребята... Нельзя же так!.. Что вы, дети малые?

— Да бро-ось!

— Пускай воюет!

— Взять монаха!

— Взять!

— Взять!

— А ну вас! — махнул рукой длинноносый. — Вам же хуже!

— Ничего!

— Нам хуже не будет!

— Мы за ним досмотрим!

— Надо ж грехи монаху загладить!

Монаха приняли. И все почему-то радостно зашумели. Было и мне приятно, что приняли монаха. А Евдоха даже обнял его.

— Вот, брат, — растроганно сказал Евдоха, — осчастливили мы тебя. Помни, смотри. Драться будешь, так чтобы ни-ни! Без цикория!

Монах улыбался.

* * *

Я подошел к другому столу, заваленному грудами каких-то листов.

— Грамотный? — спросил похожий на жука, чернявый солдат.

— Плохо грамотный!

— Тогда слушай, — сказал солдат и скороговоркой начал читать с листа.

Еле поспевая за словами, я успел уловить, что мне будут выданы сапоги, шинель, папаха, гимнастерка и штаны, две пары белья и винтовка с патронами, а также буду я получать в месяц 50 рублей.

— Договор на шесть месяцев! — сказал солдат. — Через шесть месяцев хочешь — уходи, хочешь — возобновляй службу. Сколько лет?

— Восемнадцать! — соврал я не краснея.

— Подпишись!

* * *

К обеду вернулись домой отец и Вася.

— Ну, как? — спросила мать.

— Воюем! — важно ответил отец.

— Завтра в казарму! — сказал просто Вася.

Отец первый раз в жизни погладил меня по голове:

— Ты, мать, приглядывай тут за Янкой! Мальчишка ведь еще!

Я презрительно фыркнул. Вытянув из кармана договор, я с торжествующим видом развернул его перед отцом:

— Не мальчишка, а красногвардеец! На-ка, читай!

Опешив от неожиданности, отец начал читать.

— Ты с ума сошел? — ужаснулась мать. — Тебе ж годов-то даже не вышло!

— Приняли — значит вышли!

Мать начала кричать:

— Дубина ты... И те дубины, что принимали... Ребенка взяли, что вы скажете. Да я им завтра глаза, дуракам, выцарапаю! Что ж это делается только...

И залилась слезами.

— Успел, сукин сын! — удивился отец. — И лета догадался подставить. А ты не реви, — обратился он к матери, — раз печать приложена, значит — шабаш. Обратно не повернешь!

— Да ведь убьют вас, дураков! — голосила мать.

— Сразу да и убьют! Скажет тоже! Всех бы убивали, так никаких армий не хватило бы. На договор твой. Завтра скажу, чтобы вместе устроили.

Вечером пили чай и спокойно разговаривали.

— Мы их в два счета! — успокаивал отец. — Нас-то ведь вона сколько, а генералов — раз-два да и обчелся. Кишка у них слаба с нами драться...

Вася держит блюдечко в растопыренных пальцах.

— Этак тот не пойдет, другой улизнет, что же выйдет в таком случае?

— Ничего не понимаю! — говорит печальная мать. — Всю жизнь жила без революций, а тут в одном году сразу две.

— Да ведь власть-та наша? — спрашивает Вася.

Бабушка неожиданно принимает нашу сторону:

— Идите уж! Мы уж, две женщины, пробьемся как-нибудь!

— Лучше-то будет ли? — улыбается сквозь слезы мать.

— Ну, а как же! Ясно — лучше!

— А хуже-то как жили, разве придумаешь? — удивляется отец и с уверенностью говорит: — Обязательно будет лучше!

Глава XIII

Ночь.

Это наша первая ночь в казармах.

Новая обстановка немного волнует. Спать не хочется. В углах мирно течет тихая беседа красногвардейцев.

Я лежу на жестком топчане, натянув шинель до подбородка. Отец мостится рядом, разговаривая с собой:

— Одеяла бы надо взять, однако пригодятся матери. На хлеб сменяет в случае чего...

Электрические лампочки горят желтым тусклым светом. Дымные тени качаются над рядами топчанов. Серыми волнами вздымаются шинели, в полумраке смутно белеют лица и ноги.

Казарма гудит, точно пасека в знойный полдень.

Я прислушиваюсь к разговорам.

— Теперь война будет легкая, — говорит кто-то, невидимый в темноте, — теперь каждому дан и план и компас. Не вслепую воюешь.

— Что и говорить, — кашляет собеседник.

— Раньше, бывало, сидишь и думаешь: и умирать не хочется, и жить несуразно. Думаешь: чего я сижу. Человек будто бы и взрослый, а сидишь в яме вроде как дите малое, да, словно зверя, человека стережешь. А что мне немец сделал? За что его убивать? Палач я, что ли? Ну я его ухлопаю, а у него, может, дома мал мала меньше, может, семеро ртов останется. А мне какая корысть? Трупами я, что ли, питаюсь? И взяла тоска меня. Плюнул я тогда и шанцевой лопаткой оттяпал себе три пальца. Лучше, думаю, пальцы порешить, чем живую жизнь загубить. Вот она какая война была.

— Стрелять-то как будешь теперь?

— Ничто! Левша ведь я. Как дам с левой, так и все в порядке.

— Вот ты какой?

— А что, товарищ... Ребят у меня шибко много. Трое сыновей да девчонки две. Жалко ведь... Ну как, думаю, генералы осилят. Опять ведь война без конца. Невозможно ить

без войны генералу. Дай, думаю себе, за сынов отвоююсь. А им, глядишь, светлая жизнь достанется. Дети же... Жалко все-таки...

— А мировые ежели буржуи?

— С мировыми-то за первое удовольствие счел бы. С мировыми, так уж самая последняя. С радостью пошел бы. Только не слыхать что-то о революции в иных странах.

Около окон задушевный голос печально рассказывает о молодости:

— Гулял я с нею полгода, а только глупостев никаких не думал. Хорошая была девушка. Вразумительная такая, ласковая. Бывало, сидишь с нею рядом и говорить ничего не хочется. Будто около солнца сидишь. Тепло тебе и спокойствие на сердце. Жалко мне и сейчас ее.

— Бросил, стало быть.

— Расстался, друг... Как посадили, так и разорвал все... Приходила она ко мне. Несколько раз приходила. Придет — все лицо мокрое от слез. Сядет и плачет да вздыхает тяжело. Не ходила бы, говорю, тревожишь ты меня. А она в слезы. Ты, плачет, погиб теперь, Сеня. Какая твоя теперь жизнь будет? Испортят тебя в тюрьме. Что ж, отвечаю, такая уж жизнь. Не один сижу. Пол Расеи мучается в каторге.

Хохот неподалеку от меня привлекает мое внимание. Рыжий лохматый дядя в солдатской ночной рубахе приподнялся на локтях и, скаля зубы, медоточит лукавым голосом:

— Просыпается солдат, что за черт? Лежит у него под боком приветственное существо и лопочет что-то по-своему. Солдата аж в пот бросило. Как, говорит, мне понимать вас, безвинная барышня: от тоски это вы или по бесстыдству? А девочка обнимает солдата да по голове гладит, будто щенка которого. «Бедни, бедни золдат», — говорит и опять — по-своему. Целует его, милует его, а тот глазищи выпучил и понять ничего не может...

Чей-то веселый голос вырывается на простор и плывет над беседой ярославским говорком:

— Служил я в кучерах у англичанина. Ну, и говорит мне англичанин этот: «Непонятные вы, русские. Загадочный, говорит, народ вы, русские».

— К чему же это он?

— Да, видишь, случилась со мной такая мура. Гулял я на Масляной, ну и захлестнуло... Так я упряжку возьми да побоку. Сплавил, короче говоря. «Ты?» — спрашивает англичанин. «Я», — говорю. «Ты, — говорит, — вор». — «Не вор, — отвечаю. — загулял. А уж как гулять начну, так мне не то что упряжки, самого себя, — говорю, — не жалко». Думал, прогонит. Однако обошлось. Только деньги высчитал за упряжь. Ну, а тут случилось потерять ему деньги. На дворе и потерял-то. Поднял, а голова кругом. И не сосчитать, сколько их. Тыщи.

— Отдал?

— Ну, а как же?! Прождал два дня и понес. Нате, говорю. Вами, кажись, обронено. «Когда, — спрашивает, — нашел?» — «Дня два, — говорю, — да все позабывал отдать вам». Англичане, скажу, крепкий народ, но этот не выдержал. Заревел. «Никак, — говорит, — не пойму я русских. Упряжку пропил, а тысячи обратно возвращает...» Ну, промолчал я. Да и что говорить мне? У них за границей, я полагаю, все на деньги рассчитано. За дружбу — доллар, за совесть — доллар, за любовь — доллар, а мне мое удовольствие миллионы стоит...

— Честный ты!

— Честность — пустое. Честность это буржуи выдумали, чтобы не обманывали их. Себя, говорю, тешил, а не честность.

Неподалеку кто-то говорил злобно:

— Это они-то голодают? Вот важность. А я и в сытое время лучше не ел. Ничего им не сделается. А подохнут — туда и дорога. Сами же довели Расею до этого.

— Ты, Янка, спишь? — спрашивает отец

— Чего тебе?

— Так просто... Интересно, чего там мать наша подумывает.

* * *

Утром пришел в казарму странный человек. Был он какой-то неуловимый. Глаза прятал. Смотрел в сторону. Разговаривал глухим голосом.

— Я говорить не буду долго, — обратился он к нам, — кто понимает — это одно, а кто не понимает — другое.

Он вынул из кармана пачку белых билетов.

— Подходи, кто желает записаться в большевики.

Мы встали в затылок.

Туманный человек, не глядя на нас, вписывал в билеты фамилии подходивших и, дергая носом, подгонял:

— Следующий. Фамилия?

— Назаров. Илья Семенович.

— Родился?..

— Так точно.

— Да год, год...

— 1890. Не помню только: апрель, август.

— Ладно. Следующий!

Получившие билеты молча смотрели на них, потом завертывали бережно в платки и тряпочки и прятали за пазуху.

Получил и я партийный билет.

Последним потянулся было за билетом монах «Всех скорбящих», но Евдоха отвел его в сторону.

— Рано еще тебе. Отойди!

И сказал, указывая на монаха:

— Этому повремени давать. Проверить надо.

Странный человек кивнул ему в знак согласия и, сложив оставшиеся билеты в карман, упал головой на стол. Оглушительный храп тотчас ударил в стекла.

Переглянувшись, мы молча вышли, стараясь не шуметь, осторожно ступая на носках.

* * *

Нас обучают во дворе архиерейского дома.

К моему великому удивлению, я получил винтовку, совсем не похожую на ту, что я держал, охраняя банк. Была эта винтовка ладная, с другим штыком и очень удобная для действий. Я сказал об этом обучающему, молодому парню с веселыми глазами.

— Ерунда! — ответил парень, выслушав меня. — То была у тебя берданка, а это скорострельная трехлинейная винтов-

ка на пять патронов. Встань-ка в строй да не шевелись без дела. Я сейчас все это объясню.

Нашего начальника мы еще не видели. Он мечется по городу, отыскивая броневики, пушки, пулеметы, гранаты и еще какие-то штуки, без которых, как говорит Назаров, и война не война.

Военному делу нас обучает бывший ефрейтор Перминов, широкоскулый парень с голубыми веселыми глазами. Он крепко сбит и ладно скроен. Ходит высоко держа голову, выпятив грудь колесом. Перминов терпелив, но все-таки нет-нет да и пустит матюга по нашему адресу:

— Коровы, холера вам в бок. Ну кто же так ходит?.. Солдат должон шагать с бодростью. Голова — в небо, грудь — в горизонт. Чтоб земля под ногой гудела. Видом должон врага устрашать. А вы будто купцы на прогулке, будто с холодным пузом после горячего чая прогуливаетесь.

Евдоха переступает в строю с ноги на ногу.

— Э, милый человек, — говорит он извиняющимся голосом, — нам бы попадать из ружей научиться, а эти маршруты ни к чему.

— Я тебе не милый человек, а товарищ командир, — сдвигает брови Перминов, — и опять же в строю разговоров не положено. Строй — святое место. Команда подана — значит замри. Стой, будто ты умер. А насчет ружей — забывать надо, ружье — это белку стрелять да баб пужать. Не ружье у тебя в руках, а трехлинейная нарезная винтовка, образца 1896 года со скользящим затвором и магазинной коробкой. Запомните, ребята.

— Сам ты ребята! — тихо говорят сзади.

Особенно противно заниматься шагистикой. Паскуднее этого занятия, нам кажется, и на свете нет. Тайного смысла маршировки никто из нас не понимает, а старые солдаты, как бы нарочно, шагают так, что Перминов, глядя на них, бледнеет и зеленеет.

— Ну как вы ходите? Из кабака, что ли, претесь? На свиданье пошли?

Мы молчим, но, когда подается команда «оправиться», Перминова осыпают упреками, ругают матом и щуняют

всячески. Рыжий лохматый солдат Волков демонстративно плюет и растирает плевок огромным сапогом.

— Тьфу тебе! — злится Волков. — Задурили твою голову в царской, так ты и нас обдуряешь тут. А знаешь, для чего эта маршировка требовалась?

— Для парадов! — кричит Савельев.

— Именно для парадов. Генералов чтобы тешить. Я, брат, может, не хуже тебя выдрессирован в царской, а сейчас — пошло оно к чертовой кобыле под хвост. Важно стрелять толково, ну, еще рассыпной строй, а эти шаги оставить надо.

Не интересуясь маршировкой, мы охотно обучаемся стрелковому делу, а вечерами добровольно изучаем пулемет и гренадерское искусство. Тут уж Перминову помогают и старые солдаты, побывавшие в царской армии, и помогают так усердно, что мат гремит во всех углах, точно ураган:

— Балда ты, балда! Это ж пароотводное отверстие, а я тебя прошу показать надульник.

«Самочинное» начальство лютует:

— Как наматываешь? Портянка это тебе? Это ж сальник, оглобля, а не что иное!

— Фу-ты, как ругаешься! — морщится Евдоха, занимающийся под «командой» Волкова.

— Нас, брат, били за это! От ругани же у тебя ничего не отвалится, но польза тебе выйдет большая. Сальник, брат, не научишься без этих слов обматывать. А без сальника и пулемет не пулемет, а вроде фарьи. Ты вот смотри. Нитка кладется по желобу ствола. Кладется ровными рядами, да чтобы сальник не выступал из желоба, ни-ни! Туго мотать ни к чему совсем. Задержки при стрельбе получаются. Но опять же и слабо не годится. Слабо если намотаешь, — вода потечет из кожуха. А без воды — мура дело.

Потом учителя и мы садимся пить чай, но и за столом не прекращается военное обучение.

— Пулемет — дело тонкое, — говорит Волков. — А на германском фронте был у нас такой случай. Полезли на нас под Грубешевым немцы. Подолбили, конечно, снарядами спервоначалу, а потом и поперли. Ну, можно сказать, серьезный народ. Солдат к солдату, будто на подбор. Австриец, тот

хлипкий. Тот больше виду подает, что воюет, а как что — так руки кверху тянет. Сдается. А немцы — те бьются. Ну, мадьяры еще хорошо дерутся. Только бестолково как-то. А немец — первый тебе воин. Он и в штыки тебя примет. С ним ухо востро держи.

— А верно, что русские штыками держались?

— Правильно говорят, — дует на блюдечко Волков, — что, что, а тут уж наша кобылка показывала себя. Уж на что, говорю, крепкие немцы, но и те не любили русского штыка. Да ведь и то сказать, он пьяный наступает, а ты тверезый. Ну, и валишь, бывало. Да и народ стервенеет. А нашего брата разозли, так он с дубинкой на медведя бросится.

— Вот румыны — те совсем поганое войско! — вставляет Савельев, тоже старый солдат. — Румын и за войско почитать нельзя. Помню, пригнали нас в Румынию, а они уже на краю сидят со своим королем. Букурешти — нуймаешти. Столицу, значит, свою профукали в два счета. И все остальное отдали в первый месяц. Смехота, а не армия. Кабы не русские, уж и не знаю, куда им бежать оставалось.

— Русские поддержали?

— А ты как думаешь? Мы как приехали, так и поперли вперед. Смеху что было. Приходим сменять их, а они, точно зайцы в норах сидят. Не окопы у них, а ямки такие. Где, спрашиваем, офицеры? Никто не знает. Офицеры-то у них, как после мы увидели, и в боях не бывают. Дорожит ими король. Дорого, говорит, обученье мне ихнее стоит. За всю войну только и побило ихних офицеров двоих иль троих. Не больше. Ну, сменили мы румын. А кругом горы да лес. Тихо. Ни стрельбы тебе, никакого звука. А горы называются Монте-Карунда и Печера-Лат, а долина там проходит — Чебонаш. Ну, безусловно, на заре мы пошли в наступленье. Подошли, а мадьяры спят в одних подштанниках. Не ждали, стало быть, русских. Румын они ни в какую не считали, смотрели вроде как на кошачьи дрязги. Часовые и те даже спали. Ну, тут мы их и погнали. Они впереди, а мы за ними. Гора высоченная. Вверх ползешь, ползешь; конца-краю нет. Дыханье заходится. Сердце вот-вот лопнет. А ползем. И стрелять некогда. А эти, мадьяры-то, ползут в нескольких

шагах. Кто без штанов, кто без мундиров, у кого винтовки есть, а у кого и нет. Видят, мы остановимся, — и они отдыхают. Наш ротный кричит им по-немецкому: сдавайтесь, дескать, все равно догоним. А они разные неприличности по-своему кричат.

— Как же ты понимать их мог?

— Сказанул тоже! Да раз человек матерится, так я тебе по харе в два счета отличу, ты хошь на каком угодно американском языке упражняйся.

— Ну, ну...

— Догнали мы их. Офицер ихний сел, открыл себе рот и сунул под усы пистолетик. Цоп — и шмякнулся. Обидно ему стало.

— А может, плена боялся?

— Плена чего ж ему бояться? Мы, расейские, не обижали, которые сдавались. А в плену им лучше жилось, чем русским. Мы ведь не звери, чтобы убивать. Тоже ведь не по своей воле воюет народ.

— А ты бы объяснил офицеру!

— Ну... офицера и не жалко, дак я не о том. Я хочу сказать, как взяли мы Печеру-Лат, так моментом и на Монте-Карунду. По хребту прошли. Посмотрели: ну и черт! И самим не верится. Такая, братцы мои, высота, что башка кружится. Облака тебя за ноги хватают, а до звезд вот-вот штыком достанешь. Вот дьявола какого взяли.

— Бывает, — говорит Волков, — однако не досказал я про пулемет под Грубешовым. Ну пострелял, пострелял немец да и попер... Мы его, конечно, ждем, подпускаем до проволоки колючей.

— Подпускаете?

— Подпускаем! А потому подпускаем, что у каждого по десять патронов. Всего-на-все. Только два раза зарядить и хватит. Подпускать-то, конечно, подпускаем, а сами боком на пулеметное гнездо поглядываем. На него надежда... Впрочем, немец себе идет. Глядим, обличье уже различить можно.

Ротный — в свисток. Огонь, значит. Смотрим, пук-пук, а пулемет наш единственный будто мечтает. Ни взад ни впе-

ред. Задержка. Немцы бегом. Топ-топ, да и в окоп. Гляжу, какая-то пьяная рожа немецкая бац нашего пулеметчика бутылкой по голове, да и ну себе хохотать.

— Хохотать?

— То-то и есть, что хохотать. Погано это, ребята, когда такую муру видишь. Страх нападает. Хохочет, вроде бы плюет на нашу технику с задержками. Увидели мы, что хохочет, и втикать... Вот тебе и задержка... А будь пулемет в исправности, мы б его, как дров, наложили.

— Ай мало за войну наложил? — спрашивает с укоризненностью в голосе Евдоха.

Волков сконфуженно чешет затылок:

— Я что ж... К слову пришлось. Я ж тебе задержку объясняю.

— А мое такое мнение, — говорит Савельев, — не воевать бы нам с Германией надо. Ихний-то Гинденбург, говорят, тосковал очень: мне бы, говорит, русских солдат да немецкую технику, так я бы весь мир расколотил. А думаете, не расколотил бы? Расколотил! Мы бы это с Германией вместе всю Европу на карачки поставили! Солдат у них — отличный. А уж про технику и говорить нечего. Нам бы такую технику! Делов бы натворили — беда. Эх, зря мы не пошли с немцем вместе.

— Тебе что ж, Европа очень нужна?

— В Европе я не нуждаюсь, а перцу бы задали. Навек бы отбили охоту к войне.

— Дипломат ты, земляк, как посмотрю на тебя.

— Да уж какой есть, весь — тут.

Глава XIV

Когда мы идем по улицам, Перминов сходит с мостовой на тротуар и делает вид, что к нашему отряду он не имеет никакого отношения, а прогуливается по городу ради собственного удовольствия.

— Страдает ефрейторская душа! — смеются красногвардейцы.

— Ты что боком-то от нас? — спрашивают Перминова в казарме.

Перминов молчит. Ему надоело говорить о строе.

Смеются над нами обыватели. Мальчишки бегут за нами и во все горло распевают:

На солнце ничем не сверкая,
В оружье какой теперь толк,
По улицам, гвалт поднимая,
Проходил наш сознательный полк.

Вид нашего отряда действительно аховый. Идут вразброд. Винтовки несут как попало. Кто на ремне держит, кто на плече несет, как дубину, а старые солдаты, озорства ради, несут винтовки прикладом в небо, хотя так держать винтовку куда труднее, чем на ремне.

Возвращаясь как-то из тира, мы заметили высокого человека, который подошел к Перминову и, указывая на нас, что-то начал спрашивать. Перминов только плечами пожал.

Мы вошли во двор.

Передние ряды с шумом кинулись в казарму, но в это время сзади взревел страшный голос:

— Наза-ад!

В замешательстве красногвардейцы остановились. Высокий человек в кожаной тужурке стоял сбоку, рядом с Перминовым, гневно сверкая глазами.

— Построиться! — крикнул он.

Было в его властном голосе что-то такое, что заставило всех встать в ряды.

Человек в тужурке вышел на середину. Он некоторое время смотрел на нас, как бы оценивая каждого красногвардейца, затем спокойным голосом спросил:

— Вы кто такие? Банда?

— А ты кто такой? — крикнул Волков.

— Я — Акулов. Начальник красногвардейского отряда.

— Если нашего, так мы и есть этот отряд! — буркнул Волков.

Акулов подошел к Волкову вплотную.

— Старый солдат?

— Ну?

— Ты чего хочешь?

— Я? — удивился Волков. — Ничего я не хочу. А ты, гляжу, хочешь чего-то.

Начальник отряда расстегнул тужурку.

— Товарищи! — сказал он. — Я это время не мог быть с вами, но теперь мы должны договориться. Закуривайте пока.

Ряды зашумели. Красногвардейцы потянулись в карманы за табаком. Голубые тающие дымки поплыли поверх штыков.

Акулов поднял руку вверх.

— Товарищи, — сказал он, — я сам старый солдат. Всю солдатскую муштру сам испытал, но, товарищи, надо договориться. Мы что собрались делать? Ланце танцовать? Зачем это у вас винтовки в руках? В лапту играть? Товарищи, надо быть серьезными. У нас, товарищи, Дутов на шее, Корниловы да Каледины подпирают нас. Мы, товарищи, воевать должны! Или вы не знали, на что шли? Или вы не знаете, для чего обучаетесь военному делу?

— Мы это знаем, товарищ, — перебил начальника отряда Волков, — но ты подумай, на кой ляд нам эти маршировки, когда мы для боя готовимся? Да меня возьми, к примеру, так я тебе хоть завтра... Меня хоть сейчас на фронт. Думаешь, не управлюсь там? Мне и вообще-то оно не нужно, ученье это.

— Может быть, и так! — кивнул головою Акулов. — Спорить с тобой не буду. Может, вам всем обученье не нужно. А только обучаетесь вы не потому, что плохие солдаты,

а больше по другой причине. Запомните, товарищи, что для войны нужны не отдельные обученные бойцы, а крепкие отряды с дисциплиной. За время учебы вы должны спаяться один с другим. Каждый должен узнать своего товарища, тогда и в бой можно.

Отряд — это военная машина. В ней все части должны работать, как одна. Я это говорю не как начальник, а как боец. Ну, вот ты, — обратился Акулов к Евдохе, — возьмем, к примеру, что ты находишься в бою. Подается, положим, команда в атаку. А ты и не знаешь хорошо: поднимутся ли те, кто с тобою рядом, или тебе одному придется в штыки бежать. В бою, товарищи, каждый должен иметь такую мысль, что если что я выполняю, стало быть, и все будут так же действовать. Уверенность в других должна быть. Без дисциплины нельзя воевать, товарищи.

— А шагать-то для чего?

— Шагать нужно во как. До зарезу это полезное дело. Да и не шагаете вы, а прилаживаетесь один к другому. Будто части машины. Не могу я этого объяснить вам, как следует. Язык у меня суконный, но если кто не понял меня, пускай на совесть поверит. А если понял кто, пускай товарищу растолкует. Может, понятнее будет. А теперь — валите обедать.

* * *

Дымятся котелки. Отряд наступает на горох с бараниной, на гречневую кашу с подсолнечным маслом. Вместе с нами обедают наши матери, жены и малые ребята.

Сначала Перминов решительно восстал против «бабья», но его никто и слушать не захотел:

— Бро-ось! Все равно ведь остается в котлах...

— А дома паек целее будет. Уедем, так пригодится еще.

Перминов махнул рукой:

— Банда вы, а не армия!

Но сегодня Перминов «снизошел». Сегодня он решил «заметить баб». Приладившись с котелком к «семейному столу», Перминов держит такую речь:

— Мужья ж у вас, молодки! Не мужья, а сплошная нация!

Это слово Перминов считает самым оскорбительным словом. Оно, кажется, означает высшую степень презрения.

— Чистая нация! — вздыхает Перминов. — В первом бою, как медные котелки, погибнут.

— Чего ж так, товарищ? — улыбается жена Попова, рабочего железнодорожных мастерских.

— Учиться не желают! Каждый себе думает: я ли, не я ли, все на свете знаю. А в бою, как курят, изничтожат.

Бабье встревожено. Многие перестают есть, испуганно глядят на Перминова. Мать с недоумением смотрит на отца, затем переводит глаза на меня.

— Как же так не желают?

— А так, — с беззаботным видом отвечает Перминов, — не хотят да и только. Нас, говорят, никакой снаряд не возьмет. Мы, говорят, и стрелять-то не будем, а с голыми руками пойдем.

Красногвардейцы посмеиваются:

— Заливает он!

Но бабье всполошилось не на шутку. Мать ни с того ни с сего хлоп отца по лбу ложкой и ну реветь:

— Вечно ты с дуростями со своими. Всю жизнь прожил, как не люди, и тут выкомаривает на свой лад. Убьют дурака, что тогда будешь делать?

— Ах, курья нога! — закатывается от смеха отец. — Да ведь шуткует он. А ты и поверила ему. Ты бы посмотрела, дуреха, как я сегодня в тире... Из пяти четыре в самый центр влепил. Я тебе и с гранатами управляюсь теперь.

— А ты не вкатывай бабе! — останавливает Перминов. — Сам, небось, знаешь, о чем разговор ведется. Вы, бабы, поднажмите на них, не то ваших мужьев в кисете вернут с фронта.

И пошло. И поехало.

Бабы ругаются, плачут, а мы сидим и хохочем. Приятно все-таки, что жалеют тебя. Значит, не плохой ты человек. Нужный кому-то.

— Эк, мокреть-то развели! — заливаются красногвардейцы.

— И полов мыть не надо!

— Без калош и шагу не сделаешь!

— Сразу тебе и ревматизм в коленках.

А бабы головами покачивают:

— Кобели вы, кобели! И чего смеетесь, сами не знаете.

Васина бабка поднялась и сказала, вытирая рот:

— Пустомели вы! Начальники-то, поди, не плохого вам хотят, а вы пустомелете попусту. С вами, ить, начальники пойдут. Слушать их надо вам, а не то, чтобы ржать жеребцами. И сами погибнете, и нас погубите, спаси господи.

— Ну и бабка! — заржал Волков. — Рассудит, что Ленин. Вот митинг-то, язви его.

* * *

Спустя несколько дней сияющий Перминов шагает впереди отряда, точно начищенный самовар. Оглянется на миг, сверкнет лицом и улыбнется.

Мы идем плечо к плечу, отбивая ногою крепкий шаг. Пояса у нас подтянуты, винтовки на ремнях. Смотрим «в затылок переднего». А шаги, точно многотонный пресс, падают гулом на мостовую.

— Гох, гох! Гох, гох!

Прислушиваясь к ударам, я тихонько подсчитываю.

— Ле-вой! Ле-е-вой!

Ошеломленный обыватель грудится на тротуарах, с удивлением глядя на стройные ряды красногвардейского отряда. До нашего слуха доносятся слова:

— Немцы!

— Из пленных набрали!

— Русскую шинель надели, а рожу все равно ведь не прикроешь.

— Рожи немецкие

Тогда Волков на чистейшем русском мате кричит:

— Сами вы... немцы немаканные!

— Во-олко-ов!

Окрик начальника отряда восстанавливает нарушенный порядок. Волков с ожесточением «дает ногу».

* * *

Закинув руки за голову, Волков лежит на топчане. Шевеля пальцами ног, он спрашивает, ни к кому не обращаясь:

— Ну, расколотим генералов? А дальше чего?

— Дальше будем жить без господ. Свое рабочее государство построим.

— Да не про это я. Мне интересно, что еще дальше имеется.

— Устроим социализм дальше. Слыхал вчера, какая это полезная штука.

— Во, балда! Мне как раз с этого места и нужно дальше.

— Ну, дальше что ж? Поживем всласть, да и детям светлую жизнь оставим.

— А дальше?

— Дальше помрем!

— Ну... это обидно даже слушать. Как это помрем?

— Помрем, и все тут!

— Нет, врешь. Так, брат, не годится.

— А как же по-твоему?

— Как, я и сам не знаю... Но не согласен с тобой.

— Говоришь ты, сам не зная чего.

— Говорю тебе мысли, балда. Думать я теперь стал. Раньше, бывало, живешь и живешь. Ну, думаешь, помру, похоронят.

— А теперь не помрешь?

— И теперь помру, но почему-то, братцы, перестал я верить в нее. В смерть, то исть.

— Врежут на фронте, так поверишь.

— Это пустое! Об этом я и не думаю...

* * *

Дела не ладятся.

Украина занята немцами. На юге лупят нас генералы. Почти половина заводов стоит. Нет сырья. На железных дорогах — буза. Вместо хлеба населенью дают макуху да махорку. Нет соли, нет мяса, нет картофеля. Ничего нет. Вместо баранины мы получаем конину. Красногвардейцы после обеда ржут, как лошади:

— И-го-го!

— Го-го-го-го!

Железнодорожник Попов начинает в таких случаях ругаться:

— Черти вы! Через сто лет книги будут писать о вас, а вы вроде коблов держите себя. Никакая вы не революционная армия. Босота вы и ничего больше. Вона у французской революции гвардия была. Красота! Сколько книг написали при нее. А про вас что станут писать? Как по-жеребячьему ржали!

— А ты расскажи про французскую. Может, и мы станем героями.

— Французская гвардия была сознательной, — говорит Попов, — по-жеребячьему они, безусловно, не ржали. Читаешь про них и удивляешься: до чего это сознательный был народ. И слова были у них красивые...

— Пустое ты болтаешь, Попов! — поднимается с койки сутулый кочегар Маслов. — Будто так уж важно для человека, как он выражается. Дело не стояло бы — вот штука в чем. Возьми министров разных. Без пожалуйста не встают и не ложатся. Куда вежливее можно? Ну, а какой мне толк от их вежливости, когда сами-то они сволочь на сволочи. Был у нас хозяин на заводе. Вот бы тебе посмотреть на него. Такой был вежливый, что не продохнуть даже. Вы, — спросит бывало, — недовольны, значит? Так зачем мы будем упрекать друг друга? Вы идите на другой завод, а я на ваше место другого возьму. Расстанемтесь, говорит, друзьями. И руку пожмет, и с ласковостью коленом под зад пихнет. Вот тебе и вежливость. А по-моему, который человек на словах вежливый, тот непременно с гадостью на уме. Мы-то знаем таких сачков. Ты делами будь вежлив, а слова — это пустое. Буржуи эту вежливость и выдумали, чтобы от нас отличаться. А что от буржуя идет — ненавижу!

— Потому и ненавидишь, что сам ты неприличный человек. А я давно подметил, — замечает Попов, — как только чего не хватает человеку, то для него и плохим становится. Да и не то чтобы — зелен виноград. Злится ведь... Неприличный ты, Маслов. Воздух портишь...

— Я в миру не затем, чтобы держать себя прилично... Да и нет ничего этого. Нигде не продается твое приличие. Ай забыл, как жил?

— Жил я неважно!

— Сам не знаешь, как жил, а я скажу. По-скотски ты жил. Но пожился. Думал: ну, все-таки кое-как живу. Есть, мол, и такие, что поплоше существует.

— К чему ты это?

— А к тому все... Был у меня братец, Колька. Ну, и сделал он что-то, нашкодил, одним словом. А был он во флоте на военной службе. Короче — пришлось ему удрать в Америку. Батька мой старовер, каких поискать надо. Первым начетчиком слыл в Рогожниках. Батька, конечно, сокрушается; как, дескать, Колька в этой Америке. И Бога, дескать, забудет среди скобленных рыл. И пропадет-то, и с веры собьется. Уж и не помню толком, чего там еще городил. Присылает письмо и свою фотографию. Смотрим, рожа — поперек вдвое шире. Костюмчик — не хуже господского. На голове шляпа-панама, и сорочка сияет под галстуком. И пишет Кольша, что зовут теперь его мистером, что по-русски значит — господин, а работает он на заводе. Прочитал я письмо и чувствую, провалилось во мне что-то. Короче говоря, вижу, что иностранные капиталисты заботятся о своем рабочем не хуже, чем хороший деревенский мужик о коровах заботится. И стало горько мне. Ну, думаю про себя я: эх ты, думаю, мерин ты, мерин сивый. У какого ты, думаю, паршивого хозяина живешь. И вот представилось мне, будто стою я, мерин сивый, в грязном дворе и через плетень в чужие дворы смотрю. А в чужих-то, в соседних дворах бродят такие же мерины, да только вымытые, да и чистые и с лентами в гривах, а хозяева их похаживают да сахаром покармливают. Выпил я тогда сороковку и пошел к своему хозяину. Чего, говорит, вам? А так и так, говорю. Сахару желаю и ленты в гриву. Ну, отправили меня, безусловно, в психиатрическую больницу... Не говори ты мне насчет приличностей. Не люблю я этого.

* * *

Мы получили тюфяки, постельное белье и одеяла. Красногвардейцы недоумевают:

— Прикончили, что ли, буржуйчиков?

— Уконтропили генералов?

По казарме поползли слухи:

— Говорят, каждый город сам будет защищаться.

— А что? Это, пожалуй, правильно. Тут-то я каждый кустик знаю. Залягу и — ну стрелить. Подойди попробуй.

* * *

В городе остановился красногвардейский отряд с пушками, с пулеметами, со своей кавалерией. Отряд никому не подчиняется. Красногвардейцы появляются на улицах в пьяном виде, безобразничают, поют похабные песни, по ночам врываются в дома, производят обыски, а вернее — грабят население.



Ночью нас разбудили и заставили одеться. У стола стоял хмурый Акулов и, как всегда бледный, Зорин. Пока мы натягивали сапоги, Зорин барабанил пальцами по столу.

Мы столпились вокруг Зорина, застегиваясь, протирая заспанные глаза.

— Случилось что-нибудь?

Акулов кивнул на Зорина:

— Сейчас скажет...

Зорин снял кепку и положил ее аккуратно на стол.

Мы вытянули шеи.

— Товарищи! В военном отношении вы подчиняетесь начальнику отряда товарищу Акулову, но все вы, кажется, еще и большевики. Вот как с большевиками я и хочу поговорить с вами. Вам известно, что город терроризован отрядом некоего Пантюхова. Кто он такой, я не знаю. Что представляет собою отряд, — неизвестно. Зачем он прибыл в наш город, — также покрыто мраком. Но мы на каждом шагу видим пьяный произвол и насилия, мы видим в городе не советскую власть, а право бандита. Несмотря на то, что отряд носит название красногвардейского отряда, он своими действиями приносит нам еще больший вред, чем генеральские банды.

— Какие могут быть агитации, — вышел железнодорожник Попов. — обезоружить их, и все тут.

Красногвардейцы зашумели:

— Ясно!

— Одевайсь, товарищи!

— Понятно все!

Зорин наклонил голову:

— Тогда одевайтесь, товарищи!

В отряде Пантюхова около пятисот человек. В нашем отряде — шестьдесят. Но раз идти — так идти. Какие могут быть разговоры?

Мы выходим во двор с винтовками в руках, и тут нас ожидает приятная картина.

В желтом полусвете автомобильных глаз мы замечаем вооруженных рабочих.

Нас встречают подначиваньем:

— Клопы не тревожили?

— Чего во сне видели?

Мы ругаемся и начинаем так зевать, будто три ночи не спали. Потом растворяемся в черной толпе. Завертывая из протянутых кисетов цигарки, мы равнодушно говорим:

— В час управимся с ними?

— Да, надо быть, больше не проканителимся.

— Спать чертовски хочется!

— Выспишься! Ночь велика!

* * *

Мы идем по темным, глухим улицам. Тьма — хоть глаза выколи. В стороне вокзала небо оранжевое. На окраинах глухо, лают собаки. По всему городу, точно горох, катается стрельба.

— Вот бы поймать такую сволочь, — говорит недовольный голос, — и чего адиеты патроны зря тратят?

— Выловить бы этих субчиков!

На площади перед церковью останавливаемся. Акулов кричит в темноте:

— Красногвардейцы, ко мне!

Мы проталкиваемся вперед. Акулов светит электрическим фонариком.

— Сюда, товарищи! Стой!.. Все здесь?

— Все!

— Зарядите винтовки четырьмя патронами! Курки спустить!

Мы заряжаем винтовки, задрав штыки высоко вверх. Акулов говорит:

— Мы заходим во двор семинарии. С главного хода войдет отряд левых эсеров. Отряд рабочих останется на площади. Будет задерживать убегающих. Идти без шума, не галдеть, винтовки прижимай к себе... За мной!

По два в ряд мы бесшумно переходим площадь, перелезаем через забор и попадаем в темный сад. В глубине сада под

желтым колоколом света мы видим у поленницы часового. Подняв воротник, он стоит к нам спиной. Акулов дергает за рукав кочегара Маслова и моего отца.

— Остальным стоять! — шипит Акулов, затем, подталкивая отца и Маслова, исчезает в тени.

Проходит несколько томительных минут. Наконец мы видим, как перед часовым внезапно вырастают три темных фигуры. Мы слышим глухой удар. Часовой оседает мешком. Нам машут руками. Мы бежим к выходу.

— Возьмите его! — показывает маузером Акулов на часового.

Мы кидаемся к часовому. Перминов берет его под мышки и ставит на ноги. Часовой — молодой парень — мотает головой. Лицо у него в крови. Волосы свисают на глаза.

— Эй, «Всех скорбящих», — командует Перминов, — постереги его здесь!

— За мной! — шопотом говорит Акулов.

Мы входим в полуосвещенный подъезд и по лестнице поднимаемся вверх. Акулов останавливает нас знаком. Отогнув рукав, он смотрит на ручные часы.

— Три минуты ждать!

Мы подтягиваемся.

— Т-ш-ш!

Затаив дыханье, мы стоим на лестнице. Свет, льющийся через стеклянные двери, освещает наши настороженные лица. До нашего слуха доносится храп и сонное бормотанье.

— Спят!

— Т-ш-ш.

Акулов смотрит на часы, затем поднимает маузер вверх.

— Ногами не топать!

На носках мы поднимаемся к дверям. Акулов открывает дверь. Нагретый казарменный воздух свирепо лезет в ноздри.

Мы попадаем в полутемный коридор.

Дневальный спит, сидя на табуретке. Акулов хватает нас за рукава. Глазами показывает на дневального. Я и Волков подбегаем к дневальному и выдергиваем у него из рук бомбу.

— Не балуй! — мычит дневальный.

Волков тычет ему бомбу в зубы:

— Замри!

Дневальный глядит на нас красными похмельными глазами. Но, очевидно, ничего не понимает.

— Не дыши!

Волков остается у дневального, я бегу к Акулову.

— Осмотри классы по коридору, да смотри, без шума.

Я бегу по коридору, заглядывая через стеклянные двери в пустые классы. В конце коридора останавливаюсь. Сдернув фуражку с головы, размахиваю по сторонам. Возвращаюсь обратно. Красногвардейцы стоят толпой около больших и темных стеклянных дверей, откуда все еще доносится храп. Акулов опять смотрит на часы и сквозь зубы ругается.

— Сволота! Так и знал, что подведут.

Он подзывает меня и говорит:

— Смотайся на площадь быстренько. Скажи рабочим: подвели нас эсеры. Не явились. Пускай человек двадцать оставят, остальных — сюда. Винтовки не бери. Отдай кому-нибудь.

* * *

Я спускаюсь по лестнице. Внизу сидит «Всех скорбящих», уперев штык в спину часового.

— Взяли? — тихо спрашивает монах.

— Взяли!

— А ты куда?

— Приду сейчас! Сиди!

* * *

Возвращаюсь обратно с отрядом рабочих. Монах сидит в той же позе.

— Готов, что ли?

— Т-ш-ш-ш!

Акулов встречает меня руганью:

— За смертью тебя посылать.

И шипит через мою голову:

— Как открою дверь — идите без шума вдоль левой стены. Не зацепите за винтовки. Свет зажгу — берите на изготовку.

Предосторожности оказались излишними. Перепившийся отряд спал, что называется, без задних ног. Никто не слышал, как мы вошли, как выстроились в большом актовом зале вдоль стен, и даже когда вверху вспыхнула огнями большая люстра, никто не пошевелился.

В причудливых позах спали вповалку отрядники. Весь пол был густо покрыт телами. Тяжелый винный перегар смешался с крепким духом пота и прелых портянок.

— Вставай! — гаркнул Акулов.

Несколько человек вскочили, как встрепанные.

— Браа-атва! — завизжал черный взлохмаченный парень и закрутился волчком.

Мы вскинули винтовки, щелкнули затворами.

— Сиде-еть! На ноги не подниматься!

Матюгаясь и в Бога и в святых, отрядники приподнимали головы, недоумевающе рассматривая нас красными от сна глазами.

— Смирно-о!

Размахивая маузером, Акулов вскочил на подоконник.

— Отряд арестован! — крикнул Акулов. — Семинария окружена войсками. Будете бузить — перестреляем. Кто командир?

С пола, около Акулова, поднялся детина с рябым лицом, с похмельными злыми глазами.

— По какому праву арестованы?

— По разному... Весь тут отряд?

— Ну, весь! А ты скажи, какое право у тебя? У нас самим Лениным мандаты подписаны.

— Это мы сейчас узнаем, кто подписал!

— Смотри, не много ли берешь на себя.

— Молчи, гад! — закричал Акулов. Лицо его покраснело, скулы зашевелились, по щекам засновали желваки.

— Тебе, выходит, плевать на Ленина? — угрюмо спросил детина.

Акулов спрыгнул с подоконника и рукояткой маузера ударил командира отряда по лицу.

— Гад! За Ленина прячешься?

Размахнувшись, он ударил детину в лоб.



— Убью, сволота!

Грозно сверкнув белками, он сделал шаг назад.

— Показывай мандат!

Детина порылся в кармане и, достав засаленную бумагу, протянул ее Акулову.

— Посмотри, посмотри! Ты еще мне ответишь, сволота!

Акулов развернул бумагу, взглянул на подпись и захрипел:

— Иди-ка, сюда! Покажь подпись Ленина.

Детина встал рядом. Ткнув пальцем в бумагу, он сказал злобно:

— Видишь: постановлением Совета народных комиссаров. А кто председатель? Знаешь?

В окнах зазвенел выстрел. Детина носом полетел на пол. Около головы расползлось багровое пятно.

Отрядники притихли.

— Кто из вас большевики? — закричал Акулов, размахивая дымящимся маузером.

С пола поднялось человек двадцать.

— Большевики?

— Большевики, — негромко ответили они.

— Б.... вы, а не большевики! Чего смотрели? Вместе пьянствовали с этой бандой? Именем Ленина спекулировали? Пострелять вас надо! Товарищ Храмцов, возьми-ка у них билеты. Завтра явятся к Зорину. Он поговорит с ними.

Глава XVI

Отряд разогнали. У нас во дворе появились трехдюймовки и две сотни лошадей. В тот же день Акулов привел в казарму высокого красивого парня в длинной шинели.

— Отряд наш будет кавалерийским! А это — товарищ Краузе. Бывший офицер, а теперь наш военный руководитель или, короче говоря, военрук.

Офицер? Черт возьми, на этого стоило посмотреть. Ну-ка, ну-ка, что ты за птица? Я с любопытством впился глазами в выбритое до синевы лицо, которое, против моего ожидания, было лицом славного парня, любящего и пошутить, и разные штуки веселые выкинуть.

Офицер пристально смотрел на нас. Серые выпуклые глаза его немного щурились и как будто слегка посмеивались.

— Товарищ Краузе — доброволец! — сказал Акулов. — Такой же, как мы все. А сам из студентов.

— И член партии, — просто сказал офицер. — Я думаю, мы быстро освоимся.

Мы переглянулись. И, кажется, каждый спросил глазами:

«Офицеру-то чего надо в партии?»

Краузе перехватил наши взгляды.

— В партии я с февраля. Был арестован при Керенском. Во время взятия Зимнего дворца ранен. Верите теперь?

— Верим! — дружно крикнули мы.

Акулов улыбнулся:

— Вот и познакомились.

* * *

Во дворе поставили стол. Лист бумаги лежит, придавленный сверху наганом. За столом сидит Краузе. Голову он склонил немного набок; в зубах папироска. Дым тянется к глазу, и этот глаз щурится, затягивается морщинками.

Мы подводим к столу лошадей, смотрим на военрука.

— Ну-ка, поверните! Так! Поднимите ей голову. Проведите. Теперь можете ее передать кашевару. Не годится.

Как, черт возьми, не годится? Такой аховый конь и не годится.

— Чего ж так?

— Плох конь! Для кавалерии не годится!

— Почему?

— Наливы на ногах!

Краузе встает и тычет рукой, в которой зажат коробок спичек, на подкожные шишки, покрывающие сальцевые суставы ног.

— Плохой конь... Следующий!

Евдоха подвел к столу роскошного белого жеребца.

— Вот конь, товарищ! — восхищается Евдоха.

— Убери его подальше! — замахал руками военрук.

У Евдохи дрогнули веки.

— Такого коня?

— Да, такого белого коня, которого видно на сто верст и которого даже ночью не спрячешь.

Самые красивые и самые крупные лошади почти все были забракованы военруком.

— Не годится! Обратно!

— Почему?

— Спина прогнута! Слабый конь! Ну, еще и копыта, смотрите, в трещинах. Нет, нет, не годен конь.

— Неужто и этот вот!..

— Шея коротка, ноги толсты! Не годен! Сырой конь! Вы на красоту коня смотрите, а красота не нужна кавалерийской лошади. Строевой конь должен иметь длинную шею и высокую голову. Ноги выбирайте сухие и чуть-чуть отставленные назад. Зад должен быть длинный и широкий.

Мы выбрали коней снова, но и тут многие не угадали. Около десятка лошадей было со шпатом, с подлопатником, с «козинцем» и саблистыми ногами. Впрочем, выбирать уже было не из чего. Некоторых не слишком порочных лошадей пришлось оставить в строю.

— Не беда! Сойдет!

Отобрав лошадей, мы начали придумывать имена.

— Звездочка!

— Ярославец!

— Штукарь!

Военрук покачал головой:

— Названия коней должны начинаться с одной буквы. А так как здесь мы первая кавалерийская часть, то начнем с буквы А. Пусть каждый придумает своему коню название. Ну? Начинайте крестить. Подходите к столу за метриками.

Со смехом красногвардейцы потянулись к столу, держа лошадей под уздцы.

— Адъютант! — закричал «Всех скорбящих», подводя буланого коня.

— Дальше!

— Арап! — гаркнул Попов.

— Следующий!

— Анчутка!

— Что это за штука?

— А так просто! Анчутка, и все тут.

— Так и запишем. Следующий!

— Аналой!

— Ну куда такого?..

— Тогда... а... а... а... Арбуз.

— Есть Арбуз! Дальше!

— Адиёт!

Краузе захохотал:

— Зачем же коня-то обижать? Коня любить надо.

— Ну... Амбар!

Качая головой, Краузе записал коня Волкова Амбаром.

— Следующий!

— Афанасий!

— Может быть, назовем Аляской. Кобыла у вас?

— Аляска так Аляска. А между прочим, кобыла.

— Следующий!

— Анчоус.

— Дальше!

— Акробат!

— Следующий!

— Апрель.

— Следующий! Следующий!

* * *

Кавалерийская наука оказалась куда сложнее, чем мы это предполагали.

— Вон она, брат, — удивлялся Евдоха, — тут, пожалуй, скорее обезьяну выдумаешь, прежде чем гарцевать станешь,

— А ты думал сразу, да и казака переедешь.

Впрочем, мы не горевали долго.

— Не боги горшки обжигают! Научимся!

* * *

Началось обучение седловке. Краузе, показывая нам, как седлать лошадь, поучает.

— Во-первых, — растягивая слова, цедит Краузе, — все части сбруи должны быть чисты, мягки и хорошо смазаны жиром. Сбруя должна лежать на коне так же незаметно для него, как лежит на вас рубашка. Седло надевать следует, пригоняя его по шерсти. Вот так. Полицы седла ложатся вместе с потником, не нажимая на хребет лошади. Передний край потника держи на ладонь от холки. Вот так.

— А почему на ладонь?

— Ну, а как бы вы положили седло?

— По мне все равно!

— А для лошади это далеко не все равно. Если вы вперед подадите седло, оно начнет набивать холку, а если назад передвинете, — оно ляжет на почки лошади и тогда ей будет тяжело нести всадника. Теперь смотрите сюда. Я затягиваю вот эти ремни. Они называются подпруги. Тут также следует принять кое-что во внимание. Подпруги не должны стеснять дыхания лошади, но не должны они сидеть и слишком слабо.

— Почему?

— Потому что седло свалится вниз, к животу лошади, а всадник слетит с лошади на землю... Я подтягиваю переднюю подпругу. Вот так. Теперь вталкиваю сюда палец. Туго? Туго. Палец еле-еле проходит между подпругой и животом. Значит — затянуто хорошо. Подтягиваю среднюю и заднюю подпруги. Хорошо затянуто? Попробуем... Входят три пальца!

— Плохо! — кричим мы.

— Неправда! Два-три пальца для средней и задней подпруг вполне достаточно. Теперь осмотрим коня еще раз. Ну-ка, не трут ли пахвы репицу? Как будто не трут. А можно ли подсунуть кулак между бляхой и грудью лошади? Можно, как видите. Проверим стремена. Посмотрим, одинаковой ли они длины?

Он вскакивает на оседланную лошадь и привстает в стременах.

— Глядите, товарищи!

Просунув кулек между ног и седельным троком, он кричит:

— Видите?

* * *

Знакомиться с кавалерийскою наукою приходится урывками. Помимо изучения ухода за копытами, кормления лошадей, их болезней, ковки и других замысловатых штук, мы несем гарнизонную службу, охраняя учреждения и банки, дежурим на станциях, вылавливаем спекулянтов, ходим по домам, отбирая оружие.

Нам дано задание: прекратить стрельбу по ночам, и мы шлепаем по городу, разыскивая винтовки и револьверы, стрельбой из которых скучающие граждане развлекаются в неурочное время.

С ордерами исполкома мы стучимся в сонные дома, входим в квартиры, спрашиваем:

— Вы уже сдали оружие?

— Мы? Оружие? Да у нас и гвоздя-то в квартире нет. Ножи и те тупые.

Во время обыска извлекаем из сундука пулемет.

— А это что?

— Это?.. Понятия не имею! Наверное, ребятишки затащили откуда-нибудь.

— А вы?

— Я?.. Понятия не имею!

— Не знаете, что это пулемет?

— Пулемет? Фу-ты, боже мой! Не иначе как соседи по злобе подкинули.

В одном дворе мы нашли горное орудие.

— Зачем оно вам?

— А бог его знает! Оставили какие-то солдаты и ушли.

К утру мы возвращаемся, нагруженные бомбами, пулеметами, винтовками, револьверами.

Стрельба в городе прекращается. За ночь выпускается на луну не больше тысячи патронов; в разных концах города взрывается не больше десяти гранат, и только ракеты, взлетающие в темное небо, говорят о том, что где-то идет попойка и остатки «славной царской армии» уничтожают остатки огневого имущества.

Однажды, возвращаясь после обысков, мы были остановлены неожиданной картиной. Перед воротами трехэтажного дома на Петропавловской улице стояла кучка пьяных, пуская в темное небо ракеты.

— Вы, граждане, чего тут?

— Мы-то? А мы куме ф-фронт показываем. В-в-видал? Кума-то, она н-н-не п-понимает многого, а м-мы об-б-бъясняем. Ты, кума, смотри! Вот он п-п-пускает, а м-м-мы ползем. А к-как з-засветится — м-м-ы ложимся.

— Ступайте спать, граждане! Ракеты, поди, денег стоят, а вы их портите.

— Р-р-ракеты? Н-н-н-не запретишь! Р-р-ракеты я самолично в-в-во время братанья с-спер. У-у-у н-немцев. Взял, да и спер. Н-на память. Д-да их и осталось д-два десятка.

— Можно ракеты пускать или нельзя?

Мы устраиваем совещание, но ни к чему не приходим.

— Р-ракеты, б-брось! Р-ракеты н-н-не имеешь права! — орет сзади пьяный голос.

Голубые меланхоличные колокола ракетного света освещают нам дорогу.

* * *

Самая паскудная работа — это обыск поездов.

Пользуясь тем, что за проезд по железной дороге не надо теперь платить гроша ломаного, Россия катается из одного города в другой, волоча за собой туго набитые мешки с продовольствием. Спекулянты в солдатских шинелях везут

масло, муку, сахар, окорока и разную снедь. А в это время рабочие заводов и трудящееся население не имеет корки хлеба. Больные и раненые в госпиталях умирают с голоду.

Спекулянты подрывают снабжение Республики советов, но... среди спекулянтов можно встретить и рабочих, которые везут для себя и для своих семейств необходимые продукты питания.

Как отличить спекулянта от нуждающегося?

Нам говорят:

— Понимай... Сумей разбираться. Пролетария не трогай.

Но вся беда заключается в том, что спекулянта трудно отличить от пролетария. Если бы рыжие они были...

Мы «отбираем». Мы знаем, что спекуляцию нужно прекратить. Но... отбирая, приходится смотреть на слезы и слышать вопли. Нелегкое дело. Мы злимся, ругаемся в поездах, мы нарочито стараемся показать, что мы равнодушны к слезам, но в душе у каждого из нас шевелится сверлящая мысль:

— Скоро ли наладится все это?

Мы сами несем в лазареты отобранное масло, муку, сахар и другие продукты, и нас примиряет с нашей работой та радость и благодарность, которую мы встречаем в госпитальных палатах:

«Спасибо, товарищи!»

— Спасибо, хоть вы заботитесь!

— Без вас бы с голоду подохли.

Но все-таки лучше было бы отдать руку или ногу, чтобы только жизнь вошла скорее в сытую колею. Иногда мы начинаем строить с Васей фантастические планы.

— Хорошо бы найти склады с хлебом. Но только большие. Чтобы на всех хватило. На всю Россию.

— А что, брат? Возможная вещь. Да так оно и есть, пожалуй. Знало ведь царское правительство, что воевать будет, ну и наготовило, наверное... Поди, лет на пять запасено.

— Эх, открыть бы!..

Глава XVII

Крестьяне перестали обменивать хлеб на вещи.

— Все есть теперь. Слава богу, достаточно. Проходите себе с богом.

В деревни направились за хлебом продотряды, а вместо товаров повезли с собою винтовки. В ответ на это кулаки подняли восстание.

Страна превратилась в фронт.

Как-то вечером к прибывшему из Москвы поезду прискакали на взмыленных лошадях крестьяне, без шапок, в одних рубахах.

— Православные! Кто в Бога верует — спасайте.

Обливаясь слезами, толсторожий парень рвал на себе рубаху и орал:

— Грабят! По миру пускают! Подчистую метут!

— Да что ты хочешь-то? — крикнул из вагона матрос.

Тогда загалдели все:

— Продразверстка...

— Оружью дайте...

— Подчистую...

— Забрали все...

— Оружью просим...

Матрос закурил папироску.

— Как же так подчистую? Оставили ж до новины-то?

— Товарищ, дорогой, — заплакал толсторожий, — да это рази оставлено? Эта с голоду подохнешь. Се равно, что цыпленкам покрошили.

— Мало! — высунулась худая, похожая на покойника женщина. — А мы-то как же сидим? Восьмушку кусаем! Да и хлеб посмотрели бы... Одно названье, что хлеб.

— Напрасно, отцы, бузите, — сплюнул матрос, — мы терпим, надо и вам терпеть немножко. Куда ж нам идти за хлебом? С голоду ведь дохнем.

— Ну и сдыхайте!

— А вы что ж, — спокойно спросил матрос, — лучше нас? Вы будете сидеть задницей на хлебе, а мы зубами щелкать?

Раз вместе пошли, значит, и дели все вместе: и горе пополам, и веселье поровну.

Мужики зашумели. Они что-то доказывали, ругались, плакали. Они метались, коренастые, краснощекие, в толпе зеленых и бледных, но сочувствия не удалось им добиться.

— Не помирать же нам! — упрямо твердили зеленые и бледные.

— Будем уж вместе горе хлебать.

— Но, братцы, — стонал толсторожий парень, — но дайте ж вы мине оружью. Дайте, просю я вас слезно.

— На что тебе оружье?

— Братцы мои! — могал головой толсторожий. — Нет мине жизни больше... Не могу я несправедливость когда...

Матрос поднялся в окне вагона и расстегнул штаны.

— На тебе оружью! Стреляйся!

Толсторожий рассвирепел. Дико визжа и топая ногами, он начал хлестать перрон вокзала кнутом.

— Ишь как разбирает борова, — выступил вперед станционный сторож. Подняв вверх корявый палец, он ткнул им в сторону крестьян и сказал: — Про между прочим, известные это мне люди. Из недалекой отсюда деревушки Загарье. Ну и между прочим, вот эти трое — самые и есть кулаки, а этот, что пляшет, — сынок подрядчика Копылова. Лупите стервецов в мою голову. Бей сплотаторов! Отвечаю!

Перекрестившись, сторож саданул толсторожего парня по затылку.

* * *

Мы становимся заправскими кавалеристами. Мы знаем теперь, что садиться на лошадь надо с левой стороны и в три приема. Вскочив в седло, мы с небрежным видом, как будто все это давно уже нам надоело, пропускаем левый повод между мизинцем и безымянным пальцем, а правый повод между указательным и средним пальцами левой руки. Вначале пальцы путались и не хватало третьей руки, но теперь мы правильно возьмем поводья даже во сне.

— Проверить стремена! — командует Краузе.

Мы вытягиваем ноги вниз. Смотрим. Нижний край стремени у щиколки. Стремена подлажены правильно.

Краузе стоит на поленнице. Мы рысью проезжаем мимо.

— Посадка! Посадка! — кричит Краузе. — Подать корпуса вперед! Сильней упирайся коленями!

Лошади фыркают, бренчат сбруей.

— Эй, на поворотах! Правым шенкелем! Правым! Волков, корпус!

* * *

От езды без стремян у всех у нас растерты седалища. Нижнее белье прилипает к телу, и, когда приходится раздеваться, белье отдираешь с кровью. О кровяных задах не говорят. Все стараются делать вид, будто никаких особенных изменений не произошло, а ночью, кряхтя и скрипя зубами, шарят руками под шинелями, смазывая ссадины разными мазями.

— Что, натерло? — злорадно хихикает сосед.

— Ты бы сначала сам руки помыл, — огрызается спрошенный, — руки-то, поди, все изгваздал в мази. Не видал, думаешь, как шпаклевался?

Евдоха интересуется более объективно:

— Все ли пострадали?..

Я не сознаюсь.

— А мне хоть бы что! — отвечаю я Евдохе.

Засыпая, я слышу сквозь сон:

— Вольт направо. А-а-а-а а-арш. По-овод. Рысью... а-а-арш.

И во сне беру барьеры, рублю лозу и делаю «ножницы». Мой конь — гнедая кобыла Амба — теперь узнает меня.

Когда я подхожу к ней, она шарит теплыми ноздрями по моему лицу и тихонько и ласково ржет. Я отдаю ей половину пайкового сахару. Похрустывая сахаром, Амба смотрит умными, человечьими глазами, трясет головой.

Я уже немножко понимаю лошадиный язык. Это означает:

«За сахарок спасибо. Ты, парень, как видно, ничего. Во всяком случае я пока довольна тобой».

* * *

Отряд наш пополнился. После новой вербовочной кампании к нам влилось сорок пять человек. Большинство — рабочие остановившихся заводов, молодые ребята, большевики.

Наш отряд, по словам Евдохи, «насквозь большевистский, за неполным исключением».

На 105 большевиков — беспартийных только двое: монах «Всех скорбящих» да вновь прибывший, пожилой рабочий Агеев, решительно отказавшийся вступить в партию.

— Ну и мудрец, — удивляется кочегар Маслов, — в Красной гвардии состоит, а к партии боком стоит.

Агеев, суетливый старикашка, смотрит на Маслова широко расставленными глазами, как бы желая сказать:

«Ну, ну, болтай, болтай. Поболтаешь, а потом я тебе скажу такое, что тебе и крыть нечем будет».

— Малахольный ты, папаша! — говорит Маслов.

— Малахольный и есть! — поддерживает Попов.

Агеев усаживается поудобнее, поджимает под себя ноги; вытянув указательный палец в сторону кочегара, моргает выкаченными глазами:

— Вот вы говорите, малахольный я! А если, к примеру, жизнь в тупик загоняется, как тогда поступать? А если я в тупике жизни состою, могу я иметь веселость?

— Мы не про веселость! Мы про партию!

— Это все одно!

— В партию почему не хочешь?

— А вот я и скажу. История у меня не длинная, но вы сами скажете: могу я в партию или не могу я в партию.

Вытянув тоненькую папироску из кармашка, Агеев стучит мундштуком по ногтю, затем, зажимая огонь в кулак, прикуривает и, пуская клубы дыма, размахивает обгорелой спичкой.

— Расскажу я для вас, молодежи, как работал я на Гальферих-Садэ в Харькове, но так как это, между прочим, к делу не идет, а преподносится вроде начала, — скажу о Саньке. То исть работал я с Санькой два года, и даже станки рядом стояли, а уж выпить обязательно вместе ходили.

Ну, слышу — стучат ко мне ночью. Жена толкает: стучат, говорит. Что ты, думаю, стряслось такое. Что, думаю, за чертоплешина. Но штаны все-таки надел наспех и выбежал к воротам. Смотрю — сторож. А глядит на меня подозри-и-и-ительно. До чрезвычайности. И рукою показывает:

— Вон, — грит, — гостей принимай.

Вижу и впрямь — сидят на извозчике несколько гостей и промежду ними — Санька.

— Ну, — говорит он мне, — выпить мы к тебе приехали... Да ты, — говорит, — не бойся — водку с закуской привезли. Сомнений у тебя не должно быть.

— Что ж, — говорю, — приехали так приехали, а только для товарища у меня двери и днем и ночью открыты... Пожалуйте в хату, потому у ворот рассусоливать нам никакого резону нет.

А тут и те двое, что приехали с ним, повылезали и тащат они за собой какие-то кулечки да бутыленции всяких размеров.

Между прочим, должен сказать вам: был я в ту пору очень большой охотник до голубей и самая голубятня стояла у меня под крыльцом дома, а как Санька Погорелов был мой друг и имел с моей стороны доверие и уважение за революционно смелую душу, то Санька очень хорошо знал ходы и выходы в голубятне. И как отворялась она потайным запором, и все другое.

Смотрю, не успели мы взойти на крыльцо, как Санька чевой-то до голубятни кинулся и запор, гляжу, открывает.

— Чего дуришь? — это я его спрашиваю, а он мне и говорит:

— Молчи! — А сам тянет из-под полы сначала длинный ящик, а потом коротенький и сует это все в голубятню.

Только я раскрыл рот спросить, что сует он в голубятню, а меня уж его товарищи подхватывают под руки и эдаким вежливым манером в сени толкают.

— Идите, — говорят, — товарищ, и покажите нам, как пройти к вам, не разбив лбов.

Ну... Вижу, у ребят нет никакого желанья говорить своих секретов про ящики. Что ж, думаю, пусть будет как будет.

Следом за нами и Санька вваливается, а сам, видать, под жестоким градусом плавает. Обхватил он меня руками и хохочет:

— Ну, дорогой хозяин, разлюбезный... А какую ж ты, сукин кот, закуску поставишь нам?

— Чем-нибудь да закусим! — отвечаю ему, а сам глазком поглядываю на тех двох, что с ним пожаловали. Ну, думаю, по всему видно: птицы важные.

А они себе посмеиваются да из кульков на стол всякую всячину выгружают. Посмотрел я — так меня слюной прошибло. Тут тебе и бутенброты, и вино всевозможного сорта, и кильки, и сардинки, и сыр, и ветчина, ну, одним словом, все, что только душе надо.

Ах, думаю, шут гороховой, навезли такое богачество, а сами спрашивают про закусон. Кинулся я к жене — все-таки, знаете, как-никак, а бабы — они способные на организацию закусить... Кинулся, значит, бужу: вставай, говорю, жена, — будем водку пить.

Вскочила баба — думает, сон не сон, а вроде и всамделишная выпивка. Затормошилась, забегала.

А как принялись за выпивон, так не заметили и часов времени. У пьяных известно: часы что небо — и есть и нет.

Однако, выпив несколько стаканов, я думаю себе: дай, мол, спрошу все-таки: что это за товарищи, приехавшие с Санькой.

Один из них на манер брюнета и к жене все время с тонкой обходительностью подходит, а другой самого подлого цвета — рыжеватенький такой — и все время в стакан ко мне подливает. Чую: не наши люди — не рабочие.

А кто такие — знать интересно.

— А что, — говорю, — товарищ Погорелов, ведь дело-то выходит такого рода: пью вот я с тобой и товарищами, а кто они такие будут и откуда, я даже ни в каком смысле не знаю.

Смотрю, гости переглянулись, ухмыльнулись да к Саньке.

— Представь, — говорят, — хозяину-то.

Санька раскорячился посреди комнаты французским кренделем, сделал ручку фертом и говорит:

— Это — друг Точкин, а это — Примочкин и обоих, как на грех, Василь Васильевичами зовут, а так как мы вскорости должны уехать, то прошу я тебя, товарищ Агеев, выйти со мной на двор и обсудить один очень важный вопрос.

«Что ж, — думаю, — если товарищ по станку просит выйти на крыльцо, то могу разве я отказать».

— Идем, — говорю, — выйдем.

Вышли мы во двор, сделали надобности, потом Санька берет меня за рукав и подводит к голубятне.

— Вот, — говорит, и вытаскивает оттуда запрятанные ящики, — здесь, в этом ящике, Ваня, браунинги, а здесь патроны... Понимаешь?

Как не понять? Отлично понял, и от его слов у меня аж волосы дыбом...

Виду ему не подал, пожал только плечами и отвечаю:

— Ну, что ж делать: раз привез, значит, дело конченное и хочешь не хочешь, а прятать надо.

Взял я лопату и — на скорую руку — закопал ящик в сарае, а утром, когда мои гости уехали, я вместе с женой перебрал теи ящики в яму свинюшника и не пожалел выгнать оттуда свинку, которую подарил мне один чудак.

Прошло таким манером дня три... Хожу я в эти дни, дорогие товарищи, с растревоженной душой, а на свинюшник даже глазом покоситься не смею. Ведь опасность на себя накладывал. Чужому человеку боюсь в глаза глянуть... Для царя ведь гостинцы-то припасены. Ясно ведь.

Сна лишился за эти дни, а дело-то пошло дальше.

Прихожу я как-то от тестя домой, а дома у меня кавардак полный: смотрю, комнаты не комнаты, а дым коромыслом и опять та же компанья, а у Саньки в руках громадный сверток.

Дрогнули у меня коленки при виде этого кулька и в голову мысли полезли.

«Ну, — думаю, — опять машинка... Опять прятать надо».

А Санька, как есть подшофе сильном, орет благим матом:

— Ва-а-аня, дру-уг, выпьем.

— Что ж, — говорю, — за бутылкой пошлю.

— Брось, — говорит Санька. И как почал кульки развязывать, так я себе сразу уяснил, какая в кульках церемония с градусами... Ну, скажу откровенно, пил я в свою жизнь, но так еще ни разу не упивалея... Свиньей сделался...

Помню, песни орал, целоваться лез и просил, чтоб взяли меня в партию буржуев истреблять.

Жена в слезы, а я ору как оглашенный:

Вся Россия торжествует.
Николай вином торгует.

А в самый пыл разгара берет меня под руку рыжеватенький Точкин и говорит:

— Спрятанное цело у вас, товарищ?

Но вот подумайте вы, как я ни был пьян, однако и виду не подал, что знаю о чем-то. Думаю, черт их знает, — может, испытанье хотят сделать еще, и отвечаю ему:

— Ничего не знаю, товарищ Точкин!

А он опять, и уже встревоженным голосом:

— Да вы только скажите: цело ли у вас?

— Не понимаю, о чем говорите!

— Да все о том же! — кричит он мне.

— Ей-ей не знаю... Вы, — говорю, — позовите Саньку Погорелова, потому без него я что-то плохо вас понимаю.

На разговор наш повернулся Санька и, разобрав дело, говорит мне:

— Ты не бойся. Если у тебя цело, так и говори — цело.

— Ну, — говорю, — если так, то цело у меня все до основания и лежит закопанным в надежном месте...

Теперь вы слушайте, какой конец-оборот получился из этого дела. Взяли они, значит, свои материалы и рано наутро поехали в неизвестном мне направлении. И что же вы думаете, — не прошло трех дней, как читаю я в газетах о поимке трех налетчиков-бандитов, при которых найдены два оцинкованных ящика с золотыми вещами и другими ценностями...

Читаю, а в глазах у меня — рябь и круги зеленые, а как прочел фамилию: Александр Погорелов, так в душе моей как будто какой клапан закрылся...

И ничего мне не дорого было, дорогие товарищи, но главное — обидно: почему свой же брат рабочий совершил надо мною такой постыдный обман?

Так с тех пор ни к какой партии не могу подойти близко.

— Партия-то при чем тут?

— Хоть и ни при чем, а не могу... Претит меня.

* * *

Вчера выехал на фронт последний красногвардейский отряд левых эсеров.

— Ну а мы? — спрашиваем мы командиров. — Солить будете?

— Э, бросьте! Гимназисты вы, что ли? Надо будет — поедете. А сейчас продолжайте свое дело. И вообще, если уедете на фронт, так в городе — в случае чего — ни одной воинской части. Вот сформируем новый отряд, тогда — валите.

Глава XVIII

Среди людей, вновь влившихся в отряд, особенно выделяется еврей Бершадский. Похож он на ярмарочного торговца. Плутоватые глаза не уставая шарят по сторонам, до всего дотрагиваются, все прощупывают, все обнимают.

— Беспокойный человек! — определил Бершадского Евдоха.

— Трясучка! — осудил толстый Бобурин.

Первые дни он никому не нравился, но вскоре мы стали ходить за ним табуном, с раскрытыми от удивления ртами. Матюгался Бершадский до того красочно, что многие нарочно поддразнивали его, а Волков так даже записывать начал в книжечку кое-какие его загибы. Но кроме того, нас поражал Бершадский неожиданными, не слыханными поговорками.

— Бершадский, побрился бы ты!

— Чтобы чирьи порезать и заражение крови схватить? Ну, ну! А я так думаю: лучше еврей с бородой, чем борода без еврея.

Были у него десятки поговорок, которые он рассыпал походя:

— Кто много говорит, тот много ошибается!

— У меня столько денег, сколько у набожного еврея свиней.

— Кому везет, тот и по льду плывет.

— Дают — бери, берут — кричи.

— Везде помощь хороша, но не у миски.

— Плюнул кверху — на лицо получишь.

— Когда бедняк ест курицу, значит, болен: он или курица.

— Козел страшен спереди, лошадь — сзади, а глупый человек со всех сторон.

— Как это ты придумываешь ловко? — спрашивали у него.

— У нас в Одессе хуже не выдумывают.

— А сам ты какой будешь?

— Сам-то? А какой угодно. Профессор по портняжному делу, ассистент по квасоварению, могу лудить, паять, делать американскую замазку, могу быть сапожником из Парижа... Всего сразу не расскажешь.

— Ловкий, значит, ты...

— Царь-батюшка сквозь обруч учил прыгать. Без этого еврею не прожить было.

— А в Красную гвардию зачем попал? — спрашивает Мельников.

— А ты зачем?

— Вот на...

— Ну-на! Мы все от этой «на» записались.

— А не сразу почему?

— Сразу-то родятся русские, а мы, евреи, думаем девять месяцев: родиться или не родиться.

Все захохотали.

— А Мельников — он сразу, — пытается кто-то острить. — Пока батька с маткой спят с устатку, он родился и самовар раздуть успел. Вставайте-ка, родители. Полюбуйтесь сынком.

— А сам ты здешний?

— Сам из Киева я, товарищи.

— Эка, забежал откуда.

— Чем тебя в Киеве смазали?

— Да вот, понимаете, выступал я немножко насчет политики. Не совсем чтобы за большевиков, а около. Ну, немножко дрался, с кем надо. А тут петлюровцы. Здравствуйте, бабушка. Гроб вам принесли. Утром гляжу через окно на температуру, а вместо температуры гайдамаки по двору ползают. Ну, принял я себе аспирин от нервов и лег на кровать. Только засыпать начал, — слышу: бам, бам. Ну, войдите, говорю, если вам так хочется. Вваливаются два хлопца. Морды глупые до рвоты, вроде кобылячьего заду. Хотя, что ж, думаю, не замуж мне за них выходить. Пускай существуют на свете. Так я, думая, стою, а они меня спрашивают: «Бершадский здесь живет?» — «Нет», — говорю. Я, знаете ли, на всякий случай никогда не говорю, что я Бершадский. «А где?» — спрашивают. «Если, — говорю, — вам Моисея

(а меня Моисеем звать), так я его через минуту вам приведу. Может, вы его заставите отдать мне сто карбованцев». — «Тащи, — говорят, — его. Мы ему, жиду, покажем цацу». Ну, я и пошел себе. Конечно, интересно бы посмотреть, что за цаца. Но, думаю себе, весь век без цацы жил и дальше проживу без нее... Ну, и удрал с божьей помощью!

— А ты в бога своего веришь?

— Почему в своего? Возьмите его себе за кусок сахару. Хотя в бога верю! Скучно без бога. А бог у меня веселый. Показать?

Спустя неделю Бершадский принес скрипку, и неожиданно маленькая и черная от старости скрипка родила большой оркестр. Фрезеровщик Павлов вспомнил, что он тоже музыкант, и притащил в казарму гармонику. Маляр Баранов достал из сундучка дудку, которую увез из полкового оркестра царской армии. Маслов притащил балалайку.

Жена телеграфиста Желнина подарила мандолину. Отец и Евдоха раздобыли заслонки и с увлечением заменяли барабан.

Вечером — в казарме дым коромыслом. Мы поем песни, помогаем оркестру свистом, слушаем и смеемся. Мы не любим печальной музыки. Вальсы всякие мы слушаем рассеянно, а иногда требуем:

— Прекратить!

— Давай веселую! Где штобы шуму побольше!

Особенно не любит вальсы Евдоха.

— Плешь это, а не музыка! И зачем только допускали такую. Кишки заходятся, пока слушаешь, не понимаю, как люди удовольствие находили.

— Говорят, и деньги платили!

— А я думаю так, — размышлял Евдоха, — тешили, тешили себя буржуи веселой музыкой — надоело. Ну, и придумали с ковыряньем.

— С чем?

— С ковыряньем! Ковыряет его этот вальц для аппетита, и все тут. Все печальное — это буржуи выдумали.

— А как же солдатские песни? Они ведь сплошь печальные.

Евдоха растерянно мигает глазами:

— В-верна! Значит, не буржуи. Но безусловно я ничего не понимаю в этом.

Когда в казарму к нам приходят политические руководители, мы пытаемся разрешить волнующие нас вопросы, но увы — безрезультатно. Политруки не интересуются ни музыкой, ни песнями.

— Рано об этом, товарищи! Вокруг лежат более насущные вопросы. Да, по совести говоря, не случалось задумываться над этим.

— Не знаете, значит?

— Нет... Но, во всяком случае, с плеча не разрубишь такого вопроса. Чтобы судить о музыке, надо знать ее. А если вальсик вам не понравился, так это еще ничего не значит... Впрочем, надо поговорить в губкоме.

Однажды к нам привезли блестящий, отлакированный рояль. Его поставили в углу. Потом пришла женщина с напудренным носом и сказала:

— Мне передали в губкоме, что вы интересуетесь музыкой. Я буду проходить с вами курс. Но придется начать нам с гамм. Вам это не слишком понравится, я думаю, однако...

Мы растерянно переглянулись.

— Собственно говоря, — выступил вперед Вася, — учиться не мешало бы... Сколько, между прочим, надо лет... Ну, чтобы играть?

— Чтобы хорошо играть — нужно учиться лет семь.

— Не подходит, — переступил с ноги на ногу Вася, — да мы и не просили учителя.

Женщина с напудренным носом почему-то испугалась:

— Но как же... Мне сказали... вы подумайте... Может быть, со временем... Паек я все равно уже получила.

— Вы можете объяснить нам музыку, — спросил Евдоха, — почему печальная и почему веселая?

— Печальная? Ну, если человеку тоскливо, он сочиняет печальную музыку, а если весело — веселую.

— А почему один всегда только печальную, а другой — веселую? Вот в трактире «Уют лихача» музыкант один ходил. Так ни за какие деньги, бывало, не играет веселых песен.

А играл он больше... забыл я фамиль-то... какого-то одного сочинителя...

— Ну, разве можно судить по музыке в трактире...

— Звиняюсь, — перебил Евдоха, — я это уясняю великолепно, но я к тому хочу сказать: стало быть, есть такие, которые сочиняют одно веселое, а другие — печальное.

— Вы не любите печальной музыки?

— И никто не любит!

— Но почему?

— Тоску нагоняет печальная-то!

— Бывает же тоска, облагораживающая человека, — пояснила женщина — бывают страдания, через которые человек идет к счастью. Сильной радости не может быть у человека, если он никогда не знал глубокой печали.

— Я понимаю, — кивнул головою Евдоха, — выходит, что у буржуя в жизни не случалось этой тоски, так он свою порцию музыкой получал.

— Ни буржуи, ни пролетарии тут ни при чем! — проговорила женщина обиженным голосом. — Музыка стоит выше классов. Она общечеловечна. Она понятна и бедняку и богачу. Ее поймет и русский, и американец, и негр, и китаец.

Она села за рояль.

— Слушайте!

Худые пальцы с молниеносной быстротой помчались по клавишам. Рояль загудел и грянул весенним, радостным громом. Казарма наполнилась солнцем. В углах, под топчанами, с потолков и с подоконников помчались шумные весенние ручьи. Запахло почками и влажной землей. Слушая музыку, мне хотелось петь, размахивать руками, кричать, дурачиться.

Мы схватились за руки и начали петь. Подмигивая смеющимися глазами, мы орали всякую чепуху, притоптывали ногами. Шпоры на сапогах звенели малиновым звоном, и оттого казалось, что под ногами у нас хрустит мелкий и колкий весенний лед.

Музыка оборвалась.

— Ну, что? — повернулась к нам женщина.

— Хорошая песня, — ответил за всех Евдоха, — как вы играли, вся душа во мне перевертывалась. Вы нам и слова

уж дайте. Мы в бой повезем эту песню. Под такую музыку буржуя резать в самый аккурат.

Женщина опечалилась.

— Странно, — пробормотала она. — А слова этой песни такие: кругом весна, цветут цветы, все смеется, все улыбается. Люди протягивают друг другу руки и, обливаясь счастливыми слезами, кричат: «Братья! Любимые!»

— О! — обрадовался Евдоха. — Ну, точка в точку и я так понял. Вы играли, а я и думал, как говорите вы. Хорошая песня. Жалко — слова нескладные. А ну-ка, еще чего-нибудь насчет объединенья пролетариев.

Женщина играла несколько часов. Но ничего уже больше не понравилось нам.

— Первая самая лучшая! — сказал Волков. — А в этих шуму много, а мотива не слышно. Там хоть и шум, да только к месту он. Сыграли бы ее напоследок.

Женщина опять заиграла первую песню. Мы опять стали пристукивать шпорами и подпевать. Евдоха, зная слова, старался перекричать всех:

— Весна, весна-а-а... Плачу я, бра-ат-цы-ы... Ох, и печально же вам ж-и-ить... А цветы цветут себе для буржуев...

Призываю, бр-а-атья, всех вперед. Будем би-и-ить проклятого бур-жу-у-уя...

Прощаясь, музыкантша сказала:

— Я все-таки буду к вам ходить.

— Ходите!

— Вы сами можете не учиться играть. Это не обязательно. Но учиться проникновению в музыку вам следует.

* * *

Она приходит по вечерам и играет на рояле. Мелодии, которые нам нравятся, она проигрывает по три-четыре раза. Всякий раз, когда мы слышим эти мелодии, мы узнаем их и радуемся им, точно старым знакомым.

— Что это?

— Персидский базар, Моцарта!

— А-а!

— Хороший мотивчик! Занятный! Будто узлами весь перевязан.

В губкоме нас спрашивают:

— Ну, как с музыкой?

Мы отвечаем:

— Учимся проникновению!

* * *

За окнами — буран. На улицах безлюдно. Улицы тонут в черной мгле. Где-то трещат заборы. Люди обрывают доски и тащат их к себе, растапливают печки и на ружейном масле жарят оладьи из картофельной шелухи и макухи.

Мы только что вернулись с облавы. Помогали милиции ловить шайку бандитов. Мы сидим, согреваясь горячим чаем.

— Я полтора часа вас жду! — обижается женщина с напудренным носом.

— Бандитов ловили! Некогда было!

— Поймали?

Женщина смотрит на нас широко открытыми глазами.

— Ага!

Она играет Шопена. Его мы узнаем. Остальных путаем. Почему запоминается Шопен — мы объяснить не можем.

* * *

Нашу музыкантшу зовут Лидия Михайловна. Она предлагает нам изучать литературу:

— Если вы скажете товарищу Зорину, вам завтра же пришлют инструктора.

— А есть тут в городе?

— У меня есть знакомый один. Очень опытный, старый критик.

— Что это за штука, критик?

— Критик — это человек, который хвалит или ругает книги.

Мы расхохотались.

— И деньги платят за это?

— Платят!

Евдоха покачал головой:

— Каких занятий только не было... бесполезных.

Лидия Михайловна обиделась.

— Странные какие вы все!..

— Смешно, — сказал Маслов, — ну как же так? Ходил бы я, к примеру, по мастерской, да и нахваливал всех или ругал бы кого там... А мне что же? Деньги за это? Это вы странные! Книгу-то писать тоже, поди, работа. Вон они какие толстые бывают. Подвигай-ка рукой. Ну, а тут является чтец и говорит: не нравится. А ему за это — цоп, да катеньку, а может еще большую сумму.

— Вы слишком упрощаете, товарищ! Критик разъясняет книгу. Вот это, говорит критик, — хорошо. Это, говорит, плохо.

— И неужто верят ему?

— А как же?

— Мошенничал народ! — сердито плюет Маслов. — Как же это можно одного человека слушать во всем? А может, сам-то он первейший идиот в свете?

— Разрешите, — вмешивается телеграфист Желнин, — я хочу сказать, что критика, конечно, нужная вещь. Но товарищи правы, когда смеются. В самом деле: для кого это важно — понравилась такая-то книга критику Иванову или не понравилась. А что нам до того, что она не нравится ему? Максима Горького ругают критики, а я его всех выше ставлю! Горького-то многие критики и за писателя не считают, а жена моя плачет над ним. При социализме не будет критиков.

— Напрасно, товарищ Желнин, — краснеет Лидия Михайловна, — критика помогает понять красоту... И обычно критиками бывают наиболее развитые люди; если не будет критиков, как же люди будут знать, что следует прочитать, и мимо чего можно пройти.

— А кто это может сказать, — пожимает плечами Маслов, — что следует, а чего не следует? Вон в нашем доме студентка жила. Куда, кажется, образованнее. Выше-то студента что есть? Однако, при всей учености, давала нам читать белиберду. Я-то, признаться, думал себе, где думаю, как не у студентки политические книжки. А мне она другие сует. Предположенье я имел сначала: думал — боится она меня, а то еще думал скрытый смысл найти в книжках. А что увидел. Про одну любовь, да как она страдала, да как шуры-муры разные... Читаешь и обидно за человека. Неужто и жизнь вся тут — около юбки. Она страдает, он уезжает. И что ни

книжка — одно и то же... Не спорю, надо, безусловно, и про это писать. Любовью-то каждый переболеет в свое время. Ну, а еще-то где? Которое любви важнее? Вот вам и критики...

— Может, намек она тебе давала?

— А сами-то критики и писать не умеют, — говорит Желнин, — ни у одного критика нет романов.

— Ври-и?

— Это правда, — улыбается снисходительно Лидия Михайловна.

Хохот валит нас с ног. Прижимая руки к животам, мы смеемся до слез.

— Ах, курья нога! — кричит багровый от хохота отец. — Вот ловкачи, а?

Евдоха вытирает согнутым пальцем слезы и, качая головой, выбрасывает слова вместе с удушливым кашлем:

— Ах, мазурики! Ну, наро-од... Удумают же...

Лидия Михайловна обижена.

— Бог знает какие вы странные... Я предложила... Не хотите — дело ваше.

— Нет, нет! — запротестовали мы. — Теперь непременно давайте.

— Теперь за пять верст побежим посмотреть.

— Пускай придет! Поглядим! Может, по дурости хохочем...

Прошло несколько дней. Политрук Дудник, толстый, широкоплечий украинец, спросил как-то:

— Все понимаете в лекциях по литературе?

У нас глаза на лоб полезли.

— Какая литература?

— Был у вас Пружанский?

— Никакого Пружанского не знаем.

Дудник свистнул:

— Смылся, сукин кот. То-то я смотрю... Паек взял за три месяца вперед, а плана не представляет...

Спустя неделю повар Ткачев назвал Бершадского критиком, Бершадский разбил повару нос.

Со словом «критик» стали обращаться после этого осторожнее.

Глава XIX

После обеда мы читаем газеты. Они синие, желтые, оранжевые, серые, голубые. Бумага твердая, шрифт стертый. Статьи такие большие, что как только взглянешь, так и спина начинает болеть. Мы читаем газеты, начиная со стихов Демьяна Бедного, потом переходим к телеграммам. Длинные статьи читает железнодорожник, и, если они кажутся ему интересными, он в двух словах передает нам их содержание.

Мне газету читать не под силу. Очень мелкий шрифт, да и слова отдельные без начала и конца. А вместо фраз — разные точечки и крючочки. Половина газеты замазана, затерта.

Лучше всех справляется с газетами Бершадский. Не смущаясь отсутствием в тексте многих слов, он смело плавает в газетных столбцах, добавляя, при случае, «от себя», объясняя затертое «собственными словами».

— Английские газеты, — читает Бершадский, — полны злобными выпадами против... затерто... Но, очевидно, выпадами против Волкова, Маслова, Евдохи и всего отряда в целом... Ну, а тут одно только слово понятное: варварами. Здесь у наборщиков, видать, произошло расстройство желудков.

— Врешь, — кричит из угла наборщик Тихомиров, — это не от наборщика зависит. Печатники подкачали. А скорее всего — шрифты разбитые, вроде бабушкиной калошки. Ну, краска — ни к черту. Приправка — тоже видать...

— А ты бы, Бершадский, перевел с английского-то.

— Без словаря? — ужасается Бершадский. — Впрочем, зачем еврею словарь, когда его угощают папироской?

Смеясь, мы протягиваем ему папиросы. Усевшись поудобнее, мы подталкиваем друг друга локтями и от предстоящего удовольствия потираем руки. Десяток спичек услужливо вспыхивает под носом Бершадского, и он, не желая обидеть никого, ухитряется прикурить сразу от десяти спичек.

— Та-ак... Ну, я сразу же и за перевод... Английские буржуа очень недовольны нами. Считая дурным примером для

своих рабочих Октябрьскую революцию, буржуи Англии желают... Желают...

Бершадский морщит нос и произносит несколько замысловатых ругательств.

Многие привстают с кроватей.

— Ну и матерщинник!

— Какой человеку дан талант!?

В углу откашливается Волков. Это значит Бершадский настроил его на душевный разговор. Мы повертываемся в сторону Волкова.

— Занятно все-таки, — откашливается Волков, — выходит, что загранице не нравится наша власть. Ну-к что ж. Не нравится — так будем меняться. Которые вот ругают нас письменно — пускай себе приходят в Расею и работают. А что, может, напишем им: дескать, очень вам благодарны за ваши заботы, спасибо, дескать, что вы нам лучшей жизни хотите.

— Ах, суки, суки! — подскакивает к кровати Волков.

Большой, взъерошенный, он трясет огромным кулаком, угрожая невидимому врагу, неизвестным людям, которые где-то далеко за океаном заботятся о нашем счастье.

— Что они знают, — ругается Волков, — как они понимают нас. Варварами нас пишут. Что ж, может, мы и вправду варвары. Но почему ж мы хуже-то их? Ну, ладно! Он там знает разную математику, географию, с тарелки есть приучен, а я не знаю. Ну, а почему же я хужее его? Нет, дорогой человек в манжетах. Не хуже я тебя. И я хочу математику и географию и с тарелки чтобы...

— Им обидно это будет! — кричит наборщик. — Если все будут, как один, над кем же буржую куражиться тогда?

— Никто нас не знает, — вздыхает Волков и ложится на кровать, закидывая руки за голову, — да мы и сами себя не знаем... Помню, был у нас в германскую войну солдат Ковязин. Чистюля, скажу, каких свет не видел. Уж на что паршива окопная жизнь. Хуже скота человек живет. А Ковязину она хоть бы что. Он и бреется каждый день, и чистит себя, и полирует. И в блиндаже чистоту разводит. Прямо — удивление. Да брось ты, говорим. Не могу,

отвечает. Люблю я, земляки, когда кругом меня чисто все и прибрано. Такой был солдат: в деревню придем, так он стекла в избе вытрет, во дворе подметет, а то одного разу цельный цветник устроил под окнами. Сам, говорит, не увижу, а вы любуйтесь. Вспоминайте солдата Ковязина. Случилось нам раз в разведке быть. С Ковязиным, значит. Попали мы в фольварк. Дом с колоннами, а в доме ни души. Чистота. Кругом цветы. В дому полы натерты воском. Всюду картины, мебель красивая, ковры огромные. Разбрелись мы тут по комнатам. Ходим и удивляемся: до чего ж это прекрасно живут люди.

Прошло время. Надо, смотрю, и дальше идти. А Ковязина нет. Где Ковязин? Ну, в дому, наверное, остался. Я обратно. Побежал из комнаты в комнату. В одну открываю дверь и присел даже от удивления.

Волков, как опытный рассказчик, в этом месте делает продолжительную паузу, затем садится и ерошит волосы пятерней.

— Гляжу и глазам не верю! Вижу, сидит Ковязин на открытом рояле орлом... Я к нему. Что ты, Митя? Бог с тобой! А глаза у него тихие такие, умные, но строгие. Смотрит он на меня и говорит серьезно: бей, грит, Волков, картины. Ломай, грит, все. Ну, я и давай глянец наводить. Ломаю, а у самого мысли веселые: нате, думаю, стервы! Чувствуйте и вы войну. На шум остальная кобылка ввалилась. И тоже присоединились. Озверели люди. Ефрейтор стоит и как поп руками благословляет:

— Круши, — кричит! — На смерть нас послали, так пусть хоть вещами поплатятся.

Ну и разворотили мы дом начисто. Пришли после нас офицеры и говорят: если, говорят, немецкая это работа, так почему все на месте. А если русская, так какие же сукины дети успели напакостить.

— Ковязин-то после того случая, как? Бросил чистотой заниматься?

— То-то, что нет. Каким был, таким и остался. Только задумываться начал, а вскоре и дезертировал.

— А ты?

— И я дезертировал. Дурак я, что ли, за чужого дядю шею подставлять?

— А как ты думаешь, могут они пойти на нас?

— Они-то? Навряд. Сам буржуй, он этого терпеть не может, где стреляют, а солдат разве пойдет?

— Погонят, так пойдет!

— Э, не те времена, товарищи. Да и сколько войска потребуется, чтобы Расею угомонить. К каждому ведь двух солдат придется поставить. А где они найдут войска такую уйму? Да ведь и с войсками шутить не приходится. Теперь им очень даже просто и штыки повернуть назад. Теперь пример показан.

— А давайте-ка, товарищи, песню. Ну их, буржуев этих самых. Болтают и пускай себе, а придут — наломаем шею. Нас-то ведь вон сколько... Затягивай, кто с краю.

Маслов запевает хриповатым баском:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах...

Мы подхватываем хором:

Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумой на плечах.

Самые любимые наши песни — это песни сибирских каторжан. О тайге, о кандальниках, о бродягах, пробирающихся в дремучих сибирских лесах, мы можем петь до рассвета.

И когда мы поем, перед глазами встают худые, небритые «политики», спасающиеся от проклятых полицейских собак. Мы рычим, если бежавшего настигают в тайге, и мы ликуем и наши голоса звенят весельем, когда бежавший ускользает из-под носа полиции. Распевая песни, мы наяриваем винтовки до зеркального блеска внутри стволов.

Завтра — стрельба.

Глава XX

Юг охвачен настоящей войной. Говорят, в Москве началось формирование Красной армии.

— Почему не Красной гвардии? — обижается Вася.

— Ну, там по-новому все будет.

— Говорят, будто мобилизовать начали...

— Кого мобилизовать?

— Офицеров и унтеров!

— Брехня! Может, которые большевики из них, может, тех призывают.

— Ясно — брехня! Рази офицера можно допустить обратно.

* * *

Однажды, среди ночи, раздался тревожный крик:

— Встава-а-а-ай!

Резкий электрический свет ударил в глаза. Жмурясь от яркого света, я видел сквозь приплюснутые ресницы, как взлетали над головами одеяла, шинели и вскакивающие красногвардейцы размахивали винтовками и шашками.

В углу казармы пулеметчики, присев на корточки, натягивали на пулеметы брезент.

— Что?

— Куда?

Одеваясь, мы успевали задавать вопросы, но толком никто ничего не знал.

— Станови-и-ись!

Из канцелярии вышли одетые по-походному, немного взволнованные Акулов и Краузе.

Перминов кинулся к столу и для чего-то отодвинул его к окну.

Затаив дыханье, мы стояли, сжимая в руках винтовки, вперив глаза в начальника отряда.

Акулов отогнул рукав кожаной тужурки и, глянув на часы, сказал:

— Товарищи!

Мы подались вперед, вытягивая шеи.

— От Пензы до Ново-Николаевска советская власть свергнута чехами. Через полчаса выступаем на фронт.

— Ур-ра! — закричал кто-то. Но крик не был подхвачен. Чего орать зря?

— Откуда чехи? — деловито осведомился Волков.

— Сколько?

— Почему против?

— Чехи, это бывшие военнопленные. Царское правительство вооружило их для борьбы с немцами. Чешская армия насчитывает сорок тысяч. На другие вопросы я не могу ответить. Пока еще и сам ничего не знаю. Надо быть, по дороге узнаем подробности.

Мы промолчали.

Тогда Акулов, глядя на нас подозрительно и настороженно, сказал, чеканя каждое слово:

— У кого чувствуется слабость — пусть останется. Понятно? Чехи вооружены и обучены лучше нас. На это не будем закрывать глаза. Числом их тоже больше. Знайте, на что идете. Может, и не вернемся!

Мы промолчали.

— Стесняться нечего! Не все храбрыми родятся! А кто послабже — мешать будет.

В гулкой тишине упал коробочек спичек.

В рядах пронесся сдержанный смех.

— Ладно болтать-то! — крикнул Волков.

...Через час мы тряслись в теплушках.

* * *

Вздрагивая и покачиваясь, теплушки бегут, громыхая цепями, лязгая буферами.

Размахивая густой огненной гривой, паровоз мчит эшелон в темных полях, мимо спящих сел и деревень. Железный грохот раскатывается вокруг, поднимая собачий лай.

— Так-так-так!

— Ту-ту-ту!

Стеариновая свеча освещает сквозь разбитое и пыльное стекло фонаря, лошадиные головы и спящих вповалку

красногвардейцев. Тусклый гаснущий свет подпрыгивает, падает неровными желтыми полосами, растворяясь в теплой темноте. Лошади, отгороженные досками, сонно жамкают жвачку, отфыркиваясь, переступая с ноги на ногу.

Я дневалю.

Сижу у дверей на опрокинутом ящике из-под мыла, прислушиваясь к мерному громыханию поезда, к храпу красногвардейцев, к сонному бормотанию, вдыхая острый конский пот. На остановках около дверей вагона закипают голоса. Вдоль эшелона с криком бегут спекулянты, волоча на горбах мешки и плетеные корзинки.

Встав спиной к вагону, я кричу напирающей толпе:

— Нельзя сюда!

— Как так нельзя? Вали, робя!

— Нельзя!

Спекулянт, навьюченный словно верблюд, оттирает меня мешками в сторону и, тяжело дыша, лезет в вагон.

— Куда прешь? Не слыхал, что говорят?

Спекулянт отталкивает меня. Тупая морда его шевелит усами.

— Ничего! Мы привычные! Доедем как-нибудь! Вали, граждане! Чего смотреть? Начальников больно много развелось!

— Ты что? — хватаю я его за рукав. — Не видишь, что военный поезд?

— Ни-чего-о!! Мы теперь все военные! Ну-кась, дай дорогу!

Я вынимаю револьвер.

— Не запугаешь! — усмехается спекулянт.

Подпрыгнув, он хватается за скобу. За ним кидается орава спекулянтов. Тогда я стреляю в воздух.

Толпа рассыпается в стороны. Несколько человек с ревом бросаются под вагон.

— Бей его, сукинова сына! — орут из-под вагона.

Откинув полы шинелей, спекулянты лезут в карманы. Тупомордый шарит рукой за пазухой.

Я выхватываю из-за пояса гранату.

— Брось, наганы! Слышь?

Спекулянты, ругаясь, отступают. Я прыгаю в вагон. Поезд трогается. Из толпы вырывается несколько револьверных выстрелов. Пули стучат в толстую дверь.

Красногвардейцы вскакивают на ноги:

— Что за буза! Почему спать не дают?

Несколько человек бросаются к винтовкам.

Волков подскакивает к дверям, выхватывает из моих рук гранату.

— Эй, лови! — кричит Волков, кидая гранату в бегущую за поездом толпу.

* * *

Красногвардейцы спят. Я сижу и думаю. Хотя, пожалуй, думать сейчас не стоит: невеселые мысли лезут в голову.

Украина занята немцами. Крым и Кавказ отрезаны. А теперь и Сибирь, значит, отвалилась. Хлеба нет. Сырья нет. Заводы останавливаются каждый день десятками. В городах — бандитизм и голод. Села и деревни кипят в огне кулацких восстаний.

— Эхма! Выдержим ли?

* * *

Днем в поезд не лезут. Пулеметы у дверей и орудия на открытых платформах располагают путешествующих по российским дорогам к вежливости.

— Товарищи, — любезничают с нами на станциях, — нельзя ли один перегон доехать с вами?

— Нельзя!

— Да нас трое всего! Мы не стесним. Может, как-нибудь? А? В уголочке?

— Военный же эшелон! Посторонних не полагается!

— Господи! Да какие же мы посторонние? Расейские мы!

Женщины просят, умильно улыбаясь:

— Товарищи! Ну, как-нибудь?

— Нельзя, цыпочка! Простудишься в вагоне, а мы отвечай после.

— Такие молодцы, да чтобы простудиться среди вас... Товарищи, а? Можно?

Женщины поглядывают, как кошки.

— Пустите! А?

Кое-кто сдается:

— Пусть едут! Не съедят места!. Мужчину — это действительно... Еще шпеон, может, а женщина что ж... Женщина, она безвредная...

Кто-то протестует:

— Спекулируют они тут, а мы вози их!

— Да какие мы спекулянтки? — улыбаются укоризненно женщины. — Мы и слова-то этого не знаем.

До вечера женщины едут с нами. Вечером они настороженно поглядывают вокруг, а затем исчезают.

— Эхма, — вздыхает Попов, — до чего народ олютел... Ведь не зря бабенки удрали. Видно, натерпелись в дороге.

На станции Пясецкая нагнали Белохлыновский отряд красногвардейцев. Они встречают нас криком «ура». Наш поезд медленно проплывает мимо открытых настежь теплушек, наполненных красногвардейцами. Они стоят, сидят, свесив ноги, лезут на плечи друг друга. Размахивая фуражками с широкими красными лентами, красногвардейцы смеются, кричат:

— Гей!

— Братва-а-а!

— Сколь пулеметов у вас?

— Орудия есть?

— Ого! Ого! Кавалерия! Глянь, глянь! С конями!

— Ур-р-ра!

Со станции Пясецкая едем вместе. Они — впереди, мы на полверсты сзади.

Человек десять белохлыновских красногвардейцев попросились в наш вагон:

— Можно с вами?

— Вали!

— Наша теплушка вкусная! — пошутил Евдоха.

— И то! — ответил вихрастый белохлыновец и признался: — Гармошку заприметили в вашем салоне.

* * *

На боках теплушки кто-то старательно и четко вывел мелом аршинные буквы:

«Сорок братишек и одна гармошка».

На остановках вагон привлекает всеобщее внимание веселыми песнями, забористыми шуточками.

— Куда? — спрашивают нас.

— Делегация на луну!

— Вашим девкам в подарок прислали.

Старики и спекулянты глядят враждебно. Отплевываются. Случайные пассажиры и молодежь шутят с нами. Один из белохлыновцев, красивый, похожий на разбойника парень, успевает на каждой остановке «крутить любовь». И как знать, может быть, и потеряли бы мы этого славного красногвардейца где-нибудь около белокурой голубоглазой девушки, если бы поезд стоял немного больше, чем полагалось.

Вскакивая на ходу в вагон, любвеобильный парень прижимал одну руку к сердцу, другой посылал воздушный поцелуй.

— Тю, маленькая! До свиданья! Обратно поеду — сходим к мамаше. Не забывай, красоточка!

А девушка платком машет, смеется, а по всему видать: жалко ей разбойника. Неграмотный, и тот прочтет в голубых девичьих глазах:

«Куда ж тебя везут, красавчика такого?»

Паровоз, шумно отдуваясь, набирает ходу. Станция медленно плывет назад. Из вагонов тянутся руки.

— Эй, золотые, ненаглядные! Садись! Скачи, подвезем!

Красногвардейцы неузнаваемы... Были степенные, серьезные. А теперь, отъехав от города несколько перегонов, превратились в мальчишек. Даже отец мой и тот взыграл.

— Забирай девок, товарищи! — кричит он всех громче. — Хватай их! Хватай!

Тех, что помоложе, мы пускаем теперь в вагон без лишних разговоров. Девицы поют с нами песни, шутят, но к вечеру благоразумно высаживаются.

Пролетая мимо шлагбаумов, мы свистим, размахиваем руками, кричим:

— Эй, дя-дя!

— Рот закро-о-ой!

— Пузо убери! Эй-й!

Около шлагбаумов стоят, понуро опустив головы вниз, мохнатые крестьянские лошаденки с возами дров и хвороста. Лошадей держат, повернув спины к поезду, крестьяне в светлых ситцевых рубахах. Поглядывая через плечи, крестьяне скалят зубы и тоже кричат что-то, но в грохоте поезда нельзя разобрать: матерщиной ли обкладывают нас или желают счастливого пути.

— А ей-бо, ругают нас! — беспокоится Евдоха. — Слышно, Волков, ругают ведь сволочи!

— Непременно ругают! — соглашается Волков. — Без этого никак нельзя. А вот я их...

Волков высовывает голову в окно, но крестьяне уже остались далеко сзади. Он втягивает голову обратно и разочарованно говорит:

— Проехали!

* * *

— Урал!

Похожий на разбойника красногвардеец — Сашка Лихов — стоит в дверях теплушки. Показывая рукой на далекие трубы заводов, он говорит весело:

— Тут, куда ни ступи — все заводы иностранцев. Немцы, англичане, но больше французы.

— Ты здешний, что ли?

— Я здешний! Я тут восемь лет проработал.

— Лучше у иностранцев-то?

— Одно дерьмо. Только капризу больше. Тут сейчас завод французский будет. Гильбо. Так я на нем три года корежился. А за три года насмотрелся на французов во как...

— Ничего народ?

— Жадные очень... Уж на что такое дело, как товарищ, угостить, так и тут у них расчет. Прямо скажу — смотреть тошно. Тут буфет был на станции. Так мы, бывало, ходили в буфет выпить, закусить, с девочками пошататься по перрону. Но как, бывало, погляжу на эти мурлы, так и напьюсь

в доску. Уж что-что — официанту, так и тому не дадут на чай. Копейки не дадут. Папиросой угостить считались. Скряги. Рвота поднимается, как посмотришь на эту нацию. А Гильбо-то этот болван болваном. Двадцать лет в России прожил и ни черта. Ни в зуб ногой. Которые вокруг него, так те по-французскому научились болтать не хуже французов, а этот только и знал: «Одна тякая машьинка». А все цвета у него на два делились: на черный и синий. Бывало, кричит: «Давай, такая машьинка! Черный!» Бьются, бьются: какую ему «машьинку». А это он огурца просит. Вот и догадайся. И сердится, заметьте. Ногами топает. Давай, машьинка такая!..

— Ну, ихнего брата теперь тоже по шапке!

— Вот тебе и «машьинка».

Глава XXI

Ночью поезд остановился в чистом поле. При свете сигнальных огней мы увидели огромное количество подвод, нагруженных узлами и сундуками. Желтые глаза фонарей освещали темные фигуры людей.

— В чем дело?

— Почему стоим?

В темноте сдержанно гудели голоса, слышался детский плач, бряцала конская сбруя, пофыркивали кони.

Мы пошли на голоса.

— Отряд, что ли?

— Отряд! — уныло сказал кто-то в темноте.

— А в чем дело?

Мы подошли к сгруженным в кучу подводам. На подводах с узлами в руках сидели окруженные ребятами женщины. На телегах лежали грудой мешки, жестяные чайники, грязные подушки, ведра и разная рухлядь. Среди телег уныло бродили подростки, накрывшись с головой разноцветными одеялами. Девушка в картузе старательно запахивалась в пальто, под которым белело обнаженное тело. На большом возу сидела, точно каменный идол, старуха, охватив руками самовар. Дети, укутанные в отцовские пиджаки, вытягивали головы, осматриваясь по сторонам, точно сторожевые гуси. Матери заботливо кутали ребят, стараясь уложить их.

— Спал бы ты, золотко!

— Положи, Сенечка, головку.

Но дети не хотели засыпать. Они таращили глаза, рассматривая нас, хмуря жиденькие брови.

— В чем дело? — спросил Павлов.

— От чехов спасаемся!

— Далеко отсюда?

— Верст тридцать, а может, меньше!

К нам подошел мужчина.

— Чехи, товарищи, ерунда. Сегодня он чех, а завтра, глядишь, и нет его. Уехал! Белая сволота поднялась. Без пощады

режут. Расстреливают направо и налево. Малых ребят не щадят.

И покачал головой:

— Образованные, а звериная жестокость?!

С насыпи, со стороны эшелонов, чей-то сильный голос закричал:

— Товарищи красногвардейцы! Возьмите детей в вагоны! Дальше не едем!

Мы провели ночь под открытым небом, слушая сквозь сон далекий гул артиллерийской стрельбы.

* * *

Утром женщины и дети двинулись в тыл. Мужчины остались в наших отрядах. Мы стащили с платформы орудия и начали выводить лошадей.

Я стою в теплушке, ожидая сходней. Лошади похрустывают овес, стуча беспокойно подковами в пол, отмахиваясь хвостами от мух. Амба, скосив темный глаз в мою сторону, прижимает уши, яростно крутя подстриженный хвост.

— Ну! Ну! — треплю я коня по крупу.

Амба тихонько ржет. Умная кобыла давно уже привыкла ко мне и разными лошадиными нежностями старается доказать, что она питает уваженье и любовь к моим рукам, в которых бывают и соль и сахар.

— Воевать будем, Амба!

Кобыла пошарила теплыми ноздрями по моему лицу и снова заржала, как бы желая сказать: «Ничего. Мы не будем трусами».

— Ну, ну, Амба! Не балуй! Тр-р-р-р!

Поправляя недоуздок, я услышал за стенами вагона топот ног и быстрые, негромкие слова команды.

Дверь вагона с грохотом поползла в сторону. Чей-то сдержанный шепот крикнул:

— Чехи!

* * *

С высокой железнодорожной насыпи я увидел бескрайную степь с редкими деревьями далеко на горизонте. Белые

облачка висели над степью; лиловые тени раскачивались, ползя по склонам травянистых курганов. Высоко вверху, в сияющей сини, невидимые глазу птицы захлебывались радостными песнями.

Из красных теплушек прыгали на рельсы красногвардейцы.

Приставив растопыренные ладони к глазам, они смотрели в степь.

— Где они?

На опрокинутом разбитом ящике стоял, широко расставив ноги Акулов, разглядывая степь в цейссовский бинокль.

— Видать?

Начальник отряда утвердительно мотнул головой.

— Вон они! — крикнул он, опуская бинокль, протянув руку в сторону курганов.

Выхватив маузер, Акулов побежал вдоль эшелона.

— Орудия к бою! Пулеметчики по местам! Выводи лошадей на ту сторону!

Из-за курганов выехало человек десять конных. Ехали они вразброд, беспорядочно, ломая линию. Впереди на резвой лошади гарцевал всадник с золотыми каплями на плечах.

— Офицерня! — крикнул Волков, торопливо застегивая ворот гимнастерки.

Тяжело пыхтя, по насыпи пробежали пулеметчики, сгибаясь под тяжестью пулеметов. Не спуская глаз с конных, они припали к полотну железной дороги, торопливо устанавливая максимки. Несколько винтовочных выстрелов ударило рядом.

— Не стрелять!

Конные поскакали назад.

— Выводи коней!

Мы бросились в теплушки.

Бестолково суетясь, мы тащим за недоуздки упирающихся лошадей и, наталкиваясь на свои же руки, начинаем седлать. Неожиданно хлопают одна за другой наши трехдюймовки. Амба делает свечку.

— А, дьявол!

Лошадь сбивает меня с ног. Я лечу под откос. Вверху проносится свист, точно полосовое железо уронил кто-то. Ругаясь, я лезу обратно. Оглушительный взрыв раздирает небо. В рот летит песок. Отплевываясь, я поднимаю голову. Карабкаюсь, увязая в песке. Сквозь тучи пыли вижу Краузе. Он бежит вдоль эшелона, придерживая одной рукой шашку, другой размахивая над головой. Он кричит, ругается, но я не слышу отдельных слов.

Что нужно делать?

Поймав Амбу, я стою, точно дурак. Полосовое железо, свистя, проносится над вагонами. Я поднимаю голову. В синеве всплывает розовое облачко. Сильный грохот разрывает воздух, как будто рвут чудовищные железные стены.

«Шрапнель!» — толкается в голову мысль.

— Коней! Коней! — орут красногвардейцы, точно ошалелые, бестолково суетясь у теплушек.

Краузе хватает красногвардейцев за рукава.

— Ну, ну, товарищи! Ничего особенного! Не торопись! Не торопись! Спокойнее, товарищи! Спокойнее!

* * *

Снаряды сверлят воздух скрежещущим свистом. Мы не уставая наклоняем головы.

— Не кланяться, товарищи! Не помогут поклоны. Делай свое дело.

Вблизи проносится странный шум. Лица опахивает теплотой. Дьявольский грохот взрывает под нами землю. Ураган камней гудит над головами. Сверху сыплются песок, щебень, комья земли. Нас бросает на рельсы. Мы вскакиваем, но тотчас же оглушительный взрыв с другой стороны откидывает нас назад. Не выдержав, мы бежим врассыпную.

— Куда-а? Наза-а-ад!

Угрожая маузером, к нам бежит растрепанный Акулов. Он бледен. Фуражка еле держится на затылке. Полы кожаной тужурки распахнуты.

Мы кидаемся под откос. Но перед нами вырастает тонкая фигура Краузе с револьвером в руках.

— Не сметь, товарищи!

Спокойный голос военрука останавливает нас. Мы бежим обратно.

— Ж-ж-ж! — визжит в воздухе.

Сильный взрыв засыпает нас землей. Точно слепые щенки, мы мечемся из стороны в сторону.

— Спокойно, товарищи! Спокойно!

Мы останавливаемся. Растерянные, смотрим на невозмутимого военрука. Он стоит, качая головой.

К нам подбегает Акулов. С перекошенным от злобы лицом он бросается на нас, брызжа слюной:

— М...! Перестреляю, сволота!

Ничего не понимая, мы жмемся к теплушкам.

* * *

От взрывов стонет земля. Мы спускаем коней под откос, спеша покинуть железнодорожную насыпь. Впереди вагонов захлебываются пулеметы, трещат винтовочные выстрелы. Наши орудия бьют, не переставая.

— Скорей! Скорей!

Рев снарядов, ослепительное сверканье, взлетающие столбы земли. Впереди кто-то кричит истошным голосом.

* * *

На рысях мы мчимся беспорядочной толпой вдоль полотна.

Оглянувшись назад, я вижу, как одна теплушка, качнувшись, падает вниз. Эшелон горит. Все полотно кипит огненными фонтанами.

Что нужно делать?

Рядом со мною трусит «Всех скорбящих». Фуражка у него скатилась на затылок. Лицо бледное. По лицу блуждает растерянная улыбка. Наши глаза встречаются.

— Жиганул как? — кричит «Всех скорбящих».

Я молчу.

Впереди прыгает в седле согнутый вдвое Евдоха. Рядом с ним — отец. Я настигаю их. Пускаю коня рядом.

— Жив, батька?

Отец бледен и серьезен.

— Мы им дадим сейчас! — хрипит он.

Кони налетают на крупы передних.

Мы останавливаемся.

Краузе соскакивает с коня. Путаясь в полах шинели, Краузе лезет вверх по насыпи. Мы ждем. Краузе припадает к земле. Смотрит. Затем кубарем катится вниз. Вскакивает в седло.

— За мной!

Мы трогаемся с места.

— Пово-од! Рысью а-а-арш!

Куда?

На ходу мы выстраиваемся по четыре. Должно быть, так надо.

— Страшно? — косится на меня Евдоха.

Я молчу. Я и сам не знаю: страшно это или нет. Я чувствую, что нужно что-то делать и что делаем мы все как будто не так, как полагается. Но Краузе, наверное, знает.

Около железнодорожного моста мы останавливаемся. Что там впереди, я не вижу. Красногвардейцы поправляют портупеи. Машинально я делаю то же самое.

Передние ряды поплыли под мост.

* * *

Вылетев из-под моста, я увидел впереди, на гнедом жеребце, Краузе. В воздухе сверкнуло блестящее жало шашки. Мы рассыпались лавой. Пустили коней.

Под копытами ахнула земля. Воздух со свистом кинулся в лицо. Вырвав шашки, мы понеслись галопом.

Я вытягиваю шею. Я вижу, как недавно еще пустая степь наполнена бегущими к насыпи фигурками. Мы переходим в карьер. Кони храпят, стелются по земле, поднимая тучи пыли. Порывистое дыханье с боков настигает меня.

Впереди затрещали винтовки.

Свист пуль проносится над головой.

«Скорей бы! Скорей бы!» — сжимается бухающее сердце.

Сбоку вырвался вперед Волков. Он поднял над головой блеснувшую шашку.

— Братва-а!

На мгновенье мелькнуло его лицо, багровое и страшное. Рот разорвало криком.

— Эх, м...!

И тотчас же, точно бросил кто-то на нас быстро растущие фигурки, несколько человек поднялись с земли, вскинули винтовки на изготовку, но кони растоптали их.

Чехи побежали.

Без крика мы врезались в беспорядочно бегущих чехов, Сверкающие клинки закипели в воздухе. Душераздирающие крики взлетели одновременно и спереди, и сзади, и с боков.

* * *

Передо мной бежит, спотыкаясь, толстый чех. Жирные складки шеи лежат на тугом воротнике. Под гимнастеркой шевелятся лопатки. На локтях у чеха куски земли.

Я поднимаю шашку. Но кто-то скачущий рядом со мной рывком выскакивает вперед, падая вправо телом. Ослепительно сверкает шашка. Чех мешком летит наземь. И тотчас же, точно из-под земли, перед конем вырастает толпа бегущих. Конь врезается в середину. Я поднимаю шашку, но подхваченный с боков товарищами пролетаю мимо.

Тогда мы, точно по команде, закричали «ура».

* * *

Степь покрыта бегущими. Рассыпавшиеся по степи красногвардейцы скачут с опущенными шашками. Почти у всех на клинках розовеют стекающие полосы.

С курганов ударили пулеметы.

Оправившись от удара, чехи стягиваются в группы и отходят, отстреливаясь залпами. Пулеметный огонь поднимает степь хлопьями пыли.

— Наза-а-ад!

Мимо проскакал Краузе. За ним, пригнувшись к лошадям, неслись Вася Котельников, железнодорожник и кочегар.



* * *

Мы влетели под арку моста. Сгрудившись под мостом, мы стоим, тяжело дышим, растерянно похлопывая коней. Кто-то хрипло засмеялся. Мы поглядели друг на друга.

— Это дали! — сказал, задыхаясь, бледный отец. Вытянув перед собой шашку, он смотрит на окровавленный клинок, с приставшими волосами, как бы не зная, что ему делать с шашкой. Невольно взглянули на клинки и другие. «Всех скорбящих» провел клинком по шее жеребца, оставив две темных полосы на шерсти, затем полой шинели вытер шашку и вложил в ножны. И все торопливо повторили то, что сделал он.

* * *

Атака была настолько стремительной, что мы не потеряли ни одного человека. Даже лошадей не поранило ни у кого. Но военрук наш чем-то озабочен. Легкая победа не радует его. Кусая губы, он стоит в стороне, хмуро поглядывая на отряд.

— Влепили будто бы здорово? — говорит Агеев, вытирая рукавом пот.

Краузе кусает губы.

— Как, товарищ военрук? — спрашивает Евдоха. — Выиграли мы сраженье?

— Что?

— Наша взяла или как?

— А, бросьте, товарищи... Агеев!

— Я!

— Скачи до Акулова! Спроси его: грибы он собирается сушить или в шашки играть? Скажи, отходим мы. Скажи, сниматься надо.

— Есть такое дело!

Агеев поскакал вдоль насыпи.

— Ни черта не понимаю! — выругался Волков.

Над головами завизжала шрапнель.

— Ну, вот!

Бершадский надвинул фуражку на нос:

— Как говорится в талмуде: хорошо дураку молчать, а чешской артиллерии тем паче.

Шутку Бершадского встретили молча. И только Евдоха крякнул приличия ради.

— Война?! — скривился Краузе. — Так, пожалуй... — и не кончив, привстал в стременах. — За мно-ой!

Грохот снарядов разорвал воздух. Перед мостом взлетели к небу огромные столбы огня и черной пыли. Земля дождем посыпалась на головы.

Чехи перешли в наступление.

* * *

К вечеру, еле отвязавшись от чехов, мы добрались до Медыньи.

Не доходя до села, мы останавливаемся. Смотрим назад.

— Нет!

Кого нет, — понятно каждому без объяснений.

Около Акулова, Краузе и коренастого парня с серьгами в ушах сгрудились растерзанные, мокрые от пота, бледные красногвардейцы.

Коренастый парень с серьгами, начальник Белохлыновского отряда, шмыгая носом, говорит:

— Плешь какая... Со всех концов чешни этой поднабралось.

— Артиллерию бросили? — кусает губы Краузе.

— Антиллерия? Песок с антиллерии сделали. От прислуги клочьев не соберешь. Лезерва нет, — вот беда.

Краузе кусает губы.

Красногвардеец с забинтованной головой пробирается вперед.

— Что ж, товарищи командиры? Просакали бой?

— А ты не видишь? — отворачивается Акулов. — Вона их сколько. На каждого из нас по десятку придется. Двумя отрядами не заткнешь дыру.

В голове копошится надоедливая, неотвязчивая мысль:

«А теперь что надо делать?»

Но, как видно, никто не знает толком, что нужно делать. Бой кончился. Мы потеряли несколько человек убитыми, около полсотни красногвардейцев легко ранены. А где тяжелораненые?

Были тяжелораненые или нет?

Этот вопрос особенно волнует меня. Я оглядываюсь по сторонам. Вижу хмурые, бледные лица. Вспоминаю вчерашние песни.

— Хорошо — кавалерии настоящей у чехов нет. Не ушли бы...

— Э, делов-то, — говорит отец, — небось и мы им вкатили по первое число...

— Шпандырем по шеям поднаклали, — соглашается Евдоха.

Красногвардейцы стоят, как бы ожидая чего-то важного, каких-то нужных слов, посматривая на хмурых командиров Акулов открывает рот, но, не сказав ни слова, застегивает шинель.

— Что ж, товарищи, — вздыхает начальник Белохлыновского отряда, — пойдемте уж... Отдохнем, а завтра дальше воевать.

Глава XXII

Выставив караул, мы расположились в Медынье на ночлег.

Крестьяне встретили нас сдержанно.

— Деретесь?

— Деремся!

— С кем деретесь?

— Чехи управлять хотят! С чехами бьемся!

Мы объясняем крестьянам все, что сами знаем о чехах. Крестьяне слушают равнодушно.

— Побили, значит, вас?

— Где нас бьют, там и у вас чешется! Офицерня встает с чехами. Царя взад налаживают.

— Старому не быть!

— Ясно, не быть, если драться будем. А на печку залезем, так старое под бок подкатится.

Крестьяне начинают жаловаться на продразверстку:

— Рази это политика, ежели последнее под метелку метут.

Мы сидим в крестьянской избе. Изба большая, с низко нависшим черным потолком и большими балками. В углу белеет русская печь. Желтые лавки тянутся вдоль бревенчатых проконопаченных стен. В темном углу, над столом, поблескивают стекла запыленных икон с медной резной лампадкой и крашеным яйцом на лиловой ленте. По лавкам сидят в темных полосатых юбках крестьянки, суча проворными руками пряжу. Тоскливый гул веретена вплетается в неторопливый разговор. Два мужика в розовых ситцевых рубахах — два брата — стоят у печки, покуривая цигарки.

— Власть, конешно, своя, — кряхтит мужик с русой бородкой, — но, сказать прямо, бесполезная власть. Так, ить, нас и при царе не обдирали, а, ить, жестоко жили.

— Заскулил? — хмурится кочегар. — Ну, а я возьму да посажу тебя наверх. Вот тебе, скажем, сто миллионов народу, самых распрекрасных людей, а ты подкорми их пока что. Отработают после. Где хлеб-то возьмешь?

— Что же хлеб?! Хлеб мужики дадут!

— Ну, дайте!

— Взяли уж!

— Взяли — это безусловно. Раз не даете, что же нам остается? С голоду дохнуть?

— Зачем с голоду?

— Ну, научи!

— Продать мужики могли бы.

— Что ж не продавали?

В разговор вмешивается крестьянка:

— А чомер в ваших деньгах? Что на них купишь?

— Верна! А мы виноваты, что ли?

— Виноват, конешно, Николка, — говорит мужик, — но и добро свое, однако, жалко. Разоренье, ить.

— Э, дядя! — отмахивается кочегар. — Расею разоряли — не жалели, а ты десяток мешков жалеешь. Мы, вона, жизнью рискуем для народной пользы, а ты хлеба пожалел. Подожди, утрясется все, заживем. Лучше прежнего заживем.

— Да, зажить должно бы, — в раздумье дергает бородку мужик. — Но, ить, жалко же. Подумай-ка, товарищ.

— Это мы понимаем, дядя, а только что же делать нам?

— Делать, действительно, нечего, — соглашается мужик. — Ко всем углам притерло.

Молчавший до сего времени мужик бросает папиросу на пол и растирает окурок ногой.

— Будете так действовать — весной ни крохи не засеем. Вместях тоды умирать станем.

— Эх, друг, друг, — качает головой Евдоха, — и откуда у тебя такая лютость только? Ты что же думаешь: наживаемся мы на твоем добре?.. Ребят кормим, друг! Сами поддерживаем себя. Думаешь, жиреем на твоем хлебе? По четвертке ведь получаем. Ваш-то хлеб еле-еле душу живую держит. Глянь, жирные мы какие.

Мужик кряхтит:

— Обидно, ить!

— Э, друг! Заживем еще! Бро-ось!

— Да, дай бог. Мы, ить, тоже не за царя. При Николке-то, ить, тоже не сладко жили. Брали бы только поменее. Хучь бы половину к примеру. А за половину и разговоров не было

бы. Сами понимаем: поддержать нужно. Но, ить, под метелку же!.. Куда же это годится?

* * *

Бабы собирают ужин. Нас приглашают к столу.

— Что ж, земляки?! Садитесь! Не побрезгуйте!

На столе теплые караваи хлеба, большая миска с дымящейся картошкой, шаньги и кувшины с молоком.

— Эх, друг, — говорит Евдоха, — рази так умирают с голоду?

Мужики и бабы смеются:

— Ай давно поститесь?

— Давненько! Кроме скоромных кобыл — ни-ни.

Евдоха ломает каравай.

— У мужика лапоть берут в починку, а он орет: голову снимают. Эко добра-то еще сколько!

В избе захохотали.

— Да, ить, и как жить, товарищ! — усмехнулся мужик с бородкой. — Такая уж доля наша. Мужику не плакать, все одно что не какать.

Бабы начали шептаться, поглядывая в нашу сторону. Старуха, мигнув бородатому мужику, вызвала его из-за стола. Зайдя за печку, они заговорили вполголоса.

— Что колдуете? — засмеялся Евдоха.

— Хорошее колдуем, — сказала розовая молодуха.

Мужик вышел из-за печки. Скривив хитрецки лицо, он почесал затылок и нерешительно спросил:

— А вы, товарищи, насчет ерусалимской слезы... Принимаете?

— Неужто есть? — просиял Евдоха, но, вспомнив что-то, прикусил язык, потускнел и, поперхнувшись, так начал кашлять, будто грудь его разрывало на части.

У отца заблестели глаза:

— С устатку-то куда бы как хорошо!

Кочегар крякнул и покраснел.

За всех нас ответил Волков:

— Ставь, дядя! Охулки на брюхо не положим.

— Своя у меня только! — засуетился мужик.

— Ничто! Была бы забористой!

— Да уж... будьте покойны. Горлодер первый сорт.

На столе появилась мутная кумышка. Бабы достали щербатые чашки, принесли кислую капусту, солонину и огурцы. Мужик перекрестился и, засучив рукав, потянулся через стол, разливая смрадный самогон по чашкам.

— Мне не надо! — решительно запротестовал Евдоха. Но мужик, ударив горлышком бутыли по руке Евдохи, налил ему чашку по края.

— Не ломайся! Не красная девица!

— Уж ты бы помолчал, Евдоха! — захохотал отец, потирая руки. — Мы-то знаем твою трезвенность.

— А ей-бо не буду пить! — отодвинулся Еедоха. — Не такое время, чтобы пить.

— Бро-ось! По маленькой-то с устатку, что сделается?

— Ни-ни! — решительно замотал головой Евдоха.

Под шумок кочегар смахнул чашку в широкую пасть и, нацелившись вилкой в огурец, крякнул:

— Разговору-то сколько!

Не ожидая приглашения, опрокинул чашку и отец:

— Эх, добра! Так по жилочкам и потекла.

Волков чокнулся с хозяином и, лихо ударив донцем о мою чашку, поднял кумышку к прищуренному глазу:

— Ой, вижу! Сидит на донышке Евдоха и слезу точит.

Все рассмеялись. Волков запрокинул голову назад и бережно перелил кумышку в глотку.

— Дай бог не последняя! — стукнул он пустой чашкой по столу. — Ну-ж, Евдоха? Ждем!

— Не буду! — твердо сказал Евдоха, хмуря брови. — А что раньше пил, так то паскудную жизнь заливал водкой. Теперь у меня линия будет.

Кумышка развязала языки. За столом завязывается оживленная беседа. Раскрасневшиеся мужики блаженно улыбаются, покачивают головами, поддакивают:

— Да, осподи боже, рази мы не понимаем. Мы это все отлично даже.. Но... карахтер у мужика гибельный. Ты ему сок, а он от тебя — скок. Такие уж мы. Да и посудите — темнота, ить.

— Просветим!

— Это уж, как бог свят. Теперь просвещайся только. Конешно, под метелку метут. Сердце рвется, но, ить, и понимаем. Без нас пропадете вы, городские. Однако добрый мужик. Не жалеем.

Волкову невтерпеж.

— Вы-то сами отдаете?

— Зачем сами? И у нас отбирают. Но ты зря подъелдыкиваешь, товарищ. Могли бы, ить, и не дать.

— Спрятали бы?

— А что? Степь широка! Город схороним — не дознаетесь. А что сами не отдаем — так то пустое. Да и как можно своими руками отдать? С тоски, ить, зачичереешь. А тут — спокойно. Отнято и все тут. И не думай.

— Дык как же... Непонятное чего-то... И отдаете будто и жалеете будто.

— То-то и есть! Сказано: гибельный у мужика карахтер. Тут тебе и полное объяснение... А ну ее, к чомеру! Живы будем — не помрем. Утрясется по времени. Умнется.

— В-верна!

Евдоха скучающе шевелит вилкой огурец. По лицу Евдохи видно: мучается он мукой мученической, а виной тому — чашка с кумышкой. Глаза Евдохи помимо воли косятся на соблазнительное зелье. Губы дрожат, вытягиваются трубочкой. Пальцы беспокойно барабанят по столу. Поглядит Евдоха внимательно на чашку, подожмет губы и снова отвернется. Возьмет вилку и по огурцам почнет царапать.

— Ублажим! — кричит мужик с бородкой. — Вы не подкачайте, а мы дадим. Справимся как-нибудь.

— А дадите как? Со свечками присылать?

— Это непременно! Со свечками когда — оно спокойнее для сердца. А без нас пропадешь. За мужика во как держаться нужно.

Битый час разговор вертится около продразверстки. Но как будто никому еще не надоело говорить о хлебе. Один только Евдоха скучает.

Озорства ради я тянусь к Евдохиной чашке.

— Ну-ка, дай сюда. Чего киснуть добру.

Евдоха отстраняет мою руку. С мучительной гримасой, будто проглотил он фунт гвоздей, Евдоха шепчет:

— Не трожь! Поставлено и пусть стоит!

Разговор меня не интересует. Я наблюдаю за Евдохой и думаю:

«Выпьет или нет?»

Евдоха начинает интересоваться беседой.

— Ты, дядя, подумай, — кричит он через стол, — раньше ведь на царя мильены народные шли, а теперь в нашем кармане останется. Все на пользу народа пойдет. Жалований мы таких давать не будем. А раньше сотнями тысяч гребли министры. Тут и подумай.

С этими словами Евдоха стремительно опрокидывает самогон в рот.

— Вот так.

— Это — святой?

Дружный хохот заставляет Евдоху сконфуженно перевернуть чашку вверх дном.

— Вот замечтался, — растерянно бормочет Евдоха и, рассердившись, тянется к огурцам. — Грехов с вами!..

Волков посматривает на Евдоху с усмешечкой:

— Мечтатель... Небось вилку не сунул в хайло. Так бы это и мне почаще мечтать.

Неожиданно в окошко забарабанили палкой.

Мы вскочили на ноги.

— Эй! — крикнул голос с улицы. — Вылетай пулей! Чехи!

Опрокидывая табуретки, мы бросились к винтовкам. Торопливо одеваясь, мы прощаемся с хозяевами:

— Не забывайте!

— Разговор держите в памяти.

Бабы, схватив шаньги со стола, засовывают их быстрыми руками в карманы наших шинелей.

— Бери, бери! Не чехам же оставлять.

* * *

Мужик с бородкой открыл широко ворота. Мы вскочили в седла.

— Прощай, дядя!

— Спасибо за угощенье!

Зацокогали копыта. Отдохнувшие лошади вынесли нас в темную деревенскую улицу.

Заныли ворота.

— Дай вам бог, товарищи! — утонул сзади голос крестьянина.

— Живи!

* * *

По темным улицам бежали красногвардейцы. Из ворот выскакивали кавалеристы. Огни в домах гасли один за другим.

Матерщина путалась в топоте ног, в цокании копыт, в лязге оружия. Громыхая железом, по улице пронеслись двуколки.

На площади, около смутно белеющей в темноте церкви, переливалась черная толпа. В воздухе плавали красные огоньки цигарок. Вспышки спичек на мгновенье освещали красные лица и струящиеся жала штыков.

В сдержанном гуле всплывали выкрики. Красногвардейцы, перекликаясь, по голосам находили свои части. Услышав голос Перминова, мы тронули коней, пробираясь сквозь густую кричащую толпу красногвардейцев.

— Пермино-о-ов!

— Сюда-а! Сюда, товарищи!

Мы пробрались к своим.

— Эй, кто?

— Евдоха?

Из темноты вылетел спокойный голос военрука:

— Перминов! Проверить людей!

— Станови-и-ись!

Я отыскал свое место, рядом с телеграфистом и монахом. «Всех скорбящих» повернулся ко мне:

— Разведка вернулась. Идут сюда колоннами. Больше тысячи. Мы остаемся. Будет пехота отходить сначала.

— Куда?

— Дальше!

Закричал хриплый голос Акулова:

— Товарищи! Кавалерийский отряд остается прикрывать отступление. Первыми отступают обоз и пехота с пулеметами. Пехота — вались!

— Айда, пехота!

— Белохлыновцы, за мно-о-ой!

Мы поскакали обратно.

* * *

На околице остановились. Несколько человек поехали вперед и скоро исчезли в густой мгле. Мы слезли с коней. Яростный лай собак гремел во всех концах деревни. Неподалеку заскрипела калитка. Сердитый женский голос крикнул негромко:

— Фе-е-дор! Ай, боже мой!

В спокойном, темном небе мерцали далекие, печальные звезды. Черные тучи тащились в ззездных полях, затягивая небо мутной мглой. На юге мигали красные зарницы.

— Бой идет! — зашептал Волков.

И, подумав, добавил:

— А может, можар. Хотя, пожалуй, бой.

Группа красногвардейцев окружила Акулова. Кто-то сдавленным голосом спрашивает в темноте:

— А если бой дать?

— Какой тебе еще бой? Дали сегодня и молчи!

— А по-моему, можно. В темноте-то мы бы их посекли всех до одного. Узнай, сколько нас.

— Что ж, по-твоему, — захрипел Акулов, — без разведки чехи идут? Ну, разведку постегаем, да и то навряд. В темноте, браток, не больно настреляешь. А после?

И так как темнота молчала, Акулов сам ответил на свой вопрос:

— А после раздолбили бы артиллерией деревню в порошок.

— Это верно, — слышу я голос Евдохи, — ты тут попукаешь да и в дамки, а мужикам — разоренье. Правильная стратегия ведется. Голосую обоймя руками.

— Куда отступать будем?

— Куда-нибудь отступим! Места хватит!

Кто-то тяжело задышал в темноте.

— Что ж, товарищ Акулов, так и будем бегать, как зайцы?

— Ну, не беги... Тут не хочешь, да бежишь.

— Ну, и мы вкатили им невредно!

— Добро! И еще вкатим!

— Война уж больно занятная, — вмешался Волков, — пальнешь да драла. Неужто так и будем воевать?

— Ладно, — сказал Акулов, — пока там армию соберут — повоюем легонько. Главное время оттянуть. Попридержать надо чешню!

— Успеем?

— Потихоньку станем отходить — успеем. Ну, а зайцами — не успеть.

— Закурить бы!

— Курить нельзя! — сказал кочегар.

— В рукав бы, так и не увидят!

— Нельзя, браток! Потерпи.

— А что, товарищ Акулов?..

За деревней слабо хлопнул выстрел. Мы попятились назад.

— На коней!

Отряд взлетел в седла. С левого фланга затрусил на рысях военрук.

— Спокойно, товарищи! Не волноваться!

Впереди захлопали выстрелы. Затем мы уловили топот копыт. Возвращалась наша разведка.

— Аку-улов?

— Зде-есь! Зде-есь!

Из темноты вынырнули всадники.

— Идет, сучья отрава!

— Спокойнее, товарищи!

Военрук вздыбил коня:

— Справа по четыре. Правое плечо вперед. А-а-арш.

Отряд поплыл в темных, настороженных улицах, оставляя чехам Медынью без боя.

Глава XXIII

Ночь мы провели в лесу. А на рассвете двинулись стороной от большака к Пижеме.

Над черной и сонной землей светлело предрассветное небо. Белые туманы ползли в ложбинах. В деревнях пели петухи. Последние бледные звезды растворялись в белесом рассвете. На востоке, точно гигантская щель в другие миры, багровела утренняя заря. Поля выплывали из тьмы. День наступал, освещая нам дорогу.

Окруженные дозорами, мы пересекали степь, направляясь к синеющему вдали лесу. Бросив повода, я еду, прислушиваясь к разговору, завязавшемуся у Евдохи с Павловым.

— Немцы — удивительная нация, — говорит Евдоха, — немца я уважаю.

— И буржуев? — спрашивает Павлов.

— Какие буржуи? Я тебе про немцев говорю, а не про буржуев. Буржуев-то сколько их? Горсточка! А немцы — народ. Трудящиеся. Немцы — умственная нация. Ну, а всетаки — дураки они. Право слово, дураки. Карла Маркс из немцев приходится?

— Немец!

— Видишь! А мы берем его ученье для себя. Ты понимаешь, в чем загвоздка?

— Наш Ленин — не хуже Маркса. Тоже — голова.

— Да я не обижаю Ленина, а только Ленин-то от Маркса корень пустил. Но не в том вопрос, кто из них умственнее. Я про другое хочу сказать. Ленин практически, конечно. А Маркс больше по теории ударял. Но тут другое дело. Вот ты погляди. Маркс хотя и немец, а мы его берем с полным удовольствием. Подумай-ка, к чему клоню? Берем мы, а немцы боком идут от Маркса. Вот скажи мне: какой здесь смысл?

— У них, Евдоха, социал-демократы. Такие, тебе скажу, говоруны, что тесно человеку становится.

— Как я тебя пойму?

— Сказать проще: у буржуев на побегушках демократы эти. Все что хочешь обстряпать могут. Война так война. А надо, так публичный дом откроют.

— Ну, про демократов не знаю, — говорит Евдоха, — это впереди, а я про другое хочу сказать. Смотри ты: немец Маркса имеет? Имеет! По-немецкому разбираться может? Может. А что получается? Чего ж они, сукины дети, ворон ловят? Оружье сейчас у всего народа. Момент подходящий. Чтобы им тарарахнуть по буржуйчикам?

— Тарарахнут еще! Это недолго!

— Война кончится — не тарарахнешь. Тогда, брат, заставят колбасу сосать. Сейчас надо.

— Да сейчас, понятно, сподручнее! Против этого ничего не скажешь!

— Вот и понимай теперь. Народ хотя и умственный, а выходит, дурак... Эх, Сашуха, нам бы с Германией вместе... Красота была бы. Земля наша обильная, богатства несметные и сами не знаем всего. А тут бы еще немецкую культуру...

— Золотая жизнь была бы!

— А я что говорю? Ты смотри. Вдруг бы это нет у нас никаких границ с Германией, все русско-немецкое при Советах. Надо немцу на Кавказ — будьте любезны. Захотел я до Берлина — пожалуйте. Надо земли немцам — прошу, сколько влезет. Понаехали бы они с машинами, и пошла бы работа у нас. Конечно, мы крепко отстали от них. Но думаешь, не догнали бы? Вона лампочку электрическую взять. Говорят, Эдисон изобрел. Но сначала-то кто ее придумал? А придумал ее сначала Яблочков. Только ходу не дали ему. Как на баловство посмотрели. А Толстой наш? А ученые наши? Да ведь их, брат, во как ценят за границей. Выходит, не глупые мы, русские. А только придумает что-нибудь русский, а ему ни ходу, ни выходу. Плюют на него. Смотришь, продал изобретенье за границу, и пошло дело. Придет оно оттуда с непонятной надписью: «фуртыль-муртыль», а тут и рты все пораскроют: ай, как умственно! А это ж русское изобретенье, чтоб вам холера в бок...

— Я одного вот не пойму никак: который это умный человек и который дурак. Про себя скажу. Человек я не

образованный. Читаю еле-еле. Что если сказать, слов мне недостает, а где уж компания поприличнее, так молчать приходится. Осрамиться боюсь. Но все-таки я не дурак. Ты как думаешь?

— Какой же ты дурак?

— Ну вот. А на другого посмотри — он тебе и по французскому шпарит, и ногой шаркает, и все математики прошел, а к жизни не способен. Бывают такие.

— Сколь хочешь!

— И не то чтобы к жизни неспособен. Но дурак. Форменный идиот. Ну где же разница?

Вот тебе изобретение и образование. Я думаю так: не в образовании даже тут дело, а в другом закавыка. Я вот мальчишкой был, так веришь, — нет, настропалил скворца говорить «мерси» и «разрешите до ветру».

— И чисто говорил?

— Подходяще, в общем. Так и люди. Гляжу я на многих образованных, а в голове знай шевелится: вот, думаю, вытянет сейчас шею и скажет: «Разрешите до ветру». Смешно, а думаю.

— Приходят в голову мысли.

— На скворцов похожи многие. Хоть и нахватались они разного, а свой-то умишко узкий. Чуть побольше какая мысль придет в голову — неприятно. Потому больно ей — все одно, что ноге в малом сапоге.

— Ты сапожник, кажись?

— Да, я сапожник. Но не в том дело. Я тебе про немцев хочу докончить. Как ты понимаешь их? Умственная, потвоему, нация?

— Да, не глупая!

— Вот, видишь, а размаху нет. По-моему, что-то тут неладно у них с образованием... Вроде бы и хорошо, но вроде бы и худо.

— Не образованность, Евдоха, мешает, а, говорю тебе, социал-демократы!

— Так чего ж народ взашей их не гонит?

— Погонят! Подожди!

— Улита едет... Ну, а ты про американцев что скажешь?

— Сытый народ!

— Н-да, брат. Но я скажу, и там будет советская власть.

— Будет.

— А почему будет?

— Везде должна быть.

— Правильно. Но в Америке раньше всех будет. Я тебе скажу почему.

— Был, что ли, там?

— Хотя не был, но встречал человека, приехавшего оттуда. Все, говорит, хорошо, а только, говорит, уехать пришлось. Техника замучала. Видишь ты, американцы эти где надо и не надо машины приспособляют вместо человека. А как машину поставят — с фабрики тысячу долой. Дешевле машиной-то. Ну, и такие, брат, у них заводы, что сидит себе один сам хозяин, да и управляется со всем. Ну, может, дочка там поможет или супруга сменит, а рабочему, выходит, в кулак свисти. И я себе думаю так: куда ж рабочему податься? Милиены ведь. Ну и разобьют все.

— Это в два счета. Как ни крутись, а дальше советской власти не уйдешь. Это ты верно говоришь.

— А есть такой народ: албанцы, — сплевывает Евдоха. — Очень меня интересует ихняя жизнь.. Судя по всему — небольшой народ, а, видать, угнетенный со всех концов. А ведь хватило бы и для албанцев в Расеи... Не знаю я их, а почему-то жалко. Слово-то какое-то: албанцы?! Жалостливое слово!

— Про албанцев не слыхал. Итальянцы существуют. Это наверняка знаю. Персы еще есть в жарких странах. Турки проживают где-то...

— Большая планида наша! — вздыхает Евдоха. Нагнувшись, он подправляет путлище и говорит: — А ведь пошевели попробуй, так тебе и буржуя и пролетария в два счета представят. Ты как думаешь: мировая революция будет?

— Да должна бы быть!

— Не дождусь я ее, — говорит Евдоха, — а без мировой пропадем, смотри... Я вот сон видел замечательный. Сплю это я и вижу: все народы поднялись в одно — и немцы,

и американцы, и албанцы. И живем все дружно, как одна семья. И я работаю, и все работают. И нет ни войны, ни войска, ни границ, а народ ходит сытый, чисто одетый.

— Врешь! — кричит, наезжая, Волков. — Не видал ты этого сна.

— Хоть и вру. А тебе что за болезнь?

— Не может такого присниться!

— Думать начнешь — непременно приснится. Да ты, Волков, не суйся, куда не просят!

— Брехун ты большой! Не люблю я, когда брехать начинают.

— Не любо — не слушай, а врать не мешай. Я сон-то к чему рассказываю?.. Забота у меня появилась.

— Какая такая у тебя забота?

— Забота какая? А вот будет мировая революция? Прекрасно! А куда же мировую буржуазию девать? Ну-ка?

Конь Евдохи споткнулся.

— Ишь, черт! — захохотал Евдоха. — Аж кобыле икается с моих слов. Значит, не за горами дело.

— А ты ее куда бы дел?

— Я-то? А я уж придумал. Детей, безусловно, отобрать надо — это первое. И воспитать на трудящийся лад. Без фыков-брыков.

Выбросив ноги из стремян, Евдоха потягивается.

— А саму мировую буржуазию поставил бы я, братцы, на отработку. Пускай вину загладят перед народами. Работать бы заставил. Вот куда!

— Так тебе и согласятся буржуи!

— У меня согласились бы! У меня с ними разговор короткий. Шебаршить стали бы, так, будьте любезны, в ящик сыграть! Буржуй он кто? Буржуй есть самый презренный гад. Буржуя я за человека не считаю. Так... вонь одна. Ну, собрал бы я этих буржуев.

— Брось... Смотри, братва! Смотри, что делается!

Кочегар, привстав в стременах, махнул нагайкой в сторону дозоров.

— Тр-р-р...

Мы остановились.

По солнечной степи скакали к нам дозорные, размахивая нестерпимо сверкающими клинками.

— Чехи!

От колонны оторвался военрук. Пришпорив коня, он взбил желтое облако пыли и галопом помчался в сторону дозорных.

* * *

На гребне вала показались крохотные, точно игрушечные, фигурки. Они расходились вправо и влево, вытягиваясь в ровную цепь. Из-за вала вышла густая колонна и, дрогнув, расползлась серой, широкой лентой.

— Вон они! — закричал кто-то.

Волков закрутился на коне, поднял обвисшую нагайку.

— Гляди, братва, и с этой стороны!

Прямо на нас двигались уже развернутые цепи, с бегающими позади суетливыми фигурками. В облаках пыли вдали скакало несколько всадников.

Из-под ног рванулся ветер. Дым и пыль затянули горизонт желтой мглой.

— Еще, еще! — беспокойно завертел головой Агеев, указывая рукой на запад.

С холмов спускалась ровная цепь. Нас окружали с трех сторон.

— Набралось сколько! — выругался железнодорожник, горяча коня.

Мы стояли, точно парализованные, тараща глаза на чехов.

Вдруг кто-то закричал жутким, звенящим голосом:

— Командиры! Чего же вы смотрите?

В крике звенела смертная тоска. Так человек, тонущий на льдине пустынной реки, кричит, погружаясь в ледяную воду. Над головами засвистела шрапнель.

— Дз-а-ан!

Мы бросились бежать Взметая пыль, помчались грохочущие двуколки. Красногвардейцы, встав во весь рост, яростно нахлестывали лошадей вожжами.

— Д-з-з-з-у! Ба-а-анг!

Разбрасывая глыбы земли и глины, впереди взорвалась граната.

Толкаясь, сшибая друг друга, пехота беспорядочной толпой побежала к лесу, на ходу заряжая винтовки.

— Ж-ж-ж...

— Ба-а-анг!

Наперерез бегущей пехоте помчался Акулов.

— Стой!

Дыбя коня, он орал, матерился, пытаясь остановить бегущих. Бешеная пена хлестала у него изо рта, тяжелые, налитые кровью глаза бесновались в орбитах. Потрясая маузером, он клонился с коня, бил маузером бегущих.

— Банда!.. Перестреляю!..

Бледные, запыхавшиеся красногвардейцы остановились. Не глядя на затворы, они засовывали торопливыми руками обоймы и не целясь, быстро, спеша и волнуясь, стреляли в молчаливо наступающие цепи. Матерщинничая, побежали куда-то вбок пулеметчики, волоча за собой подпрыгивающий на буграх пулемет.

Мордастый красногвардеец остановился перед моим конем, широко расставил ноги и, уперев приклад в живот, начал палить, не глядя, в сторону чехов. К нему подбежал худенький мальчишка в фуражке, перевернутой козырьком назад. Упав на колени, мальчишка суетливо выпустил несколько патронов, осматриваясь после каждого выстрела беспокойными глазами по сторонам.

— Ж-ж-ж-ж!

— Ба-а-а-нг! Тю-и-и-и-и!

Шрапнель со свистом пронеслась над головами.

— О-о-о! — захрипел кто-то рядом.

— Ж-ж-ж!

Заглушая стрельбу, плачущий голос закричал:

— Командиры! Чего на открытом месте?..

Крик потонул в железном грохоте взрыва. Тогда, не выдержав, отряд побежал.

— Наз-а-ад! — захрипел, надсаживаясь, Акулов. Но голос покрыл дикий рев и матерщина. Угрожающе вскинув штыки, красногвардейцы побежали к лесу.

— Ж-ж-ж!

— Ба-а-а-нг!

Мы повернули коней. Военрук вылетел вперед, пустил лошадь в карьер. Облако желтой пыли скрыло его.

— Эх, сволочь! Первый и наутек.

Горькая обида сжала сердце. Перекинув винтовку, я врезал коня нагайкой между ушей.

— Вот тебе и офицер! Зимний брал?! Сволота!

Амба рванулась вперед. Я привстал в стременах.

Проскакав сквозь тучу пыли, я увидел перед собой жеребца военрука. Краузе, намотав на руку поводья, стоял, спокойно стягивая с ноги сапог. Подхватив сапог рукой, он перевернул его и, стуча пальцем по подошве, качал головой.

Мы в недоумении остановились.

— Дрянь подметка! — крикнул военрук.

— Ж-ж-ж-ж!

— Ба-а-ан-нг!

— Сарапульская работа! — покачал головой военрук, не повернув даже головы в сторону взрыва. Затем, взглянув на нас, поднял сапог вверх. — Ну, что ж! Залпиков пять дадим? Зря не палить! Целиться лучше!

— Ж-ж-ж-ж!..

— Ба-а-а-нг!

— Построиться! — крикнул военрук, прыгая на одной ноге, натягивая сапог.

Ничего не понимая, я повернул коня.

— По наступающему противнику! Пальба-а-а!

Скучный, будничный голос военрука превратил все в скучное полевое учение. На одно мгновенье мне показалось: нет чехов и ничего нет и мы никуда не уезжали и ничего еще не было.

— Отрря-ядом! — лающим голосом крикнул военрук.

С ветром пролетел стук дружно лязгнувших затворов.

— Отр-р-я-я-яд!

Намотав поводья на руки, мы точно на ученье, быстро вскинули винтовки, втиснули приклады в плечи и, приподнявшись в стременах, подались вперед.

Поймав сквозь прорезь прицела кучку фигурок на мушку, я нащупал пальцем спуск.

Прошла целая вечность. Винтовка начала дрожать. Фигурки сползли с мушки в сторону. Краузе молчал. В рядах завозились.

— Пли!

Лошади рванулись под нами, замотали головами.

Дружный залп разодрал воздух. Фигурки полетели на землю.

— Отр-я-я-яд! — зазвенел голос Краузе.

Мы действовали теперь, как машина, и от этой мысли стало весело.

— Пли!

Цепи легли, отряд загалдел.

— Ага-а!

— Не пьешь?..

— Ложишься?..

— Не любишь, гад?..

Покрывая звонким голосом галдеж, Краузе крикнул:

— Смирно-о! Отря-я-яд!

Мы вскинули винтовки.

— Пли!

Чехи начали стрелять. Повернув коней, мы поскакали к лесу.

* * *

На опушке леса красногвардейцы уже окапывались. Мокрые и раскрасневшиеся, они лихорадочно работали лопатками, выбрасывая серые комья земли, зарываясь в землю, точно кроты. Нас встретили беспокойные, но уже смеющиеся лица.

— Слезай, которые саперы.

— Ну и бегуны, — закричал Евдоха, — вас на коне не обгонишь. Как штаны? Не заржавели?

— Свои перемени сходи! Вон в тех кустиках!

— Твои пущай насушатся там!

Лес стоял тихий, нагретый, пахучий и словно млел в потоке солнечных лучей; вверху лениво шевелились зеленые

своды, из глубин тянуло запахом смолы. Всюду слышались шорохи и веселое пение птиц. Огромные сосны, точно выкованные из меди, подымались вокруг. Кони шли по мягкой хвое. Сучья тянулись с боков, царапая лица.

Навстречу нам бежал Акулов.

— Коней ставь в овраг! Двадцать человек в коновязях. Остальным на линию. Краузе, наряди тыловой дозор. Скорей!

Смотреть на Акулова было неприятно. Своим возбужденным видом, губами, обрызганными пеной, и хриплым криком он раздражал. Хотелось закрыть ему лицо платком, связать по рукам и ногам и положить в сторонку. Я почувствовал, как во мне поднимается ненависть к этому человеку. И когда Акулов побежал обратно, я ощутил легкость.

— Пробка командир! — сказал кочегар, прыгнув с коня.

* * *

Зарываясь в землю, мы видим надвигающиеся цепи. Они спускаются в балку. Когда они появятся на этом краю, между нами ляжет полкилометра степи.

— Товарищи! — слышен голос Краузе сзади.

Мы повертываемся к нему.

— Товарищи! Будете бежать — перебью! Драться до последнего патрона. Целиться спокойнее. Патроны положить перед собой. Гранаты с запалами — с правой стороны. Стрелять по свистку. Кто выстрелит раньше — пристрелю.

* * *

Мы лежим, пять сотен мужчин: слесаря, фрезеровщики, литейщики, модельщики, портные, железнодорожники, телеграфисты, строгальщики, формовщики, сапожники, металлисты, мотовилихинские токаря, деповские рабочие из Перми. Среди нас лежат, стиснув винтовки, солдаты бывшей царской армии, забывшие свое ремесло, несколько крестьян и несуразный приблудный монах.

Рядом со мной — по правую руку вытянулся Евдоха, с левой стороны — кочегар, подальше копошится «Всех скорбящих». Я вытягиваю шею, стараясь увидеть отца, но, вспомнив, что он остался сзади, у коней, подаюсь назад.

Степь перед нами пуста. Чехи в балке. Я кусаю зубами былинку. Прелый запах земли входит в ноздри. Я слышу, как неподалеку кто-то шепчется. Над головами свистят птицы. Кажется, долгий день тянется с тех пор, как мы заставили чехов стрелять, но, я знаю, прошло не более десяти минут. Хочется пить. Вспоминается почему-то дворничиха, разговаривающая по-немецки, и странное чужое слово: «шлафкамер»...

Ну вот теперь я большой. У меня винтовка и гранаты. Сейчас вылезут чехи. Только не надо торопиться. И все будет хорошо.

В голову толкается образ командира белохлыновского отряда. Я его не видел сегодня, но мне почему-то кажется, что серьги его трясутся где-то справа от меня. Я стараюсь востановить в памяти его лицо, но оно расплывается, растекается, как вода между пальцев.

Справа и слева начинают шевелиться.

— Идут! — сдавленным шепотом говорит кочегар.

На кромке балки выросли черные головы, затем поднялась цепь и побежала к нам, пригибаясь к земле. Боясь нечаянно выстрелить, я вынимаю руку из спусковой скобы и кладу на прицельную колодку, ощущая под горячей ладонью острые углы и холодок стали. За первой цепью над краем балки поднялась вторая цепь. От волнения по телу пробегает дрожь, я грызу ногти и до ряби в глазах смотрю на чехов. Сердце неистово колотится в груди. По спине ползут мурашки.

Уже не более трехсот шагов разделяет нас. Я вижу головы и руки, вижу сверканье на солнце штыков. От чехов к нам ползет синяя тень. Ветер доносит до слуха отрывистые слова команды. Я грызу яростно ногти. Мне хочется пить. Мне кажется: горло покрыто слоем соли.

Мы начинаем оглядываться. Военрук стоит, привалившись спиной к сосне, осыпанный желтыми иглами. Он колючими глазами смотрит в степь. Под кожей щек медленно двигаются желваки. В опущенной руке сверкает никелем свисток. Встречая наши взгляды, военрук мотает головой:

— Лежа-ать!

Меня от волнения трясет. Я кусаю губы. Я не могу выдержать. Я сейчас буду стрелять. В этот момент я слышу за спиной свистящий шопот:

— ...ю...ю...а-ю-щ-щему... Ого-онь!

Короткий толчок в плечо.

Рядом грохнуло, затрещало, точно отодрали доски от забора. Сверху посыпались ветки. Захлебываясь, застучали пулеметы.

Выпустив обойму, я начал было заряжать, не спуская с глаз припадающие к земле цепи чехов. Кто-то меня толкнул в бок. Мимо моего носа поехал штык.

Я оглянулся.

Сзади меня лежал усатый красногвардеец с забинтованной головой, протягивая винтовку.

— Стреляй, я заряжать буду! — крикнул усатый.

Рядом с ним другой раненый вталкивал здоровой рукой обойму в магазинную коробку. Этот, очевидно, «работал» на Евдоху.

...Чехи падают. Смыкаются на ходу, вскочив, бегут, согнувшись до земли. Над нашими головами метет пулями. Нас отделяет не более ста шагов.

Ветер кидает в лицо ошалелый вой.

Выбросив штыки вперед, чехи с криком бросились на нас. Но, точно под сильным ветром, цепь закачалась, закрутила и, осыпая фигурами, внезапно поредев, упала.

Толкая обойму в магазинную коробку, я вижу: чехи пятят назад.

Цепь легла, степь закипела под лопатками.

В небо взлетела ракета. Одна. Другая. Третья.

— Эх, дьявол, — слышу тоскливый голос Волкова, — артиллерию зовут.

* * *

Слышны глухие, сверлящие воздух звуки.

— Ж-ж-ж-ж!

Прижимаю нос к холодной земле.

— О-о-ох!

Оглушительный взрыв сбоку.

— Дз-з-а-а-ан!

Осколки со свистом летят над головами. Кто-то дико закричал и смолк.

Земля задрожала. Железный грохот ударил в уши. Затем с треском и гулом ухнуло наземь дерево. Начался артиллерийский обстрел. Воздух наполнился скрежетом, воем, шипеньем, грохотанием полосового железа. Взрывы — один за другим! Опушка леса превращается в грохочущий ад. Впереди, сзади, по сторонам — сплошное огненное море, взлетающие столбы земли. Густой, едкий дым заволакивает воздух. Отдельных взрывов уже не слышно. Все сливается в потрясающий рев. Земля дрожит, трясется, гудит. Снаряды корежат лес. Сыплются комья земли, щепы, сучья, свистят осколки.

Я закрываю голову руками, жмусь к земле, царапаю ее ногтями. Мне кажется, что я открыт со всех сторон. Хочется зарыться в землю, уйти глубже, забраться в нору. В рот лезут травы; на зубах скрипит песчаник. Лязг и грохот обваливающегося железа усиливается. Горячее дыхание опахивает шею и руки.

Я теряю всякое представление о времени. Голова отяжелела. Глубокое безразличие охватывает меня. Опустошенный, я лежу, прислушиваясь к звону в ушах.

— И-и-и-и! — звенит на одной, высокой ноте.

Я сжимаю зубы. Звон прекращается. Открываю рот, и в уши снова вползает:

— Ии-ии!

Я пробую еще раз. Потом начинаю тихонько визжать, стараясь попасть в ноту звона. Но горло совсем пустое. Я чувствую, что тело мое пропало. Сколько времени продолжается обстрел, я не знаю. Я даже перестаю слышать грохот. Я растворяюсь в нем.

В голове — ни одной мысли.

* * *

Внезапно обстрел прекращается. От наступившей тишины больно ушам. Отупевший, я поднимаю тяжелую голову. Рядом поднимается голова Евдохи.

— Ага-а? Мы живы еще?



Усатый красногвардеец лежит, ткнувшись головой в землю, молча подтягивая под себя ноги, вздрагивая телом. На вытянутой руке медленно шевелятся пальцы.

Матерясь и стеная, приподнялся грузчик Кульник. Охватив руками сосну, он дернулся телом вперед. Его начало рвать кровью. Лес наполнился стоном и матерщиной. Кочегар поднял от земли серое лицо. Наши глаза встретились.

— Вот гады! — крикнул кочегар. Вытащив из-под себя винтовку, он перевернул ее, сбрасывая с затвора землю.

— Встают! — закричал «Всех скорбящих».

* * *

Вой разрывает тишину. Я вижу цепи чехов. С винтовками наперевес они бегут на нас, громко крича. Сзади — свисток.

Лес ожил.

Лихорадочно застучали пулеметы, затрещали винтовочные выстрелы.

— Ага-а? Мы живы?

Злоба наливает меня до краев. Я поднимаю винтовку, стреляю, целясь в кучки атакующих. Внезапно Евдоха вскакивает. Выкинув левую руку вперед и раскорячившись, он подпрыгивает. К чехам летит граната.

Я хватаюсь за гранаты.

Одна.

Две.

Немецкая, ребрастая.

Кориц, гладкая бутылка.

Вскочив, кидаю гранаты. Падая на землю, лихорадочно хватаю винтовку, но тотчас же в голове проносится мысль: «Не заряжена! Не успеть!»

Тогда я снова хватаю гранаты. Чехи уже близко. Вот, вот. Сейчас, сейчас. Я тороплюсь. Скорей! Успеть бы! Я зацепляю крючком за ушко терки. Скорей! Ах, черт! Вскочив, рву левой рукой терку. Размахнувшись, с силой бросаю вперед. Падаю.

Шарю руками. Хватаю бутылку Корица. Кольцо? Здесь! Вскакиваю, верчу бутылку над головой. Бросаю.

Пулеметы захлебываются, заглушая винтовочную частую стрельбу.

Я чувствую: кто-то бежит за моей спиной. Глянув боком, вижу военрука. Он падает рядом со «Всех скорбящих», кричит ему что-то, берет его винтовку. «Всех скорбящих», поднявшись, бежит, согнувшись в три погибели, поддерживая шашку рукой! Куда он?

Чехи, падая, смыкаются на бегу.

Уже не более пятидесяти шагов. Внезапно справа и слева вскакивает наша цепь.

— Ур-р-р-ра!

С молниеносной быстротой я хватаю гранату, подкидываю ее в правой руке.

Волоча винтовку за ремень, кидаюсь вместе со всеми вперед.

Подпрыгнув, бросаю гранату.

— Ур-р-р-ра!

Шашка путается в ногах. Я откидываю ее назад. В голове проносится молнией тоскливая мысль:

«Без штыка винтовка!»

Я перевертываю винтовку прикладом вверх.

Прямо на меня бежит приземистый чех, выкатив оловянные страшные глаза. Белые, точно приклеенные усы вздернуты над широко раскрытым ртом.

Вот. Вот.

Я хочу отпрыгнуть в сторону, но меня плотно сжимают с боков.

«Ударить по винтовке!» — вихрем проносится мысль.

Чех спотыкается. Я налетаю на него. Со всего размаха бью плашмя прикладом по голове. Чех падает на карачки, мотает головой. Фуражка с кожаными ремешками летит на землю. Перевернув винтовку, я ударяю его по голове острым углом. В лицо брызжут горячие капли. Я хватаю его винтовку. Бросаюсь вперед. Все смешалось в кучу. Красногвардейцы, матюгаясь в бога, в веру и мать, остервенело дробят черепа, рвут чехов штыками в клочья.

— Бра-атв-а-а-а!

— Жмара-ай!

Лязг штыков, крики, тяжкое дыханье, стон. Глаза наполняются кровавым туманом. Сквозь туман вижу лысьвенско-

го молотобойца Мельникова. Окровавленный, без фуражки, он отбивается винтовкой, точно дубиной, от двух высоких чехов. Я подскакиваю сбоку. Со всей силой бью штыком в неожиданно мягкое тело.

* * *

Чехи дрогнули. Я слышу сзади крик. Повертываюсь.

Из леса бегут с лошадьми отрядники. Вижу отца. Он тянет за собой трех коней. Бежит, вытягивая шею, шаря глазами по степи.

Сбросив штык, я перекидываю винтовку за плечи. Бегу к лошадям. Мои глаза встречаются с тревожными глазами отца. По лицу у него размазана кровь. Увидев меня, отец радостно дергает бровями. Бежит, спотыкаясь, ко мне.

— Жив, жив! — кричу я.

— Бери коня! — Бросив поводья Амбы, он прикладывает ладони ко рту. — Евдо-оха-а-а!

Запыхавшийся Павлов подбегает к отцу.

— Разберемся после! Давай! Давай!

И вскакивает на коня Евдохи.

Наша пехота обстреливает чехов. Они отходят расстроенными рядами, рассеиваясь по степи.

Мы быстро выстраиваемся лавой.

— Где тебя угораздило? — спрашиваю я у отца.

— Осколком! Сашу убило!

Впереди захрипел голос Акулова:

— Шашки во-о-он! В атаку, марш-марш!

Выдрав из ножен клинки, мы пускаем коней.

* * *

Конь стелется по земле. Я слышу, как играет у коня селезенка. Храп других коней настигает с боков. Навстречу летят пули, противно визжа над ухом.

— Ур-ра-а-а!

С гиканьем и воем мы летим к убегающим в беспорядке чехам. Кони храпят, жмутся, прерывистое дыханье несется вместе с нами. Дикая злоба подкатывается к горлу.

— А-а-а-а!

С коня через голову летит, растопырив руки, Желнин.

— Эх, вдарю!

Чехи сбиваются в кучу, образуя каре. Но уже правый наш фланг врезается с воем в каре: мнет, рубит чехов, топчет конями.

Голова работает с необыкновенной ясностью. Все кажется каким-то особенным. Стеклянным. Прозрачным. Я замечаю бегущего к балке высокого чеха. Раньше чем успеваю подумать, направляю коня за ним. Слышу тяжелый храп коней с правой и с левой стороны. Чех неожиданно выскакивает перед конем. Я опускаю клинок. Тупой удар отдается в руке: чех закрыл голову винтовкой. Конь взлетает свечкой. Рванув повод, я круто заворачиваю коня, кидаю его обратно. Чех снова поднимает винтовку. Упав на бок, я бью его клинком по руке. Бросив винтовку, он поднимает одну руку вверх. Перед глазами мелькает охваченное смертельной тоской лицо. Испуганный взгляд умоляет... Я с силою опускаю клинок. Чех падает под ноги коня.

— Навоевался?

Злоба распирает меня. Жалости к зарубленному нет.

— Царя налаживал? Из орудий долбил? Землю зубами заставлял грызть? Нахватался?

* * *

Чехи прыгают в балку, точно лягушки. Мы скачем вдоль рва. Снизу градом летят пули.

Бой кончен. Из оврага чеха не выковырять.

Мы повертываем коней. Скачем обратно. Около десятка лошадей — на поводу. Притороченные к седлам, молчат убитые товарищи.

Над головами гнусаво визжит шрапнель.

* * *

Полдень.

Чехи остались за балкой. Кажется, у них пропала охота к наступлению. Над степью висит звенящая тишина. Жгучее солнце палит немилосердно.

Мы скачем мимо трупов.

Глава XXIV

В лесу так тихо, что можно слышать, как падают ветки. Обливаясь потом, мы копаем братскую могилу, углубляя шанцевыми лопатками две больших воронки. Отец складывает на груди деревянные руки Саши и, качая головой, бормочет:

— Эх, Сашуха, Сашуха!

Потери большие. Около сотни красногвардейцев разорваны снарядами в куски. Много тяжелораненых и почти у всех легкие ранения. Неожиданно для себя я вижу рваную рану на запястье правой руки. Когда ранило? Чем? Этого не могу припомнить. Я накладываю на руку индивидуальный пакет. Волков помогает мне затянуть его.

Мы складываем убитых в братскую могилу. Сверху белохлыновцы кладут растерзанное тело своего командира с серьгами в ушах. Мы засыпаем окровавленную кучу тел землей. На могилу тихо падают шишки. Сосны шумят глухо, тревожно.

— Крест бы поставить... с надписью! — говорит бородатый красногвардеец.

Мы переглядываемся.

Павлов поднимает с земли винтовку с разбитым прикладом, втыкает штыком в могилу, затем берет фуражку в пятнах крови и вешает ее сверху.

— Спите, орлы боевые! — тихо говорит Павлов и опускает голову на грудь.

Тогда из тесных рядов выходит человек десять красногвардейцев. Отцепив с груди и фуражек красные банты, они осторожно кладут их на свежевзрыхленную землю.

* * *

Прыгая по корням, раскачиваются и скрипят двуколки, хлопают ременные кнуты.

Раненые стонут, приподнимают головы. Хватаясь за края двуколок, вытягивают шеи:

— Куда же теперь?..

Два фельдшера с повязками красного креста бегают вокруг двуколок, заставляя раненых лежать.

— Лежи, лежи! Недалеко уже!

Что недалеко? Где это недалеко? Кто знает об этом?

Продираемся сквозь лес. Закатное солнце сквозит багрянцем в просветах деревьев. Густая чаща леса темна и прохладна. Поваленные буреломом сосны преграждают наш путь. Мы обходим их. Скрипучий, однообразный визг двуколок нагоняет тоску.

Сгорбившись, идут красногвардейцы, скользя и падая, спотыкаясь о корневища, проваливаясь во мшаник. Винтовки с опущенными вниз штыками прилипают к серым широким спинам. Бренчат котелки и чайники, под ногами оглушительно хрустят сухие ветки. Красногвардейцы смотрят вниз.

— Кха! — кряхтит Евдоха.

Сучья царапают лица. Кони, вздернув уши, храпят. Проваливаясь в ямы, вздрагивают, кидаются в стороны.

Мы идем за военруком. Он ведет нас по карте и компасу. Сунув руку в карман, я чувствую, как пальцы мои погружаются во что-то мягкое. Я вынимаю холодную шаньгу и начинаю жевать ее.

— Шамаешь? — спрашивает Евдоха.

— Шаньги!

— А-а!

Он шарит по карманам и, вытянув шаньгу, отправляет ее в рот.

— Вкусная! — говорит Евдоха. — У нас таких не пекут. А бабы — правильные.

И неожиданно спрашивает:

— Боялся?

Я не знаю, что ответить Евдохе.

— А я боялся! — говорит он, не дождавшись ответа. — Особенно палили когда! Ну ж... голова даже кругом... Думал, конец приходит. А потом и бояться некогда. Все как есть вышибло. Лежу и не знаю: мертвый я, живой ли. Все смешалось.

— Долбили крепко! — кряхтит Волков. — Этак и немцы не часто лупили.

— Выходит, стало быть, хорошо покрестили?

— Куда лучше! — хмыкает Волков. — Тут даже похлеще немецкого.

— Похлеще? — почему-то радуется Евдоха.

— Похлеще! А главное — ни блиндажей тебе, ни куда укрыться. В блиндаже оно не... страшно.

— Ну, а интересно, — спрашивает Евдоха, — вот ты, как старый солдат: можно впоследствии привыкнуть или как?

Волков некоторое время молчит, как бы обдумывая ответ.

— Что ж... Привыкнуть ко всему можно, хотя навряд... К этому не привыкнешь, пожалуй... но такая практика — пустое. Оно тебя глушит, глушит и ни черта. Тупеешь вроде. А вот с протяжкой долбят — то похуже будет!

— Что это с протяжкой?

— А не сразу когда! Примерно, долбанут раз пяток и — перерыв. Ты только очухаешься. Опять. Долбанут и снова тихо. В себя придешь — опять. Замучают вот так-то. Нос высунуть боишься. Лежишь, будто дурак, и ждешь! А главное, не знаешь: не то перестал он, не то передышку дает. Бывало, как зарядит на целый день, так всю тебе душу вымотает.

— А по мне, — говорит Евдоха, — уж лучше бы поменьше, да не враз.

— Не испытал, потому и говоришь! Вот попробуешь, тогда припомнишь Волкова.

— А ты боялся сегодня?

— А чего ж мне не бояться? Больной был бы, так безусловно... Ты, браток, не верь, если услышишь, что не боится человек. Непременно хвастает. Потому — умирать никому не охота.

— Удивляюсь я, — говорит Евдоха, — ведь ты-то знал, на что идешь? От немцев испытал? А ведь пошел! Как же мне понять тебя, как не героя?

— Дура баба! А ты что ж? Домой теперь пойдешь?

— Как это домой?

— Да раз испытал?! Выходит, баста? Отвоевался?

— Я — другое дело! Я сам себе все знаю!

— Ну, и я другое дело! Сейчас, брат, по банку идет игра! В крупную играем! Тут о голове некогда думать!

— А боишься ведь?

— Мало что? Все люди должны бояться. А эти, думаешь, без боязни шли? Все боятся! Но, положим, на тебя медведь насел? Тут хоть бойся, не бойся, — а царапайся, отбивайся. На войне бояться не зазорно. Голову не надо терять, — вот вопрос. А голову потеряешь — пропал!

— Выходит, бежи?

— Бояться про себя надо. В душе! А лучше — не верить, что убьют тебя!

— Это верно, — соглашается Евдоха, — только заставишь-то как!

— Человеку всегда хочется в хорошее верить! Тут и заставлять не надо. Однако со временем не так страшно. Хоть и боишься, но ничего. Вспоминать только не надо, потому самый страх — не в бою приходит, а после.

Папоротник шуршит под ногами. Кругом шумят скрипучие сосны. Колючий шиповник заставляет коней шарахаться в сторону.

— Н-но, балуй, черт!

В лесу темнеет. Передние ряды останавливаются.

— Что встали?

— Эй, что там?

Вася скачет вперед.

— Опять чехи?

Раненые беспокойно смотрят на нас:

— Настигли?

— Настигли бы, так стреляли!

На всякий случай снимаем винтовки.

— Привал! — кричит скачущий обратно Вася. — Ночевать будем.

* * *

Ночь.

На лесной поляне пасутся кони. Павлов ковыряет штыком банку с консервами.

— От дьявол, крепкая какая!

Волков курит в рукав, равнодушно наблюдая за работой Павлова.

— Ты протыкай ее вкруговую, — советует Волков, — а так все одно не отодрать. Руки попортишь!

К нам подходит отец.

— Питаются! — кивает он головой в сторону коней. — А какая сила в таком корме?

— Ты бы овсом покормил своего!

— То-то, что овсом! А коня жалко! Чего он нащиплет?

— Ниче-его! Завтра подкормятся!

— Где ж ты завтра будешь?

— Да уж где-нибудь да будем! Не в лесу же отсиживаться?

— То-то, что не в лесу. А я тебе скажу: здешним лесам конца-краю нет. На тысячи верст — дерево. Когда еще выйдем?

— Завтра не выйдем — так не то что кони... самим нечего будет жрать!

— Консервами попитаемся!

— Попитаешься! Консервы, брат, того... Наповал! И двуколок не осталось. Такой, брат, суп сварганили чехи, что и ложек не надо.

По лесу бродят красногвардейцы. Треск сучьев наполняет лесную тишину до краев. С ворохами веток красногвардейцы возвращаются к поляне.

— Эх, и поспим! Все одно, что в гостях у тещи!

— Ну-ка, сторонись! Дай дорогу пуховикам.

— Мать честная! Простыни-то не захватили!

Красногвардейцы, шутя и смеясь, укладываются на мягких еловых лапах. Веселый голос в темноте говорит:

— Самое это разлюбезное дело на свежем воздухе спать. Мне это доктор завсегда, бывало, укоряет: вам бы, говорит, Иван Сергеич, на свежем воздухе спать, так все бы ваши нервы прошли!

— Ты что ж? Нервный, выходит?

— А как по-твоему: полагается рабочему нервы иметь? Я на этот счет ненадежный! К примеру, увижу борщ, так меня трясти начинает. Нервная слюна к зубам подступает.

— У нас Воронцов такой же!

— Ну, Воронцов, тот больше на баб нервный!

— Эй, Воронцов!

Сдержанный смех обрывает резкий окрик:

— Эй вы, жеребцы! Чего еще там?

Красногвардейцы начинают шептаться:

— А ведь баба согрела бы. Это уж как водится!

— Грели тебя чехи? Мало, что ли?

— Н-да, брат... Парили изрядно!

— Смотри ты: чех, чех, а храбрый, сволочь. Мить, ты спишь?

— Не...

— Чеха-то как мы с тобой? А?

— Ловкий, дьявол!

— Н-да!.. Я ведь в него раз пяток ткнул, а он, стерва, поведет штыком и — мимо.

— Теперь не поводит.

— Н-да... Теперь уж ему не поводить. Ну, однако, слабый народ. Чуть-чуть поцарапались и наутек.

— Так они же устамши. Пока до нас бежали, всю силу стратили. Это тоже надо понимать.

— Но много их больше было!

— Я ж говорю, устамши они. Хоть и больше, а устамши. И опять же не все штыки приняли. Которые сразу же повернули спину.

— О чем разговор нашли, — ворчит кочегар, — спали бы, мерины, да другим дали сон.

Разговоры стихают.

Глава XXV

Проснувшись, я с удивлением гляжу на звезды, просвечивающие сквозь темные ветви. Глухой, тревожный шум ночного леса нарастает в чаще, поднимается вверх и, овевая лицо холодом, уходит, шурша, в чащу. Земля, покрытая красногвардейцами, храпит, стонет, бредит. Неподалеку от меня кто-то шепчется. С биением сердца я прислушиваюсь.

— ...глупости, Акулов! Глупости! Ты сам прекрасно понимаешь, как все это глупо!

Я с облегчением вздыхаю:

«Свои... Военрук!»

— Для ведения войны — нужна армия. Отряды — паллиатив. Ты сам теперь можешь убедиться, кто из нас прав.

— Шу-шу-шу-ш!

— Оставь, пожалуйста! Без штаба и без единого руководства, без правильного питания огнеприпасами, фуражом и прочим — воевать нельзя. Нужна армия, нужны опытные командиры, нужна военная организация. Иначе нельзя победить. Можно драться храбро, можно бить противника три раза в день и все-таки в конечном результате — нас побьют.

— Шу-шу-ш-ш-ш!

— И все-таки мы бежим. Мы не можем не бежать. У нас нет тыла, нет фронта, нет флангов — ни черта нет. Мы похожи на кота в мешке, который и рад бы запустить в когонибудь когти, но...

— Ты знаешь, что за эти два дня произошло? Может быть, мы уже в тылу у неприятеля? Да это и не может быть. В этом ни я, ни ты не уверены. Где наши отряды?

— А кто стрелял? Ты знаешь? Нельзя, Акулов, так... нельзя! Я знаю, ты ненавидишь старую армию, как ненавидит ее большинство красногвардейцев, но будь тогда логичным до конца. Брось винтовки и пулеметы и ступай в наступление с кочергой. Пулеметы же — это старое...

Я сейчас дезориентирован. Я чувствую себя отвратительно... Приехали, постреляли и побежали. Что? Зачем? Почему?.. Глупо! Очень глупо!

— Ш-ш-шу-шу!

— Тебе рекомендую смотреть за собой. Ты — плохой командир. Очень много суетишься, кричишь и слишком часто угрожаешь револьвером. Командир должен быть спокойным, хладнокровным и ровным. Как бы ни было плохо, ты должен сохранять равновесие. Ты не обижайся. Я по-товарищески говорю. А если ты заметил мои недостатки, скажи мне. Я не обидчивый!

— Ш-ш-шу-шу!

— Прекрасно!

— Всему должна быть мера. Они не обстреляны. Обучены плохо. Дисциплина у нас... средняя. Но самое главное и что упустили мы, так это — боевое воспитание красногвардейцев. Уметь владеть клинком и пулеметом — это еше не все. Надо учить бойца многому другому.

— Ш-шу-ш-шу-шу-шу!

— Завтра поговорим.

— Ш-шу-шу-шу-ш-ш!

— Идем, проверим! Да надо будет поспать немного.

* * *

Сильный дождь поднимает отряд на рассвете. Ругаясь, красногвардейцы бегут по лесу, волоча шинели, лезут под густые шатры елей.

— А раненые? Товарищи, так же нельзя.

Мы бросаемся к двуколкам, тащим их под деревья. Несколько красногвардейцев натягивают сверху полотнища палаток.

— Теперь не замочит вас!

Румяный фельдшер Кононов достает из двуколки зонтик, и, распустив зонт, он с важным видом сует ноги в калоши. Дружный хохот красногвардейцев заставляет фельдшера нахмуриться. Он щурит заплывшие глаза и выпячивает нижнюю губу:

— Ну? Заржали, спирохеты бледные? Заржали, гонококки? Зонта не видали? Дубье! Черти!

— Но, ты... интеллегенция немаканная! Разошелся?! И посмеяться нельзя!

Фельдшер трясет зонтом над головой:

— Молчи, объект для политани!

Фельдшер Кононов человек неплохой. Но стоит ему заметить, что над ним смеются, как он вспыхивает и начинает ругаться.

Он лезет из кожи вон, чтобы заслужить наше уважение. Он ругает профессоров и врачей, рассказывает нам о каких-то тяжелых больных, которых он вылечил и которых отказались лечить доктора. Но мы не верим фельдшеру и труним над ним. Некоторые красногвардейцы с невинным видом спрашивают Кононова:

— Фельдшер? — Это что же, вроде старшего санитара или еще выше?

Кононов вытягивает руку, стучит согнутым пальцем по лбу красногвардейца:

— Микроб! Как ты думаешь? Министр это старше повара?

Смешное в человеке легко заметить. Слабость фельдшера мы раскусили в первые же дни. И после того как Кононов повесил на теплушке дощечку с надписью: «Главный врач отряда А. С. Кононов, прием в любые часы», мы пользовались всяким пустяковым случаем, чтобы пощекотать его самолюбие.

— Бросьте, товарищ доктор! — мигает Русаков. — С необразованными свяжетесь — сами необразованными будете. Это известные бузотеры!

— Да нет! — смягчается фельдшер. — Зонтиком пользуются культурные народы, а этим, — он презрительно вытягивает голову в сторону смеявшихся, — смешно сдуру! Одно слово — микробы!

Дождь прекращается. Выходит на поляну Акулов:

— Станови-и-ись!

Мы застегиваемся, приводим себя в порядок. Фельдшер, высоко подняв зонт над головой, идет через поляну и важно говорит Акулову:

— Я скажу, когда можно идти. Сейчас мы будем делать перевязки.

Он свертывает зонт, вытягивает живот и кричит:

— Товарищ Колычев! Прошу приступить!

Колычев — второй фельдшер отряда, молча вынимает из двуколки брезентовую рыжую сумку с красным крестом. Мы обступаем двуколки с ранеными. Фельдшера быстро

разбинтовывают раненых. Под белой марлей всплывают темные пятна крови.

Бинты точно приклеены к голове. Фельдшер тянет конец бинта.

— Ну-ка, друг, сожмись слегка!

— А-а-а-а!

— Уй, дьявол!

— Все! Все! Ну, вот, уже и подсыхает! Еще пару дней — и все в порядке!

— Что там у тебя? Покажь!

Высокий красногвардеец показывает разбинтованную руку.

— Царапнула! Иодом бы смазать.

— Пустяки! — вытягивает губу Кононов. — Водичкой промоешь.

— Жалко тебе иоду, что ли?

— На это тратить иод? А если серьезное ранение? Тогда что? Санталовым маслом?

— Да ведь кость видна!

— А ты не растягивай, вот и не будет видно.

— Ты что ж, — вмешивается Акулов, — мало взял иоду?

— Взял тройную порцию. Да только вы уж очень ретивы, друзья! Так будете воевать — иоду на вас не напасешься. Что иод? Бинтов нет! Перевязать нечем.

— Как? Совсем нет?

— Раз нет, значит, нет. Не совсем нет не бывает. Еще по разу перебинтовать и все. А в случае боя — беда.

— Та-ак, — багровеет Акулов, — значит, без медикаментов выехал?

— А ты подбери еще всех... Белохлыновцы вон ни бинта, ни грамма иоду не вложили, а забрали на 110 человек.

* * *

Перевязка закончена, и мы выстраиваемся на лесной поляне. Кавалерийский отряд впереди, белохлыновцы — сзади. Акулов поднимает руку:

— Товарищи!

— Постой! — кричат белохлыновцы.

Сбившись в кучу, они о чем-то горячо спорят.

— В чем дело?

— Постой! Командира выбираем!

Они стоят, опираясь на винтовки. Почти у всех красногвардейцев перевязаны бинтами руки, шеи, головы. Повязки перетягивают почерневшие лица. Головы многих бойцов похожи на белые шары. Фуражки пристегнуты к головам ремешками. Стоят, образуя широкий круг, в котором бегает стремительный красногвардеец в разодранной рубахе.

— Товарищи, — кричит красногвардеец, — в этом расчет должен быть. Мы бьемся против буржуев до последней капли. Я не против Газунова. Парень подходящий. Я его сам есть личный товарищ, но в командиры не того... По военной линии он есть такая же пешка, как и не мы. Ты, Газунов, не обижайся. Мы, друг, с тобой вокак. Но говорю на общую пользу. Против я Газунова.

— Верно! — поднял забинтованную руку высокий боец. — Я отвожу себя. Скажу прямо: хреновый с меня командир.

— Макарова!

— Степанова!

— Филю!

— Филю!

— Макарова!

— Филю!

— Филю!

Вышел широкоплечий боец. Пышный казачий чуб качался над черным лицом, затеняя быстрые, пронзительные глаза. Кольца лихих усов дрожали над розовыми губами. Широкая грудь распирала покрытую темными пятнами крови гимнастерку.

Поправив рукой фуражку, чудом сидевшую на пышных волосах, боец кашлянул в руку.

— Дозвольте, товарищи, в таком случае познакомить вас со своей автобиографией.

Он кашлянул еще раз в руку и лихо повернулся на каблуках.

— По личной жизни я угнетался у купцов Стрешневых. Таскал мешки с утра до ночи. В надрыв угнетался. Устроился впоследствии на пристань к пермскому кровопийце Мешкову и здесь развивался, как мог. Еще служил у братьев Каменских и у Любимовых. В империалистическую войну

погнали меня защищать буржуев и заставили проливать безвинную кровь по всему фронту. По случаю храбрости мне вышло производство в ефрейторы, а дальше — в младшие унтер-офицеры и вплоть до старшего. Три лычки, так сказать... Хотите — выбирайте, хотите — пролью кровь в простом звании рядового бойца Мне это безразлично.

— Товарищи! — вышел бородатый красногвардеец. — Филю Гусева знаем. Гусев показал свою беззаветность, уложив на моих глазах трех чехов.

Чубастый Гусев передернул плечами, как бы желая сказать: «Стоит ли говорить о таких пустяках», и потупил глаза.

— И как военный, — продолжал бородатый, — имеет специальность. Лучшего командира не придумать нам.

— В очко плутует! — крикнул звонкий голос.

— Это верно! — тряхнул чубом Гусев. — В картах я не сдержанный, но выберете командиром — точка. Выбывает игрок с кона. В руки не возьму. Мне тогда не играть придется, а заботиться о бойцах отряда. Сами ведь знаете, какие обязанности командира. Не доспишь, не доешь, а бойца ублаготворить надо.

— Голосуй!

Бородатый красногвардеец вытянулся на носках, повел по рядам строгим взглядом.

— Кто желает в командиры Филю, то есть товарища Гусева, прошу поднять руки.

Гусев надвинул фуражку козырьком на нос, чтобы не видеть голосующих.

Красногвардейцы подняли руки.

— Кто против?

Несколько рук поползло вверх. Против голосовало меньшинство. В числе голосующих против я заметил Акулова, военрука, кочегара и Волкова.

— Подавляющее большинство! — сказал бородатый. — Принимай, Гусев, власть.

Чубастый солидно кашлянул и поклонился.

— Постараюсь, товарищи, оправдать целиком ваше доверие. Но предупреждаю: слушаться без задержки.

И молодцевато гаркнул:

— Станови-и-и-ись!

Гусев положил винтовку в двуколку, взял из рук молодого парня кобуру с револьвером и встал перед отрядом. Кавалерийский отряд встал на свое место.

— Товарищи! — крикнул Акулов, обращаясь к белохлыновцам. — По договоренности с прежним вашим командиром общее командование было у меня. Но можно сделать переизбрание.

— Командуй! — гаркнул Гусев. — Доверяю!

— Тогда прошу всех слушать, что скажет сейчас военрук, или наш военный инструктор.

Раздвигая сучья деревьев, из леса выехал Краузе.

— Товарищи, — тихо сказал он, хлопая коня по шее, — два боя, в которых мы участвовали, научили нас многому. Но мы еще большему научимся, если спокойно разберемся в подробностях этих боев... Я должен слегка... ну, что ли... поругать белохлыновцев... Когда позавчера показались чехи, белохлыновцы начали митинговать. Одни требовали пустить поезд задним ходом, другие настаивали на том, чтобы открыть огонь, третьи предлагали что-то совсем несуразное. Так нельзя. Митинговать на виду противника — паскудное дело. Но еще хуже, когда все начинают командовать. В бою может быть только один командир. Остальные же обязаны беспрекословно подчиняться. Вот после боя — пожалуйста, критикуйте. Или вот при обсуждении предстоящей операции. Пожалуйста — советуйте. Это — принципы Красной гвардии. Но когда противник уже сел на нос, — тут митингов не может быть, тут всякое промедление грозит разгромом. Я не посягаю на ваше право обсуждать военные операции. Но всему место. У вас нет дисциплины.

Ряды отрядников заворчали.

— Я не про старую дисциплину, — поправился военрук, — я говорю о дисциплине внутренней, которую прививают не зуботычинами и палкой, а сознательностью.

— Спайки нет! — крикнули из рядов.

— Ну, спайки, если вам не нравится слово дисциплина. Хотя какая уж тут спайка. Дело тут в том, что вы... как бы это сказать... не точно выполняете приказы командиров. Дрались вы вчера хорошо. Но потери очень большие. Их могло быть меньше. Взгляните на наш отряд. Несмотря на

то, что мы находились под одним артиллерийским огнем, мы потеряли в четыре раза меньше, чем вы, белохлыновцы. Что это? Счастье? Конечно, нет. Наш отряд выполнил приказанье и рассыпался редкой цепью, а вы лежали кучами, да еще в нескольких цепях.

— Мы не успели!

— Неправда! Вы заняли позиции раньше нас. И потом еще: надо быть болваном, чтобы окапываться на опушке леса. В таких случаях нужно или вперед выходить, или уйти глубже в лес, так как опушка леса является прекрасной целью для артиллерии. Следовало бы выбрать позиции перед лесом, но вы так торопились..

Краузе развел руками:

Некоторые красногвардейцы захохотали.

— ...знаю, что о позиции думать было некогда. Вот все, что я хотел сказать. Значит, долой митинги, доверие командирам, точное выполнение команды, спокойствие. Никогда не торопитесь стрелять, цельтесь спокойнее. Лучше наверняка одну пулю пустить, чем без толку сотню выпустить. Стреляй редко, да метко. Помни, что, когда пускаешь пули за облака, противник ободряется, он перестает тебя бояться, но если он будет видеть, как валятся его товарищи, он станет теряться, путаться, у него пропадает охота подойти к тебе ближе. Подпускай противника ближе. Поставь себе заданье: выбить только трех наступающих, и этого достаточно. Если каждый выбьет трех, то у противника не так много останется людей для атаки. А потом — посекут пулеметы да гранаты. Ну, а если он все же кинется в атаку, принимай в штыки. Здесь уж противнику не устоять против нас. Смотрите-ка, какие вы все черти немазаные. Воз штыком свернет каждый. Избу разворотит.

Красногвардейцы опять захохотали.

— Нас, товарищи, нельзя победить. Мы непобедимы! Я кончил, товарищи!

Дружные аплодисменты заставили Краузе улыбнуться. Он точно в раздумье покачал головой и проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Аплодирующая армия... Ну, что ж... Это не плохо.

Мы двинулись вперед.

Глава XXVI

— Я все-таки ничего не понимаю! — говорит Волков, покачиваясь в седле. — Не то мы передовые, не то вообще так себе.. Между прочим...

— Ты про что? — осаживает коня железнодорожник.

— Да все о том же. Впереди-то нас есть кто-нибудь?

— Ну... стреляли же ночью... Беженцев-то когда повстречали...

— А кто стрелял, знаешь?

— Чудило! Раз стреляют, значит, уж есть в кого стрелять. Но я думаю: не доехали мы до фронта.

— Что-о? — кричит Бершадский сзади. — А это тебе не фронт? Магазин готового платья? Ресторан с напитками?

— А все-таки до фронта мы не доехали. Нам до той станции еще пять перегонов оставалось. Чехи, видать, прорвались где-то. И между прочим, вчерашние-то не позавчерашние. У позавчерашних я заприметил нашу офицерню, — с чехами, видать, шли, — а вчерашние сами по себе. И опять же у позавчерашних — пилотки на головах, а у этих фуражки больше.

— К чему ты это?

— К тому говорю, что чешни теперь этой, что вшей на гашнике. В окружности то есть.

— Засыпались, выходит!

— Пробьемся... в случае чего. Только должны все-таки и наши поблизости быть.

Внезапно в лесу послышался сильный треск сучьев. Скакали обратно головные дозоры.

— Что там еще? — встретили их Вася и «Всех скорбящих».

— Впереди какая-то деревня. По дороге едут верхами и на подводах.

— Может, наши? — спросил Акулов.

— Версты две будет от леса. Может, и наши. Не разглядеть.

— С краю пятеро, за мной! Краузе, веди остальных потихоньку!

Мы помчались за Акуловым, наклоняя головы, пряча лица от больно хлещущих вегок. Проскакав с полкилометра, мы увидели сквозь редкий лес ласковую синеву. Из овражка выглядывала голова коня, привязанного поводьями к елке. Соскочив с коней, мы поставили их в овражке и побежали к опушке, придерживая шашки, путаясь в длинных полах шинелей.

Около вывороченной бурей сосны лежал Агеев. Он предостерегающе махнул рукой и, не повертывая в нашу сторону головы, крикнул:

— Тише... Леший!

Припадая к земле, мы поползли, подминая упругий молодой ельник. Я упал лицом в прохладную лесную траву. Около меня лег Акулов. Достав из чехла цейс, он протер стекла красным платком и не спеша поднял бинокль.

Перед нами лежало покрытое цветами поле. В зелени трав краснела кашка, тихо качались под ветром белые ромашки, мелкой дрожью дрожали синие колокольчики. В травах стрекотали кузнечики; мягкий шелест катился в поле, поднимая густое дыханье разомлевших под солнцем трав и цветов.

За полем чернели крыши. Золоченая маковка церкви сияла в ослепительной лазури неба. Вдали, на бледном пологе горизонта, ползла, извиваясь, бурая лента. Напрягая зрение, можно было различить подводы и копошащиеся фигурки людей.

— Кто, товарищ Акулов?

— Черт их знает! — пробормотал начальник отряда, не отрываясь ог бинокля. — Какая-то пехота...

— На околыши смотри!

— Н-да! — крякнул Акулов. — На околышках-то георгиевские ленты. А пойми, к чему это.

— Не матросы?

— Не похоже! И не чехи опять же...

Сзади заржали кони. Около нас легли товарищи.

— Чехи?

— Нет! Другие какие-то!

— Офицерня?

— Не поймешь!

Акулов прикрикнул:

— Не галдите! Кто там пузо выпятил? Ложись!

Военрук также достал бинокль.

— Ты как думаешь? — спросил у Акулова военрук.

— А черт его знает... Ложись, говорю ты, пегий!

— Не понимаю! Но если это не матросы, так...

— Офицерня?

— Похоже!

Помолчав, военрук сунул бинокль в чехол.

— Во всяком случае придется послать разведку в деревню.

— Сейчас?

— Не сейчас! К вечеру, конечно!

Лежащие рядом красногвардейцы загалдели:

— Чего сидеть-то?

— Жрать нечего.

— Да полегоньку и сейчас бы можно.

— Брюхо ж подтягивает.

Военрук сел, снял с головы фуражку, положил ее на колени. Вытащив из кармашка расческу, он провел концом расчески от затылка ко лбу, разделив жесткие волосы ровным пробором.

— Брюхо подтягивает, — постучал военрук расческой по ногтю большого пальца, — это верно!

— Выходит, надо действовать, не дожидая вечера.

Но в это время в стороне от нас кто-то крикнул сдавленным голосом:

— Кавалерия! На нас, братва! Глянь! Глянь! Ай, сколько?!

— Наз-а-ад!

* * *

Мы рассыпались в цепь. Шесть пулеметов приткнулись на флангах.

Я лежу рядом с Волковым и Васей. Мы вытягиваем головы, но противника все не видно.

— Только не торопись, ребята! — шепчет Волков. — Целься в лошадей!

— Да где ж они?

— Не поднимайтесь! Держи горизонт в прицеле. Подпускать будем.

Вдруг на правом фланге загремел хохот.

— Сбесились?

— Чего там?

По цепи побежало торопливо:

— Что?

— В чем дело?

— Что там?

И с новым взрывом смеха примчался ответ:

— Коровы идут!..

Цепь поднялась. Красногвардейцы, матерщинничая, побрели к опушке леса, разряжая винтовки, засовывая патроны обратно в обоймы.

— Какой же это гад панику подпустил?

— Ищи теперь!

Сбившись в кучи, красногвардейцы, смеясь и ругаясь, начали искать виновника.

— Митька, ты орал?

— Бро-ось! Слепой, что ли?

— В таком разе Афонька. Больше некому.

— Ей-бо, не я. Провалиться мне на месте.

— Да это ж Степка, братва!

— Степка? А ну, давай его сюда!

Сконфуженного Степку приволокли два здоровых красногвардейца.

— Ты орал?

— Братцы... Обшибся!..

Белобрысый Степка виновато моргает глазами и смущенно кашляет.

— Ты что панику разводишь?

— Обшибся, товарищи!.. Промашку дал!

Красногвардеец с утиным носом встал перед Степкой, ткнул его легонько прикладом в брюхо.

— Паника-то сюда входит? А с которого места выходит этая паника?

Красногвардейцы захохотали.

— Понятно? — оглядел всех утиный изогнутый нос.

— А ежели понятно, придется запаять выходные трубы. Эй, кто с ложками, подходи.

Выдернув из-за голенища деревянную ложку, он засучил правую руку.

— Повертывайся!

Сопротивляющегося Степку изогнули кренделем и домовито подняли полы шинели. Утиный нос взмахнул рукой и с размаху шлепнул его ложкой по заду:

— Вот тебе очки, обучайся зрению!

Красногвардейцы с хохотом выстроились перед Степкой, держа в руках ложки.

— Р-раз! — подсчитывал утиный нос.

— Приучайся буржуев видеть!

— Д-два!

— Обучайся дисциплине!

— Три!

— Глаза протри!

— Четыре!

— Держи ее в блезире!

— Пять!

— Будь бойцом на ять!

Послышался резкий окрик Акулова:

— Почему галдеж?

— Степку стратегии учим.

— Прекратить.

Красногвардейцы нехотя выпустили Степку из рук. Он быстро вскочил на ноги, одернул шинель и выругался:

— Сволочи!

— Ничего. Для полировки крови полезно.

Подошли военрук и Гусев.

— Ну-ка, кто-нибудь двое. За пастухом. Винтовки оставить.

Утиный нос выступил вперед.

— Один приведу.

— Ну, сыпь.

Глава XXVII

— Вот он — герой какой, — указал утиный нос на перепуганного пастуха и встал в сторону.

— Из какой деревни? — спросил военрук.

Рябой, широкоплечий пастух торопливо перекинул кнут с правого плеча на левое.

— Мулинские мы, — шмыгнул он носом. — Пастух. Общественный пастух.

— Та-ак... Кто у вас в деревне?

Пастух замялся, настороженно оглядел нас всех.

— Ну?

— Не знаю этого... Неграмотные мы...

— Красного от белого не отличаешь?

— Это нам ни к чему... Мы не вмешиваемся...

— Значит, никого нет в деревне?

— Зачем никого? Мужики есть... Бабы... Все дома...

— А солдаты?

— И солдаты дома...

— Какие солдаты?

— Не знаю этого...

— Как же ты не знаешь?

— Не знаю, — потупился пастух. Подняв голову, он взглянул на нас и придурковато засмеялся: — Как мне знать?.. То же вот и вы... Солдаты и солдаты, а какие вы, докладаете мне рази?

Военрук пристально посмотрел на пастуха и сказал:

— Если тебе интересно: красногвардейцы мы.

Под ресницами пастуха метнулось что-то неуловимое, но тотчас глаза потухли и рябое лицо одеревенело.

— Неграмотные мы!.. — уныло повторил пастух.

— Да сам-то ты за кого? За помещика или за Советы?

— Се равно мине... Мы в общественных пастухах ходим. Не занимаемся таким делом.

— Ну, а ты кого бы хотел?

— Мине, чтобы общественным пастухом быть. Мине се равно.

— Значит, и царь для тебя гож?

— Мине се равно.

— И советская власть все равно?

— Неграмотные мы...

— А как ты Ленина признаешь?

— Неграмотные мы...

— Значит, за помещика идешь?

— Мине се равно.

Кочегар вышел из рядов. Положив тяжелую руку на плечо пастуха, он сказал, щуря глаза:

— Ты хреновину не пори! Свои здесь. Если не веришь, что красные, — так на, гляди.

Кочегар вытащил членскую карточку и сунул ее под нос пастуха.

— Видишь?

— Неграмотные мы.

— Ян, — крикнул кочегар, — дай свою! Волков! Евдоха! Тащи свои билеты!

Недоумевая, мы достали партийные билеты.

— Смотри! — сказал кочегар.

Пастух вытянул шею. Его глаза впились в куски белого картона.

— Ну?

— Красные вы!? — полувопросительно сказал пастух. Затем, взглянув на наши красные банты и ленты, крякнул: — Товарищи, значит?..

— А что? — протянул корявые руки кочегар. — Разве похоже на белоручку?

— А кто ж из вас товарищ командир? — осторожно спросил пастух.

— Я, — сказал Акулов.

Пастух задумался, потом, как бы решившись, тяжело вздохнул.

— Ну, ну?

— Ваши у нас в деревне!

— Какие наши?

— Офицеры!

— Да ты что, одурел?.. Ты сам-то кто будешь?

— За офицеров я! — твердо сказал пастух.

Из рядов выскочил Утиный нос и шмякнул пастуха по носу.

— Э, гад... Помещика хочешь?

Пастух отскочил в сторону. Вытирая окровавленный рот рукавом, он сказал тихо:

— Черт вас поймет! Если вы красные, так я ведь за красных,

— Грамотный?

— Грамотный!

— Чего ж ты дурака валяешь?

Вытирая окровавленный рот, пастух угрюмо сказал:

— Пойми вас.

— Да мы красные, дубина! — захрипел Акулов.

— Ну... Красные... И я красный... Офицерня в нашей деревне.

— Что ж ты прикидываешься, сукин сын?

Пастух нахмурил брови:

— Тут прикинешься, пожалуй. Намедни один высунулся и того... Покойничек теперь...

— Да ведь показываем партийные билеты.

— Билеты теперь каждый может настряпать. А ты бы, — обратился пастух к Утиному носу, — полегче мог... Тоже... Я ведь и обратно могу при случае...

Сплюнув кровь, пастух надвинул обеими руками рваную фуражку глубоко на голову:

— Неграмотными прикидываемся... А с неграмотного чего спросишь.. Трудно стало жить.

— Ты, может, и красным теперь прикидываешься?

— Не, — мотнул головой пастух, — на чистую говорю. Главное — непонятно мине, как вы сюда попали. Тут же четыре дня чехи орудуют. Ваши-то давно отступили.

— Много отступало?

— Три цельных полка.

— Три отряда?

— Не... Три полка!

— Какие ж это полки?.. Отряды?

— Красные полки. С комиссарами и флаг красный.

— С комиссарами?

— А как же!

— Не путаешь случаем?

— Не... Знаю до точности. Вот вчера действительно... Вчера отряд прошел... Так отряд и назывался. Блюхер командир.

— Какой такой? Из немцев, что ли?

— Он-то? Унтер-офицер царской армии.

— Ты-то откуда знаешь?

— Знаю.

— Большой отряд?

— Отряд порядочный. Но больше баб и ребят, чем красногвардейцев. Цельный обоз с бабами.

— Вчера прошли?

— Вчера. На Белорецк прошли. А до них — три полка.

— Странно.

Военрук отвел пастуха в сторону. Они о чем-то начали говорить вполголоса. К ним подошли Акулов и Гусев.

— Это можно! — долетел до нас голос пастуха.

Надвинув фуражку еще глубже, до самого носа, он сунул руку дощечкой командирам.

* * *

Пастух ушел. Прислушиваясь к хлопанью кнута и унылому звону колокольцов, мы стояли на опушке леса, провожая глазами стадо.

— Напрасно я его! — почесал в затылке Утиный нос.

Красногвардейцы промолчали.

* * *

Собрав отряды, Акулов сказал:

— Слышали?

— Ну?

— Нужно обсудить вопрос. Выходит, мы позади фронта остались. Задача какая? Задача теперь держаться на Лысьву и в случае чего пробиваться. Понятно? Но, товарищи, пробиться-то можно, а только с шамовкой совсем дело дрянь. Первая наша задача — достать шамовку. Эту задачу совместно разобрать надо.

Акулов сел на поваленную буреломом сосну.

— Кто какие предложения имеет?

Красногвардейцы начали переглядываться.

— Ну! Не стесняйтесь. Говори, кто что надумал.

— Я! — поднял руку бородатый белохлыновец.

— Говори!

— Предлагаю поделить оставшиеся консервы и установить норму. Банку на три дня.

— Я против! — закричал Коновалов. — Я предлагаю консервы оставить для раненых.

— Осталось мало! Всем так и так не хватит.

— Всем не хватит! — сказал Кононов. — А помимо всего — мы должны подойти проблемно. Здоровый интеллект может обойтись, а раненому невозможно. Для освещения проблемы могу добавить, что с научной целью один американский медик прожил без пищи сорок дней.

— Цыган сорок дней коня приучал. А что вышло?

Выступил вперед парнишка.

— Говори!

— По-моему... лошадей можно сшамать.

Но тут вступились кавалеристы:

— Ловкий какой!

— Ты бы еще пулеметы сшамал!

— А воевать с чем?

Парнишка скис:

— Не про всех говорю. Одну-две хотя бы...

— Бро-ось!

— Лакомый какой!

— Не из татар он?

— Не давать лошадей!

— Товарищи, — закричал военрук, — есть другой выход... Пастух говорит, что в деревне большой обоз с фуражом и продуктами. Если ночью подойти огородами, можно захватить все это шутя. Дня на три, на четыре хватит, а через три-четыре дня пробьемся к своим. До них не больше как сто, сто пятьдесят верст.

— Сколько их в деревне?

— Да хватит нам... Считайте, что половина будет спать, примите к сведению, что они не подозревают о нашем присутствии, и...

— Пастуха зачем отпустили? Брякнет еще!

— Пастух обещал разузнать, где у них пулеметы, где командиры остановились и где стоят часовые. Пастух придет еще.

— Придет ли? Харламов-то сдуру покровянил его. Смотри, не предал бы пастух.

— В жизни все бывает, — крякнул Утиный нос, — однако наш брат не считается с пустяками. Сам сказал: за красных. Из-за плюхи не станет белым.

После споров красногвардейцы приняли предложение военрука.

* * *

Красногвардейцы лежат в густой, прохладной траве и лениво перебрасываются словами.

— Пастух выдаст — беда! — сплевывает Агеев.

— Не выдаст! — говорит Евдоха.

— Ручаешься?

— Не ручаюсь хотя, но не должно, чтобы выдал...

— Этот стервец ведь как заехал ему. Тоже не очень вкусно, поди. Эх, руки ж у людей!

— Мы не обидчивые до своих, а в горячке все возможно. Лес рубим, щепой возможно своего царапнуть.

— Посмотрим, посмотрим!

К вечеру пришел пастух.

— Видал?

Мы отыскиваем Утиный нос и заставляем его извиниться. Красный от стыда Утиный нос подходит к пастуху:

— Ты, брат, того... А? Ты извини... Погорячился.

Пастух угрюмо глядит на него и машет рукой:

— А ну тебя к едреной бабушке. Шубу мне шить с твоего извиненья?

— Ну вдарь. На, — подставляет лицо Утиный нос.

— Ладно уж.

— Вдарь ты его, — советует Степка, — все легче тебе будет.

— Пошел он!..

* * *

Ночь.

Оставив коней и повозки, мы ползем по мокрой росной траве. Шуршанье ночных трав, глухой шум и прерывистое дыханье катится по буграм и овражкам.

Впереди — черная изгородь. Мы осторожно проползаем под изгородью. С боков слышится легкий треск. Прижимаемся к холодной земле. Шум стихает. Проходит несколько минут. Цепь ползет дальше.

Около амбара мы поднимаемся. Вытягиваем шеи. Напрягая зренье, я различаю в черной мгле неясные очертания крестьянской избы.

Где-то залаяли собаки.

— У, дьявол! — шепчет сердитый голос.

— Айда, братва!

Спотыкаясь, бежим к избе.

— Стой!

Мы прижимаемся к стенам. Сердце неистово колотится под шинелью. Тело трясется не то от волнения, не то от сырости. Дышать становится трудно. Хочется сделать глубокий выдох. Вдруг из темноты вырывается захлебывающийся собачий лай. Пес бросается под ноги, остервенело хватая полы шинелей. Несколько человек падают на землю. Собака хрипит, взвизгнув, умолкает. Сдерживая дыханье, мы прислушиваемся. Собаки лают во всех концах деревни. Мы слышим скрип дверей. В сенях шаркают ноги. Мы прижимаемся к стене. Дверь открывается. Из мутной черной мглы выплывает белое пятно. Мы бросаемся к пятну.

— Не орать!

Мы вваливаемся в темные сени.

Глава XXVIII

Рассвет нас застает в лесу. Окруженные конными дозорами, мы идем, продираясь сквозь чащу. От бессонной ночи лица красногвардейцев серы, глаза затянуты красными жилами. Не останавливаясь, мы вскрываем на ходу банки консервов и, царапая руки о жесть, запускаем пальцы в холодное мясо.

— Разогреть бы, — вздыхает кочегар.

— Что?

— Разогреть бы, говорю.

— А-а!

Разговор не клеится.

* * *

К вечеру мы выкопали братскую могилу для умерших от ран. Двадцать восемь бойцов остались в тальнике. На песчаный холм мы положили двадцать восемь фуражек и все наши выцветшие красные ленты.

* * *

Три дня идем мы. Но лесу нет конца и края. По дороге мы оставляем могилы. На четвертый день Кононов бросает одиннадцать двуколок в овраг.

— Все!

Одиннадцать пехотинцев образуют конную разведку.

* * *

Семь дней.

Мы еще держимся, но лошади начинают падать. Столетняя хвоя устилает землю плотным, мягким ковром. Мы кормим лошадей молодыми побегами ельника.

Едят.

* * *

Потеряли счет дням. Мы идем и днем и ночью, но кажется, мы топчемся на одном месте, а мимо проплывают скрипучие сосны, зеленые тальники, угрюмые топкие болота.

Консервы давно кончились. Третий день мы питаемся кониной без соли. От непривычки почти у всех — расстройство желудка.

Амбу съели. Я иду пешком.

* * *

Красногвардеец Мелехов угрожает Акулову винтовкой:

— Командир тоже! Где консервы, сволочь?

— Дура-ак! — кричит Акулов.

Мелехов стреляет. С головы Акулова летит фуражка. Мелехов вскидывает винтовку. К нему подскакивает Евдоха. Бьет штыком в шею.

— Гад! — вытирает Евдоха полою шинели штык.

Мы молча шагаем мимо трупа Мелехова. Акулов поднимает с земли фуражку.

* * *

Я в головном дозоре. В просветах леса сквозит голубое небо.

— Конец лесу! Коне-е-ец!

Взволнованные, мы бежим, обгоняя друг друга. Добежав до опушки леса, мы останавливаемся, тяжело переводя дух. В ушах звенит. Сердце колотится так сильно, что кажется: не выдержит оно, разлетится на тысячи кусков.

Мы выходим на дорогу. Волков идет через дорогу в сторону кустарника, за которым лежит поле. Неожиданно мы слышим резкий голос:

— Эй! Сто-ой!

Повернув головы, мы видим идущий на рысях отряд казаков. Передовой скачет к нам, размахивая нагайкой.

— Сто-ой!

Нас отделяет не более пятидесяти шагов.

Мы вскидываем винтовки.

Волков кричит исступленно:

— Стой... Стой, будем стрелять!

Казаки останавливаются. Переглядываются. Несколько человек сдергивают винтовки.

— А ну-ка, иди сюда! — кричит казачий офицер.

Мы стоим друг против друга. Мы уже знаем, что за птицы перед нами, но, судя по нерешительному виду казаков, они навряд ли подозревают, кто мы такие. Наши красные банты остались на могилах товарищей, красные ленты содрали с фуражек цепкие сучья леса. Мы знаем, кто перед нами, но мы должны выгадать время. За нашими плечами — отряд. Пять минут вполне достаточно. Да, да. За пять минут отряд успеет подойти.

— Наз-а-ад! — кричит Волков.

Мы пятимся. Входим быстро в лес. На дороге остается один Волков.

— Вы кто, ваше благородие? — кричит Волков.

— Иди сюда! — приказывает офицер.

С бьющимся сердцем я вижу, как Волков делает несколько шагов к офицеру.

— Ближе, ближе!

— Боюсь, ваше благородие! — мотает головой Волков.

Офицер выезжает вперед. В десяти шагах от Волкова он останавливается:

— Чего боишься?

— Боюсь, ваше благородие. Мы так-то вчера на краснопузых наскочили. Тоже с погонами были, а едва ушли.

— Какой части? — спрашивает офицер, надвигаясь с конем.

— Не могу знать, ваше благородие! Неграмотный.

За офицером медленно двигается отряд.

— Стойте, казачки! — выхватывает гранату Волков. — Остановите, ваше благородие. Греха как бы не было.

— Да ты что дурака валяешь?

— Никак нет... Ваше благородие, стойте. Боюсь я вас.

Пятясь задом, Волков сходит с дороги. Нащупав спиной дерево, он останавливается.

— Стойте, ваше благородие! Стойте, казачки. Стойте так.

Вильнув, Волков скрывается за толстой сосной и, подпрыгнув, кидает в отряд казаков гранату:

— Бей гадов. Ого-онь!

— Гу-у-ух!



Черный столб взлетает в куче казаков. Мы бьем из шести винтовок прямо в упор, в скучившихся казаков. Железнодорожник успевает бросить еше гранату.

Растерявшиеся от неожиданности казаки соскакивают с коней, бестолково бегают по дороге, сдергивая с плеч винтовки.

— Гранаты!

— Гранаты!

Шесть гранат взлетают столбами огня и пыли. Казаки бросаются на нас.

— Наза-ад!

Натыкаясь на деревья, мы мчимся к отряду, виляя из стороны в сторону. Из чащи навстречу нам бегут развернутые цепи красногвардейцев.

Я падаю на землю. Красногвардейцы прыгают через меня. Втянув головы в плечи, они без крика, точно волки, бегут, выбросив вперед штыки.

* * *

Отдышавшись, я бегу за цепью. Я вижу, как бойцы молча бросаются на казаков. Когда я подбегаю, все уже кончено.

* * *

Отец протягивает мне кусок хлеба.

— На-ко! Скажи спасибо, что запасливые казаки. Пожуй немного.

На горбушке бурые пятна крови.

* * *

Покинув лес, мы идем полем, открытые со всех сторон. Идем без дозоров, волоча по очереди тяжелые пулеметы. Вдали всплывает деревня. Мы выходим на дорогу. Военрук строит нас по четыре.

— Песню!

Мы смотрим на него с удивлением, но думать не хочется. Волков подкидывает винтовку на ремне и хрипло затягивает:

Вы не вейтеся, черные кудри,
Над моею больной головой.

Задыхаясь под тяжестью пулеметов, мы хрипим, кашляем и с кашлем и хрипом подхватываем песню. Кутаясь в облаках пыли, мы с песнями входим в деревню.

* * *

— Солдаты есть?

— Нет. А вы какие будете?

— Немаканные! Сухие!

Мы собираем сход.

— Молока! Хлеба! Чистого полотна для бинтов! Даем сроку полчаса.

— Да вы какие ж будете?

— Не разговаривай, дядя. Тащи, что приказано.

— На всех?

— Нет, на одного. Один будет есть — другие смотреть.

Через час мы уходим из деревни. За околицей Акулов останавливает отряд.

— До наших верст шестьдесят. Носы не вешай, братва. Теперь уж выберемся. В случае чего... может, меня или еще кого по дороге угробят, пойдете по этой карте. Смотри сюда.

Мы окружаем Акулова, тянемся через плечи, заглядываем на карту.

— Это компас... Кладете его так... На кромку... Стрелка всегда на север. Теперь гляди. Я провожу карандашом. Становлюсь так. Туда и будем идти. Прямо и прямо. А стрелка чтобы всегда вот так лежала и чтобы на этих значках. Понятно?

* * *

К вечеру мы подошли к большому селу.

— Солдаты есть?

— Нет!

— Какое село?

— Село Вознесенское!

— Красные были?

— С неделю как ушли!

Мы занимаем крайние избы и, выставив часовых, устраиваемся на ночлег.

— Вы за кого ж это? — интересуются крестьяне.

— Сами за себя!

Мы не хотим разговаривать. Нам не о чем говорить теперь. У нас теперь может быть только один разговор о том, как пробиться к своим. Головы наши тяжелы от усталости. Глаза слипаются, как будто ресницы смазаны густым, вязким клеем.

Обняв винтовки, мы не раздеваясь ложимся на лавки.

* * *

Просыпаюсь от сильных толчков в бок. Приподняв с трудом отяжелевшую голову, вижу встревоженное лицо отца.

— Вставай! Ну!

В избе шепчутся. Крестьяне смотрят на нас подозрительно.

— Выдь-ка во двор!

Мы выходим. В сенях отец шепчет на ухо:

— Казаки в деревне!

Во дворе стоят красногвардейцы. Серые лица хмуры. Все чего-то ждут.

Наконец в открытых воротах показывается Акулов.

— Выходи, строиться!

Мы идем один за другим. На дороге уже стоят красногвардейцы, выстроившись вздвоенными рядами. Мы пристраиваемся к флангу. В это время из-за угла выскакивают три казака.

— Эй! — кричит Акулов, поднимая руку.

Казаки осаживают лошадей.

— Вы, что ли, квартирьеры? — подходит к казакам Акулов и треплет коней по шее.

— Яки квартирьеры?

— Да нашего полка. Полковника Сергеева.

Казаки нерешительно переглядываются. Молодой губастый казак, тронув коня, затейливо матюгается:

— Няньки мы квартирьерам вашим, чи шо? Ну-ко, сторонись.

— Чтоб тебе, дьяволу, башку сломать! — кричит Акулов, отскакивая в сторону.

Матерщинничая, казаки скачут дальше.

Акулов тяжело переводит дыханье.

— На-пра-а... во!

Мы щелкаем каблуками. Звон шпор проносится по рядам.

— Скинуть шпоры, — командует Акулов. — Волков, запевай самую старорежимную. Петь, братва, как следует. Без волынки. Ну, кто там еще копается?

Правое плечо вперед, шаго-о-ом... марш!

Волков разухабисто затягивает:

Преображенцы удалые,
Рады тешить мы царя.

Не зная слов, мы подхватываем песню, орем, что придет в голову.

Мимо проплывают деревянные избы. Сквозь стекла мы видим лица крестьян.

Догадываются или нет?

Село остается за нашими спинами.

* * *

Отошли не более километра.

— Не оглядываться! — кричит Акулов.

Уйдем или нет?

— Вместе, выходит, ночевали! — говорит Павлов.

— А к нам стучали ночью...

— Стучали?

— Стучали! Мужик не пустил только. «И так, — говорит, — полна изба солдат». А я-то еще думал: наши. А они вон какие.

Несмотря на запрещение оглядываться, бойцы то и дело повертывают головы назад. Оглядываюсь и я через каждые два шага.

Уйдем или нет?

Впереди поднимается столб пыли. Мы сдергиваем винтовки.

— Не сметь! — кричит Акулов. — Песню, братва. Волков!
Волков матерится и хрипло заводит:

Как на горке, на крутой,
Постоялый двор худой.
Ка-а-алина.

С песней, стараясь кричать как можно сильнее, мы равняемся с сотней казаков. Офицер наклоняется, что-то спрашивает. Акулов берет под козырек. Мы орем так, что того гляди лопнут глотки. Акулов кричит, показывая рукой на село:

— а...аши. ...а...заки!

С бьющимися сердцами мы проходим мимо.

— Смотреть в затылок! — кричит Акулов. — Шире шаг!

Мы прибавляем шагу. Не утерпев, я оглядываюсь назад.

Казаки стоят на дороге. Очевидно, совещаются.

Уйдем или нет?

— Не оглядываться! — шипит Акулов.

Тяжелый топот коней нарастает за спиной все ближе и ближе.

— Догадались!

— Молчи!

Кони пролетают мимо. Акулов оглядывается. Мы прибавляем шагу. Теперь уж кажется, не идем мы, а бежим.

— Легче!

Песня расстроилась.

— Какая часть? — спрашивают догнавшие нас три казака.

— А ты какой? — вызывающе спрашивает Акулов, шагая рядом с казачьими горбоносыми конями.

— Ты не дури!

— А что будет? Хочешь плетей от их превосходительства генерала Сергеева?

— Не пужай! Документы предъяви. Слышь, что ли?

— Так я тебе и стал документы предъявлять, — неестественно хохочет Акулов, — ступай к его превосходительству. Разрешит он — так пожалуйста.

Отъехав в сторону, казаки совещаются, затем скачут обратно.

— Братва, гранаты приготовь! — шипит Акулов. — В случае чего, стройся в каре. Пулеметы передать пулеметчикам. Оглянется кто — пристрелю. Шире шаг.

— Акулов... Гранат нет...

— Поделиться! У кого две-три — пусть передадут товарищам. По рядам поползли гранаты.

* * *

Топот коней настигает нас. До боли хочется оглянуться.

Я смотрю на Акулова. Он идет задом.

Ать, два. Шире шаг. Голова выше. Ать, два. Ать, два.

Топот ближе.

Стой!

— Круго-ом!

Так и есть. Казаки не поверили нам. На этот раз придется драться.

— Пулеметы под ноги ставь, — сдавленным голосом говорит Акулов и торопливо командует: — Становись в каре!

Ощетинившись штыками, мы сбиваемся в кучу. Пулеметчики просовывают под нашими ногами тупые морды пулеметов.

Казаки на всем скаку осаживают коней. Нас разделяет не более ста шагов.

— Огонь! — кричит Акулов.

Мы открываем стрельбу.

— Пулеметы.

Под ногами застучали шесть верных максимов. Под градом пуль сотня осыпается, точно спелая рожь. Завернув коней, казаки скачут расстроенными рядами к селу.

«Ну, а теперь смерть! — толкается в голову холодная мысль. — Теперь не выпустят нас».

* * *

Свернув с дороги, мы бежим лугом. Я вижу, как передние ряды проваливаются сквозь землю. Балка. Спасительная балка.

Теперь, может быть, уйдем. Пот катится по лицу. От усталости дрожат ноги.

— Не могу! — хрипит бледный Утиный нос и опускается на землю.

— Врешь! — налетает на него Акулов. — Ты можешь. Вперед!

Он хватает Утиный нос за воротник и пинком ноги заставляет бежать.

Впереди падают двое красногвардейцев.

— Вперед! — гонит Акулов.

Они встают, бегут, широко открыв рты. Прерывистое дыханье вылетает со свистом.

— Остановка! Передохнуть!

— Сменить пулеметчиков!

В изнеможении мы падаем на землю. Теперь уже ничто не может нас поднять.

— Вперед! — опять хрипит Акулов.

Кочегар мотает головой.

— Обожди. Дай... во...зду...ху... глотнуть!

— Вперед! — надсаживается Акулов.

Мы поднимаемся на дрожащие ноги.

— Вперед, братва! — кричит Акулов и рывком бросает на плечи пулемет.

Хрипя и шатаясь, мы бежим за Акуловым. Бежим часа два.

— Стой!

Перед нами лес. Так вот куда мы торопились так? Я бросаюсь на землю. Рядом со мной опускается мертвенно-желтый военрук. Он точно рыба, вытащенная из воды, хватает ртом воздух. Мокрые волосы падают из-под фуражки на мокрое от пота лицо. Я катаюсь по земле. К горлу подступает тошнота. Тысячи молотков бьют по груди, по спине, по животу, по голове, по сердцу. Меня начинает рвать.

* * *

Ушли...

— Выбрались! — задыхается Евдоха.

Нам хочется верить в это. Но все наши надежды разлетаются, как пыль под ветром.

— Идут, сволочи! — выругался кочегар.

Я всматриваюсь в сторону врага. По полю скачут казаки, надвигаясь на нас густой лавой.

* * *

Проносится первый снаряд.

— Ба-анг!..

— А, дьявол!

Мы прижимаемся к земле. Комья земли летят на голову.

— Пулеметы!

— Пулеметы!

Я вижу опрокинутый, исковерканный пулемет.

— Ба-анг!..

— Пулеметы, братва-а!

Красногвардейцы хватают пулеметы, оттаскивают назад, ложатся на них сверху. Одно мгновение я ничего не понимаю, но затем тотчас же все становится ясным. Наше единственное спасение в пулеметах. Погибнут пулеметы — погибнем и мы. Да, да... Мне кажется, что красногвардейцы, прикрыв своими телами пулеметы, делают их недоступными для артиллерийского огня.

— Ба-анг!..

«Порвет и бойцов и пулеметы...»

Но эту мысль я гоню прочь.

— Ба-анг!.. Ба-анг!..

Глава XXIX

...Я открываю глаза. Хочу протянуть руку к винтовке, но рука лежит, точно припаянная к телу. Над головой что-то вроде потолка. Я начинаю осматриваться. Вижу длинные ряды кроватей. На кроватях сидят и лежат забинтованные в марлю люди. Чувствуя на себе пристальный взгляд, я повертываю голову. Мои глаза встречаются с веселыми голубыми глазами.

— Очухался!

С недоумением я смотрю на молодого парня. Он сидит, свесив ноги с кровати, поддерживая, точно куклу, толстую забинтованную руку.

— Долго, браток, корежило тебя! — смеется парень.

— А ты кто? — спрашиваю я, чувствуя, как плохо повинуется одеревеневший язык.

— Красноармеец!

— Мы у белых?

— Видно, сдурел ты с перепугу? Белые, они бы тебя перевязали!

Я пытаюсь приподняться. Но мои усилия тщетны.

— Контуженый ты! — говорит парень.

— Какое это место?

— Не место, а город Пермь. Тебя где шарахнуло?

— Не знаю!

— Вот здорово. Вышибло все, что ли? Не помнишь, значит?

Я рассказываю про наш отряд. Красноармеец слушает с недоверием.

— А как же ты очутился здесь?

— Не знаю!

— Про Красную армию, выходит, тоже не знаешь?

— Нет!

— Забавно!

Помолчав немного, красноармеец спрашивает:

— А с вашим отрядом что стало?

— Не знаю!

Красноармеец молча глядит на меня, потом встает и уходит. Спустя некоторое время он возвращается обратно с сестрой милосердия. Они останавливаются перед моей кроватью.

— Вот, сестричка, — показывает на меня красноармеец, — беспокоится очень товарищ. Путает что-то...

— Как вы себя чувствуете? — наклоняется сестра.

— Про отряд скажите... Выбрались как?..

Сестра улыбается:

— Завтра, дорогой!

— А сюда как я попал?

— Завтра узнаете... Завтра придут ваши товарищи и расскажут вам.

— Как фамилии?

— Не знаю. Их человек пять. Они приходят каждый день.

— Из нашего отряда?

— Кажется, из вашего... Но хорошо не знаю... Завтра после обхода старшего врача вы увидитесь с ними. Вам что-нибудь еще нужно?

— Нет!

— Тогда лежите!

Поправив одеяло, сестра уходит.

— А ты лежи, лежи!.. — заботливо, как сестра, говорит красноармеец и подсаживается ближе к моей койке. — Вот выздоровеешь, тогда мы всыпем этим белякам. Сейчас в армии у нас все честь честью. Артиллерия и саперы и разные там телефонисты. Автомобиля три бронированных. А пушки — так ого: целых двадцать штук. Побитые, правда, немного, но грохот дадут.

— Лошади есть хорошие? — спрашиваю я.

— Дело не в лошадях. Лошади не ахтительные, но ничего, передвигаются. Линейки, брат, санитарные имеются. Докторов имеем. Все — чин чином. Организованно. Ероплан даже имеется.

— Настоящий?

— Летает помалу, чего же тебе еще. Бензину вот маловато. Очень уж летчики убиваются: обидно им на керосине...

— Это здорово!

— Куда уж лучше. А на фронте как?

— И на фронте дела идут...

— Победим?

— Победим, друг. Поправляйся только. Выздоравливай. И беляков еще посечем.

— Эхма! — кашляет красноармеец с веселыми глазами. — Может, в шашки сыграем? Ты говори, а я за тебя буду двигать.

— Нет! — отказываюсь я.

Дождаться бы «завтра». Увидеть бы поскорее своих отрядников. Я должен все узнать. Я начну жить по-настоящему с завтрашнего дня.

Украденная страна



Пролог

Прошлое, как Сирин — слепая птица, тихо хлопает облезшими крыльями, бьется безнадежно над туманными степями и пыльными дорогами и поет тоскливо тихую песню о старине.

Носит на крыльях воспоминания о турецком господстве, несет на облезшей спине забытые истории о народных героях. Разносит тихие песенки Соломона-гончара.

Песню Соломона слушайте, юноши, слушайте все, у кого под рубашкой бьется юношеское сердце.

Про Стеху чернобровую, про Степана-кузнеца веселого, — послушайте, юноши, слово Соломона.

Слушайте про правду, юноши!

Ехала однажды осенью боярыня* Драгия через Батушаны, и, проезжая по улице, застряла с коляской в такой липкой грязи, что ни вперед, ни назад.

Тяжелая мясистая боярыня и на вид свиньею супоросою кажется (пудов на десять), и две дочери ее, словно пара добрых подсвинков — тоже пудиков по пять, одним словом — груз не для этой маленькой тележки, да еще в такую грязь. С таким грузом по батушанской грязище нелегко проехать.

Кони заартачились. Задними ногами точно резину месят, паром исходят, а толку — никакого.

---

* Б о я р и н — господин, помещик.

И рады бы вылезти панночки Драгии да не тут-то было: словно нарочно посреди настоящей трясины застряли, из коляски вылезешь — в болоте утонешь, а всем ведь известно: в болоте утонуть — значит, умереть не по-христиански...

Солнце на закат покатилось. Начало холодать. Болото замерзает, а морозец пощипывает носы и щеки.

Боярская челядь шум подняла. Кричат, руками размахивают, чтобы помогли.

А народ смотрит из окон и улыбается. Кому же охота в болото лезть.

Кричали так с полчаса. Панночки замерзли и от холода плакать начали. А люди из окон искоса поглядывают, интересно ведь знать, что же дальше станется с уважаемой боярской семейкой.

И вот случилось идти мимо того места Степану. Увидел Степан эту комедию, да и давай хохотать, за живот схватился и ржет как жеребец.

— Эй, люди, так вы же замерзнете!

А с коляски в ответ:

— Пуркуле*!.. дракуле**!..

Выругали Степана. Тот обиделся и крикнул челяди, сбившейся на облучке:

— Эй вы, слезайте там, дайте сначала хода коляске. Помогите из болота вылезти!

— Да как же ее?

— А плечом!

Но челядь не слышит, словно ей уши мамалыгой залепило.

— Плечом, — кричит Степан.

А они головы поотворачивали, сидят лакеи как куры: нахмурились и зубами от холода щелкают.

Крепко разгневался Степан. Подтянул сапоги повыше, зеленый пояс поправил, да и пошел к коляске.

Боярыня руки к Степану протягивает — выручить просит. А Степан к челяди подходит, схватил одного лакейчика за

---

* Пуркуле — свинья.

** Дракуле — черт.

грудки, схватил второго, да в болото, да в грязь. А сбросив лакеев, подошел к барыням и вежливо так сказал им:

— А теперь прошу вас пожаловать на сухое место.

— Это как же? — спрашивает боярыня.

— А вот как...

Схватил их всех Степан в охапку и пошел. Быстро понес их на сухое место.

А старая боярыня Драгия обвила Степанову шею руками, шепчет холодными губами:

— Ах, какая же крепкая шея у тебя, юноша...

Вот с того самого дня и началась несчастная история.

Начала Драгия приезжать в Батушаны, даже слишком часто. А как приедет, так обязательно — к Степану: то лошадей кормить, то по каким-то другим делам заедет.

Начали удивляться люди, что это так липнет боярыня к Степану, ну, а там где удивление сеют, там и подозрения жнут.

Стали следить за Степаном, и однажды из камышей довелось застукать боярыню с батушанским юношей в вишняке.

Видят люди — стоит Степан, отвернувшись; мрачный и губы кусает, а его за руки держит толстая покрасневшая боярыня. Словно пес, смотрит в глаза Степану и говорит, задыхаясь, руками юношескую грудь дергая:

— Ну, мой, мой... Ну, сильный мой... Ах, если бы ты хоть на одну сотую любил меня так, как я тебя люблю...

Взопрела боярыня, стоит перед ним растрепанная и потная, а уста жаром пышут.

Противно стало смотреть на боярыню, и люди ушли. Начали думу думать, что делать теперь, как поступить с юношей, что сказать ему надо. И не знают люди, что надо говорить Степану, а сердцем чуют: недоброе дело выходит, когда боярыня к простому кузнецу с бабьей лаской льнет.

Рассказали об этом старому Олтяну.

Долго думал старик, пристально в людей подслеповатыми глазами всматривался, кряхтел, щурился, а подумав, ответил важно:

— Что ж, бывает, и так бывает... Знал я одну боярыню... Из-под Галаца была та боярыня, так тоже... Эх, домнуле, домнуле*... Видимо, и вправду, пани повсюду... а-кхе... кхе... одинаковые. Была история в ту пору... Там даже получше этого случай был... Так-то, люди добрые... А со Степаном что ж поделаешь, упрекать не будем. Но лучше подождать, пусть все будет так, как будет. Лучше подождать, люди добрые.

— Беда будет! — мрачно говорили батушанцы.

— Беда будет... Это да, — ответил маре**, набивая трубку крепким табаком, и закашлялся.

Но слух о любви боярыни к простому кузнецу дошел и до боярина Драгия, и до сыновей Драгии.

Частенько начали наезжать в село боярские сынки. Разнюхивать что-то начали, людей расспрашивать стали.

— Берегись, Степан, — говорят люди — берегись, парень! Не сносить тебе головы своей... Некому будет над твоим гробом поплакать.

— Стеха поплачет, — улыбается Степан.

— И против Стехи что-то недоброе задумали сынки боярские. Берегись, Степан! Ни одна душа не узнает, что пропеть про смерть твою.

Послушал людей Степан, поехал к своему младшему брату в Маянешты — подождать, пока все утихомирится. Не было его в Батушанах много дней. Месяц не было в Батушанах.

А за эти дни немало перемен в селе произошло. Недоброе случилось в эти дни. Сильно опозорили Стеху — молдавскую фурмозу*** — сильно опозорили ее за это время сыновья Драгия — боярские псы.

Изнасиловали красавицу батушанскую, заплевали честь девичью собачьей плотью, опозорили подругу Степана.

...Велика была обида.

Волновались люди, шумели люди и юноши в вишняках шептались о чем-то.

---

* Домнуле — господин.

** Маре — старик.

*** Фурмоза — красавица.

Никогда не увидите вы другого человека с такой бурей на лице — таким был Степан, вернувшись в Батушаны. Страшно было, когда смотрели люди в глаза Степану. Недобрым сделалось лицо у Степана.

Ездил Степан в Яссы, ходил к чиновникам важным, бумаги подавал, просил, молил, чтобы разобрали дело о насилии.

Ничего не получилось. Прошло много дней, но ни чиновники, никто вообще не вступился за бедного молдаванина.

Пошел Степан к королю — не допустили. И негде стало искать справедливости.

Нашел ее он сам, но помогла ему ватага юношей.

...Когда тополь сыплет пух на землю, значит, скоро зацветет акация, когда над соломенной кровлей из трубы повалят искры — будет пожар.

Однажды ночью запылало боярское имение, вспыхнуло огнем, облизало небо красными языками и погасло. Там, где была усадьба, остались черные, обгоревшие стены, куча камней и пепла. Утром из-под пепла откопали человеческие кости, и кости эти были опутаны вожжами.

В ту ночь пропал Степан, и в ту же ночь пропала Стеха...

...Ой ветры вы добрые, молдавские, если встретите когда-нибудь Степана-кузнеца, передайте «буна доменянца»* юноше от старого Соломона-гончара, Стехе передайте низкий поклон от батушанских юношей.

Прошлое, как Сирин — слепая птица, тихо хлопает облезшими крыльями, летает беспокойно, над туманно-синими степями, над пыльными дорогами и поет тоскливо тихие песни о старине.

Носит на крыльях воспоминания о турецком господстве, несет на облезшей спине истории о народных героях и разносит простенький рассказ Соломона-гончара с серебряной серьгой в ухе.

---

* Буна доменянца — привествие.

На перекрестке в Уникитештах

Летом и зимой над селом висят тоскливые будни, бродит по окрестностям немая глушь, и ветер, как старательный сборщик налогов, стучит, не умолкая, в изъеденные дождями ставни молдавских хат. Вокруг Уникитешт разбросаны печальные наделы, врезанные хищными руками господ, унылые холмы, густо покрытые зелеными виноградниками, истоптанные дороги и горизонты, летящие в голубиную даль, — все покрыто смертной тоской и тревогой.

Лежит под солнцем тоскливое безлюдье. И блестящее солнце напоминает пряжку румынского жандарма.

Серые лица, глубоко запавшие глаза, белые залатанные рубашки нищих, от убожества расползающиеся прямо на плечах, зияющие сотнями дыр грубые кожаные башмаки на ногах прохожих с опущенными головами возле каменных оград, охватывают душу тяжелой грустью.

Живет в селе плутоньер* Стадзило, у него под старшинством десяток гоцев**. Начальство же — в Уникитештах. А у начальства длинные уши, начальство не потерпит в «своем селе» бунтарей, и тот, кто сверх меры интересуется чем-то, кто спрашивает о непонятных делах, того отправляют на курсы в Кишиневскую тюрьму.

Молчат плугурулы***, покорно втянув головы в плечи, работают через силу.

Были и такие молодцы непокорные, что не хотели жить так, как начальство прикажет. Таких молодцев отправили в страшную Жилаву, и жизнь снова пошла по-старому.

Пройдет по улицам тихим шагом вечер, накроет сумраком Уникитешты и развесит по садам мокрые туманы.

Вздохнут люди, посидят молча возле плетней, вспомнят что-то и мрачно полезут по сараям спать. Спит село и каж-

---

* Плутоньер — фельдфебель.

** Гоц — бандит, разбойник. Так бессарабские селяне называют румынских жандармов.

*** Плугурулы — крестьяне.

дую минуту испуганно прислушивается к пьяным возгласам, что долетают из сельской сигуранцы*.

...Домнуле Стадзило, храбрый вояка, хорошо разбирается в бессарабских винах и, правду сказать, любит домнуле плутоньер иногда попьянствовать, выпить стакан-другой вина честными плутоньерскими губами. Выпив бутылку, домнуле Стадзило собирает беспечных гоцев, и начинаются воспоминания о славных битвах и победах румынской армии.

Непокорные плугурулы долго будут помнить, как великий король расправляется с бунтарями.

О, плутоньера не обманешь!

Но сегодня плутоньер начал пить с горя и обиды. Подумайте только — его сегодня назвал гоцем свой же человек, такой же, как он, честный румын, что ныне живет среди этих бессарабских мятежников. И за что?.. За какую-то там паршивую курицу... Ну, ну?

— Посмотрим, как повернутся события, а там покажем, можно ли оскорблять верных королевских слуг. Посмотрим, черт возьми!

И крепкий плутоньерский кулак тяжело падает на стол.

— Ладно, ладно!.. Небось забыл, как жрал только папушой**. Разжирел небось на бессарабском хлебе, про пеллагру*** забыл, подлец.

В полночь домнуле Стадзило тихо падает со скамейки на пол и, бормоча о неблагодарности, засыпает безмятежным сном ребенка. Ночью улицы пусты и тишину будит лишь мягкий звон остроги гоца, что возвращается неведомо откуда.

Гоц прячет что-то под полой шинели и беззаботно насвистывает военный марш. Разве гоцу можно грустить или думать о чем-то? Пусть другие озабоченно пашут землю, сеют, выплачивают налоги, а он, гоц, будет насвистывать веселые песни и охранять деревню от... От чего?

Ну, об этом уже сам гоц не знает. Да и на что? Когда надо будет стрелять, ему наверняка покажут в кого.

---

* Сигуранца — румынская контрразведка.

** Папушой (*рум.*) — кукуруза.

*** Пеллагра — болезнь.

Эй, мержи, мержи ля Бакеу
*Кум пара ракеу**.

Там, где распятый Иисус, полинявший от дождей и солнца, правой рукой указывает путь на Меришечты, левой — на Тыргу-Окна и головой на Плоешти, стоит приземистая кузница, наскоро обмазанная глиной, с наскоро накинутой кровлей.

Огромный задымленный глаз кузницы, где внутри вечно полыхает горн, смотрит прямо на дорогу, по которой потихоньку ползут бессарабские каруцы**.

Перекресток для кузницы — хорошее место.

С утра до глубокой ночи здесь дышит огнем горн, тяжко ухает молот по наковальне, и нагретые до белого каления подковы злобно шипят в холодном чане. К кузнице постоянно подъезжают неуклюжие каруцы и со скрипом останавливаются на небольшом утоптанном выгоне.

Человек в большой соломенной шляпе соскакивает с телеги, говорит кузнецу «буна доменянца», долго смотрит на работу кузнецов и, помолчав несколько минут, начинает говорить:

— Доброджяну не проезжал здесь? Старый Доброджян...

— Нуй.

— Да... Жара сегодня... Лошади совсем не хотят идти... Что?

— Да...

— А ночью, наверное, дождь будет?

— Ну?

— Пожалуй, будет.

— Наверняка будет. Дождь, безусловно, нужен... Погорело все... Нуй пиня, нуй парале***... Что будем делать? А? Плохи дела.

— Да...

Человек подходит ближе и безразлично бросает:

---

* Эй, мержи, мержи ля Бакеу. Кум пара ракеу – Эй, пойдем за водкой в Бакеу (город).

** Каруца — воз.

*** Нуй пиня, нуй парале — нет хлеба, нет денег.

— У меня немного сломалось возле шкворня. А что сломалось, и сам не знаю. Думал так доехать...

— А может, и доедешь? Почему бы и нет, если близко, то, безусловно, доедешь.

— Ну, доеду. Что ж, доеду... Только все равно надо исправить.

— Что ж, можно и исправить.

Человек принимает скучный, незаинтересованный вид и, зевая, сбрасывает широкий брыль.

— Говорят, у вас недорого? А? Люди мне говорили... Так и сказали — хорошие кузнецы в Уникитештах и берут недорого...

В Меришечтах сегодня муши* и каруцы без конца скрипят через Уникитешты. Во время муши возле кузницы сбиваются десятки каруц, которые нужно починить, и маленький выгон превращается в базар.

Выпряженных лошадей ставят в холодок, оглобли повозок поднимают вверх и на оглобли накидывают широкое белое полотно. Теплый бессарабский ветер надувает полотно, как парус, и на землю ложатся причудливые тени холодка. Издалека все это выглядит словно цыганский табор или военный лагерь, и между телег нелегко пробраться к кузнице.

Сначала и не разберешь, кто о чем кричит, а потом и знакомых найдешь.

— Эй, Довидогло!..

— А, Ионеску, откуда? Как сын?

И старые знакомые, что встречаются не чаще чем два раза в год, обнимаются и уже через несколько минут сидят где-нибудь в холодке, где угощают друг друга добрым бессарабским вином и сетуют на нынешние лихие времена и тяжелую жизнь:

— Ну, друже, и с вином плохо стало... Нет вина, что было когда-то раньше. Нет и тех урожаев...

И что-то еще хочется сказать, и что-то еще на языке висит. Да разве выскажешь все это таинственное после первой рюмки?

— А ну, по первой!

— Дай нам боже урожай...

---

* Муши — базар.

— А ну, еще по одной!

— За счастье наше...

— Ну, еще по маленькой, друже!

— За хорошую долю...

— Чтобы жилось лучше. Нет, нет, надо выпить за лучшую жизнь.

Сели плугурулы, черные, тесным кругом в холодке под полотном, откупорили бутылки, разлили пахучее вино в чарки и выпили по одной, по второй, а дальше уже начали пить и за счастье, и чтобы бедному молдаванину жилось лучше. А с пятой — заговорило сердце. Поднялся старый Сандуца, встал на колени, оглянулся вокруг и, наклонив голову к плугурулам, зашептал быстро:

— Ну, пей! Ну, кричи о счастье! Чтобы жилось лучше... Эх, плохо стало. Душат прок... бояре, душат. Никакого счастья нет... Ничего нет. Налоги плати, жандарма корми, дай парале, дай сына в солдаты, дай офицеру дочку, дай, и дай, и дай... Все только дай... Под царем лучше жили или я вру? Пусть кто-нибудь из вас скажет, что я соврал. Ну?

Старый Сандуца замолчал, склонив голову немного набок, чтобы лучше слышать — кто там будет говорить, что он врет. Но все соглашались с уважаемым маре. Казалось, словно каждый едва слышно произнес:

— Правду, правду ты говоришь.

— Но мало, мало им, собакам — снова зашептал Сандуца, — мало им шкуру с нас драть, так они еще хотят молдаванина лакеем сделать... Душу хотят забрать у молдаванина. Стараются в сердце плюнуть. Сегодня молодой Убгер рассказывал в шинке, будто в Единцах плугурул не успел поклониться жандарму... Слышите — псу-гоцу не поклонился. И что же они сделали, эти проклятые братья*? Надели на палку комендантов картуз, солдат носил его по городку, а люди снимали шляпы и кланялись палке, а кто не хотел кланяться, того били ружьями и топтали ногами. Били до тех пор, пока бедняга не падал на землю и не кричал:

— Простите, простите.

Тогда ему давали поцеловать палку и отпускали. Слышите? Плюют в свободное молдавское сердце.

---

* Румыны называли себя в Бессарабии «братьями из-за Прута».

К плугурулам подошел высокий кузнец и с мрачной насмешливостью взглянул на старого Сандуцу.

— Чего смотришь? — вскочил Сандуца. — Может, хочешь в сигуранцу на меня донести?

— Я не шпик — угрюмо прервал кузнец, — в сигуранце не работаю. Что там вам починить?

— Ну, если в сигуранце не служишь, так садись и выпей с нами!

Сандуца присел и взял бутылку.

— А как звать тебя?

— Зовут Степаном — криво улыбнулся кузнец, — а пить не буду... Что вам там надо починить?

— Нет, ты выпей с нами, покажи, что ты наш, а с починкой еще успеем. Времени хватит...

— Да и не ваш я.

— Как же это так? — растерянно проговорил Сандуца. — Не шпионишь и пить с нами не хочешь?

— Пей, Степан, — поддержали Ионеску и Бужорт, — пей, кузнец. Для вина все равно, наш ты или нет. Ему все равно, кто его пьет: боярин или бедный молдаванин... Пей, не обижай стариков, слышишь?

Кузнец снова улыбнулся и, не сказав ни слова, повернулся к ним спиной.

— Эй, кузнец!

Но кузнец уже шел между каруц и громко кричал:

— Кому там чинить?

— Ну, здорово, — удивился Сандуца, — ни за нас, ни за вас. Вот так, ему говоришь — пей, а он ни слова.

— Сурйозный он. И вот всегда такой... Когда румын еще здесь не было, появился он у нас и с тех пор таким и остался. Откуда пришел к нам, кто он такой и почему — никто не знает. Может, разбойником когда-то был, а может, и добрый человек.

— А куда это он спешит? — обеспокоенно спросил Бужорт и, не удержавшись, вскочил на ноги, обеспокоенно посмотрел в ту сторону, куда быстро пошел Степан, а взглянув, спокойно сел и улыбнулся.

— Женщина пришла.

Боярин Дука и его друг Мунтян возвращаются с пирушки

Закурив сигарету, боярин Дука удобно сел в экипаж и крикнул вознице:

— Ну, гони скорее!

Повернул свою голову к блистательному локотененту* Мунтяну:

— Чтоб его черти забрали. Что же случилось с девушкой?

— Ха. Разве меня может интересовать, что было дальше? Обычная глупая история, сентиментальная и сладенькая. К тому же тот испанец мог меня заколоть, как какого-то быка.

— Чудесно, прекрасно, — смеялся Дука.

— Согласен, но вы забываете, mon cher, что вместе с этим была *partie de plaisir*** среди темных улиц и черной ночи, когда ревела буря и все прочие атрибуты драматической сценичности падали на голову несчастного Ромео. К тому же коварная Джульетта кричала мне вслед невозможные ругательства. Согласитесь, что *mea culpa, mea maxima culpa**** заслуживает всех этих неприятностей. Теперь просто смешно.

Мунтян хрустнул пальцами и зевнул.

— А это?

— Уникитешты.

— Уни... Уни... У, черт, какая ерунда! Скажите вашему вознице, пусть он немного подгонит лошадей.

Дука поднял голову и, толкнув возницу в спину набалдашником своего стека, бросил гневливо:

— Давай быстрее, дурак!

Лошади рванули, и экипаж помчался по хорошо наезженной дороге, оставляя позади густые облака желтой пыли. Вдоль дороги побежали спокойные поля кукурузы, тихо дремлющие под жарким, сухим солнцем.

---

* Локотенент — румынский офицер.

** Partie de plaisir — веселая пирушка.

*** Mea culpa, mea maxima culpa — моя вина, моя великая вина.

— А это что, овес? — небрежно качнул головой Мунтян.

Боярин тяжело повернулся, уперся пухлыми пальцами в колени и удивленно взглянул на него:

— Что вы говорите? Стыдно, стыдно... Неужели вы не разберете, где папушой, а где овес? Нехорошо, нехорошо.

Мунтян немного смутился, заморгал глазами и открыл рот. Красивый локотенент нахмурил лоб и, словно бы вспоминая что-то давно забытое, проговорил:

— Делают мамалыгу, да? Я угадал? Хотя это очень скучное дело. И почему я обязательно должен знать всю эту ерунду? Представляю, как это интересно. Вот если бы вы спросили, какова разница между брюнеткой и блондинкой, тогда бы... Скажите мне, — неожиданно повернулся Мунтян, оборвав свою речь, — что за смысл вам жить тут, среди этой дикости?

— Безусловно же, не папушой, — захохотал боярин, — конечно же деньги, и во-первых деньги, и во-вторых — деньги, и в десятый раз...

— И это выгодно?

— Ну безусловно.

— Но какие отвратительные хаты. И они живут здесь? Странно. Мне кажется, я бы и часа не прожил здесь.

Экипаж катился промеж тынов, что отгородили дорогу от вишневых садов и молдавских хат. В пыли играли дети, озабоченно бродили и кудахтали куры, стерегущие цыплят от неожиданного врага.

Жандармы, изредка попадавшиеся на дороге, четко козыряли веселому локотененту, а он кивал им головой в ответ.

— Но мне кажется, здесь жандармов больше, чем пейзан. Это уже портит весь пейзаж, — сказал Мунтян.

Боярин Дука зевнул:

— Бунтуют.

— Что же им еще надо... Не хотят ли они научиться, например, балету?

— Они хотят лежать кверху пузом и пьянствовать,— раздраженно ответил боярин. — Плетей им надо!

— Чрезвычайно удивительно, — произнес локотенент,— и я должен был бы говорить с ними об искусстве? Ха-ха-ха!.. Да и как же я буду говорить с ними?

Глупый и болтливый локотенент действительно мог оказаться в неприятном положении, потому что он почти совсем не знал своего родного языка. Он снова засмеялся:

— Но если бы они даже совсем никак не говорили, а только мычали, как скотина, то и тогда бы я об этом нисколько не сожалел.

Дука мрачно отвернулся и принялся рассматривать покосившиеся хаты, стоявшие у дороги.



Дорога круто повернула, и перед глазами появилась кузница.

— Что это, капелла? — спросил веселый локотенент, кивая головой в сторону выгона, где каруцы перегородили всю дорогу.

Боярин недовольно взглянул вперед и пробормотал:

— М-м... что-то наподобие... а впрочем — похоже, что кузница.

— Что?.. Ах да, знаю-знаю... Но вам не кажется, что людей здесь собралось больше, чем надо? Может, здесь произошло что-то чрезвычайное? Вы уверены, что пейзане не сделают здесь никакой пакости?

Локотенент забеспокоился и заерзал, испуганно поглядывая по сторонам.

— Мне кажется, что тут есть нечто подозрительное. Может, мы придержим лошадей?

— Да зачем? Наш район спокойный, — ответил боярин.

Локотенент пожал плечами.

Но лошади побежали быстрее, чувствуя, что дом совсем недалеко. Экипаж несся мимо кузницы. Боярин Дука снова крикнул вознице, чтобы тот погонял лошадей, а сам искоса посматривал на плугурулов, молча снимавших шляпы перед почтенными господами.

Возница стегнул лошадей, поднял локти и, втянув голову в плечи, пронзительно свистнул. Пристяжная нервно дернула задом, подобрала толстый круп и испуганно рванула экипаж в сторону. От этого боярин и локотенент чуть не вылетели на дорогу.

— Дурак! — воскликнул Дука. Он быстро схватил вожжи из рук растерянного возницы, пытаясь остановить лошадей, несущихся вскачь. Экипаж снова дернулся, и боярин упал на дно экипажа, потянув поводья в сторону. Под рессорами что-то хрустнуло. Подпрыгнув пару раз, экипаж тяжело накренился на правый бок. Из разбитого колеса посыпались на землю сломанные спицы.

Лошади, запутавшись в постромках, испуганно протянули экипаж еще немного и встали. Но коренной ударил задом по коробу, встал на дыбы и поднял за собой пристяжную.

— Держите лошадей, — закричал Богач, падая на землю. — Держите лошадей, подлецы.

К экипажу подбежало несколько молдаван. Сильные руки черных плугурулов поймали лошадей. Лошади встали.

— Что такое... Что случилось... В чем дело? — забормотал по-французски красивый локотенент, поднимаясь с земли и глядя испуганными глазами на молдаван, схвативших лошадей.

Дука взбесился от злости.

— Мразь! Негодяи! — орал боярин, размахивая стеком. — Хамы, хамы чертовы... Это чья каруца?

— Прос...

— Молчать... Чья каруца? Шляпы долой, когда с боярином говорите... Прочь шляпу, мразь!

Разгневанный Дука, не давая плугурулу прийти в себя, размахнулся стеком и сбил с головы молдаванина широкополую шляпу. Плугурул был виновен в том, что его каруца оказалась причиной катастрофы.

— Где кузнец? — угрюмо спросил Дука.

Несколько человек быстро принялись кричать:

— Эй, эй... Кузнеца боярину... Степан, боярин зовет!

К господину спокойно подошел высокий кузнец и молча остановился перед ним.

— Ты кузнец?

— Да.

— Вот это сумеешь починить за час?

— Хорошо... Но это будет стоить боярину двести пятьдесят лей*.

— Что? Молчать! — закричал боярин, размахивая стеком, и вдруг умолк.

Прямо в боярские глаза гневно глядели глаза Степана. В лицо боярина смотрело что-то жуткое и холодное.

Снова отвернулся боярин и уже спокойно прошипел:

---

* Лея — румынская денежная единица. До войны — 37½ копейки, а теперь — 1½ коп.

— Бунэ*.

— Может, боярин прикажет подтащить экипаж к кузнице? — спросил Степан.

Дука повернулся к плугурулам, толпой стоявшим у тына, и величественно-строго крикнул, чтобы тянули экипаж. Молдаване медленно подошли.

...Через несколько минут весело захлопали пробки и в звонкие стаканы полилось благоухающее, темно-кровавое вино. На ярком ковре лежали светло-белые салфетки, а на них — тяжелые, зеленые, сочные гроздья винограда и бледно-розовая ветчина.

— Прекрасный завтрак, чудесно! — забормотал локотенент, уже успевший выпить несколько чарок.

— Да, прекрасный.

Локотенент смотрел куда-то в сторону и вдруг произнес:

— Вам тоже нравится? Прекрасно, необыкновенно!

— Кто? — удивленно спросил боярин.

— А вон та женщина, что стоит у плетня, — Мунтян внимательно, не отводя глаз, смотрел вперед.

Боярин, придерживая живот, громко захохотал. И в самом деле — локотенент и здесь сумел найти женщину. Но локотенент заерзал, заволновался, пристально всматриваясь в молодую женщину, что стояла возле тына. Он спросил боярина, не может ли тот подозвать ее сюда.

Тот скривился, но, повернув голову к тыну, крикнул:

— Ге! Венан коч**!

— Вы меня зовете? — удивилась женщина.

— Да, да, тебя, моя дорогая.

Молодая женщина удивленно повела плечами, оглянулась растерянно и потихоньку пошла к боярину.

— Ближе! — крикнул боярин.

Женщина сделала еще два шага.

Теперь и боярин увидел, какая красивая эта фурмоза, с тонкими чертами смуглого лица и с большими теплыми глазами.

— Как тебя зовут?

---

* Бунэ — хорошо.

** Ге! Венан коч! — Эй, иди-ка сюда!

Женщина вскинула длинные ресницы, взглянула в жадно распахнутые глаза локотенента и тихо бросила:

— Стеха.

Но локотенент горячим взором смотрел на молодую женщину, пожирал ее глазами и уже просил боярина спросить у нее, что такое всемогущая любовь. Боярин точно так же ответил ему по-французски:

— Не будьте наивным. Эти люди понимают любовь иначе. Если вы дадите ей пару сот лей, она в течение часа познакомит вас со всеми любовными утехами.

— Так, так. А как вы думаете, она пьет вино или нет?

— Что?

— Я хочу угостить ее стаканом вина.

— Друг мой, безусловно, это дело ваше, но я предупреждаю вас, что вы тогда от нее не отцепитесь.

— Но я хочу.

Боярин повернулся к женщине и сказал:

— Домнуле офицер позволяет тебе выпить стакан вина.

Стеха качнула головой и отступила назад.

— Я благодарю домнуле офицера, но пить вино я не буду. Я не пью.

Локотенент заинтересованно вытянул шею.

— Что она говорит?

— Она говорит, что пьет только шампанское и в более уважаемом обществе, нежели наше, — раздраженно произнес боярин.

— Вы шутите, уважаемый друг... Но почему она не хочет?

Дука пренебрежительно взглянул и ответил, что он этого знать не может — почему не пьет вина эта фея папушоя.

Локотенент вскинул брови и сладким голосом произнес:

— Тогда она выпьет из моих рук.

Он взял стакан вина в руки и подошел к Стехе. Принялся упрашивать ее, чтобы она выпила, но он говорил на французском языке, которого Стеха не понимала. Локотенент нервозно крикнул:

— Ну, скажите вы ей!

— Пей, когда офицер подает, — гневно крикнул Дука.

— Но... я уже говорила боярину, что не буду... И позвольте мне уйти, — Стехе не терпелось уйти от них подальше.

— Что она говорит? — спросил локотенент.

И вдруг в голове боярина мелькнула необычайно веселая мысль. Сдерживаясь от внутреннего смеха, он ответил:

— Она говорит, что стыдно такому прекрасному офицеру предлагать ей вино, когда она желает поцелуя.

— Нет, вы взаправду? — самодовольно улыбнулся локотенент.

— Правда...

— Позвольте мне уйти! — упрямо и настойчиво обратилась к ним Стеха.

Дука весело засмеялся:

— Она недоумевает, почему вы ее не целуете!

— А скажите, это правда?.. Вы не шутите?

— Да чего вы с ней манерничаете, с этой канальей в юбке? Берите ее, пока она вас не взяла!

Мунтян подошел к Стехе и обнял ее за талию. Она испуганно отступила и убрала руку локотенента.

— Чего он хочет, этот домнуле офицер? Я не девушка... У меня муж. Я не понимаю его слов... Скажите ему, домнуле.

— Ого, она уже просит деньги...

Дука ржал, ползая от смеха и от выдуманной им игры. Даже перевернул стакан с вином на светло-белые скатерти.

Локотенент что-то забормотал, поспешно вытащил деньги и принялся совать их удивленной Стехе.

Боярин заливался от смеха и, упав на ковер, мотал ногами и весело ржал.

— Теперь делай что хочешь.

Степан видел барские игры, но, не замечая ничего дурного, работал спокойно, искоса поглядывая в ту сторону. Плугурулы мрачно поглядывали, так, что если бы локотенент видел их взгляды, он наверняка не трогал бы молодую женщину.

Но Мунтян ничего не видел. Поймав потными руками шею Стехи, которая пыталась вырваться и яростно сопротивлялась, локотенент целовал ее лицо, желая добраться до ее вишнево-красных губ, туго налитых кровью.

Тогда Степан не выдержал. Бросил работу, тихо подошел к Мунтяну и спокойно произнес:

— Бросьте, домнуле.

Этот было спокойствие перед грозой. Потому что у Степана в груди кипело.

— Нехорошо боярину приставать к женщине простого плугурула.

Мунтян, весь красный, с встопорщенными волосами, посмотрел на кузнеца, мешавшего ему забавляться, и нервно повернулся к боярину.

— Чего ему надо?

— Он говорит, мой друг, что вы осел...

— Что-о?

Мунтян покраснел.

— Спросите у него.

Мунтян крикнул кузнецу по-французски. Тот посмотрел на локотенента и, взяв Стеху за плечи, спокойно произнес:

— Я не понимаю, что вы говорите.

— Что он сказал?

— Он уверяет, будто все офицеры сволочи и мразь.

Мунтян бешено завизжал, наступая на Степана. Он кричал ему о том, что тот не смеет так говорить. Но Степану было непонятно, почему офицер волновался и размахивал перед его лицом стеком.

— Это моя женщина, поэтому я и вступаюсь за нее, — хмуро отвечал Степан на гневливые выкрики Мунтяна. Боярин неожиданно и раздраженно закричал, чтобы Мунтян бил кузнеца, потому что тот оскорбляет офицера. И, драматично взмахнув рукой, локотенент бросился бить Степана по лицу стеком. Стек свистел в воздухе.

Степан оттолкнул Стеху в сторону и встал перед офицером, грозный и огромный. Что-то прохрипел и, забыв обо всем, рванул локотенента за грудки, бросив его на землю и подняв офицерским телом облако пыли.

Но худенький локотенент, уже пьяный, быстро вскочил на ноги и снова ударил кузнеца стеком по лицу. В тот же миг, как подброшенный, он взлетел вверх. Не успел никто и глазом моргнуть, как Степан уже сидел верхом на красивом локотененте, молотя офицерскую спину здоровенными кулаками.

Испуганный Дука беспомощно заметался между каруцами.

— Вяжите его, вяжите... Хватайте его!

Он перепугано орал и танцевал вокруг Степана и локотенента. Плугурулы, к которым обращался боярин, вместо того, чтобы поспешить спасать офицера, бросились к своим каруцам, подобрали вожжи и погнали лошадей во все стороны.

Дука совсем растерялся. Но вот он схватил своими жирными пальцами шею Степана и принялся душить его изо всех сил. Стеха подбежала и взволнованно схватила боярина за рукав, пытаясь оторвать его от мужа. Она просила, чтобы боярин отпустил Степана.

— Пошла прочь, гадюка!

И боярин так сильно ударил Стеху в грудь, что она, даже не крикнув, камнем упала на землю. Боярин принялся звать на помощь. Выкрикивал глубоким хриплым голосом, чтобы бежали спасать офицера.

И вот уже к ним мчались трое жандармов, держа сбоку сабли и ругаясь на всю улицу.

— Большевик!

Так крикнул боярин жандарма и указал на Степана. Жандары мигом схватили кузнеца и скрутили ему руки за спиной ремешком.

— Попался, сволочь, а ну, покажи свою морду!

Они радовались тому, что поймали преступника, и, увидев покрасневшее от натуги лицо Степана, оба удивленно забормотали:

— Ага... Кузнец Македон? Ну, брат, тебя нам и надо, давно уже следили за тобой.

Один жандарм повернулся к Мунтяну и козырнул:

— Давно уже мы заметили, домнуле локотенент, что он связан с большевиками... Попался-таки.

А локотенент, вытерев запыленное лицо, визгливо пищал:

— В тюрьму его... В тюрьму немедленно!

— Ступай вперед... Ну?

Степан опустил лохматую голову, мутным взглядом посмотрел на неподвижно лежащую Стеху и, скрипнув зубами, пошел по дороге, тяжело переступая непослушными ногами.

Сигуранца

Степана привели в сигуранцу, где жандармы отрекомендовали его как большевика. Они рассказали, что из его рук только что вырвали домнуле локотенента.

Плутоньер, прищурив глаз, произнес:

— Тэк-с. А ну, подойди-ка сюда поближе!

— Меня офицер первым уда...

— Молчать!

Плутоньер подскочил к Степану и с размаху ударил его в зубы. Степан только и успел спросить, за что его бьют, но плутоньер снова размахнулся и вновь ударил кузнеца, на этот раз угодив Степану в нос.

Сзади заскрипели двери, и в темную комнату сигуранцы вошли боярин и Мунтян. Серый свет из грязного окна бросил смутные тени на разгневанное лицо боярина и свирепое лицо Мунтяна.

— За что? — подскочил Дука. — Ах ты, падаль, в тюрьму его! Сейчас же в тюрьму, ишь, мразь!

— Успокойтесь, — вежливо обратился плутоньер, — прошу сесть и рассказать, в чем дело.

Боярин, указав на Мунтяна, произнес:

— Со мной офицер.

— Прошу прощения, извините, пожалуйста.

Плутоньер заметался по комнате, схватил стул и, предупредительно согнувшись, усадив локотенента.

— Вы сильно пострадали, домнуле локотенент?

Мунтян, не поняв вопроса, кивнул головой и прошипел сквозь зубы по-французски:

— Да, да, очень приятно.

Начали допрашивать. Боярин Дука, пошатываясь, спокойным голосом рассказывал плутоньеру, который записывал эти показания в протокол.

— ...тогда мы сели в тени и начали завтракать. В это время какая-то неизвестная женщина подошла к локотененту и попросила стакан вина. Локотенент, разумеется, налил ей вина — разве нам жалко? Да... Налил вина, она выпила и по-

просила дать еще стаканчик для ее мужа, вот для этого самого уважаемого кузнеца. Но, к большому сожалению, вина уже не было и нам пришлось отказать ей. Тогда этот уважаемый человек, или кто он там такой, я его не знаю, подскочил к нам, начал кричать, что мы, буржуазия, жалеем стакан вина и что нас скоро порежет большевистское войско. Ясно, что человек глупости говорил, потому что дурак никогда не говорит умных слов, поэтому мы и эти глупости пропустили мимо ушей... Он еще что-то кричал, я и не помню уже всего, а потом начал оскорблять имя короля. Тогда домнуле локотенент, не выдержав такой подлости, ударил этого...

— Ложь! — крикнул кузнец и в том выкрике были смертная печаль и невыразимая боль.

— Молчать!

— Вранье!

Кузнец бросился тяжелым телом к столу, словно огромная разъяренная птица.

— Врет боярин... Они приставали к моей женщине, они...

— Молчать!

Разъяренный плутоньер, схватив со стола нагайку, принялся осыпать Степана частыми, сильными ударами. Боярин удовлетворенно качал головой и подзадоривающе хрипел:

— Так, так. Большевизм из таких субъектов надо выбивать нагайками.

— Господа, — забился кузнец, — да как же так можно? Да люди же были... Разве...

— Поговори еще, поговори у меня. Я тебе дам!

Широко открытыми удивленными глазами Степан долго смотрел, не отрываясь, на боярина, плутоньера и жандармов. Долго рассматривал синеватые пятна на грубой скатерти стола и вдруг почувствовал, как из глубины его существа горячей волной потянулись к горлу глухие рыдания. Упал Степан на пол, охватил руками огромную голову и замер.

Было ему так тяжело, словно грудь его разбили дубинами, а в глотку засунули кусок ржавой подковы.

Степан содрогнулся.

В опустошенное сердце, как звонкий колокол, ударила железным языком невыносимо кипящая ненависть.

По дороге в Кишиневскую тюрьму

Синие ветры тянут шелковые полотнища облаков, нежно-нежно овевают лицо, шелестят в безграничных кукурузных полях быстрой, далекой грустью. Ветры шевелят тяжелую зеленую шапку одинокого дерева и вздымают тонкую пыль. Несутся тихие ветерки над дорогой, нагоняют пыльные холмики, ласкают исхудавшие лица арестантов, бредущих в Кишиневскую тюрьму.

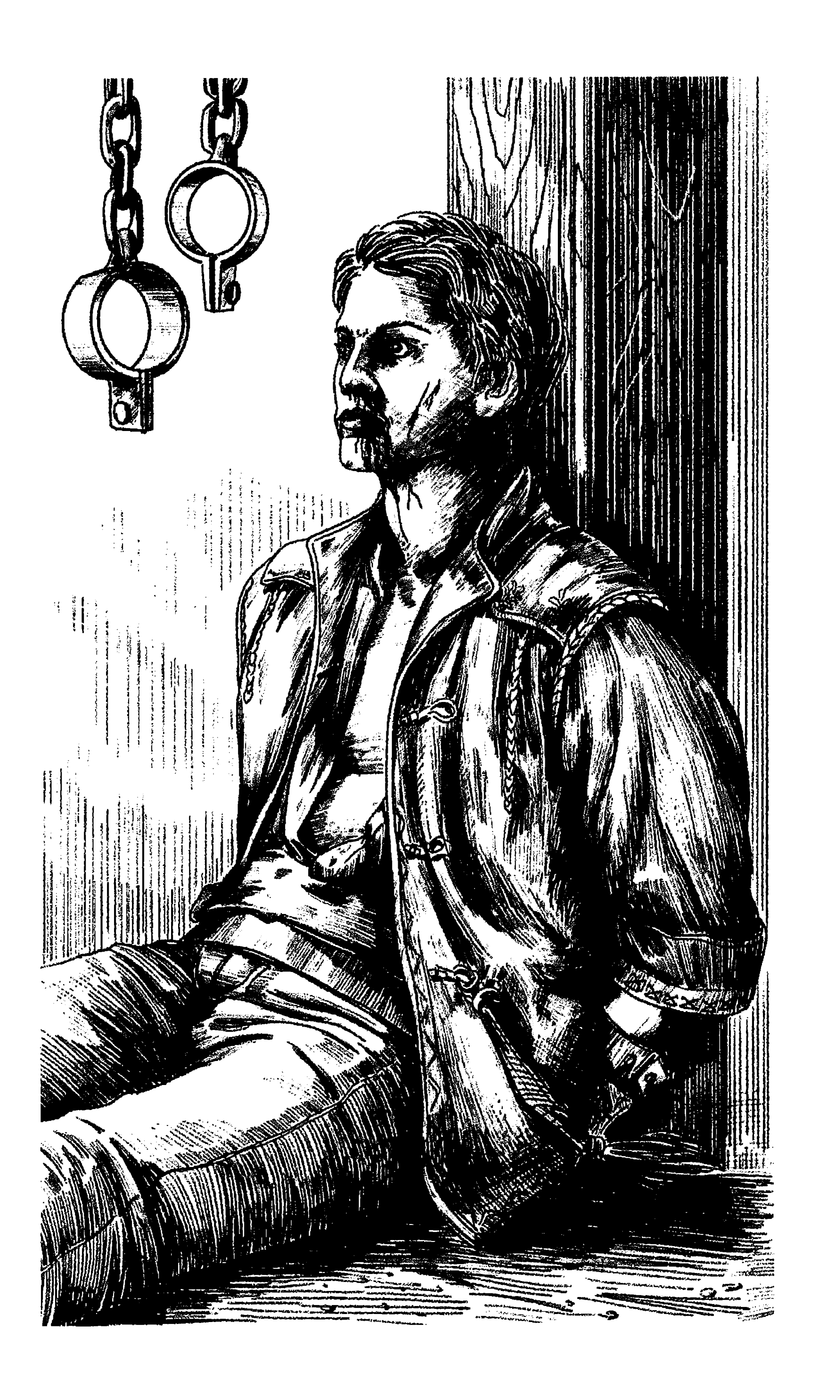
Днем густые толпы людей, окруженные крепкой охраной румынских жандармов, потихоньку идут по пыльной дороге, кутаются в облака желтой пыли, идут от села к селу, с трудом передвигая ноги, от этапа к этапу, вырастая с каждой ночевкой, увеличиваясь до размеров корпуса арестантов. Сегодня после ночевки в Калараше к арестованным присоединили рабочих с рудников Семиградья.

Невеселые лица у арестованных, медленные движения у людей, хмуро идущих через села и хутора в Кишиневскую тюрьму. И думы у всех такие же унылые и тяжелые, как и у кузнеца из Уникитешт — Степана Македона. Опустив голову, Степан погрузился в свои невеселые думы, не замечая тех, кто шел с ним рядом. Не замечал он, что женщины каждого села провожают толпу арестованных грустными взглядами. Не видит Степан тех рук, которые протягивают им мамалыгу, брынзу и сало. Все это дают им сердечные молдаванки. Лишь изредка, подняв голову и встретив суровый взгляд плугурула, что идет пока еще свободно ему навстречу, задумается о чем-то Степан и снова опустит голову еще ниже. А спроси, о чем же думал Степан, так, пожалуй, и сам он не ответил бы на этот вопрос. Совсем пусто в душе, пусто в сердце и пусто в голове.

Думает он про Стеху, что она будет делать без него. Куда денется? Ах, как болит голова... Это в сигуранце тщедушный жандарм бил его каблуком по голове.

— Не хочу! — неожиданно воскликнул Степан.

На него устало взглянули измученные лица и так же устало отвернулись.



У этих людей тоже немало горя, наверное, горя у них больше, чем зерен в этих кукурузных полях.

Почему не захотели слушать его, почему не выслушали правду? Снова неожиданно, он невольно громко воскликнул.

— Почему?

— Эй, ты, — лениво обратился к нему жандарм, — крикнешь еще раз, так я тебе... гляди!

Степан, опустив большую голову, пошел быстрее.

Долго смотрел на Степана молодой рабочий, что шел рядом с ним, долго изучал крупную фигуру кузнеца, придавленного непомерной тяжестью горя, и в конце концов подошел ближе.

— Что, трудно? — тихонько спросил рабочий и прикоснулся рукой к плечу Степана.

— А? Что? — и, подумав, ответил: — Нет...

— Значит, доволен? — улыбнулся рабочий.

Степан удивленно посмотрел в лицо рабочему и покачал головой:

— Ничего у меня нет...

— Где?

— Здесь...

Кузнец ударил себя кулаком в грудь.

— Надо, чтобы было, — прошептал рабочий. — Если ничего нет, значит, смерть. А надо жить, слышишь? Надо жить!

Степан посмотрел ему в лицо и, покачав головой, снова равнодушно сказал, что у него все в груди опустело. Так, понемногу, он начал разговаривать с рабочим. Тот говорил, что он, такой большой и сильный, не имеет права так безнадежно смотреть на ситуацию. Он живет не для себя. И жить надо не для себя. Надо жить для всех, кому плохо. Не только они вдвоем — много людей, миллионы людей страдают. Но всем надо жить и всем бороться.

Рабочий спросил, за что взяли Степана.

— Офицера бил.

— О-го-го — молодец! Как же это вышло? Да ты расскажи, я не следователь и не шпик. Можешь говорить... Ну, или как хочешь... Я только знаю, что вот расскажет о своем

человек — да и станет в нем горя наполовину меньше. А если горе хоронить в себе, тогда оно растет.

Поначалу неохотно начал свой рассказ Степан, а дальше уже слово за словом рассказывал кузнец о боярской правде, и слова кипели, как горючая смола. Но рабочий не удивился, видимо, слыхал еще и не такие рассказы.

— Да, да... Обычная история. Таких много случается. А вот что со мной случилось недели две назад.

И низенький рабочий начал бойко рассказывать, за что его забрали. Все произошло из-за работы. Работал он на руднике. Безусловно, работать надо — против этого он не протестует. Но ведь надо еще и жить. Вот из-за жизни все это и получилось. По шестнадцать часов заставляли работать. Получается, на жизнь ничего не оставляли. А это же не работа, а каторга — хуже смерти такая жизнь. Ну, вот они и начали требовать лучшего. Да так усердно начали требовать, что начальство обиделось и быстренько пригласило полицаев, чтобы они поправили дело. Пригнали жандармов. Расспрашивать начали, чего мол, хотят, и сказали, чтобы выбрали делегацию и послали. Выбрали его. А если уж выбрали, то не откажешься. Пошла делегация в контору и начала переговоры. Говорили там, говорили, да только начал этот самый рабочий доказывать управителю, что и они такие же люди, как и он. А тот говорит, мол, кому не нравится, может увольняться. А куда пойдешь? Тут уже дело дошло до ругани.

От имени всей делегации говорил этот рабочий. За это ему и досталось, когда инженер встал и крикнул, что он большевик. Вот такие приключения. А из разговора в итоге вышло то, что теперь идет он в Кишиневскую тюрьму.

Рабочий покачал головой и спросил Степана:

— Ну, как, нравятся тебе приключения?

Стиснув зубы, глухо ответил Степан:

— Нравятся.

— Вот и хорошо — значит, познакомимся. Как же тебя зовут?

— Степаном. Степан Македон.

— А меня просто Аржоняну.

Аржоняну протянул руку кузнецу, и они крепко пожали друг другу руки.

Вдалеке на печальном фоне вечернего неба появились желтые приземистые бараки этапа. Дорога пошла вниз, идти стало легче, арестованные начали идти быстрее. Жандармы засуетились.

— Не отставать, встать по четыре.

— Это последний, — кивнул головой Аржоняну на бараки и, незаметно взглянув на Степана, добавил: — И последний день под небом... Тюрьма скоро. Завтра посадят в герло*. А из герла одна дороженька, друг мой, эх, жизнь распроклятая!

— Что же, надо сидеть, ничего не поделаешь, — мрачно проговорил Степан, сведя густые брови.

— Выходит, что тебе все равно, — тюрьма так тюрьма, свобода так свобода?

— О чем это ты?

— Да все о том же самом, — наверное, тебе хочется в тюрьме сидеть?

— Так же хочется, как и тебе.

Аржоняну подмигнул и повел плечом:

— Друг мой, мне совсем не хочется... А если бы у меня были твои плечи, так и не сидел бы.

Кузнец напряженно прошептал, схватив Аржоняну за плечо:

— Бежать?

— А ты как думал? Будем ждать, пока посадят в герло?

Степан испуганно оглянулся на стражей и, наклонившись еще ниже, спросил:

— А если поймают?

— Тогда... хуже будет... Да только не поймают. План у меня... Хороший план... Скажи только, ты очень сильный?

Кузнец напряг мышцы под рубашкой на руке, отчего рукав едва не треснул.

— Ого!

— С двумя справишься?

---

* Герло — камера-яма в румынских тюрьмах, куда сразу сажают арестованных.

— Конечно!

— Чтоб только не крикнули, сможешь?

Степан улыбнулся в ответ, раздувая широкие ноздри:

— У меня и не пикнут!

— Они будут с ружьями, слышишь?

— Все равно.

— Ну, говори — согласен или нет?

Кузнец опустил глаза:

— Бунэ... Говори план.

Аржоняну подошел вплотную и, горячо дыша в лицо Степану, поспешно зашептал ему на ухо свой чертовски хороший план, как сбежать. И по мере того, как говорил Аржоняну, лицо кузнеца светлело, губы сошлись в тонкую железную пластинку, а ноздри, словно кузнечные мехи, широко раздувались, с силой втягивая холодный воздух.

Степан резко выпрямился. Горящие глаза вспыхнули огнями радости и свободы, мышцы заиграли под полотняной рубашкой.

— Эй, подтянись! — закричали жандармы. Но этот крик уже не ударил по сердцу болью, теперь он освободил крылья великой силы, забившейся в груди Степана.

К последнему этапу он шел с радостной надеждой.

Позвольте выйти...

Ночь.

Бледный свет керосиновых ламп бросил дрожащие желтые полосы на сотни спящих тел, освещая измученные восковые лица и пытаясь заглянуть в глубокие черные щели глаз. В темных углах притаились серые, неприветливые тени, словно бы сторожа тяжелый сон хрипящего и кашляющего слоя человеческих тел. Под потолком густым туманом висит тяжелый, остро пахнущий воздух.

Спят арестованные. Вздрагивают во сне и бормочут проклятия. Дремлют стражи на подоконниках и возле дверей. Изредка вскочит какой-нибудь узник, посмотрит вокруг себя испуганным непонятным взглядом, а встретив тяжелые глаза стража — вспомнит все, все поймет и пробормочет с хрипом и кашлем:

— Наружу!..

Тогда, перекинув карабин, страж коротко бросает:

— Ступай вперед... Попробуешь бежать — пристрелю, как собаку.

— ...спишь? — толкнул Аржоняну Степана в бок.

— Ну?

— Ты не раздумал?

— Нуй*.

Аржоняну помолчал. В углу кто-то тихо всхлипнул в полусне и протяжно застонал. Кто-то зашелся долгим удушливым кашлем.

— Готов?

— Да, — коротко ответил кузнец.

Аржоняну приподнялся на локтях.

— Ну... Смотри... Я иду.

И, вскочив на ноги, Аржоняну пошел к охраннику.

— Куда?

— Наружу... Живот болит.

И Аржоняну схватился руками за живот, согнулся в три погибели и скривил лицо. Постовой перебросил карабин.

---

* Нуй — нет.

— Ступай вперед...

Аржоняну пошел к двери. Вскочил кузнец.

— И я пойду.

Страж посмотрел на Степана, широко разинул рот и зевнул.

— Подождешь... Этот пойдет, а потом ты. Успеешь.

Кузнец пошатнулся и жалобно проговорил:

— Ой, не могу, тошнит меня... Сил нет, так тошнит.

Румын выругался:

— А, черт — мало бьют вас, чертей. Эй, Филипеску!

— М-м?

— Пойдем, выведем арестованных!

Тот сонно пробормотал:

— А сам не можешь?

— Так двое идет, вставай.

— Не убегут!

Румын подумал и крикнул еще раз:

— Слышишь, тут же двое!

В ответ на эти слова из угла полетела крутая брань.

— Да отстань ты, черт длинноносый... Дай хоть минуточку отдохнуть... И чего бы я боялся, дурак божий.

Румын гневно плюнул и, перекинув карабинку, толкнул Степана дулом в спину.

— Вперед. На два шага отойдете — как собак застрелю.

Холодная ночь повеяла в лицо свежим воздухом и сыростью. Арестованные вышли во двор. Над головами повисло темное небо, усыпанное дрожащими звездами, и где-то высоко-высоко расплылся молоком Млечный Путь. Возле ворот, стуча каблуками, ходили мрачные тени часовых, кашляя и перебрасываясь отрывистыми словами.

Сквозь проволочную ограду темнели ночные поля кукурузы, перекатывающиеся под ветром широкими волнами. Ветер шелестел скрипучим листьями, наполняя ночь сухим непрекращающимся шумом.

Румын лениво крикнул:

— Ступай направо!

Степан и Аржоняну повернули направо. Подойдя к ограде из колючей проволоки, арестованные остановились.

— Ну, быстро, чтобы раз и раз!

Румын зевнул. Степан придвинулся к солдату. Румын вскрикнул, чувствуя что-то неясное, хотел отскочить в сторону.

— Назад!

Но было поздно. Железная рука Степана, словно клещами впилась в горло румына, а тупой удар коленом в живот заставил солдата опуститься на землю.

Аржоняну схватил карабин, выпавший из рук солдата, и взволнованно зашептал:

— Тащи к забору... к забору, Македон... Скорее, друже... Скорее!

Кузнец поднял солдата на руки, придавил горло еще сильнее, после чего под пальцами кузнеца что-то хрястнуло, и побежал со своим грузом к проволоке.

— Сюда!

Маленький Аржоняну бросился к проволоке и, царапая себе руки, начал отгибать проволоку.

— Ну?

— Не получается, друже!

— Сильнее, берись!

— А, черт!

— Ну?

— Прочно сделано!

— Ломай от столба!

— Вот черт. Придется лезть через забор... Полезай!

Аржоняну подбежал. Степан, подхватив под мышки румына и не дожидаясь, чтобы его позвали во второй раз, бросился к столбу. Глухой шум от падения тела заставил Аржоняну не мешкая последовать примеру Степана. Минута — и оба были уже за проволокой.

Но шум обратил на себя внимание охранников. Оттуда послышался щелчок ружья и тревожный вопрос:

— Эй, кто там?

— Карабин уронил, — спокойно отозвался Аржоняну.

— А кто это?

— Я.

— Фриму?

— Да... Ну, побежали! — зашептал Аржоняну, обращаясь к Степану.

— А солдат?

— Придется с собой взять.

И в кукурузу скользнули две тени.

— Ну, дружище, теперь надежда только на ноги.

Степан ничего не ответил. Наклонив голову и прижав к груди задушенного солдата, кузнец летел сквозь кукурузу быстрой крылатой тенью.

А когда восток запылал золотым пожаром, беглецы увидели в туманных утренних далях белый Кишинев, спящий в сырой зелени густых садов.

Аржоняну тяжело прохрипел, садясь на землю.

— Отдохнем.

Степан сбросил солдата и часто задышал, как загнанный конь.

— Где это мы?

— В паре километров от наших друзей.

— А этот город?

— Кишинев.

Степан лег на мокрое от росы поле и прижал горячее лицо к влажной земле.

Так лежали они, мокрые, потные, на лбу обозначились синие жилы, а губы ловили утреннюю свежесть. Их лица и потные руки были изорваны колючей проволокой, и кровь застыла на них мертвыми пятнами. Аржоняну протянул вперед свои руки, покрытые синяками и кровью, потом посмотрел на рубашку, перепачканную кровью, и быстро встал.

— Ну, теперь будем приводить себя в порядок, надо кровь смыть.

Степан спросил:

— А здесь есть поблизости река?

— Вряд ли. Придется росой умываться.

И Аржоняну, наклонившись к земле, начал вытирать руки о мокрую траву.

— А что с солдатом делать? — спросил Степан, вытирая лицо подолом рубашки.

— Надо затащить подальше в кукурузу... А его одежда нам еще пригодится... Легче будет идти в Кишинев. А ну, посмотрим, на кого налезет.

— Пожалуй, что на тебя. Солдат, похоже, одного с тобой роста.

Аржоняну подошел к солдату, равнодушно смотревшему в небо выпученными глазами.

Утром шедшие в Кишинев плугурулы видели, как по дороге в город веселый румын вел бедного плугурула, и удивлялись доброте солдата. Есть мол, хорошие люди и среди румын. Ведет бедняка и сигаретами угощает. Видимо везде есть хорошие люди, даже и среди румын.

Аржоняну действительно угощал Степана сигаретами, которые он нашел в кармане румына.

— Кури, друг, вот сдам в тюрьму, тогда не очень покуришь... Не покуришь! — говорил веселый стражник.

Степан улыбнулся. Этот чудак Аржоняну в одежде румынского солдата и с карабином за плечом действительно мастерски играл роль охранника, но с таким «стражем» Степану идти будет весело.

За поворотом дороги беглецы увидели раскинувшийся перед ними Кишинев, и сердца их заволновались. Беглецы прибавили шагу. Оба радостно в один голос воскликнули:

— Кишинев!

Кузнец тихонько перекрестился.

— Эй, а ну-ка иди сюда! — послышалось сбоку.

Кузнец и Аржоняну быстро повернули головы и замерли. Перед глазами мелькнула фигура офицера, сидящего верхом на лошади и хмуро поглядывавшего в их сторону, а затем все заволокло туманом.

— Венан коч, — повторил свой приказ офицер, натягивая поводья.

Аржоняну рассерженно толкнул карабинкой Степана, окаменевшего при виде офицера, и, подталкивая кузнеца, подошел.

Офицер спросил — откуда они, кто, куда идут.

Аржоняну смирно вытянулся.

— В Кишинев... Отстал от партии... Большевик.

Собственно говоря, Аржоняну говорил правду. Только они не отстали от партии, а забежали немного вперед, но офицера удовлетворил и этот ответ. Офицер поехал мимо, уже не обращая внимания на Аржоняну, стоявшего перед ним навытяжку.

И только, когда Аржоняну увидел вместо страшных офицерских глаз офицерскую спину, он на радостях стукнул Степана карабинкой по спине и крикнул во все горло:

— Ступай вперед... Убью как собаку!

Не знаю, большевик ли я, но если вы против бояр, то и я с вами...

Если повернуть на Александровскую улицу и пройти по городским закоулкам немного вправо, а затем, свернув налево, пойти мимо белых заборов, что отгородили густые сады от пыльной дороги, то можно попасть в самый глухой закоулок.

И Аржоняну знал, как найти здесь нужный им дом.

...Утром, когда сон еще удерживал город в своих липких объятиях и прочно закрытые ставни защищали предутренние сны, беглецы подошли к маленькому домику, спрятавшемуся во влажной зелени утреннего сада, и забарабанили крепкими кулаками в дверь. В доме, похоже, еще спали. Но вот где-то в комнате заскрипели двери, послышался кашель, и у двери послышались быстрые шаги. Заспанный, недовольный голос спросил:

— Кто стучит?

— Свои... Аржоняну.

— Какой Арж...а-а-а... Николай?

Человек за дверью застучал задвижкой и, открывая дверь, забормотал:

— Вот это удивил... Ну и дела. А я думаю, кто это в такой ранний час при...

Распахнув дверь, человек испуганно отступил назад, не окончив свою речь. Толстяк с испуганным удивлением смотрел на одежду Аржоняну, пытаясь свободной рукой закрыть дверь.

Аржоняну засмеялся:

— Что, не узнал? Ну, пускай уже, а то еще зубы сквозняком прохватит, если будешь так долго держать рот раскрытым.

Пили чай и рассказывали друзьям о своих приключениях. Хозяин гостеприимного домика — рабочий табачной фабрики, Вороняну, внимательно слушал рассказ Аржоняну,

а потом задумчиво сказал, что дело их плохо. Придется неделю-другую пожить им у Мушатеску. Им же теперь надо паспорта получить и работу найти?

Аржоняну согласился — действительно, чужой хлеб они есть не собираются.

За окнами в утреннем воздухе завыли фабричные гудки...

— Ну, уже шесть часов. Я пошел... Пора... Полезайте пока в чулан и до обеда спите, на улицу выходить не советую.

Он спешил и на ходу обратился к женщине:

— Юля, ты сделай им тут все — обед и прочее...

Женщина молча кивнула Вороняну.

А на другой день вечером кузнец и Аржоняну были уже на другом конце города, в маленьком доме с садом за высоким забором.

Аржоняну и здесь пришлось рассказать историю их бегства. Теперь он говорил об этом, как о веселом приключении, поскольку стража была где-то далеко и все события остались позади. Но друзья, собравшиеся в тесной комнате, весело смеялись, слушая рассказы Аржоняну. Потом перешли к делу.

Мушатеску, еще улыбаясь, спросил Степана:

— Вы что-нибудь слышали про большевиков?

— Только плохое, все, что поп говорил.

А Мушатеску заговорил совсем иначе. Он говорил о притеснениях, которые чинят сейчас господа, и о том, что с этим надо бороться, что сначала надо использовать все средства агитации, которые так правильно использовали и продолжают использовать большевики. Надо рассказывать рабочим, кто они такие, кто их друзья. А то вот видишь — поп хорошо агитирует против большевиков, и даже такого, как Степан, сумели сбить с толку.

Мушатеску говорил долго, а потом повернулся к Степану и сказал девушке, что сидела рядом:

— Вот этого товарища поручаю вам, товарищ Трукс. За время его пребывания у нас он должен узнать, почему он, сам того не понимая, стал большевиком.

— Кто, я? — удивленно спросил Степан.

— Да, вы, товарищ... Вы давно уже большевик.

— А я? — вскочил Аржоняну.

— И вы тоже, товарищ.

— Но я ничего не знаю о большевиках!

— Значит, товарищ Трукс и вас возьмет к себе.

А Степан поднялся неловко и, почему-то долго краснея и протянув вперед свои огромные черные руки, произнес:

— Не знаю, большевик я или нет, но если вы против бояр, тогда и я с вами.

Аржоняну добавил:

— А если вы еще и за человеческую жизнь для людей, тогда я буду делать все, что вы мне прикажете.

Так в этот летний вечер, за плотно закрытыми ставнями в маленьком доме были приняты в Румынскую партию большевиков-коммунистов двое «несознательных» товарищей: рабочий Аржоняну, добивающийся человеческой правды и прекрасной жизни для всех, и кузнец Македон, несущий в своем сердце горячую ненависть к боярам.

Страницы книги золотой

И пошли дни новой жизни и красной правды. Девушка с прекрасными глазами — простыми и тихими, как вечерние зори, ежедневно подолгу разговаривала с этими двумя рабочими, незаметно ставшими большевиками.

Тихий голос и негромкие, но пламенные слова падали с шипением в мозг, словно расплавленное олово, и зажигали этих двух людей, которые не знали, куда девать во время разговоров свои мозолистые руки.

О борьбе и победе рабочей правды, о днях, что ведут к великой победе, о погибших и замученных, о тех, что гибнут в неравной борьбе, целыми днями рассказывали уста этой тихой, голубоглазой фурмозы.

Так, открывая страницу за страницей золотой книги революции, узнали они о пролетарской революции в СССР, о рабочем движении во всех странах и о рабочем движении у себя в боярской Румынии.

Аржоняну с каждым днем все больше удивлялся:

— Вот так штука получается, — тысячи гибнут за наше рабочее дело, а мы здесь ни в зуб ногой... Вот тебе и на — земля румынская маленькой кажется, а про такие вещи впервые слышать приходится... Вот и на тебе: наша дирекция словом «большевик» всегда нас позорит, отчего слово это стало ругательством. Ну и хитрые же, собаки! Значит, по-вашему, нам надо выступать всем общим фронтом?

А девушка с голубыми глазами рассказывала им, как они работают на других, не получая при этом ничего для себя. Почему трудно бороться беднякам и почему надо быть им вместе, чтобы победить так, как это сделали русские рабочие.

Аржоняну нетерпеливо перебивал:

— Ладно, а когда мы победим, тогда заживем по-человечески?

Девушка улыбнулась и тихо ответила:

— Я не знаю, Аржоняну, что вы называете человеческой жизнью, но, если вы хотите, я расскажу вам, как живут такие же рабочие в Советской стране.

— Вот это хорошо.

— Я расскажу вам о том, что так старательно замалчивают румынские газеты. Когда вы читаете наши газеты, в которых пишут про разруху в Советских странах, о восстаниях, о голоде и ежедневных убийствах — и если вы еще верите этому вранью — мне трудно будет убедить вас в том, как прекрасна жизнь в этой свободной стране.

Девушка тихо провела рукой по волосам и улыбнулась, потому что Степан и Аржоняну придвинулись ближе и глазами показывали — они ей полностью верят. Она начала рассказывать им, как побеждали рабочие в Советской стране, какие там сейчас законы по охране труда. О том, что фабрики и заводы там в руках самих рабочих.

Но как-то неожиданно, задумчиво, смутившись, Аржоняну спросил:

— А вы не врете? Вы меня простите, что я так говорю, но все, о чем вы рассказываете, выглядит словно какой-то сон.

— Дорогой Аржоняну, мне тоже все это казалось сказкой, пока я не увидела сама...

— Вы были там?

— Да. Я там прожила пять месяцев.

Степан и Аржоняну удивленно молчали и смотрели на эту странную девушку, что побывала в СССР и видела прекрасную землю с такой счастливой жизнью, и ее рассказы напомнили им времена далекого детства.

Уже синий сумрак подполз к окнам и в комнате стало совсем темно, когда молодая Трукс закончила свой рассказ.

Степан смирно встал, вытянул руку вперед и сказал твердо:

— Ну, черт... Будет и у нас так... Ну?

Трудовой день господина Левинцу

Целую ночь горят два больших фонаря возле фешенебельного ресторана «Модерн». К роскошному подъезду ежеминутно подъезжают чистенькие ландо, тихо подкатывают автомобили, и прекрасно одетые дамы под руку с элегантными кавалерами со смехом поднимаются по ступеням, покрытым коврами и залитым электрическим сиянием.

Высокие пальмы, потемневшие от дыма сигарет, провожают толпу, что течет по ступеням. Сегодня в ресторане выступление негров. Поэтому здесь чрезвычайно весело. Все кишиневские господа собрались сюда погулять в эту ночь вместе с модными сейчас в Европе неграми. Ярко-белые скатерти, узкие хрустальные вазы с черными розами, суетливые официанты, хлопание пробок и шум оркестра придавали залу облик лучшего европейского ресторана.

...Тяжелый малиновый занавес шелохнулся, разошелся в стороны, и на эстраду грациозно выбежал негр, которого встретили аплодисментами и пышными пьяным хрипом глоток. Негр учтиво поклонился и приложил свои руки к сердцу.

Да, сегодня все убедятся в том, что черный Том в узких джимми и белых перчатках честно зарабатывает леи.

Оркестр заиграл шимми. Негр неожиданно, резко взмахнул руками и начал исполнять этот танец, моментально очаровавший румынскую аристократию. Он дергал неестественно поднятыми руками и, кокетничая, улыбался незнакомым дамам, сверкая белыми зубами и ярко-белыми манжетами.

Ресторан гудел.

Заканчивался один танец, начинался второй. За окном стояла мрачная, глухая полночь.

А когда электричеству надоело светить и оно лишь мутно посылало свои лучи из больших фонарей, шумная гульба в ресторане превратилась в какое-то неистовство и, перевернув все столы и стулья, пьяные глаза смотрели на эту бешеную гулянку.

Полуголые женщины сидели на залитых вином столиках и, подняв облака сетчатых юбок, оголяли перед пьяными взглядами розовые ноги, перетянутые выше колен черным ажуром чулок.

Пьяные припадали к ним, зарываясь головой в эти кружевные облака, визжа хриплыми голосами и дергая ногами.

Ресторан шумел. В этом жаждущем, сдавленном вопле бурлило недовольство и прорывался клекот садизма. Шум и возгласы фрачного зверя, вопли скрипок, звон рюмок и смех вплетались в могучий шум электрического вентилятора и истерично бились между столиками.

А у стены в черных полосах тени стоял черный негр с белым воротничком на шее. Он рассеянно смотрит перед собой тоскливым незрячим взглядом, прижав к черной груди молитвенно сложенные руки. Он поет, этот смешной негр. Он пел что-то необычайно сентиментальное, нежным, дрожащим голосом. Из глаз его катились крупные слезы.

Пьяная Одетта толкнула фабриканта Левинцу.

— Посмотри, посмотри, какой он смешной... Он плачет, нет, ты только взгляни на него.

Она навела на негра лорнет и вздохнула. Ее приятель тихонько икнул и, подняв мутные глаза, прохрипел в полусне:

— Тебе нравится, моя милая деточка? Так дай ему пять тысяч лей, пусть он развлекает тебя.

— Но он плачет.

— Негры всегда плачут... в три часа ночи — ответил Левинцу, икая.

В эту ночь, забрызганный вином с ароматами женского тела и пудры, Левинцу тратил пятнадцатую тысячу лей, разбрасывая деньги направо и налево, и лишь под утро закончился трудовой день владельца табачной фабрики, господина Левинцу.

Два дюжих лакея со скрытыми улыбками повели фабриканта под руки вниз к ожидавшему его автомобилю, и, положив это сонное тело на кожаные подушки, крикнули шоферу:

— Вези!

Увеличить на два часа

Утром фабрикант Левинцу пил черный кофе в своем роскошном кабинете.

На голове у него лежал холодный компресс, он тяжело вздыхал и ругался. В дополнение к тому, что у него болела голова, фабриканту пришлось принимать сегодня несвоевременный доклад управляющего о состоянии фабрики. Левинцу был взбешен, и губы его неслышно шептали:

— Вот скотина, не мог он прийти завтра. Специально мучает меня...

И он спросил устало:

— Вы говорите, что наша фабрика на грани краха?

Управитель улыбнулся:

— Об этом, безусловно, не может быть и речи, но... если такое положение с деньгами будет продолжаться еще два-три месяца, нам придется готовиться к этой неприятности.

И он, поудобнее усевшись в кресле, начал говорить о том, что кредиты под табачные изделия фабрики покрыты всего на шесть процентов, а сырья хватит не больше чем на три недели... Если за это время не будет удовлетворено заказов на семьдесят процентов — придется прекратить работу фабрики.

Управляющий побарабанил пальцами по столу. Левинцу болезненно свел брови.

— Ладно, а... а банк?

— В банке кредита нет.

— Хорошо... Почему же вы молчали до сих пор?

— Потому, что я только сегодня узнал о том, что у нас так мало денег для закупок и нечем рассчитываться с подрядчиками... Мне сказали, что вами взято...

— Это не ваше дело, — сухо прервал Левинцу.

Управляющий вежливо кашлянул:

— Простите... я лишь констатирую факт.

— Ладно. Что вы предлагаете?

Управитель поднялся.

— Есть две возможности. Одна — в течение этих трех недель достать триста тысяч. Вторая — это увеличить рабочий день на два часа.

— Хорошо... Делайте.

Управляющий согнулся с вопросом.

— Что?

— Последнее.

— Уве...

— Ну, да, да — увеличить рабочий день.

Левинцу раздраженно посмотрел на управляющего и сжал руками виски.

После работы рабочие, идущие домой, останавливались возле объявления, которое было вывешено у заводской конторы. Грамотные — по слогам, спотыкаясь на каждом слове, прочитали следующее:

> **Положение фабрики тяжелое, но, чтобы не закрывать ее и не оставлять рабочих без заработка, администрация, несмотря на огромные убытки, решила оставить рабочих на своих местах с тем, чтобы они работали на два часа больше, чем обычно. Это распоряжение вступает в силу с завтрашнего дня. Кто не желает работать, может завтра получить в конторе расчет.**
>
> ***Управляющий...***

Это объявление перечитывалось по несколько раз. Рабочие начали собираться в группы, в каждом кругу обсуждали положение с работой, и у каждой компании были разные взгляды. Седой, со впалой грудью рабочий размахивал руками и по-стариковски кричал:

— Слышите? Несмотря на убытки и не желая оставить рабочих без мест...

— Это я слышал, старик, да не знаю, слышал ли ты, что на два часа увеличили работу?

С другого конца кричали:

— Так работать больше невозможно. И так как собаки. Придешь домой, ни рук, ни ног не чувствуешь... К чертям!

Поддерживая последние слова, Аржоняну выбрался вперед:

— К чертям!.. К дьяволу!.. Не верьте, товарищи, что они нас жалеют. Вранье все это. Пожалел волк кобылу — оставил только хвост и гриву. Не могут они жалеть нас, товарищи.

Толпа тут же закипела, заволновалась. Кто-то поддержал Аржоняну, грозил кулаком, орал, чтобы давали расчет, и посылал их всех к черту. И вдруг сотни других подхватили эти возгласы, пылко бросая их в открытые окна Левинцу, где фабрикант болезненно нахмурил лоб и выругался.

А за окном кричали:

— Долой эксплуатацию!

Левинцу, услышав эти возгласы, почувствовал, как у него быстрее забилось сердце и размякло, как кусок влажного хлопка. Встревоженный фабрикант бросился к телефону, вызывая полицию и начальника Мурафу. Быстро заговорил, что под его окнами проходит митинг.

— Да... почти что Маркса читают... Творится что-то невозможное. Пусть вышлют жандармов или примут меры.

Левинцу положил трубку и подбежал к окну.

А господин Мурафа — начальник сигуранцы, повесив трубку, нажал несколько раз кнопку электрического звонка.

В дверях вырос вестовой и услышал распоряжение:

— Позвать Луческу и Кавсана.

Через минуту вошли двое шпиков из сигуранцы — Луческу, с мордой гончего пса, и Кавсан с перебитым носом и выбитым глазом, поседевший на своей шпионской работе.

Мурафа спросил коротко:

— Фабрику Левинцу знаете?

— Да, — в один голос пропели шпики.

— Одежда рабочих есть?

— Да.

— Немедленно идите туда, чтоб через пять минут были на фабрике и ровно в десять часов будьте с докладом у дежурного. Вы узнаете...

— Бунтарей? — радостно подхватили шпики.

— Да.

Движением руки Мурафа отослал шпиков. Заискивающе поклонившись, Луческу и Кавсан бросились к двери.

Трамвай довез двух «рабочих» из сигуранцы почти до самой фабрики. Пробежав несколько десятков шагов, шпики осмотрели друг друга и, переваливаясь, вошли в фабричные ворота.

Уже темнело, когда шпики незаметно втерлись в толпу рабочих, внимательно слушавших слова Степана, который влез на опрокинутую бочку и говорил перед ними. С грубой, случайной трибуны летели в толпу простые жгучие слова о рабочей правде. Эти слова наполняли сердца слушателей гневом. Степан вытянул вперед руку, в руке была крепко зажата смятая шляпа. Он объяснял, сколько фабрикант зарабатывает рабочим потом, и закончил:

— Да, лучше смерть, чем работать на хищного фабриканта!

Лес рук поднялся над толпой. Масса людей заволновалась. Рабочие закричали:

— К чертовой матери фабрикантов!.. Пусть увольняют!

— Увольня-я-я-яют!

Общая ярость была столь велика, что даже те, кто загрустили, кричали вместе с другими:

— Бросать работу!.. К черту! Не будем работать!

Кавсан, выбрав минутку, протиснулся сквозь густую встревоженную толпу к Степану и медленно протянул ему руку:

— Правильно, товарищ. Хватит этой сволочи нас эксплуатировать — бастуем и никаких чертей!

Степан крепко сжал руку шпика и ответил с горящими от радости глазами:

— Спасибо, товарищ. Я думаю, что мы все будем идти в ногу. И так крепко требовать своих прав, как крепко это ваше пожатие. Главное, чтобы организованность была, а там никакая сила не сломит!

— Правильно, — согласился шпик и, подмигнув, зашептал: — Жаль только нашей рабочей организации. Жаль, что из нашей организации маловато людей.

Он особенно выразительно произнес эти слова о рабочей организации. Степан еще раз посмотрел на шпика и крепко сжал ему руку:

— Когда-нибудь будет больше.

— Дай бог.

Рабочие с криками о расчете, ругая администрацию и фабриканта, двинулись к заводским воротам, подхватив Степана и шпика. Вместе с толпой их вынесло за ворота.

Шпик вежливо спросил, в какую сторону идти Степану.

— Мне направо... Но я подожду товарища.

И, обернувшись назад, Степан крикнул:

— Эй, браток...

— Я здесь.

— Ну, пойдем домой.

Шли домой, Кавсан, поседевший на шпионской работе, горячо убеждал Степана и Аржоняну использовать сегодняшнюю забастовку с целью поднять рабочих и на других заводах, а также связать общее выступление с партийными организациями большевиков. Он восторженно спрашивал:

— Неужели же за это дело не возьмется наша рабочая партия?

Но Степану не нравилась болтливость их случайного собеседника, и он осторожно ответил:

— Не знаю.

Кавсан провел Степана и Аржоняну до самого дома, и пожелав спокойной ночи, пошел домой. И ни Степан, ни Аржоняну не видели, как шпик, дойдя до угла, быстро вернулся назад, подошел к дому, в который вошли двое приятелей, записал в книжку номер дома и название улицы.

За битого двух небитых дают

Только к полудню рабочие начали собираться на фабричном дворе. Они подходили группами и в одиночку. Шум, ругань да изредка смех среди молодежи наполняли двор тревогой и напряжением.

В полдень на заводское крыльцо высунулся управитель. Всегда строгий и серьезный, сейчас он был какой-то раздраженный и чувствовал себя неловко. Нервно кусая губы, он махнул рукой, чтобы рабочие замолчали. Все стихли.

Управляющий удивленно начал спрашивать, почему рабочие оставили работу. Видимо, случилось какое-то недоразумение?

Кто-то из толпы крикнул:

— Два часа надбавили!

Управляющий удивился:

— Только из-за этого? Я очень удивлен, очень удивлен. Неужели вы думаете, что вам придется работать так все время? Какая наивность. Разве вы не можете понять, что это лишь временная мера, на которую пришлось пойти только из-за нынешнего положения фабрики. Улучшится состояние — и тогда вы продолжите работать, как и раньше.

Толпа шелохнулась. Послышался сдержанный гул. На лицах многих можно было прочитать, что они соглашаются с управляющим и могут снова идти работать. Но голос Аржоняну тут же погасил эти шатания. Он выступил вперед и резко крикнул:

— Хватит болтать, господин управляющий! Мы не дети, а вы не фокусник. Оставьте ваши удивления для себя. Вам следовало бы удивляться, когда мы получали в вашей конторе по 900 лей на нос!

Он уже раздраженно продолжал, что теперь их не собьют с толку. Хватит уже ездить у них на шее. А если они так хотят, то пусть прибавят плату — если действительно фабрика должна работать больше часов в день, тогда они месяц-два поработают. Но за эту плату они гнуть свою спину по двенадцать часов не будут.

— Жалованье не может быть увеличено!

— Тогда увеличьте количество рабочих.

— Невозможно.

— Тогда гоните расчет!

Толпа снова забеспокоилась. Но тут в окно высунулся Левинцу, пытаясь что-то сказать. А потом вдруг завизжал, начал ругаться, что они бунтари, большевики, мразь. Как они смеют идти против воли администрации?

Толпа рабочих тут же перекричала Левинцу, послав ему в глаза брань и выкрики, чтобы давали расчет.

Левинцу что-то орал, махал руками, ругался. А затем указал на фабричные ворота.

Старый шпик Кавсан неожиданно воскликнул:

— Товарищи, вооружайтесь... Жандармы!

Все тотчас же повернулись к воротам. К фабрике подъезжал конный эскадрон жандармов.

Степан и Аржоняну громко предупредили рабочих, чтобы те стояли смирно и не волновались. Не надо трогать жандармов — рабочие пришли только за расчетом и никто не смеет их трогать. Но старый шпик снова крикнул:

— Спасайтесь!

Если бы даже рабочие и не слушали шпика, все равно надо было убегать, да они бы и не успели спастись. Эскадрон жандармов влетел в толпу рабочих и начал молча бить их нагайками. Свистели нагайки. Кто-то кричал:

— За что же это?

Все бросились убегать. Но жандармы настигали повсюду и молча секли рабочих, прикрывавших головы руками. Офицер командовал:

— Бей их сволочей, бей бунтарей!

Всех рабочих согнали в угол фабричного двора. Избитых окружила плотная охрана и погнала в город. Все произошло так неожиданно. Шли молча, вытирая рукавами кровь на лицах. На тех, кто хотел идти сбоку и выходил из толпы арестованных, налетали жандармы и снова возвращали на дорогу.

Но то, что нельзя рабочему, то может быть разрешено шпику. Поседевший на шпионской работе Кавсан выдви-

нулся из толпы и быстренько проговорил, обращаясь к жандарму:

— Прошу пропустить меня... Очень важное дело.

Но тот размахнулся нагайкой и вернул шпика назад. Опасаясь, чтобы его не услышали рабочие, шпик зашептал с мольбой:

— Сигуранца... Очень надо... Господин Мурафа приказал...

— Я тебе пошепчу... Назад, сволочь!

Жандарм размахнулся и опоясал шпика крепким ударом нагайки по спине. Но Кавсану обязательно нужно было выбраться. Старый шпик должен был за полчаса до прибытия арестованных появиться в сигуранце.

— Пропустите меня... Я агент сигуранцы, — громко обратился шпик к жандарму. Но тот захохотал:

— Может, ты племянник короля?.. Пшел назад!

— У меня вот... Вот.

Задыхаясь, он вытащил значок сигуранцы. Но жандарм, которому надоели эти приставания, даже не посмотрел на то, что ему показал шпик.

Подскочив к Кавсану, он несколько раз вытянул его по голове нагайкой и прогнал обратно. Агент уже визжал:

— Я агент!

Подскочил Аржоняну:

— Сигуранцы?

— Да, сигуранцы, черт возьми, — ответил шпик, уже сам не понимая, что говорит.

— Ах, так? — грозно спросил Степан, надвинулся на него и, размахнувшись, ударил своим огромным кулаком в морду шпика. Шпик пошатнулся. Кто-то весело воскликнул:

— Держи!

И ударил Кавсана в затылок, чтобы поставить его на ноги. Шпик бросился к жандарма. Но, встреченный нагайками, снова полез обратно. На Кавсана обрушились удары кулаков. Его подхватывали, когда он хотел бежать, и били снова. Налетел офицер:

— В чем дело?



Рабочие отскочили от шпика и пошли быстрее. Избитый шпик поднялся на ноги и, поморщившись, неловко заговорил:

— Я агент сигуранцы... Меня узнали рабочие...

Офицер брезгливо посмотрел на него и, дернув поводья, процедил сквозь зубы:

— Идиот.

Ах, покажите мне этих зверей, прошу вас

Торжественный обед у фабриканта Левинцу в связи с победой над рабочими прошел очень весело. Многочисленные гости поздравляли хозяина. Бутылки вина стояли вдоль стола между цветов, на ярко-белых скатертях. Было много поздравлений — гости искренне радовались этой «победе». Несколько раз Левинцу пришлось рассказывать ужасные минуты об этом восстании — когда к нему в комнату ворвались озверевшие рабочие, вооруженные с ног до головы, и устроили в помещении революцию. Так, по крайней мере, рассказывал Левинцу своим гостям. Дамы истерично и испуганно выражали свое восхищение своему рыцарю, сумевшему отбиться от этих зверей, пока ехали жандармы. Он вел себя как настоящий герой и скромно опускал глаза долу, когда то одна, то другая дама влажными глазами с восхищением смотрела на него, когда он заканчивал свое вранье. В воображении этих дам он был не тщедушный фабрикант Левинцу, а какой-то всемогущий лев.

Вечером гости шумно сидели в гостиной и разговаривали на высоких нотах после выпитого вина. Разговор снова перешел к событиям, которые произошли на фабрике. Толстый банкир обратился к начальнику сигуранцы Мурафе и спросил:

— Скажите, среди них есть большевики?

— Как вам сказать... Безусловно, часть арестованных принадлежит к большевикам, но... пока что трудно установить, сколько их и кто именно.

— Они, разумеется, не говорят?

Мурафа улыбнулся и медленно произнес:

— Вполне понятно, господа, что они молчат... Но могу вас успокоить — мои агенты уже успели обнаружить некоторых.

— Многие арестованы?

— Сначала было действительно много, но нам пришлось освободить почти всех. Знаете, как это обычно бывает — обещания больше не выступать, не принимать участия... Да,

да... Но, побывав у меня в гостях, большинство из них действительно уже не вернется к большевикам, и у них больше не будет желания бунтовать.

— Ах, вы тоже герой. Они же могут вас убить, когда вы их допрашиваете? — шептали накрашенные губы.

Но Мурафа спокойно процедил:

— Бывают и такие случаи.

— Но вы хоть вооружены при них?

— Нагайкой... Для этих мерзавцев лучшее оружие — нагайка.

Какая-то дама с лицом раздавленной плевательницы незаметно зевнула, вскинув накрашенные брови.

— Ах, я бы так хотела взглянуть им в лицо — это же такой ужас... Это, наверное, такой ужас, словно стоишь на краю бездны. Я так хочу этого и боюсь.

Белокурый офицер щелкнул шпорами и вежливо вставил:

— Бездна манит.

— В самом деле... Так и со мной... Может быть, вам это будет казаться странным, господин Мурафа, но мне так хотелось бы взглянуть на них. Я так хочу пережить это впечатление. Как по-вашему, господа?

— Все в руках господина Мурафы, и все зависит от его милости. Я думаю, что он мог бы повести нас и показать этих разбойников — это было бы самым лучшим развлечением.

Левинцу, обратившись к Мурафе, тоже в свою очередь произнес:

— Действительно, ты бы показал их нам, друг мой... Везде кричат — большевики да большевики, а нам ни разу не приходилось видеть их близко.

Начальник сигуранцы нерешительно повел глазами вокруг себя:

— Право, я не знаю, будет ли это удобно?

— Глупости, вы же с нами!

Гости плотно окружили его, принявшись доказывать, что здесь нет ничего необычного, если они пойдут посмотреть на арестованных.

— Просим, просим!

— Ах, покажите мне этих зверей... Прошу вас, — умоляюще закатила глаза прекрасная Эльза, и ее молитвенно сложенные руки заставили Мурафу кивнуть головой.

— Ладно... С вашей просьбой, госпожа, соглашаюсь... Но если вы хотите их видеть — тогда едем сразу.

Согласие было встречено шумными и веселыми аплодисментами.

Проститутка!..

Было уже поздно, когда полупьяная толпа с визгом и смехом вылезала из автомобиля, остановившегося возле серых ворот сигуранцы. По темному коридору шли тесной группой, плечом к плечу, нога к ноге.

Стражник остановился в конце коридора и звякнул ключами. Распахнулись скрипучие двери, и вся толпа вошла в мутно освещенную камеру. Переступив порог, некоторые из них вытащили надушенные платки, зажав в батист свои нежные носы — таким тяжелым был воздух, ударивший им в лицо.

Мутный свет от желтой лампы скупо освещал людей, раскинувшихся на полу камеры, застланной серой ботвой кукурузы. Маленький стол и вонючая параша были единственной мебелью этого мрачного помещения.

Арестованные с неохотой встали, подняли головы, удивленно глядя на тех, кто пришел смотреть на их несчастье. Некоторые заключенные встали и, пошатываясь от истощения, оперлись о стены.

Мурафа выступил вперед:

— Здесь, господа, сидят самые главные бунтари, которые подстрекали других к этим событиям. Вот, полюбуйтесь...

Через плечо Мурафы заглядывали заинтересованные лица.

— Где?

— Этот?

— Кто, кто?

— Ах, покажите мне!

Мурафа протянул руку в сторону Степана и Аржоняну:

— Встать, ну!

Аржоняну неохотно поднялся и гневно произнес:

— Как зверей показываете? Здорово...

Одна из дам презрительно удивилась:

— Оказывается, они у вас даже разговаривают?.. Чудесно! Но я разочарована: вы обещали Маратов, а тут... Фу, какие они грязные... этот даже стоит неуверенно.

Дама показала в сторону Аржоняну и ткнула его зонтиком в живот. Маленький Аржоняну разъяренно захрипел, топнув ногой:

— Ах, ты... проститутка-а!..

— Мерзавец, как он смеет!..

И госпожа плюнула в лицо Аржоняну.

— В двадцать четыре часа... В двадцать четыре... Сейчас же. Ах, ты... Назад! — захлебывался от гнева Мурафа. Рука начальника сигуранцы с зажатой в ней сигарой метнулась к лицу Аржоняну, и та с шипением впилась ему в щеку. Аржоняну взвыл, как дикий зверь. Коротким прыжком он подскочил к Мурафе, схватил его одной рукой за грудь, вторую сунул ему в рот и со всей силы рванул вправо.

— А-ах!

Компания бросилась за дверь. В камере остался залитый кровью Мурафа с разорванным до уха ртом. Узники испуганно подскочили. Аржоняну стоял, тяжело дыша, с глазами, блестящими ненавистью и мукой.

Этой же ночью Аржоняну затащили в глухую камеру с толстыми стенами, через которые не проникал звук, в камеру, напоминавшую закрытый цинковый гроб.

Вода, которой полили ему голову, пронзила тело холодом, зубы застучали в мелкой лихорадке. Аржоняну словно проснулся.

Он потихоньку встал, сел и обвел камеру тупым, невидящим взором. Прямо ему в глаза смотрела жестокость и слепая злоба. Склонившееся над ним лицо заставило Аржоняну содрогнуться и понять все. Он понял, что ему конец. Все стало безразлично. Сердце налилось пустотой, томительно заболело.

Кто-то прохрипел у него над ухом, зловеще и неожиданно:

— Очухался, голубчик... Да... можно начинать

К Аржоняну подбежали несколько человек, схватили его под руки и потащили по каменному полу. Подтащили к железной стойке.

Крепкие руки вцепились в шею Аржоняну, подтянули его к какой-то конструкции из столбов и, опутав тело толстыми

сыромятными ремнями, прикрутили к столбу так плотно, что казалось, будто затылок погрузился в дерево.

Аржоняну начал нервно задыхаться. Люди, ползавшие внизу, закатали ему штаны до колен и под подошвы ног подсунули железную подставку. Тонкий голос запищал над ухом:

— Давайте!

Аржоняну вздрогнул. В колено воткнулось холодное лезвие, остановилось на мгновение и потихоньку начало погружаться внутрь с нечеловеческой болью. Несколько ударов молотком по другому концу гвоздя заставили содрогнуться худые ноги и забиться в судорогах.

На лбу Аржоняну выступил холодный пот. Он сжал зубы, услышав, как откуда-то, из самой глубины его существа, выползает протяжный смертный крик.

Не выдержал — застонал. Голова налилась туманом. Кто-то вновь произнес:

— Заткнуть ему глотку!

Железные руки, словно клещи, сжали челюсти, и в рот влезла костлявая потная рука. Ухватившись за язык, пальцы перевернули его и начали запихивать в горло. Аржоняну, задыхаясь, пришел в себя, рванулся вперед. Из-под век вылезли страшные глаза, в них застыл немой ужас. Лицо начало синеть. Аржоняну снова потерял сознание.

Проснулся он от адской боли в руках. Открыв глаза, подняв тяжелые веки, он тяжело взглянул на свои руки. Несколько людей забивали ему под ногти гвозди. Ногти трещали, лопались. По похудевшим почерневшим пальцам текли тоненькие струйки крови.

Аржоняну дико закричал, потеряв сознание от смертельной боли. Он уже не видел, как его тело подхватили сильные руки и понесли по коридору в заднюю камеру. Здесь с него сняли пояс, завязали один конец петлей на шее, второй привязали к решетке. Маленькое тело забилось, содрогнулось несколько раз, закачалось и... вытянулось.

Жандармы, даже не взглянув в ту сторону, поспешно вышли из камеры в коридор.

...Сообщаю, что ночью с 7 на 8 текущего месяца покончил жизнь самоубийством рабочий Бен Аржоняну, привлеченный по делу бунта на табачной фабрике Левинцу. Для самоубийства воспользовался поясом, который был на нем. Ведется следствие. Труп похоронен.

Начальник Предварительного заключения Кишиневской Сигуранцы — Титулеску.

Тюрьма

Узенькая камера шириной в три-четыре шага и длиной в семь-восемь шагов была набита до отказа. В нее втолкнули Степана и с ним еще одного рабочего.

Арестованные начали протестовать, что самим уже совсем некуда деваться, но ответом им был лишь холодный лязг замка и шаги, удаляющиеся по коридору. Арестованные неприветливо встретили Степана, а тот стоял возле двери, наклонив кудлатую голову на грудь.

Минуту помолчали, осмотрели, будто изучая каждое движение, черты лица, пытаясь по глазам узнать тайные думы своего нового товарища.

К Степану и его товарищу подошли двое.

— За что?

— За то, что не родились боярами!

— Рабочие?

— Да.

...Потянулись скучно-однообразные дни в тюрьме, взаперти за тюремной решеткой, и долгие ночи с бессонницами и тяжелыми невеселыми мыслями. Несмотря на тесноту, нашлось место и для Степана и его товарища, который был арестован по тому же делу.

Сначала надо было присмотреться к здешним порядкам, а порядки тут и в самом деле были такие, что к ним надо было относиться внимательно. Закрытые с пяти часов вечера до семи утра двери камеры, жидкая, грязная каша и два фунта хлеба на двоих, почти голые, в рванине, босые узники, драки за каждую мелочь, душный воздух и стоны больного дезертира Загареску по ночам — первое, что в эти дни бросилось в глаза Македону.

И еще он узнал: заключенные должны трижды в день молиться. Кто не хочет, тех жестоко наказывают розгами или же сажают в земляной карцер. Заключенные особенно негодовали на то, что приходится молиться.

— Падлюки, а что, если я не хочу молиться тому же богу, которому молятся они, сволочи? — говорили некоторые из узников.

— Это же насилие, это же страшное моральное давление — бормотал второй. А дезертир Загареску скалил зубы и раздраженно говорил:

— А я во время молитвы потихоньку шепчу: «Сволочь ты, сволочь... сволочь!»

— Кто?

— А бог, — ответил Загареску, кашляя.

...За окнами в серых халатах проходили тюремные дни.

Семь часов утра. Надо встать, за несколько минут успеть привести в порядок свою одежду, помыться и убрать в камере, потому что в семь часов десять минут тюремщики проверяют, не сбежал ли кто-нибудь с этого кладбища живых мертвецов, в порядке ли камеры, чисто ли они подметены. А если в какой-то из камер глаз надзирателя заметит какой-нибудь непорядок — тут же начинается ругань, а за ней избиение.

И горе тому, кто начнет спорить, кто шевельнется под этими ругательствами и побоями — ему будет еще хуже. Непослушных ведут к начальнику тюрьмы, а там назначают наказание — кандалы или карцер. Если утренняя проверка проходит спокойно, — заключенные с облегчением говорят, что день начался хорошо.

...На дворе еще темно, хорошо бы еще поспать минутку, да нельзя. Спать же днем строго запрещено.

В дверь камеры просовывается голова тюремщика.

— Выноси!

Один из узников берет парашу и идет во двор под охраной тюремщика. На завтрак — кусок сырого, как тесто, и горького, как полынь, хлеба.

В полдень — единственная радость для заключенных — десять минут прогулки в тюремном дворе. Но, проходя по двору мимо кабинета господина директора, заключенные должны каждый раз сбрасывать кругленькую арестантскую шапочку и кланяться окнам. Кто не выполняет этого — того избивают и сажают в карцер.

Степан, тот просто не надевает шапочки, а так и ходит без нее. Но дезертир Загареску делает иначе. Ему даже нравится это делать. Он подходит к окнам начальника тюрьмы, снимает шапочку и, кланяясь, шепчет:

— Здравствуй, сволочь... падаль, гад, свинья... гнусь... блевотина... осел...

Все это он выпаливает быстро-быстро и спокойно надевает шапочку на голову. Заключенные грустно улыбаются. После прогулки начинаются долгие, бесконечные разговоры. От такой пустой и скучной жизни заключенные перебирают в памяти прошлое и с радостью говорят о себе, вспоминая счастливые минуты жизни и годы несчастья. Некоторые целыми днями стоят у решетки окошка, вглядываясь в зеленые холмы, уходящие в радостную синюю даль. Здесь Степан узнал и историю учителя Иорданеску, и дезертира Загареску. Все — пострадавшие за ту же самую рабочую правду. Все боролись за свободу, а попали в эту камеру, куда сажают только революционеров, потому что уголовников сажают в отдельные камеры.

Родителям достается...

Снова — Уникитешты. Глухое село, затерявшееся в жирных черноземах, утонувшее в пышных шелково-зеленых виноградниках. Так же строго рассекают голубую синь темные стройные тополя, так же, как и раньше, вспоминает хитрый плутоньер Стадзило славные походы против плугурулов и так же глубоко таит обиду против румына-переселенца, пожалевшего какую-то плохонькую курицу для честного плутоньерского желудка.

И даже Стеха осталась такая же, разве что глаза немного потухли и печаль опустила уголки губ вниз... но осталась такой же красивой, как и в те дни, когда батушанские юноши поглядывали на нее с глухим желанием своего сердца.

...Днем у дверей сигуранцы толпятся хмурые парни и долго, не отрывая глаз, всматриваются в белый лист, висящий на решетке. На том листе большими буквами написано, что по селу Уникитешты объявляется призыв новобранцев, родившихся... Дальше идут мелкие строки, неприятные для тех, кто, на свое несчастье, родились в указанные годы.

А вечером шепчутся по вишнякам:

— Говорят, война будет.

— Да.

— На обласканную страну* пошлют...

С минуту помолчат, а потом снова начинают говорить о том, что придется им защищать гоцев, бояр защищать. Так говорит молодой Олтяну, бередит раны. Вот помолчал он и опять за свое:

— А из наших ребят, что в тот раз забирали, — восемь не вернулось... Может, и мы умрем под румынскими плетьми. Один в военной тюрьме умер.

И снова зашипели на молодого Олтяну:

— Чтобы ты сапогом гоца подавился, собака... Ну, зачем ты нас мучаешь?

Олтяну замолчал.

---

* Обласканной страной молдаване называют СССР.

Парни лежали на земле, задумчиво покусывали былинки, всматриваясь в ночную тьму и в заросли бурьяна под заборами.

— А в Платарешты недавно привели обратно одного плугурула, год назад его забирали. Был денщиком у офицера, так ему жена офицера вылила на голову горячий суп. Теперь этот плугурул слепой.

Один из парней не выдержал и, размахнувшись, пнул Олтяну в живот:

— Чтоб ты сдох, сука!

Олтяну спокойно ответил:

— Не толкайся. Я говорю правду, я не вру... Зачем пинаешься? Я должен идти, я и говорю, как все будет.

— А мы разве не должны?

— Кто знает? Может, вы собираетесь дома остаться... В Фольтечанах так половина пошла служить, а остальные дома остались.

— А ты как думаешь?

Олтяну отвернулся:

— Я сам ничего не думаю... Если еще хотя бы трое будут думать так же как я, тогда останусь и я.

— Так ты остаешься?

— А тебе какое дело? Я еще не сказал, что остаюсь... Может, завтра первый явлюсь. О себе лучше заботьтесь!

Парни задумались. А разговоры об этом затянулись до рассвета.

Новобранцев пришло всего трое. Плутоньер вышел на крыльцо и, сладко зевнув, обратился к ним:

— Почему так поздно собираетесь?

— Мы явились, как было приказано — утром.

Плутоньер хмуро взглянул на них и неожиданно разозлился:

— Я спрашиваю, где остальные?

Но трое новобранцев ничего не знали. Этим двум кулацким сыновьям и поповскому выродку парни и не думали рассказывать про свой план.

А призыв пришлось отложить до следующего дня. И эта ночь была самой неприятной для домнуле Стадзило. Он ругал

плугурулов последними словами, как только он не крестил их. Но на другой день с утра до полудня возле сигуранцы стояли те же трое вчерашних новобранцев, ожидая остальных.

Плутоньер ходил злой, гневно шептал ругательства и грозил в сторону крестьянских домов. А в полдень Стадзило собрал жандармов и со списком в руках принялся обходить село. По его указаниям жандармы врывались в хаты к плугурулам и переворачивали все вверх ногами.

— Где твой сын?

Плугурул делает вид, что ничего не понимает.

— Мой сын?

— Сын... сволочь... Я тебе покажу, как короля не слушать!

— Я слушаю короля. Налоги плачу, я...

— Молчать!.. Где твой сын, старый пес?

Плугурул застегнул воротничок рубашки и поклонился.

— Я уже с месяц с сыном не живу, он ушел от меня... я и сам не знаю домнуле, где мой сын.

Тяжелая вишневая палка, свистнув, разрезала воздух. Ударил промеж лопаток. Старик закричал, хватаясь за спину, что он ничего не знает.

Плутоньер дал распоряжение обыскать. Жандармы рассыпались по двору, вынюхивая везде, даже в таких местах, где вряд ли мог бы спрятаться даже двухмесячный ребенок. Но жандармы не так уж глупы. Знают, что в погребе вряд ли спрячется новобранец, но там плугурулы прячут вино. Знают, что в сундуки новобранца не спрячешь, но... разве жандарму не нужные тонкие полотняные рушники? Разве жандарму не нужно белоснежное тонкое полотно? Напрасно женщины оглашали воздух криками, напрасно доказывали жандарма, что полотно не имеет отношения к новобранцам — жандармы набивали свои бездонные карманы до краев и только тогда когда уже некуда было запихивать, они бросали его обратно и кричали.

— Ну, чего ты голосишь, глупая? Очень нужно мне твое полотно! На, подавись им!

Жандармы переходили из одного двора в другой. Вслед им летели проклятия, стоны и слезы. Кричало уже полсела, голосили бабы, посылая небесные кары на головы гоцев.

Зашел плутоньер Стадзило и к своему приятелю-румыну, к тому, что пожалел в прошлом году пару кур для домнуле плутоньера. Румын встретил плутоньера у калитки и, предупреждая события, проговорил.

— Ну, слава богу, у меня нет ни сына, ни дочери.

Стадзило мрачно взглянул на него, радуясь в душе возможности отомстить за курицу.

— Это еще не доказательство... Люди говорят, что у тебя в доме спрятались двое парней.

Румын начал испуганно отказываться:

— Да вам же наврали, домнуле.

— А вот проверим, если наврали, так я привлеку лжецов к ответственности.

Вошли во двор. Плутоньер осмотрел его и, заметив кур, которые гуляли во дворе, улыбнулся:

— Хорошие у тебя куры, плугурул... Прекрасные куры.

— Может, домнуле прикажет прислать ему пару? — согнулся румын.

— Да нет... зачем? И, сказать по правде, у меня нет вкуса к курам с прошлого года, отбили мне вкус...

Румын побледнел. Понял румын, что теперь его не помилуют. Между тем начали обыск. Плутоньер командовал, расхаживая по комнате:

— А ну, посмотрите в печи... Нет? Странно. А ну, вытащите здесь кирпич... Кажется, тут тайный ход.

Жандармы начали ломать печь. Румын, засунув руки за пояс, молча опустил голову, сжал дрожащие губы и заскрипел зубами. Во время обыска у плутоньера Стадзило случайно выстрелил револьвер, и пуля разбила большое зеркало в доме румына. Кто-то случайно взял серебряные часы, кто-то побил ногами в погребе всю глиняную посуду и совсем случайно шомполом проткнули живот трехлетней свинье. Но новобранцев не нашли. Когда плутоньер вышел со двора румына, он пообещал ему строго наказать лжецов. Правда, он и сам не верил тому, что говорили, но...

— Служба, ничего не поделаешь... Прикажет начальство, так и у себя в кармане сделаешь обыск.

Уходи, сынок... У нас плутоньер и гоцы...

Хорошее вино у старого Олтяну — крепкое, обжигает горло и такое пахучее, как дыхание роз долины Пояна-Узулуй.

Давно присматривался Стадзило к погребам старика, а тут и случай хороший выдался. Вечером вошел плутоньер с двумя верными гоцами и проговорил:

— Ну, лысый, есть сын? Что?.. Не пришел еще? Так ты его все же ждешь? Так, так. Подождем и мы твоего сынка, а до тех пор — не смотреть же на твою поганую морду... Вытащи-ка нам бутылку-другую!

Дед поспешно достал вино — выбрал самое лучшее, принес брынзы, положил мамалыги и сушеного винограда. И бабка проворнее засуетились. Побледнела старуха, глаза напуганные и руки дрожат.

Олтяну присел в уголок, а бабка стала у дверей, поглядывая на гоцев испуганными глазами.

...В полночь взошел месяц. Кукурузные поля укутались дрожащими бледно-синими покрывалами, загрустили, заплакали о чем-то тяжелыми росами. Долго стояли неподвижными, купаясь в лунном молоке, а затем зашевелились, задрожали и недовольно пропустили сквозь чащу стеблей с десяток молодых парней из Уникитештов.

Из кукурузы метнулась тень, прилипла к мокрому забору и перенеслась к двери. Два пальца осторожно стукнули в дверь, тень притаилась. Так же осторожно скрипнули петли. В приоткрытую дверь высунулась голова старухи Олтяну. Она тихонько испуганно вскрикнула и зашептала:

— Уходи, уходи, сынок... уходи быстрее. У нас плутоньер и с ним двое гоцев... Пьяные всѐ... Все вино наше выпили. Уходи, а то хуже будет.

Тень метнулась обратно в кукурузу. Дрожащим голосом Олтяну позвал парней. Навстречу ему выбежали несколько человек.

— Хлопцы, у нас сам плутоньер сидит.

— Один?

— С ним еще двое гоцев... Все наше вино выпили. Теперь они, наверное, совсем пьяные...

— Ну?

Олтяну помолчал и зашептал снова:

— У твоего отца, Негойц, они сделали настоящую руину, у тебя, Бачу, украли полотно, у тебя, Греч, все вино на пол вылили... Ну? В сушильне есть топор и лопаты, есть сапы и ножи... Ну?

И никто не ответил молодому Олтяну на его слова. Юноши бросились в сарай и пропали в дверях.

...Домнуле Стадзило делился впечатлениями с гоцами.

— Хорошее вино у собаки. Видимо лет двадцать стояло без дела... Сколько лет этому вину? Эй, тебя спрашивают — оглох, что ли?

Старик покорно подошел.

— Уж и не помню, домнуле... еще отец мой поставил, во время свадьбы нашей со старухой... Давно, домнуле, поставил, еще тогда, когда в последний раз плясал по-молодому.

Плутоньер икнул и вытаращил на старика мутные глаза:

— А теперь что же... Уже не танцуешь?

Жандармы захохотали.

— Черт побери... А я хотел бы увидеть, как этот лысый будет танцевать!

— А вот он сейчас нам покажет. А ну-ка, старый стервец, подвигай ногами, да покажи, как танцевали раньше молодые.

Олтяну качнул головой и показал пальцами на свою сухую грудь.

— Не танцую я... Легкие вот болят — испортил на работе. Когда хожу, и то трудно дышать.

Один из гоцев повернулся к плутоньеру:

— Может лысому стакан вина поднести, чтобы повеселел?

— Ого, с чего бы это? Как будто он что-то во вкусе понимает. А ну, танцуй, лысый! Ну?

Олтяну принялся просить, чтобы его освободили от этого. Он дрожащим голосом говорил о своей старости.

Плутоньер покраснел.

— Пляши, сукин сын!

— Сам танцуй, собака-гоц!

— Кто это?

Плутоньер повернул голову и увидел разгневанное лицо молодого Олтяну и других парней, выглядывающих из-за его спины.

Олтяну быстро подошел к плутоньеру.

— Вот сейчас мы посмотрим, как собаки-плутоньеры танцуют.

Он выхватил из-под полы топор и безумно воскликнул.

— Танцуй!

Треснула плутоньерская голова и топор погрузился в мозг.

...Утром на перепутье были найдены трупы плутоньера Стадзило и с ним еще двух гоцев.

В полдень по проводам в соседний город летела тревожная депеша. Втиснутое в тонкую проволоку ночное событие растеклось точками и черточками Морзе по всем крупным городам Румынии и настороженно откликнулась на это сигуранца.

Сердце треснуло

Вечером село Уникитешты запылало со всех концов. Красные языки, дрожа, начали лизать темное небо, и густой дым столбами повалил вверх. Тогда же в деревню влетел карательный отряд румынской конницы. Пьяные солдаты бросились во все стороны, рассыпались по селу, словно борзые, что неслись за зайцами. Затарахтели выстрелы из ружей и воздух разорвали дикие женские вопли.

Солдаты вбегали в дома, били ружьями окна, ломали, уничтожали все, что попадалось им в руки, пьянея от огня и женских криков. Солдаты, превратившиеся в зверей, хватали женщин, оголяли их, лезли жадными руками под юбки, клали на скамью и тут же, перед глазами всей семьи наваливались, хрипя, с горящими глазами.

...Солдаты пьянствовали до вечера. Унесли все вино и пили, распевая пьяные песни, пьяные от издевательств над людьми. И ночью, когда солдаты уже перепились и выкрикивали что-то дикое, а патрули носились по улицам на взбесившихся конях, приказывая гасить свет в тех домах, что не сгорели, по садам прятались тучи крестьян, сжимая в руках топоры, сапки, тяжелые лопаты, оглобли и ножи. Ощетинившимися оглоблями и топорами, тучами обступили село плугурулы.

Пока румыны «устанавливали порядок» в селе, молодые парни успели объехать соседние села, сообщив другим молодым людям о том, что творится в Уникитештах, с просьбой прийти помочь всеми силами, чтобы отомстить за эту обиду. Упрашивать пришлось недолго. Налоги, грабежи, драки, расстрелы, поджоги домов, штрафы, контрибуции — за все это крестьяне давно собирались отомстить, глубоко пряча глухую злобу. Ночью в Уникитештах собрались вооруженные плугурулы и о чем-то задумались. До полуночи слышны были только пьяные солдатские песни и топот лошадей часовых. Люди лежали на земле, до полуночи слушая крики и топот лошадей, а в полночь молча встали, и молча, переливаясь живыми волнами через плетни, каменные заборы, сады и огороды, пошли к сигуранце.

Перед освещенными окнами остановились. Кто-то спросил.

— Ну?

Старый дед, стиснув зубы, перекрестился и решительно пошел к крыльцу.

— Господи благослови.

Жандарм возгласом хотел остановить старика. Но тот подошел к самому крыльцу и оказался перед толстым жандаром. Пьяным голосом жандарм строго спросил:

— Чего тебе надо?

Дед подошел вплотную, перекрестился, медленно достал из кармана рваных полотняных штанов садовый нож и коротко взмахнув рукой, вонзил его в жандармскую глотку по самую рукоять. Жандарм тяжело упал на крыльцо.

— Господи, прости меня грешного, — спокойно сказал дед и, по-хозяйски вытерев нож о штаны, крикнул.

— Ну, идите!

Идя с толпой, повалившей ему навстречу, говорил:

— Одного только и смог уложить... А больше, хоть убей — не могу. Петуха боюсь зарезать, не то, что гоца.

Но его никто не слышал. С дикими криками толпа влетела в сигуранцу, избивая палками вскакивавших сонных и пьяных жандармов. Гоцы, выбивая окна, бросились выскакивать во двор, но там их уже ждали топоры и ножи.

Успел выпрыгнуть только начальник отряда. Услышав шум, он протиснулся за печью в чулан и оттуда, оторвав доску, залез в нужник, а там уже сбежал через плетни к телеграфу.

Укрывшись на телеграфной станции, закрыв за собой дверь, сублокотенент приказал начать передачу. Телеграфист взялся за ключ. Дрожа, сублокотенент начал говорить, облизывая сухие губы.

— Штаб корпуса. Бухарест. Начальнику штаба... Отряд встретился с большими силами повстанцев, вооруженными пулеметами и гранатами, много одетых в русские шинели. Уникитешты штаб по...

В окно протиснулась палка и так крепко стукнула по офицерскому затылку, что неоконченное слово вылилось на аппарат вместе с кровью. В телеграфную станцию вбежали несколько человек.

Мы их проучим, мерзавцев!..

Бухарест...

Город, в котором замечтались дома, где зевают маленькие чиновники и сладко щурятся при воспоминаниях о различных спекуляциях румынские дельцы... Столица. Это сердце великой Румынии, такое же грязное и вонючее, как и гнилая королевская власть.

...Телеграмма, посланная в штаб корпуса в Бухарест, прилетела как раз тогда, когда начштаба Морареску начал уничтожать седьмой стакан холодной воды с вином и вареньем.

Плюгавый, согнувшийся есаул, с напудренными щеками и носом и слегка подкрашенными губами легонько стукнув шпорами, положил телеграмму между двумя стаканами с холодной водой и отошел в сторону. Морареску опустил глаза в телеграмму. Закончив читать, он прохрипел:

— Что за черт, откуда это? Где это село Уникитешты?

— Телеграмма получена из Бессарабии — склонился перед ним адъютант.

— Из Бессарабии? Ну, что же вы стоите, черт вас побери? Где конец телеграммы?

Адъютант подпрыгнул.

— Очевидно, или провод был перерезан, или тот, кто передавал телеграмму, было внезапно убит.

Морареску вскочил на ноги:

— Так что же вы стоите? Что вы стоите, я вас спрашиваю? — выпучил он глаза на адъютанта.

Тот испуганно бросился к двери.

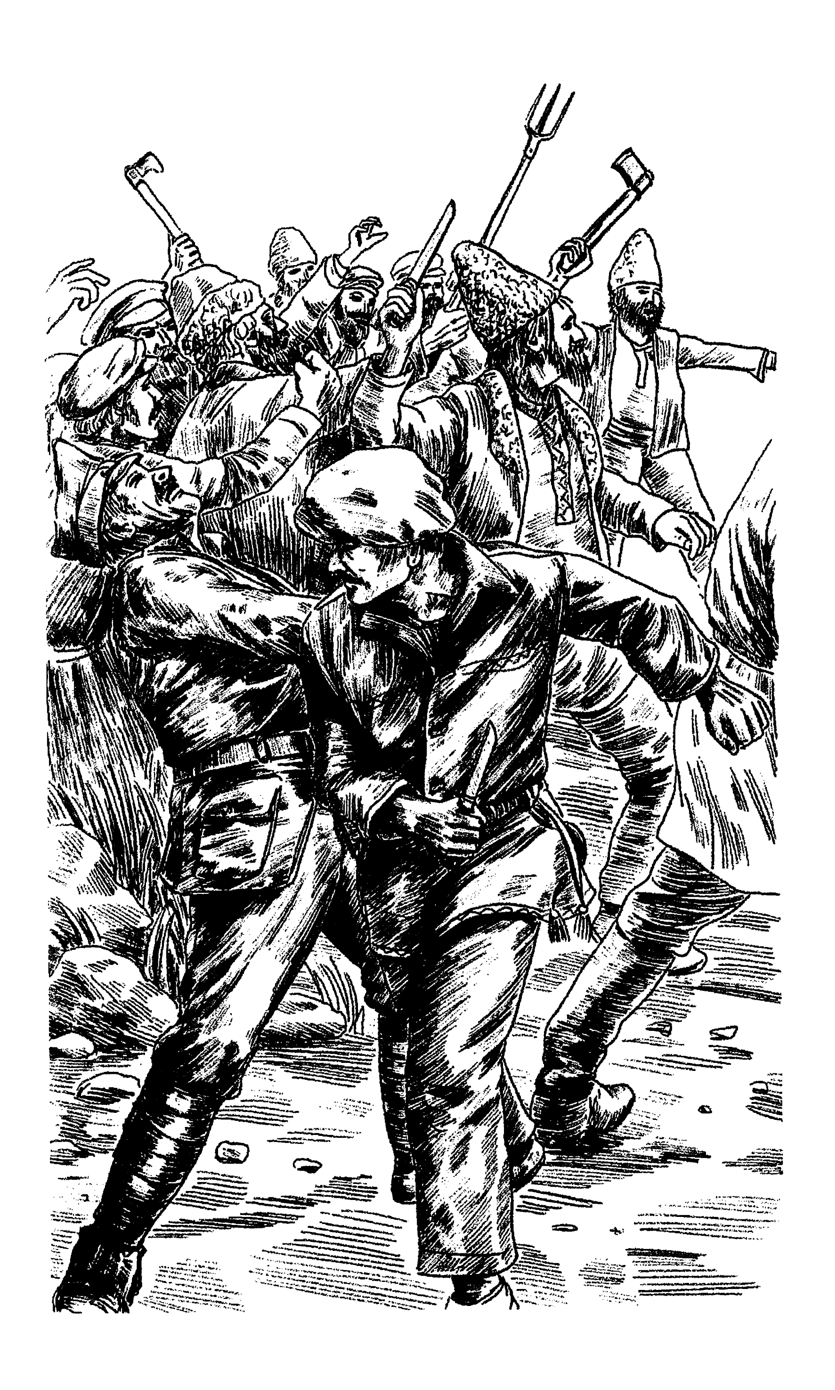
— Слушаю!

— Куда же вы бежите, черт бы вас побрал? — завизжал начальник штаба.

— Слушаю!

Генерал опрокинул стакан холодной воды и сел в кресло.

— Слушаю, слушаю! Надо не слушать, а дело делать! Дайте распоряжение в Кишинев... распоряжение в Кишинев... черт возьми, как же вы напудрились... что? Да, немедленно поставить на ноги Кишинев... Фу... Ну разве можно



так пудриться, черт побери?.. Ну, что же вы стоите? Выслать немедленно дивизию и аэропланы.

— Слушаю!

— И больше не сметь мне так пудриться... В Бессарабии советские отряды, а здесь... черт его знает... Да не стойте вы, ради бога... Ну?

Аэроплан, содрогаясь всем корпусом, гудел пропеллером — готовился лететь. Летчик крепко пожал руки своим друзьям и полез в аппарат, где, ожидая его, сидел, словно вросший, бомбист-наблюдатель.

— Контакт?

— Есть контакт!..

Аппарат стремительно побежал по аэродрому, оторвался от земли, поплыл над горизонтом и быстро превратился в точку, унося летчика в тихую синь небес над Уникитештами.

...Через полчаса на Уникитешты отправился тяжелый пушечный полк и конная дивизия.

...Тем временем в Уникитештах творилось что-то необычайное — крестьяне, вооружившись ружьями, саблями и пулеметами, отобранными у жандармов, готовились к бою, каждую минуту ожидая появления румынского войска. Молодой Олтяну подбадривал плугурулов, гарцуя по селу на прекрасном сером жеребце, отобранном у офицера. Олтяну успел сегодня побывать в трех селах, поговорить в одном с бывшим унтер-офицером русской армии по поводу объединения всех сил, успел помирить ребят, подравшихся за оружие, сумел достать где-то колючей проволоки, которой плугурулы обмотали черешни, поваленные на концах улиц.

Но не только Олтяну так бойко работал и готовился. Даже старики и те сползли с лежанок, приняв участие в обматывании проволокой срубленных деревьев. Кто давал распоряжение — никто в точности не знал, но все работали дружно.

Олтяну хотел было дать некоторые указания плугурулам, рывшим окопы, но его, как всадника, послали на другой конец села — посмотреть что там делается, и не надо ли там чего. И Олтяну, пришпорив коня, помчался смотреть, что делается на другом конце Уникитештов.

Ночь прошла спокойно. За кружками с пивом плугурулы строили разные планы на будущее.

Много планов было разработано в эту ночь. Каждый предлагал свое и упорно пытался доказать, что его идеи самые верные и лучшие, и только на одном помирились все, когда заговорил старый Негойц.

— Люди добрые, все мы говорим глупости. Разве мы сумеем удержаться в этом селе? Вряд ли. Ну, неделю-две будем обороняться — а что дальше? Тут надо немного по-иному умом раскинуть. Войска у нас нет, пушек нет. Вот в этом-то и все дело... Нам следует послать человека в обласканную землю, и просить там поддержки... Вот что я хочу сказать.

И несчастные плугурулы, не знакомые с международным правом, поверили словам Негойца, и никто не подумал о том, возможно ли это. Плугурулы обрадовались до безумия. Долго выбирали, кого послать, и имя Негойца упоминалось чаще всех. И, в конце концов, порешили послать его.

Старик поднялся, разгладил свою седую, до пояса, бороду, поклонился низко и произнес:

— Спасибо, люди добрые, что выбрали меня потрудиться на дело общества... Хоть на старости лет посмотрю на эту землю. Может и доведется еще взглянуть на нее. Расскажу им, что творится у нас... А когда вернусь, так уже с ними.

Начали считать, сколько дней, придется идти старику. Насчитали семь дней.

— Семь день продержимся... Да, да. Семь день провоюем.

— Даже десять провоюем!

...С рассветом старый Негойц ушел в сторону советской границы, за спиной у него висела сумка.

В полдень над селом начал крутиться аэроплан. Плугурулы бросили работу и, задрав головы вверх, тоскливо смотрели на стальную птицу, гудящую наверху. Кто-то печально прошептал:

— Будет бомбы бросать, сейчас будет бросать.

Ответили покорно и безразлично:

— Да, наверняка.

Кто-то внезапно предложил:

— А может стрельнем?

Все радостно согласились с этим. Тут же зашумели, загомонили, зашевелились.

— Эй, у кого карабин, стреляй... Стреляйте люди!

Начали отрывисто стрелять. Аэроплан дернулся, минуту повисел в воздухе и рванулся вверх.

— Подбили!

— Пошел!

— Убегает!

— Го-го-го!

Снова весело затрещали карабины. Но вот неожиданно воздух прорезал необычный металлический гул, будто с облаков полились потоки металла.

— Ложись!

— Бомбу бросил!

Испуганно припали к земле, глядя друг другу в глаза.

Страшный взрыв где-то в направлении церкви разорвал чугунным хохотом застывший воздух. На головы посыпался дождь земли, песка и обломков кирпича. И снова прорезало воздух металлическим гулом, и снова разорвали полдень чугунные ветры и снова под тучи взметнулись черные столбы раздробленной земли.

Бомбы ложились в садах, среди улиц, в овине — они недолго яростно хрипели и, взорвавшись, с убийственным возгласом подбрасывали вверх кровли, деревья, черные кучи земли и огромные камни.

— Господи боже... господи боже... — быстро крестились плугурулы, вздрагивая всем телом после каждого взрыва.

— Господи, не попусти!

— Господи, не убий!

Взрывы слились в бесконечный гул, от них тоненько звенело в ушах и било в голову.

Какой-то старичок в разорванной до пупа рубашке, со сбитой в сторону взъерошенной бородой выбежал на дорогу и закричал, размахивая руками, приседая при каждом новом взрыве:

— Господи, убивают нас... Л-лю-юди-и!..

Но старика никто не слушал. Голос его тонул в чугунном реве взрывов... Тогда старик сел прямо в пыль и зашмыгал носом.

— Господи, убивают же... Господи, боже наш...

...Сбросив бомбы, аэроплан полетел назад. Наступила мертвая тишина.

Но не успели плугурулы успокоиться, как где-то вдалеке за селом прерывисто загудело:

— Данг-банг.

— Данг-банг.

И снова засверлило воздух. На этот раз — снарядами пушечной сотни, подъехавшей к селу. На деревню посыпался дождь снарядов. Все перемешалось в земляную кровавую кашу. О борьбе нечего было и думать. Оставив оружие в садах, плугурулы побежали к своим домам.

Вечером войско, влетевшее в село, творило суд и расправу.

Плугурулов согнали к разрушенной снарядами церкви, выстроили в один длинный ряд и, отсчитав каждого пятого, повели к забору. Вздохнул пулемет и... пятой части мужского населения в Уникитештах не стало.

Офицер брезгливо посмотрел на кровавую кучу плугурульских тел, окровавленных лохмотьев и на желтые, как воск, застывшие ноги. Повернул свое напудренное лицо к крестьянам.

— Если хоть одна гадина посмеет хоронить эту сволочь, от вашего села и камешка не останется... Слышите?

Плугурулы уткнулись подбородками в грудь.

Утром собрали партию молодых парней и погнали неизвестно куда. Матери бросились вслед — прогнали.

— Да скажите хоть, куда же вы гоните их? — спрашивали матери. Один из жандармов смилостивился.

— В Кишиневскую тюрьму.

А потом, опомнившись, закричал, взмахнул нагайкой, завыл:

— На-а-за-ад, сволочь!

Грустная встреча, печальные воспоминания...

Тюрьма, где сидел Степан, ежедневно принимала в свои каменные объятия все новые и новые партии арестованных. Часть заключенных уже перевели в Ясский централ, часть направили в другие тюрьмы.

Степана и арестованного вместе с ним рабочего перевели в общую камеру, где сидели также и рабочие по делу забастовки и «вооруженного насилия» на табачной фабрике Левинцу. Хотя никто из арестованных пока еще не знал о том, что ими, помимо всего прочего, «сделано несколько выстрелов в домнуле Левинцу». Также никто еще не знал, что их обвиняют в покушении на жизнь агента сигуранцы Кавсана. Начальство не очень спешило уведомить их об этом — пусть, мол, посидят.

А камеры с каждым днем все наполнялись народом.

Однажды после прогулки в общую камеру привели партию новых арестованных в крестьянской одежде, в желтых, цвета подсолнуха, шляпах и с маленькими сумками в руках.

Плугурулы остановились у дверей, с детским любопытством осматривая помещения и вглядываясь в бледные, измученные лица заключенных. Но вот, ко всеобщему удивлению плугурулов, из дальнего угла камеры подошел высокий бородатый человек и, положив руку на плечо одного из них, спросил:

— Давно из Уникитештов, Олтяну?

Олтяну вытаращил удивленные глаза:

— Мы?.. Н-нет... три дня назад... А вы кто будете, домнуле?

Степан грустно улыбнулся:

— Что, уже и узнать не можете?.. Да я же кузнец Македон буду.

— Вот как... — удивленно пораскрывали рты плугурулы и радостно зашумели:

— Глядите, люди добрые, — действительно Македон. А зарос бородой, а похудел. Лицо как известкой перед праздниками выбелили...

— А на селе врали, будто бежал Македон.

Загареску прервал разговоры:

— Ну, хватит, потом наговоритесь. Выбирайте, ребята, нары!

Немного повеселев, плугурулы начали раздеваться и хозяйственно располагаться по углам, у стен, под окнами и возле дверей. Стянув с себя свиты и широкополые шляпы, сложив в головах узелки, плугурулы сели по-хозяйски, каждый на своем месте, положив черные корявые руки на колени.

Загареску взглянул на них и засмеялся:

— Ну, черт... Посмотри только, Степан, на земляков. Уселись вот. Словно на вокзале поезд ожидают... Будто во дворе Каса Ноастра* землемера ждут.

Но Степан не слышал ничего. Он сел рядом с Олтяну и принялся жадно расспрашивать его про Стеху. Но увы, Олтяну ничего не знал и не мог ответить на вопросы Степана. Он мог лишь рассказать о том, как бедствовала Стеха, как ходила на поденщину, на виноградники, а дальше он и сам не знает, что с ней стало. И где она — молодой Олтяну тоже не знал.

— Большое несчастье случилось в Уникитештах, Македон. Большое несчастье. Когда взяли нас, не знали мы, живы ли наши отцы и матери, целы ли наши дома... Ничего не знаем.

Македон побледнел и произнес:

— Расскажи.

Молодой Олтяну начал рассказывать обо всем, что было на селе, — о восстании, о жандармах, о расстрелах, об изнасилованиях женщин, о грабежах, и каждое слово его теснее сплачивало круг слушателей.

Спокойный голос Олтяну лил в сердца слушателей кровавую, горячую ненависть и наполнял души кипучей бес-

---

* Учреждение, осуществляющее землеустройство в Бессарабии.

сильной злобой. Загареску стоял, широко раскрыв глаза, и в глазах его горели недоверие и ужас... Он не выдержал:

— Неправда!

Олтяну повел плечами и равнодушно произнес:

— Что ж, можешь не верить. Можешь не верить и тому, что мы в тюрьме... А за вранье нам не платят.

Дезертир задохнулся, из забытых глубин памяти выдернул давно забытые русские матерные слова и плеснул ими по камере.

— А-а-а... звери, звери. Мать... мать... мать... Растак вашу... в печень, в сердце, в гроб!..

Погрустнела камера. Притихла. А потом как-то случайно всплыло само по себе смелое и сильное желание, от которого сердца заколотились быстрее. Это было всеобщее желание — желание бежать. Кто-то подал мысль, уже и не вспомнить, кто именно. Главное — идея была подана. А дальше дни и ночи превратились в лабораторию, в которой готовили планы побега. Эти планы рассматривали и не принимали. Но дни и ночи были упорно наполнены этими исканиями.

В конце концов был выработан один план, который и был принят единогласно. Этот план был безумным по своему замыслу, но им нечего было терять — жизнь или смерть.

Широкий взмах упругих крыльев

Чтобы не возбуждать подозрений тюремной администрации, общая камера относилась к своим обязанностям так тщательно, что у охранников сердце радовалось. Заключенные всеми силами старались угодить начальству. Такого смирения, такого искреннего исполнения заключенными всех обязанностей администрация отродясь не видала. И, похоже, не надеялась увидеть.

— Телята, а не арестанты. Черт знает, почему такие смирные парни обвиняются в восстании? Ничего не понимаю!

Особенно этой покорности и рабскому вниманию радовался директор, когда заключенные общей камеры гнули спины возле его окон. Чуть ли не по земле стучали лбами — так они любили и уважали начальство.

Но все это было частью плана.

Так шли серые дни за решеткой. И вот однажды, темной ночью, когда туманные сумерки тихо вползали в тюремные окна, в камеру, Степан сказал:

— Ну?..

И узники, поняв все без слов, ответили с холодом в сердце:

— Бунэ...

Камера притихла. Каждый остался наедине сам с собой, чувствуя, как горячо пылает грудь и от предчувствий холодеют ноги.

...Ночь. В гулких тюремных коридорах мутно блестит электрический свет и размеренно стучат шаги часового. Из камер сквозь дверные волчки доносятся храп и стоны арестованных. Где-то скрипят в удушливом кашле и с бранью выплевывают из гнилых легких кровавую харкотину.

Тюрьма спит.

И караульному хочется спать. Караульный боится стоять на одном месте — уснешь случайно, беда будет, поэтому он меряет шагами уставших ног длинный коридора из конца в конец и от скуки заглядывает в волчки — что делается в камерах?

Но вот из общей камеры до ушей караульного долетел неясный шум и сдавленный крик.

Он остановился, а затем потихоньку пошел в сторону общей камеры. А в той камере в эту ночь произошло нечто необычное.

В полночь начал буйствовать один из заключенных — здоровенный плугурул Николай Кодрияну. Вскочив со своего места, он, дико завывая, начал носиться по камере, опрокидывая столики, парашу и ломая прибитые к стенам полки. Арестованные бросились к нему со всех сторон, пытаясь схватить его за руки, но тщетно.

Кодрияну с пеной на губах, с налитыми кровью глазами носился по камере, размахивая тяжелой скамьей, грудью опрокидывая тех, кто приближался к нему, и выл страшно, по-звериному. Все это увидел сторож в крохотный дверной глазок.

Шум усилился.

Часовой бросился вдоль коридора, добежал до площадки и, перевесившись через поручни, крикнул:

— Эге-ей... начальник стражи!

Плутоньер оттуда спросил, в чем дело.

— Несчастье в общей камере. Сумасшедший объявился... Бросается на заключенных... Все перевернул и побил в камере.

Удивленный плутоньер быстро прибежал наверх по лестнице и бросился по коридору.

Остановившись возле общей камеры, он приник к волчку и с минуту смотрел. Тем временем в камере пытались поймать Кодрияну. Заключенные то ласково уговаривали его успокоиться, пытаясь отнять у него тяжелую скамью, то пробовали сбить его с ног, бросаясь на него все вместе, но, видимо, сумасшедшие действительно обладают сверхчеловеческой силой — сегодня эту истину взялся доказать Кодрияну, разбрасывая всех, кто нападал на него, словно щенят.

Плутоньер громко спросил в очко.

— Эге-ей, что случилось?

К двери подбежал Загореску и зашептал:

— Беда, домнуле. Кодрияну обезумел... Двоих чуть не убил... Помогите, домнуле. Заберите его отсюда, а то он нас поубивает... Спасите, домнуле...

Плутоньер задумался:

— Черт его знает, что делать... Вишь, какое дело получается... Да-а. А в инструкциях про это ничего не сказано.

И плутоньер побежал за инструкциями к дежурному офицеру.

Через несколько минут к камере подошел заспанный офицер и несколько солдат. Офицер процедил:

— Откройте камеру.

Скрипучие задвижки ржаво взвыли и звякнули железом. Дверь камеры открылась. Офицер переступил порог и недовольно надулся. Он взглянул внутрь и невольно шагнул к двери.

— Что это такое?

Кодрияну, увидев офицера, дико взвыл, прыжком бросился к тюремной стене, подпрыгнул и, вцепившись руками в тюремную решетку, пронзительно захохотал. Офицер закричал:

— Хватайте его за ноги!

Узники бросились толпой к Кодрияну, но хитрый сумасшедший, поняв их, прыгнул на пол и, схватив с пола оторванную полку, метнул ее над головами и завыл.

Узники бросились назад. Офицер командовал:

— Заходи справа и слева!

Но Кодрияну, заметив, что его обходят, бросился в другой угол.

Ловля сумасшедшего начала превращаться в спорт. Заволновался не только плутоньер, горячились и солдаты, и узники, и даже офицер, который принялся бегать по камере с блестящими глазами, весело выкрикивая:

— С правой стороны, черти... С правой стороны заходи... А-ах, раскоряки!

И все начиналось снова. В камеру вошел даже часовой и, поставив ружье у двери, начал гоняться вместе со всеми за Кодрияну. Но вот вдруг сумасшедший, размахнувшись доской, бросился на солдат. Те метнулись в угол.

— Хватай! — крикнул Степан.

Но на этот раз бросился не на Кодрияну, а на солдат. И тут же хлопнула закрывшаяся дверь.

Сумасшедший стукнул офицера доской по голове и вместе со всеми заключенными бросился на румын. Произошла короткая беззвучная схватка.

Заключенные, тяжело дыша, сбили солдат на пол, заткнули каждому в рот по кляпу и быстро начали стягивать с них одежду. Степан подгонял. Но арестованные и сами спешили не меньше Степана.

Они чрезвычайно быстро натягивали на себя румынскую солдатскую форму, поспешно застегивали пуговицы, еще быстрее хватали оружие и, уже переодетые в солдат, подбегали к дверям, заслоняя спинами глазок в двери.

Кодрияну, внезапно оказавшийся здоровым, делал то же самое. Он так же натягивал на себя солдатские мундиры, но с бранью передавал их другим. На его огромную фигуру не нашлось ни одного мундира. «Сумасшедший» ругался:

— Вот, чертовы цыплята!.. Может, попробовать офицерскую... Где она?

Но офицером уже вырядился Загареску. Быстро застегивая последнюю пуговицу на офицерском мундире, он поспешно убеждал в чем-то Степана, нетерпеливо смотревшего на переодевание.

— Обязательно нужно, обязательно. И пароль у них надо узнать... Иначе никак нельзя.

Степан отвернулся:

— Делай, как считаешь нужным.

— Так бы и раньше.

Загареску наклонился к связанному офицеру, вытащил у него изо рта кляп и спросил:

— Пароль?

Офицер молчал.

— Пароль, курва?.. Ну?

И ткнул ему в лицо маузер. Офицер прохрипел:

— Кагул.

Загареску заткнул ему рот и шепотом спросил солдата, что лежал у двери:

— Пароль?

— Рени.

— Выходите! — сказал Загареску.

Тихонько скрипнули двери. Узники потихоньку проскользнули в коридор, оставляя позади пустую камеру. В глаза им взглянула желтая пустота коридора. Лишь где-то за углом стучали шаги часового, но его не было видно.

Степан шепнул команду, и все бросились по коридору в караульную комнату. Вбежали на цыпочках, беспорядочной толпой, тихонько зажав сердца в холодные рукавицы неизбежного, спустились по ступенькам вниз, не встретив никого. Все шло как надо. Все немного приободрились, всерьез поверив в то, что они начали делать.

Толпа вбежала в караульное помещение. Безумно напуганные солдаты не успели опомниться, как уже лежали на полу с выкрученными назад руками.

Снова начали переодеваться. Заключенные бросали на пол свою одежду, поспешно натягивая на голые тела солдатские мундиры.

В течение нескольких минут половина арестованных переоделась, и их уже невозможно было узнать.

— Ну, выходи!

— Стой!

В комнату вбежал Загареску. На его мундире, на руках и на лице тускло блестели кровавые пятна. Он остановил тех, кто выходил, и подбежал к связанным солдатам. Отрывисто спросил:

— Пароль?

Прохрипело сразу несколько голосов.

— Рени.

— Бунэ... Если вы будете кричать или попытаетесь освободиться до моего прихода, будет плохо. Смотрите — в городе уже объявлена советская власть... Будете нам мешать освобождать арестованных — перестреляем!

Загареску погрозил им кулаком и с этими словами бросился за выходящими, остановился на миг на пороге, еще раз погрозил пальцем и выбежал из караульной, заперев дверь на защелку.

Между тем Степан уже отдавал распоряжения в коридоре.

— Кто с оружием и в форме — становись по краям... Свободные в середину. Загареску?

— Есть!

— Ты офицером?

— Ну?

— Веди!

Степан распорядился и полез в середину арестованных. Кто-то перекрестился:

— Господи, благослови.

— Пошли!

...Двор погрузился в густую темноту южной ночи. Темень стояла такая, что трудно было рассмотреть человека даже в двух шагах. Партия «арестованных» на миг остановилась и пошла без команды направо в сторону огонька, который мерцал в темной пасти ночи. Это светил электрический фонарь. Несколько голосов зашептали:

— Внешняя охрана.

— Тише.

Перед глазами выплыли мутные расплывчато-темные очертания приземистого каменного дома с тускло освещенным окном с решеткой.

— Стой!

Загареску отошел от толпы и твердым шагом подошел к окну. Тихо постучал в стекло.

— Ишь... заснули, черти. Начальник стражи? Спишь, свиной хвост?

В ответ стукнула дверь, и несколько человек выбежали во двор. Загареску обратился к ним начальственным тоном:

— Спите, сволочи? Кто начальник караула?

В пятне мутного света выплыла тучная фигура плутоньера.

— Я.

— Спал, сук-кин сын?

— Нет-нет, нет, домнуле... домнуле локотенент.

Загареску грозно поправил:

— Капитан.

— Извините... нет-нет, домнуле капитан, не спал.

— Принеси немедленно ключ от ворот. Партия отправляется на вокзал...

— Изви-и...

— Молча-а-ать!

— Пароль? — воскликнул плутоньер.

Загареску подошел к нему вплотную и, укутывая лицо офицерским шарфом, прошептал:

— Рени.

Плутоньер вытянулся перед ним в струнку и, сказав: «Слушаюсь», — помчался за ключами.

Загареску со своей необычайной наглостью даже не пытался вести себя осторожно, а, напротив, умышленно начал что-то очень громко насвистывать. Кто-то из партии прошептал ему, чтобы он вел себя потише. Ведь они так боялись. У них так бились сердца. А от этого свиста и от такой наглости Загареску сердце разрывалось на части и в голове шумело. Прошептали:

— Тише, Загареску.

«Офицер» резко повернулся и крикнул, на этот раз во весь голос:

— Молчать!

В этот момент из помещения выбежал плутоньер и звякнул ключами. Услышав грозный возглас офицера и желая услужить ему, плутоньер повернул свою голову на коротенькой шее в сторону темной массы и тоже гавкнул:

— Разговаривать?.. Зубы повыбиваю!

И, повернувшись к Загареску, заискивающе спросил:

— У домнуле капитана есть распоряжение от домнуле директора?

— Есть... Ступай, открывай.

— Домнуле капитан даст мне это распоряжение?

— Что-о-о?

— Простите... Инструкция... Приказ...

— Открой мне немедленно, хватит болтать. Получишь у меня распоряжение... Ну?

Плутоньер недовольно качнул головой и побежал к воротам. Партия тихо пошла за ним вслед. Часовой у ворот

шагнул в сторону и терпеливо ждал, пока плутоньер откроет дверь.

Партия начала выходить из темных ворот на улицу. Загареску терпеливо ждал и лишь изредка кричал:

— Раскорячи-ились... Эй, шевелись там!..

И когда уже выходили последние, плутоньер подошел к «офицеру» и вежливо напомнил:

— Домнуле капитан не передал мне распоряжение.

— Ах, да-да, я и забыл.

И, высунув голову в ворота, крикнул:

— Эге-ей, Кодрияну! Распоряжение у тебя?

Из темноты послышалось:

— Так точно.

— Передай плутоньеру.

— Слушаюсь.

В ворота вошла огромная тень, подошла вплотную и, взметнув руку вверх, тяжело стукнула плутоньера по голове. Тот мешком упал на землю, не успев даже пикнуть. Второй удар свалил часового. Загареску наклонился и, вытащив у плутоньера револьвер, сунул его в карман. А Кодрияну снял с часового патронташ и, забрав ружье, побежал догонять партию уже свободных людей, вылетевших навстречу суровым дням.

Через три часа из Кишинева вдогонку беглецам выехали три кавалерийских эскадрона и пропали в темноте теплой бессарабской ночи.

Если ты не шлюха, иди за мной...

После того как было разрушено родное село, Стеха решила уйти в Кишинев с надеждой найти там Степана или хотя бы узнать что-то у людей о его судьбе. Наивная девушка даже не подумала о том, что сделать это не так легко. Но разве об этом надо было думать?

Знакомый молдаванин подвез ее в Кишинев и поехал на постоялый двор, оставив Стеху посреди улицы большого города с маленьким узелком в руках и с детски-наивными желаниями. Стеха поплелась по незнакомым улицам, лишь бы только куда-то идти. А куда, зачем, почему — об этом она не думала. Лишь бы идти, со слепой верой в лучшее.

Шумные улицы города, толпы людей, непрерывно идущих по тротуарам, поспешность движений — все это удивило ее. И напугало одиночество. Позади остались такие спокойные бессарабские поля, веселая зеленоватая даль и люди, такие же простые, как и эти поля. Стехе стало грустно. Испуганно поглядывая на людей, она шла мимо домов, потихоньку продвигаясь вперед.

Из распахнутых дверей ресторанов на улицу вылетали звуки музыки. Стеха останавливалась и прислушивалась к ней.

Начало смеркаться. На город опустилось синее вечернее небо, а вдоль улиц вспыхнули белым ожерельем яркие городские фонари.

А Стеха все бродила по улицам, пока совсем не стемнело. Где-то замирали звуки музыки, прекращалось движение извозчиков и автомобилей. Она пошла куда-то по извивающейся улице. Улицу пересекали переулки с низкими домами.

Устала... Села на скамью напротив большого каменного дома с огромными освещенными окнами.

Но надо было куда-то идти. И она снова потихоньку поплелась по переулкам, повернула направо, потом пошла налево и так кружила до тех пор, пока не уперлась в низенькие покосившиеся заборы, из-под которых смердело плесенью.

В переулках стояла темная летняя ночь.

Стеха устала и, измученная и обессиленная, встала возле желтого равнодушного уличного фонаря, не зная, куда деваться дальше. Стало жутко, страшно. Стеха заплакала тихим беззвучным плачем, ее усталые плечи сотрясались. В лицо заглядывала туманная городская ночь.

И Стеха не заметила, как к ней подошла какая-то женщина, доброжелательно положив ей руку на плечо.

— Чего ревешь, дура? Дружок на свидание не вышел?

Стеха кивнула головой в ответ.

— Так что же ты?

— Деваться некуда, — всхлипывая, проговорила Стеха.

Женщина замолчала, помолчала немного и, подумав, спросила:

— А ты не шлюха будешь?

— Н-нет.

— Работать умеешь?

— Да.

— Белье стирать будешь?

— Буду.

— Ну, смотри, я тебя беру, — произнесла женщина, — только, если ты... из этих, скажи сразу. Ну?

...Через день Стеха стояла и стирала белье, работая по найму у своей хозяйки.

Воля голоте — или виселица

Кодры*.

Густо покрытые лесом долины, крутые овраги, поросшие лещиной и серебристым грабом. Папоротник, лесная тишина, хруст тонких веток, когда белка прыгает с дерева на дерево. Между серых камней тихим серебром звенят лесные реки, вышивая в зеленых камнях густые белые кружева пены.

Леса... Словно декорации старых, грустных румынских сказок.

...Беглецы из тюрьмы словно провалились.

Зря жандармские отряды носились за ними днями и ночами. Бегали по дорогам, селам и лесам и никого не нашли. О беглецах почти позабыли, как вдруг однажды они напомнили о своем существовании дерзким нападением на конную сотню, которая расположилась в Плотерештах.

В Кишинев поступило коротенькое сообщение.

> **Ночью с седьмого на восьмое текущего месяца в Плотерешты ворвался отряд хорошо вооруженных бандитов. В результате двухчасового боя порученная мне сотня вынуждена была отступить с большим количеством убитых и раненых. Бандитами захвачено сорок три лошади, два пулемета, убито пятьдесят восемь человек и двое плутоньеров. Отступили с останками сотни в Краевое. Жду дальнейших распоряжений.**
>
> *Сублокотенент Ралли.*

Надо сказать, что в сообщении не все отвечало истине, и если бы это сообщение за подписью сублокотенента Ралли попало бы в Кодры, в руки Степана и его товарищей, они бы от души посмеялись.

Домнуле Ралли позабыл вспомнить о том, что он в одних подштанниках ускакал на неоседланной лошади после

---

* Кодры — бессарабские леса.

пары выстрелов в Плотерештах. Домнуле не упомянул в сообщении о позорном бегстве солдат, побросавших своих коней и ружья. А еще сублокотенент солгал про двухчасовый бой. Бой, правда, был, но кончился он значительно раньше, чем через два часа. На самом деле он закончился спустя всего пять минут после первого выстрела. Но об этом знали только Степан и его товарищи, после набега убежавшие в Кодры.

...В густых кустах орешника отряд остановился и слез с лошадей. Выставили охрану и занялись подсчетом результатов сегодняшних событий. Лысый Улариот перекрестился:

— Слава богу... Хорошо провели бой... А у нас, похоже, и поцарапанных нет?

Несколько голосов радостно ответило:

— Нет, нет...

— Ну, дай бог, всегда так.

Начались воспоминания, вспоминали подробности налета и бегство солдат.

Добыли и трофеи. «Начальник хозяйственной части» старый Попеску после подсчета сделал краткий доклад о том, сколько захвачено лошадей, сабель, ружей, два пулемета и большое количество револьверов и патронов. Старый Попеску почесал свою лохматую голову и произнес:

— Там вот еще ящики с патронами, но я их вряд ли подсчитаю, потому что незнакомое число будет. Не знаю, как его сделать. Бомбы есть ручные — около сотни будет... Сын смотрел, говорит, в исправности... Теперь, значит, что получается? Найти бы нам еще восемь лошадок, тогда как раз каждому бы досталось.

Особенно много радости было оттого, что добыли коней. Загареску пылко заявил:

— Теперь я и чертовой матери не боюсь!

К вечеру в Кодры прибыло двое крестьян из соседнего села с продуктами для повстанцев. С ними повстанцы установили связь еще с первых дней, когда они попали в Кодры. И хоть тяжеловато было плугурулам кормить столько людей, все же они помогали повстанцам с большой охотой и радостью.

...Утром Загареску обучал повстанцев обращению с оружием, муштровал их, постепенного ладил хорошо вымуштрованную конную сотню и даже начал учить их военному уставу, но этого уже повстанцы не выдержали.

— Ну, это ты брось! Нам этих фокусов не надо — рубить умеем, стрелять умеем и амба. Не собираемся всю жизнь воевать... С румыном покончим, так даже ружья в щепки разобьем.

Загареску не протестовал:

— Как хотите, а только по-хорошему надо было бы и устав пройти. Как-то оно так неудобно получается.

— Оставь, брат.

Муштра производилась с большим успехом. В течение недели повстанцы настолько выучились, что Загареску даже рот разинул:

— Молодцы. Нас этому делу год обучали, а вы...

И даже был немного недоволен успехам своих учеников. Ему показалось обидным, что ученики оказались такими способными.

— Дурень ты божий, вас учили из-под палки, а мы — по необходимости. Если надо будет, так и по-собачьи залаешь.

Загареску соглашался:

— Теперь нам что остается? Хорошо бы пройти стрельбу и дальнейшие тактические учения, а там и гато*. Эх, и гульнем же тогда по Бессарабщине!.. Эх, гульнем! Задрожат бояре в лихорадке, когда плугурульская кровь в пляс пойдет. Будь, что будет, а бояре будут гореть — ой, гореть!..

...В последние дни Степан стал чаще исчезать из отряда, иногда не появляясь по несколько дней. Загареску подмигнул:

— Землю пашет...

Действительно, Степан целыми днями пропадал в селах, агитируя за общее восстание. Дважды чуть было не попал в руки сигуранцы и спасался лишь благодаря своей смелости. Только легко ранили в руку — отчего он лишь стал осторожнее.

---

* Гато — то же, что «даешь».

Мик сус...

Как-то вечером прибежал в Кодры молодой парень из соседнего села и сообщил повстанцам о том, что утром через Тимишоарский лес должна пройти крупная партия каких-то важных арестантов.

— Сегодня люди в Тимишоаре были, говорят, что арестованных будет человек сто и огромная охрана стоит. Люди говорят, что жандармов будет больше ста человек, да в придачу к ним еще два офицера... Так вот арестованные — неизвестно откуда, узнать это не получилось, но видели, что они связаны веревками. Ну, что делать?

— Бунэ... Значит, через Тимишоарский лес, говоришь?

— Ну да... Да это отсюда недалеко. Я вам покажу дорогу и как можно быстрее всего туда проехать... А наутро они обязательно должны пройти через Тимишоарский лес, потому что другой дороги нет. Наши только увидели их, сразу меня и отправили... Сказали — сюда перевести.

— Бунэ... Спасибо за добрую весть, а хлопцам, тем, что к нам просились, скажи — пусть идут, кони и оружие будут.

Утром туманно-красное солнце сбросило с головы молочную шапку, блеснуло в тяжелых росах бриллиантом. Вокруг еще все спало, только на опушке кричали вороны, да тяжелая поступь партии арестованных и топот конной стражи нарушали предрассветный покой и тишину еще сонных и мокрых росистых полей.

Через холмы, степи и овраги, через крутые уклоны, то поднимаясь вверх, то пропадая в балках, ползет неясным серым пятном мрачно-молчаливая партия, движущаяся из Тимишоары к жизни за решеткой.

Впереди — вдалеке от партии — шагом едут два всадника-офицера, курящие сигареты и хмурящие полусонные лица, сладко зевая при этом. В конце концов один из них пробормотал:

— Спать хочется, черт возьми!

— Ну, до Вакарештов про сон и думать нечего... А жаль, жаль...

До леса оставалось не более ста шагов. Один из офицеров начал насвистывать какую-то веселую песенку, равнодушно поглядывая вокруг и подтягивая поводья.

Если бы офицер смотрел внимательнее, то он заметил бы несколько пар глаз, что смотрели на него из кустов орешника, он увидел бы, что ему в грудь направлены дула карабинов и густые цепи повстанцев расположились по краям дороги.

Загареску стискивал до пота новенький карабин и разъяренно шептал:

— Свисти, свисти, курвин сын — насвистывай, собака! Сейчас мы тебе свистнем, сука ты бухарестская. Подъезжай, подъезжай ближе — ну, ну!

Офицеры въехали в лес. Один из них предложил второму зажечь сигарету.

— Закуривай...

— Вряд ли ты закуришь, домнуле... — насмешливо раздался чей-то хриплый голос из кустов.

Оба офицера быстро повернули головы.

— Эй, кто там?

— Мы...

Из кустов на дорогу выпрыгнул Загареску и, направив карабин на офицеров, сказал спокойно:

— Мик сус*...

Офицеры быстро схватились за кобуры.

И вдруг кусты ожили. На дорогу выбежали вооруженные люди, часть которых была одета в форму румынских солдат, часть — в изрядно потрепанной крестьянской одежде. Со всех сторон загремело:

— Стой!

— Слезай!

К всадникам одним прыжком подскочил огромный Кодрияну, схватил их могучими руками за пояса и, сорвав с седел, бросил военных на землю. Офицеров вмиг обезоружили, скрутили им руки за спиной и потащили за ноги в кусты. Молодой Олтяну, вытаскивая саблю и присаживаясь возле связанных, перепуганных до смерти офицеров, произнес:

---

* Мик сус — руки вверх.

— Будете орать, глотки перережем!

Загареску крикнул:

— Эй, прячься!

Повстанцы нырнули обратно в кусты. Дорога вновь лежала пустая, такая же, как была за несколько минут назад до этого события.

Со стороны опушки зазвенели подковы лошадей, донеслись резкие возгласы и свист нагаек. Чей-то голос давал распоряжения:

— Кто вздумает убегать в лес, стрелять, как собак!

Загареску толкнул соседа локтем в бок:

— Слышишь?

— Да.

Партия арестованных подошла туда, где за кустами лежали повстанцы.

— Быстрее там, под-хо-оди-и... Подхо-о-о!..

Плутоньер вскинул руки и, обливаясь кровью, свалился с коня на землю. Из кустов затарахтели выстрелы. Голос Степана загремел:

— Вперед!..

Партизаны бросились на дорогу.

— Стой... Сто-о-ой!

— Мик сус!

Несколько жандармов бросились вперед, сжимая бока коней шпорами и размахивая нагайками. Но напрасно — не успели они проехать и сотню саженей, как попали под сабли конницы, поставленной в глубине опушки на случай возможных недоразумений. Несколько ударов — и от жандармов остались кровавые пятна. Загареску хорошо научил рубить.

Жандармы, оставшиеся в живых, были немедленно обезоружены и согнаны в одну кучу. Но вот кто-то в лесу резко свистнул.

— Что там?

— Пехота!

К Степану подлетел всадник:

— Пехота идет, Македон!

— Много?

— Ой, много — больше двух сотен.

— Далеко?

— Версты две отсюда.

— Ну, еще успеем, черт побери... Загареску!

— Здесь!..

— Затащить убитых в кусты, немедленно! Где кровь на дороге — затоптать в песок. Только быстро — пехота идет.

Загареску прищурился:

— А с пехотой...

— Э-э-э... Даже и не думай. Ну, быстрее, Загареску.

Загареску немедленно принялся распоряжаться — кому вести жандармов в Кодры с Улариотом. Сюда пошли три десятка повстанцев.

— Если кто-то из жандармов вздумает убегать — убить всех... Конница идет в ста шагах от жандармов... Эй, Олтяну!

— Здесь!

— Ты с Орданеску ведите офицеров в Кодры... Попеску!

— Я!

— Сколько лошадей?

— Двадцать восемь жандармских и две офицерские... Некоторые привязаны, а часть отдана тем, у кого не было коня.

— Гони в Кодры!

— Нельзя, Степан...

— Почему?

— Людей нет. Видишь, пять человек осталось.

Действительно, у Македона осталось всего пятеро из тех, что вместе с Загареску стаскивали трупы в кусты — все остальные по распоряжению Степана и Загареску ушли в лес. Степан вскочил на коня, подъехав к партии арестованных, которые со стороны следили за тем, чем занимались повстанцы. Смотрели с большим интересом.

— Бунэ... люди, минут через пятнадцать здесь будут румынские солдаты... Разговаривать некогда...

Он быстро рассказал им, за что сражается отряд под его руководством. Почему они восстали против румынской власти. Предложил кратко — или домой, или в тюрьму. Их дело — пусть быстрее думают и решают.

Арестованные зашевелились. Чей-то голос крикнул из группы:

— Слово... Ты говоришь, некогда... Бунэ... Нам тоже некогда — мы пойдем с тобой, а потом посмотрим, что делать, — веди нас!

Арестованные согласились. Послышались голоса:

— Правильно.

— В тюрьме посидеть всегда успеем!

— Правильно... Только половина из нас связана.

— Бунэ, — улыбнулся Степан и удовлетворенно кивнул головой. — А теперь слушай! Кто не связан — на коней и айда. Связанным придется пару верст бежать так, а там развяжем. Ну, теперь быстрее, быстрее, люди!

— Часовых снимать?

— Снимай!

Загареску сунул в рот два пальца и пронзительно, протяжно свистнул.

...Через полчаса в Тимишоарский лес вошел румынский пеший полк, который был направлен в район Плотерешт на поимку повстанческого отряда. Семьсот глоток тянули унылую румынскую песню, не подозревая, насколько близко от них находятся те, для кого звенят патроны в их патронташах.

В полдень прибыли в Кодры. Степан спросил, где жандары. Старик Улариот вышел вперед и, пожевав сухими губами, сказал:

— И жандармы здесь, и офицеры здесь. Только к ночи надо будет с ними покончить, а то еще убегут. Всю дорогу так и смотрели, чтобы сбежать.

Степан кивал головой в ответ и позвал на совещание Загареску и других повстанцев. Решили творить суд.

Был в Кодрах суд.

Без юристов, без прокуроров, без следователей. Обвинял сам Степан Македон. И были судьи — хмурые повстанцы.

Степан произносил свою речь. Может быть, за все время существования Молдавии это была единственная речь, в которой было высказано все, что наболело в плугурульском сердце.

Степан сказал:

— Люди... бедные, растоптанные плугурулы... К вам сегодня слово мое, к вашему, оплеванному гоцами, сердцу.

Он напомнил им о всех издевательствах, которые терпят плугурулы от Румынии, от жандармов, от сигуранцы. Напомнил, кто питается их потом, кто высасывает из них каждую каплю крови и бьет их за это, как собак.

Долго еще говорил Степан, и хоть не красноречивой была его речь, но дошла она до плугурульских сердец. Степан даже не успел ее закончить. Лица повстанцев загорелись огнем мести. Вверх поднялся лес рук, и хриплые глотки взревели:

— Сме-е-ерть!..

— Хватит!..

— Сме-е-ерть гоцам!

Жандармы стояли побледневшие и вдруг, как по команде, упали на колени, царапая землю руками и подвывая.

— Простите... Не губите!

Но взметнулся поток людской — повстанцы бросились на жандармов с криками:

— Сме-е-ерть гоцам!

Потащили их в канаву. Степан отвернулся.

Вечером седой заведующий хозяйством Попеску сделал краткий доклад:

— Хорошие у нас дела! И войска прибавилось, и оружием разжились, и лошадей получили хороших... Сейчас у нас имеется семьдесят три лошади, есть оружие для девяноста двух человек. А если одному дать саблю, другому ружье, этому револьвер, а тому бомбу, так получится больше чем на двести душ. А в армии нашей сто тридцать пять солдат и еще я, и Улариот, и сыновья наши, и получается всего сто тридцать девять.

— Подожди, — перебил его Степан. — Тут у нас еще одно дело. Надо договориться с сегодняшними. Это я про вас, — повернулся Степан к заключенным, освобожденным в Тимишораском лесу. — Решили вы или нет?

— А, черт его возьми... война так война!.. — всей толпой вскричали освобожденные узники, так, что разнесся этот крик на все Кодры.

— Остаемся... Война, война проклятым боярам!

Расстреляйте, расстреляйте его скорее...

Хорош овес у боярина Дуки! До того хорош, что однажды лошадиное сердце не вынесло этой прелести! Залезла лошадь в негостеприимное поле боярское, да тут и попалась. Не успела глазом моргнуть, как цепкие руки боярского смотрителя ухватились и потащили бедную лошадь по селу к боярскому двору на суд и наказание.

Плугурул испуганно закричал, увидев лошадь в руках смотрителя:

— Боже ж мой, и что же мне теперь делать...

Бросил работу во дворе и, как был, без шапки и без рубашки, в одних холщовых штанах, побежал выручать свое добро — свое мужицкое, бедняцкое богатство. Бежит плугурул, спотыкается, слезно умоляет управляющего:

— Отпустите ее, домнуле... Неразумная она скотина. Прошу вас, домнуле, отпустите ее!

Смотритель гневно к нему:

— Отпустить, говоришь? А почему же ты, сволочь такая, не следишь за своей клячей? Почему ты ее не закрываешь?

— Боже ж мой... Да где ж ее держать? В дом не поставишь, а сараев у нас нет, сами знаете, домнуле.

— Ну, вот я тебя и научу, как за лошадью глядеть... Я тебя научу, как за скотом ходить.

Плугурул только вздохнул и пошел уныло за своей клячей.

А Дука разгневался. Ногами на крыльце затопал, слюной брызжет, визжит:

— Негодник... разбойник... я тебе покажу, сукин сын, как в овсах коней пасти!

— Простите, домнуле боярин... скотина бессловесная, не понимает она... Отдайте лошадку.

Боярин расхохотался:

— Ах ты ж Иуда... Посмотрите, каким он невинным притворяется! А ты мне отдашь пять тысяч лей за потраву. Что?

— Отпустите, домнуле боярин, — кланялся плугурул.

— Я тебя спрашиваю, ты заплатишь мне за потраву?

Крестьянин взглянул исподлобья:

— Боярин смеется, таких денег у меня никогда еще не лежало в кармане...

— Ну, так ступай к черту, пока зубы целы. Принесешь пять тысяч — заберешь лошадь, а не принесешь — так завтра же сам порежу ее на мясо.

Плугурул упал на колени и с отчаянием протянул руки:

— Да разве она стоит таких денег? Помилуйте, домнуле боярин. Она же со всеми потрохами даже тысячи не стоит.

— Встань, дурень, — проговорил чей-то голос сзади, — кого просишь... боярина? Или ты не знаешь этих волков? Встань, не валяйся... Где твоя лошадь?.. Эта?..

Молдаванин вскочил на ноги и удивленно посмотрел на высокого плугурула, стоящего позади него. И, ничего не понимая, проговорил:

— Эта...

— Эта, так и бери ее и веди домой.

Дука затрясся от гнева. Истерически крикнул:

— А... а... а... Ты кто такой, сукин сын?!

Высокий плугурул спокойно ответил:

— Это у тебя мать была сукой, а моя честно работала на таких, как ты, сучьих сынов.

— Хватайте, хватайте его! — пронзительно завизжал боярин, цепляясь за рукав высокого плугурула. — Держите его... дер...

Боярин пошатнулся и тяжело сел возле перил. Крепкий удар огромного кулака так стукнул в боярские зубы, что у Дуки звезды из глаз посыпались.

— Помо-о-оги-и-те... разбойни-ки!..

— Неужто не узнаешь?

Боярин открыл глаза.

— А я тебя сразу узнал, — улыбнулся Степан, вытирая подолом свой кулак.

Узнал и боярин. Вспомнил Дука уникитештского кузнеца, вспомнил, что было возле кузницы. Вскочил и завыл с перепугу страшным голосом:

— Люди добрые, сюда... Караул!..

И вот как раз в ворота, к чрезвычайному удивлению боярина, въехали несколько румынских офицеров и жандармов. Обрадованный Дука бросился навстречу дорогим гостям с радостными объятиями. Схватился за стремена.

— Помогите... помогите мне...

Офицер удивленно вскинул бровями:

— Что такое?

— Вот... Вот большевик, — крикнул Дука, указывая на спокойно стоящего Степана, — расстреляйте... расстреляйте его скорее!.. Это коммунист... большевистский шпик.

Офицер захохотал:

— Смотри, на знакомого нарвался... Это что, твой приятель, Степан?

Македон усмехнулся:

— Встречались когда-то, давненько, правда, но встречались.

«Офицеры» и «жандармы» подхватили под руки до смерти удивленного Дуку и подвели к Степану. Офицер — Загареску, — спросил:

— Ну... что с ним делать? Расстрелять или?..

— Да нет, для такой собаки много чести расстреливать... Эту суку мы повесим на его воротах. Пусть из петли осматривает свои поля.

— Правильно... Эй, веревку!

Дуку, бессильно сопротивлявшегося, подтащили к воротам.

Один из повстанцев полез на ворота с веревкой.

— Ишь, хорошо нажрался... Мало тебе было? — спросил Загареску. — Глянь, пузо как расперло. Не хнычь — в рай попадешь... К богу же посылаем!..

К Степану, искоса смотревшему на побледневшего боярина, подбежал Кодрияну.

— Можно всем заходить?

Степан кивнул головой.

— А плугурулы знают?..

— Да.

Кодрияну после этих слов сунул в рот два пальца и громко свистнул. И тут же из огромного боярского сада пестрой

толпой полились во двор повстанцы, вооруженные с ног до головы.

Загареску отпрыгнул от боярина, сказав ему:

— Ну, прощайся, боярин, с поместьем... Тяни-и-и-и!..

Боярин икнул, дернулся и, болтая ногами, поехал в царство небесное, в светлые дворцы боярского бога.

Через полчаса усадьба пылала. Плугурулы соседних сел, ранее предупрежденные, спешно вывозили с боярского двора зерно, муку, фрукты и угоняли к себе скот. Загареску командовал:

— Бери, бери, люди добрые! Этому мертвяку все равно уже ничего не нужно.

...Вернулись снова в родные Кодры. За спиной пылал горизонт — светился багряным пожаром боярской усадьбы.

Ай, вы испачкаете мне белье!..

Через два месяца в Кишиневе, на квартире у Мушатеску, в кругу партийных товарищей Степан рассказывал о себе. Рассказал, как встречали их крестьяне, с какой радостью и искренностью исполняли они поручения повстанцев и как заботились об их отряде, предупреждая о румынских войсках.

Но потом нагнали слишком много войск, и им пришлось спрятаться. Очень плохо стало. Куда ни сунься, повсюду пулеметы, а людей губить зря не хочется. Вот почему они переехали и засели в Буджаке. А сейчас придумали новый план: раздобыть побольше оружия и денег, связать свое выступление с рабочим и однажды вступить в последний бой...

Только наутро Степан ушел от Мушатеску, прижимая к груди продолговатый тюк нелегальной литературы и ощущая в кармане солидную сумму денег.

Сердце Степана радостно стучало при мысли о том, что половина дела уже сделана и что вопрос с оружием все-таки более-менее решен. Не было никакого сомнения, что оружие они получат. Быстро шагая по шумным улицам, весело поглядывая на лица прохожих, Степан шел к рабочим окраинам, где его ждала подвода, которая через два дня перенесет Македона в далекий пещерный Буджак. От этой мысли становилось еще веселее и приятнее.

Но вот на углу одного из переулков Степан встретился с кривым, седым человеком, с каким-то неприятно-знакомым лицом. Где он видел этого человека?

Степан быстро оглянулся и снова увидел неприятное лицо человека, который тоже оглянулся на Степана. Македон тут же почувствовал неприятность этой встречи и вместе с тем ощутил нависшую над ним опасность. Но он никак не мог вспомнить, где ему приходилось встречаться с этим неприятным лицом. Он напрягал свою память, но ничего не мог вспомнить. А прохожий стоял и словно думал о чем-то, нерешительно поглядывая в спину Македону.

Когда Степан в очередной раз оглянулся, он заметил, что за ним идет седоватый человек, высоко подняв воротник

и спрятав лицо под низко надвинутыми полями фетровой шляпы.

И вспомнил Степан, узнал по резким движениям рук, упрятанных в глубокие карманы. Так двигал руками человек, которого били рабочие у фабрики Левинцу.

Вспомнил Степан — и узнал.

Холодом пронеслось в уме Степана, что это — шпик.

Он пошел быстрее, путая шаги в глухих закоулках, пытаясь сбить с толку шпика Кавсана.

Кружил Македон по закоулкам больше часа, но шпик не отставал. Забежав за угол глухого переулка, Степан присел, разъяренный, возле водостока. Послышались быстрые шаги шпика. Он подбежал к углу, но не успел повернуть в закоулок, как его сбил с ног страшный удар кулаком в зубы.

Степан перепрыгнул через него и побежал, все время сворачивая то направо, то налево. Но и шпик, быстро очухавшись, тут же вскочил на ноги и, вытащив револьвер, бросился вдогонку за Степаном.

Задыхаясь от быстрого бега, Степан покружил несколько минут по глухим переулкам и оказался у высокого забора, который отгородил большой сад от дороги. Недолго думая кузнец перемахнул через забор и притаился в густых кустах бузины, прислушиваясь к топоту ног приближавшегося шпика.

Возле забора Кавсан остановился и внезапно, подстегнутый истым чутьем опытного шпика, полез наверх, держа револьвер наготове.

Ничего опасного нет... Тихо.

Шпик, поколебавшись минуту, тяжело прыгнул в кусты, но не успел подняться, как на него посыпались удары кузнеца. Степан нещадно бил, молотил тело шпика...

Убедившись, что шпик находится на полпути на тот свет, Македон забрал у него револьвер, поднял тело шпика и, перебросив его обратно за забор, быстро пошел через сад.

Однако нужно быть слишком наивным, чтобы думать, будто шпика можно послать на тот свет таким кустарным способом. Его лупили кулаки и покрепче. Старого Кавсана молотил не один десяток рук, но разве после этого шпик

работал с меньшим запалом или, может, у него ослабло здоровье? Ничего подобного.

Ударившись о землю так, что затрещали все кости, шпик приоткрыл глаза, болезненно прищурился и, охая и кряхтя, поднялся на четвереньки. Пошарил по карманам. Револьвера нет. Но под пальцами оказался кругленький жандармский свисток. Кавсан сунул его в рот. Тревожные свистки понеслись по щелям переулков, призывая кого-то. Где-то свистнули в ответ. Быстрой рысью подбежали трое жандармов. Кавсан заговорил с ними.

...Выскочив из сада, Степан повернул направо и попал в какой-то двор. Где он оказался, как ему выйти туда, куда надо, где его ждала каруца, Степан не знал.

Увидев во дворе какую-то женщину, развешивавшую белье на туго натянутых веревках, Македон крикнул:

— Эй!.. Куда ближе всего пройти для...

И не договорил Степан — так быстро забилось сердце. В глаза Степану впился радостный взгляд Стехи. Она бросилась к нему:

— Степан... Степан!

Упала головой на широкую грудь, и слезы покатились из ее глаз весенним половодьем. Они замерли, не находя нужных слов, и стояли, пока пронзительный свисток полицая не разрезал тревожно воздух. Степан тут же очнулся и опасливо прислушался:

— Гонятся... За мной бежит шпик... Говори, где спрятаться?

Стеха отшатнулась, испуганная:

— Тебя ловят гоцы... Гонятся?

И, не раздумывая долго, потянула Степана за рукав в сарайчик. Толкнула его туда, сказала, чтобы он лег, и прикрыла разным тряпьем. Степан прижался к стене, и через минуту его огромное тело было спрятано под грудой желтых циновок и разного старья.

Стеха поспешно выбежала во двор, быстро перетащила веревки к двери и поспешно начала развешивать возле самых дверей широкие полотнища разного белья.

И весьма своевременно.

Потому что во двор вбежал, ковыляя и спотыкаясь, избитый до крови шпик Кавсан в сопровождении двух полицаев. Шпик бросился к сараю, какое-то особое чутье шпика гнало его туда. Но Стеха завизжала:

— Ай, вы мне все белье испачкаете... Что вам надо, что вы здесь ищете?

Кавсан остановился:

— Здесь пробегал один человек!

— Так что же вы в сарай лезете? — спокойно спросила Стеха. — Так бы и спрашивали, куда он побежал.

— Ты его видела? — прохрипел Кавсан.

— Высокий? — спросила Стеха. — С маленькой бородкой, в соломенной шляпе?

Кавсан радостно закивал головой:

— Да, да... Где он?.. Куда он побежал?

— Да он как пуля тут пролетел... Чуть было меня с ног не сбил...

— А куда... куда? — торопливо спрашивал Кавсан.

Стеха махнула рукой направо:

— Вот сюда он побежал... Потом повернул налево... Вон, видите на углу фонарь стоит?

— Ну... ну... ну?

— Так он повернул налево от фонаря.

— Давно?

— Да вот только что... Какую-то минуту назад.

Кавсан и полицейские бросились туда, куда им было указано.

...А через пару дней Степан и Стеха были в Буджаке.

Сквозь высокую траву, клонящуюся к земле под горячим солнцем, вышли они на склоны, усыпанные веселыми цветами, оглянулись восторженно на спокойствие этих просторов, радуясь солнцу и счастью. Обнимая Стеху, Степан спросил:

— Значит, не раскаиваешься?..

— Н-нет!..

Степан любил так же, как и раньше. Он умел любить. И разве сердце его обратилось в камень?.. Нет...

На семьдесят пятой версте

Лунную тишину прорезал далекий свисток паровоза. Вдалеке промелькнули три желтых глаза, долетел приглушенный стук. Из-за горы выползла длинная цепь запломбированных вагонов. Паровоз начал подниматься на гору. Протяжно завывая и лязгая буферами, потихоньку полез вверх, тяжело сопя и выпуская пар.

Он приближался к семьдесят пятой версте.

Часовые на площадках двух вагонов, нагруженных оружием, высунули головы вперед, чтобы узнать, почему поезд пошел тише. Зевая, посмотрели по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, снова подняли воротники шинелей и задремали.

Но часовые не видели, что творилось на крышах вагонов. Три человеческие тени, бесшумно скользнув по крышам вагонов, подползли на животах к концу сцепки и, цепляясь, перепрыгнули на предпоследний вагон. На самой высокой части подъема две тени осторожно спустились на буфера и, подлаживаясь к движениям поезда, аккуратно раскрутили винты и быстро сбросили петли. Два последних вагона немного задумались и тихо пошли обратно под гору, медленно ускоряя свой бег.

Часовые подняли головы. Один сонно проговорил:

— Вроде как обратно едем. Вставай, кажется, назад едем!

— А, чертяка... отвяжись от меня... едем, значит, куда-то приедем.

Это убедило часового, и он опять уснул, качаясь вместе с движениями вагона.

Три тени, свесив головы вниз, внимательно следили с кровли вагона за каждым движением часовых и, лишь услышав последнюю фразу, спокойно положили оружие в карманы.

Часовые спали. Неизвестно, сколько проспали бы они, если бы их не разбудили повстанцы Степана:

— Вставай!..

— Смотри, заспались!..

Повстанцы дернули солдат за воротники:

— Ну, хватит спать, хватит...

...Через пятнадцать минут подводы, нагруженные оружием, мчались вскачь к дальнему лесу, а рядом с подводами весело шел рысью повстанческий отряд Македона.

Возле железнодорожной колеи остались два полуразгруженных вагона и двое румын, приплясывавших от холода в одном белье и без шапок.

Казалось, будто даже месяц тихонько улыбается своими мертвенно-бледными губами, приглядываясь к смешным фигурам белых людей, неведомо отчего всхлипывавших и неизвестно кого ругавших крепко завернутой румынской бранью...

...Поезд примчался на первую маленькую станцию, перепугав там всех служащих. На станции засуетились люди, заметался по перрону начальник станции, несколько раз пересчитали вагоны, и через полчаса начальник сигуранцы в Кишиневе прочел следующую телеграмму:

Эшелон с оружием, Тирасполь. Пропали два вагона. Видимо, преступники. Принимайте меры.

С искаженным, разъяренным лицом начальник сигуранцы бросился к телефону.

Рабочие зашевелились

В Кишиневе вышли газеты с сообщением о том, что коммунисты дерзко напали на поезд и забрали два вагона оружия. Газеты были раскуплены в течение часа. Обыватели заволновались, испуганно стояли кучками возле редакции, на улицах и разговаривали о большевистском ужасе. Они рассуждали о том, помогут ли Румынии Англия и Франция, и на все лады ругали коммунистов.

Это страшное газетное сообщение наделало шума по всей Румынии. В газете сообщалось, что на поезд напал большой отряд конницы, перешедший советскую границу. Охрана защищала поезд изо всех сил, но не могла устоять против такого значительного количества врагов.

Передовица кричала о мести, предлагая раз и навсегда покончить с большевиками, обуздать Советскую страну.

Боярские губы, искривленные и бледные, шептали проклятия большевикам. Сжимая в руках газету, бояре бежали в свои уютные гнезда и там, кусая губы, испугано обдумывали происходящие события. Но сообщение в утренних газетах, взбесившее бояр, в рабочих кварталах порождало лишь восторг и радость. Особенно радовались в доме Мушатеску. Рабочие ошалели от радости. Им казалось, что это уже началась революция, боярам окончательно пришел конец. Самые восхищенные из них обнимались и поздравляли друг друга, словно во время праздника.

Вечером начали заседание. После коротенькой информации о событиях и обзора всех возможностей Мушатеску предложил в течение этих дней начать сумасшедшую агитацию при помощи воззваний и выступлений везде, где это было возможно. В то горячее время, когда совсем недавно был установлен двенадцатичасовый рабочий день, агитацией можно было добиться значительных результатов, подготовив и сделав серьезное выступление. Некоторые фабрики еще не прекратили забастовку. В некоторых уездах снова восстали крестьяне. А время не терпит. Надо было принять все меры, чтобы боярская земля запылала красным заревом.

Так говорил Мушатеску. А потом все, кто мог, ушли на работу. Закипел, засуетился рабочий люд на фабриках и заводах.

Когда наступала ночь и улицы пустели, вдоль улиц, несмотря на дождь, сновали какие-то тени, фигуры, изредка прислонявшиеся к заборам, оставляющие после себя на них белые листочки и, похоже, благословлявшие и эту темноту, и дождь, секший холодными каплями лица и руки.

Изредка фигуры собирались в небольшие кружки, и тогда был слышен шепот:

— Холодно, черт его побери.

— Зато ни одного шпика на улицах... Ну, пойдем, товарищи, на Александровскую.

— Какого черта?

— А давайте... Пусть и там почитают...

— Да лучше у заводов налепить еще сотни две.

— Да зачем? Уже все заборы заклеили... Айда на Александровскую.

— А много еще осталось?

— Да штук четыреста, а может, и больше.

Недалеко застучали шаги. Фигуры бросились врассыпную и прилипли к заборам, словно агитационные воззвания коммунистической партии.

А наутро рабочие шли на фабрики и заводы, останавливались возле заборов группами, толпились и молча прилипали взглядами к горячим строкам воззваний. Прочитав начало, испуганно оглядывались, потом придвигались ближе и читали, перечитывали по несколько раз, словно стараясь выучить воззвание наизусть.

Горячие слова сплетались, глубоко погружаясь в сердца дискриминированных рабочих. Каждый из них дрожал от злобы и желания мести...

...А жандармы как следует поработали в этот день. До полудня воззвания были сорваны во всех районах. Начали арестовывать и виновных и невиновных.

Тридцать сребреников нашлось — Иуд в Румынии хватает

Вновь запылали боярские имения. Снова огненные языки принялись лизать небо, и снова ночи забились в тревоге, и снова начала носиться по бессарабским степям и лесам румынская конница. Щедро сыпала сигуранца деньгами, но напрасно.

Единственное, что изменилось, — это количество повстанцев. Теперь даже полк боялся пойти в бой, а дивизии шли не так уверенно, как раньше. Несколько столкновений с хорошо вооруженными повстанцами доказали, что враг настолько крепок и хорошо организован, что не отступит перед регулярной румынской армией.

Повстанцы в своей наглости дошли до нападений на целые дивизии, не говоря уже о том, что они вступали в сражения даже с большими воинскими частями и дрались, пока румыны не убегали. И снова погнали румынские эшелоны в Бессарабию. И снова в деревнях стояло много войск — пеших, конных и пушек. И снова Степан разделил свою армию, оставшись с верным отрядом и нагоняя ужас даже на штабы.

Немало загнали румынских коней, гоняясь за Степаном, немало бессонных ночей в седлах пришлось провести румынским офицерам и солдатам. Степана поймать не могли. Он исчезал с глаз румын, словно проваливался сквозь землю.

Напряжение и раздражение в штабах начало походить на какое-то безумие. Да и как же иначе — какой-то мужик водит за нос чуть не все королевское войско.

Начальники штаба ежедневно приказывали армии в течение трех дней уничтожить повстанцев, но все это оставалось лишь приказом. Одним приказом повстанцев не уничтожишь. Генералы совещались между собой, делали выговоры офицерам, но те лишь пожимали плечами и рассказывали что-то сказочное о неуловимости Македона. Даже симпатии войска частенько были на стороне повстанцев.

В конце концов, после нескольких неудачных операций против отряда Степана Македона, в Кишиневе было созвано чрезвычайное совещание представителей войск, сигуранцы и общественной власти. На совещании собирались разработать план ликвидации повстанческого движения в кратчайший срок — этого требовали бояре, фабриканты и банкиры.

Совещание было открыто краткой, но содержательной и чрезвычайно патриотичной речью генерала Морареску. Все согласились с ним, что такое положение, как сейчас, не может сохраняться в стране, потому что иначе они встанут перед фактом... Генерал даже боялся сказать, перед каким именно фактом встала страна.

Он заявил, что нельзя больше допускать, чтобы предводитель повстанцев гулял на свободе. А гуляет он из-за того, что его поддерживает крестьянство. Вот генерал и выработал следующий план борьбы: пусть погромче заговорят пушки. Полностью уничтожить несколько сел — вот и будет первый шаг в борьбе. А то действительно, что может сказать Европа о государстве, которое не способно самостоятельно уничтожить повстанцев. Генерал сказал об этом, когда кто-то предложил попросить помощи у Франции или Англии.

Стройный, тщедушный локотенент все время пытался что-то сказать.

— Вы хотите что-то предложить, господин локотенент?..

— Да, да. Но как-то... трудно выразить.

— О, прошу, прошу, говорите прямо.

— Дело в том, господа, что у меня тут есть двое преступников-мошенников.

Собрание удивилось: к чему тут мошенники?

— Да, да, господа, двое мошенников, которые за соответствующую плату проберутся в банду Македона и... Вы, безусловно, понимаете. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но мне кажется...

— Прекрасно, — проговорил генерал, — прекрасный план. Вас, локотенент, я буду иметь в виду.

Локотенент заискивающе поклонился.

Тут же все было оговорено и план приняли единогласно. Двое этих патриотов, о которых говорил локотенент, должны выполнить свое задание, приступив к нему немедленно.

Поэтому вечером двое «патриотов», от которых на две сажени разило спиртом, два уголовных преступника — Гердяй и Овереску — получили из кассы сигуранцы пять тысяч лей авансом.

А красивый локотенент писал сообщение:

Инструктаж проведен. На операцию выдано пятнадцать тысяч лей.

Потом, немного подумав, взял новый бланк.

Сообщаю, что лица, посланные на секретную операцию в район Плотерешт, мною проинструктированы. На операцию выдано двадцать пять тысяч лей.

Локотенент...

Подписался с большим удовольствием и, захрустев новенькими леями, довольно прищурился.

Вставай, проклятьем заклейменный...

Степан готовился к решительному бою.

Оставив тактику неожиданных набегов, повстанцы занялись в селах активной агитацией, призывая к всеобщему восстанию. Огромное количество политической литературы, которую ежедневно привозили из города партийные курьеры, было отправлено по селам с призывом к оружию. Победные схватки с румынскими частями убеждали и давали уверенность в победе!

Наступили в Бессарабии странные, пахнущие порохом дни, призывавшие к бою и освобождению. Зашумели, заволновались села, выплеснули молодежь из-под соломенных крыш, и покатилась по глухим хуторам, по лесам и балкам оборванная, обшарпанная голота, вооруженная ружьями и ненавистью к господам.

Расстрелянные дни, разорванные взрывами пушек неслись на села, подхватывали сотни плугурулов и влекли их сюда, в рыжие степи, в тихие Кодры на борьбу с боярским гнетом.

Сигуранце нелегко было найти Степана. Зато другие, те, кто пылал ненавистью к боярам, находили Степана очень быстро. Плугурульской бедноте адрес повстанцев была известен точно так же, как сигуранце известны адреса предателей, которые согласны за небольшую плату предать даже своих отцов и матерей. К Степану лились все новые потоки, пополняя его отряды новыми и новыми воинами.

Однажды вечером из Кишинева в отряд прибыл рабочий Галипан. Он долго советовался с Македоном.

— Дела у нас обстоят так, — сказал Галипан, — как только мы узнаем о начале выступления, сразу же поднимаем в городе бучу. Да, могу тебя порадовать — на случай выступления мы сформировали рабочие дружины и даже подготовили план. Немедленно на телеграф, на станцию, на телефоны и все остальное, а напротив казарм — пулеметы. Заварим такую кашу, что боярам на весь век достанется... А на той неделе одному офицеру из жандаров прокламацию

на спину наклеили. Смеху было. Ну, как у тебя, друг мой, готово или нет?

— Да вот понемногу готовимся...

— А как с выступлением?

— Да нам-то что, мы все готовы.

— Так вот вы нажимайте тут — пусть войска перебрасывают сюда, а мы их там... Они назад, а у нас уже выбраны Советы — пожалуйста, милости просим... Они сюда, вы их в гриву, они в город, мы их в хвост. Вот видишь, как хорошо получается.

Степан улыбнулся:

— Твоими бы устами да мед пить.

Галипан тревожно спросил:

— А что... разве у вас что-то не в порядке?

Степан встал и, хлопнув Галипана по плечу, весело произнес:

— Все в порядке, дружище... Все в порядке. Ну, а в городе скажешь... скажешь...

— Что?

— Скажешь — пусть ждут, когда мы подадим знак. Когда услышат, что мы взяли Плотерешты, пусть поднимаются. А главное, насчет железнодорожников, чтобы они на будущей неделе ни одного поезда не пускали в Яссы. Главное — остановить на неделю движение войска сюда.

— А когда на Плотерешты?

— Да вот на днях... А пока что силы собираем.

Галипан почесал затылок и виновато улыбнулся:

— А знаешь, друг, что я у тебя хотел спросить?

— Ну?

— Да чтобы остаться у тебя... Ты не бойся, я не навсегда. Я, дружище, сходил бы только на Плотерешты, да и только...

— Не чуди... А кто же обратно пойдет? Кто же там в городе будет орудовать?

Галипан сплюнул на землю и заговорил:

— Э, друг... Не в том механика — там, может, и не дождешься такого случая, чтобы в бой пойти. А тут — сколько влезет. Да не чеши в затылке. Остаюсь и более ничего, там, в городе, и без меня людей хватит!

Пришлось согласиться.

Галипан остался у Степана, а в город послали жену Степана — Стеху. Галипан согласился.

— Она баба — и никаких подозрений не будет... Бабе наплевать, и больше ничего.

Вечером в штаб дивизии, расположенный в Плотерештах, пришло сообщение:

В Кодрах отмечается подготовка — со всех сторон собираются все новые и новые отряды. Банда, очевидно, к чему-то готовится.

№ 139.

Начальник штаба подошел к окну и, распахнув его, взглянул туда. Вдали, в вечернем сумраке, виднелись далекие Кодры, а над Кодрами в разных местах были видны дымы костров.

Повстанцы уже не прятались — они с презрением относились к румынской дивизии, словно вызвали ее на поединок. Начальник штаба прекрасно это понимал. Через полчаса провода и телефоны запели тоскливыми звонками, от штаба во все стороны помчались мотоциклы, чтобы передать приказ по частям.

К утру все части, входящие в состав дивизии особого назначения, должны быть стянуты к городу Плотерешты...

Предательство Иуды

Хороши долины в Кодрах — цветущие, налитые сладкой тишиной и тихим бормотанием ручьев, бегущих из-под рыжего мха. Тихо в долинах в полдень, тихо, как в старом монастыре.

Но вряд ли двое оборванцев, одетых в плугурульскую одежду, склонны были любоваться красотой этих долин. Они осторожно пробирались через гущу зеленых Кодр. Эти люди испуганно дрожали на каждом шагу, в страхе останавливались, пристально вглядываясь вперед и оглядываясь по сторонам.

Спотыкаясь и осыпая свои следы бранью, двое людей дошли до опушки молчаливого леса, с его настороженной тишиной и шумом тихих ветвей. Остановившись, они принялись советоваться:

— Черт его знает, куда тут идти, но надо сворачивать в лес. Видимо, где-то здесь. Ты не помнишь, как он говорил?

Разговаривая так, они не замечали двух внимательных глаз, смотревших на них. И вот откуда-то сверху послышалось:

— Эй, что за люди?

Они подняли головы вверх и тут же присели от ужаса на землю. Сверху, из густой листвы дерева, прямо в грудь им тускло смотрело узкое дуло ружья, а над дулом виднелись чьи-то прищуренные карие глаза под желтой соломенной шляпой. Голос сверху снова угрожающе повторил свой вопрос.

Люди испуганно зашептали, что они свои, с ужасом глядя на дуло карабина.

— Кто свои?.. Откуда?

Запинаясь, испуганно растягивая слова, сказали, что они рабочие, сбежавшие из-под стражи, что они ищут Степана Македона. Они хотят отдать свою жизнь борьбе против бояр. Потому что уже не хватает сил терпеть издевательства господ. Ах, как они хотят бороться против боярина!

— Эй, Коля!..

— Здесь, здесь... — весело откликнулся молодой голос, и вдруг почти у ног двух рабочих, сбежавших из-под стражи, поднялась вверх куча хвороста, открыв черную пасть ямы и стройную фигуру повстанца с ружьем за плечом и с длинным маузером в руках. Молодой повстанец отряхнулся и захохотал:

— Что, испугались?

Ошалевшие рабочие стояли несколько минут, разинув рты от удивления.

— Ну, веди их.

...Повстанец из охраны привел к Степану двух парней, которых он поймал на опушке. Степан пристально посмотрел в их лица, спросил, откуда они и где работали. Те сказали, что из Кишинева, но последнее время работали в шахтах.

— А ну-ка, покажите ваши руки... Да не так... поверните ладонями вверх.

Рабочие, не понимая, что это значит, повернули ладонями вверх и с вопросом посмотрели на Степана. Тот мрачно поднял глаза.

— По рукам видно — давно уже не работаете... Верно?

— Да, да, давно уже не работаем — по тюрьмам таскаемся.

У Степана разгладились морщины, и он уже веселее спросил, хотят ли они к нему. Они радостно задрожали, демонстрируя самое искреннее согласие. Степан позвал Попеску и передал ему двух новых повстанцев.

Новые повстанцы, пряча довольные улыбки на мерзких губах, незаметно пожали друг другу руки и пошли в курень старого Попеску — заведующего хозяйством.

В тот же день Гердян и Овереску получили оружие и указания, как с ним следует обращаться. Хотя в последнем «новые повстанцы» вряд ли нуждались.

За свободную Молдавию!

Повстанцы готовились к решительному сражению. Утром на поляне было открыто военное совещание. Море голов, лес ружей и зубцы вил колыхались возле деревянной избушки, на крыше которой расположился весь повстанческий штаб. Плугурулы были одеты в самую разнообразную одежду. Серые, черные и белые рубашки смешивались с цветными нарядами жандаров, с синими мундирами румынских солдат и с офицерскими мундирами.

Говорил Степан, высоко подняв руку и сверкая из-под густых бровей тяжелыми глазами. Степан сообщил повстанцам о плане выступления. Больше не следует терять время. Если продолжать ждать, то бояре подвезут больше войска, тогда как сейчас силы почти одинаковы. Беда лишь в том, что у врагов есть пушки и в десять раз больше пулеметов.

В Кодрах загудело, что и так будет хорошо.

— Не боимся никаких пушек!

— Руками передушим!

Степан подождал, пока стихли голоса, и продолжил говорить о своем плане, против которого румыны вряд ли смогут выстоять. План следующий: ночью человек пятьдесят пройдут поодиночке в Плотерешты, разумеется, с оружием — с револьверами и бомбами. Там они спрячутся в сараях и садах, а как только начнет светать, пусть готовятся. Услышав первые выстрелы со стороны Кодр, они тоже должны начать стрельбу... Стрелять вверх, чтобы напугать румын. Стрелять до тех пор, пока не расстреляют все патроны.

Повстанцы радостно загудели. Послышался сначала легкий смех, а затем разнесся раскатистым хохотом:

— Ну и ловко!..

— Вот так придумал!

Действительно, план был прекрасно разработан. Надо было лишь начать беспорядочную стрельбу, чтобы среди румынской армии началась невероятная паника. Стрельба намекала, будто в Плотерештах уже полно повстанцев и вокруг идет бой.

Повстанцы ревели от смеха. Эти бородатые дети хватались за животы, сквозь смех прорывались их восклицания, полные удивления и удовольствия.

— Ну, хватит, хватит, — остановил Македон, — нам сейчас надо назначить пятьдесят человек и немедленно отправить их в Плотерешты, потому что сегодня им придется пройти двадцать верст. Эй, Загареску!

Загареску крикнул сквозь смех:

— Здесь!

— Отбирай пятьдесят...

— Ну, становись, кто хочет?..

Но желающих оказалось слишком много, пришлось отбирать.

— Ой, возьмите и нас... Просим вас, возьмите... — с мольбой обратились к Загареску Герлян и Овереску.

Тот спросил:

— А Плотерешты знаете?

— Да боже ж наш, чтобы нам и не знать Плотерешт. Как свои пять пальцев, как свои карманы знаем.

— Бунэ! Раз знаете, становитесь.

Замирая от радости, Герлян и Овереску присоединились к группе тех, кто шел в Плотерешти.

В Плотерештах ночь.

Но вот, как только повстанцы осторожно пробрались и расползлись по городку, по садам, по сараям, к штабу подошли два человека и попросили есаула, чтобы он сообщил о них начальнику штаба. Тот спросил, брезгливо оглядывая их одежду:

— По какому делу?

— По очень важному, домнуле офицер.

Есаул, подняв брови, принялся расспрашивать, по каким делам, а затем отправился сообщить о них начальнику штаба. И хотя адъютант обещал, что им придется долго ждать, ждать пришлось совсем недолго. Услышав, что дело касается Македона, начальник штаба выбежал из кабинета навстречу и нетерпеливо начал расспрашивать их: кто они, откуда, почему пришли, о каком нападении говорят.

— Мы... мы — просто люди... я Герлян, а это — Овереску. Военное совещание поручило нам пробраться к Македону.

— Вы у него были? — не утерпел начальник штаба.

— Да... около двух часов назад. И вот имеем честь уведомить вас о весьма важных делах.

Изумленному начальнику штаба рассказали о том, что ночью произойдет нападение на Плотерешты. Тот вытаращил буркалы от смертельного удивления, напуганно моргая, когда эти люди рассказывали о планах повстанцев и о готовящихся действиях.

Начальник штаба хрипел от злобы. Неужели все это сумел придумать тот мужик?

— Прекрасный план... Вы слышали? — обратился он к есаулу.

— Так точно!

Немедленно было дано распоряжение бесшумно переловить всех повстанцев, пробравшихся в Плотерешты.

Герлян и Овереску немедленно начали допытываться о деньгах — их послали к есаулу. Весело потирая руки, они пошли туда, уселись в мягкие кресла.

— Повезло, а?

— Да, да... теперь месяц-другой можно пожить как следует. Ох, и погуляем же мы!

Оба сладко подмигнули друг другу. А в штабе во все стороны летели распоряжения.

А наутро у Плотерешт рассыпались густые массы повстанческой пехоты. В балках стояли конница и обозы.

Степан взобрался на холм.

Перед его глазами лежал сонный городок, ни один звук, ни одно движение не говорили о том, что городок готов к бою. И не видел Степан, как за ним с балкона двухэтажного дома следили в бинокли офицеры, грозя ему скрипучими голосами.

Степан радовался. Степан знал, что с первыми выстрелами в городке поднимется паника. Степан знал — в полчаса дивизия будет разбита, городок захвачен, а вечером в Кишиневе и во всех уездах загремят выстрелы, приветствуя долгожданное освобождение. Он уже видел, как его армия идет на Кишинев с артиллерией, с оружием, которое будет здесь захвачено.

К Степану подлетел Загареску.

— Ну, пошли?..

— Да, можно начинать...

И воздух разорвали выстрелы ружей и частый треск пулеметов.

Наступление началось.

...Но вдруг навстречу повстанцам из сараев, из садов и каменных оград полились синие волны румынской пехоты. Степан закричал не своим голосом:

— Стой... Стой! По наступающим о-о-о-го-о-онь!..

Началась беспорядочная стрельба. Под руками забегали, лязгая, затворы ружей, в зарядные щели торопливо засовывали патроны.

В нос ударил пороховой дым.

— Эй, Степан, сбоку обходят!

— Эй!

— Ого-о-онь!

— Товарищи... Пулеметы... пулеметы-ы-ы...

За взрывами не поймешь, что здесь творится.

— Сюда, сюда давай... дава-а-ай!

Загареску, весь покрасневший, со свинцовыми глазами и сбитой на затылок шапкой, побежал мимо наступающих.

— Бей... Бей их, гадов!

— Хорошо, хорошо!

Но вот поднялся вопль:

— Конницу запускай!..

— Конницу!

Степан бросился к балке.

Стрельба слилась в единый гул. Позади горбатый холм устало шевелит травами. И вдруг... из-за холма... топот, возгласы... ржание лошадей — полоснуло тенью по желтым склонам. Несколько сот всадников вылетели вперед с саблями.

Лошади взметнули головы вверх, смяли траву, и смешались с пылью лошадиные гривы. А впереди — волосы в пыли — блеснули чьи-то дерзкие глаза и красные губы. На вороном жеребце вперед вылетел почерневший Степан. Он, словно волк, вытянул вперед жилистую шею и забегал глазами по улице. Степан оглянулся, хищно оскалил зубы и словно завыл по-волчьи. И вдруг воздух разорвался от крика, и через цепи, поднимая вверх массы земли, вздымая дорожный песок, с топаньем и звоном пролетела конница.



Восход рисовал на саблях призраков смерти. Даль затянуло пылью. Сухо тарахтели пулеметы.

Лошадиный топот, звон сабель слились воедино.

Воздух пьяный от воплей и крови... В глазах огонь и бунт.

— Эй, не отставайте... за свободную Молдавию!..

Глотки рвутся осатанелым буйством и кровью пьяного восстания.

А навстречу коннице брызнул горячий дождь картечи.

...Над Плотерештами встало окровавленное солнце. Над балками еще висели туманы, а над полем еще качался синий пороховой дым, плавая над трупами пехоты, когда с улиц плеснули волны румынской конницы вслед за повстанцами, бежавшими с поля брани. Конница проскакала по скрюченным телам плугурулов и помчалась за убегающим в Кодры Македоном. А вслед коннице смотрел кровавый рот оскаленных зубов некогда веселого Загареску, распластавшегося на поле с перерубленной шеей и неподвижными глазами.

Пять дней гонялась конница за отрядом Степана и на пятый день прижала его к берегу Днестра. Уже немного осталось и до берега, когда неожиданно навстречу вылетело несколько румынских сотен.

Вздрогнули повстанцы... Растерялись... Холодные глаза, пустые и страшные глаза смерти, скакавшей за ними пятый день, заглянули, дрожа, в повстанческие сердца... Куда?..

А позади волчьей стаей приближалась конница, и уже блестели на солнце румынские сабли.

— Куда?..

Повернулся Степан к повстанцам, выхватил саблю, крикнул:

— За свободную Молдавию!.. Спасение только на том берегу. За сабли!..

Пригнулись повстанцы на лошадях. Огненной бурей врезались в румынские сотни и, устилая свой путь трупами, прорвались к Днестру. Еще минута, и остатки повстанцев, схватившись руками за гривы, плыли к красным берегам.

Загадка простой воды

Научно-фантастический рассказ



От автора

Все, о чем здесь рассказано, произошло в США в 1926 году. Специальная комиссия Морского штаба военно-морских сил США расследовала в свое время этот совершенно исключительный, более всего похожий на сказку случай и вынесла следующее решение: «Отказываясь объяснить сущность и принцип действия поразившего всех изобретения, комиссия удостоверяет правильность почти всех сообщений американской печати об этом величайшем открытии XX века. Опыты были поставлены в присутствии авторитетных представителей — офицеров морского штаба — и дали совершенно поразительные результаты, однако странное поведение изобретателя заставило морской штаб отнестись к нему с некоторой долей осторожности. Когда же было вынесено решение приобрести патент и когда чек на два миллиона долларов был уже подписан, изобретатель неожиданно исчез. Все поиски его оказались безрезультатными.

Итак, основа рассказа — истинное происшествие, но имена действующих лиц я заменил вымышленными именами. Честно признаюсь также и в том, что конец этой таинственной истории является только моей собственной догадкой, которая мне кажется единственно возможной и вполне естественной в условиях «жизни» капиталистического мира.

1

— Но это же абсурд.

— Простите, сэр, вы, очевидно, не поняли меня: я хотел бы...

— Будем откровенны: вы считаете меня идиотом?

— Странно, сэр. Я, кажется...

— Довольно, мистер... мистер...

— Григсон, сэр. Но я...

— Сознайтесь, мистер Григсон, вы явились ко мне прямо из ресторана?

— Сэр, я не употребляю спиртных напитков.

— Не обижайтесь, пожалуйста, но у вас такой возбужденный вид... Может быть, завтра? Что-о? Вы не могли бы зайти ко мне в это же время завтра?

— Сэр, вы считаете меня пьяным или сумасшедшим. Это очень обидно. Однако смею вас уверить, я совершенно трезв. Что же касается моих умственных способностей, то вам никто не мешает вызвать психиатра и освидетельствовать меня. Меня это не обидит.

— Но почему бы нам не возобновить этот разговор завтра, мистер Гринблат?

— Григсон, сэр.

— Хорошо, мистер Григсон. Так что вы скажете о нашей беседе завтра?

— Нет, сэр. Это невозможно. Завтра я буду вынужден передать свое изобретение, ну... допустим, Японии. Вам было бы приятно увидеть мое изобретение в руках японцев? Я хочу продемонстрировать свое открытие сегодня. Сейчас же. Не позже как через два-три часа. Во всяком случае, до наступления темноты.

— Скажу откровенно, мистер Гринфельд...

— Григсон, сэр.

— Мистер Григсон, что ваша настойчивость производит на меня... э... э... некоторое... э... э... впечатление...

— Неблагоприятное? Не стесняйтесь, сэр.

— Да... Все это очень... очень...

— Подозрительно? Не правда ли?



— Ну-у...

— Сэр, вы рискуете пятью долларами и только...

Седой генерал внимательно осмотрел мистера Григсона с ног до головы. Это был бледный юноша, ничем не примечательный, похожий на миллионы американских юнцов. Скромный синий костюм плотно обтягивал его худощавую фигуру. Черный галстук оттенял ослепительную белизну слегка накрахмаленного белья. Юноша сидел в кожаном кресле, сжимая длинными, худыми пальцами фетровую шляпу. У ног его стоял небольшой черный чемоданчик.

Генерал с досадой взглянул на ручные часы и порывисто встал.

Григсон схватил чемодан. Никелированные застежки сверкнули на солнце.

— Вы торопитесь, сэр? — спросил он, поднимаясь.

— Да...

— Вы больше ничего не скажете мне?

Генерал нахмурился. Рука его потянулась к эмалированной груше, подвешенной к настольной лампе. Где-то за стеной приглушенно задребезжал звонок. Генерал забарабанил пальцами по столу, наблюдая исподлобья за юношей.

— До свиданья, — сказал Григсон, бледнея.

Тяжело вздохнув, он нахлобучил шляпу и решительно шагнул к дверям.

— Постойте!

Григсон оглянулся.

— Хорошо, — сказал генерал, вытаскивая из кармана бумажник, — вот вам пять долларов. Через два часа мы ждем вас в лаборатории верфи.

— Меня пропустят?

— Вы скажете свою фамилию. Вас проводят.

— Прекрасно, сэр... — весело сказал Григсон, — я не заставлю ожидать себя. О, вы не раскаетесь.

Юноша вышел.

Лишь только за ним захлопнулась дверь, как в кабинет бесшумно вошел коренастый человек в форме морского офицера.

— Вот что, — быстро сказал генерал, — я хочу знать, куда пойдет это молодчик, который только что вышел от меня, что он будет делать и... Вы поняли меня? Через два часа я буду в лаборатории верфи. Надеюсь, к этому времени вы справитесь с моим поручением?

Морской офицер молча поклонился.

— Все! — сказал генерал.

2

Огромные окна военной испытательной лаборатории открыты настежь. Из окон видны приземистые серые здания, около которых неподвижно стоят часовые. Весь двор залит солнечным светом. Веселые зайчики прыгают на стеклах окон, слепят глаза. Часовые переступают с ноги на ногу, и тогда ножи, примкнутые к винтовкам, вспыхивают, как молния.

Асфальтированная, безукоризненно чистая площадка спускается широкими уступами к темной воде канала. Серые гранитные стены отбрасывают холодные тени на воду. Она покрыта жирными пятнами мазута, густо усеяна окурками папирос, оранжевыми апельсиновыми корками, желтыми гнилыми бананами. Пустые консервные жестянки с рваными краями трутся с тихим скрежетом о борта военных катеров, выкрашенных в бледно-сиреневый цвет. За каналом, точно голый фантастический лес, поднимаются, загораживая небо, высокие стапеля и подъемные краны.

Глухой, немолчный шум города входит в открытые окна лаборатории, как ровный гул морского прибоя.

Стрелки часов лаборатории сходятся на цифре двенадцать.

Хлопает дверь. Один за другим появляются офицеры, они с шумом рассаживаются у столов, около окон, на подоконниках.



Синий дым сигар поднимается, как туман. С приходом долговязого капитана Пакстона все оживают. О, этот Пакстон не даст скучать!

— Что слышно, капитан? Знаете ли вы, почему генерал приказал нам собраться?

— Что-о? Генерал?

Пакстон трет лоб и густым, оглушающим басом рычит:

— Я кое-что слышал, правда, но это очень длинная история.

— О-о!

— Внимание! Внимание!

— Дайте же говорить Пакстону!

Никто, разумеется, и не думает принимать всерьез «истории» Пакстона, но капитан так забавно и так занятно врет, что послушать его, конечно, стоит. Пакстон усаживается в кресло. Он сгибает, точно гигантские треугольники, длинные ноги, нюхает для чего-то своим утиным носом колени и, сняв с брюк пушинку, гудит оглушающе:

— Это, надо вам сказать, произошло на Борнео. Я плавал тогда юнгой. Наш генерал был в то время капитаном корабля, моим хозяином. Ночью приходят туземцы. Болю тают что-то. Переводчик объясняет: найдена пещера, в которой стоят какие-то невиданные машины. Судя по всему, пещера оставлена людьми несколько тысяч лет назад. Генерал дает мне приказание: перенести машины на корабль. Иду. Лес. Тропические джунгли. Туземцы нервничают. Я вливаю им по стакану виски. Храбрость. Идут дальше. Вдруг один, плешивый, как глобус, говорит мне: «Здесь, сэр». Я смотрю. Вход в подземелье. Что за черт? Иду. Пинком ноги открываю дверь. Скрип. Выпиваю стак кан виски. За мной, ребята! Темь. Темно, как в погребе. Входим. Пыль. Тлен. Будь я проклят, если что-нибудь понимаю. Туземцы дрожат. Еще виски. Вторая дверь. Откры-

ваю вторую. Вижу — подземная пещера. Зажигаю факел. И что бы вы думали? Вижу — стоят всюду какие-то странные машины. Черт возьми, за всю свою жизнь я немало видел машин, но таких — скажу откровенно — не встречал еще ни разу, да я не встречу теперь. В этом я уверен. Представьте себе... Впрочем, это трудно представить... Подхожу. Трогаю. И вдруг машины рассыпаются, как пыль. Металл, превращенный временем в металлическую пыль, как вам это нравится?! Сколько же, думаю, тысячелетий стоят тут машины? Еще — виски. Вперед, Пакстон, и покажи, что ты не дурак! Эти машины — величайший памятник из когда-либо открытых. Осторожней, старина, не дыши и не трогай древностей, но постарайся снять чертежи и разобраться как следует, что за машины, для чего они. Замечаю надпись на одной машине. Читаю: «Non omnia possumus omnes»*. Латынь? Чувствую нервную лихорадку, и вдруг...

— Генерал! — крикнул, вбегая в лабораторию, лейтенант Броуди.

Офицеры вскочили, как школьники. Одергивая мундиры, они торопливо тушили сигары, поправляя прически. Усатый Пакстон закрутил под носом два пушистых кольца. Директор лаборатории Ламсдэн провел щеткой, оправленной в слоновую кость и серебро, по седой бороде, похожей на опрокинутую пирамиду.

Послышались шаги.

Бам-бам! Бам-бам! — долетало до слуха. Генерал шагал грузно, но четко.

Дверь широко распахнулась. В темном квадрате появился сияющий генерал.

На мгновенье он остановился, оглядел всех, затем, кивнув головой, зашагал по лаборатории, держа высоко голову, выпячивая молодцевато грудь.

— Ну? — весело крикнул генерал, стягивая перчатки.

— Все в порядке, сэр! — почтительно ответил за всех лейтенант Броуди.

— Чудесно!

---

* «Не все возможно для всякого».



Генерал подошел к окну. Не глядя на стол, он бросил на его палисандровую поверхность скомканные перчатки. Они скользнули по льдистому, отполированному столу и застыли, точно нелепые снежные комочки.

— Ну-с, — сказал генерал, не оборачиваясь, — как вы думаете, бывают у мошенников честные глаза? Что-о?

— Несомненно! — поспешил ответить капитан Пакстон. — В бытность мою на островах Фиджи я...

— Благодарю вас, капитан, но я это уже слышал, кажется, в прошлом году.

Генерал повернулся, насмешливо посмотрел на Пакстона и плюхнулся в кресло.

— Садитесь! — сказал генерал.

Офицеры с шумом задвигали стульями. Когда все сели, генерал лукаво прищурился и хлопнул со всего размаха руками по коленям:

— Исключительный мошенник, но гениальная выдумка, черт возьми!

— Что-нибудь случилось, сэр? — с тревогой спросил Броуди.

— Случилось? — засмеялся генерал. — Вот именно. Поразительный случай.

Все переглянулись. О, как видно, генерал недаром собрал офицеров в это неурочное время

— Вот именно! — продолжал генерал с возрастающим весельем. — Мальчишка! Молокосос! Он решил провести нас всех за нос. Начал с того, что попросил у меня два миллиона долларов. За эту сумму предложил приобрести у него необыкновенное, совершенно потрясающее открытие. На предварительные же расходы он взял у меня пять долларов. Что-о?

— И вы своими руками отдали ему пять долларов? — хихикнул Ламсдэн.

— Ну-да, — захохотал генерал, — но разве это не оригинально? Попросить два миллиона и ограничиться пятью долларами? Но это еще не все.

Генерал взглянул на часы.

— Через несколько минут он сам явится сюда. Словом, обещаю вам блестящее представление. Будет поставлена оригинальная комедия: «Начинающий мошенник играет с младенцами морского штаба». Участвуют в спектакле все желающие. Общими усилиями мы разоблачаем мошенничество и отправляем героя как опытного афериста в отель для гастролирующих авантюристов. Но как он лгал? Честными глазами он смотрел на меня! Арститс! Монти Бенкс и Дуглас Фербенкс не годятся ему вместе с Чарли Чаплином в подметки! Что-о? Каков молодчик!

— Какое же изобретение?

— Чушь! — отмахнулся генерал. — Фантазия зеленого слона! Впрочем, все это услышите сами через несколько минут.

В дверях показался морской офицер.

— Чудесно, — сказал генерал, — надеюсь, Фойль, вы что-нибудь узнали о судьбе моих пяти долларов?

— Сэр, — сказал офицер глухим голосом, — человек, за которым вы поручили мне проследить, отправился прямо в ресторан. Здесь он съел два обеда, выпил три бутылки кока-кола, а затем...

— А затем?

— Он исчез, сэр.

— Ну вот, — засмеялся генерал, — я так и знал. Однако очень жаль. Я полагал, что это был более крупный мошенник. Жаль, жаль. Значит, нам не придется провести сегодня время весело. Он удрал? Какая досада. Мне так хотелось проучить этого молодчика.

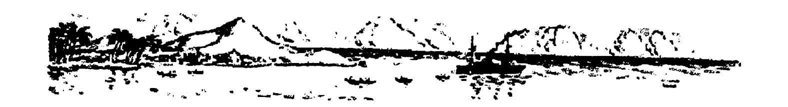
— Сэр, — сказал офицер, — когда я подъезжал к верфи, мне показалось, что он бродит около ворот.

— Да? Вы уверены, что это он? — с внезапным оживлением спросил генерал.

Он вскочил, подбежал к окну.

Офицеры весело переглянулись. Пакстон наклонился к Ламсдэну и что-то зашептал ему прямо в ухо. Ламсдэн захихикал.

Наступила тишина. В стекло ударилась с жужжаньем муха. Генерал брезгливо махнул платком. К всеобщему



удовольствию муха взлетела и опустилась прямо на кончик генеральского носа.

Генерал вздрогнул и весь так сморщился, будто проглотил стакан керосина.

— Фуй! Фуй! — пробормотал генерал и вдруг, просияв, крикнул весело: — Он! Да, да! Этот субъект идет сюда. Какая наглость, однако! Что-о?

Офицеры бросились к окну.

По асфальтовому двору шагал мистер Григсон в сопровождении дежурного. Они о чем-то разговаривали. Мистер Григсон держал в одной руке черный чемоданчик, в другой — жестяной бидон вместимостью несколько галлонов. Дежурный протянул руку в сторону лаборатории. Мистер Григсон поднял голову, взглянул с любопытством на окна и что-то спросил. Дежурный пожал плечами.

— Внимание! — сказал генерал. — Прошу занять места. Представление начинается. Предлагаю выслушать его внимательно. Запомните: мы должны отучить таких субъектов раз и навсегда являться к нам с подозрительными проектами. Они должны понять, что Морской штаб — слишком опасная игрушка. Наша святая обязанность — закрыть сюда двери так крепко, чтобы ни один мошенник даже не мечтал о поживе от нас. Запомните: ваши вопросы, очевидно, появятся в печати. Надеюсь, это будут остроумные вопросы. Прошу занять места.

С веселым шумом офицеры отошли от окна. Пакстон загудел в углу:

— Будь я проклят, если не поймаю мальчишку через две минуты.

В дверь постучали.

— Да! — сказал генерал.

Вошел дежурный. Щелкнув каблуками, он молодцевато козырнул:

— Сэр, тот человек, которого вы приказали провести к вам, — здесь.

— Пусть войдет, — кивнул головой генерал.

Дежурный широко распахнул дверь.

— Войдите, — сказал он, прижимаясь к стене.

3

В лабораторию вошел мистер Григсон. Он растерянно оглядел всех, неловко поклонился направо и налево и, не выпуская из рук бидона и чемоданчика, сделал несколько шагов. Пакстон свирепо закрутил пышные кольца усов.

— Вы можете идти, — сказал генерал дежурному.

Дежурный молча исчез за дверью.

Генерал встал. Он стоял перед Григсоном, как воплощенная любезность.

— Комиссия вас слушает, мистер Гринфельд.

— Григсон, сэр.

— Не возражаю. Вы, конечно, больше это знаете. Итак, в вашем распоряжении два часа. Доложите комиссии сущность вашего открытия. Мы вас слушаем, — сказал генерал, опускаясь в кресло.

Григсон осторожно поставил на пол бидон и чемодан.

— Два часа — это слишком много, сэр. Я задержу внимание комиссии не более чем на пять минут.

— Тем лучше.

Григсон снял шляпу, положил ее на бидон и провел рукой по голове.

— Я буду краток, — сказал он тихо. — Я открыл способ превращения обыкновенной воды в горючее.

— Что та-акое? — вскочил долговязый Пакстон.

Офицеры зашептались. Лейтенант Броуди фыркнул. Генерал недовольно взглянул на Броуди и свирепо нахмурился. Бедный лейтенант покраснел, как мальчишка.

— Я, — продолжал Григсон, не удостоив даже взглядом долговязого капитана, — предлагаю заменить нефть, мазут, бензин, керосин и лигроин речной или морской водой. Я понимаю, конечно, ваше удивление и ваше недоверие. Это



естественно. Вполне законно. Однако разве менее удивительны авиация, радио, современная химия, кино или телевидение? Лет сто назад все это считалось бы невозможным, а сейчас мы просто не мыслим человеческое существование без радио, без авиации, без кино и так далее.

— Насколько я вас понял, — загудел Пакстон, — вода может гореть?

— Почему бы нет? — вежливо ответил Григсон.

— Но до сего времени пожарные употребляют воду для тушения огня, — сказал Пакстон и обвел всех торжествующим взглядом.

— Вы правы, — невозмутимо ответил Григсон, — но вы не должны забывать, что вода — это смесь известных веществ: кислорода и водорода. Один из этих составных частей — компонентов воды — водород — горит прекрасно, превосходно горит! Другой — кислород — прекрасно помогает горению. Значит — только надо умеючи и дешево разложить воду.

— Вы, конечно, владеете этим искусством в совершенстве?! — крикнул лейтенант Броуди.

Григсон поклонился.

— Я, — сказал он спокойно, — пришел к вам только для того, чтобы убедить вас в этом на практике.

— Что вам нужно для организации опыта?

— Вода и что-нибудь вроде дредноута, мотоцикла, автомобиля.

— Катер?

— Безразлично.

— Браво! — хлопнул в ладоши Ламсдэн. — Но скажите, пожалуйста, ваши водяные двигатели уже сконструированы? Как работают они? На каком заводе вы их изготовили? У вас, конечно, есть чертежи этих машин?

— Двигатель остается без изменений! Вода приводит в движение любой двигатель внутреннего сгорания.

— Я полагаю, — сказал генерал, понимаясь, — что всем будет очень интересно посмотреть, какую скорость покажет катер при помощи воды мистера Грингауза.

— Григсона, сэр!

— Великолепно. Броуди!

— Слушаю, сэр!

— Освободить баки от горючего на катере А-17-39!

4

Спустя несколько минут все уже стояли в машинном отделении катера. Среди офицеров царило веселое возбуждение. Долговязый Пакстон, вытягивая шею, суетился больше всех. Можно было подумать, что он решил во что бы то ни стало разоблачить мошенника. Григсон следил за каждым движением капитана с насмешливым любопытством. Пакстон определенно нравился ему.

— Боюсь, — гудел капитан, — что на дне баков еще осталось горючее.

— О! — с комическим испугом покачал головой Григсон. — Это мне не нравится. Я попрошу вытереть стенки баков насухо тряпкой.

Генерал кивнул головой матросу.

— Вытереть баки насухо! — закричал Пакстон.

Не говоря ни слова, матрос принялся за работу и через минуту вытянулся, держа в руках мокрую тряпку.

— Баки вытерты насухо, сэр.

— Идите.

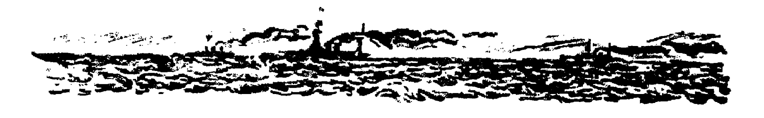
Матрос вышел.

Теперь было уже все готово для опытов. Офицеры с любопытством разглядывали Григсона. Юноша улыбнулся, но, не встретив ни у кого на лицах ответной, сочувствующей улыбки, он слегка дотронулся до шляпы и спросил:

— Разрешите приступить, сэр?

— Да, да, пожалуйста, — нетерпеливо сказал генерал.

Григсон нагнулся, поднял с пола бидон. Капитан, не спускавший глаз с Григсона, рванулся вперед. Григсон в за-



мешательстве взглянул на него. «Что еще нужно капитану? Может быть, он хочет спросить что-нибудь?»

— Позвольте, — забасил Пакстон, — вы хотите налить в баки из этой штуки? — Он дотронулся до бидона.

— Да.

— Но... Вы не разрешите понюхать вашу воду? Любопытно все-таки, чем она пахнет. И вообще вы можете располагать мной. Я охотно помогу вам.

— Хорошо, — просто сказал Григсон. Он протянул бидон Пакстону. — Если вам нетрудно, наполните, пожалуйста, бидон водой. Воду можно взять в канале.

Капитан открыл бидон, сунул в широкое горло нос и смущенно постучал согнутым пальцем по вдавленному боку. Бидон глухо загудел.

— Он пустой, — улыбнулся Григсон.

— Вижу! — буркнул капитан. Подмигнув всем с видом заговорщика, он быстро вышел. Генерал закурил сигару. Броуди сосредоточенно разглядывал ногти. Все молчали.

Вошел капитан. Тяжело дыша, он тащил бидон двумя руками.

Вода плескалась через широкое горло бидона. Брюки Пакстона были мокрые.

— Я прополоскал вашу жестянку, — сказал капитан, весело подмигивая глазом.

— Ваша заботливость просто смущает меня, — улыбнулся Григсон, — надеюсь, вы принесли воду?

— О, да, — пробормотал Пакстон, — будь я проклят, если это не настоящая вода.

— Благодарю вас! — поклонился Григсон. — А теперь, сэр, я хотел бы остаться здесь один. О, ненадолго: на две, на три минуты!

Пакстон вздрогнул, точно его ужалила оса.

— Вы что-то хотите сказать, капитан? — спросил генерал.

— Ого! — закричал Пакстон. — Три минуты. Хорошенькое время, будь я проклят. Да ведь за три минуты можно вылить воду из бидона за борт и наполнить жестянку бензином. Когда у нас был сухой закон, — тьфу, будь он про-



клят, — я знал одного молодца, который перевозил виски в резиновых подушках; они обтягивали его, как согревающие компрессы.

Григсон смутился. Его смущение не осталось незамеченным. Офицеры зашептались. Генерал усмехнулся. «Уж не принимает ли этот мальчишка офицеров штаба за пингвинов? Надо думать, что игра подходит к концу. Но как он держится! Какое самообладание! Интересно, удастся ли ему вывернуться из неприятного положения».

— Ну-с, мистер... мистер...

— Григсон, сэр.

— Пусть будет так. Вы настаиваете на том, чтобы мы все вышли?

Григсон задумался. По лицу его скользнули еле уловимые тени. Было видно, что он колеблется.

— Итак?! — сказал генерал.

Григсон с растерянным видом переступал с ноги на ногу.

— Что вас смущает?

— Хорошо! — сказал решительно Григсон. — Вы можете остаться.

Он сунул руку в карман, быстро выдернул склянку с притертой пробкой и, встряхнув склянку, поднес ее к глазам. Фиолетовая жидкость запенилась в банке, серебристые нити пронизали ее, как молнии. Григсон вытащил пробку, отвернув в сторону лицо, он вылил жидкость в бидон.

Вода вздулась пузырем, забурлила, заклокотала, точно ее подогревали. Клубы синего пара с едким запахом взлетели к потолку.

— Черт возьми, — взревел капитан, — запах удивительно знакомый! Позвольте, позвольте, да ведь это... это... это же... Стойте, стойте...

Капитан шумно втягивал воздух ноздрями.

Григсон побледнел. Широко открыв глаза, он с испугом следил за носом Пакстона. «А что, если этот проклятый ка-

питан узнает по запаху состав жидкости?» Но опасения его были напрасны. Покрутив носом, капитан Пакстон развел руками и, как бы извиняясь, пробормотал:

— Не понимаю. Что-то знакомое, но что — хоть убей, не пойму.

Григсон вздохнул с облегчением. Чтобы скрыть радость, он наклонился над бидоном.

— Ну, как? — нетерпеливо спросил генерал.

— Все в порядке, сэр.

Вода в бидоне тем временем приобрела молочный цвет, а затем быстро-быстро стала светлеть.

— Скажите, — обратился к Григсону директор лаборатории Ламсдэн, — вы не можете сказать, из каких компонентов состоит вот эта фиолетовая жидкость, которую вы плеснули в бидон? Кстати, сэр, я вас не перебил, когда вы сказали, что вода является смесью водорода и кислорода... Это противоречит основным понятиям химии. Нас учили, да в этом я и сам уверен, что вода является химическим соединением, повторяю, сэр, химическим соединением двух атомов водорода и атома кислорода!

— Да. сэр. Я это превосходно помню. Но сознательно определяю воду как смесь и доказываю это моими опытами, — чуть усмехнувшись, ответил Григсон.

— Но в таком случае, — быстро перебил его директор лаборатории, — как понимать ваши слова о том, что надо воду умеючи и дешево раз-ла-га-ть.

— Это я по старой химической привычке оговорился, — отпарировал Григсон и продолжал: — А что касается ответа на ваш вопрос, из каких компонентов состоит эта фиолетовая жидкость, то ведь я и пришел с намерением раскрыть секрет моего изобретения.

— Вот как? Так, значит, она составлена из?..

— Вы получите рецепт растворителя в десяти экземплярах, но, конечно, не раньше, чем я получу два миллиона долларов.

Ламсдэн смущенно кашлянул. Выудив из кармана щетку, он растерянно посмотрел на всех и не спеша принялся расчесывать свою бороду. Григсон насмешливо взглянул на

директора лаборатории, затем повернулся к генералу и спокойно спросил:

— Кто поведет катер, сэр?

— Лейтенант Броуди, — отрывисто сказал генерал.

— Прекрасно! В таком случае я заправлю баки.

Григсон подошел к бакам, разлил свое странное горючее равными порциями.

— Машина готова! — сказал он, вытирая руки платком.

Броуди подошел к генералу.

— Сэр, я жду ваших приказаний!

Генерал усмехнулся:

— До маяка и обратно.

— Есть, сэр.

Броуди круто повернулся, подбежал к штурвалу.

— А вы, капитан, — сказал генерал, обращаясь к Пакстону, — кажется, хотели заняться мотором?

— Есть заняться мотором, сэр.

Пакстон встал на место моториста.

— Можно ехать, — сказал генерал.

Стало так тихо, что все услышали размеренное тиканье карманных часов. Офицеры с напряженным вниманием прислушивались к возне Пакстона. Щетка в руке Ламсдэна повисла в воздухе. И только один генерал стоял, ничем не выдавая своего волнения. Сунув руку в карман, он незаметно наблюдал за лицом Григсона. Однако Григсон выглядел, пожалуй, неплохо. Он стоял спокойный, невозмутимый. Легкая, чуть заметная улыбка бродила у него на губах; казалось, что он думает сейчас о чем-то, совсем не имеющем никакого отношения к тому, что происходит на катере.

Генерал отвернулся.

— Будь я проклят, — гудел капитан Пакстон, — хотел бы я посмотреть, что выйдет из всего этого.

Такое же желание было написано на лицах всех офицеров. Теперь они уже не посмеивались. О, нет. Они были серьезны и взволнованны. «Пойдет катер или нет? Неужели пойдет?»

За каждым движением Пакстона следили десятки внимательных глаз. Прошло несколько томительных минут ожиданья. И вдруг под ногами загудел, забился мотор.

— О-о!

— А-а!

Офицеры невольно вскрикнули и, точно по команде, бросились к мотору.

Капитан Пакстон сконфуженно развел руками, точно хотел сказать: «Будь я проклят, если я что-нибудь сплутовал тут».

— Полный вперед! — заорал ошалело Броуди.

Он быстро повернулся, отыскал взглядом в толпе офицеров Григсона и, помахав рукой, крикнул ему что-то взволнованным мальчишеским голосом.

Григсон не расслышал слов лейтенанта.

С бешеным ревом катер рванулся вперед.

Под носом забурлила вода. Справа и слева, точно гигантские водяные усы, вздулись пенистые валы. В гранитные стенки канала с шумом ударились волны. По воде запрыгали консервные жестянки, качнулись лениво шлюпки.

В брызгах и пене катер вылетел на синюю гладь залива и помчался, набирая скорость, к далекому горизонту, где смутно темнел маяк.

В ушах завыл, засвистел встречный ветер.

— Алло, Григсон! — закричал сияющий Броуди. — Можно вас на одну минутку?

Григсон отделился от группы офицеров, которые стояли явно подавленные, разговаривая между собой вполголоса. Ламсдэн с ожесточением расчесывал щеткой седеющую бороду. Генерал вытирал носовым платком красную шею. Капитан Каннингэм, коротконогий толстый офицер, смотрел на всех выпученными глазами, открывал то и дело рот, как будто он задыхался.

— Н-да! — услышал Григсон за спиной.

Он подошел к Броуди.

— Алло, Григсон! — весело крикнул лейтенант, не выпуская из рук штурвала. — Мы собрались для того, чтобы уничтожить вас, а вы нам дали хороший урок! Вы настоящий парень, Григсон! Нет, вы только посмотрите на генерала.

Броуди захохотал.

— Вы славный парень, Броуди! — сказал просто Григсон.



— Еще бы, — мотнул головой лейтенант, — но если бы я имел такую башку, как ваша, это не повредило бы мне. Ничуть!

— Вы меня смущаете, Броуди.

— Без кокетства, Григсон. И что вы скажете, если мы сегодня пообедаем вместе? Конечно, плачу я сам. Ну?

— Будет ли это удобно?

— Ну, конечно.

Тем временем Ламсдэн привел в порядок свою бороду. Поглаживая ее тонкими пальцами, он стоял перед генералом, внимательно рассматривая свои ослепительно сверкающие ботинки.

— Что вы скажете, Ламсдэн? — сказал, наконец, генерал.

— Что я скажу? — переспросил директор лаборатории. Он скомкал бороду и задумчиво произнес: — Я просто ошеломлен!

— Но что это? — настаивал генерал. — Фокус? Ловкость рук? Кто он? Гений или мошенник?

Ламсдэн пожал плечами.

— Я думаю, — вмешался капитан Каннингэм, — голова этого парня крепко привинчена к плечам.

— Благодарю вас, — насмешливо поклонился генерал, — это как раз то, что нас интересует в данный момент больше всего.

Капитан покраснел.

— Поговорим о деле, — сухо сказал генерал. — Можно уплатить этому молодчику два миллиона за его... э... э... изобретение?

— Вас что-нибудь смущает, сэр? — осторожно спросил Ламсдэн.

— Смущает? Конечно. Ну, а разве у вас нет никаких сомнений?

— Тут, сэр, возможны, конечно, варианты недобросовестности, — медленно, как бы обдумывая каждое слово, сказал Ламсдэн.

— Именно?

— Может случиться так, что, получив два миллиона, Григсон откроет нам такой секрет, которым мы не в состоянии будем воспользоваться. Возможно, также, что стоимость вашего реактива будет выше стоимости горючего. Наконец, в состав жидкости могут входить такие редкие вещества, что при всем желании мы не сумеем приготовлять его в больших количествах. И в том и в другом случае мы останемся в дураках.

— Вот именно, — кивнул головой генерал, — я как раз об этом и думаю... Но есть у меня и другие сомнения.

— Во всяком случае, сэр, было бы очень печально, если бы Морской штаб остался в дураках.

— Я думаю! — выпятил грудь генерал.

— Может быть, Григсон рассеет наши сомнения, сэр?

— Черт возьми, — сказал генерал, — из этого парня надо вытягивать клещами каждое слово. Он смотрит на нас, как на мошенников, которые только и хотят, что обмануть его.

— Но ведь и мы, сэр...

— Замолчите, пожалуйста! Алло! Мистер Григсон! Пожалуйте сюда.

Григсон подошел к генералу.

— Как видите, сэр, я не обманул вас, — сказал Григсон.

— Пока мы еще ничего не видим. Видеть — это значит понять. А то, что для меня непонятно, то...

— Позвольте, сэр...

— Не будм терять напрасно время, мистер Григсон. Выслушайте наши условия. Мы готовы приобрести ваше изобретение. Вы хотите два миллиона долларов? Отлично. Мы не лавочники. Торговаться не будем. Но вы должны понять, что мы не можем покупать кота в мешке. Переходим к делу. Вы обучаете пять офицеров приготовлять секретную жидкость — мы платим вам два миллиона. У вас есть какие-нибудь возражения?

— Несколько возражений, сэр.

— Говорите.

— Когда мой секрет станет известным пяти офицерам, он будет уже не моим секретом, а секретом военного флота США. Какой же смысл платить мне тогда деньги?

— О-о! — с возмущением сказал генерал. — Уж не думаете ли вы, что вам придется иметь дело с мошенниками?

— Простите, сэр, но у меня есть все основания не доверять людям.

— Что еще вас смущает?

— Боюсь, что, узнав состав реактива, вы найдете слишком высокой плату за мое изобретение.

— Они слишком дороги, составные части вашего растворителя?

— О, нет!

— Их трудно достать?

— Наоборот. Растворитель можно приготовить в любой точке земного шара. Я думаю, что все необходимое для приготовления его можно приобрести даже в самой захудалой аптеке.

— Гм... гм...

— Мои условия, сэр, таковы: я прихожу к вам с адвокатом и журналистами, получаю наличными два миллиона долларов и передаю вам рецепт. По этому рецепту вы приготовляете сами реактив, обращаете воду в горючее, затем испытываете это горючее. Если оно не будет действовать, вы заявляете об этом мне в присутствии свидетелей, и я возвращаю деньги.

— Но это... как-то... несерьезно.

— Вы можете отказаться, сэр.

Генерал передернул плечами. Лицо его покраснело. Хмуря брови, он процедил сквозь зубы:

— Отлично! Я доложу о ваших условиях.

— Сегодня?

— Что-о?

— Я хочу сказать, сэр, что у меня нет ни одного пенса! Я не могу долго ждать.

Генерал задумался.

— Десять дней. Вы можете подождать десять дней?

Лицо Григсона вытянулось.

— Но вы понимаете, — поспешно добавил генерал, — два миллиона никто не сумеет уплатить вам в течение суток. Эти деньги надо взять в банке, сосчитать, черт возьми. Нужно,

наконец, оформить документами, провести по книгам, получить разрешение. Вы думаете, я ношу в кармане миллионы?

— Но как же я проживу эти десять дней?

— Позвольте, мистер Григсон, если не ошибаюсь, вы уже великолепно прожили несколько лет, так что ж такое для вас десять дней? Пустяки!

— Я, сэр, вложил в изобретение уже все, что у меня было! — печально сказал Григсон.

— Ну хорошо. Пусть семь дней. Семь-то дней вы проживете, надеюсь?

Григсон задумался. Опустив голову, он стоял, теребя пальцами пуговицу пиджака, и вдруг лицо его просияло.

— Хорошо, сэр, — сказал он, — кажется, я сумею прожить эти десять дней. Да, да, это будет отлично.

5

— К сожалению, мистер Мэлоун, мы вынуждены отказаться от ваших услуг. — Заведующий отделением хроники газеты «Последние известия» задумчиво почесал пушистые остатки рыжеватых волос на макушке лысой головы и, взглянув на своего собеседника — широкоплечего репортера Мэлоуна, — вздохнул, как бы испытывая сильнейшее огорчение. — Вы так молоды, у вас такая энергия... Мне просто жаль вас. Ведь вы могли бы занять у нас хорошее положение, но, к сожалению, вы упорно не хотите понять запросов публики. Ну кому — подумайте только, — кому нужен ваш рабочий вопрос? Кому? Правда, все это есть. Я не отрицаю. Тут кое-что, конечно, не совсем благополучно, но зачем писать о печальных фактах? Может быть, вы надеетесь изменить своим пером наше общество?.. А если вы не так самонадеянны, так какой же тогда смысл имеет вся ваша деятельность? Запомните, читатель требует сенсаций, крови, ему нужны интересные убийства, он хочет, чтобы его немножечко щекотали, он желает читать о необыкновенных событиях. Жизнь, мистер Мэлоун, не так уж красочна, и мы, журналисты, должны, обязаны, черт возьми, скрашивать существование читателей. Мы не жалеем денег, но будьте



же и вы изобретательны. Не понимать запросов эпохи?.. Куда это годится? Словом, вы уволены, мистер Мэлоун. До свиданья! — Заведующий уткнулся носом в рукопись. — Впрочем, — сказал он, не поднимая головы, — я мог бы дать вам отличный совет.

— Совет? — рассеянно спросил Мэлоун. — Нет, благодарю вас. — Кивнув головой, Мэлоун не спеша вышел из кабинета.

«Старый скунс. Крыса! — с раздражением подумал Мэлоун, спускаясь с лестницы. — Выгнать в такое время, когда через несколько недель я сам мог бы оставить эту собачью упряжку. Старый ханжа. Ехидна лысая. Однако что же все-таки делать? Чем заняться? Где достать деньги, чтобы прожить хотя бы два месяца? Черт! Как не везет за последние дни!»

Мэлоун побежал вниз, прыгая сразу через несколько ступенек. На площадке он налетел с разбегу и чуть не сшиб с ног высокого юношу.

— Извините, — пробормотал, тяжело дыша, Мэлоун.

— Пожалуйста, — улыбнулся юноша. — Надеюсь, вы не пострадали?

— Как будто цел, — пошутил Мэлоун, приводя в порядок костюм.

— Один вопрос, — дотронулся юноша до руки Мэлоуна, — редакция «Последних известий»...

— Четвертый этаж, — нехотя ответил Мэлоун.

— Да? Кстати, вы случайно не сотрудник редакции?

— Ровно две минуты назад я был сотрудником этого заведения, — грустно ответил Мэлоун. Но юноша не обратил внимания на тон, которым были сказаны эти слова.

— Право, мне везет, — улыбнулся он, — я Григсон. У меня есть интересное предложение. Что мне нужно? Автомобиль — это раз. Сотрудник редакции — это два. Вдвоем мы сделали бы небольшое турне. Исключительное турне. Ручаюсь, что это позабавит публику... Вся поездка отнимет ровно десять дней. Что я хочу? Очень немного. Редакция

должна оплатить все дорожные расходы. Понимаете? Завтраки, обеды, ужины, отель — все это оплачивает редакция. И только. Я скромен, не правда ли?

— Гм... Куда же вы собираетесь ехать?

— Куда? Это безразлично.

— Я немного не понимаю вас.

— Не спрашивайте, куда мы поедем, спросите лучше, как мы поедем. Но где я мог бы поговорить с вами? На лестнице не очень-то удобно разговаривать.

Открытое лицо Григсона внушало доверие. После минутного колебания Мэлоун сказал:

— Идемте.

6

Через полчаса после встречи с Григсоном мистер Мэлоун вошел с независимым видом в кабинет заведующего хроникой.

— Мистер Фельпс, — сказал Мэлоун, опускаясь в кресло, — мне нужна тысяча долларов.

— Тысяча? — без всякого удивления спросил заведующий, чиркая рукопись. — Почему так мало? Почему не миллион? Я лично не отказался бы даже от 10 миллионов долларов.

— Я не шучу.

— А вы думаете, у меня есть время для шуток?

— Тем лучше. Итак, вы идете к редактору и возвращаетесь через пять минут с чеком на тысячу долларов или же я обращаюсь с такой же просьбой в другую редакцию.

Фельпс приподнял голову от рукописи. Втянув голову в плечи, он настороженно прислушивался к словам Мэлоуна. Хмурые глаза Фельпса так и впились в репортера.

— У вас... есть что-нибудь... интересное?

— Интересное? Пфуй, — сморщился Мэлоун, — у меня есть то, что никому из вас никогда не снилось даже, да и не приснится.

— О-о! Вы, кажется, и в самом деле... — Фельпс лизнул языком по губам.

— Значит, вы намерены выслушать меня?

— Ну, конечно, конечно, — торопливо сказал мистер Фельпс.

— И я получу тысячу долларов?

— Это также не исключено, — осторожно ответил Фельпс.

— Тогда слушайте.

— Я весь внимание. — Фельпс поспешно положил перо на стол, откинулся на спинку кресла и чуть-чуть склонил голову набок.

— Что вы скажете, — начал Мэлоун, — если я организую небольшой автомобильный пробег, заправив машину водопроводной водой?

— Какой водой? Почему водопроводной водой именно?

— Ну... Очень просто. Вместо бензина я наполню карбюратор водой и отправлюсь путешествовать.

— Что?! — подскочил Фельпс.

— Это обойдется редакции в тысячу долларов. Согласны вы уплатить такую сумму? Очерки, статьи и фельетоны вы, разумеется, оплатите особо. Писать я буду сам...

— Тысячу?.. За воду?.. Ну, конечно, дорогой мой. Конечно. Но как вы сумеете обмануть всех? Особое устройство автомобиля? Да? Фальшивые баки?

— Никого обманывать я не собираюсь.

Фельпс вытаращил глаза.

— Да, не собираюсь. Игра будет проведена честно.

— Тогда я ничего не понимаю, — развел руками Фельпс, — тогда простите, но я не могу рисковать. Меня не поддержит редакция. Я не могу рисковать. Это уже пахнет мошенничеством. Боюсь, редактор не согласится на такой расход.

Мэлоун презрительно усмехнулся.

— Слушайте меня внимательно, Фельпс, лицемер старый. Мне нужны деньги. Мне и еще одному человеку.

— Я так и знал.

— Помолчите-ка лучше... Так вот, этот человек демонстрировал вчера свое изобретение. У него на руках есть удостоверение Морского штаба. Я читал эту бумагу. Штаб

свидетельствует, что это катер, заправленный вместо горючего водой из канала, прошел со скоростью 20 узлов час ровно четыре мили. Достаточно этого для вас?

— Но, боже мой!.. А вдруг этот человек — мошенник?

— Поверьте, Фельпс, я понимаю кое-что в людях. Во всяком случае вас-то уж я никогда бы не спутал с порядочным человеком.

— Вы не джентльмен, Мэлоун, — жалобно сказал мистер Фельпс.

— И слава богу.

— Но я хотел бы видеть этого человека.

— Нет.

— Но почему?

— По той простой причине, которая удерживает фермера знакомить своих кур с лисицей.

— А если вы обманете нас?

— Вы что ж, считаете меня мошенником?

— Нет. Избави бог. Конечно, нет, в нашей замечательной стране все-таки никогда не мешает немножко сомневаться.

— Я не обману вас.

— Могу я поставить только одно условие?

— Говорите.

— Вы ничего не имеете против, если я сам, своими руками, налью воду в поплавковую камеру?

— Абсолютно.

— Пробег вы начинаете от редакции?

— Хорошо.

— Заправляю машину я сам, в присутствии наших читателей.

— Прекрасно.

— Машину для пробега я выбираю сам.

— Чудесно.

— Но почему тысяча? Почему, скажем, не пятьсот? А?

— Будете торговаться, уплатите две тысячи.

— Нет, нет. Будем джентльменами. Тысяча — так тысяча. Подождите пять минут. Не исключена возможность, что редактор пожелает побеседовать с вами. Приведите себя в порядок... Гм... Тысяча долларов? Но почему бы и нет?

7

Вот уже пятый день мчится автомобиль редакции «Последние известия» по чудесным дорогам Северной Америки. Ветер и солнце поработали изрядно над лицом Григсона. Он загорел, возмужал, щеки его покрылись здоровым румянцем. Отлично питаясь, Григсон пополнел, и теперь уже навряд ли кто узнал бы в нем того юношу, который несколько дней назад явился в лабораторию военной верфи.

Прекрасно выглядел за рулем и Мэлоун.

Молодые люди подружились с первых же дней.

Разъезжая по дорогам Америки из одного города в другой, они давно уже успели рассказать все о своей жизни и поделиться планами о будущем, а не далее как вчера пришли к убеждению, что им вообще не следует расставаться после этой поездки.

— Мне только одно не нравится в тебе, Джек, — начал сегодня разговор Мэлоун, — это твоя ограниченность. Ты не обидчивый, надеюсь?

— Конечно нет. Хотя у тебя, Перси, довольно странная манера разговаривать.

— Важны дела человека, Джек, а как разговаривает он, — это уж совсем неважно. Поверь мне.

Автомобиль круто свернул в сторону. Мэлоун обогнал огромную автоцистерну с надписью на голубых боках: «Молоко», и, не отрывая взгляда с дороги, сказал:

— На твоем месте я, знаешь, продал бы все-таки изобретение Советскому Союзу.

— Перси!

— Что возмущает тебя, мой мальчик?

— Но я же американец, Перси. Правда, я припугнул их Японией, но, конечно, у меня даже в мыслях не было поступить так бесчестно.

— Бесчестно, Джек?

— Ну да... Ты говоришь чепуху, Перси.

— А ты подумал о том, что даст рабочим твое открытие?

— Нет.

— Напрасно. Во-первых, и прежде всего, закроются все нефтепромыслы, затем встанут заводы, поставляющие оборудование для нефтепромышленности, наконец, сократятся перевозки по железным дорогам, исчезнет сеть дорожных автоколонок и, разумеется, появятся, в результате всего этого, новые миллионные армии безработных.

— А в Советском Союзе?

— О, там не боятся безработицы. У них всегда нужда в рабочих руках. Ведь у них там чем больше рабочих рук, тем больше, значит, работы. А работа там великолепная: созидаются прекрасные дворцы, огромные заводы, когда-то глухие места расцветают.

— Перси, я американец. Ты не забыл еще об этом?

— Наоборот, об этом-то я только и думаю, Джек. Ты думаешь об Америке, а те, кто имел с тобой дело, — о своих хозяевах-банкирах. Я уверен, что любой из них, будь он на твоем месте, продал бы это изобретение тому, кто больше дал бы. Нужна им нация, этим бандитам?! Как же! Только они и думают об этом.

— Нет, Перси, у меня есть отечество и... Прекрати, пожалуйста, этот разговор.

— Есть, сэр миллионер. Молчу.

— Но я уже сказал, для чего нужны мне эти деньги.

— Чепуха. Если даже тебе разрешат открыть бесплатный университет для твоих самоучек-изобретателей, то все равно ничего путного не выйдет из твоей затеи. Они будут изобретать, а банкиры пожирать эти изобретения.

— Перси, ты надоел мне.

— Ладно, миллионер. Не забудь только, что место сторожа в твоем университете закреплено за мной.

— Ты хандришь, Перси.

— А ты просто глуп. Извини меня.

— Ты сегодня послал корреспонденцию в твою редакцию?

— О, да. Пока ты спал, я накатал картины будущей войны. Наш непромокаемый флот внезапно исчезает. Японские шпионы рассказывают его во всех портах, но он крейсирует у берегов этой благословенной страны, избегая встреч с японцами. Конечно, корабли набиты сверху донизу стальными ананасами, ведь горючее им не нужно брать с собой, оно — за бортом, знай, только черпай. И вот в один волшебный день они громят чайные домики, благословенную Фудзияму, вишневые садики, а затем выбрасывают в рисовое поле несколько тысяч танков. Танки, понятно, полируют японские ландшафты, превращают Японию в симпатичную теннисную площадку, вполне пригодную для разведения картофеля, брюквы и других фруктов. Горючее для своей полезной работы танки получают в любой канаве, а также во всех священных прудах Японии. Роскошная статья. Почти две тысячи слов.

— Не понимаю, Перси, почему ты рассматриваешь мое изобретение только с военной точки зрения?

— Потому что это успокаивает нервы магнатов каменноугольной и нефтяной промышленности. Ты знаешь, на что они надеются? Они думают, и не без основания, что твое изобретение не пойдет дальше армии и военного флота. Не станут же в самом деле наши Нельсоны и Наполеоны рассказывать японцам или немцам, как пользоваться и из чего приготовлять ту штуку, за которую они дадут тебе два миллиона! Однако поставка нефти для флота — тю-тю. Ускользнет от них этот жирный куш. И думаешь, они не понимают, что означает для их кармана твое изобретение? Ого! Отлично понимают. Смотри, Джек! Ты должен быть осторожным. Мне кажется, что за тобой уже начали следить. Остерегайся молодцов, от которых пахнет нефтью. У них ведь ты стоишь сейчас, как кость в горле.

— Я знаю.

— Знаешь?

— Ну да. Вчера я получил письмо.

— Письмо? И ты мне не сказал ни слова?

— Я не придаю этому никакого значения.

— Кто прислал?

— Не знаю.

— И что же в этом письме?

— Буквально несколько слов. Слушай: «Предлагаю больше любой суммы, которую вам согласится уплатить военное ведомство. Не торопитесь. Ждите нашего представителя».

— Ого! И что же ты думаешь делать?

— Боюсь, что они хотят приобрести мое изобретение для того, чтобы уничтожить его.

— Ручаюсь головой, Джек, что они так и сделают. На этот раз твоя голова работает не хуже арифмометра.

— Но я не допущу такой сделки. Однако не пора ли нам пополнить баки?

— Не мешает, Джек. Кстати, я вижу впереди автоколонку.

Друзья замолчали.

8

Ровно в 19 часов автомобиль остановился около одноэтажного белого домика.

— Алло! — крикнул Мэлоун.

Хлопнула дверь — на пороге появился здоровенный детина в синем комбинезоне с большим гаечным ключом в руках.

— Заправить?

— Пожалуйста. Посмотрите, кстати, что делается в радиаторе.

Детина подошел ближе, отвинтил крышку радиатора и, мотнув головой, сказал:

— Слегка перегрелся... Одну минутку.

Сунув ключ в широкий карман, он взял шланг, поднес его к радиатору. Холодная струя воды с бульканьем полилась в радиатор.

— Все в порядке.

— Прекрасно. Теперь немного воды для карбюратора.

— Вы хотите сказать: немного бензина?



— Ничего подобного, — покачал с сожалением головой Мэлоун, — именно воды.

— В карбюратор?

— Да, в карбюратор.

Детина снисходительно улыбнулся:

— Что вы называете карбюратором?

— Друг мой, если вы не совсем точно изучили название частей автомобиля, тогда прошу вас налить воду туда, куда обычно вы наливаете бензин.

— Вы шутите?

— Ничуть.

— Но... Ах, понимаю, вы хотите промыть вашу машину?

— Вот именно, — усмехнулся Мэлоун, — дайте-ка я помогу вам. — Он выскочил из машины, взял шланг и направил струю прямо в бензиновый бак.

— Пожалуй, это вас сильно задержит, — почесал затылок парень. — Может быть, вы не откажетесь закусить что-нибудь?

— О, не беспокойтесь. Мы не намерены торчать тут больше пяти минут.

— Однако, — с сомнением покачал головой детина.

— И сколько же причитается с нас за воду?

— Вода бесплатно. Мы получаем только за бензин.

— Ну, словом, как везде. Очень мило.

— Можно приступить к промывке? — спросил парень.

— На обратном пути, — засмеялся Мэлоун и незаметно плеснул в бак фиолетовую жидкость. Легкое облачко взлетело над кузовом машины, как сигарный дым; оно растаяло так быстро, что парень не успел даже увидеть его. Мэлоун сел за руль.

— Ну-ка посторонитесь. Дайте нам дорогу.

Парень, усмехаясь, отошел в сторону. «Эти ребята, видно, не прочь пошутить!»

Но что это?

Автомобиль рванулся и, взметнув пыль, быстро помчался по дороге.

Детина вытаращил глаза. То, что он увидел, никак не могло поместиться в его сознании. Он подбежал к шлангу,

озабоченно понюхал его. «Нет. Все в порядке. Вода». Он попробовал ее на язык. «Вода. Настоящая, холодная вода».

Парень схватил руками голову. Она была на месте. Тогда он оглянулся и, не раздумывая, укусил мизинец. Из пальца брызнула кровь. Ничего не понимая, он тупо посмотрел на палец, потом вслед удаляющемуся автомобилю, сплюнул соленую кровь и сокрушенно покачал головой. Щеки его посерели. Лоб покрылся холодной испариной. Мигая испуганно глазами, парень стоял, хлопая открытым ртом, точно рыба, вытащенная из воды.

— Проклятый Джим, — забормотал, наконец, расстроенный детина, — готов держать пари, что он разбавляет виски какой-нибудь дрянью. Черт! Пожалуй, все это может плохо кончиться, если не поговорю завтра с врачом. Ну и галлюцинация, извините.

— Тонни! — крикнула, высовываясь из окна, молодая женщина. — Ты свободен?

— А? Что? — вздрогнул детина. — Готов уже обед, Джесси?

— Стол накрыт. Сейчас только открою вино.

— Что-о? — отшатнулся в ужасе детина. — Вино? Ну, уж нет, Джесси. Избавь. Вина я теперь и в рот не возьму. Выброси к свиньям бутылку.

— Что случилось, Тонни? — тревожно спросила женщина.

— Ничего особенного, если не считать легкого разжижения мозгов. Во всяком случае, Джесси, теперь уж ни один виноторговец не похвалится тем, что он поставляет мне винное зелье. Хватит. Попил я, довольно. Слышишь, Джесси?

— Но, Тонни... Я очень рада. Ты такой впечатлительный. Я давно уже замечаю, что вино неполезно тебе.

Здоровенный детина тяжело вздохнул.

9

— Да, я слушаю, отель «Марианна». Да, да. Корреспондент «Последних известий»... Да, Мэлоун. Что-о? Кто говорит? Когда? Хорошо. Ждите. Буду через пять минут. — Мэлоун положил трубку.

— Старые знакомые, Перси? — спросил Григсон. Он лежал в кресле, с потухшей папиросой во рту и находился в том состоянии, когда не хочется ни двигаться, ни думать.

— Да нет, Джек, — озабоченно сказал Мэлоун, — знакомых в этом городе не имею. Кажется, интересное дело.

— Ты думаешь идти? Плюнь, Перси. Пошли их ко всем чертям.

После длительной дороги и сытного ужина Григсон предпочитал дремать спокойно в кресле, прогулки по городу не соблазняли его.

— Мне передали: задержан известный бандит Форбс.

— Откуда звонили?

— Кажется, из полиции. Ты понимаешь, Джек? Сам Форбс. Ну, я буду глупее телеграфного столба, если упущу такой случай. Три интервью. Очерк. Верных полторы тысячи слов. И главное, подумай только, я готов держать пари, что в этой дыре нет сейчас ни одного журналиста. Но я не задержусь.

— Мы что-нибудь выпьем на ночь?

— Да, да. Но не ложись без меня. Я принесу кучу новостей.

Мэлоун схватил шляпу, сунул в карман блокнот, вечное перо, осмотрел фотоаппарат и, опрокидывая стулья, выбежал из номера отеля, махнув на прощанье рукой.

Григсон остался один. Он попробовал читать, но глаза его слипались. Незаметно для самого себя Григсон задремал. Проснулся он от легкого стука в дверь.

— Да, да! — крикнул Григсон, приоткрыв сонные глаза.

В дверь просунулся боком плотный мужчина. Во рту у него торчал окурок потухшей сигары. Поля черной шляпы закрывали лицо незнакомца так, что можно было видеть один глаз, глубоко запавший в орбите, кончик угреватого носа и тонкий, узкий рот. Энергичный подбородок прятался в поднятом воротнике летнего пальто.

— Мистер Григсон? — хрипло спросил незнакомец.

— Допустим, — недоумевая, ответил Джек.

— Меня зовут Гаррисон. Гарри Гаррисон. Очень легко запомнить. Вы Григсон, а я Гаррисон. Очень просто.

Джек промолчал.



Незнакомец шагнул вперед и остановился посреди комнаты.

— Паршивый отель! — сказал он, бесцеремонно оглядывая обстановку.

Джек упорно молчал.

— Разрешите присесть? — дотронулся до шляпы мистер Гаррисон и, не ожидая разрешения, сел верхом на стул. С минуту помолчав, он сказал, снова тронув шляпу: — Я к вам по делу.

— Говорите.

— В двух словах. Вы слышали, мистер Григсон, что-нибудь о Лиге пацифистов?

— Увы, — вздохнул Джек.

— Печально, — качнул головой посетитель.

— Пацифизм — это движение против войны, насколько мне известно, не так ли?

— Скажите лучше: движение против массовых убийств. Это будет вернее. Но что вы думаете о пацифизме?

— Я думаю, — нерешительно сказал Джек, — что это — благородное движение.

— Ага, ага, — завозился на стуле Гаррисон, — я не ошибся. Я сразу понял, что вы благородный человек. Ваши честные глаза. Ваше лицо. О, я не мог ошибиться. Да и кто, скажите вы мне, может равнодушно смотреть, как люди убивают друг друга? А дети? — Мистер Гаррисон поспешно вынул платок и, скомкав его, приложил к открытому глазу. — Бедные, несчастные дети, — глубокий, скорбный стон вырвался из груди мистера Гаррисона, — кто заменит им убитого отца? Кто, я спрашиваю вас? — Мистер Гаррисон в изнеможении опустил голову на спинку стула. — Да, — сказал он тихо и вдруг порывисто вскочил: — Идемте. Одевайтесь.

— Куда? — спросил Джек, рассматривая с любопытством странного посетителя.

— В двух словах. Я говорю с вами по поручению Лиги.

— Но я впервые слышу о такой Лиге.

— Немудрено, — согласился мистер Гаррисон, усаживаясь снова. — Мы не рекламируемся нигде. Да и зачем? Вот вы нас не знаете, но зато мы-то знаем все о вас. А это более существенно. В двух словах: наша Лига, да будет вам известно, ведет активную борьбу против войны, против подготовки к войне, мы принимаем все меры к тому, чтобы сорвать военные приготовления. Короче, вы должны помочь нам.

— Я? — удивился Джек. — Не понимаю, чем же я могу быть полезен?

— В двух словах: вы имеете гениальное открытие. Тот, кто владеет им, выйдет победителем в борьбе против комбинации вооруженных сил.

— Допустим.

— Да, но мы как раз и не должны допустить того, чтобы это открытие привело к войне. Вы умный человек. Без преувеличений. Вы понимаете, что ваше открытие постараются использовать раньше, чем его откроет возможный противник.

— Допустим.

— Нет, нет! — вскричал мистер Гаррисон, поднимая руки над головой, точно желая оттолкнуть от нее невидимое чудовище. — Мы ни в коем случае не должны допускать этого. В двух словах: вы передадите это изобретение нашей Лиге.

Джек сделал резкое движение.

— О, не беспокойтесь, — поднял руку посетитель. — Мы достаточно богаты. Мы оплатим ваш труд не хуже военного ведомства. Пять миллионов? Как? Устраивает вас такая сумма?

— Г-м-м, — в замешательстве промычал Джек.

— И заметьте, — подпрыгнул мистер Гаррисон, — вы получаете деньги, не передавая нам секрета. Вы честный человек. Вы умный человек. Мы верим вам. Мы собрали все сведения о вас. Прекрасные отзывы. В двух словах: вы получаете пять миллионов, а нам даете только честное слово не пользоваться своим изобретением. Только честное слово. Просто, не правда ли? Что может быть благороднее?

— Простите, я все-таки не понимаю...

— О-о! — взмахнул руками мистер Гаррисон. — Я объясню. В двух словах: мы обращаемся ко всем странам мира. Мы пишем так: в наших руках находится ваше изобретение. В том случае, если какое-либо государство осмелится разрешать вопросы международного характера силой оружия, это изобретение будет использовано против агрессора. Понимаете? Наконец, мы требуем полного разоружения и предлагаем тем государствам, которые разоружаются, первыми воспользоваться вашим открытием в мирных целях безвозмездно. О, мы его продвинем в жизнь. Будьте спокойны.

— Это заманчиво, — улыбнулся Джек.

— Ага, заманчиво? Идемте.

— Но куда я должен идти?

— Как? Вы еще спрашиваете? Но ведь вы же согласны?

— Допустим, согласен.

— Ну и все. Деньги вы получите завтра же. Пошли. Вас ждет комитет уполномоченных Лиги. Вы подтвердите свое согласие и получите чек, а завтра по этому чеку вам выдадут в любом банке любую сумму в пределах пяти миллионов. Мы не военное ведомство. Мы правнуки тех энергичных янки, которые не теряли зря времени. Как видите, они неплохо экипировали нашу старушку Америку.

— Не поздно ли, мистер Гаррисон? Если не ошибаюсь, скоро будет полночь.

— Ай, мистер Григсон. Уй-юй-юй. Как бы нас не съел серый волк?! Стыдитесь. Кажется, мы живем в передовой, культурной стране. Впрочем... — Мистер Гаррисон выхватил из кармана браунинг, положил его на опрокинутую ладонь и протянул руку Джеку. — Вот, возьмите. Возьмите его хотя бы для того, чтобы пустить пулю в затылок болтуну Гаррисону, если только он что-нибудь спутал.

Мистер Гаррисон насильно сунул браунинг в карман Джека, затем схватил его шляпу, ловко провел рукавом по тулье и подал ее с шутливым поклоном.

— Ах да, — спохватившись, спросил мистер Гаррисон, — рецепт у вас с собой?

— Здесь, — хлопнул себя по лбу Джек.

— Самый верный сейф. Вы молодец. А... а... эта штука? Жидкость?

— Штуки нет, — засмеялся Джек. — Израсходована. Завтра нужно будет приготовить новую.

— Великолепно. В таком случае я спокоен. А то, знаете, в некоторых отелях прислуга бывает не в меру любопытна. Кстати, ваш спутник Мэлоун знает что-нибудь о рецепте?

— Не больше, чем я знаю особенности сиамской грамматики.

— Я спокоен. О, мы с вами будем еще делать большую историю.

Мистер Гаррисон подбежал трусцою к дверям, распахнул их и, пропустив Джека, посмотрел ему в спину таким взглядом, что, если бы только Джек мог увидеть странное выражение глаз Гаррисона, он навряд ли рискнул бы отправиться в эту ночь дальше порога своей комнаты.

10

Освещенные улицы остались позади.

Автомобиль мчался по темному асфальту пустынного шоссе, щупая дорогу пыльными снопами желтого света. Справа и слева мелькали в темноте далекие огни невидимых ферм. Ночной холодный ветер бил в лицо, с противным визгом забирался под сорочку.

Григсон поднял воротник, наглухо застегнул все пуговицы пальто.

— Б-р-р! Холодно, — поежился он, втягивая голову в плечи.

— М-да. Прохладно.

— Далеко еще?

— Ерунда. Две или три мили. Не больше, — весело ответил мистер Гаррисон, не отрываясь от руля.

Джек улыбнулся. В сущности, это неожиданное предложение вполне устраивало его. «Все-таки лишние три миллиона долларов не помешают. О, на эти деньги многое можно сделать! Но интересно, что предпримет Мэлоун, если подарить ему два миллиона? Чудак! Но в самом деле: почему



бы не подарить ему?.. Не два... Нет. И не миллион. А, допустим, ну... сто тысяч долларов?»

Джек засунул руки глубже в карманы пальто. «Пожалуй, тысяч десять можно будет подарить этим Лендам. О, Несси!»

Григсон втянул голову в плечи, нахлобучил шляпу по уши. «С тех пор как старого Ленда посадили в тюрьму за какую-то стачечную историю, семья его здорово нуждается. Бедная Несси! Ей пришлось бросить консерваторию и поступить в контору. Не очень-то приятно писать торговые ведомости, вместо того, чтобы сочинять симфонии».

Джек вздохнул. Перед его умственным взором поднялась здоровая, кряжистая фигура Ленда.

Старик сердито хмурит брови и с раздражением бормочет:

— Эх, Джек, Джек, ничего-то ты не понимаешь... В такой помойной яме, как наша жизнь, ты мечтаешь сдуру о счастье. Цыпленок. Жалкий цыпленок. Впрочем, ты даже хуже цыпленка. Тот хоть может надеяться, что его прилично приготовят, подадут к обеду в сухарях, а вот нас с тобой, Джек, слопают вместе с грязью. Нет, парень, уж если ты хочешь счастья, поговори об этом с такими же молодцами, как ты сам, а в одиночку брось дурить — ничего не добьешься. Надо, милый, учиться драться, а не мечтать.

«Ах, Ленд, Ленд!»

Джек тихонько рассмеялся. «Сколько ему еще сидеть? Месяц? Два? Кажется, что-то в этом роде. А что, если?.. Нет, право, это будет недурно — приготовить ему такой сюрприз».

Перед Джеком замелькали, как на экране, замечательные картины. Вот открываются со скрипом ворота тюрьмы. Старый Ленд угрюмо выходит на улицу, держа в руках крошечный узелок. Он щурится от солнца, смотрит по сторонам, как бы соображая, в какую сторону двинуться.

— Алло, Джек! Я вижу, ты не теряешь время даром. Костюм у тебя, прямо скажу, шикарный.

— Мистер Ленд, мне поручили встретить вас и проводить домой. Ваша семья переменила недавно квартиру.

— Понимаю, Джек. Ну, веди меня. Посмотрим. Поглядим, в какую дыру они забрались, бедняги... Ай, Джек! Отойди, оставь, пожалуйста. Не трогай автомобиль. Не балуйся с этим. Слышишь, Джек?

— Но, мистер Ленд, это моя собственная машина.

— Ври больше.

Джек прыгает в машину.

Старик, разглядывая машину, покачивает недоверчиво седой головой:

— Понимаю, понимаю, Джек. Тебе дал ее кто-нибудь на полчаса?

Джек не спорит. У него еще немало приготовлено сюрпризов для старика. Сейчас Ленд увидит свой собственный коттедж, увидит Несси за собственным пианино, увидит клумбы, цветы, ковровые дорожки на желтом паркетном полу, а старая Ленд, конечно, не забудет похвастаться чековой книжкой. Она проведет дрожащими пальцами по цифрам и скажет с гордостью:

— Двадцать тысяч. Неплохо, Эпп?

— Двадцать тысяч?

— Ровно двадцать, — кивнет головой миссис Ленд. — Джек подарил нам ни за что ни про что.

— Джек?

И тогда он выступит вперед и скажет:

— Мистер Ленд, разгребая помойную яму, я, как видите, без помощи других наткнулся на скромный клад, а потому...

Автомобиль внезапно остановился.

— Вылезайте, мистер Григсон, — услышал Джек.

Он поднял голову. В стороне от шоссе мутно светилась в темноте поверхность угрюмого озера. Оно было похоже на кипящий свинец. С печальным шумом бились о берега волны. Шуршали грустно камыши. Свирепый ветер дышал с другой стороны озера холодом и сыростью.

— Мы уже приехали?

— Не совсем, — крикнул мистер Гаррисон. Ветер подхватил его голос и кинул в кипящее озеро.

— Но все в порядке, — услышал Джек сквозь вой ветра бодрый голос. — Нам предстоит еще небольшая прогулка на катере. Минутное дело. Надо переправиться на ту сторону. Эй, катер.

— К-а-атер! — подхватил ветер.

Из темноты донесся сдавленный голос:

— Ну, катер. В чем дело?

— Мы хотим переправиться на ту сторону, — громко сказал мистер Гаррисон.

— Ту сторону? Три доллара.

— Три? Вы с ума сошли?

— Убирайтесь вон!

— Зачем нервы? К чему сентиментальность? Мы едем... Выходите, мистер Григсон.

Поеживаясь от холода, Джек вышел из машины. Его спутник потушил фары автомобиля и прыгнул легко на землю.

— Идите за мной, — дотронулся Гаррисон до руки Джека. Сунув руки в карманы, он зашагал к озеру, покачиваясь и спотыкаясь на ходу. Джек двинулся следом за ним.

Внизу, у самого берега, чернел в темноте катер. Плечистый мужчина в кепке возился на корме, запуская мотор. Гаррисон подхватил Джека под руку:

— Ради бога, осторожнее!

Джек прыгнул в катер. Днище легкого суденышка дрогнуло. Катер качнулся. За бортами заплескалась вода.

— Сюда, сюда, — приветливо сказал мистер Гаррисон, пропуская Джека. Усадив его спиной к мотористу, Гаррисон крикнул бодрым голосом:

— Поторопитесь, старина! У нас нет времени киснуть в вашей лоханке.

Моторист буркнул что-то себе под нос. В ту же минуту мотор затрещал, как пулемет. Поворачиваясь носом в плес, катер помчался, раскачиваясь на волнах, как на качелях.

За кормой забурлили белые буруны.

Катер нырнул в темноту и исчез.

— Все в порядке, — сказал кто-то негромко.

На шоссе показался тучный человек. Пыхтя и отдуваясь, он подошел к машине. Человек сел за руль. Машина загудела. Вспыхнули и тотчас же погасли фары. С притушенными огнями автомобиль покатился тихо вдоль берега.

11

— Жалко мне тебя, парень, — услышал Джек голос моториста сзади, — как видно, помешал ты кому-то... Однако все там будем. Молись, парень!

Джек похолодел. «Что это значит? Шутка? Но почему же такая тоска?» Он сунул руку в карман. Нащупав холодную сталь браунинга, Джек неожиданно для себя самого взвизгнул:

— Назад! Сейчас же назад! Я не хочу!

— Кончай, Билль! — рявкнул Гаррисон.

Моторист размахнулся. Ударом кулака он сшиб с Джека шляпу. Еще один взмах руки — и Джек, икая, ткнулся головой в колени мистера Гаррисона. Больше Джек не встал...

Катер подлетел к берегу. Гаррисон прыгнул на землю. Билль повернул катер носом в озеро и сильно толкнул руками корму. Катер помчался обратно.

— Разумно, — сказал Гаррисон.

— Что делать, Нэд! Несчастный случай. Молодой человек захотел покататься и... отправился изучать рыбьи нравы на дне озера.

— А что скажет хозяин катера?

— Не беспокойся. Он сейчас читает лекции ракам.

— И его?.. Ну, Билль...

— Ладно, Нэд, пошли.

Гаррисон, а за ним Билль вскарабкались по насыпи на шоссе.

Гаррисон свистнул. В темноте мелькнули, погасли и снова вспыхнули фары автомобиля.

— Он, — сказал мистер Гаррисон тихо.

Вдали загудел мотор. Два желтых круглых глаза мчались по шоссе, держась правой стороны, приближаясь с каждой минутой. Все ближе и ближе подходит машина.

Гаррисон поднял руку вверх.

Вдруг фары погасли. Авто круто свернуло на середину шоссе и с полного хода врезалось в негодяев. Гаррисон отлетел в сторону. Билль исчез под колесами. Автомобиль дал задний ход, потом снова рванул вперед и проехал по телу Гаррисона.

Тучный человек выскочил из машины, посмотрел вправо, влево, потом, кряхтя и отдуваясь, перетащил Билля и Гаррисона на середину шоссе, вскочил в авто и переехал по ним еще раз.

Свесив голову, он взглянул на размозженные головы Гаррисона и Билля и брезгливо поморщился.

— Жалкие пачкуны! — процедил сквозь зубы толстяк.

Он вытащил сигару, тщательно обрезал кончик ее и, закурив, пустил машину полным ходом.

Ветер засвистел в ушах. От горящей сигары посыпались, как огненный дождь, длинные искры.

Толстяк отбросил сигару прочь и громко запел:

Птичка свила гнездышко
Под моим окном,
Мери, моя звездочка,
Тили, тили-бом.

Распевая громко песню, король нефтяной промышленности мчался на предельной скорости.

Король спешил: ровно к десяти часам утра должен был поспеть на богослужение.

Опаздывать в церковь король не мог. Это могло подать дурной пример прихожанам церкви, которая была построена для спасения заблудших душ на средства нефтяной компании.

Содержание

Литературно-художественное издание

Ретро библиотека приключений и научной фантастики

Ян Леопольдович
Ларри

СТРАНА СЧАСТЛИВЫХ

Роман, повести, рассказ

Иллюстрации
Евгения Мельникова

Генеральный директор *Г. А. Артенян*
Куратор серии *Е. В. Витковский*
Ответственный редактор *А. С. Артенян*
Корректор *Р. В. Викторова*
Дизайн и компьютерная верстка *А. П. Вардересяна*

Подписано в печать 22.01.2019 г.
Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,28
Заказ № 1402

ООО «Издательство Престиж Бук»
111141, Москва, 1-й проезд Перова поля, д. 11 А
E-mail: artyr57@mail.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59

